

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2017 * Том 16 * № 3

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW

2017 * Volume 16 * Issue 3

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2017
Том 16. № 3

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Каринэ Акоповна Щадилова

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожбен (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2017
Volume 16. Issue 3

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Karine Schadilova

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Savelyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshsteyn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

- National Research University Higher School of Economics
- Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Economic Development, Sociopolitical Destabilization and Inequality	9
<i>Andrey Korotayev, Leonid Grinin, Stanislav Bilyuga, Kira Meshcherina, Alisa Shishkina</i>	

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Молодые города: масштабы мест памяти	36
<i>Наталья Веселкова, Михаил Вандышев, Елена Прямикова</i>	
Дружба как практика различения (на примере интеллектуальной среды Екатеринбурга)	66
<i>Екатерина Неменко</i>	

WEBER-PERSPEKTIVE

Русская революция как опытное опровержение социализма: версия Макса Вебера	87
<i>Тимофей Дмитриев</i>	
Ведение жизни: систематический очерк в контексте исследовательской программы Макса Вебера	111
<i>Ганс-Петер Мюллер</i>	

STUDIA SOVIETICA

Продисциплинарные и антидисциплинарные сети в позднесоветском обществе	136
<i>Илья Кукулин</i>	
«Я есть!»: позднесоветское кино через призму реляционной социологии Харрисона Уайта (et vice versa).	174
<i>Ирина Каспэ</i>	

ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ И КОНВЕРС-АНАЛИЗ

От редактора	207
<i>Андрей Корбут</i>	
Исследования визуального в этнометодологии.	212
<i>Кристина Попова</i>	

Этнометодология видеоигр: феноменальное поле в игровой практике 233
Артем Рейнюк, Александр Широков

Производство порядка в рэп-баттлах: управление паузами
 и их отсутствием 280
Юлия Августис

ХАННА АРЕНДТ: НОВОЕ НАЧАЛО

Философ и государство: Ханна Арендт о философии Сократа 303
Алексей Жаворонков

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

Логика методологии (к публикации «Логических предпосылок всякой
 методологии» Н. И. Кареева) 319
Алексей Малинов, Евгения Долгова

Общая методология гуманитарных наук. Глава 2. Логические предпосылки
 всякой методологии 327
Николай Кареев

ОБЗОРЫ

Область интернет-исследований в социальных науках 366
Юрий Рыков, Олег Нагорный

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Концептуализация европейского модерна в социологии Джерарда Деланти . . 395
Елена Масловская, Михаил Масловский

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

(Не)социальное конструирование реальности в эпоху медиатизации 409
Евгения Ним

РЕЦЕНЗИИ

Социология Макса Вебера: поздняя, незавершенная и своевременная 428
Дмитрий Катаев

Рецензия: Светлана Сидорова (ред.). Движение и пространство: парадигма
 мобильности и поиски смыслов за пределами статичности (Москва:
 Восточная литература, 2015) 436
Константин Глазков

Contents

POLITICAL SOCIOLOGY

- Economic Development, Sociopolitical Destabilization and Inequality 9
*Andrey Korotayev, Leonid Grinin, Stanislav Bilyuga, Kira Meshcherina,
Alisa Shishkina*

SOCIOLOGICAL THEORY AND METHODOLOGY

- Young Towns: Scaling Sites of Memory 36
Natalya Veselkova, Mikhail Vandyshev, Elena Pryamikova
- Friendship as a Practice in Distinction (an Example of the Intellectual Milieu of
Yekaterinburg) 66
Ekaterina Nemenko

WEBER-PERSPEKTIVE

- The Russian Revolution as an Experimental Refutation of Socialism: Max Weber's
Version 87
Timofey A. Dmitriev
- Life Conduct: A Systematic Sketch in the Context of Max Weber's Research
Program 111
Hans-Peter Müller

STUDIA SOVIETICA

- "Pro-disciplinary" and "Anti-disciplinary" Networks in Late Soviet Society. 136
Ilya Kukulin
- "I Still Exist!": Late Soviet Cinema Through the Prism of the Relational Sociology
of Harrison White (Et Vice Versa) 174
Irina Kaspe

ETHNOMETHODOLOGY AND CONVERSATION ANALYSIS

- Editorial 207
Andrei Korbut
- Ethnomethodological Studies of Visuality. 212
Kristina Popova

Ethnomethodology of Videogames: Phenomenal Field in Game Practice.	233
<i>Artem Reiniuk, Aleksandr Shirokov</i>	

The Production of Order during Rap Battles: Managing Pauses and Their Absences	280
<i>Iuliia Avgustis</i>	

HANNAH ARENDT: NEW BEGINNING

The Philosopher and the State: Hannah Arendt on the Philosophy of Socrates	303
<i>Alexey Zhavoronkov</i>	

RUSSIAN ATLANTIS

The Logic of Methodology (On the Publication of “The Logical Prerequisites of the Methodology” by Nikolay Kareev)	319
<i>Alexey V. Malinov, Evgeniya A. Dolgova</i>	

The General of Methodology of the Humanities, Chapter 2: The Logical Prerequisites of the Methodology	327
<i>Nikolay Kareev</i>	

REVIEWS

Internet Studies in Social Sciences	366
<i>Yuri Rykov, Oleg Nagornyy</i>	

SOCIOLOGICAL EDUCATION

The Conceptualization of European Modernity in Gerard Delanty's Sociology. . . .	395
<i>Elena Maslovskaya, Mikhail Maslovskiy</i>	

REFLECTIONS ON THE BOOK

The (Non)social Construction of Reality in the Age of Mediatization	409
<i>Evgenia G. Nim</i>	

BOOK REVIEW

Sociology of Max Weber: Late, Incomplete, and Timely.	428
<i>Dmitry Kataev</i>	

Book Review: Svetlana Sidorova (ed.). <i>Dvizhenie i prostranstvo: paradigma mobil'nosti i poiski smyslov za predelami statichnosti</i> [Mobility and Space: In Quest of Meanings Beyond Stasis] (Moscow: Vostochnaya literatura, 2015)	436
<i>Konstantin Glazkov</i>	

Economic Development, Sociopolitical Destabilization and Inequality*

Andrey Korotayev

PhD, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Monitoring of Sociopolitical
Destabilization Risks, National Research University Higher School of Economics
Senior Research Professor of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: akorotayev@gmail.com

Leonid Grinin

Doctor of Sciences, Leading Research Fellow, Laboratory of Monitoring of Sociopolitical
Destabilization Risks, National Research University Higher School of Economics
Senior Research Professor, Institute for Oriental Studies of the Russian Academy of Science
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: lgrinin@mail.ru

Stanislav Bilyuga

Junior Research Fellow, Laboratory of Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks,
National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: sbilyuga@gmail.com

Kira Meshcherina

Junior Research Fellow, Laboratory of Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks,
National Research University Higher School of Economics
Junior Research Fellow, Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: k.meshcherina@hotmail.com

Alisa Shishkina

Junior Research Fellow, Laboratory of Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks,
National Research University Higher School of Economics
Junior Research Fellow, Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: alisa.shishkina@gmail.com

© Korotayev A., 2017

© Grinin L., 2017

© Bilyuga S., 2017

© Meshcherina K., 2017

© Shishkina A., 2017

© Centre for Fundamental Sociology, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-9-35

* This article is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE) in 2017 with support by Russian Science Foundation (Project No. 14-11-00634).

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 г. при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-11-00634).

In the 1960s Mancur Olson and Samuel Huntington suggested that the positive correlation between per capita income and the level of sociopolitical destabilization that they detected for low and middle income countries might be partly accounted for by the growth of the inequality associated with the economic and technological development in these countries. The empirical tests we perform generally support this hypothesis, but they also identify certain limits for such an explanation. Our tests reveal for low and middle income countries a statistically significant correlation between GDP per capita and the economic inequality levels, but this correlation is not particularly strong. Earlier we found for the same countries significantly stronger positive correlations between GDP per capita and some important components of sociopolitical destabilization, such as the intensity of political assassinations, general strikes and anti-government demonstrations. It is quite clear that the strong association between the increase in the intensity of these components of sociopolitical destabilization and GDP per capita growth, can be explained by a much weaker tendency toward the growth of economic inequality only partly. In addition, our empirical tests suggest the presence of a certain threshold level of about 40 points on the Gini scale, after crossing which one can expect a radical increase in levels of sociopolitical destabilization in general, and the intensity of terrorist acts / guerrilla warfare and anti-government demonstrations in particular. According to the World Bank, the value of the Gini coefficient for Russia is now just in this zone, which suggests that the further growth of inequality in Russia could lead to an abrupt increase in political destabilization.

Keywords: political instability, sociopolitical destabilization, CNTS destabilization indices, economic development, inequality, GDP per capita

Introduction

The impact of economic development on sociopolitical destabilization has been the subject of numerous studies. Many of them are based on the seemingly plausible assumption that the higher the level of economic development, the less likely political destabilization (see, for example: Parvin, 1973; Weede, 1981; MacCulloch, 2004; Miguel, Satyanath, Sergenti, 2004; MacCulloch, Pezzini, 2010; DiGiuseppe, Barry, Frank, 2012; Chapman, Reinhardt, 2013; Knutsen, 2014; Mealy et al., 2015) — for a detailed analysis of these works, see our previous publications [Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2016, 2017a, 2016b; Korotayev, Vaskin, Bilyuga, 2017]).

On the other hand, as was shown in Olson (1963) and Huntington (1968), the correlation between per capita incomes and socio-political destabilization is not negative; rather we are dealing with a curvilinear inverted U-shaped¹ relationship: the highest risks of destabilization exist in the countries with neither the lowest nor the highest, but with the intermediate per capita income (that is, in those countries that are undergoing active modernization processes). Thus, up to a certain value of per capita GDP, economic growth tends to lead to an increase in the risks of socio-political destabilization, and only at its high values (i.e., at the completion of modernization processes) does further growth of GDP per capita lead to a decrease in socio-political instability. Thus, a negative correlation between per capita incomes and the risks of socio-political destabilization

1. Note that Huntington himself denoted it as a *bell-shaped* relationship (1968: 43).

characterizes the higher per capita income range, and a positive one is characteristic of the lower range (Olson, 1963; Huntington, 1968: 39–50).

Our empirical tests using GDP per capita data confirm the existence of such an inverted U-shaped relationship (Korotayev, Issaev, Vasiliev, 2015; Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015; Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2016, 2017a, 2017b; Korotayev et al., 2016: Chapter 2; Korotayev, Vaskin, Bilyuga, 2017). In our previous article (Korotayev, Vaskin, Bilyuga, 2017), we show that this curvilinear relationship has quite a different character for different indices of sociopolitical destabilization. However, there is one very important exception. We have shown that the correlation between per capita GDP and intensity of coups and coup attempts is not curvilinear; in this case we are dealing with a clearly pronounced negative correlation (with a particularly strong negative correlation between this index and the logarithm of per capita GDP). This point makes the curvilinear relationship with respect to the integral sociopolitical destabilization index much less impressive and makes a very significant contribution to the formation of its asymmetry (when the negative correlation between per capita GDP and socio-political instability among richer countries looks significantly stronger than the positive correlation for poorer countries). Our earlier analysis shows that for all the other indices of sociopolitical destabilization, we observe a curvilinear inverted U-shaped relationship postulated by the Olson–Huntington hypothesis (Korotayev, Vaskin, Bilyuga, 2017).

With respect to such types of sociopolitical destabilization as general strikes, riots, and anti-government demonstrations, we are dealing with an asymmetry that is directly opposite to what has been mentioned above — with an asymmetry in which the positive correlation between GDP and instability for poorer countries is much stronger than the negative correlation for richer countries. Of special importance is the fact that for the lower range of values of per capita GDP, a particularly strong positive correlation ($r = 0.935$, $R^2 = 0.875$) is found for the relationship between GDP per capita and the intensity of anti-government demonstrations (up to \$20,000 in 2011 at purchasing power parities [PPP]) (Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2017a, 2017b; Korotayev et al., 2016: Chapters 2, 3; Korotayev, Vaskin, Bilyuga, 2017).

Olson, who first showed a positive correlation between average per capita incomes and the level of political destabilization for low and middle income countries, put forward an explanation for this correlation (in addition to a few other explanations): in the early stages of modernization, the growth of per capita incomes is naturally accompanied by an increase in economic inequality², whereas high economic inequality leads to sociopolitical destabilization (Olson, 1963: 536–538)³. This seems to be one of the most obvious mechanisms that causes the growth of socio-political instability with an increase in the level of economic development. If the level of economic development in a given society has increased (and so has per capita GDP), but the economic inequality has significantly increased as well, the real incomes of a significant part of the population could have sig-

2. Olson directly refers to the classic work of Simon Kuznets (1956) and provides his own evidence in support of this thesis (Olson, 1963: 536–538).

3. A similar position was held by Huntington (Huntington, 1968).

nificantly decreased and a significant increase in the wealth of a small part of society will only increase the discontent of those who are on the sidelines of economic growth, thus generating sociopolitical destabilization.

In this article, we identify to what extent the positive correlation between per capita GDP and the level of socio-economic destabilization observed for low and middle income countries can be explained by the fact that economic development there (as was suggested by Kuznets [1955]) is accompanied by an increase in economic inequality.

The hypothesis that the positive correlation between per capita GDP and the level of socio-economic destabilization observed for low and middle income countries is explained by the fact that economic development is accompanied by an increase in economic inequality, when operationalized, may be split into two sub-hypotheses:

(1) There is a statistically significant positive correlation between economic inequality⁴ and the level of socio-political destabilization⁵ (and as we will see below, this statement still has the status of a hypothesis not supported by many empirical tests).

(2) For low and middle income countries, there is a positive correlation between the level of economic development and the level of economic inequality in these countries.

This paper identifies to what extent the positive correlation between the average per capita income level and socio-political instability observed for low and middle income countries can be explained by the growing economic inequality that accompanies economic growth in modernizing societies. To do this, we conduct our own empirical testing of both the above sub-hypotheses. In addition, we identify the contribution that growth in economic inequality accompanying the economic growth in modernizing systems can make to the formation of an inverted U-shaped relationship between GDP per capita and socio-political destabilization.

Our study begins with the first hypothesis test.

Tests

Economic inequality and socio-political instability

The thesis that the growth of economic inequality leads to an increase in political instability has not received unequivocal support. Numerous empirical studies of the relationship between the level of economic inequality and socio-political destabilization carried out over the past 45 years, have produced contradictory results. Some researchers conclude that the increase in inequality leads to an increase in sociopolitical instability⁶; others that the relationship between these variables is negative (i.e., the higher the level of

4. In our study, we measure it using the Gini coefficient.

5. In our study, we measure it using GDP per capita at PPP calculated at 2011 constant international dollars.

6. See, for example: Russett, 1964; Feierabend, Feierabend, 1966; Russo, 1968; Paranzino, 1972; Sigelman, Simpson, 1977; Muller, 1988; Muller, Seligson, 1987; Midlarsky, 1988; Moaddel, 1994; Perotti, 1996; Schock, 1996; Temple, 1998; MacCulloch, 2005; Lempert, 2016; Alexander, 2016, 2017.

economic inequality, the higher the level of political stability)⁷. Further, some researchers conclude that there is a curvilinear relationship between inequality and instability⁸. And, finally, a large number of researchers have concluded that economic inequality does not have any statistically significant effect on the level of socio-political instability⁹. It should be noted that in all cases where some statistically significant relationship between the variables in question still is identified, it usually turns out to be quite weak.

Let us analyze these results in more detail.

We start with those researchers concluding that the growth of economic inequality leads to socio-political destabilization, i.e. those who find a positive relationship between economic inequality and political instability. In the opinion of some of them, countries with a high level of inequality are characterized by the following:

(1) The poor can use force to achieve the requirements of a fair redistribution of income and property.

(2) The rich possess the resources necessary to use force to avoid the implementation of these requirements.

(3) The size of the middle class is extremely small¹⁰.

From this it follows that socio-political instability must grow with the growth of economic inequality. A number of researchers have found empirical evidence in support of this hypothesis¹¹.

Analyzing statistical data for 41 countries from 1945 to 1961, Russett (1964) shows that in poor, predominantly agricultural countries, a high degree of inequality in the land distribution tends to lead to political instability. Similar conclusions are reached by Tanter and Midlarsky (1967) based on the analysis of data for 52 countries from 1955 to 1960.

Inequality in the possession of property and/or means of production (especially land) and income inequality, although correlated, are still essentially different types of inequality, which can explain to some extent the differences in conclusions reached by different researchers. It is also important that inequality in the former case is more difficult to reduce, especially given the much more limited amount of land resources in the country (which is often constant) compared to income (which tends to grow). The problem of inequality in land ownership in poor countries can also be related to the ideological and institutional features of society. An example of pre-revolutionary Russia where the majority of peasants considered private ownership of land unjust ("the land is God's") and

7. See, for example: Mitchell, 1968; Nisbet, 1968; Parvin, 1973; Moore, 1978; Nel, 2003; Elkanj, Gangopadhyay, 2014.

8. See, for example: Davis, 1959; Galtung, 1964; Feierabend, Feierabend, 1966; Nagel, 1974; Hey, Lambert, 1980; Berrebi, Silber, 1985; Gurr, 2015; Boudon, 2016, etc.

9. See, for example: Russo, 1968; Parvin, 1973; Duff, McCamant, Morales, 1976; Hardy, 1979; Weede, 1981; Bingham, 1982; Weede, 1987; Collier, Hoeffler, 1998, 2004; Collier, 2000; Nel, 2003; McAdam, 2010; Østby, Urdal, 2010; Buhaug et al. 2011, etc.

10. See, for example: Russett, 1964; Tanter, Midlarsky, 1967; Prosterman, 1976; Sigelman, Simpson, 1977, etc.

11. See, for example: Russett, 1964; Tanter, Midlarsky 1967; Gurr, 1968; Mitchell, 1969; Paranzino, 1972; Gurr, Duvall, 1973; Morgan, Clark, 1973; Prosterman, 1976; Sigelman, Simpson, 1977; Gurr, Lichbach, 1979; Singer, Wallace, 1979; Muller, Seligson, 1987; Dutt, Mitra, 2008; Nepal, Bohara, Gawande, 2011, etc.

where communal forms of regular land redistribution prevailed, is quite relevant here. In a number of societies social status is very strongly correlated with property ownership (especially land). For example, in India, land owners were mostly representatives of higher castes or subgroups, and even now this situation is still largely preserved (see, for example, Alaev, 2000).

A large number of researchers have discovered the presence of a statistically significant (although, as a rule, rather weak) correlation between income inequality and socio-political instability. Sigelman and Simpson (1977) using cross-national data for 49 countries from 1958 to 1966 about the income inequality of the population, found a moderate ($R^2 = 0.311$) statistically significant linear relationship between inequality and political violence.

Dutt and Mitra (2008) find that inequality has a weak ($R^2 = 0.11$) positive but significant correlation with the indicators of political instability on the basis of data on 99 countries from 1960 to 2000. However, according to them, other factors, both political and economic, may strengthen the effect of the economic inequality factor (Dutt, Mitra, 2008).

Somewhat apart is the study of Nepal, Bohara and Gawande (2011) in which, not countries, but Nepalese villages are regarded as units of comparison. The authors test the hypothesis that inequality generates political violence using data on political violence by the Nepalese Maoists in the protracted war they waged against their government. Inequality is measured by the Gini index as well as by polarization indices. The dependent variable is the number of people killed by Maoist insurgents between 1996 and 2003 in each of 3,857 Nepalese villages, for which the authors obtained data. The authors show that a higher level of inequality correlates positively with higher levels of political violence. In their view, the availability of social networks and government social security programs can lead to a reduction in violence, and that higher average incomes can reduce the impact of inequality on conflict (Nepal, Bohara, Gawande, 2011).

Statistically significant positive correlations between economic inequality and socio-political instability have been found by a number of other researchers (see, for example, Gurr, 1968; Mitchell, 1969; Paranzino, 1972; Gurr, Duvall, 1973; Morgan, Clark, 1973; Prosterman, 1976; Gurr, Lichbach, 1979; Singer, Wallace, 1979; Muller, Seligson, 1987, etc.).

Other researchers come to the opposite conclusion, finding a negative relationship between economic inequality and political instability. Theoretical expectations are formulated by Moore (1978) as follows: a high level of economic inequality means the presence of a strong elite which has enough resources to suppress political dissent, retain or strengthen its position and thus ensure a high level of political stability (Moore, 1978). A number of empirical tests have confirmed the existence of such a negative relationship between the level of economic inequality and political instability (see, for example: Mitchell, 1968; Nisbet, 1968; Parvin 1973; Moore 1978; Nel 2003; Elkanj, Gangopadhyay, 2014).

The third type of conclusions obtained by researchers looks quite logical: lower economic inequality (in accordance with the theoretical expectations of the first group of

researchers described above) and the subsequent growth of economic inequality is accompanied by an increase in political instability, and further growth of inequality leads to an increase in political stability. As a result, the general form of the relationship between the degree of economic inequality and political instability is an inverted U-shape, when especially high values of socio-political destabilization tend to be observed at the intermediate values of economic inequality.

According to Nagel (1974), political violence will occur most often at the intermediate level of economic inequality, and less often at very low or very high levels. While “resentment as a result of comparisons” grow, the “tendency to compare” decreases with the level of economic inequality. Given these assumptions, Nagel shows that the resulting cumulative effects result in an inverted U-shaped relationship between economic inequality and sociopolitical destabilization (Nagel, 1974). Similar results are obtained by a number of other researchers (Galtung, 1964, Feierabend, 1966, Nagel, 1974; Hey, Lambert, 1980; Berrebi, Silber, 1985; Boudon, 2016).

Finally, there are studies showing that economic inequality generally has no statistically significant effect on political instability. Collier and Hoeffler (Collier, Hoeffler, 1998, 2004; Collier et al. 2000) analyze internal conflicts using a large set of data on civil wars from 1965 to 1999. They find that inequality and a lack of democracy have no significant influence on the risk of civil war, which is classified in their analysis as an internal conflict with at least 1,000 deaths in clashes and battles. On the other hand, countries characterized by geographical disunity and dominant ethnic or religious groups, or having a significant share of their income (GDP) from commodity exports, are significantly more prone to conflict (note however, that the latter finding has been convincingly rejected by Smith who shows that “oil wealth is robustly associated with increased regime durability, even when controlling for repression, and with lower likelihoods of civil war and anti-state protest” [Smith, 2004: 232]).

Nel (2003) uses household expenditure data to assess the impact of inequality on political instability in sub-Saharan Africa between 1986 and 1997. The analysis shows that a high level of inequality does not affect political instability in a statistically significant way for the sample. Similar results were obtained by many other researchers (see, for example: Russo, 1968; Parvin, 1973; Duff, McCamant, Morales, 1976; Hardy, 1979; Weede, 1981; Bingham, 1982; Weede, 1987; McAdam, 2010; Østby, Urdal, 2010; Buhaug et al., 2011).

Table 1 gives a summary of some results obtained by various researchers as regards the impact of economic inequality on sociopolitical instability.

Table 1. Summary of the results of the empirical tests of the correlation between economic inequality and political instability

Research ID	Method	Period studied	Sample size	Categorization of results
Russett, 1964	OLS-regression	1945–1961	41 countries	1. Economic inequality increases political instability
Tanter, 1967	OLS-regression	1955–1960	52 countries	1. Economic inequality increases political instability

Research ID	Method	Period studied	Sample size	Categorization of results
Morgan, Clark, 1973	OLS-regression	1961–1968	30 countries	1. Economic inequality increases political instability
Barrows, 1976	OLS-regression	1963–1968	32 African countries	1. Economic inequality increases political instability
Sigelman, Simpson, 1977	OLS-regression	1958–1966	49 countries	1. Economic inequality increases political instability
Dutt, Mitra, 2008	OLS-regression	1960–2000	99 countries	1. Economic inequality increases political instability
Nepal, Bohara, Gawande, 2011	A two-level hierarchical model with negative binomial distribution	1996–2003	3857 Nepalese villages	1. Economic inequality increases political instability
Muller, Seligson, 1987	Multiple regression	1973–1977	62 countries	1. Economic inequality increases political instability
Muller, 1988	OLS-regression	1965–1975	55 countries	2. Curvilinear dependence between economic inequality and political instability
Parvin, 1973	OLS-regression		26 countries	3. Economic inequality reduces political instability
Elkanj, Gango-padhyay, 2014	OLS-regression	1963–1999	10 Middle East countries	3. Economic inequality reduces political instability
Yitzhaki, 1979	Basic integral equations			4. U-shaped relationship between economic inequality and political instability
Giskemo, 2008	OLS-regression	1950–2004	188 countries	4. U-shaped relationship between economic inequality and political instability
Østby, 2008	OLS-regression	1986–2004	36 developing countries	4. U-shaped relationship between economic inequality and political instability
Nagel, 1974	OLS-regression	1961–1965	51 countries	5. Inverted U-shaped relationship between economic inequality and political instability
Collier, Hoeffler, 1998	Probit analysis	1960–1962	100 countries	6. Inequality has no significant correlation with political instability
Fearon, Laitin, 2003	Poisson regression, logit analysis	1945–1949	156 countries	6. Inequality has no significant correlation with political instability
Nel, 2003	OLS-regression	1986–1997	Sub-Saharan Africa	6. Inequality has no significant correlation with political instability
Collier, Hoeffler, 2004	OLS-regression	1960–1999	161 countries	6. Inequality has no significant correlation with political instability

Table 2 give the results of our own tests for the correlation between the level of economic inequality measured with the Gini coefficient and Cross-National Time Series / CNTS database¹² indices of socio-political destabilization (Banks, Wilson, 2017).

Table 2. Correlations between the level of inequality and CNTS socio-political destabilization indicators for 1960–2014

Nº	Subcategory	Statistical significance (<i>p</i>)	Pearson's correlation coefficient (<i>r</i>)
1	Assassinations	< 0.001	0.146
2	General strikes	0.033	0.061
3	Guerrilla warfare	< 0.001	0.129
4	Government crises	0.014	0.070
5	Purges	0.159	–0.040
6	Riots	0.749	–0.009
7	"Revolutions" ¹³	< 0.001	0.111
8	Anti-government demonstrations	0.012	0.072
9	Integral sociopolitical destabilization index	< 0.001	0.170

Data sources: Banks, Wilson, 2017; World Bank, 2017.

In seven of the nine tests we find statistically significant correlations in the predicted direction, generally supporting the hypothesis that the growth of economic inequality tends to lead to an increase in political instability. On the other hand, we are talking about statistically significant, but extremely weak correlations. Indeed, the strongest correlation in our case is observed between the Gini index of economic inequality and the integral CNTS index of socio-political destabilization¹⁴. The strength of this correlation measured by the Pearson coefficient (*r*), is 0.170, which corresponds to the coefficient of determination (*R*²) of 0.0289. Thus, in this test, economic inequality determines the level of socio-political instability by less than 3%. Consequently, economic inequality is an extremely weak predictor of sociopolitical destabilization, which a number of authors have pointed out.

Nevertheless, the correlations between the index of economic inequality and some indices of socio-political destabilization are quite strong when we take as a unit of analysis not individual country-years¹⁵, but deciles.

12. See appendix to this article for its description.

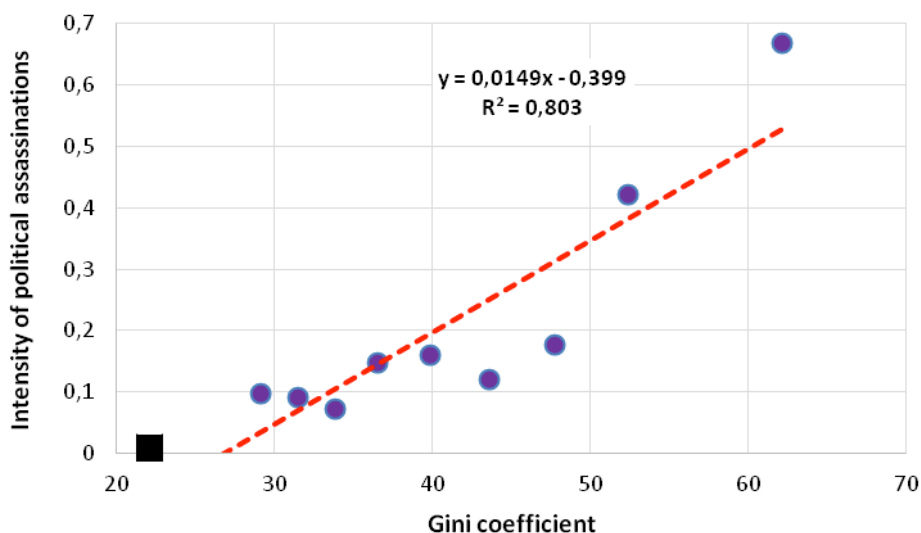
13. One should keep in mind that the name of this variable given by the CNTS developers ("Revolutions" [see, for example: Wilson, 2017: 13]) misleads the user to a very significant degree, since in reality it describes in most cases not revolutions in the academic sense (for our summary of the definitions of the revolution see, for example, Grinin, Issaev, Korotayev, 2015), but rather coups and coups attempts.

14. See appendix to this article for a description of the methodology for calculating this index.

15. The unit of description in our databases is, strictly speaking, not an individual country, but a country-year, i.e. we are talking about the characteristics of a country for a certain year — for example, about the number of anti-government demonstrations in Indonesia in 1997 or the US Gini economic inequality index in 2007.

It is worth considering some specific cases of correlation between the level of economic inequality and the intensity of several types of socio-political destabilization. In the following series of tests, we deal with mean values of indices of socio-political destabilization for deciles of country-years as regards the Gini index of economic inequality. For example, the leftmost marker in Fig. 1 denoted by the black square corresponds to 10% of the country-years with the lowest level of socio-economic inequality, the neighboring marker corresponds to the next 10%, and the rightmost upper marker corresponds to 10% of the country-years with the highest level of economic inequality.

In Fig. 1 for 10% of country-years with the lowest level of economic inequality, the average value of the intensity of political assassinations is 0.009, i.e. there are 9 political assassinations per 1000 country-years or less than one political assassination in a century, and for 10% of the country-years with the highest level of economic inequality, the average value of the intensity of political assassinations is 0.669, i.e. for 1,000 country-years, there are 669 political assassinations, that is. 2 political assassinations every 3 years). In general, the per decile analysis shows that the highest correlation with economic inequality is found precisely for the intensity of political assassinations (see Figure 1).



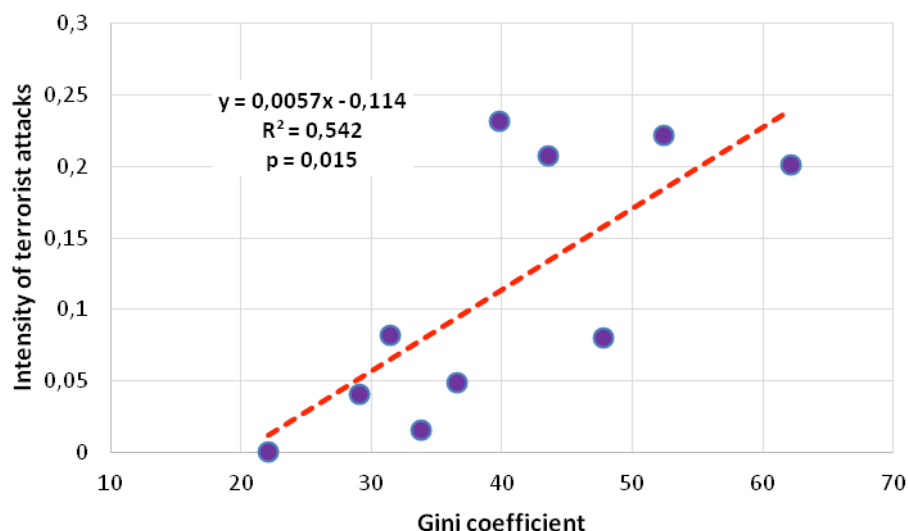
Data source: Banks, Wilson 2017; World Bank 2017.

Note: $r = 0.896$, $p = 0.0004$. In this and the following four cases, the following decile boundaries were used: the 1st decile: < 27 ; the 2nd decile: $27-30$; the 3rd decile: $30-32$; the 4th decile: $32-34$; the 5th decile: $34-38$; the 6th decile: $38-41$; the 7th decile: $41-45$; the 8th decile: $45-49$; the 9th decile: $49-54$; the 10th decile: > 54 . It is worth recalling that the unit of observation in our calculations is not a particular country, but, strictly speaking, a country-year, i.e., country X in year Y.

Figure 1. Per decile correlation between economic inequality and the intensity of political assassinations, 1960–2014 (scatterplot with a fitted regression line)

The per decile analysis suggests that the correlation between economic inequality and the intensity of political assassinations is very strong ($r = 0.896$, $R^2 = 0.803$) and statistically significant beyond any doubt ($p = 0.0004$). Note the particularly significant leap in the intensity of political assassinations is observed when the value of the Gini index exceeds a threshold level of about 50 points (which corresponds to the border between the 8th and 9th deciles).

The per decile analysis also finds a fairly strong correlation between the economic inequality index and the intensity of terrorist acts/guerrilla warfare, shown in Figure 2.



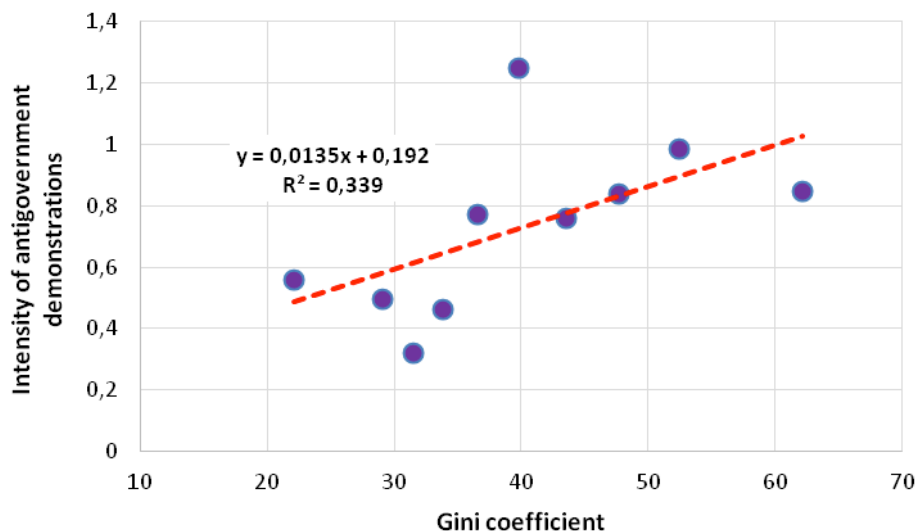
Data source: Banks, Wilson 2017; World Bank 2017.

Note: $r = 0.736$, $p = 0.015$.

Figure 2. Per decile correlation between economic inequality and the intensity of major terrorist attacks/guerrilla warfare, 1960–2014 (scatterplot with a fitted regression line)

In this case we are dealing with a rather strong ($r = 0.736$) statistically significant ($p = 0.015$) correlation. The threshold value of the Gini index (at which there is a leap in the intensity of terrorist acts/guerrilla warfare) is observed at a threshold level of about 40 points (which corresponds to the area of the 6th decile).

The per decile analysis also reveals a marginally significant but still quite strong positive correlation between the Gini index and the intensity of anti-government demonstrations, shown in Figure 3. Here the threshold value of the Gini index (at which we see a leap in the intensity of anti-government demonstrations) is also observed at a level of about 40 points.



Data source: Banks, Wilson, 2017; World Bank, 2017.

Note: $r = 0.582$, $p = 0.039$ (1-tailed).

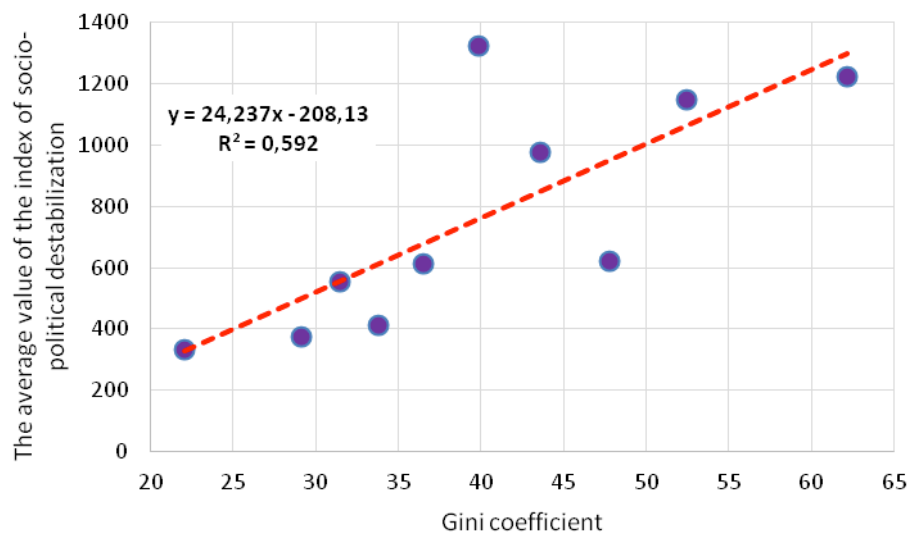
Figure 3. Per decile correlation between economic inequality and the intensity of anti-government demonstrations, 1960–2014 (scatterplot with a fitted regression line)

The per decile analysis also reveals a sufficiently strong statistically significant correlation with respect to the integral CNTS index of sociopolitical destabilization, shown in Figure 4. Here the threshold value of the Gini index (at which we see a leap in the values of the CNTS integral index of socio-political destabilization) is also observed at the level of about 40 points.

Particularly noteworthy is the fact that for the period after the end of the Cold War, there is a particularly strong correlation between the Gini economic inequality coefficient and the overall level of socio-political destabilization, shown in Figure 5.

In the present period economic inequality can be regarded as a stronger factor of socio-political destabilization. We note the presence of a threshold value at the level of about 40 points, around which a marked jump in the general level of sociopolitical instability is observed¹⁶.

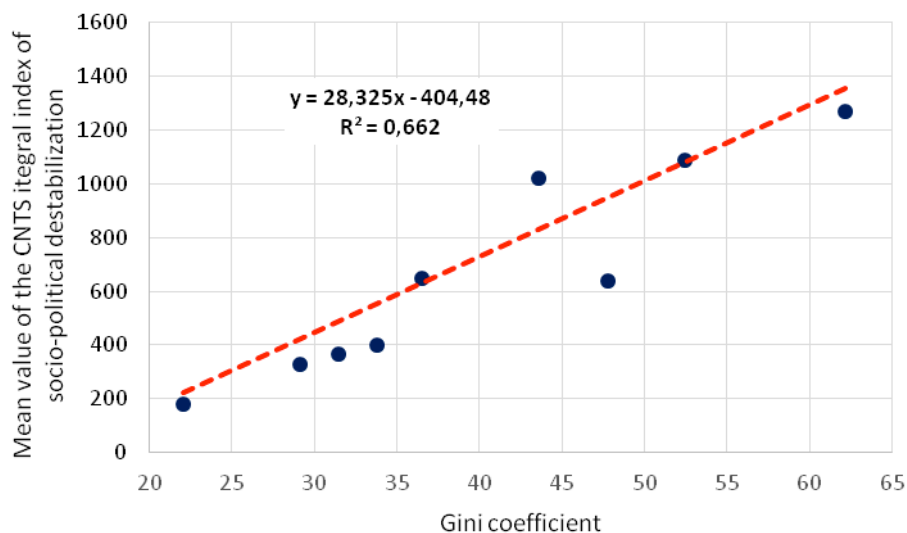
16. Taking this into account, a very practical recommendation appears. To maintain a high level of socio-political stability in the country, it is desirable to avoid exceeding the level of economic inequality significantly above 40 points on the Gini scale. Note that according to the World Bank (World Bank, 2017: SI.POV.GINI) this level in Russia (42 points) is just in the “risk zone”, when even a small further increase in economic inequality can lead to significant socio-political destabilization.



Data source: Banks, Wilson 2017; World Bank 2017.

Note: $r = 0,769$, $p = 0.009$.

Figure 4. Per decile correlation between economic inequality and the CNTS integral index of sociopolitical destabilization, 1960–2014 (scatterplot with a fitted regression line)



Data source: Banks, Wilson, 2017; World Bank, 2017.

Note: $r = 0.813$, $p = 0.004$.

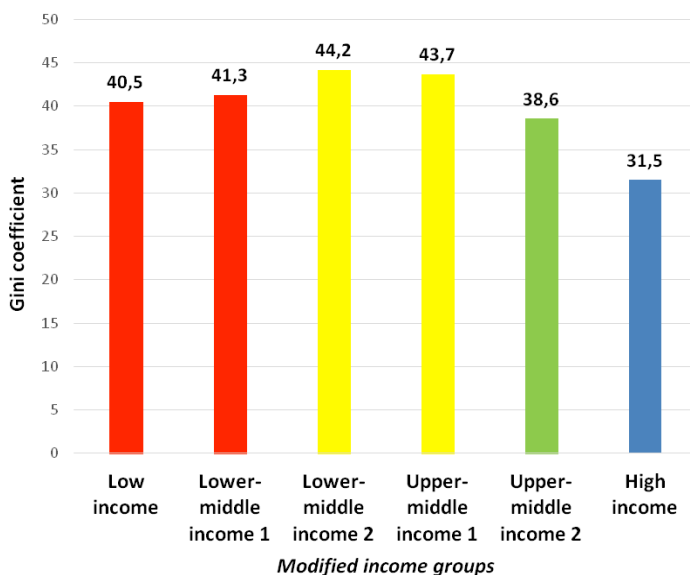
Figure 5. Per decile correlation between economic inequality and the integral CNTS index of sociopolitical destabilization, 1992–2014 (scatterplot with a fitted regression line)

Thus, there are grounds to assert that economic inequality can serve as a sufficiently serious factor of socio-political destabilization both in general, and in particular with regard to such indicators as anti-government demonstrations, major terrorist attacks/ guerrilla warfare and political assassinations.

It is necessary now to test the second sub-hypothesis, which states that for the low and middle income countries there is a positive correlation between the level of economic development and the level of economic inequality.

Economic development and economic inequality

We re-test Kuznets' (1955) hypothesis that in the early stages of modernization, economic growth tends to be accompanied by increasing economic inequality, and in the later stages, the opposite correlation is observed. Taking into account the specifics of the database (World Bank, 2017) that is used to re-test the Kuznets theory, this hypothesis is operationalized as follows: for countries with lower per capita GDP values, a positive correlation between GDP per capita and the Gini index is expected, while for richer countries it is negative. The test generally supports Kuznets' hypothesis (see Figures 6–7 and Table 3):

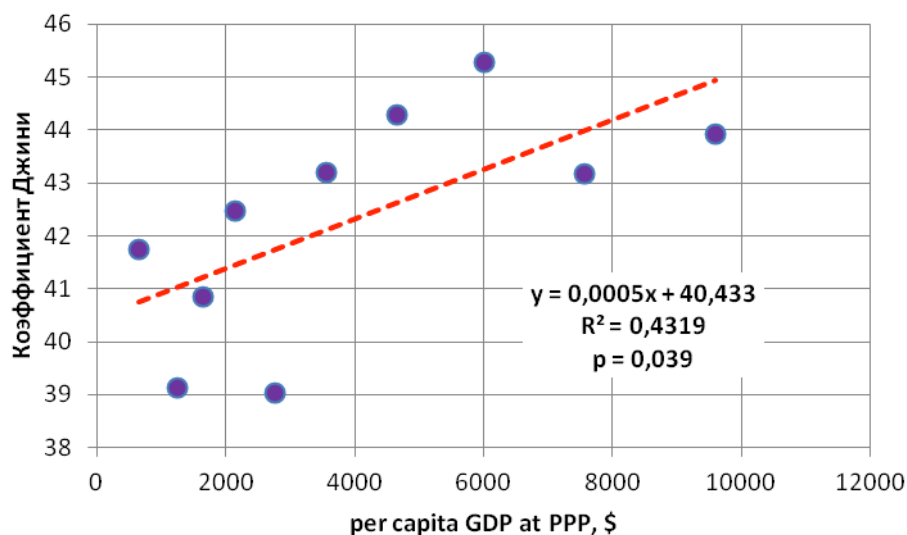


Data source: Banks, Wilson, 2017; World Bank, 2016.

Note: The statistical significance of the differences between the categories (shown in the figures in different colors) is determined here and further with the help of the Dunnett test ($p < 0.05$) and the one-way ANOVA procedure. $F = 61.45$, $p < 0.0001$.

Figure 6. Mean values of the Gini coefficient for modified World Bank income groups¹⁷, 1960–2014

17. See appendix to this article for the description and rationale of the modified income group classification that we use.



Data source: Banks, Wilson, 2017; World Bank, 2017.

Note. Decile boundaries for this graph are as follows. The 1st decile: < \$1,052. The 2nd decile: \$1,052–1,436. The 3rd decile: \$1,436–1,848. The 4th decile: \$1,848–2,435. The 5th decile: \$2,435–3,112. The 6th decile: \$3,112–4,011. The 7th decile: \$4,011–5,305. The 8th decile: \$5,305–6,711. The 9th decile: \$6,711–8,437. The 10th decile: \$8,437–10,745. It is also important to recall that the unit of observation in our calculations is not a country, but, strictly speaking, a country-year, i.e. country X at year Y.

Figure 7. Per decile correlation of per capita GDP with mean levels of economic inequality for countries with income up to \$10,750, 1960–2014 (scatterplot with a fitted regression line)

Table 3. Results of Scheffe's post hoc comparison of the Gini coefficient for the main income groups, 1960–2014

		Mean difference	Std. error	p-value
Low income	Lower-middle income 1	0.82	1.21	0.90
	Lower-middle income 2	3.71	1.13	< 0.01
	Upper-middle income 1	3.17	1.05	0.01
	Upper-middle income 2	–1.94	1.08	0.21
	High income	–8.99	1.09	< 0.01
Lower-middle income 1	Lower-middle income 2	2.90	1.03	0.02
	Upper-middle income 1	2.36	0.94	0.04
	Upper-middle income 2	–2.76	0.98	0.02
	High income	–9.81	0.99	< 0.01

Lower-middle income 2	Upper-middle income 1	-0.54	0.83	0.84
	Upper-middle income 2	-5.66	0.87	< 0.01
	High income	-12.70	0.89	< 0.01
Upper-middle income 1	Upper-middle income 2	-5.12	0.73	< 0.01
	High income	-12.17	0.75	< 0.01
Upper-middle income 2	High income	-7.05	0.64	< 0.01

Data source: Banks, Wilson, 2017; World Bank, 2017.

Note: $F = 61.45$, $p < 0.0001$.

Figs. 6–7 and Table 3 show that in our database covering the countries of the world, 1960–2014, a statistically significant correlation between the level of per capita GDP and the level of economic inequality (measured with the Gini coefficient) is observed, but within a rather limited interval: up to the level of \$5,500–6,500. However, starting from the level of \$6,500–12,000, a pronounced *negative* correlation between per capita GDP and the level of economic inequality begins. The negative correlation between GDP per capita and economic inequality in the right part of the spectrum of per capita GDP values is much more pronounced than the positive correlation in the left part of the spectrum.

Although the mean Gini index in the upper echelon of lower-middle income countries (44.25) is not much higher than its mean value for low income countries (40.5), this difference is statistically significant and is in the area where we have detected a threshold level at which we observe a leap in the value of the integral CNTS index of socio-political destabilization, as well as in the values of such important indicators as the intensity of major terrorist attacks/guerrilla warfare and anti-government demonstrations, which indicates that a rise in inequality in the low and middle income countries could have a powerful destabilizing effect.

Discussion and conclusion

The results show that, as Olson and Huntington suggested, the growth of economic inequality along with economic development in low and middle income countries can be considered as mechanisms that can partly explain the positive correlation between per capita incomes and levels of socio-political destabilization. At the same time, these results show the limits of this explanation.

First, for these countries we find a statistically significant, but not very strong ($r = +0.657$) positive correlation between GDP per capita and the level of economic inequality. Earlier we found much stronger positive correlations for the same countries for some of the most important components of socio-political destabilization (see Korotayev et al., 2016: Chapter 2). The Pearson per decile correlation coefficient (r) for the intensity of political assassinations is +0.881, for political strikes it is +0.930, and for anti-government

demonstrations it is +0.941. The tendency toward an increase in the intensity of political assassinations, strikes and anti-government demonstrations with GDP per capita growth which is very pronounced among low and middle income countries, can be explained only partially with the help of the much less pronounced tendency toward the increase in economic inequality with per capita GDP growth which we observe among these countries.

Second, the positive correlation between per capita GDP and economic inequality can be traced only within a limited interval (up to ~ \$5,500–6,500). For a number of important components of socio-political destabilization, this correlation can be traced for much broader ranges of GDP per capita: for political strikes it is found up to ~ \$10,300–14,500, and for mass riots and anti-government demonstrations it is found up to ~ \$14,500–20,000 (see Korotayev et al., 2016: Chapter 2). The growth of economic inequality cannot explain the pronounced tendency toward an increase in the intensity of anti-government demonstrations and riots with the growth of per capita GDP in the range between \$6,500 and \$20,000 (which we observe in our database) for the simple reason that in this database we do not find in this range a positive correlation between per capita GDP and economic inequality (*i.e.*, higher income countries in this range do not tend to have higher levels of economic inequality). However, for the range from the minimum up to \$6,500 the increase in economic inequality can certainly be used to partly explain the positive correlation between GDP per capita and the level of sociopolitical instability.

And a final remark. Our empirical results show a threshold value at about 40 points on the Gini index of economic inequality, after which we observe a tendency toward an abrupt increase in the sociopolitical instability as a whole, and the intensity of terrorist attacks/guerrilla warfare and anti-government demonstrations in particular. Russia by this indicator is located precisely in this zone (World Bank, 2017), which suggests that further growth of economic inequality may lead to an abrupt growth of political instability.

Appendix: Methods and Materials

Cross-National Time Series (CNTS)

The Cross-National Time Series (CNTS) database is a data compilation and systematization started by Arthur Banks (Banks & Wilson, 2015) in 1968 at the State University of New York, Binghamton. The work is based on generalizing the archive of data from *The Statesman's Yearbooks*, published since 1864. It also contains approximately 200 indicators for more than 200 countries. The database contains yearly values of indicators starting from 1815 excluding the periods of World Wars I and II (1914–1918 and 1939–1945).

CNTS database is structured by sections, such as territory and population, technology, economic and electoral data, internal conflicts, energy use, industry, military expenditures, international trade, urbanization, education, employment, legislative activity.

In our paper we use the data describing internal conflicts (domestic). This section includes data starting from 1919 based on the analysis of events in 8 various subcategories, which are used to compile Integral Index of Sociopolitical Destabilization (domestic9). When calculating the Integral Index, the developers of CNTS database give each category a certain weight (see Table A1).

Table A1. Weights of subcategories used in calculating the Integral Index of Sociopolitical Destabilization

Subcategory	Variable name	Weight within the Integral Index of Sociopolitical Destabilization (domestic9)
Assassinations	domestic1	25
General Strikes	domestic2	20
Guerrilla Warfare	domestic3	100
Government Crises	domestic4	20
Purges	domestic5	20
Riots	domestic6	25
Revolutions	domestic7	150
Anti-Government Demonstrations	domestic8	10

To calculate the Integral Index of Sociopolitical Destabilization (*Weighted Conflict Measure*, domestic9) the numerical values of each subcategory are multiplied by their corresponding weights, the results of the multiplications are summed up, then the sum is multiplied by 100 and divided by 8 — see formula (1):

$$(1) \text{ domestic9} = \frac{25 \text{ domestic1} + 20 \text{ domestic2} + 100 \text{ domestic3} + 20 \text{ domestic4} + 20 \text{ domestic5} + 25 \text{ domestic6} + 150 \text{ domestic7} + 10 \text{ domestic8}}{8} \times 100^{18}$$

A new classification of income groups: description and rationale

Yearly GDP per capita (2011 international \$, PPP) were used for the World Bank World Development Indicators database (World Bank, 2016a).

For restoring data from 1960 until 1990, the index of GDP per capita was used (World Bank, 2016b). For testing hypotheses, data from 1960 until 2015 were used.

18. An anonymous referee raises concerns that we study correlations between interval variables (such as per capita GDP and Gini coefficient), on the one hand, and various measures of sociopolitical destabilizations that she or he considers ordinal, or even nominal (qualitative), which might stipulate the use of special statistical techniques. In fact, the CNTS measures of sociopolitical destabilizations are strictly interval. For example, variable domestic8 denotes just the number of anti-government demonstrations recorded in a particular country in a particular year, and thus should be regarded as a squarely interval variable. The same can be said about the CNTS integral index of sociopolitical destabilization (domestic9) that is calculated with a mathematical equation using interval variables only.

Groups of countries by income were aggregated by GDP per capita (PPP) values (based on an optimization of the World Bank's methodology (World Bank, 2016c, 2016d) to the index).

In the fiscal year 2016, the World Bank distinguished among the following groups of countries by income per capita:

- *low income economies/countries* — with GNI (gross national income) per capita up to \$1,045¹⁹;
- *lower middle income economies/countries* — with GNI (gross national income) per capita from \$1,046 to \$4,125;
- *upper middle income economies/countries* — with GNI (gross national income) per capita from \$4,126 to \$1,735;
- *high income economies/countries* — with GNI (gross national income) per capita more than \$12,735 (World Bank, 2016d, 2016e).

However, using this classification in our research was connected with two challenges:

(1) unlike the data on GDP, in the World Bank database there were too many omissions for GNI that cannot be restored (especially for the period before 1980); for this reason, it was more expedient in our case to take as a basis the data not on GNI per capita, but on GDP per capita (that we restored for the overwhelming majority of countries over the whole period between 1960 and 2015);

(2) the division of countries by the World Bank classification is rather uniform. Both high income countries and low income countries contain approximately a billion people each (that corresponds to a notion of the “golden billion” popular in Russia and Collier’s “bottom billion” [Collier, 2007]). Middle income countries contain the rest of the world’s population — about 5 billion people. This problem was partially solved by the World Bank by dividing middle income countries into two categories: “lower-middle countries” and “upper-middle countries”. Even this procedure solved the problem only partially as each of these two categories contains more population than low and high income countries combined.

To solve this problem, we classified the countries (more precisely, “country-years”) of the period 1960–2015 into the following sextiles by GDP per capita (2011 international dollars, PPP):

The 1st sextile — up to \$1,660.

The 2nd sextile — \$1,660–\$3,280.

The 3rd sextile — \$3,280–\$6,470.

The 4th sextile — \$6,470–\$12,100.

The 5th sextile — \$12,100–\$23,600.

The 6th sextile — from \$23,600.

In 2014, the correlation between our sextiles and the groups of countries by income according to the World Bank classification was as follows (see. Tab. A2):

19. Note that the calculation is made using a special method, known as the “Atlas method” (for description of the method see: 2016c).

Table A2. Correlation between two classifications

		Groups of countries by GNI per capita distinguished by the World Bank				Total
		Low income	Lower-middle income	Upper-middle income	High income	
Sextiles of countries by GDP per capita	the 1st	17	0	0	0	17
	the 2nd	10	15	0	0	25
	the 3rd	0	16	5	0	21
	the 4th	0	12	17	0	29
	the 5th	0	0	26	10	36
	the 6th	0	0	3	42	45
Total		27	43	51	52	173

Between the groups of countries by GNI per capita distinguished by the World Bank and our six sextiles of countries by GDP per capita there is a very strong correlation (Spearman's rank correlation coefficient, 0.924). In general, all countries of the 1st sextile belong to the group of low income countries by the World Bank classification, the majority of countries of the 2nd and the 3rd sextiles belong to the group of lower-middle income countries, the majority of countries of the 4th and the 5th sextiles belong to the group of upper-middle income countries, and almost all the countries of the 6th sextile belong to the group of high income countries. This enable us to assign to our sextiles the following notations keeping some appropriate conformity with the World Bank's widely accepted classification of world economies into income groups:

- the 1st sextile = low income countries;
- the 2nd sextile = the lower echelon of lower-middle income countries;
- the 3rd sextile = the upper echelon of lower-middle income countries;
- the 4th sextile = the lower echelon of upper-middle income countries;
- the 5th sextile = the upper echelon of upper-middle income countries;
- the 6th sextile = high income countries.

References

- Alaev L. (2000) *Obshchina v ego zhizni: istoriya neskol'kih nauchnykh idej v dokumentah i materialah* [The Community in His Life: History of Several Scientific Ideas in Documents and Materials], Moscow: Vostochnaya literatura.
- Alexander M. A. (2016) Application of Mathematical Models to English Secular Cycles. *Cliodynamics*, vol. 7, no 1. Available at: <http://escholarship.org/uc/item/23o872k1> (accessed 24 March 2017)
- Alexander M. A. (2017) Involvement of a Capitalist Crisis in the 1900–30 Inequality Trend Reversal. *Cliodynamics*, vol. 8, no 1. Available at: <http://escholarship.org/uc/item/42p5m46m> (accessed 24 March 2017)

- Banks A. S., Wilson K. A. (2017) Cross-National Time-Series Data Archive. Available at: <https://www.cntsdata.com> (accessed 24 March 2017).
- Berrebi Z. M., Silber J. (1985) Income Inequality Indices and Deprivation: a Generalization. *Quarterly Journal of Economics*, vol. 100, no 3, pp. 807–810.
- Bingham P. G. (1982) *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*, Harvard: Harvard University Press.
- Boudon R. (2016) *The Unintended Consequences of Social Action*, Berlin: Springer.
- Buhaug H., Gleditsch K. S., Holtermann H., Ostby G., Tollefsen A. F. (2011) It's the Local Economy, Stupid! Geographic Wealth Dispersion and Conflict Outbreak Location. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 55, no 5, pp. 814–840.
- Chapman T., Reinhardt E. (2013) Global Credit Markets, Political Violence, and Politically Sustainable Risk Premia. *International Interactions*, vol. 39, no 3, pp. 316–342.
- Collier P. et al. (2000) *Economic Causes of Civil Conflict and Their Implications for Policy*, Washington: World Bank.
- Collier P., Hoeffler A. (1998) On Economic Causes of Civil War. *Oxford Economic Papers*, vol. 50, no 4, pp. 563–573.
- Collier P., Hoeffler A. (2004) Greed and Grievance in Civil War. *Oxford Economic Papers*, vol. 56, no 4, pp. 563–595.
- Davies J. A. (1959) A Formal Interpretation of the Theory of Relative Deprivation. *Sociometry*, vol. 22, no 4, pp. 280–296.
- Davies J. C. (1962) Toward a Theory of Revolution. *American Sociological Review*, vol. 27, no 1, pp. 5–19.
- DiGiuseppe M. R., Barry C. M., Frank R. W. (2012) Good for the Money: International Finance, State Capacity, and Internal Armed Conflict. *Journal of Peace Research*, vol. 49, no 3, pp. 391–405.
- Duff E. A., McCamant J. F., Morales W. Q. (1976) *Violence and Repression in Latin America: a Quantitative and Historical Analysis*, New York: Free Press.
- Dutt P., Mitra D. (2008) Inequality and the Instability of Polity and Policy. *Economic Journal*, vol. 118, no 531, 843–860.
- Elkanj N., Gangopadhyay P. (2014) Why is the Middle East Burning? An Historical Analysis of the Economic Causes of Conflicts from 1963 to 1999. *International Journal of Development and Conflict*, vol. 4, no 1, pp. 35–48.
- Feierabend I. K., Feierabend R. L. (1966) Aggressive Behaviors Within Polities, 1948-1962: a Cross-National Study. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 10, no 3, pp. 249–271.
- Galtung J. (1964) A Structural Theory of Aggression. *Journal of Peace Research*, vol. 1, no 2, pp. 95–119.
- Goldstone J. (2014) *Revolutions: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Goldstone J. A. Bates R. H., Epstein D. L., Gurr T.R., Marshall M. G., Lustik M. B., Woodward M., Ulfelder J. (2010) A Global Model for Forecasting Political Instability. *American Journal of Political Science*, vol. 54, no 1, pp. 190–208.
- Grinin L., Issaev L., Korotayev A. (2015) *Revolutsii i nestabil'nost' na Blizhnem Vostoke* [Revolutions and Instability in the Near East], Moscow: Uchitel.

- Grinin L., Korotayev A. (2009). Urbanizacija i političeskaja nestabil'nost': k razrabotke matematičeskikh modelej političeskikh processov [Urbanization and Political Instability: Toward the development of Mathematical Models of Political Processes]. *Political Studies*, no 4, pp. 34–52.
- Grinin L., Korotayev A. (2012). *Tsikly, krizisy, lovushki sovremennoj Mir-Sistemy: issledovanie kondrat'evskikh, zhyuglyarovskikh i vekovykh tsiklov, global'nykh krizisov, mal'tuzianskikh i postmal'tuzianskikh lovushek* [Cycles, Crises, Traps of the Modern World-System: Study of the Kondratieff, Juglar and Secular Cycles, Global Crises, Malthusian and Post-Malthusian Traps], Moscow: URSS.
- Grinin L., Korotayev A. (2014) Revolution and Democracy in the Context of the Globalization. *Dialectics of Modernity — Recognizing Globalization: Studies on the Theoretical Perspectives of Globalization* (ed. E. Kiss), Budapest: Arisztotelész Kiadó.
- Gurr T. R. (1968) A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices. *American Political Science Review*, vol. 62, no 4, pp. 1104–1124.
- Gurr T. R. (1974) Persistence and Change in Political Systems, 1800–1971. *American Political Science Review*, vol. 68, no 4, pp. 1482–1504.
- Gurr T. R. (2015) *Why Men Rebel*, London: Routledge.
- Gurr T. R., Duvall R. (1973) Civil Conflict in the 1960s: A Reciprocal Theoretical System with Parameter Estimates. *Comparative Political Studies*, vol. 6, no 2, pp. 135–169.
- Gurr T. R., Lichbach M. I. (1979) Forecasting Domestic Political Conflict. *To Augur Well: Early Warning Indicators in World Politics* (eds. J. Singer, M. Wallace), London: SAGE, pp. 153–194.
- Hey J. D., Lambert P. J. (1980) Relative Deprivation and the Gini Coefficient: Comment. *Quarterly Journal of Economics*, vol. 95, no 3, pp. 567–573.
- Huntington S. (1968) *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press.
- Huntington S. (2004) *Političeskij porjadok v menjajushhihsja obshhestvah* [Political Order in Changing Societies], Moscow: Progress-Tradition.
- Hardy M. A. (1979) Economic-Growth, Distributional Inequality, and Political-Conflict in Industrial-Societies. *Journal of Political & Military Sociology*, vol. 7, no 2, pp. 209–227.
- Knutsen C. H. (2014). Income Growth and Revolutions. *Social Science Quarterly*, vol. 95, no 4, pp. 920–937.
- Korotayev A. (2009) Compact Mathematical Models of the World System Development and Their Applicability to the Development of Local Solutions in Third World Countries. *Systemic Development: Local Solutions in a Global Environment* (ed. J. Sheffield), Litchfield Park: ISCE, pp. 103–116.
- Korotayev A., Biljuga S., Shishkina A. (2016) VVP na dushu naselenija, uroven' protestnoj aktivnosti i tip rezhima: opyt kolichestvennogo analiza [GDP Per Capita, Protest Intensity and Regime Type: A Quantitative Analysis]. *Comparative Politics*, no 4, pp. 72–94.

- Korotayev A., Biljuga S., Shishkina A. (2017a) VVP na dushu naselenija, intensivnost' antipravitel'stvennyh demonstracij i uroven' obrazovanija: kross-nacional'nyj analiz [GDP Per Capita, the Intensity of the Anti-Government Demonstrations and Education Level: A Cross-National Analysis]. *Politia*, no 1, pp. 127–143.
- Korotayev A., Biljuga S., Shishkina A. (2017b) Jekonomicheskij rost i social'no-politicheskaja destabilizacija: opyt global'nogo analiza [Economic Growth and Sociopolitical Destabilization: The Experience of Global Analysis]. *Political Studies*, no 2, pp. 155–169.
- Korotayev A., Grinin L., Isaev L., Zinkina Y., Vaskin I., Biljuga S., Slinko E., Meshcherina K. (2016) *Destabilizacija: global'nye, nacional'nye, prirodnye faktory i mehanizmy* [Destabilization: Global, National, Natural Factors and Mechanisms], Moscow: Uchitel.
- Korotayev A., Issaev L., Vasiliev A. (2015). Kolichestvennyj analiz revolyucionnoj volny 2013–2014 gg. [Quantitative Analysis of the Revolutionary Wave of 2013–2014]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 119–127.
- Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2015) Center-Periphery Dissonance as a Possible Factor of the Revolutionary Wave of 2013–2014: A Cross-National Analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 49, no 5, pp. 461–488.
- Korotayev A., Malkov S., Burova A., Zinkina Y., Khodunov A. (2012) Lovushka na vykhode iz lovushki: matematicheskoe modelirovanie sotsial'no-politicheskoi destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoi periferii i sobytiya Arabskoi vesny 2011 g. [A Trap at the Escape from the Trap: Mathematical Modeling of Sociopolitical Destabilization in the World System Periphery Countries and the Arab Spring Events of 2011]. *Modelirovanie i prognozirovanie global'nogo, regional'nogo i natsional'nogo razvitiya* [Modeling and Forecasting Global, Regional, and National Development] (eds. A. Akaev, A. Korotaev, G. Malinetsky, S. Malkov), Moscow: Librokom, pp. 210–276.
- Korotayev A., Vaskin I., Biljuga S. (2017). Gipoteza Olsona—Hantingtona o krivolinejnoj zavisimosti mezhdru urovnem jekonomicheskogo razvitiya i social'no-politicheskoi destabilizaciej: opyt kolichestvennogo analiza [Olson–Huntington Hypothesis on a Bell-Shaped Relationship between the Level of Economic Development and Sociopolitical Destabilization: A Quantitative Analysis]. *Russian Sociological Review*, vol. 16, no 1, pp. 9–49.
- Kuznets S. (1955) Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Review*, vol. 45, no 1, pp. 1–28.
- Lempert D. (2016) Predicting Political Systems Using Economic, Environmental, and Relational Variables. *Social Evolution & History*, vol. 15, no 2, pp. 164–193.
- MacCulloch R. (2004) The Impact of Income on the Taste for Revolt. *American Journal of Political Science*, vol. 48, no 4, pp. 830–848.
- MacCulloch R. (2005) Income Inequality and the Taste for Revolution. *Journal of Law and Economics*, vol. 48, no 1, pp. 93–123.
- MacCulloch R., Pezzini S. (2010) The Role of Freedom, Growth and Religion in the Taste for Revolution. *Journal of Law and Economics*, vol. 53, no 2, pp. 329–358.

- Marshall M. G., Cole B. R. (2008) A Macro-Comparative Analysis of the Problem of Factionalism in Emerging Democracies. Paper presented at the 2008 Annual Meeting of the American Political Science Association.
- McAdam D. (2010) *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970*, Chicago: University of Chicago Press.
- Mealy M., Stephan W. G., Mhaka-Mutepfa M., Alvarado-Sanchez L. (2015) Interpersonal Trust in Ecuador, the United States, and Zimbabwe. *Cross-Cultural Research*, vol. 49, no 4, pp. 393–421.
- Midlarsky M. I. (1988) Rulers and the Ruled: Patterned Inequality and the Onset of Mass Political Violence. *American Political Science Review*, vol. 82, no 2, pp. 491–509.
- Miguel E., Satyanath S., Sergenti E. (2004) Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach. *Journal of Political Economy*, vol. 112, no 4, pp. 725–753.
- Mitchell E. J. (1968) Inequality and Insurgency: A Statistical Study of South Vietnam. *World Politics*, vol. 20, no 3, pp. 421–438.
- Mitchell E. J. (1969) Some Econometrics of the Huk Rebellion. *American Political Science Review*, vol. 63, no 4, pp. 1159–1171.
- Moaddel M. (1994) Political Conflict in the World Economy: a Cross-National Analysis of Modernization and World-System Theories. *American Sociological Review*, vol. 59, no 2, pp. 276–303.
- Morgan W. R., Clark T. N. (1973) The Causes of Racial Disorders: a Grievance-Level Explanation. *American Sociological Review*, vol. 38, no 5, pp. 611–624.
- Moore B. (1966) *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Boston: Beacon Press.
- Moore B. (1978) *Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt*, White Plains: ME Sharpe.
- Muller E. N. (1985) Income Inequality, Regime Repressiveness, and Political Violence. *American Sociological Review*, vol. 50, no 1, pp. 47–61.
- Muller E. N., Seligson M. A. (1987) Inequality and Insurgency. *American Political Science Review*, vol. 81, no 2, pp. 425–451.
- Nagel J. (1974) Inequality and Discontent: A Nonlinear Hypothesis. *World Politics*, vol. 26, no 4, pp. 453–472.
- Nel P. (2003) Income Inequality, Economic Growth, and Political Instability in Sub-Saharan Africa. *Journal of Modern African Studies*, vol. 41, no 4, pp. 611–639.
- Nepal M., Bohara A. K., Gawande K. (2011) More Inequality, More Killings: The Maoist Insurgency in Nepal. *American Journal of Political Science*, vol. 55, no 4, pp. 886–906.
- Nisbet R. A. (1968) *Tradition and Revolt*, New Jersey: Transaction.
- Olson M. (1963) Rapid Growth as a Destabilizing Force. *Journal of Economic History*, vol. 23, no 4, pp. 529–552.
- Østby G. (2008) Polarization, Horizontal Inequalities and Violent Civil Conflict. *Journal of Peace Research*, vol. 45, no 2, pp. 143–162.

- Østby G., Urdal H. (2010) Education and Civil Conflict: A Review of the Quantitative, Empirical Literature. Background Paper to UNESCO's Education for All Global Monitoring Report 2011.
- Paranzino D. (1972) Inequality and Insurgency in Vietnam: A Further Re-Analysis. *World Politics*, vol. 24, no 4, pp. 565–578.
- Parvin M. (1973) Economic Determinants of Political Unrest: An Econometric Approach. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 17, no 2, pp. 271–91.
- Perotti R. (1996) Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say. *Journal of Economic Growth*, vol. 1, no 2, pp. 149–187.
- Prosterman R. L. (1976) “IRI”: A Simplified Predictive Index of Rural Instability. *Comparative Politics*, vol. 8, no 3, pp. 339–353.
- Russett B. M. (1964) Inequality and Instability: The Relation of Land Tenure to Politics. *World Politics*, vol. 16, no 3, pp. 442–454.
- Russo A. J. (1968) *Economic and Social Correlates of Government Control in South Vietnam*, California: RAND Corporation.
- Schock K. (1996) A Conjunctural Model of Political Conflict: The Impact of Political Opportunities on the Relationship between Economic Inequality and Violent Political Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 40, no 1, pp. 98–133.
- Sigelman L., Simpson M. (1977) A Cross-National Test of the Linkage Between Economic Inequality and Political Violence. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 21, no 1, pp. 105–128.
- Singer J. D., Wallace M. D. (1979) *To Augur Well: Early Warning Indicators in World Politics*, London: SAGE.
- Smith, B. (2004). Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World, 1960–1999. *American Journal of Political Science*, vol. 48, no 2, pp. 232–246.
- Tanter R., Midlarsky M. (1967) A Theory of Revolution. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 9, no 3, pp. 264–280.
- Temple J. (1998) Initial Conditions, Social Capital and Growth in Africa. *Journal of African Economies*, vol. 7, no 3, pp. 309–347.
- Urnov M. (2008) *Jemocii v politicheskom povedenii* [Emotions in Political Behavior], Moscow: Aspect-Press.
- Weede E. (1981) Income Inequality, Average Income, and Domestic Violence. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 25, no 4, pp. 639–654.
- Weede E. (1987) Some New Evidence on Correlates of Political Violence: Income Inequality, Regime Repressiveness, and Economic Development. *European Sociological Review*, vol. 3, no 2, pp. 97–108.
- Wilson K. (2017) *Cross-National Time-Series Data Archive: User's Manual*, Jerusalem: Databanks International.
- World Bank (2016a) GDP Per Capita, PPP (Constant 2011 International \$). World Development Indicators Online. Available at: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD> (accessed: 24.12.2016).

- World Bank (2016b) GDP Per Capita Growth (Annual %). World Development Indicators Online. Available at: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG> (accessed 24 May 2016).
- World Bank (2016c) World Bank Atlas Method. Available at: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-the-world-bank-atlas-method-detailed-methodology> (accessed 23 December 2016).
- World Bank (2016d) World Bank Country and Lending Groups. Available at: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups> (accessed 23 December 2016).
- World Bank (2016e) Historical Classification by Income in XLS Format. Available at: <http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xls> (accessed 23 December 2016).
- World Bank (2017) Gini Index. World Development Indicators Online. Available at: <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI> (accessed 8 January 2017).
- Yitzhaki S. (1979) Relative Deprivation and the Gini Coefficient. *Quarterly Journal of Economics*, vol. 93, no 2, pp. 321–324.

Экономическое развитие, социально-политическая дестабилизация и неравенство

Андрей Коротаев

Доктор философии (PhD), доктор исторических наук, профессор, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: akorotayev@gmail.com

Леонид Гринин

Доктор философских наук, главный научный сотрудник лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: lgrinin@mail.ru

Станислав Билюга

Младший научный сотрудник лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: sbilyuga@gmail.com

Кира Мещерина

Младший научный сотрудник лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Младший научный сотрудник Института Африки РАН

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: k.meshcherina@hotmail.com

Алиса Шишкина

Младший научный сотрудник лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Младший научный сотрудник Института Африки РАН

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: alisa.shishkina@gmail.com

Еще М. Олсон и С. Хантингтон предположили, что обнаруженная ими для слабо- и среднеразвитых стран положительная корреляция между подушевыми доходами и уровнем социально-политической нестабильности может частично объясняться ростом экономического неравенства по мере экономического развития в этих странах. Проведенная нами серия эмпирических тестов в общем и целом подтвердила обоснованность этой гипотезы. Вместе с тем наши тесты обнаружили и достаточно определенные пределы этого объяснения. Тесты выявили для экономически слабо- и среднеразвитых стран хоть и статистически значимую, но не слишком сильную положительную корреляцию между ВВП на душу населения и уровнем экономического неравенства. Между тем, ранее для этих же стран нами были выявлены заметно более сильные положительные корреляции с подушевым ВВП по некоторым важнейшим компонентам социально-политической дестабилизации, таким как интенсивность политических убийств, политических забастовок и антиправительственных демонстраций. Вполне очевидно, что сильно выраженную среди слабо- и среднеразвитых стран тенденцию к росту интенсивности этих компонентов социально-политической дестабилизации по мере экономического роста при помощи заметно более слабо выраженной тенденции к росту экономического неравенства можно объяснить в любом случае лишь в высшей степени частично. Кроме того, проведенные нами эмпирические тесты позволяют предполагать наличие на шкале индекса экономического неравенства Джини порогового значения в районе 40 пунктов, после прохождения которого наблюдается тенденция к скачкообразному росту социально-политической дестабилизации в целом, и интенсивности террористических актов/«партизанских действий» и антиправительственных демонстраций в особенности. По данным Всемирного банка, Россия по данному показателю находится как раз в этой зоне, что заставляет предполагать, что дальнейший рост экономического неравенства в нашей стране может привести к скачкообразному росту политической нестабильности.

Ключевые слова: политическая нестабильность, социально-политическая дестабилизация, индексы дестабилизации CNTS, экономическое развитие, неравенство, ВВП на душу населения

Молодые города: масштабы мест памяти

Наталья Веселкова

Кандидат социологических наук, доцент департамента политологии и социологии
Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Адрес: ул. Мира, д. 19, Екатеринбург, Российская Федерация 620002
E-mail: vesselkova@yandex.ru

Михаил Вандышев

Кандидат социологических наук, доцент, департамент политологии и социологии
Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Адрес: ул. Мира, д. 19, Екатеринбург, Российская Федерация 620002
E-mail: m.n.vandyshov@gmail.com

Елена Прямикова

Доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии и политологии
факультета социологии Уральского государственного педагогического университета
Адрес: ул. Космонавтов, д. 26, Екатеринбург, Российская Федерация 620017
E-mail: pryamikova@yandex.ru

Считается, что построенные в советский период города обладают «короткой историей». Индустриальная «специализация» Урала способствовала тому, что многие советские поселения по сей день остаются моногородами. При изучении мест памяти таких поселений был разработан подход, объединяющий теоретические ресурсы исследований памяти и масштабов. Места памяти анализируются: а) во временных и пространственных координатах, т. е. одновременно «вглубь истории» и «вширь географии»; б) в представлениях горожан. На материалах эмпирического исследования в городах Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Заречный рассматриваются два измерения масштабов: 1) мировой и национальный и 2) региональный и городской. Как показало исследование, наибольшей временной глубиной, вплоть до столетий и тысячелетий, обладают места памяти регионального масштаба, в других случаях память простирается не далее биографии двух-трех поколений. Большие масштабы обеспечивают жителям маленького поселения портал в большой мир, помогая ощущать связь с другими городами и странами. Места памяти локального масштаба символически связывают людей в единую общность, пунктирно задавая общее понимание пространства и локальную компетентность. Предметом являлась актуальная память, т. е. значимое сегодня прошлое. Основной метод сбора информации — go-along интервью, т. е. прогулка или поездка по городу, когда информант по просьбе исследователя показывает свой город. Использовался также исследовательский фотомэппинг — фотографирование по ходу интервью (включая не только то, на чем информанты акцентировали внимание, но и то, что они «пропускали») и во время самостоятельных прогулок по изучаемым

© Веселкова Н. В., 2017

© Вандышев М. Н., 2017

© Прямикова Е. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-36-65

городам. Всего по выборке максимальной вариации проведено 41 интервью с участниками в возрасте от 13 до 77 лет. Мы не спрашивали об истории, пока участники сами не выходили на эту тему. В заключении приведены аналитические ловушки, унаследованные подходом масштабов мест памяти от исходных концепций, а также возможности их преодоления и перспективы дальнейших исследований: изучение масштабирования как процесса, идущего сверху и снизу, целенаправленно и стихийно, официально и неформально. Особый интерес представляют эпизоды пересечения масштабов, скольжение мест памяти по шкалам, фиксируемое через эффекты преуменьшения и преувеличения масштаба.

Ключевые слова: масштаб, ремасштабирование, места памяти, социальная память, моногород, Урал

Широко обсуждаемый сегодня запрос на далекое прошлое, актуализированный «новым режимом времени» (Ассман, 2012), сталкивается с фрагментарностью и обрывами исторической памяти (ср.: Рождественская, Семенова, 2011), образуя заметный дискурс в социально-гуманитарном знании. Здесь одной из наиболее известных и влиятельных, несмотря на критику (см., напр.: Джадт, 2011; Rothberg, 2010), остается концепция мест памяти (Nora, 1996; Нора, 1999). Наше исследование в молодых уральских городах¹ подтвердило репутацию данной теории в том, что касается определения и каталогизации мест памяти. Скорее безвестные, нежели знаменитые, молодые поселения, как будет показано ниже, пестуют свою память отнюдь не строго «соразмерно» чину: то совершают дерзкие прорывы в большой мир, то лелеют какие-то детали как сугубо местные. Одновременно трансформируется, казалось бы, неизменная на протяжении длительного периода конструкция соподчиненности уровней мест и пространств — от городского, регионального до национального и глобального (общемирового). «Малые» масштабы обнаруживают растущую самостоятельность и в то же время новую зависимость от «больших».

Названные аналитические течения — исследований памяти и определения масштабов — до сих пор не пересекались. Наша идея состоит в том, чтобы объединить эти две логики и рассматривать места памяти с точки зрения их масштабирования. Собственно, методология мест памяти и увязывала их изначально с масштабом — общенациональным французским, и уже в дальнейшем она получила развитие в применении к другим размерностям, от локальных до глобальных (см., напр.: Баранов, 2013). Представление о том, что одни места обладают значимостью для всех «времен и народов», другие — уже не для всех, третьи — для немногих, предполагает статичное существование объектов меморизации на изолированных друг от друга шкалах. Мы предлагаем сфокусировать внимание

1. Исследовательский проект «Места памяти в молодых уральских городах: особенности построения идентичности» реализован при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда и Правительства Свердловской области, № 13-13-66010, 2013–2014 гг.

на взаимодействии масштабов — разномасштабности², анализируя, как одни и те же объекты одновременно или последовательно могут находиться на разных шкалах. Исследовательский вопрос состоит в том, каким образом, становясь местами памяти, один и тот же человек, событие, артефакт или территория приобретают различные ранги на временных и пространственных шкалах?

«Короткая история» и места памяти

Молодые уральские города — построенные в советский период поселения городского типа — представляют собой, пожалуй, предельный случай «короткой истории» (Трубина, 2013). Богатое прошлое Урала (Чаиркина и др., 2012; Chairkina, 2014) масштабируется порою так же невнятно, как и его территориальный статус. Хорошей иллюстрацией «блуждающего» масштаба является позиционирование Большого Шигирского идола. Его обнаружили в конце XIX века на Среднем Урале, на территории нынешней Свердловской области (Шорин, 2001). По результатам последнего обследования Шигирский идол признан самой древней деревянной скульптурой в мире, превосходящей возрастом, как писал научно-популярный журнал *Discover*, и Стоунхендж, и египетские пирамиды. Начинается же сие громкое сообщение с того, что памятник был найден... в Западной Сибири (Engelking, 2015; no: Liesowska, 2015) — весьма характерный случай отнесения Урала к Сибири как более «понятному» крупному региону.

Ведущая свой счет с XVII века деревня Калата, неподалеку от которой в Шигирском торфянике среди массы других находок извлекли части идола, в 1932 году стала городом. А с 1935 года, как и многие места в советской стране, она носит имя С. М. Кирова — революционера и государственного деятеля, никак не связанного со здешними краями. Вряд ли название «Кировград» сегодня ассоциируется с трагической гибелью Кирова, однако формально топоним закрепляет советскую историю места, тогда как о родстве с уникальным наследием 11-тысячелетней давности не говорит ничего, как будто место не способно удержать столь длинную память.

Есть много примеров того, как на постсоциалистическом пространстве в меморативной конкуренции побеждает мощный комплекс советской семантики, но и ее власть не всеобъемлюща — масштаб памяти продолжает съезживаться, а событийный ряд разрывается и на гораздо более коротких дистанциях — менее ста лет. Премевшие когда-то на всю страну, да и за ее пределами новые города вроде Магнитогорска ныне известны лишь на региональном уровне (Тимофеев, 2014). При этом возникают новые символические цепочки, как в случае с музыкой Г. Свиридова к фильму 1960-х годов «Время, вперед!» по одноименному роману

2. Е. Трубина использует сходный термин «полимасштабность», но для исследований городской политики и имея в виду то, как «перекликаются между собой процессы, разворачивающиеся в разных масштабах» (Трубина, 2016: 67).

В. Катаева о Магнитострое (1932)³. Ритм сюиты прекрасно выражает напряжение индустриализации, ускоренные темпы первых пятилеток. В позднесоветский период эта мелодия ежедневно «неслась» из каждого телевизора в качестве заставки к программе «Время», а в 2014 году она прозвучала на весь мир в художественной реконструкции исторического процесса на открытии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Правда, узнаваемая музыка теперь едва ли напоминает о Магнитострое, она давно оторвалась от изначальных референтов и живет сама по себе.

Подобные символы эпохи мы и будем рассматривать в качестве мест памяти, с учетом содержательных акцентов и рамок референции — социальных рамок памяти, в терминологии М. Хальбвакса (Halbwachs, 1980), особенностей коммуникативной и культурной, официальной и неофициальной памяти по Яну и Алейде Ассман (Ассман, 2004; Ассман, 2014). Таким образом, мы отталкиваемся от хорошо известных теорий, миновавших период бурного обсуждения⁴, однако не просто применяем их к своему материалу. Эмпирика играет генеративную роль, участвуя в порождении новой теоретической рамки. Сохраняя общий посыл, внесем ряд методологических пояснений, необходимых для раскрытия темы.

Во-первых, мы рассматриваем места памяти прежде всего как дискурсивные конструкции в опыте города. Это означает, что если какие-то вехи, ранее накопленные смыслы выпали из актуального дискурса изучаемых городов, то никакие монументы или топонимы не в состоянии превратить их в места памяти. При этом способ работы с эмпирическим материалом — интервью и документами — накладывает свой отпечаток (как будет показано далее)⁵.

Во-вторых, у П. Нора и его коллег места памяти — это смысловые концентраты, одни из которых являются местами в привычном «географическом» понимании, другие — скорее в метафорическом (как «солдат Шовен», Жанна д'Арк или «галантность»). В нашем случае «негеографические» места, скажем, знаменитые земляки, как правило, приобретали территориальную заземленность, ситуативно привязываясь к той или иной точке города в ходе интервью. С одной стороны, это заслуга метода go-along, нацеленного на изучение опыта города в процессе перемещения от одного места к другому, в жесткой привязке к наблюдаемому «здесь-и-сейчас». С другой — и сам Нора указывал на тесное переплетение материального, символического и функционального аспектов мест памяти (Нора, 1999: 40).

В-третьих, теряет остроту и знаменитое деление Я. Ассмана (Ассман, 2004): рассказ в ходе прогулки или поездки по городу практически соединяет коммуни-

3. В. Катаев, в свою очередь, использовал в названии романа слова из «Марша времени» в пьесе В. Маяковского «Баня» (1929) (см.: Ганжа, 2014; 2013).

4. Или еще не вступивших в него, как, должно быть, справедливо будет сказать об идеях А. Ассман.

5. Более формализованные интервью по квотной выборке и анкетирование, возможно, зафиксировали бы упоминания о стелах Ленинскому комсомолу в Качканаре, «Солнечные часы» в Лесном, мимо которых наши информанты проходили, словно не видя их, однако подобные методы решали бы совсем иные задачи — рейтинг популярности заранее определенных мест, вариации по социально-демографическим группам и т. п.

кативный формат памяти (устное проговаривание, апелляция к собственным воспоминаниям, опыту знакомых, родственников) с культурным, когда нас приводят к мемориалам, советуют непременно посетить музей или ссылаются на сюжеты СМИ.

Кажущееся стирание концептуальных различий не означает утраты познавательной силы используемых теорий; напротив, наблюдаемое сближение материального и символического, коммуникативного и культурного позволяет проследить актуальное взаимодействие различных аспектов коммеморации.

В-четвертых, для анализа изменений доказала свою продуктивность работа с этапами жизненного цикла мест памяти: а) первоначальная креативная фаза; б) институционализация и рутинизация; в) трансформация или исчезновение по Дж. Уинтеру (Winter, 2008)⁶. Изменчивость, понимаемая в нашем случае как (ре)масштабирование, помогает снизить издержки справедливо критикуемой «станциональной концептуализации памяти через явления и места» (Олик, 2012) и сделать шаг в сторону процессуальной трактовки через динамику и относительность.

Места памяти обнаруживают себя в конкретном смысловом пространстве, созданном усилиями горожан. Таким образом, под местом памяти мы понимаем совокупность пересекающихся и воспроизводящихся смыслов, образующих символический фон присвоения/отторжения территории собственного проживания, обеспечивающих включенность жителей малого города в более широкий социальный и исторический контекст. В нашем исследовании все виды мест памяти рассматриваются как территориально укорененные.

Разномасштабность: определение подхода

Обычно размерности времени и пространства рассматриваются отдельно и под водительством разных дисциплин. С точки зрения временной «глубины» классикой разномасштабности можно считать деление на «почти неподвижную», «величавую и неспешную» *longue durée*, медленную историю структур и событийную историю кратковременных, резких, пульсирующих колебаний Ф. Броделя (Бродель, 2002 [1949]), социологически развитую Ж. Гурвичем в его «спектре социального времени» (Gurvitch, 1955; 1964).

Применительно к пространству обсуждение ремасштабирования (rescaling) активизировалось на рубеже XX–XXI веков исследователями глобализации и неолиберализма, на волне концептуализации «глокализации» (см., напр.: Uitermark, 2002: 750–751). Географы проблематизируют масштабирование с точки зрения социального конструирования, иерархичности и отношений власти, внося в них диахронное, историческое измерение (Brenner, 1999; Marston, 2000; Marston, Smith,

6. Благодарим к.и.н. Ф. Николаи за указание на эту работу, см. также: (Уинтер, 2016). (Дж. Уинтер, кстати, использует намеренно зауженное понимание мест памяти как только территориально воплощенных мемориалов и др. мест поминовения.)

2001; Uitermark, 2002; Swyngedouw, 2004; Isin, 2007). Отдавая должное вкладу географической науки, заметим, что подобная работа с масштабами/шкалами вышла за ее пределы и сегодня активно используется другими социально-гуманитарными дисциплинами. Для развития нашей темы важно внимание к темпоральной размерности шкалы событий в городском пространстве, анализ скалярных стратегий (Rannila, 2011) и мультискалярных эффектов (Giovanardi, 2015; Shinetal, 2015; Trubina, 2012; Трубина, 2016). Отдельный интерес представляет направление критических топонимических исследований с развиваемой в нем идеей скалярной политики топонимии (Rose-Redwood, Alderman, 2011; Hagen, 2011; Tucker, Rose-Redwood, 2015; Терентьев, 2014; 2015). Так, Д. Алдерман использует понятие «масштабирования памяти» (scaling of memory) для анализа топонимической работы, в частности по присвоению имени Мартина Лютера Кинга улицам в американских городах. Масштабирование памяти в данном случае означает «социально оспариваемый процесс определения того, в каком географическом масштабе следует увековечить память об этом борце за гражданские права» (Alderman, 2003: 164); для российских городов подобный анализ производят Р. Абрамов и Е. Терентьев (Абрамов, Терентьев, 2014).

Рассмотрение мест памяти на предмет масштабирования является попыткой настройки исследовательской оптики одновременно «вглубь истории» и «вширь географии». Отсюда центральное понятие *масштабов мест памяти* выражает пространственно-временные размерности социальных рамок референции явлений, ставших основой меморизации.

Кроме того, представляется актуальным различать масштабирование меморизации: а) целенаправленное и скорее «стихийное», а также б) осуществляемое сверху либо снизу. Первый аспект, но без определения масштабов, есть у П. Коннертона (Connerton, 2009), который разводит целенаправленно создаваемые мемориалы (памятники, музеи и т. п.) и места, постепенно и «непреднамеренно» накапливающие свой капитал памяти (дома, улицы и т. п.)⁷. Примером того, как к названным аспектам подключается эффект масштаба, может служить следующий сюжет из истории Качканара. В конце 1950-х комсомольские и партийные органы призывали молодежь ехать в уральскую тайгу на строительство Качканарского комбината (КГОК), уподобляя его Магнитке и Комсомольску-на-Амуре. Символический капитал памяти о легендарных молодежных стройках первых пятилеток инвестировался в масштабирование Качканара (Веселкова 2016; Веселкова, Прямикова, Вандышев, 2016): еще вчера безвестный, он целенаправленно выводился на всесоюзную карту. Важность КГОКа определялась сверху на уровне всей страны, впоследствии масштаб значимости съезжился в силу произошедших макроизменений, и сегодня память о том, что уральский Качканар был всесоюзной комсомольской стройкой, отнюдь не охватывает всей страны — да и страны-то той уже нет, как нет и комсомола.

7. Последнее близко Хальбваксовым «The Stones of the City» (Halbwachs, 1980: 131–134).

Целенаправленные действия по определению масштаба не являются монополией верховных инстанций, что убедительно показывают, в частности, исследования гражданских инициатив в области скалярной политики (grass roots scalar politics) (Hoogesteger, Verzijl, 2015; Maher, Carruthers, 2014).

В то же время многие исследования масштабов до сих пор грешат, согласимся здесь с наблюдением Э. Нильсена и К. Симонсен, «иерархическим» видением «маштабирования сверху» (Nielsen, Simonsen, 2003). В нашем случае принципиальной установкой является рассмотрение мест памяти «снизу», из перспективы «обычных» горожан (ср.: Winter, 2008).

Таким образом, наш подход заключается в том, чтобы анализировать маштабирование мест памяти: а) во временных и пространственных координатах и б) в представлениях горожан.

Четыре молодых уральских города: характеристика поля

Индустриальная «специализация» Урала суть интенсификация внутренней колонизации, начатой в Российской империи и продолжающейся в современной России (Etkind, 2011; Эткинд, 2014; Эткинд, Уффельманн, Кукулин, 2012; Dukes, 2015), способствовала тому, что многие советские стройки по сей день остаются индустриальными моногородами⁸. К их числу относятся и Качканар, Краснотурьинск, Лесной и Заречный — четыре поселения Свердловской области, в которых осуществлялась полевая работа.

Предметом являлась актуальная память, т.е. значимое сегодня прошлое. Основной метод сбора информации — go-along интервью, прогулка или поездка по городу, когда информант по просьбе исследователя показывает свой город⁹. Всего по выборке максимальной вариации проведено 41 интервью с участниками в возрасте от 13 до 77 лет. Мы не спрашивали об истории, пока участники сами не выходили на эту тему. Полевые материалы дополнялись материалами областных архивов и СМИ (подробнее см.: Веселкова, Прямикова, Вандышев, 2016: 42–70).

Дадим краткую характеристику городам — участникам исследования (табл. 1). Все четыре расположены в Свердловской области и представляют собой неболь-

8. Предшественником современного моногорода можно считать характерный для Урала XVIII–XIX веков город-завод (см.: Анимича и др., 2004). Новым этапом стали ускоренная социалистическая индустриализация и урбанизация, воплотившие модернистские устремления XX века с поправкой на российские социально-экономические условия и большевистскую идеологию (о параллели между заложенным в 1906 году в штате Индиана городом Гэри и задуманным по его образцу уральским Магнитогорском см.: Dukes, 2015). В 2016 году около трети российских муниципалитетов (более трехсот) официально оставались монопрофильными, при этом каждый пятый моногород находится на Урале (Правительство РФ, 2014; Фонд развития моногородов, 2016; Тургель, 2010; Тургель и др., 2016; Вандышев, Веселкова, Прямикова, 2012; Маслова, 2011; Тульчинский, 2011).

9. Использовался также исследовательский фотомэппинг — фотографирование по ходу интервью (включая не только то, на чем информанты акцентировали внимание, но и то, что они «пропускали») и во время самостоятельных прогулок по изучаемым городам (подробнее о методическом дизайне см.: Веселкова, Прямикова, Вандышев, 2016).

шие по численности поселения, жизнь которых зависит от единственного градообразующего предприятия.

Таблица 1. Характеристика изучаемых молодых уральских городов

Город	Градообразующее предприятие	Дата основания (начало строительства градообразующего предприятия)	Дата присвоения статуса города	Расстояние от областного центра — Екатеринбург	Численность населения (2015 г.), человек
Качканар	Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК)	1957	1968	Около 260 км	40 036
Заречный	Белоярская атомная электростанция (БАЭС)	1955	1992	Около 50 км	27 619
Лесной (Свердловск-45)	Комбинат «Электромприбор»	1947	1954	Около 230 км	49 338
Красноурьинск	Богословский алюминиевый завод (БАЗ)	1942	1944	Около 400 км	58 581

Красноурьинск получил статус города уже в 1944 году благодаря ускоренному строительству Богословского алюминиевого завода (БАЗ) близ поселка Турьинские Рудники. В наши дни город остается «формальной и неформальной столицей» севера Свердловской области (Аверкиева и др., 2015), однако его социально-экономическое положение — наиболее напряженное из всех изучаемых городов из-за закрытия («консервации») в 2013 году алюминиевого производства на БАЗе.

В 1947 году в рамках реализации советского атомного проекта начинается строительство секретного производства и будущего г. Лесного возле поселка Нижняя Тура. До 1994 года Лесной даже под условным именем «Свердловск-45» не указывался на картах. Оба города, Красноурьинск и Лесной, закладывались в суровых условиях военных и послевоенных лет, при значительном использовании принудительного труда. Сегодня Лесной остается закрытым административно-территориальным образованием с градообразующим предприятием в системе госкорпорации «Росатом». К ней же относится и Белоярская атомная электростанция в г. Заречный. От трех других изучаемых городов Заречный отличается близостью к областному центру, небольшой, но стабильной тенденцией к увеличению численности населения.

Основанный в 1957 году Качканар — самый молодой город Свердловской области, «город юности». Продукция КГОКа призвана была вдохнуть новую жизнь в уральскую металлургию, которая к 1960-м годам уже исчерпала местные рудные запасы и начала деградировать. В настоящее время градообразующие предприятия Красноурьинска и Качканара принадлежат крупным частным холдингам.

Ни один из этих четырех городов никогда не гремел на всю страну и тем более мир, они относятся к числу героев второго плана, скорее даже массовки. Что же представляют собой места памяти в таких поселениях и как они масштабируются? (Ставя этот вопрос, мы стремимся продемонстрировать прежде всего, как работает предложенный подход, и не преследуем цели дать полную картину всех типов мест памяти.)

Масштабы памяти: большие и малые

Исследование обнаружило разнообразие масштабов мест памяти, из которых выделим общемировой и общенациональный, а также масштабы региона и города. Их временная глубина обычно не выходит за пределы советского прошлого, однако в ряде случаев может простирается гораздо дальше, вплоть до нескольких тысячелетий. Частично перекрываясь, все масштабы прошиты индивидуально-биографическим измерением, которое мы здесь отдельно не рассматриваем (ср.: Веселкова, Прямикова, Вандышев, 2016: 233–275).

Мировой масштаб и масштаб страны

Не скупясь на идентификации своего города как маленького и молодого, где все друг друга знают и за час все можно обойти, участники исследования в то же время уверенно говорят о его значимости, выходящей далеко за пределы маленькой территории и короткой истории:

У нас знаменитый, мне кажется, город, вообще в стране, не только в стране, вообще в мире, потому что у нас очень много выезжают людей за границу, занимают места призовые. (КЖ17)¹⁰

Можно было предположить, что за «расширение» моногородов до мировых масштабов отвечают градообразующие предприятия. В Качканаре действительно упоминали историю о том, как «Голос Америки» отреагировал на пуск КГОКа язвительным сообщением, что заработал завод по выпуску щебня¹¹. Предполагается, что заграница пристально следила за происходящим и сразу отметила открытие комбината, сарказм же вполне соответствует духу холодной войны. В то же время это едва ли не единичный сюжет в интервью, где предприятие вплеталось бы в международный контекст.

10. Цитаты из интервью здесь и далее даются с кодировкой, где первая буква означает город: К — Качканар, З — Заречный, Л — Лесной, Кр — Краснотурьинск; вторая буква означает пол информанта: М — мужской, Ж — женский; цифры — возраст информанта. Например КЖ17 — 17-летняя жительница Качканара.

11. Щебень действительно является сопутствующей продукцией КГОКа (основная — железная руда, преобразуемая в агломерат и окатыши). В. Денисов считает подоплекой сарказма низкое содержание железа в качканарской породе и комментирует данный эпизод, подчеркивая смелость самого решения о грандиозном строительстве в таких условиях (Денисов, 2010).

В представлениях горожан, на мировую карту их города выводят не предприятия, а замечательные земляки, что видно и по вышеприведенной выдержке из интервью. Нам рассказывали про цирковую студию: «Она вообще вот знаменитая на весь мир даже, потому что они были и в Монако, и езде, и у них очень много званий» (ЗЖ36), об актерах, певцах и музыкантах. Часто в роли мировых знаменитостей — номинантов на места памяти соответствующего ранга — выступают спортсмены: «Город воспитал 9 олимпийских чемпионов, 48 чемпионов России и мира, то есть в этом плане у нас Лесной очень знаменит» (ЛМ26). Огромных размеров портреты олимпийцев украшают торцы домов на центральной улице Лесного (рис. 1). «Наши земляки на аренах мирового спорта» — гласит надпись на стенде с фотографиями, к которому нас подводили информанты (рис. 2).



Рисунок 1. Портреты олимпийцев, г. Лесной, во время интервью ЛЖ41



Рисунок 2. «Наши земляки на аренах мирового спорта», г. Лесной, во время интервью ЛЖ27

«Прелесть» рекордов хорошо объяснили П. Вайль и А. Генис: «Спортивные ку-миры ближе и понятнее других — политиков, писателей, ученых. Чемпионы делают то же, что от природы умеет каждый, просто лучше» (Вайль, Генис, 2013: 240). А для жителей маленького города, как кажется, прославленные земляки оказываются еще ближе просто в силу компактности социального пространства. В Лесном разные люди говорили о том, что кто-то учился в той же школе, что и известный «в мировом масштабе» (ЛЖЗо) олимпийский чемпион по плаванию А. Попов, кто-то занимался у одного с ним тренера.

В Краснотурьинске гордятся своим А. Поповым — родившимся в этих краях изобретателем радио: «это тоже все-таки гордость, это мирового [уровня]», 75-летний информант акцентировал личную причастность, рассказав, как ему «от горкома поручали... завезти подарки двум дочерям» Попова в Ленинграде (КрМ75). В молодых городах и знаменитости относительно молоды, благодаря чему столь хорошо работают горизонтальные механизмы коммуникативной памяти.

Люди говорят о мировом масштабе в своей собственной логике, однако опираются при этом на некие общепринятые, официально заданные ориентиры, к тому же нередко материально воплощенные в пространстве города. Это дает основания говорить о значимости систематических усилий по масштабированию «сверху». Так, в Краснотурьинске уже в 1945 году отцы новообразованного города пытались конвертировать символический капитал «родины творца радио А.С. Попова» в финансовый и материальный. В связи с 50-летием изобретения радио председателю Совнаркома СССР Сталину было адресовано письмо с просьбой о содействии в строительстве бани, театра, библиотеки, водопровода, благоустройстве дорог, доставке рентгенооборудования и т. п.; имя Попова на двух с половиной страницах названо трижды. Год спустя подобный документ будет направлен в союзные министерства и Свердловский облисполком¹², а в 1949 году именем Попова будут продвигать сплошную радиофикацию города.

В конце 1950-х годов в Краснотурьинске открыли музей и памятник — мемориалы как места памяти по П. Коннертону (Connerton, 2009). Несмотря на признание мирового статуса Попова, его бюст установили хотя и неподалеку от центра города, но не на центральной площади, которую в 1963 году увенчает, согласно советской табели о рангах, большая скульптура Ленина. Зато фотооткрытка 1964 года (рис. 3) помещает Попова в середину монтажной композиции, «возвращая» ему тем самым подобающее центральное место.

12. Письмо Председателю Совета народных комиссаров И. В. Сталину, б.д., не ранее 07.05.45, не позднее 25.07.45, письмо министру цветной металлургии СССР тов. Ломако П. Ф., министру строительства предприятий тяжелой индустрии СССР тов. Юдину А. П., Председателю исполнительного комитета Свердловского областного совета депутатов трудящихся тов. Ситникову Г.С. 23.10.46. Центр документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 949. Оп. 1. Д. 9а. Л. 24–26, 28–30.



Рисунок 3. «Виды Кrasнотурьинска — родины изобретателя радио А. С. Попова». 1964 г.
Государственный архив Свердловской области. Ф. 1. Оп. 30. Л. П-2817

По схеме Уинтера место памяти «изобретатель радио Попов» находится в стадии институционализации и рутинизации. Тот факт, что о нем вздох говорят и стар и млад, свидетельствует о произошедшей на стыке коммуникативной (личная сопричастность) и культурной (памятник, музей) памяти собственно символической капитализации. Другими словами, это живое место памяти, обеспечивающее краснотурьинцам портал в мировую культуру. Вместе с тем в плане современной туристической привлекательности оно порождает скепсис:

То, что здесь Попов родился, изобретатель, один из изобретателей радио, это, конечно, славно. Но я думаю, мало кто захочет, даже в туристических целях ехать сюда из-за этого. Чтобы посмотреть его дом, где он жил, собственно. К тому же Попов, он всё-таки вызывает споры как изобретатель радио.
(КрМ25)

Как видим, мировой масштаб активно проговаривается, но не с теми интонациями, которые стали привычными в связи с глобализацией как процессом интеграции различных аспектов жизни стран мира. Когда-то героически возводимые, до сих пор сохраняющие статус градообразующих во многих городах, предприятия изучаемых поселений сегодня принадлежат крупным холдингам. Их «глобальность» воспринимается если не причиной бед, как в случае с краснотурьинским БАЗом, то источником зависимости и отчуждения одновременно, поскольку тесно сращенное с городом предприятие изымается из него, становясь звеном в большой сети почти обезличенных экстерриториальных корпораций.

По мнению информантов, однако, не глобальные процессы приходят в уральские города, а, наоборот, выдающиеся уральцы выходят в большой мир, а малая родина благодарно греется в лучах их славы. Конкуренция в первенстве открытия радио, собственно, как раз и есть эффект глобализации, который либо игнориру-

ется, либо, как в приведенной выдержке, считается противоречащим принятому статусу своего изобретателя Попова. Таким образом, «мировое» несколько отличается от «глобального» (во всяком случае, возникает необходимость в уточнениях) и актуализируется вектор от локального к мировому, а не наоборот. Есть и еще один аспект различия глобального и мирового. Если в концепции Д. Леви и Н. Шнайдера (Levy, Sznaider, 2001) глобальность памяти завязана на трагический опыт и обеспечивается современными медиа (см. также: Александер, 2013), то в зафиксированных нами сюжетах фигурирует другое основание — мировая значимость достижений уроженцев здешних мест.

Для небольшого «затерянного в тайге» поселения (так СМИ называли изучаемые города в пору их юности) очень важно иметь способы расширения вовне, как и наличный опыт управления масштабами. Именно эту потребность удовлетворяют знаменитости «не городского масштаба, а дальше» (КрЖ77). Кроме того, на наш взгляд, память о земляках-спортсменах, изобретателях и музыкантах помогает преодолеть односторонность города при заводе, насыщая его столь дефицитным в монопоселении разнообразием. Воспринимаемая близость к знаменитому земляку помещает уральский город на пересечение общемирового и частно-биографического масштабов.

Официально закрепленные и вернакулярные имена городов, улиц и площадей, парков, стадионов, других значимых объектов имеют эффект канонизации и реификации определенного исторического нарратива, осуществляя таким образом контроль над пространством и временем, ландшафтом и историей (ср.: Light et al., 2002: 135–136). Заречный хранит память о временах побратимства с Таховским районом Чехословакии (Параскивиди, 2012) в названии гостиницы «Тахов» и Таховского бульвара: «мы обменивались. Там постоянно наши ездили в Тахов, из Тахова к нам ездили» (ЗЖ18). Другой слой памяти акцентирует не международные связи, а утраченное сегодня процветание:

Когда-то это была самая такая всеобщая торговая зона... вдоль всей улицы куча магазинов, центральный магазин там, Дом торговли. Вообще Таховский бульвар у нас когда-то был основным бульваром, то есть там отдыхала молодежь... и более взрослые люди. (ЗМ23)

В этих высказываниях устами двадцатилетних воспроизводятся важные аспекты специфически советского мироустройства: необычность контактов с заграницей (чехи как люди «с другой планеты», согласно одному из воспоминаний [Параскивиди, 2012]), особая роль торговли при всеобщем дефиците — Заречный благодаря БАЭС заметно выделялся хорошим снабжением.

Современные критические топонимические исследования привлекают внимание к идеологическому, а также расовому, гендерному и коммодифицирующему производству ландшафтов (Rose-Redwood et al., 2010: 457). На постсоциалистическом пространстве больше всего бросается в глаза, конечно, идеологическая ком-

понента названий. Созданные в 1940–1950-е годы, наши молодые города, безусловно, воплотили в своем облике стиль большой советской истории (ср.: Рожанский, 2013). В частности, эта связь работает через запечатление в урбанонимах факта участия в его создании людей из разных концов страны. Так, краснотурьинцы с гордостью называют свой город «маленьким Ленинградом»: центральная площадь с полукруглыми зданиями и трехлучием улиц напоминает очертаниями северную столицу. Масштаб краснотурьинского места памяти не дотягивается до XVIII века, когда Санкт-Петербург обрел свой «трезубец» сходящихся у Адмиралтейства главных улиц и, чуть позднее, изгиб Главного штаба на Дворцовой площади, включенной ныне в список *всемирного* наследия. Тем не менее в проектировании Краснотурьинска участвовали ленинградские архитекторы, и именно этот масштаб советской эпохи закрепляет вернакулярное имя «маленький Ленинград».

В Заречном название улицы Ленинградской первоначально тоже вплеталось в советский героико-романтический нарратив ударной стройки Белоярской ГРЭС, куда в 1956 году прибыло около четырехсот ленинградцев: «погрузились на автомашины, и с песнями под баян и гитару нас повезли на стройку... Разместили в вагончиках... установленных в 2 ряда и назвали улицу Ленинградской» (Захаров, 2011). Сегодня в изложении 18-летней жительницы Заречного в этой истории на первый план уверенно выступает уже Санкт-Петербург:

А вы знаете, почему улица Ленинградская — улица Ленинградская? <...> Вообще изначально эта улица называлась не улицей, а линией. Потому что сюда же приезжало очень много народа из Санкт-Петербурга, в то время это Ленинград был. И здесь в основном жили из Питера люди. И называли «линия», потому что у них же там линии, а не улицы. (ЗЖ18)

По Уинтеру, происходит трансформация (третья фаза) места памяти «улица Ленинградская», когда официальный топоним и его смысл еще сохраняются, но уже заметно теснятся новыми словами «Санкт-Петербург» и «Питер». Думается, здесь мы имеем дело с очень интересным феноменом, когда изменение семантических акцентов увеличивает временную глубину. Ведь если «Ленинград» принадлежит к шкале советского периода, то «Санкт-Петербург» задает уже более широкие рамки референции, а возможная, но (пока) никак не артикулированная связь краснотурьинского трехлучия с версальскими и римскими — почему бы и нет? — прообразами обозначила бы совсем иные горизонты.

В целом же память о том, из каких далеких и замечательных мест приезжали строители, помещает уральский городок в центр внимания всей страны. Накапливаясь, этот опыт включенности так же, как и авторитет известного имени, превращается в символический капитал молодого поселения.

Локальное: регион и город

Значимость «принадлежащих» молодым городам мест памяти для мира и страны, как мы видели, в рассказах горожан обладает небольшой временной глубиной, в пределах «рукопожатий» двух-трех поколений. Более серьезная длительность рифмуется, как показало исследование, с локальным масштабом.

В Заречном нам поведали о найденном неподалеку древнем поселении Боярка I (см.: Чаиркина и др., 2005; Старостин, 2002; Чирков, 2002; Горохова, 2015):

А еще у нас в Боярке вот если вот там вот так вот прямо проехать, там будет большой мост, на Екатеринбург дорога. И вот возле этой дороги нашли древнее-древнее-древнее поселение... святое место, как Аркаим, такое же место у нас, представляете? ...В нашей школе работала женщина, которая занималась исследованием нашей местности. Там тоже производились раскопки, были найдены предметы быта... пиктограммы были найдены. (ЗЖ18)

Пожалуй, это единственный сюжет в интервью, когда конкретная местность («у нас», подчеркивает информантка) обнаружила зашкаливающую временную глубину — «древнее-древнее-древнее». Симптоматично, что 4000-летний Аркаим на Южном Урале, с которым девушка сравнивает свою Боярку, имеет статус историко-культурного заповедника *областного* значения. Как Краснотурьинск с его замечательной площадью проговаривает родство лишь с советским Ленинградом, так и Боярка с Аркаимом претендуют на значимость лишь на местном уровне. Самим своим бытованием и в народной молве, и в официальных полномочиях (областной статус Аркаима закрепен в Уставе заповедника [Аркаим, 2016]) эти места словно преуменьшают собственный масштаб¹³.

Описания Урала в интервью фактически воспроизводят сложившийся еще в XIX веке геокультурный образ (Абашеев, 2016; ср.: Анимича, Власова, 2016), в котором восхищение природой совмещается с прагматикой ее эксплуатации (Веселкова, Вандышев, Прямикова, 2016). Под наслоениями XX века открывается «сырьевой край... с историей и природой всей», «древняя история» тут глубиной в несколько столетий — «основа старательская вся», когда «тут платину, золото» добывали (КМ59).

Горнозаводскую «суть» региона воплощает краеведческий музей, в тематический спектр которого обязательно входят «минералы»: «Есть, естественно, зал с уральскими камнями. Это же Урал! Здесь же добыча. Различные минералы» (ЛЖ28). Во время интервью участница привезла исследователя в удаленный уголок Лесного, чтобы показать:

13. На примере Аркаима специалисты анализируют и прямо противоположный феномен преувеличения масштабов — в терминах В. Шнирельмана, это «мегаломания» и «гиперболизация культурного значения» с этноцентрическим уклоном. Согласно этой точке зрения, распространению далекого от науки «романтизированного» представления об Аркаиме отчасти способствовали сами археологи, сначала для защиты от грозившего ему затопления при строительстве водохранилища, но также и по другим причинам, включая неумение общаться с журналистами (Шнирельман, 2014; Куприянова, 2014).

Прямо Урал-Урал, т.е. тут горы, скалы, пруд есть свой, речка. Карьер... Вот этот вот, по моему мнению, наверное, самое такое уральское-уральское. (ЛЖ28)

Этот образ, в котором тесно переплелись рукотворное и нерукотворное, встречается в разных интервью: «промышленность, геология» (КМ59), горы и пруд, карьер — все вместе и составляет исконный (стереотипный) «Урал-Урал».

В отличие от региона, у населенного пункта, как правило, есть четкая дата основания, и здесь очень важным оказывается, с какими именно событиями и даже территориями готовы себя идентифицировать его жители. Идеология социалистического города провозглашала принципиальный отрыв от прошлого, поэтому вся история молодого поселения — это только его собственная история, начатая с нулевой отметки. Однако в материалах исследования, порою даже в пределах одного интервью, проступает развилка — между «новым началом» (Ассман, 2012), 50–70 лет назад на голом месте, и включенностью в более широкие пространственно-временные контексты. К примеру, Лесной уверенно масштабируется относительно себя самого, так что «очень-очень старыми» предстают улицы и строения времен основания, как образованная в 1949 году ул. Мамина-Сибиряка. И тут же атомград будто хочет слиться с Нижней Турой, где «очень красивые памятники» и когда-то производили якоря «для старинных... кораблей» (ЛЖ30), как если бы молодому поселению было тесно в официально отведенных границах пространства и времени.

Масштаб города обыгрывает (не)уникальность локального. Распознавание уникального требует особой компетентности: когда бы не настойчивые указания информантов, мы вряд ли смогли бы оценить особые 12-этажки Качканара или оранжевый цвет Заречного (рис. 4).



Рисунок 4. Оранжевые фонари, г. Заречный, во время интервью ЗЖ21

Для зареченцев оранжевый — не просто «цвет позитива» (ЗМ23), они считают его своей достопримечательностью и видят повсюду:

Даже мусорки у нас оранжевого цвета. И даже есть местная группа... у них в песне есть: «Это город оранжевых фонарей». (ЗЖ18)

Масштабирование в качестве уникально-зареченского в данном случае происходит как целенаправленно, так и стихийно, и сверху, и снизу: официальная версия ставит окраску фонарей в заслугу одному из мэров (Параскивиди, 2014), неофициальная — связывает с традиционным зареченским карнавалом и известной шоу-группой «Уральские пельмени»:

В один год, я еще маленькая была, [на карнавал] приезжали «Уральские пельмени». Мне, наверно, лет 10 было тогда или 8. И был открытый микрофон, задавали горожане свои вопросы. И одна маленькая девочка спросила: «А почему у вас рубашки оранжевые, как наши столбы?» На что один из «пельменей» ответил, что они ночью по столбам нашим лазили. И все, и — «город оранжевых фонарей». Ну, мне кажется, у нас только перед карнавалом цвет у них обновляют, чтобы они были сочными. (ЗЖ21)

Временная глубина этого места памяти, как показывает цитата, соразмерна биографии двадцатилетних горожан. Поскольку зареченцы считают свой карнавал событием как минимум регионального значения, это придает дополнительный вес оранжевому колориту, как бы увеличивая его масштаб.

Есть и обратная закономерность, когда позиционирование какого-то явления в качестве уникального, присущего только этому месту, происходит за счет преуменьшения масштаба. Так, в Качканаре цифровое обозначение адреса без названия улицы, но по номеру микрорайона составляет предмет гордости как нечто отличающее качканарцев от обитателей других городов. Удивление посторонних, о котором нам тоже говорили, подчеркивает весомость локальной компетентности. Вместе с тем номерное именование мест — распространенная во всем мире практика¹⁴, хорошо знакомая и в уральских поселениях. В Лесном до сих пор сохранилось обозначение ряда территорий как номерных кварталов. В Краснотурьинске подобная практика сошла на нет, стирая память о том, что некоторые районы идентифицировались по номерам отрядов трудовой армии, относившейся к ГУЛАГу.

Наряду с уникальностью наши информанты подчеркивают и типологические черты своих городов. Скептически настроенный молодой человек из Лесного считает, что его «хороший и милый городишко... ничем не отличается от других», вроде Березовского или Среднеуральска, кроме административного статуса.

14. Критический анализ кажущейся нейтральной практики номерной топонимики см.: Rose-Redwood et al., 2010; Rose-Redwood, Alderman, 2011.

А с закрытыми городами у Лесного и административный статус одинаков, что делает последствия унификации особенно заметными:

Города строились в общем в одно и то же время по очень похожим генпланам...кинотеатр «Ретро» по Ленина у нас находится, так вот в Сарове... точно такое же здание кинотеатра стоит, но у них это называется Дом культуры, а у нас кинотеатр (усмехается). Вполне возможно, что у них есть такое же здание, как у нас называется Дом культуры — а у них оно называется кинотеатром. (ЛМ27).

Подчеркивание стандартности, одинаковости выполняет идентификационную функцию, помогая отнести населенный пункт к определенной категории: закрытый, малый, советский:

У нас есть Дом культуры «Современник» в центре города, он во всех закрытых городах один и тот же. Желтое здание с белыми колоннами, в центре площади Ленин», «они типовые в закрытых городах... Снежинск, Трехгорный, там то же самое, точно такой же Дом культуры, точно такой же Ленин, по-моему, стоит. Ну и много очень похожих зданий. (ЛМ27)

Заключение: подводные камни и перспективы

Взгляд на места памяти сквозь масштабирование демонстрирует их разнопорядковость и изменчивость, а также привлекает внимание к самой логике определения масштаба. В период закладки изучаемых городов непомерные усилия оправдывались высокой целью, смысл конкретных работ и следующей за ним по пятам меморизации превосходили то, что непосредственно осуществлялось на месте. Строительство алюминиевого завода в Краснотурьинске под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» считалось жизненно важным для всей страны, а если учесть мировой характер войны, то и всего мира. Качканарская стройка, быстро исчерпавшая местные трудовые ресурсы, была объявлена всесоюзной комсомольской, тем самым расширив свой масштаб до всей страны.

Мировой и национальный масштабы позволяют жителям небольших молодых поселений ощущать связь с другими городами и странами, причастность большой истории. Мировое в данном случае не тождественно глобальному. Глобализация приходит через включение градообразующих предприятий в крупные промышленные холдинги, делая уральские моногорода зависимыми от мировой экономической конъюнктуры. Они начинают испытывать на себе риски, генерируемые за их пределами, когда экономическое положение в большей степени зависит от биржевых котировок, чем от собственной активности предприятия, как было в случае с краснотурьинским БАЗом. Глобальных в этом смысле мест памяти нам не встретилось — потому ли, что эти процессы не обрели еще нужных очертаний, в силу неприязни ли к ним горожан, но максимальный — мировой — масштаб памяти

связан не с корпорациями, его воплощают чаще всего знаменитые спортсмены или деятели науки и культуры.

Места памяти локального масштаба символически связывают людей в единую территориальную общность, пунктирно задавая общее понимание пространства и локальную компетентность. Такие места памяти могут показаться удручающе одинаковыми в разных городах: одни и те же названия улиц, похожие памятники, типовая архитектура и пр. В то же время каждый городской контекст порождает и уникальные конструкты вроде зареченских оранжевых фонарей, правда, трудноразличимые для новичков, не обладающих локальной компетентностью.

С точки зрения временной глубины самыми мощными оказались места памяти, аккумулирующие семантику уральского региона, здесь счет идет на столетия и тысячелетия. Более крупные масштабы страны и мира, как и более мелкий масштаб города, оперируют куда более скромной временной шкалой, в пределах биографии двух-трех поколений.

Таким образом, наш подход продемонстрировал возможности работы с пространственно-временными размерностями, но также высветил и ограничения, присущие исходным исследовательским традициям. В концепции мест памяти к таковым относится, во-первых, приоритет положительно заряженной памяти. Как и у П. Нора, в наших интервью едва ли не все места предстают как места славы, тогда как «трудные места памяти» (Кочеляева, 2015) присутствуют отрывочно и малосвязно.

Во-вторых, ограничением выступает ригидность мест памяти, в трактовке П. Нора представляющих собой мумифицированные останки некогда живых воспоминаний (Нора, 1999: 26–27). Наше утверждение про «живое место памяти» в этой логике становится противоречием в определении. Справиться с данной трудностью помогает смена фокуса с коллизии «история vs память» на коллизии в устройстве самой социальной памяти: «коммуникативная vs культурная», «официальная vs неофициальная» и т. п. Место памяти «изобретатель радио Попов», как было показано, делает живым именно баланс коммуникативной и культурной памяти. Статичность исходного понятия мест памяти преодолевается через обращение к этапам жизненного цикла, одной трехчастной схемы, правда, недостаточно, чтобы эффективно отслеживать возникающие и затухающие констелляции памяти.

Встроенной опасностью скалярного подхода, как хорошо показано в гуманитарной географии (Marstonetal, 2005; Kaiser, Nikiforova, 2008), является воспроизводство иерархий, тяготеющее к онтологизации масштабов и закреплению познавательной оптики «сверху вниз». Противовесом онтологизации служит внимание к конструируемости мест памяти на той или иной шкале, происходящее целенаправленно или стихийно, сверху или снизу. Антидотом против натурализации иерархизирующего взгляда с верхних этажей выступает изучение ситуации с позиции «обычных» горожан и снова различение масштабирования сверху и снизу.

Наконец, существует соблазн отождествлять большие масштабы с официальной культурной памятью, противопоставляя им «memory talks» неофициальной коммуникативной памяти в пределах маленького поселения (как это получилось, например, в исследовании Кэтрин Дегнен (Degnen, 2005)). Наши сюжеты показывают, что большая временная глубина и всемирная значимость вполне могут корениться, «жить» и в связях лично-биографической размерности.

Очевидно, что все это не фатальные угрозы и внимание к подобным ловушкам помогает обогатить изучаемую картину, делая ее более объемной. С учетом обозначенных подводных камней в рамках предложенного подхода весьма перспективным видится изучение масштабирования как процесса, идущего сверху и снизу, целенаправленно и стихийно, официально и неформально. Особый интерес представляют эпизоды пересечения масштабов, скольжение мест памяти по шкалам, фиксируемое через эффекты преуменьшения и преувеличения масштаба. Сформированная на этом этапе методологическая рамка нуждается в теоретической «доводке» и эмпирической проверке на других материалах, однако в целом представляется весьма перспективной.

Литература

- Абашев В. В. (2016). Увидеть Урал: ландшафтные описания Вас. И. Немировича-Данченко и Д. Н. Мамина-Сибиряка // Уральский исторический вестник. № 1. С. 25–31.
- Абрамов Р., Терентьев Е. (2014). Символическое пространство культуры памяти: два топонимических кейса // ИНТЕР. № 8. С. 73–85.
- Аверкиева К. В., Антонов Е. В., Денисов Е. А., Фаддеев А. М. (2015). Территориальная структура городской системы севера Свердловской области // Известия РАН. Серия географическая. № 4. С. 24–38.
- Александр Дж. (2013). Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Пер. с англ. Г. К. Ольховикова под ред. Д. Ю. Куракина. М.: Праксис.
- Анимица Е. Г., Власова Н. Ю. (2016). Эволюция и основные составляющие образа Урала // Географический вестник. № 3. С. 28–35.
- Анимица Е., Дворядкина Е., Некрасов В. (2004). Горнозаводские города: научно теоретические аспекты исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та.
- Аркаим. (2016). Устав областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный историко-культурный заповедник „Аркаим“». URL: http://www.arkaim-center.ru/informacia_ob_uchrezdenii/ (дата доступа: 23.12.2016).
- Ассман А. (2012). Трансформации нового режима времени / Пер. с англ. Вл. Кучерявкина под ред. А. Скидана // Новое литературное обозрение. № 4. С. 16–31.
- Ассман А. (2014). Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение.

- Ассман Я. (2004). Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М. М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры.
- Баранов Н. Н. (2013). «Места памяти»: успешная реконструкция в европейском издательском проекте // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. № 3. С. 273–280.
- Бродель Ф. (2002). Предисловие к первому изданию // Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 1: Роль среды / Пер. с франц. М. А. Юсима. М.: Языки славянской культуры. С. 15–23.
- Вайль П., Генис А. (2013). 60-е: мир советского человека. М.: АСТ, CORPUS.
- Вандышев М. Н., Веселкова Н. В., Прямикова Е. В. (2012). Практика жизнеобеспечения населения моногородов: между прошлым и будущим // Развитие городов в условиях глобализации. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. С. 113–118.
- Веселкова Н. В. (2016). Кто знает ваш Качканар? Труды и дни уральского моногорода // Лабиринт. № 3–4. С. 50–61.
- Веселкова Н. В., Прямикова Е. В., Вандышев М. Н. (2016). Места памяти в молодых городах. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та.
- Веселкова Н. В., Вандышев М. Н., Прямикова Е. В. (2016). Дискурс природы в молодых городах // Социологическое обозрение. Т. 15. № 1. С. 112–133.
- Ганжа А. (2014). Тематизация времени в советской массовой песне // Логос. № 3. С. 41–66.
- Ганжа А. (2013). «Легендарного времени крестники»: рождение советского универсализма из рефлексии коллективного погружения в обновляющую стихию темпорального // Глушченко И. В., Куренной В. А. (ред.). Время, вперед! Культурная политика в СССР. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ. С. 95–107.
- Горохова Т. (2015). Вот моя деревня — вот мой край родной // Зареченская ярмарка. 17 сентября. № 38.
- Денисов В. (2010). Качканар — достояние России // Наш современник. № 6. С. 248–259.
- Джадт Т. (2011). «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? // Семенов А. М., Герасимов И. В., Могильнер М. Б. (ред.). Империя и нация в зеркале исторической памяти. М.: Новое издательство. С. 45–74.
- Захаров Д. (2011). Любопытное прошлое (какими они были, первые строители Заречного) // Зареченская ярмарка. 18 августа. № 33. URL: http://zar-yarmarka.ru/2011/33/Kakimi_oni_bili_pervie_stroiteli_Zarechnogo (дата доступа: 22.12.2016).
- Кочеляева Н. А. (2015). Методология работы с культурой памяти: «трудные места» и их представление в публичном пространстве // Божков О. Б. (ред.). Наше прошлое: ностальгические воспоминания или угроза будущему? Материалы VIII социологических чтений памяти В. Б. Голофаства. СПб.: Эйдос. С. 104–109.

- Куприянова Е. В. (2014). Поселение Аркаим и популяризация археологии на Южном Урале (к вопросу о проблемах взаимодействия науки и массового сознания) // *Этнографическое обозрение*. № 5. С. 146–161.
- Маслова А. Н. (2011). Моногорода в России: проблемы и решения // *Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование*. Т. 4. № 5. С. 16–28.
- Нора П. (1999). Проблематика мест памяти // *Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., Винок М.* Франция—память / Пер. с франц. Д. Хапаевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 17–50.
- Олик Дж. (2012). Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии / Пер. с англ. Д. О. Хлевнюк // *Социологическое обозрение*. Т. 11. № 1. С. 40–74.
- Параскивиди Е. (2012). Чешский брат Заречного // *Зареченская ярмарка*. 26 апреля. № 17.
- Параскивиди Е. (2014). 1996 год — оранжевые фонари Карпеича и тюльпаны на улицах // *Зареченская ярмарка*. 2 октября. № 40.
- Правительство Российской Федерации. (2014). Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). Утвержден распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р. URL: <http://government.ru/media/files/41d4f68fb74d798eae71.pdf> (дата доступа: 23.12.2016).
- Рожанский М. (2013). Деколонизация городского пространства: топонимия // *Пугачева М. Г., Жарков В. П.* (ред.). Пути России: историзация социального опыта. М.: Новое литературное обозрение. С. 9–32.
- Рождественская Е. Ю., Семенова В. В. (2011). Социальная память как объект социологического изучения // *ИНТЕР*. № 6. С. 27–48.
- Старостин А. (2002). «Такие находки для нас ценнее клада!» // *Областная газета*. 14 августа. № 167.
- Терентьев Е. А. (2014). Топонимические практики как объект социологического исследования: аналитический обзор // *Вестник Российского университета дружбы народов*. Серия: Социология. №. 3. С. 73–86.
- Терентьев Е. А. (2015). Переименование советских топонимов в Санкт-Петербурге: анализ публичных дискуссий // *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. 18. № 2. С. 72–86.
- Тимофеев М. Ю. (2014). «Советский город»: инструкция по эксплуатации // *Липатова Н. В.* (ред.). Региональная идентичность в историческом и культурном пространстве России: VIII Сытинские чтения: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти историка С. Л. Сытина (Ульяновск, 25–26 сентября 2014 г.). Ч. 1. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения. С. 108–113.
- Трубина Е. Г. (2013). Примиряясь с упадком: руины 2.0 // *Неприкосновенный запас*. № 3. С. 175–194.

- Трубина Е. Г. (2016). Жизнестойкость и ее обсуждение в российском и зарубежном социально-гуманитарном знании // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. Т. 11. № 3. С. 65–77.
- Тульчинский Г. Л. (2011). От «спасения» и выживания к инновационному развитию: социальное партнерство как основа решения проблемы моногородов // Муниципальная власть. № 2. С. 36–40.
- Тургель И. Д. (2010). Монофункциональные города России: от выживания к устойчивому развитию. Екатеринбург: Изд-во РАГС.
- Тургель И. Д., Божко Л. Л., Линьши С. (2016). Государственная поддержка развития моногородов России и Казахстана // Вестник финансового университета. № 2. С. 22–32.
- Уинтер Дж. (2016). Война, память, воспоминание / Пер. с англ. А. Хазиной и Ф. Николаи // Диалог со временем. № 56. С. 5–15.
- Фонд развития моногородов. (2016). URL: <http://www.frmrus.ru/> (дата доступа: 23.12.2016).
- Чаиркина Н. М., Кузьмина А. С., Шорин А. Ф. (2005). Поселение Боярка I // Археологические открытия 2004 года. М.: Наука. С. 150–151.
- Чаиркина Н. М., Широков В. Н., Шорин А. Ф. (2012). Урал в контексте древне-го историко-культурного наследия Северной Евразии // Алексеев В. В. (ред.). Стратегия и практика исследовательского поиска в отечественной истории: региональный аспект: Материалы научной конференции. Екатеринбург: Изд-во АМБ. С. 161–169.
- Чирков С. (2002). Боярка — поселение древних // Уральский рабочий. 24 июля. № 135. С. 3.
- Шнирельман В. А. (2014). Аркаим и Стоунхендж между прошлым и будущим // Этнографическое обозрение. № 5. С. 19–40.
- Шорин А. Ф. (ред.). (2001). Археологические памятники Шигирского торфяника. Екатеринбург: Банк культурной информации.
- Эткинд А. (2014). Внутренняя колонизация: имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд А., Уффельманн Д., Кукулин И. (ред.). (2012). Там, внутри: практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое литературное обозрение.
- Alderman D. H. (2003). Street Names and the Scaling of Memory: The Politics of Commemorating Martin Luther King Jr. within the African American Community // Area. Vol. 35. № 2. P. 163–173.
- Brenner B. (1999). Globalisation as Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban Governance in the European Union // Urban Studies. Vol. 36. № 3. P. 431–451.
- Chairkina N. M. (2014). Anthropomorphic Wooden Figures from the Trans-Urals // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. Vol. 42. № 1. P. 81–89.
- Connerton P. (2009). How Modernity Forgets. Cambridge: Cambridge University Press.

- Degnen C.* (2005). Relationality, Place and Absence: A Three-Dimensional Perspective on Social Memory // *Sociological Review*. Vol. 53. № 4. P. 729–744.
- Dukes P.* (2015). A History of the Urals: Russia's Crucible from Early Empire to the Post-Soviet Era. London: Bloomsbury.
- Engelking C.* (2015). AWESOME! Mysterious Wooden Statue Predates Stonehenge, the Pyramids! // *Discover*. September 2. URL: <http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2015/09/02/mysterious-wooden-statue/#.WGIFKNKLSoo> (дата доступа: 21.12.2016).
- Etkind A.* (2011). Internal Colonization: Russia's Imperial Experience. Cambridge: Polity Press.
- Giovanardi M.* (2015). A Multi-Scalar Approach to Place Branding: The 150th Anniversary of Italian Unification in Turin // *European Planning Studies*. Vol. 23. № 3. P. 597–615.
- Gurvitch G.* (1955). Déterminismes sociaux et liberté humaine. Paris: Presses Universitaires de France.
- Gurvitch G.* (1964). The Spectrum of Social Time. Dordrecht: D. Reidel.
- Hagen J.* (2011). Theorizing Scale in Critical Place-Name Studies. // *ACME*. Vol. 10. № 1. P. 23–27.
- Halbwachs M.* (1980). The Collective Memory / Transl. F. J. Ditter Jr., V. Y. Ditter. New York: Harper & Row.
- Hoogesteger J., Verzijl A.* (2015). Grassroots Scalar Politics: Insights from Peasant Water Struggles in the Ecuadorian and Peruvian Andes // *Geoforum*. Vol. 62. P. 13–23.
- Isin E. F.* (2007). City. State: Critique of Scalar Thought // *Citizenship Studies*. Vol. 11. № 2. P. 211–228.
- Kaiser R., Nikiforova E.* (2008). The Performativity of Scale: The Social Construction of Scale Effects in Narva, Estonia // *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 26. № 3. P. 537–562.
- Levy D., Sznajder N.* (2001). Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Liesowska A.* (2015). Shigir Idol is Oldest Wooden Sculpture Monument in the World, Say Scientists // *The Siberian Times*. 26 August.
- Light D., Nicolae I., Suditu B.* (2002). Toponymy and the Communist city: Street names in Bucharest, 1948–1965 // *GeoJournal*. Vol. 56. № 2. P. 135–144.
- Maher K. H., Carruthers D.* (2014). Urban Image Work // *Urban Affairs Review*. Vol. 50. № 2. P. 244–268.
- Marston S. A.* (2000). The Social Construction of Scale // *Progress in Human Geography*. Vol. 24. № 2. P. 219–242.
- Marston S. A., Jones J. P. III, Woodward K.* (2005). Human Geography without Scale // *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series*. Vol. 30. № 4. P. 416–432.
- Marston S. A., Smith N.* (2001). States, Scales and Households: Limits to Scale Thinking? A Response to Brenner // *Progress in Human Geography*. Vol. 25. № 4. P. 615–620.

- Nielsen E. H., Simonsen K. (2003). Scaling from «Below»: Practices, Strategies and Urban Spaces // *European Planning Studies*. Vol. 11. № 8. P. 911–927.
- Nora P. (1996). General Introduction: Between Memory and History // *Nora P. (ed.). Realms of Memory: Rethinking the French Past*. Vol. 1. New York: Columbia University Press. P. 1–20.
- Rannila P. (2011). Scale and the Construction of Urban Space: Temporary Re-scaling in Lahti, Finland, during the European Union Meeting of 2006 // *Norwegian Journal of Geography*. Vol. 65. № 2. P. 93–103.
- Rose-Redwood R., Alderman D. (2011). Critical Interventions in Political Toponymy // *ACME*. Vol. 10. № 1. P. 1–6.
- Rose-Redwood R., Alderman D. H., Azaryahu M. (2010). Geographies of Toponymic Inscription: New Directions in Critical Place-Name Studies // *Progress in Human Geography*. Vol. 34. № 4. P. 453–470.
- Rothberg M. (2010). Introduction: Between Memory and Memory: From lieux de mémoire to noeuds de mémoire // *Yale French Studies*. № 118–119. P. 3–12.
- Shin H., Park S. H., Sonn J. W. (2015). The Emergence of a Multiscalar Growth Regime and Scalar Tension: The Politics of Urban Development in Songdo New City, South Korea // *Environment and Planning C: Government and Policy*. Vol. 33. № 6. P. 1618–1638.
- Swyngedouw E. (2004). Scaled Geographies: Nature, Place and the Politics of Scale // *Sheppard E., McMaster R. (eds.). Scale and Geographic Inquiry*. Malden: Blackwell. P. 129–153.
- Tucker B., Rose-Redwood R. (2015). Decolonizing the Map? Toponymic Politics and the Rescaling of the Salish Sea // *Canadian Geographer*. Vol. 59. № 2. P. 194–206.
- Trubina E. (2012). International Events in the Non-capital Post-Soviet City: Between Place-Making and Recentralization // *Region*. Vol. 1. № 2. P. 231–253.
- Uitermark J. (2002). Re-scaling, «Scale Fragmentation» and the Regulation of Antagonistic Relationships // *Progress in Human Geography*. Vol. 26. № 6. P. 743–765.
- Veselkova N., Pryamikova E., Vandyshev M. (2011). Social Construction of «Monotown» Space: Between Human and Non-Human // *Gibas P., Pauknerová K., Stella M. (eds.). Non-Humans in Social Science: Animals, Spaces, Things*. Červený Kostelec: Pavel Mervant. P. 151–168.
- Winter J. (2008). Sites of Memory and the Shadow of War // *Erl A., Nünning A. (eds.). Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*. Berlin: De Gruyter. P. 61–74.

Young Towns: Scaling Sites of Memory

Natalya Veselkova

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor of the Department of Applied Social Studies,
Ural Federal University

Address: Mira Str., 19, Ekaterinburg, Russian Federation 620002

E-mail: vesselkova@yandex.ru

Mikhail Vandyshev

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor of the Department of Applied Social Studies,
Ural Federal University

Address: Mira str., 19, Ekaterinburg, Russian Federation 620002

E-mail: m.n.vandyshev@gmail.com

Elena Pryamikova

Doctor of Sociological Sciences, Head of the Chair of Social and Political Studies, Ural State Pedagogical
University

Address: Prospekt Kosmonavtov, 26, Ekaterinburg, Russian Federation 620017

E-mail: pryamikova@yandex.ru

It has been assumed to regard young towns built during Soviet times as possessing only a "short history". To deal with the sites of memory of such settlements, an especial research approach is elaborated integrating both theoretical resources of memory studies and scale studies. According to this approach, sites of memory are analyzed as a), in temporal and space coordinates, and b), from the perspective of "ordinary" people. Two groups of scales, 1) worldwide and national, and 2) regional and urban, are considered as the materials of the empirical research in the four young Ural towns of Kachkanar, Krasnoturinsk, Lesnoy, and Zarechny. The main methods of data-gathering were go-along interviewing and photo mapping. The data sources include the archives of the local, regional, and central printed presses, archival documents including minutes of Communist Party meetings, the official website of each town, and others. As our research has shown, the most time-depth, up to centuries and millennia, is characteristic of the sites of memory on a regional scale; in other cases, memory extends no further than the biography of two or three generations. Large scales provide the residents of small settlements with a portal to the big world, helping them to feel a connectedness with other cities and countries. Local-scale sites of memory symbolically unites people in a single community, allowing a shared perception of space and local competence. In conclusion, the analytical traps inherited from the original concepts are discussed as well as the opportunities to overcome them and the prospects for further research, such as the study of scaling as a process, coming from above and below, purposefully and spontaneously, or formally and informally. Of particular interest are the scales intersections, the slip of the sites of memory on the scales, and the fixing by the effects of understatement and exaggeration of scale (scale-ups and scale-downs).

Keywords: scale, rescaling, sites of memory, social memory, mono-town, Ural

References

- Abashev V. (2016) Uvidet' Ural: landshaftnyye opisaniya Vas. I. Nemirovicha-Danchenko i D. N. Mamina-Sibiryaka [See the Ural: Landscape Descriptions by V. Nemirovich-Danchenko and D. Mamin-Sibiryak]. *Uralsky istorichesky vestnik*, no 1, pp. 25–31.
- Abramov R., Terentyev E. (2014) Simvolicheskoye prostranstvo kultury pamyati: dva toponimicheskikh keysa [Symbolic Space of Memory Culture: Two Toponymical Cases]. *INTER*, no 8, pp. 73–85.

- Alderman D. H. (2003) Street Names and the Scaling of Memory: The Politics of Commemorating Martin Luther King Jr. within the African American Community. *AREA*, vol. 35, no 2, pp. 163–173.
- Alexander J. (2013) *Smysly sotsialnoy zhizni: kultursotsiologiya* [The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology], Moscow: Praxis.
- Animitsa E., Vlasova N. (2016) Jevoljucija i osnovnye sostavljajushhie obraza urala [Evolution and Main Components of Image of the Urals]. *Geographical Bulletin*, no 3, pp. 28–35.
- Animitsa E., Dvoryadkina E., Nekrasov V. (2004) *Gornozavodskije goroda: nauchno-teoreticheskiye aspekty issledovaniya* [Mining Industrial Cities: Theoretical Aspects of Scientific Research], Ekaterinburg: Ural State Economic University Press.
- Arkaim (2016) Ustav oblastnogo gosudarstvennogo byudzhetnogo uchrezhdeniya kultury "Chelyabinskij gosudarstvennyy istoriko-kulturnyy zapovednik 'Arkaim'" [Charter of Regional State budgetary Culture Institution "Chelyabinsk State Historical and Cultural Reserve Arkaim"]. Available at: http://www.arkaim-center.ru/informacia_ob_uchrezhdenii/ (accessed 23 December 2016).
- Assmann A. (2014) *Dlinnaya ten proshlogo: memorialnaya kultura i istoricheskaya politika* [The Long Shadow of the Past: The Memorial Culture and Historical Policy], Moscow: New Literary Observer.
- Assmann A. (2012) Transformatsii novogo rezhima vremeni [Transformation of the New Time Regime]. *New Literary Observer*, no 4, pp. 16–31.
- Assmann J. (2004) *Kulturnaya pamyat: pismo, pamyat o proshlom i politicheskaya identichnost v vysokikh kulturakh drevnosti* [Cultural Memory: Writing, Memory about the Past and Political Identity in High Cultures of Ancient Times], Moscow: Languages of Slavic Culture.
- Averkova K., Antonov E., Denisov E., Faddeev A. (2015) Territorial'naja struktura gorodskoj sistemy severa Sverdlovskoj oblasti [Territorial Structure of the Urban System in the North of Sverdlovsk Region]. *Regional Research of Russia*, vol. 5, no 4, pp. 358–370.
- Baranov N. (2013) "Mesta pamjati": uspeshnaja rekonstrukcija v evropejskom izdatel'skom proekte ["Places of Memory": Successful Reconstruction in a European Publishing Project]. *Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts*, no 3, pp. 273–280.
- Braudel F. (2002) Predisloviye k pervomu izdaniyu [Preface to the First Edition]. *Sredizemnoye more i sredizemnomorskiy mir v epokhu Filippa II. Ch.1: Rol sredi* [The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Part 1: The Role of the Environment], Moscow: Languages of Slavic Culture, pp. 15–23.
- Brenner B. (1999) Globalisation as Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban Governance in the European Union. *Urban Studies*, vol. 36, no 3, pp. 431–451.
- Chairkina N. M. (2014) Anthropomorphic Wooden Figures from the Trans-urals. *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*, vol. 42, no 1, pp. 81–89.
- Chairkina N., Kuzmina A., Shorin A. (2005) Poseleniye Boyarka I [Settlement Boyarka I]. *Arkheologicheskiye otkrytiya 2004 g.* [Archaeological Discoveries 2004], Moscow: Nauka, pp. 150–151.
- Chairkina N., Shirokov V., Shorin A. (2012) Ural v kontekste drevnego istoriko-kulturnogo naslediya Severnoy Yevrazii [Ural in the Context of Ancient Historical and Cultural Heritage of Northern Eurasia]. *Strategiya i praktika issledovatel'skogo poiska v otechestvennoy istorii: regionalnyy aspekt: Material'no nauchnoy konferentsii* [Strategy and Practice of Research in Russian History: Regional Aspect: The Conference Proceedings] (ed. V. Alekseev), Ekaterinburg: AMB, pp. 161–169.
- Chirkov S. (2002) Boyarka — poseleniye drevnikh [Boyarka: An Ancient Settlement]. *Uralskiy rabochy*, July 24, no 135.
- Connerton P. (2009) *How Modernity Forgets*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Degen C. (2005) Relationality, Place and Absence: A Three-Dimensional Perspective on Social Memory. *Sociological Review*, vol. 53, no 4, pp. 729–744.
- Dukes P. (2015) *A History of the Urals: Russia's Crucible from Early Empire to the Post-Soviet Era*, London: Bloomsbury.
- Engelking C. (2015) AWESOME! Mysterious Wooden Statue Predates Stonehenge, the Pyramids! Discover, September 2. Available at: <http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2015/09/02/mysterious-wooden-statue/#.WGIFKNKLSo0> (accessed 21 December 2016).

- Etkind A. (2014) *Vnutrennjaja kolonizacija: imperskij opyt Rossii* [Internal Colonization: Russia's Imperial Experience], Moscow: New Literary Observer.
- Etkind A. (2011) *Internal Colonization: Russia's Imperial Experience*, Cambridge: Polity Press.
- Etkind A., Uffelman D., Kukulin I. (ed.) (2012) *Tam, vnutri: praktiki vnutrennej kolonizatsii v kulturnoj istorii Rossii* [There, Inside: Practices of Internal Colonization in the Russia's Cultural History], Moscow: New Literary Observer.
- Ganzha A. (2013) "Legendarnogo vremeni krestniki": rozhdeniye sovetskogo universalizma iz refleksii kolektivnogo pogrusheniya v obnovlyayushchuyu stikhiyu temporalnogo ["The Legendary Time's Godchildren": The Birth of Soviet Universalism from the Reflection on Collective Immersion into the Renewing Substance of Temporality]. *Vremya, vpered! Ku'turnayapolitika v SSSR* [It's Time, Forward! Cultural Policy in the USSR] (eds. I. Glushchenko, V. Kurennoy), Moscow: HSE, pp. 95–107.
- Ganzha A. (2014) Tematizatsiya vremeni v sovetskoy massovoy pesne [Thematization of Time in Soviet Mass Song]. *Logos*, no 3, pp. 41–66.
- Giovanardi M. (2015) A Multi-Scalar Approach to Place Branding: The 150th Anniversary of Italian Unification in Turin. *European Planning Studies*, vol. 23, no 3, pp. 597–615.
- Gorokhova T. (2015) Vot moya derevnya — vot moy kray rodnoy [Here is My Village — This is My Native Land]. *Zarechenskaya yarmarka*, September 17, no 38.
- Government of Russian Federation (2014) Perechen monoprofilnykh munitsipalnykh obrazovaniy Rossiyskoy Federatsii (monogorodov). Utverzhden rasporyazheniyem pravitelstva RF ot 29 iyulya 2014 g. No 1398-r. [List of Single-Industry Municipalities of the Russian Federation (Monotowns). Approved by the RF Government on July 29, 2014 No 1398-p. Available at: <http://government.ru/media/files/41d4f68fb74d798eae71.pdf> (accessed 23 December 2016).
- Gurvitch G. (1964) *The Spectrum of Social Time*, Dordrecht: D. Reidel.
- Gurvitch G. (1955) *Déterminismes sociaux et liberté humaine*, Paris: Presses Universitaires de France.
- Denisov V. (2010) Kachkanar — dostojanie Rossii [Kachkanar is a Property of Russia]. *Nash sovremennik*, no 6, pp. 248–259.
- Halbwachs M. (1980) *The Collective Memory*, New York: Harper & Row.
- Hoogesteger J., Verzijl A. (2015) Grassroots Scalar Politics: Insights from Peasant Water Struggles in the Ecuadorian and Peruvian Andes. *Geoforum*, vol. 62, pp. 13–23.
- Isin E. F. (2007) City.State: Critique of Scalar Thought. *Citizenship Studies*, vol. 11, no 2, pp. 211–228.
- Judt T. (2011) "Mesta pamjati" Pera Nora: Chji mesta? Chja pamjat? ["Places of Memory" by Pierre Nora: Whose Places? Whose Memory?]. *Imperija i nacija v zerkale istoricheskoy pamjati* [Empire and Nation in the Mirror of Historical Memory] (eds. A. Semenov, I. Gerasimov, M. Mogilner), Moscow: Novoye izdatelstvo, pp. 45–74.
- Kaiser R., Nikiforova E. (2008) The Performativity of Scale: The Social Construction of Scale Effects in Narva, Estonia. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 26, no 3, pp. 537–562.
- Kochelyayeva N. (2015) Metodologiya raboty s kulturoy pamyaty: "Trudnyye mesta" i ikh predstavleniye v publichnom prostranstve [Methodology of the Work with the Culture of Memory: "Difficult Places" and Their Representation in Public Space]. *Nashe proshloye: nostalgicheskiye vospominaniya ili ugroza budushchemu?* [Our Past: Nostalgic Memories or Threat to the Future?] (ed. O. Bozhkov), Saint Petersburg: Eidos, pp. 104–109.
- Kuprianova E. (2014) Poseleniye Arkaim i populyarizatsiya arkheologii na Yuzhnom Urale (k voprosu o problemakh vzaimodeystviya nauki i massovogo soznaniya) [The Arkaim Site and Popularization of Archaeology in the Southern Urals (On the Issue of Interaction between Science and Mass Consciousness)]. *Etnograficheskoe obozrenie*, no 5, pp. 146–161.
- Liesowska A. (2015) Shigir Idol is Oldest Wooden Sculpture Monument in the World, Say Scientists. *The Siberian Times*, August 26.
- Levy D., Sznajder N. (2001) *Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Light D., Nicolae I., Suditu B. (2002) Toponymy and the Communist City: Street Names in Bucharest, 1948–1965. *GeoJournal*, vol. 56, no 2, pp. 135–144.
- Marston S. A. (2000) The Social Construction of Scale. *Progress in Human Geography*, vol. 24, no 2, pp. 219–242.

- Marston S. A., Smith N. (2001) States, Scales and Households: Limits to Scale Thinking? A Response to Brenner. *Progress in Human Geography*, vol. 25, no 4, pp. 615–620.
- Marston S. A., Jones J. P. III, Woodward K., (2005) Human Geography without Scale. *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series*, vol. 30, no 4, pp. 416–432.
- Maslova A. (2011) Monogoroda v Rossii: problem i resheniya [Monotowns in Russia: Problems and Solutions]. *Problem Analysis and Public Management Design*, vol. 4, no 5, pp. 16–28.
- Nielsen E. H., Simonsen K. (2003) Scaling from “Below”: Practices, Strategies and Urban Spaces. *European Planning Studies*, vol. 11, no 8, pp. 911–927.
- Nora P. (1996) General Introduction: Between Memory and History. *Realms of Memory: Rethinking the French Past, Volume 1* (ed. P. Nora), New York: Columbia University Press, pp. 1–20.
- Nora P. (1999) Problematika mest pamyati [The Problem of “Memory Places”]. *Frantsiya-pamat’* [France — Memory] (ed. P. Nora), Saint Petersburg: SPbSU Press, pp. 17–50.
- Olick J. K. (2012) Figuracii pamjati: processo-reljacionnaja metodologija, illjustriruemaja na primere Germanii [Figurations of Memory: A Process-Relational Methodology Illustrated on the German Case]. *Russian Sociological Review*, vol. 11, no 1, pp. 40–74.
- Paraskividi E. (2012) Cheshskiy brat Zarechnogo [Czech Brother of Zarechny]. *Zarechenskaya yarmarka*, April 26, no 17.
- Paraskividi E. (2014) 1996 god — oranzhevyye fonari Karpeicha i tulpany na ulitsakh [1996 — Karpeich’s Orange Lights and Tulips on the Street]. *Zarechenskaya yarmarka*, October 2, no 40.
- Rannila P. (2011) Scale and the Construction of Urban Space: Temporary Re-scaling in Lahti, Finland, during the European Union Meeting of 2006. *Norsk Geografisk Tidsskrift: Norwegian Journal of Geography*, vol. 65, no 2, pp. 93–103.
- Rose-Redwood R., Alderman D. (2011) Critical Interventions in Political Toponymy. *ACME*, vol. 10, no 1, pp. 1–6.
- Rose-Redwood R., Alderman D. H., Azaryahu M. (2010) Geographies of Toponymic Inscription: New Directions in Critical Place-Name Studies. *Progress in Human Geography*, vol. 34, no 4, pp. 453–470.
- Rothberg M. (2010) Introduction: Between Memory and Memory: From lieux de mémoire to noeuds de mémoire. *Yale French Studies*, no 118–119, pp. 3–12.
- Rozhansky M. (2013) Dekolonizatsiya gorodskogo prostranstva: toponimiya [The Decolonization of Urban Space: Toponymy]. *Puti Rossii: istorizatsiya sotsialnogo opyta* [The Ways of Russia: Historicization of Social Experience] (eds. M. Pugacheva, V. Zharkov), Moscow: New Literary Observer, pp. 9–32.
- Rozhdestvenskaya E., Semenova V. (2011) Sotsialnaya pamyat kak obyekt sotsiologicheskogo izucheniya [Social Memory as an Object of Sociological Research]. *INTER*, no 6, pp. 27–48.
- Shin H., Park S.H., Sonn J.W. (2015) The Emergence of a Multiscalar Growth Regime and Scalar Tension: The Politics of Urban Development in Songdo New City, South Korea. *Environment and Planning C: Government and Policy*, vol. 33, no 6, pp. 1618–1638.
- Shnirelman V. (2014) Arkaim I Stounkhendzh mezhdu proshlym i budushchim [Arkaim and Stonehenge between the Past and the Future]. *Etnograficheskoe obozrenie*, no 5, pp. 19–40.
- Shorin A. (ed.) (2001) *Arkheologicheskiye pamyatniki Shigirskogo torfyanika* [Archaeological Sites of Shigir Peat-Bog], Ekaterinburg: Bank kulturnoy informatsii.
- Starostin A. (2002) “Takiye nakhodki dlya nas tsennyye klada!” [“Such Findings are More Valuable for Us than the Treasure!”]. *Oblastnaya gazeta*, August 14, no 167.
- Swyngedouw E. (2004) Scaled Geographies: Nature, Place and the Politics of Scale. *Scale and Geographic Inquiry* (eds. E. Sheppard, R. McMaster), Malden: Blackwell, pp 129–153.
- Terentyev E. (2014) Toponimicheskie praktiki kak objekt sotsiologicheskogo issledovaniya: analiticheskij obzor [Toponimical Practices as an Object of Sociological Study: An Analytical Overview]. *Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Sociology*, no 3, pp. 73–86.
- Terentyev E. (2015) Pereimenovanie sovetskikh toponimov v Sankt-Peterburge: analiz publicnykh diskussij [Renaming Soviet Toponyms in Saint Petersburg: The Analysis of Public Discussions]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 18, no 2, pp. 72–86.
- Timofeev M. (2014) “Sovetskiiy gorod”: instruktsiya po ekspluatatsii [“Soviet City”: A Manual]. *Regionalnaya identichnost v istoricheskom i kulturnom prostranstve Rossii. Ch. 1* [Regional Identity

- in the Historical and Cultural Space of Russia, Part 1] (ed. N. Lipatova), Ulyanovsk, Korporatsiya tekhnologiy prodvizheniya, pp. 108–113.
- Trubina E. (2012) International Events in the Non-capital Post-Soviet City: Between Place-Making and Recentralization. *Region*, vol. 1, no 2, pp. 231–253.
- Trubina E. (2013) Primiryayas s upadkom: ruiny 2.0 [To Reconcile with the Decline: Ruins 2.0] *Neprikosnovenny zapas*, no 3, pp.175–194.
- Trubina E. (2016) Zhiznestoykost i yeye obsuzhdeniye v rossiyskom i zarubezhnom sotsialno-gumanitarnom znanii [The Resilience and It Discussion in the Russian and Foreign Social Science and Humanities]. *Izvestia of the Ural Federal University. Series 3: Social Sciences*, vol. 11, no 3, pp. 65–77.
- Tucker B., Rose-Redwood R. (2015) Decolonizing the Map? Toponymic Politics and the Rescaling of the Salish Sea. *Canadian Geographer: Le Géographe Canadien*, vol. 59, no 2, pp. 194–206.
- Tulchinsky G. (2011) Ot “spaseniya” i vyzhivaniya k innovacionnomu razvitiyu: socialnoe partnerstvo kak osnova resheniya problemy monogorodov [From Survival to Innovative Development: Social Partnership as a Solution to Monotowns Problem]. *Munitsipalnaya vlast*, no 2, pp. 36–40.
- Turgel I. (2010) *Monofunktsionalnyye goroda Rossii: ot vyzhivaniya k ustoychivomu razvitiyu* [Monofunctional Russian Cities: From Survival to Sustainable Development], Ekaterinburg: RAGS.
- Turgel I., Bozhko L., Linshui XU (2016) Gosudarstvennaya podderzhka razvitiya monogorodov Rossii i Kazakhstana [Government Support of Single-Industry Towns in Russia and Kazakhstan]. *Bulletin of Financial University*, no 2, pp. 22–32.
- Uitermark J. (2002) Re-scaling, “Scale Fragmentation” and the Regulation of Antagonistic Relationships. *Progress in Human Geography*, vol. 26, no 6, pp. 743–765.
- Vail P., Genis A. (2013) *60-ye: mir sovetskogo cheloveka* [1960s: The World of Soviet Person], Moscow: AST, CORPUS.
- Vandyshev M., Veselkova N., Pryamikova E. (2012) Praktika zhizneobespecheniya naseleniya monogorodov: mezhdru proshlym i budushchim [The Practice of Life Support of the Population of Monotowns: Between Past and Future]. *Razvitiye gorodov v usloviyakh globalizatsii* [Urban Development in the Context of Globalization], Ekaterinburg: Ural State Economical University, pp. 113–118.
- Veselkova N. (2016) *Kto znaet vash Kachkanar? Trudy i dni ural'skogo monogoroda* [Who Knows Your Kachkanar? Works and Days of Ural Monotown]. *Labyrinth*, no 3–4, pp. 50–61.
- Veselkova N., Pryamikova E., Vandyshev M. (2011) Social Construction of “Monotown” Space: Between Human and Non-Human. *Non-Humans in Social Science: Animals, Spaces, Things* (eds. P. Gibas, K. Pauknerová, M. Stella), Červený Kostelec: Pavel Mervant, pp. 151–168.
- Veselkova N., Pryamikova E., Vandyshev M. (2016) *Mesta pamyati v molodykh gorodakh* [Sites of Memory in Young Towns], Ekaterinburg: Ural University Press.
- Veselkova N., Vandyshev M., Pryamikova E. (2016) Diskurs prirody v molodyh gorodah [The Discourse of Nature in Young Towns]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 1, pp. 112–133.
- Winter J. (2008) Sites of Memory and the Shadow of War. *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook* (eds. A. Erll, A. Nünning), Berlin: De Gruyter, pp. 61–74.
- Winter J. (2016) Voyna, pamyat, vospominaniye [War, Memory, Remembrance]. *Dialogue with Time*, no 56, pp. 5–15.
- Zakharov D. (2011) Lyubopytnoye proshloye (Kakimi oni byli, pervyye stroiteli Zarechnogo) [An Interesting Past (Who They Were, the First Builders of Zarechny)]. *Zarechenskaya yarmarka*, August 18, no 33.

Дружба как практика различения (на примере интеллектуальной среды Екатеринбурга)*

Екатерина Неменко

Кандидат философских наук, ассистент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры
Института социальных и политических наук Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Адрес: ул. Мира, д. 19, Екатеринбург, Российская Федерация 620002
E-mail: hist-nemenko@yandex.ru

В статье рассматриваются специфические проявления дружеских связей в среде современных российских интеллектуалов. Предпринята попытка реконцептуализировать понятие дружбы как социально-эстетический феномен, т. е. как совокупность практик различения, важным критерием которого становятся стиль жизни и социальный вкус. Цель этой реконцептуализации — отделить понятие дружбы от влиятельной теоретической традиции, в которой дружба связывалась с идеей общего блага, социальной интеграции и публичной сферы, и предложить альтернативный взгляд на дружбу как избирательную практику. На материале глубинных интервью с учеными-гуманитариями Екатеринбурга проанализированы такие аспекты дружбы, как практики сближения/дистанцирования, выстраивания и поддержания символических границ, эмоциональной вовлеченности в коммуникацию. Избирательный и эксклюзивный аспект дружбы интеллектуалов почти не артикулируется в дискурсе, но хорошо выражен на уровне повседневных практик. Рассмотренные дружеские связи в интеллектуальной среде различаются по степени открытости/замкнутости и по степени выраженности инструментальной функции/символической функции. Проведенный анализ позволяет поставить под вопрос некритичное использование концепта «сообщества» и представить социальные отношения в интеллектуальной среде по модели дружеских сетей или кругов друзей с более или менее проницаемыми символическими границами, проходящими между разными социальными стилями. Солидарность, возникающая во время коммуникации друзей, является результатом чувственного распознавания «своего» и взаимного признания друзей и не отсылает к общностям более высокого уровня (класс, гендер, профессия и т. д.). В этом контексте дружба может быть понята как критически, т. е. как исключающая практика, так и позитивно, т. е. как источник уникального блага, которое носит принципиально антидемократический характер и не может быть сведено к идее общего блага или социальной полезности.

Ключевые слова: дружба, габитус, социология интеллектуалов, признание, солидарность, различение, социальная эстетика, социальный вкус

Понятие дружбы в социальных науках и философии обычно связывается с античной традицией, идущей от Аристотеля, для которого дружба была в первую очередь публичной добродетелью и благом для полиса. В современной политической

© Неменко Е. П., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-66-86

* Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-8742.2016.6.

философии получила развитие его идея о связи дружбы и гражданской справедливости, при этом последняя большинством теоретиков понимается в демократическом ключе, т. е. как идеал равенства человеческой природы (например, у Дж. Ролза). Другая влиятельная традиция — социология и социальная теория XX века (прежде всего Э. Дюркгейм) — видела в дружбе зачатки органической солидарности, которая выступает моральным основанием общественного разделения труда и социального порядка в целом. В российских социальных науках, травмированных репрессивным советским прошлым, по-прежнему сохраняется такая исследовательская оптика, сквозь которую все социальные процессы видятся хрупкими и несамостоятельными, находящимися под постоянной угрозой государственного насилия и нуждающимися в сплочении и опеке. Дружба в таком контексте представляется ресурсом доверия и взаимопомощи для мирной социальной интеграции: «Поэтому принципы дружбы могут и должны использоваться для трансформации негражданского общества в гражданское» (Хархордин, 2009: 18).

Сторонники этих подходов критично относятся к тому факту, что в современных обществах дружба оказалась за рамками публичной сферы в области личной жизни индивидов и стала приватным отношением. Но в целом дружба — дело хорошее, ее только нужно вернуть в публичную сферу или расширить до общностей более высокого уровня, чтобы она из эгоистичного межличностного общения превратилась в моральную ценность и служила общему благу. Представляется, что, принимая некритично эту нормативную установку, мы рискуем не заметить сложность происходящих процессов и недооценить вездесущность и усиливающуюся значимость «приватного социального»: с появлением социальных сетей «частные» социальные отношения постепенно становятся нормативным горизонтом, занимая место публичного и вытесняя идею общего блага из актуального повседневного опыта и публичного дискурса.

В статье исследуется аспект современной дружбы, который редко попадает на «верхние этажи» социальной теории, а именно эксклюзивный характер дружеских связей, в основании которого лежат практики различения «своих» и «чужих», сближения/дистанцирования, другими словами, проявления *социального вкуса*. В качестве объекта исследования отношений дружбы выбраны современные интеллектуалы-гуманитарии Екатеринбурга. Следуя за традицией французской социологии интеллектуалов (К. Шарль, Ж. Сапиро, Ф. Матонти¹), мы рассматриваем интеллектуалов как профессиональных производителей культурного или интеллектуального продукта, которые отличаются от своих коллег активной вовлеченностью в публичное пространство. Все наши информанты имеют официальный статус университетских преподавателей и при этом активно участвуют в городских культурных проектах. По нашей гипотезе, именно в этой среде наиболее отчетливо выражено напряжение между публичным уровнем дискурса, в котором легитимной является отсылка к общему благу, и практическим индивидуализмом

1. См. об этом: Сапиро, 2011: 97–126; Шарль, 2005; Matonti, 2001.

на уровне дружеских и профессиональных отношений. Среда интеллектуалов представляет привилегированный объект для исследования практик различения, так как интеллектуалы традиционно оказывались в центре коллизии «коллективизм/индивидуализм»: поле культурного производства всегда было пронизано множеством альтернативных недемократических принципов иерархии, которые во многом основывались на дружеских и других неформальных связях по причине относительно слабой институционализации творческих профессий и отсутствия формальных критериев успеха.

Теоретическая рамка исследования

В работах, посвященных локальным академическим сообществам, М.Сафонова и М.Соколов, используя теорию организаций и структурно-сетевой анализ, убедительно показали, как устроена структура сети современного социологического сообщества Санкт-Петербурга и объяснили, почему сети не превращаются в теоретические группировки (Сафонова, 2012; Соколов, 2012). В более поздних статьях по социологии академического мира Соколов выдвинул любопытную гипотезу о том, что социологи в своем научном поиске отдают предпочтение тем теориям, которые позволяют генерировать смысл академической жизни своих производителей, т. е. поддерживать веру в себя как настоящих ученых (Соколов, 2015). Однако объективная структура социальных сетей социологов Санкт-Петербурга ничего не говорит о том, почему ученые делают выбор в пользу того или иного сообщества, пополняют ряды «туземной» или «провинциальной» науки (учитывая, что расстояние между ними нередко составляет «две станции метро»). Свои интерактивные ритуалы, авторитеты и символический капитал есть у каждой стороны, но это не объясняет, почему то, что является символическим капиталом и производит смысл академической жизни для одних, оставляет равнодушными других.

Между двумя этими крайними полюсами интерпретации (структуралистской социологией и экзистенциальной философией) располагаются промежуточные теории «среднего звена», которые исследуют типы социальных связей, имеющие выраженный «субъективный» характер. Межличностные отношения, основанные на предпочтении или склонности, близки к понятиям «нравы», «склад», «характер». В социальной теории эти понятия получили развитие, в частности, в концепции «габитуса» Пьера Бурдьё. «Габитус» у Бурдьё, трактуемый как «структурирующая структура» (Бурдьё, 2005) (т. е. ансамбль практических схем, порождающих практики и организующих восприятие социального мира и в то же время являющихся продуктом инкорпорации существующих социальных отношений), работает для понимания выбора интеллектуалов в пользу того или иного профессионального сообщества, но лишь в том случае, если мы заранее представляем общество как структуру классов. На наш взгляд, теоретический аппарат Бурдьё слишком поспешно обращает внимание исследователя на социальные отношения, которые скрываются за «свободным выбором» индивида: «Эстетические представления

и вкусы не являются чем-то «сакральным» или результатом свободного выбора индивида, но вытекают из его социальных условий социализации и наличного положения в обществе» (Шматко, 2009). При этом сближение индивидов, которые обладают схожими габитусами и общими интересами «объясняется... просто: любой интерес есть позиционный интерес, т. е. интерес, неразрывно связанный с позицией в поле, которую всегда занимает более или менее многочисленная популяция агентов» (Там же).

Нас интересует не описание уже сложившихся «сообществ» интеллектуалов, а тот уровень социального существования субъекта, который предшествует складыванию его идентичности как члена той или иной группы. Именно этот момент чаще всего пропускается в рефлексии как самих социальных акторов, так и исследователей, поскольку воспринимается теми и другими как естественный и непроблематичный, а социальный мир, как уже сложившийся именно в такую конфигурацию сил и отношений. Однако наши интервью показывают, что многие формы общения и социальных контактов в современной интеллектуальной среде практикуются и задействуются в производстве культурного продукта, так и не достигая уровня оформленной групповой идентичности.

Для понимания происходящих процессов более любопытной представляется концепция социальной эстетики, развиваемая итальянским философом Барбарой Карневали. Под социальной эстетикой она понимает область знания, чей предмет — чувственные проявления социального. Общество — это в первую очередь эстетический феномен: все социальные отношения даны нам чувственно и, следовательно, эстетически. В область социальной эстетики попадают многие концепты социальных наук, которые также входят в лексикон эстетики: вкус, стиль, репрезентация, ритуал, престиж, харизма, различие, мода, манеры. У перечисленных феноменов по меньшей мере две общие фундаментальные характеристики: они принадлежат к социальному пространству, проявляют себя и воспринимаются публично посредством органов чувств; и они могут трансформироваться, ими можно управлять при помощи специальных техник (Carnevali, 2013: 30). В отличие от теории Бурдьё, концепция социальной эстетики предполагает, что эстетическое лежит в основании первичных социальных связей и предшествует делению общества на классы или любые другие общности.

Эта концепция может показаться наивной с точки зрения критической теории, поскольку, как кажется, она игнорирует такие важные для социальной критики категории, как класс, гендер, господство, идентичность. Однако на самом деле, поясняет Карневали, эстетическое измерение социального не исключает отношений власти. Наоборот, социальная эстетика позволяет увидеть и включить в фокус внимания критической теории плохо различимые или невидимые механизмы господства, укорененные в динамике «социального эстетического», там, где их пропускает демократическая критика неравенства. Например, существование практик различения в стиле одежды, которые воспринимаются как абсолютно легитимные и «естественные», позволяет отличать «своих» от «чужих» и прово-

дить символические границы в тех сообществах, которые формально являются открытыми и общедоступными. Более того, механизмы символического господства настолько действенные, что, как правило, даже не требуют принуждения для того, чтобы осуществляться. Зачастую они действуют имплицитно как «чувство собственного места», удерживая индивида от нежелательных социальных притязаний. Многочисленные примеры реализации властных отношений на уровне социальной эстетики описаны в работах И. Гоффмана, П. Бурдьё, А. Хоннета.

При исследовании практик совместности интеллектуалов сквозь призму социальной эстетики в наше поле зрения попадают такие трудноразличимые, концептуально не прояснённые, действующие на уровне чувственного восприятия феномены структурирования социального пространства, как стиль, габитус, социальный вкус, харизма.

Дружба вместо сообщества?

К какой группе мы отсылаем, когда говорим о габитусе или социальных вкусах интеллектуального «сообщества»? То, что можно назвать «университетским сообществом», представляет собой конгломерат сетей, групп и отдельных агентов, которые обладают разной степенью солидарности с идеей и реалиями университета. Из-за значительных изменений в структуре управления, жёсткого разделения на администрацию и профессорско-преподавательский состав в последние годы все меньше ученых говорят о своей приверженности университетскому сообществу. С какой же общностью соотносят себя ученые-гуманитарии, если не с университетским сообществом?

Концепция «научного сообщества» также представляется неудовлетворительной. Как показывает Г. Юдин, принадлежность ученых к «научному сообществу» проблематична, поскольку вступает в противоречие с установкой научного этоса на критическое мышление и преодоление собственных убеждений: «Вера в принадлежность к реальному научному сообществу несовместима с критическим преодолением существующих (ортодоксальных) убеждений... Разрыв с существующими убеждениями создает рефлексивный опыт — опыт отсутствия сообщества. Такой опыт движим не стремлением к асимптоматическому приближению сообщества к истине, но стремлением обрести собственную истину в самопреодолении» (Юдин, 2010: 81-82). Действительно, в отличие от многих других локальных и профессиональных сообществ, интеллектуальные и художественные сообщества намного более фрагментированы, не образуют устойчивых групп с однозначными программами и целями, а представляют собой более рыхлый тип совместности. Г. Юдин напоминает, что понятие «научное сообщество» вошло в оборот философии науки лишь в середине XX века и использовалось для описания и отстаивания механизмов самоорганизации в среде ученых. Как и понятие «солидарность», «сообщество» появилось и долгое время существовало в русле *социалистического* подхода к обществу (Филиппов, 2011: 6).

«Левый» теоретический дискурс хорошо описывает ситуацию политизации поля культурного производства, наблюдаемую в России и Европе в первой половине XX века (Sapiro, 1999, 2002), когда интеллектуалы вступали в политические партии, создавали группы, выпускали манифесты, в которых четко обозначали художественные, теоретические и социально-политические задачи своих объединений. Излюбленной метафорой этого дискурса была «борьба», а понятия «сообщество» и «солидарность» описывали единодушие и сплоченность, возникающие вокруг ценностей группы в политической борьбе. В ходе нашего анализа стало понятно, что современные интеллектуальные сообщества устроены иначе, им также присущи конфликты и совместность, но они не всегда могут быть описаны в терминах политической борьбы, сообщества и солидарности. Как справедливо замечает В. Вахштайн, смысл — не «выигрыш», а «входной билет» в мир действия, идентичность — не предпосылка, а «выигрыш»: «Никто из нас не обладает „социологической идентичностью“ и не включен ни в какое „социологическое сообщество“» (Вахштайн, 2015: 77–78).

Специфика практик совместности интеллектуалов заключается в их не всегда явном сопротивлении давлению коллектива и в конечном счете в индивидуализме². Платой за солидарность являются обязательства перед коллективом, ответственность за целостность системы и признание того, что «есть действия, которые согласуются с целостностью системы, а есть действия, которые ей угрожают, а потому подвергаются санкциям коллектива» (Филиппов, 2011: 7). Критическое мышление и регулярный пересмотр убеждений не способствуют сплочению коллектива и постоянно угрожают коллективной идентичности. В основании солидарности — идея о том, «чтобы люди поддерживали друг друга, объединяясь против рисков и неопределенности своего существования всеми силами человеческой ассоциации» (Филиппов, 2011: 6). Как мы увидим из последующего анализа, это не тот тип объединения, который поддерживает отношения между интеллектуалами.

По этой же причине в исследованиях интеллектуалов немного объясняет популярный в последнее время в российской социологии подход к изучению «неформальных» и «теневых» отношений как версии патрон-клиентских связей. Социологи, работающие в этом направлении, указывают, что доверие, которое лежит в основании этих связей, — один из способов снижения социальной комплексности, источник надежности в мире рисков и нестабильности. Однако наше исследование показывает, что, несмотря на усиливающуюся неопределенность и распад корпоративных университетских структур, интеллектуалы в меньшей степени склонны поддерживать неформальные отношения с целью снижения социальных рисков, чем другие группы. Замкнутые отношения «своих», которые описывают

2. Речь идет об автономном полюсе поля культурного производства. В данной статье мы сосредоточим внимание на том сегменте интеллектуального сообщества, который М. Соколов и К. Титаев (Соколов, Титаев, 2013) назвали «провинциальной наукой», понимая под этим тех ученых, которые привержены идеалу автономного научного знания и ориентируются на «продвинутые» западные образцы.

в исследованиях постсоветского человека Л. Гудков и Б. Дубин, строятся на «принуждении индивида к самым простым и грубым отношениям традиционного господства и подчинения», после чего, если индивид демонстрирует свою лояльность этим отношениям, он считается «своим» и допускается к использованию ресурса: «Теперь он может показать свое владение специальными знаниями и навыками, сослаться на нужное знакомство, использовать деньги и т. п., т. е. ему дается право в заданных узких и контролируемых извне границах вести себя как „свой человек“» (Гудков, Дубин, 2002: 36–37). Очевидно, что такой терминологический аппарат плохо применим для понимания социальных связей в интеллектуальной среде.

Понятия «дружеские сети» и «круг друзей» представляются продуктивной альтернативой концепциям сообщества и неформальных связей в исследовании интеллектуалов. В отличие от патрон-клиентских отношений, дружба — это всегда отношения между равными. Это не аскрептивный и не принудительный вид связи, дружба предполагает симметрию и избирательность. Габитус наилучшим образом проявляется в дружеских связях как таком типе отношений, в которые индивид вовлечен не только логикой своей структурной позиции, но своими «субъективными» предпочтениями. Такие формы общения, как круг друзей и дружеские сети, не предполагают заранее определенной идентичности, критерии проведения их границ неясны. Дружеские связи характеризуются не только доверием как некоторым гарантом доброжелательного отношения и снижения социальных рисков, но в первую очередь позитивной расположенностью друзей по отношению друг к другу, тем, что Аристотель называет «приязнью». Специфика дружбы, как ее определяет Аристотель, заключается в том, что дружат люди, «подобные друг другу по добродетели», т. е. с близкими «складами души» или «нравами»: «Дружба людей достойных — это их взаимная любовь [antiphilosin] друг к другу. Они любят друг друга как вызывающие к себе любовь, а любовь они вызывают тем, что [хороши]» (Аристотель, 1984: 363). Иными словами, в структуру дружеских связей встроен компонент взаимной симпатии, чистой солидарности, основанной на близости нравов тех, кто дружит. Люди дружат, потому что они приятны друг другу, а *следствием этого взаимного расположения* могут быть взаимопомощь, моральная и материальная поддержка и другие проявления дружбы.

Однако у дружбы есть и обратная сторона: она включает тех, кто приятен и близок, и исключает всех остальных. Дружба — это принципиально антидемократический тип связи, поскольку друзья *отдают предпочтение* друг другу, выделяют друг друга из толпы. Этот аспект дружбы проявляется во влиятельности «своего круга», окружающего себя тайной, субкодом, ритуалами. Как продемонстрировали авторы коллективной монографии «Дружба: очерки по теории практик» (Хархордин, 2009), установление границ дружеского круга очень важно, потому что чаще всего не отдельные друзья, а именно их круг оказывается самодостаточным персонажем, главным фактором формирования личности («практики делания себя через других»). Поскольку круг друзей — это одна из самых интим-

ных форм социальных связей, критерий селекции «своих» никак не проговаривается и носит субъективный характер, он остается практически неуязвим для демократической критики неравенства.

Любопытно, что в аристократической дружбе в Европе раннего Нового времени важным стал аспект эмоциональной вовлеченности и физической привлекательности, что приводило к тому, что дружба иногда смешивалась с любовью: «У некоторых людей есть способность, что бы они ни делали, быть привлекательными в глазах всякого, кто смотрит на них. Как и любовь, дружба начиналась с визуального удовольствия» (Dewald, 1993: 111). Историк Дж. Деваль отмечает, что в XVII веке с усилением социальных контактов знати и городского сословия компонент физической привлекательности стал важным фактором дружеского сближения: «Привлекательность служила символом социального положения». Романисты того времени видели в дружбе страсть, которую понимали как то, что начинается с возбуждения органов чувств: «Страсть — это одно из волнений души, которое возникает, пробужденное каким-либо объектом, данным нам чувственно» (Dewald, 1993: 112). Хотя в дружбе важным был элемент прагматики и взаимопомощи, происхождение дружбы, как и любви, авторы того времени связывали с «физическим внутренним волнением» (physical inner agitation).

Нам представляется, что «круг друзей» как единица анализа важен еще и потому, что выполняет функцию различения, т. е. позволяет индивиду отличаться от других, оставаясь при этом социализированным, включенным в микрообщество. Круг друзей негласно подтверждает социальную ценность своих членов и их значимость по сравнению с теми, кто в круг не входит. Не обладая четкой групповой идентичностью, «свой круг» тем не менее очень избирателен и, вероятно, чувство избранности, ценности и признания, которое друзья могут получить внутри «своего круга», является мощным социальным ресурсом. Наше предыдущее исследование социального устройства художественной среды Екатеринбурга показало, что активным агентом художественной среды является не друг, а круг друзей. Действия индивида успешны настолько, насколько они вписаны в сеть действий других друзей. Художественная среда сформировала свои виды коммуникации, специфические формы объединения, критерии доверия, выработала способы достижения творческих целей различными совместными культурными практиками (Круглова, Неменко, 2013).

Известные нам зарубежные социологические исследования дружбы интеллектуалов указывают на солидарность как важный творческий ресурс, возникающий внутри дружеского круга. Р. Коллинз в «Социологии философий» (Коллинз, 2002) рассматривает цепочки интерактивных ритуалов, в которые вступают интеллектуалы, как точки аккумуляции «эмоциональной энергии», необходимой для индивидуального творчества. Подключенные к успешным интерактивным ритуалам с высоким уровнем солидарности интеллектуалы генерируют мощные потоки эмоциональной энергии, которые выражаются в высокой творческой продуктивности. Однако Коллинз не считает дружбу привилегированным типом связи,

единицей анализа у него являются любые цепочки социальных взаимодействий. Все они потенциально могут вырабатывать солидарность и наращивать эмоциональную энергию индивида. М. Фаррелл в работе «Collaborative Circles: Friendship Dynamics and Creative Work» (Farrell, 2001) делает акцент на солидарности, возникающей внутри дружеского круга интеллектуалов. Он проанализировал условия появления, роста и распада нескольких успешных «кругов сотрудничества друзей» на примере круга импрессионистов, круга основателей психоанализа и др. «Моральные ресурсы» аккумулируются в ходе длительных устойчивых социальных взаимодействий и складываются в благоприятную социальную среду, которая поддерживает креативность членов дружеского круга. Фаррелл вводит понятие «инструментальная близость» (*instrumental intimacy*), с помощью которого пытается показать, что дружеский круг — это прагматически ориентированный тип совместности. При этом термин «близость» (*intimacy*) указывает на такой тип обмена, который основан на взаимопомощи, доверии и искренней заинтересованности друзей в успехе друг друга.

В нашем исследовании мы предлагаем реконцептуализировать понятие дружбы, исходя из того, что солидарность является следствием, а не основанием дружеской связи. Гипотеза, которую мы хотим проверить, состоит в том, что первичным импульсом к выстраиванию дружеских связей в интеллектуальной среде выступает взаимная расположенность, или «настроенность» (*attunement*), социальных акторов по отношению друг к другу, которая является выражением их социального вкуса и в основании которой лежат практики различения. Дружба может быть рассмотрена как социально-эстетический феномен, т. е. как совокупность практик сближения/дистанцирования, выстраивания и поддержания символических границ и эмоциональной вовлеченности в коммуникацию.

Габитус дружбы интеллектуалов: анализ интервью

В июне—августе 2016 года мы провели 8 полуструктурированных интервью длительностью 90 мин с теми интеллектуалами Екатеринбурга, которые, оставаясь преподавателями университета, активно профессионально реализуются в городских культурных проектах и сообществах. По нашей гипотезе, именно этот сегмент интеллектуального поля города должен быть наиболее репрезентативен для исследования дружеских связей, так как структурирующая роль университета в этой среде очень слаба. Сами информанты своей основной профессиональной идентичностью считают научную и преподавательскую деятельность (за исключением двух из них, которые предпочитают называть себя «общественно-политическими деятелями»). Все информанты — четыре женщины и четыре мужчины в возрасте от 35 до 63 лет являются представителями гуманитарных специальностей и преподавателями гуманитарных факультетов (из них два доктора философских наук, четыре кандидата философских наук, один кандидат политических наук и один кандидат социологических наук). Двое из них преподают гуманитарные дисциплины также на негуманитарных факультетах. Информанты рекрутирова-

лись через сеть личных контактов исследователя, пятеро были знакомы с исследователем на момент взятия интервью.

Гайд интервью состоял из нескольких блоков: 1) структура социального окружения (семья, близкие друзья, коллеги, знакомые); 2) практики сближения/дистанцирования; 3) открытость/закрытость дружеского круга и критерии определения своего/чужого; 4) интенсивность контактов и интерактивные ритуалы. Для удобства интерпретации мы сгруппировали материалы интервью в две центральные темы: практики сближения/дистанцирования; критерии проведения символических границ. Вопросы строились таким образом, чтобы дать возможность информанту максимально полно описать свои социальные взаимодействия, делая акцент на дружеских, профессиональных и «пограничных» контактах.

Практики сближения/дистанцирования

Об особой значимости дружеских контактов для реализации профессиональных целей в интеллектуальной среде говорит тот факт, что все информанты отмечают наложение или почти полное совпадение в структуре их окружения категорий «дружеские связи» и «коллеги». В некоторых случаях нет жесткой границы между семьей и профессиональной сферой, члены семьи оказываются ближайшими единомышленниками, а личное пространство квартиры часто становится также местом встреч с друзьями-коллегами.

Мой муж — и коллега, и соавтор, и партнер. Это очень близкое общение, и профессиональное в том числе. Поэтому наш дом — это не только место, где мы встречаемся по семейным поводам, но и где мы обсуждаем профессиональные вопросы.

Внутри большого неоднородного круга друзей-приятелей-коллег информанты выделяют узкий круг близких друзей, куда также входят друзья со времен студенчества и аспирантуры, иногда работающие в других сферах (бизнеса, политики, СМИ и др.). Общение с самыми близкими друзьями — как правило, на «человеческие» темы, от такого общения в первую очередь ожидаются понимание и доброжелательность. Частота контактов с близкими друзьями может варьироваться от нескольких раз в неделю до нескольких раз в год. У тех, чье ближайшее окружение тесно связано с профессиональными интересами, интенсивность контактов с близкими друзьями намного выше. Двое из восьми информантов, которые называли среди ближайшего окружения людей из других профессиональных сфер, встречаются с близкими друзьями значительно реже (до нескольких раз в год). Таким образом, наиболее интенсивными и значимыми являются контакты, находящиеся на границе дружеских и профессиональных связей.

Коммуникация в среде университетских коллег воспринимается как рутинная и эмоционально слабо насыщенная. Об этом говорит дистанцированное отношение к неформальным собраниям коллектива по символическим поводам. Коллек-

тивных ритуалов в университете и на кафедрах мало, и информанты не считают их значимыми для своей профессиональной идентичности мероприятиями. Все опрошенные подчеркивают формальный характер университетских ритуалов и стремятся по возможности их избегать.

Будем честны, мы отработали и пошли домой. Максимум, что мы можем вместе сделать, это заседание кафедры и что-нибудь на Новый год.

Неформальная коммуникация в университете не связывается с профессиональной самореализацией и воспринимается как малосодержательная, часто бесполезная с точки зрения достижения профессиональных целей:

Особенно если это, как правило, университетская тусовка: сидеть и в очередной раз перемывать косточки всем, кто в университете? Время жалко, честно. Поговорить про какие-то серьезные внешние проблемы, оказывается, чаще всего малореалистично.

Внутри научного сообщества есть круги, от которых информанты сознательно дистанцируются. Так, например, замкнутое сообщество «ортодоксальных» религиоведов вызывает отторжение и неприязнь:

Близкое мне сообщество религиоведов — ужасное сообщество, потому что там беспрерывно происходят споры о том, кто правильный религиовед, а кто неправильный. ...Всё, что не относится к религиоведению, их вообще не интересует. В этом смысле это какая-то просто фантастическая среда... Я к этому ко всему отношусь с ужасом.

Также информанты фиксируют научные круги, от которых они дистанцируются по причине чуждой идеологической и методологической позиции. «Чужие круги» описываются как «чудовищные», «враждебные»:

Мы посидели на этом [мероприятии]... Я почувствовал... Я сделал некий антропологический срез, что это за люди, как на них посмотреть, и, естественно, мы ушли, потому что это очевидно враждебно... Ну как враждебно — чужое... Радикально другую научную, или политическую, или идеологическую позицию занимаешь, с какой-нибудь чудовищной методологией или еще что-то.

Во время ритуального взаимодействия в академической среде на таких мероприятиях, как конференции или кофе-брейки, могут возникать и противоположные ситуации, когда информанты чувствовали, что от них дистанцируются или пытаются «держаться на расстоянии», не пускать в какой-то «круг»:

Там банкет. Стоит группа людей, она меня подводит к этому кругу людей и говорит: «Вот, это Х, он так хорошо пишет про это». И в этот момент она

поворачивается. И все так сквозь меня проходят мимо в этот момент. Я не знаю почему. Я, видимо, выглядел не так, еще что-то. Она меня вводит в круг этих людей, но я оказываюсь просто-напросто исключением. Механизм такого исключения — я настолько резко это почувствовал.

Сближение у наших информантов происходит с теми университетскими коллегами, которые также дистанцируются или критически относятся к официальной университетской иерархии и административным структурам. Однако почти у всех более интенсивные дружеско-профессиональные контакты завязываются вне университетской среды. Сближение с новыми городскими сообществами может начинаться с визуальных контактов и регулярного посещения значимых мероприятий:

Тогда был узкий круг революционеров от искусства, которые могли общаться, говорить, это было такое визуальное знакомство, что вот я там, я свой, мы всегда здоровались, общались, где-то на выставке друг другу сообщали, что будет выставка, вернисаж...

Вход в эти сообщества за пределами университета требует определенной «перестройки», новой «подачи себя»:

Они [сообщества] все как раз закрыты практически. Поэтому да, каждый раз надо искать способ, как вломиться в ту сферу, в те группы, чтобы... Я для себя же тоже эту проблему решаю, поэтому я каждый раз стараюсь найти подход... Каждый раз надо действительно определенным образом себя перестраивать, подавать себя и находить этот ключ, через который заход на площадку, куда можно было бы, где можно было бы себя реализовать.

Проекты, в которых информанты участвуют за пределами университета, характеризуют эмоциональная вовлеченность и интенсивность коммуникации. Все описывают позитивный опыт включенности в дружеские сети как переживание эмоционального и творческого подъема, признания значимости своей деятельности:

Я получаю невероятное удовольствие, когда в зале есть мои знакомые и друзья — это, конечно, самая главная движущая сила. Поделиться чем-то... Я испытываю какую-то смешную наркотическую зависимость: мне надо, чтобы мои друзья и знакомые тоже это видели и вместе сопереживали.

Дружеское общение за пределами университета также переживается как более аутентичное, способствующее творческому самовыражению:

Поэтому ощущение, что тут такая бурная жизнь пошла... Она просто стала очень бурной. Поэтому ты себя ощущаешь... У тебя драйв появляется с этим... Ты видишь, что люди на это реагируют, что это активно... Я просто ощущаю себя как такой... Юность комсомольская моя, вот она тут.

Критерии проведения символических границ дружеского круга

На вопрос о «своем круге» только двое информантов ответили, что такой круг есть, встречи носят регулярный и отчасти ритуальный характер, однако для обоих это не единственный круг, а потому, хоть они и чувствуют себя в нем «своими», они не идентифицируют себя полностью с этим кругом. Таким образом, в исследовании интеллектуальной среды нам не удалось выявить устойчивого дискурса «своего круга», с которым бы опрошенные идентифицировали себя полностью. Самые близкие дружеские связи не образуют «своего круга» или «компании», часто близкие друзья принадлежат к разным сферам деятельности и редко встречаются вместе.

Наиболее активно интеллектуалы-гуманитарии встроены в художественную и общественно-политическую среды города. В свою очередь, внутри этих сред информанты выделяют следующие круги: круг современного искусства, круг урбанистов и архитекторов, круг театральной критики, круг политтехнологов и журналистов. Несколько информантов активно участвуют в жизни религиозных общин, сообщества бизнес-тренеров и правозащитных организаций. Информанты описывают «круги» за пределами университета как более или менее эксклюзивные сообщества, построенные на полудружеских-полупрофессиональных связях, с особыми критериями деления на «своих» и «чужих». Они отмечают наличие ощутимых символических границ этих сообществ, которые проявляются в особом языке и признаваемой всеми «инсайдерами» системе авторитетов:

...это был совершенно птичий язык, совершенно непонятные имена, которыми они пользуются, какие-то авторитеты, о которых я в жизни не слышал. И при этом это все обязаны знать. Если ты не знаешь, то ты точно не из этого круга.

У некоторых информантов есть опыт столкновения с узким закрытым кругом, в который с точки зрения профессиональных интересов было бы желательно попасть, но этого не происходило. Сами информанты не могут объяснить причину этого, поскольку никаких формальных границ и условий «входа» нет.

...есть в принципе мой приятель, но у него есть своя команда, и вот это, пожалуй, единственная вещь, чего бы мне хотелось, но меня там нет. Я в эту тусовку не вхожу. Притом что мы хорошо знакомы, Х еще в студенчестве дружил с моим мужем, но как бы вот. Опять-таки: так случилось. Я не знаю почему. Это единственное такое сообщество, где я чувствую, когда там оказываюсь, что я там девочка чужая.

Любопытно, что, будучи таким по формальным «показателям», как образование, опыт, профессиональные интересы, равным людям из «этой тусовки», человек все

равно туда не попадает. Это говорит о том, что в слабо институционализированных сообществах с горизонтальной структурой действуют какие-то дополнительные принципы различения «своих/чужих».

Двое информантов рассказали о том, что сами входят в закрытый «женский клуб» из шести человек, который совмещает роли профессионального сообщества и узкого дружеского круга.

Мы шутливо называем это «женский клуб», нас 6 человек... Вот мы закрыты. Это не значит, что мы совсем закрыты, если появится человек, и мы почуствуем, что он «наш», то мы с удовольствием его возьмем. Есть люди, которые хотели бы и прямо выражают свое желание войти туда, но... [этого не происходит].

Информант затрудняется объяснить, как именно они узнают, что «человек свой». Решение принимается «коллегиально» и всем «понятно без слов».

Да, а как тут определишь. Есть люди, которые всем нам интересны и приятны, это одна ситуация. А когда как-то так, кому-то да, кому-то нет... У нас нет договоренности об этом, но это само собой разумеется. Если все «за», то да, а если кто-то не очень хочет, то как бы не обсуждается. ...Но это действительно такой эзотерический принцип симпатии к человеку. И, наверное, в профессиональном отношении тоже... Поскольку мы не рефлекслируем по этому поводу, это как-то сразу понятно бывает. Даже как-то не обсуждается.

В этих неопределенных признаках распознавания «своих» можно увидеть элементы «габитуса» Бурдьё или того, что И. Гоффман называл символами классового статуса, которые «обозначают не специфический источник статуса, а скорее нечто, основанное на конфигурации источников» (Гоффман, 2003: 44–45), а потому с трудом поддающееся определению. Так, образование, хобби или эстетические вкусы являются символами классового статуса, которые трудно дифференцировать, они проявляются совокупно в стиле индивида. Добавим, что, поскольку речь идет о дружеских отношениях, понятия габитуса или классового статуса представляются недостаточными. Очевидно, что речь идет о некоторых личностных свойствах индивида, которые за неимением лучшего социологического аппарата можно назвать веберовским термином «харизма». Под «харизмой» мы понимаем способность располагать к себе во время коммуникации (что, безусловно, отличается от веберовского понимания). За этой способностью могут стоять какие-то особые свойства характера или аристотелевская «добродетель», но для нас важно, что харизма, или обаяние друга, проявляется чувственно в процессе взаимодействия лицом к лицу и поддерживает эмоциональную вовлеченность в коммуникацию, располагает друзей к общению. В «своем круге» задействованы те аспекты «обаяния» друзей, которые позволяют ощущать этот круг как общий для друзей, но в то же время уникальный, «резонирующий» именно с их интересами:

Наверное, это не отрефлексировано совершенно... В чем-то мы близки, в чем-то не близки... Чем-то они мне интересны... ну не знаю, по каким-то своим духовным, душевным качествам в каком-то резонансе со мной находящиеся. Так я бы сказала. На самом деле, наверное, люди, которые мне чем-то интересны, они могут быть не похожи на меня, но всё равно какой-то общий тренд такой... в интересах, он каким-то образом совпадает. Частично, полностью, наполовину, не знаю, как...

Если аспект «общности» интересов, вкусов, «языка» (легкость общения, взаимопонимание) друзей выраженно артикулируется, об этом говорят свободно и с удовольствием, то чувство особости и избранности, которые друзья дарят друг другу, почти не проговаривается. При этом на практическом уровне такие практики совместности, которые символически подчеркивают избранность друзей и взаимное признание друг друга, важны для информантов. При описании своего круга или тех кругов, в которые желательно было бы попасть, все они избегали употребления таких определений, как «престижный» или «особый». Вот один из немногих примеров, когда информант прямо говорит об элитарности круга, к которому он принадлежит:

Я оказалась в этой академической среде, но у меня все равно есть еще некий круг, причем такой нехилый классный совершенно круг, очень известных людей — и это праздник. И я думаю: «Господи, как вообще это все захватывающе на самом деле».

Другой тип объединения представляет круг урбанистов и исследователей архитектуры. Если закрытый клуб театралов вполне может себе позволить включать только тех, кого захочет, без объяснения причин (именно потому, что позиционирует себя как дружеский круг и поэтому не подпадает под демократические санкции за элитарность), то круг урбанистов представляет собой полуформальное профессиональное сообщество и потому носит более демократичный характер. Однако он тоже в основном состоит из дружеских групп, которые пришли туда для реализации своих профессиональных целей. И даже если просто не принять желающих присоединиться к этому кругу по критерию «наш/не наш» невозможно, члены круга используют аргументацию более «высокого» уровня, чтобы оправдать поддержание дистанции с новыми участниками:

Вот появились новые игроки, на них тут же старая команда навесила [ярлык], что вот они профанируют тему конструктивизма.

...все индивидуалисты очень сильные. Их объединяют какие-то точечные проекты. Как только возникает, например, неделя конструктивизма, вот они начнут туда подтягиваться. Но они туда начнут подтягиваться в каком формате? Они будут еще узнавать: а вот этот будет или не будет? А если этот будет, то я не буду в этом участвовать... Поэтому как только появляются какие-то новые люди с какими-то своими подходами, это вызывает реакцию отторжения, конфликта, нежелания пересекаться, навешивания ярлыков.

Чем более закрытый характер имеет «круг», тем большим количеством символических интерактивных ритуалов он себя окружает. Интенсивность общения в таких кругах относительно устойчива и не обязательно связана с реализацией общих проектов. Так, «женский театральный круг» собирается регулярно, поводом становятся события личной и профессиональной жизни участниц круга.

Мы в каком-то постоянном контакте, это может быть три раза в неделю, может быть три раза в месяц, но все равно ощущение, что если у кого-то что-то произошло новое, всегда в первую очередь мы друг другу скажем и так далее. Иногда вдвоем встречаемся, чаще — троим. А расширенный круг — тоже, конечно, по-разному, регулярных встреч нет, может быть, раз в два месяца в среднем.

Переплетение личных и профессиональных тем для разговора подчеркивает некоторую вторичность профессиональных интересов по отношению к личности друга, независимо от его текущих проектов. Эта форма дружбы больше всего похожа на описанный в монографии под ред. О. Хархордина «круг своих», чья функция — быть ареной для становления личности, свидетельствования друзьями ее жизненной истории, «практик делания себя через других».

Более открытая сеть урбанистов и архитекторов имеет выраженный инструментальный характер и подчинена динамике проектной деятельности. Если друзья вовлечены в совместный проект, интенсивность дружеско-профессиональных коммуникаций резко возрастает в период реализации проекта:

Если мы говорим о среде, то у нас сейчас суперинтенсивная связь, понятное дело, с Х, надо сказать, потому что мы все время участвуем в общих проектах... На этом фоне она из семьи ушла, но это я так, виртуально говорю, из семьи ушла, у них там тоже какие-то такие... Сюда погружена, во все это. Мы-то в этом полной семьей участвуем, но все равно такая интенсивность. Встречаемся почти ежедневно.

В отличие от информантов, встроенных в художественное сообщество, те информанты, которые участвуют в общественно-политической жизни и сообществе бизнес-тренеров, не отмечают такого тесного переплетения дружеских и профессиональных контактов. Они говорят о преобладании делового «взаимовыгодно» общения в своей профессиональной среде, которое, как правило, не приводит к созданию близких дружеских связей:

Есть скорее контакты, нежели дружеские связи. Их нельзя назвать совсем дружескими, но это хорошие друзья и знакомые, с которыми легко общаться. Даже мы с Вами встретились, и у нас нет времени перебраться словами, не относящимися к делу, мы перешли сразу к делу, и это сейчас является базовым типом коммуникаций, в которых я участвую: очень быстро, по-деловому, достаточно взаимовыгодно, но с дружбой здесь сложновато.

У этих информантов близкие друзья и профессиональные связи разграничены более четко и практически не пересекаются. Коммуникация с близкими друзьями происходит значительно реже, чем с друзьями-коллегами, и носит подчеркнуто личный, не инструментальный характер.

Заключение

Анализ интервью показывает, что характер социальных связей, определяемых исследователями и информантами как дружеские, в выбранном нами сегменте интеллектуальной среды Екатеринбурга отличается размытостью границ, неодинаковым содержанием и разной степенью интенсивности общения, и это не позволяет определить дружбу интеллектуалов как устойчивый и однородный тип отношений. Скорее, мы имеем дело с набором практик навигации в социальном поле, практик сближения и дистанцирования, которые формируют социальное окружение интеллектуалов.

Все информанты воспроизводят центральную для гуманитарных факультетов оппозицию, описанную П. Бурдьё в «*Homo Academicus*» (Bourdieu, 1988: 74), — оппозицию между полюсом, ориентированным на производство нового культурного или интеллектуального продукта, и полюсом, ориентированным на воспроизводство существующей образовательной и культурной системы. Все информанты дистанцируются от официальных университетских структур, и их работа по выстраиванию социальных связей разворачивается вокруг первого полюса, который вслед за Бурдьё можно назвать автономным полюсом культурного производства. Социальные связи внутри автономного полюса носят горизонтальный характер, т.е. это отношения между более или менее равными социальными акторами, не всегда имеющими институциональную опору. В ситуации слабой институционализации и удаленности от вертикальных иерархических структур именно отношения, основанные на принципе различия, такие как дружба/вражда, симпатия/антипатия, притяжение/отторжение, ложатся в основу профессиональных связей. В этой ситуации важным критерием сближения и дистанцирования становятся не отдельные профессиональные, интеллектуальные или моральные качества, но весь стиль жизни и социальный вкус индивида. Эти критерии не заданы извне, они возникают спонтанно во время социального взаимодействия лицом к лицу и воспринимаются как «естественные».

Рассмотренные дружеско-профессиональные связи в интеллектуальной среде различаются по степени открытости/замкнутости и по степени выраженности инструментальной функции/функции поддержания символических границ. Более закрытые круги друзей тяготеют к тому, что прагматические аспекты дружбы будут вытесняться из дискурса, круг друзей будет выполнять символическую функцию различения и поддержания дистанции с внешними акторами, формально занимающими равные позиции в поле. И наоборот, более открытые дружеские

связи ориентированы на сотрудничество, в них инструментальная функция преобладает над символической.

Солидарность, возникающую внутри дружеского круга или в общении друзей, следует рассматривать как следствие работы практик различения. Такая солидарность порождается во время коммуникации лицом к лицу как результат чувственного распознавания «своего» и взаимного признания и не отсылает к общностям более высокого уровня (класс, гендер, профессия и т. д.). В этом контексте дружба может быть понята как критически, т. е. как исключаящая практика, так и позитивно, т. е. как источник уникального блага, которое носит принципиально индивидуальный характер и не может быть сведено к идее общего блага. Анализ избирательного аспекта дружбы может быть полезен для понимания других типов совместности за пределами интеллектуальной среды, которые не имеют отчетливой идентичности и слабо институционализированы, но тем не менее могут оказывать значительное влияние на поле культурного производства.

Литература

- Аристотель. (1984). Большая этика / Пер. с древнегреч. Т. А. Миллер // *Аристотель. Сочинения*: в 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль. С. 295–374.
- Бурдьё П. (2005). Различение: социальная критика суждения / Пер. с франц. О. И. Кирчик // *Экономическая социология*. Т. 6. № 3. С. 25–48.
- Вахштайн В. С. (2015). Салоны и клубы: ответ Михаилу Соколову // *Социология власти*. Т. 27. № 3. С. 69–80.
- Гоффман Э. (2003). Символы классового статуса / Пер. с англ. В. Г. Николаева // *Логос*. № 4–5. С. 42–53.
- Гудков Л. Д., Дубин Б. В. (2002). Нужные знакомства: особенности социальной организации в условиях институциональных дефицитов // *Мониторинг общественного мнения*. Т. 59. № 3. С. 24–39.
- Дубин Б. В. (2009). Режим разобщения: новые заметки к определению культуры и политики // *Pro et Contra*. Т. 13. № 1. С. 6–19.
- Коллинз Р. (2002). Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения / Пер. с англ. Н. С. Розова и Ю. Б. Вертгейма. Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Круглова Т. А., Неменко Е. П. (2013). Нравы художественной среды: советский габитус в современной российской культуре и французский опыт сотрудничества художников // *Лихачева Л. С. (ред.). Нравы как социально-культурный феномен: проблема модернизации в современной России*. Екатеринбург: Изд-во УрФУ. С. 185–228.
- Сафонова М. А. (2012). Сетевая структура и идентичность в локальном сообществе социологов // *Социологические исследования*. № 6. С. 107–120.
- Соколов М. М. (2012). Изучаем локальные академические сообщества // *Социологические исследования*. № 6. С. 76–82.

- Соколов М. М. (2015). Социология как чудо: процесс sense-building в одной академической дисциплине // Социология власти. Т. 27. № 3. С. 13–57.
- Соколов М. М., Титаев К. Д. (2013). Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. № 19. С. 239–275.
- Филиппов А. Ф. (2011). Мобильность и солидарность. Статья первая // Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. С. 4–20.
- Филиппов А. Ф. (2012). Мобильность и солидарность. Статья вторая // Социологическое обозрение. Т. 11. № 1. С. 19–39.
- Хархордин О. В. (ред.). (2009). Дружба: очерки по теории практик. СПб.: Изд-во ЕУСПб.
- Юдин Г. Б. (2010). Иллюзия научного сообщества // Социологическое обозрение. Т. 9. № 3. С. 57–84.
- Шматко Н. А. (2009). «Различение: социальная критика суждения». URL: <http://bourdieu.name/content/razlichenie-socialnaja-kritika-suzhdenija> (дата доступа: 04.09.2016).
- Bourdieu P. (1988). *Homo Academicus*. Stanford: Stanford University Press.
- Carnevali B. (2013). L'esthétique sociale entre philosophie et sciences sociales // Tracés. № 13. P. 29–48.
- Dewald J. (1993). *Aristocratic Experience and the Origins of Modern Culture: France, 1570–1715*. Berkeley: University of California Press.
- Farrell M. (2001). *Collaborative Circles: Friendship Dynamics and Creative Work*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sapiro G. (1999). *La Guerre des écrivains (1940–1953)*. Paris: Fayard.
- Sapiro G. (2002). Formes et structures de l'engagement des écrivains communistes en France: de la «drôle de Guerre» à la Guerre froide // Sociétés et représentations. № 15. P. 155–176.

Friendship as a Practice in Distinction (an Example of the Intellectual Milieu of Yekaterinburg)

Ekaterina Nemenko

Assistant Professor, Institute of Social and Political Sciences, Ural Federal University

Address: Mira str., 19, Yekaterinburg, Russian Federation 620002

E-mail: hist-nemenko@yandex.ru

The paper examines specific manifestations of friendship relationships in the contemporary Russian intellectual milieu. It aims to re-conceptualize the notion of friendship as a social-aesthetic phenomenon, that is, as an ensemble of practices of distinction guided by social tastes. The goal of this reconceptualization is to separate friendship from a powerful theoretical tradition where it is related to the idea of the common good, social integration, and the public sphere, and to offer an alternative view of friendship as a selective practice. The selective and exclusive

aspects of friendship are not articulated in the discourse, but are widely present at the level of everyday practices. Based on deep semi-structural interviews with a number of intellectuals of Yekaterinburg, such practices as rapprochement/keeping a distance, building and protecting symbolic boundaries, and emotional involvement in communication have been analyzed. Friendship relations in the intellectual milieu differ by the degree of openness/closeness, and by the degree of the instrumentality/symbolic functions. The analysis allows for the questioning of the uncritical usage of the concept of "community" and for replacing it with the model of "web of friends" or "circles of friends", with more or less stable symbolic borders that separate different social styles. The solidarity that emerges during the communication between friends is a result of the sensible recognition of the others, and does not refer to a higher level of communities (such a gender, class, profession, and so on). In this context, friendship can be understood both critically, as an exclusive social practice, and positively, as a unique good that has an antidemocratic nature and can not be reduced to any sort of common good.

Keywords: friendship, habitus, sociology of intellectuals, recognition, solidarity, distinction, social aesthetics, social taste

References

- Aristotle (1984) *Bolshaja etika* [Big Ethics]. *Sochinenija. Tom 4* [Writings, Vol. 4], Moscow: Mysl, pp. 295–374.
- Bourdieu P. (1988) *Homo Academicus*, Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu P. (2004) Razlichenie: socialnaja kritika suzdenija [Distinction: A Social Critique of the Judgement]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 6, no 3, pp. 25–48.
- Carnevali B. (2013) L'esthétique sociale entre philosophie et sciences sociales. *Tracés*, no 13, pp. 29–48.
- Collins R. (2002) *Sociologia filosofij: globalnaja teorija intelektualnogo izmenenija* [Sociology of Philosophies: Global Theory of Intellectual Change], Novosibirsk: Sibirsky khronograf.
- Dewald J. (1993) *Aristocratic Experience and the Origins of Modern Culture: France, 1570–1715*, Berkeley: University of California Press.
- Dubin B. (2009) Regim razobshhenija: novie zametki k opredeleniju kulturi i politiki [Regime of the Disconnection: New Notes on the Definition of Culture and Politics]. *Pro et Contra*, vol. 13, no 1, pp. 6–19.
- Farrell M. (2001) *Collaborative Circles: Friendship Dynamics and Creative Work*, Chicago: University of Chicago Press.
- Filippov A. (2011) Mobilnost i solidarnost. Statja pervaja [Mobility and Solidarity. First Paper]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 3, pp. 4–20.
- Filippov A. (2012) Mobilnost i solidarnost. Statja vtoraja [Mobility and Solidarity. Second Paper]. *Russian Sociological Review*, vol. 11, no 1, pp. 19–39.
- Goffman E. (2003) Simvoli klassovogo statusa [Symbols of Class Status]. *Logos*, no 4–5, pp. 42–53.
- Gudkov L., Dubin B. (2002) Nuzhnye znakomstva: osobennosti socialnoj organizacii v uslovijah institutsionalnih deficitov [Useful Contacts: Features of the Social Organization under Condition of Institutional Deficiency]. *Monitoring of Public Opinion*, vol. 59, no 3, pp. 24–39.
- Kharkhordin O. (ed.) (2009) *Druzba: ocherki po teorii praktik* [The Friendship: Essays in the Theory of Practices], Saint Petersburg: EUSPb Press.
- Kruglova T., Nemenko E. (2013) Nravi hudozestvennoj sredi: sovetskij gabitus v sovremennoj rossijskoj culture i francuzskij opit sotrudnichestva hudozhnikov [Customs of Artistic Milieu: Soviet Habitus in Contemporary Russian Culture and French Experience of Artists' Cooperation]. *Nravi kak socialno-kulturnij fenomen: problems modernizatsii v sovremennoj Rossii* [Mores as Social-Cultural Phenomenon: The Problem of Modernization in Contemporary Russia] (ed. L. Likhacheva), Yekaterinburg: UrFU Press, pp. 185–228.
- Safonova M. (2012) Setevaja struktura i identichnost v lokalnom soobshhestve sociologov [Network Structure and Identity of the Local Community of Sociologists]. *Sociological Studies*, no 6, pp. 107–120.
- Sapiro G. (1999) *La Guerre des écrivains (1940–1953)*, Paris: Fayard.

- Sapiro G. (2002) Formes et structures de l'engagement des écrivains communistes en France: de la "drôle de Guerre" à la Guerre froide. *Sociétés et représentations*, no 15, pp. 155–176.
- Shmatko N. (2009) "Razlichenie: socialnaja kritika suzdenija" [*Distinction: A Social Critique of the Judgement*]. Available at: <http://bourdieu.name/content/razlichenie-socialnaja-kritika-suzhdenija> (accessed 4 September 2016).
- Sokolov M. (2012) Izuchaem lokalnie akademicheskie soobsshestva [Studying Local Academic Communities]. *Sociological Studies*, no 6, pp. 76–82.
- Sokolov M. (2015) Sociologia kak chudo: process sense-building v odnoj akademicheskoy discipline [Sociology as a Miracle: The Process of Sense-Building in an Academic Discipline]. *Sociology of Power*, vol. 27, no 3, pp. 13–57.
- Sokolov M., Titaev K. (2013) Provincialnaja i tuzemnaja nauka [Provincial and Native Science]. *Anthropological Forum*, no 19, pp. 239–275.
- Vakshtain V. (2015) Saloni i klubi: otvet Mikhailu Sokolovu [Salons and Clubs: A Response to Mikhail Sokolov]. *Sociology of Power*, vol. 27, no 3, pp. 69–80.
- Yudin G. (2010) Illuzia nauchnogo soobshhestva. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 3, pp. 57–84.

Русская революция как опытное опровержение социализма: версия Макса Вебера

Тимофей Дмитриев

Кандидат философских наук, доцент школы культурологии факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: tdmitriev@hse.ru

Макс Вебер принадлежит к числу тех социальных ученых, кто одним из первых дал критический анализ социалистического эксперимента 1917–1920 годов. Принципиальное значение этого сегмента наследия Вебера для сегодняшнего дня заключается в том, что интерпретация опыта революции в России осуществляется им не только с практико-полемиических, но также и с теоретико-социологических позиций. Основное внимание в статье уделяется данной Вебером трактовке революции в России с точки зрения практических результатов большевистской политики и проведенному им сопоставлению политики большевиков в годы Русской революции и Гражданской войны 1917–1920 годов с доктринальными положениями марксистского социализма. В статье рассматривается также тезис Вебера о неизбежной бюрократизации социалистического общества и предложенная им в работе «Хозяйство и общество» сравнительная оценка экономической эффективности рыночной и плановой экономики. В заключение формулируются соображения о том эвристическом потенциале, который работы Вебера, посвященные Русской революции 1917 года и последовавших за ней событий, могут иметь для современных исследований истории советского общества.

Ключевые слова: Русская революция, социализм, большевистская партия, государственная бюрократия, плановое хозяйство, бюрократизация

Ich bin absolut überzeugt, daß diese Experimente nur zu einer Diskreditierung des Sozialismus für 100 Jahre führen *können* und werden.

[Я абсолютно убежден, что эти эксперименты *могут* иметь и будут иметь в качестве своего следствия одну лишь дискредитацию социализма на ближайшие сто лет.]

Письмо Макса Вебера Георгу Лукачу, март 1920 г.

В своей книге «Социалистическое хозяйство: теоретические мысли по поводу русского опыта», изданной в Берлине в 1923 году, российский экономист Борис Бруцкус писал: «Русская социальная революция имеет всемирно-историческое

значение со многих точек зрения. Она его имеет и в том отношении, что впервые попыталась перенести социализм с высот радужной мечты на землю суровой действительности; она не говорила о социализме, она его строила» (Бруцкус, 1999 [1923]: 5). Как показывает исторический опыт, подобная теоретическая постановка вопроса о Русской революции как практическом осуществлении доктрины марксистского социализма оказалась необычайно плодотворной в эвристическом отношении. Она не только позволила дать оценку социалистической революции в России с точки зрения последствий воплощения на практике базовых положений марксистской революционной доктрины, но и породила целую волну споров между учеными и интеллектуалами о советском социализме в социальных науках и политических дебатах XX века. Тем интереснее в этом контексте звучат теоретические позиции и социально-политические оценки тех европейских социальных ученых и интеллектуалов, которые «первыми смогли почуять важное» (Ю. Хабермас), еще на самом начальном этапе социалистического эксперимента в России узрев в советском опыте практического осуществления социализма важные уроки и предостережения не только для самой России, но и для судеб всей западной современности. В нашем случае речь пойдет о крупнейшем социальном и политическом мыслителе Германии начала XX века — Максе Вебере. Применительно к теме нашей статьи важно то, что Вебер был одним из первых социальных ученых, давших в высшей степени поучительный анализ социалистического эксперимента 1917–1920 гг. в России¹. При этом принципиальное значение имеет то, что критический анализ опыта практического осуществления социализма в России проводился Вебером не только с *практико-полемических*, но также и с *теоретико-социологических* позиций, что, безусловно, придает особую тональность его суждениям и оценкам.

Исторический смысл Русской революции 1917 года для Запада Вебер усматривал в том, что благодаря захвату власти большевиками социализм превратился из доктринального идеала в *практическую* задачу. В своем анализе прихода к власти партии большевиков Вебер исходит из предпосылки, что их политика, получившая впоследствии название «военного коммунизма», была продиктована не только решением тактических задач выживания большевистского режима, но и представляла собой попытку построить новое общество по лекалам марксистского социализма, своего рода фронтальную «красногвардейскую атаку» на капитал,

1. Наряду с уже упомянутым выше Борисом Бруцкусом, опубликовавшим зимой 1922 года в издававшемся в Советской России журнале «Экономист» цикл статей под названием «Проблемы народного хозяйства при социализме» (Бруцкус, 1922), которая впоследствии в виде брошюры вышла по-русски в Берлине в 1923 году (Бруцкус, 1999 [1923]), и австрийским экономистом Людвигом фон Мизесом, опубликовавшим сперва в апреле 1920 года статью «Хозяйственный расчет в социалистической экономике» (Mises, 1920) (Вебер прямо ссылается на нее в «Хозяйстве и обществе» [Weber, 1976a: 58]), а затем и целую книжку, посвященную в том числе анализу социалистического эксперимента в России (Mises, 1922). К числу социальных ученых, уже в первые годы советского строя пытавшихся дать оценку причинам его возникновения и последствиям существования не только с политико-полемических, но в первую очередь с социально-теоретических позиций, следует отнести также российского социолога Питирима Сорокина (1889–1968) и экономиста Петра Струве (1870–1944).

как впоследствии назовет ее итальянский философ-марксист А. Грамши. Отсюда и у участников, и у наблюдателей этого невиданного социального эксперимента напрашивалось предположение, что по результатам политики военного коммунизма можно судить также о теоретической и практической состоятельности доктринальных положений марксистского социализма. Именно на это предположение и ориентировался, по всей видимости, Вебер в своем анализе опыта Русской революции. Для Вебера было не менее очевидно, что к 1920 году эта попытка создания нового общества и хозяйства по доктринальным рецептам марксистского социализма окончилась полным крахом² и что большевикам удавалось удерживать власть лишь благодаря использованию старых буржуазных методов организации труда, производства и управления в сочетании с военно-полицейскими методами принуждения (Красная Армия, ВЧК, революционные трибуналы) и превращения подконтрольной им части бывшей Российской империи в один большой военный лагерь.

Анализ Вебером опыта практического осуществления социализма в России нашел свое выражение прежде всего в его политических выступлениях и публикациях 1917–1919 годов, особое место среди которых занимает его доклад «Социализм», прочитанный в Вене 13 июня 1918 года перед офицерами императорской и королевской австро-венгерской армии, а также в соответствующих разделах работы «Хозяйство и общество», писавшихся или перерабатывавшихся им в 1919–1920 годах³. Именно на этих текстах мы сосредоточим внимание в нашей статье, привлекаемая — по мере необходимости — также иные работы и выступления выдающегося немецкого мыслителя.

2. Уже летом 1918 года Вебер был вынужден констатировать по поводу политики большевиков, что «этот эксперимент до сих пор вызывает не слишком много воодушевления» (Вебер, 2003b: 337).

3. Как отмечает Вольфганг Моммзен, к моменту скоропостижной кончины Макса Вебера, следовавшей 20 июня 1920 года, только часть его *opus magnum* была готова к публикации, включая главу «Основные социологические понятия» (*Soziologische Grundbegriffe*), главу «Основные социологические категории хозяйствования» (*Soziologische Grundkategorien des Wirtschaftens*), главу «Три типа легитимного господства» (*Drei reinen Typen der legitimen Herrschaft*) и фрагмент главы «Сословия и классы» (*Stände und Klassen*), работа над которой не была завершена. Первые три главы, как настаивает Моммзен, «представляют ту часть большого проекта, которая была полностью завершена. С небольшими исправлениями, носящими по преимуществу технический характер и принадлежавшими Марианне Вебер и Пальи, эти тексты следует признать единственными, которые сохранились в их оригинальной форме» (Mommesen, 2000: 383). В этих текстах, которые были отпечатаны еще до смерти Вебера и несут на себе следы его рукописной правки, мы имеем дело, как констатирует В. Моммзен, «с совершенно иным видом исторической социологии, чем прежде. Несмотря на то что она сохраняет всемирно-историческую перспективу и глобальный охват, характерный для ранних рукописей, она тем не менее больше не руководствуется эволюционной точкой зрения, какой бы широкой она ни была, а представляет собой систематическую презентацию различных типов социального поведения, идущих от чисто аффективного к формально-рациональному действию. Большое разнообразие альтернативных типов социального действия, осуществляемого различными социальными институтами, и иллюстрируемых обращением к широкому кругу исторических примеров дает читателям возможность делать свои собственные выводы» (Mommesen, 2000: 382).

«Крупный эксперимент проводится сейчас в России»

«Крупный эксперимент проводится сейчас в России» (Вебер, 2003b [1918]: 336), — так говорил Вебер, выступая перед офицерами австро-венгерской армии в июне 1918 года. В данном случае он имел в виду эксперимент по практическому осуществлению социализма, начатый большевиками после их прихода к власти в октябре 1917 года. Несмотря на то что в условиях продолжавшейся войны действия военной цензуры существенно затрудняли получение достоверной информации из России, на основании того немногого, что было известно, Вебер ставил эксперимент большевиков с «диктатурой пролетариата» и полномасштабным обобществлением хозяйства не слишком высоко. Соглашаясь с тем, что заключение мирного договора с центральными державами в Брест-Литовске позволило большевикам рассчитывать на временную передышку, Вебер тем не менее полагал, что их шансы удержаться у власти были невелики.

Разъясняя свою мысль офицерам союзной страны, Вебер отмечал, что в отношении социалистического эксперимента в России в академических и политических кругах немецкого общества (в широком смысле, включая сюда и австрийское) наметились два основных подхода. «Лица, заинтересованные в Брестском мире и стоявшие на буржуазных позициях, выступали за него, так как говорили себе: пусть ради Бога большевики проводят свой эксперимент, он, конечно, уйдет в песок, и тогда это послужит устрашающим примером; мы же были за мир по другой причине, так как говорили: если эксперимент удастся, и мы увидим, что там возможна культура, то они обратят нас в свою веру» (Вебер, 2003b [1918]: 337). Для того чтобы понять, о каких альтернативных подходах к социалистическому эксперименту в России в данном случае идет речь, необходимо обратиться к мемуарам австрийского банкира Ф. Зомари, проливающих интересный свет на предысторию веберовского выступления⁴.

Весной 1918 года посетители венского кафе «Ландман» на Рингштрассе, что напротив Венского университета, стали невольными свидетелями спора между несколькими уважаемыми господами, который, начавшись вполне мирно, затем перерос в ожесточенную перепалку и кончился тем, что один из участников спора в сильном волнении выбежал на улицу. Этот спор в кафе разгорелся между Максом Вебером и австрийским экономистом Йозефом Шумпетером⁵. Вебер пришел на встречу в сопровождении Людо Морица Гартмана, специалиста по античной истории; поводом для встречи послужила необходимость обсудить важный академический вопрос. Однако в ходе разговора речь зашла о революции в России. Шумпетер заявил, что благодаря ей социализм перестал быть «бумажной дискуссией» и теперь вынужден доказывать свою жизнеспособность на практике. На что Вебер возразил, что попытка ввести социализм в России, учитывая уровень ее

4. В данном случае последующее изложение строится на воспоминаниях Зомари, который описал эту перепалку в своих мемуарах: Zomary, 1994: 178–180.

5. Я уже имел возможность коснуться вкратце этого эпизода в статье: Дмитриев, 2014: 319–320.

экономического развития, есть, по сути дела, преступление и что социалистический эксперимент неминуемо окончится катастрофой. В ответ Шумпетер холодно заметил, что такой исход вполне вероятен, но что Россия при этом представляет собой «прекрасную лабораторию». Тут Вебер не выдержал и взорвался: «Лабораторию с горой трупов!» Шумпетер парировал: «Как и любой другой анатомический театр». Спор перекинулся на социальные изменения, вызванные войной. Вебер начал критиковать Великобританию за отход от либерализма, Шумпетер возражал ему. Вебер, как вспоминает Зомари, говорит «все резче и громче, Шумпетер — саркастичнее и тише». К спору начали прислушиваться посетители кафе. Наконец, Вебер в сильном возбуждении вскочил со своего места и со словами «Это уже невозможно выносить!» выбежал из кафе на Рингштрассе. Гартман догнал его, вручил забытую в кафе шляпу и попытался успокоить, но все напрасно. На что Шумпетер флегматично заметил: «Ну как можно поднимать такой крик в кафе?»

Очевидно, что и в споре с Шумпетером в кафе «Ландман», и в выступлении перед офицерами австро-венгерской армии речь у Вебера шла об одной и той же теме: об отношении к социалистическому эксперименту в России. Существо этого спора состояло в том, что социалистическую революцию в России многие западные ученые и интеллектуалы рассматривали как важнейшую проверку идей марксистского социализма, способную дать ответ на вопрос о его теоретической и практической состоятельности в качестве масштабного проекта переустройства современного мира. Ставка была необычайно высока, поскольку на кону стояла сама идея марксистского социализма как общества без частной собственности на средства производства, в котором устранена «анархия» капиталистического способа производства и эксплуатация человека человеком, а процессы общественного производства и потребления осуществляются рационально и планомерно в интересах всего общества.

Что касается позиции Вебера в этих дебатах, то он с самого начала довольно скептически отнесся к большевистскому перевороту в Петрограде в октябре 1917 года, полагая, что большевикам удастся продержаться самое большее несколько месяцев⁶. «В любом случае их правительство, — писал он в феврале 1918 года, — это правительство ничтожного меньшинства. Оно опирается на значительную часть уставшей от войны армии. В силу обстоятельств (и совершенно независимо от искренности их идеологических убеждений) они обречены на чисто военную диктатуру, и при этом не диктатуру генералов, а диктатуру капралов» (Weber, 1988b [1918]: 292). Было бы в высшей степени смехотворно считать, писал Вебер, обращаясь к немецким социал-демократам, что за большевиками стоит «„классово сознательная“ масса пролетарского образца. За ними стоит *солдатский* про-

6. Впрочем, власти большевиков давало от силы несколько недель и подавляющее большинство представителей российского образованного класса. «Все интеллигентное общество, стоявшее вне революционных кругов, — писал в своих воспоминаниях известный русский философ Н. О. Лосский, — было уверено, что партия, увлеченная фантастически утопическим планом Ленина осуществить социализм в экономически отсталой стране и состоящая из лиц, не знакомых с практикою государственной деятельности, продержится у власти не более трех недель» (Лосский, 1991: 176).

летариат» (Weber, 1988b [1918]: 292–293). Сходных оценок о нежизнеспособности политического режима, установленных большевиками в России, Вебер продолжал придерживаться и впоследствии, считая падение большевизма предпрешенным. «Большевизм, — подчеркивал Вебер, — это такая же военная диктатура, как и любая другая, и, как и любой другой военной диктатуре, ей суждено потерпеть крах» (Weber, 1988c [1918]: 365). Впрочем, несмотря на то что Вебер явно ошибался, давая столь опрометчивые оценки перспективам удержания власти большевиками, его наблюдения по поводу социального характера большевизма продолжают и сегодня представлять несомненный интерес. На примере Октябрьского переворота 1917 года и последовавшего за ним социалистического эксперимента в России Вебер показывает, какие *социальные* предпосылки лежали в основе этого на первый взгляд чисто *политического* события и к каким *социальным* последствиям им суждено было привести.

С точки зрения Вебера, характер большевизма как революционного движения в решающей степени определялся не социалистическими идеалами и лозунгами, декларируемыми вождями большевиков, но материальными интересами их последователей — части радикально настроенных рабочих и деклассированной солдатской массы⁷. Анализируя шансы большевиков на удержание завоеванного ими политического господства, Вебер исходил из того, что материальные интересы последователей и попутчиков большевизма в лице солдатских и народных масс будут раз за разом превозмогать и посрамлять интересы и идеалы их вождей. «Какие бы цели ни преследовали петербургские литераторы (*die Petersburgen Literaten*), их аппарат власти — солдаты — ждут и требуют только одного: *зарплаты и военной добычи*. И этим определяется все» (Weber, 1988b [1918]: 293). Иными словами, Вебер полагал, что опора на деклассированную и деморализованную солдатскую массу и на вооруженные отряды Красной Гвардии ставила большевиков в решающую зависимость от их поддержки.

В связи с анализом социальной базы большевизма Вебер много писал и говорил о тех, кто «живет не *ради* революции, а *за счет* нее», т. е. о социальных паразитах, в первую очередь заинтересованных в том, чтобы ситуация революционного хаоса и анархии продолжалась как можно дольше. Именно в этом, по его мнению, заключалась как «сущность большевизма» в России, так и родственных ему политических движений в самой Германии (Вебер, 2003c [1918]: 349)⁸. В современном мире, доказывал Вебер в своем докладе «Политика как призвание и профессия», судьба всякого политика, который желает при помощи насилия установить царство абсолютной справедливости, решающим образом определяется его способностью предложить своим последователям такое материальное и символическое

7. «Люди, — специально подчеркивал Вебер в статье «Переход России к псевдodemократии» (1917), — нуждаются прежде всего в материальных средствах существования» (Weber, 1988a [1917]: 199).

8. «До тех пор, — добавляет Вебер, — пока кормящимся из революционной кормушки прихлебателям хватает пропитания, они совершенно не заинтересованы в окончании теперешней ситуации» (Вебер, 2003c [1918]: 349).

вознаграждение, которое могло бы их устроить. При всей своей гениальности и целеустремленности он не сможет осуществить свою политическую программу без опоры на аппарат власти, которому ради того, чтобы он выполнял его приказы, он должен не только пообещать, но и обеспечить необходимое — внутреннее и внешнее — вознаграждение. Под «внутренним вознаграждением» Вебер понимает «утоление ненависти и жажды мести», а также «потребности в псевдоэтическом чувстве безусловной правоты, поношении и хуле противников», тогда как «внешнее вознаграждение — это авантюра, победа, добыча, власть и доходные места» (Вебер, 1990а [1919]: 702). Как отмечал Вебер,

успех вождя полностью зависит от функционирования подвластного ему человеческого аппарата. Поэтому зависит он и от *его* — а не своих собственных мотивов — то есть от того, чтобы свите: Красной Гвардии, провокаторам и шпионам, агитаторам, в которых он нуждается, эти вознаграждения доставлялись *постоянно*. То, чего он фактически достигает в таких условиях, находится поэтому вовсе не в его руках, но предназначено ему преимущественно низкими мотивами действия его свиты, которые можно удерживать в узде лишь до тех пор, пока честная вера в его личность и дело воодушевляет по крайней мере часть товарищества. (Вебер, 1990а [1919]: 702)

Массовая низовая поддержка большевистского переворота со стороны рабочих, солдат и крестьян была вызвана их иррациональной ненавистью к имущим классам и стремлением к переделу общественного богатства на уравнилельно-коммунистических началах. Без такой поддержки деклассированных солдатских масс, желавших «зарплаты и военной добычи», и крестьян, стремившихся к захвату частновладельческих земель, новая большевистская власть не могла бы продержаться и нескольких недель. В России, писал Вебер, имея в виду В. И. Ленина, «диктатор появился с помощью *военной силы* и будучи поддержан солидарными интересами получившего землю *крестьянства*» (Weber, 1976a: 163).

Однако подобный объяснительный тезис, построенный по модели «короля играет свита», упускал из виду одно немаловажное обстоятельство: «истинный» большевизм радикальной революционной интеллигенции, составлявшей партийную элиту, а после октября 1917 года — еще и костяк аппарата управления будущего социалистического государства, оказался намного более дееспособным в том, что касалось удержания захваченной власти. Несмотря на то что Вебер прекрасно отдавал себе отчет в той роли, которую в революционных событиях как 1905, так и 1917 года сыграла русская революционная интеллигенция, он явно не ожидал, что ее радикальное крыло в лице большевиков окажется обладающим столь сильной волей к власти и к тому же способным в кратчайшие сроки создать новое и довольно жизнеспособное социалистическое государство. Как в свое время и Вебер, современные историки ищут объяснения этого примечательного явления в гипотезе о существовании «двух большевизмов», одного — государственнического большевизма партийной элиты и другого — антигосударственного и уравнилель-

но-распределительного «солдатского большевизма», временный и, как показало дальнейшее развитие событий, противоестественный альянс между которыми помог большевикам в конце 1917 — начале 1918 года удержаться у власти. Как отмечает Андреа Грациози, крестьяне и национальные меньшинства на первых порах поддерживали новое большевистское правительство исключительно потому, что оно осуществляло *их* программу. По словам Грациози,

в этом заключалась суть «двойственности» Октября, когда строго государственническая партия взяла власть, опираясь на движение с сильно выраженными местными и национальными тенденциями. Эта двойственность проявилась в *двух большевизмах* конца 1917 и начала 1918 года. С одной стороны, это был большевизм крестьян и солдат, но также и рабочих. С другой стороны, «истинный» большевизм небольшой политической элиты, которая присвоила себе это имя. Смещение этих двух начал не могло длиться долго, но в конце 1917 года данная двойственность еще существовала также и потому, что Петроград был слишком занят созданием начальных органов нового государства, чтобы противостоять тому, что происходило на местах. (Грациози, 2016: 36)

В итоге из «двух большевизмов» уже в довольно скором времени (летом 1918 года) верх взял вовсе не тот, которому отводил руководящую роль Вебер. Победителем вышел не солдатский большевизм деклассированных масс, а государственный большевизм партийной элиты, которая довольно быстро смогла организовать дееспособные органы власти и создать победоносную Красную Армию. Иными словами, констатирует Стефан Бройер, Вебер явно заблуждался, оценивая сравнительный властный потенциал двух главных действующих лиц русской драмы — народного большевизма солдат, крестьян и рабочих и «истинного большевизма» партийной элиты, вышедшей из рядов русской революционной интеллигенции. «Переоценивая роль первого, он явно недооценивал роль последнего — возможно потому, что считал, что история, зная множество случаев того, как интеллектуалы выступали в роли слуг государства (в то время как другие предпочитали аполитичное бегство от реальности), не знала ни одного случая того, чтобы интеллектуалы могли разрушить государство, а затем восстановить его в соответствии со своими собственными идеями» (Breuer, 1992: 272).

Будучи уверенным в крушении большевистского режима в обозримом будущем, Вебер ожидал появления на его месте еще более реакционного правительства. Та же самая судьба ожидала и Германию, если бы здесь к власти удалось прийти общественным силам и движениям, в политическом плане родственным большевизму. Задаваясь вопросом, к чему может привести социалистическая революция в Германии в условиях мировой войны и хозяйственной разрухи, он приходил к выводу о том, что итогом такой революции могла бы стать, помимо победы стран Антанты над немецким отечеством, только хозяйственная и политическая реакция, которая «на развалинах государства» «может привести к господ-

ству заинтересованных лиц из крестьян и мелкой буржуазии, т. е. радикальнейших противников *всякого* социализма (так, вероятно, и произойдет). Но все-таки прежде всего она причинит невообразимые потери капитала и дезорганизацию, т. е. замедление требуемого марксизмом общественного развития, каковое ведь предполагает непрерывно возрастающее насыщение экономики капиталом» (Вебер, 2003b [1918]: 339–340).

Отсюда Вебер делает необычайно важный вывод, согласно которому «с точки зрения надежд на социалистическое будущее перспективы революции во время войны являются наихудшими из всех возможных вариантов даже в случае успеха революции. То, что революция в наиболее благоприятном случае могла бы принести — приближение политического законодательства к той его форме, к которой стремится демократия, — революция социализму не даст из-за *хозяйственно* реакционных последствий, каковые она обязательно возымеет. И этого тоже ни один социалист, будучи честен, не сможет опровергнуть» (Вебер, 2003b [1918]: 340).

«Наступает диктатура чиновника»

Однако главные возражения Вебера против социалистического эксперимента в России производны от разработанной им систематической теории бюрократии⁹. Согласно Веберу, одной из принципиальных черт современного мира является сосредоточение функций управления всеми сторонами общественной жизни в руках профессиональной бюрократии. Современная рациональная бюрократия характеризуется такими признаками, как наличие постоянного места работы, постоянного жалованья, пенсии по выслуге лет, поэтапная служебная карьера, профессиональная выучка, разделение труда внутри бюрократического аппарата управления, обладание специализированными компетенциями, действие на основе формально утвержденного законодательства, а также иерархическая упорядоченность чинов. Сфера деятельности различных аппаратов бюрократического управления имеет строго очерченную область полномочий, сами же чиновники не выбираются, а назначаются в соответствии с мерой их компетенции. Кроме того, говоря о современном демократическом «массовом государстве», Вебер подчеркивает, что сам характер функционирования и развития современного капиталистического общества требует распространения бюрократического типа господства, поскольку современные общества, в отличие от традиционных, являются более масштабными по своим размерам и более сложными по своему устройству и организации, а потому они нуждаются в более рациональных формах управления. Из этого следует, что бюрократии как рациональному способу организации управления делами современного общества нет серьезной альтернативы.

9. На это обстоятельство обращали внимание практически все исследователи творчества Вебера, которые в своих работах затрагивали эту проблему: Mommsen, 1959: 275–276; Beetham, 1985: 202–203; Parkin, 2002: 104–105; 118; Kaube, 2014: 331–335.

На этом основании Вебер подвергает уничтожающей критике социалистическую иллюзию о том, что с помощью социальной революции и упразднения частной собственности на средства производства можно положить «конец *любому* господству человека над человеком» (Вебер, 2003b: 321). В развитом индустриальном обществе, в котором довлеет «неизбежная и универсальная бюрократизация», невозможно устранить структуры господства, можно только сделать более открытым доступ к занятию в этих структурах определенных постов. Вебер писал:

Современная демократия повсюду, где она является демократией большого государства, представляет собой демократию бюрократизированную. Так и должно быть, ибо современная демократия заменяет знатных дворян или прочих чиновников, работающих на общественных началах, оплачиваемым чиновничеством. Этот процесс идет повсюду, он идет даже внутри партий. Это неизбежно, и вот первый факт, с которым должен считаться и социализм: необходимость много лет получать профессиональное образование, непрерывно углубляющаяся профессиональная специализация, а также участие в управлении получившего специальность профессионального чиновничества. Иначе современным хозяйством управлять невозможно. (Вебер, 2003b [1918]: 308).

Кроме того, Вебер доказывает, что «отделение работника от средств производства» в современном индустриальном обществе вызвано не частной собственностью на средства производства, как считал Маркс и его последователи, но является технологической необходимостью и распространяется на все важнейшие социально-профессиональные группы общества модерна (чиновники, служащие, ученые, преподаватели, военные). Поэтому Веберу представляется совершенно необидительной уверенность сторонников марксистского социализма в том, что упразднение частной собственности на средства производства приведет к упразднению не только капитализма, но и отчуждения и эксплуатации человека человеком. Совсем наоборот: упразднение частной собственности на средства производства и тесно связанной с ней категории частных предпринимателей еще сильнее подхлестнет тенденцию к «неизбежной и универсальной бюрократизации» современного общества, поскольку последняя является «*формально наиболее рациональной* формой осуществления господства» и в качестве таковой «она сегодня просто необходима для потребностей управления (личного или вещного) массами» (Weber, 1976a: 128).

Иными словами, преобладание рационального бюрократического управления является отличительной чертой обществ модерна как таковых, для которых характерно отделение работников от средств производства, обусловленное технологическими соображениями. Эту особенность современных обществ и управления ими Вебер трактует предельно широко. Речь идет об отделении от средств производства не только наемных работников, но и специалистов в области управления — в бюро и офисах, ученых и преподавателей — в лабораториях и аудиториях,

военных — в армии и т. д. «Итак, повсюду одно и то же: средства производства на фабрике, в государственном управлении, в армии и университете при помощи ступенчатого бюрократического аппарата концентрируются в руках тех, кто в этом аппарате господствует» (Вебер, 2003b [1918]: 311–312). Согласно Веберу, то же самое положение неизбежно будет воспроизведено и при социализме, поскольку и при этом социально-экономическом строе технические соображения административной рациональности и экономической эффективности в конечном счете возьмут верх над эсхатологическими мечтами об обществе без «господства». Поэтому для Вебера социализм как социально-экономическая система не являлся радикальным антиподом капитализма, поскольку он был твердо убежден, что в обоих случаях управление обществом в целом и отдельными сторонами его жизни в частности будет носить бюрократический характер, с той только разницей, что при социализме — в силу отсутствия института частной собственности и частного предпринимательства — «бюрократический деспотизм» примет еще более невыносимые и ярко выраженные формы. «Растущая „социализация“ сегодня, — указывал Вебер, — неизбежно означает растущую бюрократизацию» (Вебер, 2003a [1918]: 129).

В обществе, где, как в Советской России, будут национализированы основные отрасли экономики, и где государство, возглавляемое «литераторами» (Literaten), — так Вебер презрительно именует революционно настроенных представителей интеллигенции, — вознамерится управлять всеми сторонами жизни подвластных ему людей, действительно суждено будет воцариться диктатуре, но только это будет не диктатура пролетариата, о которой грезили большевистские вожди, но «диктатура чиновника». Как подчеркивал Вебер, национализация предприятий и фирм, ведущая к устранению частнохозяйственной бюрократии, ставит на ее место бюрократию государственную, против единого фронта которой рабочим будет намного труднее отстаивать свои профессиональные интересы. «На государственных предприятиях и предприятиях целевых союзов, — отмечал Вебер, — и подавно царит не рабочий, но исключительно *чиновник*; рабочему же с помощью забастовки здесь труднее чего-либо добиться, чем если бы он выступал против частного предпринимателя» (Вебер, 2003b [1918]: 327). Дэвид Битэм резюмирует эту теоретическую и одновременно практико-полемическую позицию Вебера:

Коль скоро распространение бюрократических административных систем было неизбежным, то это означало, что все надежды социалистов на будущее, лишенное «Herrschaft», т. е. господства меньшинства над большинством, были иллюзорными. Марксистская вера в то, что ниспровержение капитализма приведет к бесклассовому обществу, опиралась на ошибочное допущение, согласно которому частная собственность на средства производства являлась единственной основой власти меньшинства. Это утверждение было ошибочным с исторической точки зрения; оно не принимало во внимание характерных для современного общества возможностей классовообразования на основе технического знания и организационной власти, свойственных

развитому индустриальному обществу. Как полагал Вебер, иерархическая система управления, которой рабочий был подчинен на своем рабочем месте, была обусловлена самим характером организации сложных технологических процессов и потому ей было суждено пережить упразднение частной собственности. Расширение управленческих структур и административного персонала было продиктовано увеличением размера и сложности промышленных предприятий вне зависимости от формы собственности. (Beetham, 1987: 62)

Образ грядущего социалистического общества, полностью подчиненного бюрократической власти, служил Веберу одним из главных доводов против социализма. С его точки зрения, сохранение капиталистического хозяйства и системы частного предпринимательства в современном обществе было принципиально важным потому, что они представляли собой серьезный институциональный противовес государственной бюрократии. Конфликты и противоречия между государственной и частнохозяйственной бюрократиями в обществе служили, по мнению Вебера, важной гарантией сохранения индивидуальной свободы, как политической, так и хозяйственной, в обществе модерна. Социализм угрожал устранить это противоречие между государственной и частной бюрократиями, объединив их в одну-единственную бюрократическую систему управления, находящуюся в руках харизматического вождя или партийной элиты. Иначе говоря, в случае полного обобществления средств производства, находящихся в частных руках, и неминуемо последовавшего бы за этим упразднения класса частных предпринимателей хрупкое равновесие между государством и обществом оказалось бы нарушенным. Установилась бы диктатура чиновника, которую было бы очень сложно (если только вообще возможно), поставить под контроль общества. Результатом этого стало бы появление общества, знающего один только бюрократический идеал порядка и безопасности и управляемого единой бюрократической системой, способной свести на нет любой намек на проявление индивидуальной свободы.

Если бы удалось исключить частный капитализм, государственная бюрократия воцарилась бы *самодержавно*. А ныне существующие наряду с ней и, по меньшей мере, когда есть возможность, работающие друг против друга, т. е. пока еще в определенной степени взаимно держащие друг друга в постоянном страхе частные и общественные бюрократии объединились бы в одну-единственную иерархию. Как, например, в Древнем Египте, только в совершенно несравнимо более рациональной и потому более неминуемой форме. (Вебер, 2003а [1918]: 143)

Какую бы форму ни принял социализм на практике, доказывал Вебер, ему не будет дано кардинально изменить и улучшить положение рабочего класса. Более того, и речи не может идти о том, что ему удастся положить конец «отделению работников от средств производства». Если частная собственность на средства производства будет заменена на экономическую систему, в которой не будет места

частным предпринимателям и частным собственникам капитала, то определение планов экономического развития и распределение дефицитных ресурсов, необходимых для их осуществления, целиком и полностью перейдет в руки государственной бюрократии. Вебер подчеркивает:

Как бы там ни было, грубой ошибкой является, когда такое отделение рабочего от средств производства считается чем-то свойственным лишь хозяйству, тем более — *частному* хозяйству. Ведь сущность ситуации нисколько не меняется, если происходит замена хозяина этого аппарата, если, к примеру, вместо частного фабриканта этим аппаратом располагает государственный президент или министр. В любом случае «отделение трудящихся от средств производства» продолжается. (Вебер, 2003b [1918]: 310)

Социалистическая иллюзия и ее практические последствия

Невозможность управлять сложным современным обществом в ручном режиме «пролетарской диктатуры», возглавляемой революционными интеллектуалами, служила для Вебера главным организационно-техническим аргументом против осуществимости социализма в его большевистском варианте «диктатуры пролетариата»¹⁰. Иллюзией романтически настроенных критиков капитализма «слева» представлялась ему и идея ликвидации профессиональной управленческой прослойки в лице чиновничества, административно-хозяйственной

10. Об уровне дилетантских импровизаций, к которым сплошь и рядом сводилась практика большевистского «законотворчества» и управления в «героический период» Русской революции (1917–1920), хорошее представление дают воспоминания самих большевистских администраторов. Вот, например, что писал о практиках управления первого советского правительства Юрий Ларин (1882–1932), с 1917 по 1921 год — член президиума ВСНХ, осуществлявший оперативное управление делами этого органа власти. «Ленин называл первое полугодие Советской власти периодом „ларинской диктатуры“ в нашем хозяйственном строительстве... И тогда и позже я отдавал распоряжения о проведении в интересах восстановления уральского хозяйства некоторых незаконных мер, когда не видел иного быстрого и верного выхода. Например, когда весной 1918 г. на окраинах не хватало денег — я послал на Урал и в Туркестан радиотелеграммы, в которых от имени общесоветского правительства предоставлял Уралу и Туркестану право печатать собственные деньги (в то время допускалось составление мной разных законов и распоряжений по хозяйственной части, иногда даже гораздо более существенных)» (Ларин, 1924: 6). Здесь, помимо всего прочего, примечательна циничная откровенность одного из видных советских деятелей, который прямо квалифицирует свои распоряжения по хозяйственным вопросам как «незаконные меры». Еще более примечательно описание Лариным тогдашнего советского «законотворчества», которое было таковым лишь по названию. «Законодательная техника первых месяцев, — вспоминал Ю. Ларин, — была организована весьма оригинально. Официальную газету „Рабоче-Крестьянского правительства“ (предшественницу нынешних „Известий“) редактировал т. Зиновьев. Одни законы и постановления, принятые Совнаркомом, ему присылались из канцелярии СНК. Другие, написанные мною, клал я в Смольном в „ящик писем для редакции“ или передавал, или присылал. Зиновьев аккуратно печатал и то и другое в официальном отделе под названием „Действия и распоряжения правительства“ — и еще несколько лет спустя Владимир Ильич дразнил меня подписью „За бюро Ю. Ларин“. Ибо не желая злоупотреблять подписыванием его имени без его ведома, нередко подписывал таким образом, предоставляя желающим в будущем докапываться, что это за „бюро“, предписывающее всякие национализации, вводящее монополии, дающее льготы и сажающее в тюрьмы» (Ларин, 1924: 8).

и инженерно-технической интеллигенции и выполнения функций управления обществом и экономикой специальных выборных лиц, работающих за «зарплату рабочего». Уже весной—летом 1918 года выяснилось, что марксистская идея государства-коммуны была мертворожденной и что без хорошо оплачиваемого аппарата управления невозможно ни решать хозяйственные вопросы, ни создать новые вооруженные силы большевистского режима — сперва Красную Гвардию, а затем Красную Армию. Констатация подобного рода фактов служила для Вебера еще одним доказательством нежизнеспособности новой власти.

В любом случае Вебер был убежден, что коль скоро современное общество может рационально и эффективно управляться только профессиональной бюрократией, то в нем мало что можно изменить при помощи радикальной социальной инженерии. Даже радикальные революционные партии, вдохновляющиеся антибюрократической риторикой и идеей самоуправления масс, придя к власти, будут вынуждены считаться с несокрушимой логикой бюрократического управления. Именно по такому пути пошла коммунистическая власть в годы Гражданской войны, прибегнув к использованию старых специалистов в сфере управления и в армии, а также к возвращению к сдельной оплате труда в сочетании с милитаризацией труда на производстве и к жесткому рационированию продуктов питания и предметов первой необходимости в сфере потребления. В своем выступлении в июне 1918 года перед офицерами австро-венгерской армии Вебер нарисовал перед ними впечатляющую картину широкого использования тех рационально-буржуазных и «старорежимных» методов управления, которые большевики до прихода к власти яростно отвергали, но к использованию которых они довольно скоро были вынуждены вернуться ради удержания власти. Прежде всего, как отмечал Вебер на основе доходящих из Советской России скудных сведений, правительство большевиков было вынуждено на еще работающих предприятиях, дававших в общей сложности не более 10% продукции мирного времени, вновь ввести систему сдельной оплаты труда на том основании, что иначе невозможно добиться высокой производительности труда. Вебер говорил о большевиках:

Они оставляют предпринимателей во главе предприятий — поскольку только предприниматели обладают знанием дела — и предоставляют им весьма значительные субсидии. Далее, они стали платить офицерские оклады офицерам старого режима, поскольку большевикам нужна армия и они увидели, что без квалифицированных офицеров дело не пойдет. То, что эти офицеры, вновь заполучившие в свои руки рядовой состав, долго будут терпеть руководство упомянутых интеллектуалов, кажется мне сомнительным; правда, пока им приходится с этим мириться. И, наконец, под угрозой лишения хлебных карточек большевики принудили работать на себя и часть бюрократии. (Вебер, 2003b [1918]: 336–337)¹¹

11. В данном случае Вебер оказался совершенно прав, несмотря на отсутствие в воюющей Германии достоверной информации из Советской России. К концу 1918 г. старые чиновники уже составляли подавляющее большинство служащих центрального государственного аппарата. По данным материалов переписи советских служащих в Москве, к осени 1918 г. их насчитывалось: в Наркомате финансов

В любом случае, заключает Вебер, «длительно руководить таким способом государственной машиной и экономикой невозможно, и этот эксперимент до сих пор вызывает не слишком много воодушевления. Поразительно лишь то, что такая организация вообще функционирует в течение столь долгого времени» (Вебер, 2003b [1918]: 337).

Настоятельная потребность наладить рациональное управление национализированной промышленностью и вооруженными силами в лице Красной Армии камня на камне не оставляла от прежних социалистических идеалов, поскольку решение этих совершенно неотложных для выживания большевистского режима задач требовало внедрения буржуазной оплаты и военной дисциплины труда на производстве и не менее жесткой дисциплины в повседневной жизни, имеющей мало общего как с гуманистическими социалистическими идеалами, так и с направленными против буржуазной дисциплины и личной ответственности формами богемной жизни. «Советы же со своей стороны, — констатировал Вебер в 1919 году, — сохраняют или, скорее, снова вводят высокое вознаграждение предпринимателям, аккордную зарплату, систему Тейлора, военную и трудовую дисциплину и ведут поиски иностранного капитала — одним словом, снова должны принимать *все* то, с чем были вынуждены бороться как с классовыми буржуазными учреждениями, чтобы вообще сохранить в действии государство и хозяйство» (Вебер, 1990a [1919]: 672). По сути дела, большевистским вождям, вынужденным вскоре после революции прибегнуть к использованию «буржуазных специалистов» и капиталистических методов организации труда и производства, а после окончания Гражданской войны заговорившим о необходимости разработки и прививки широким народным массам нового «коммунистического образа» жизни, основанного на принципах личной ответственности, трудовой дисциплины и нормативной рационализации повседневной жизни, пришлось в конце концов, пусть и нехотя, признать правоту Вебера.

К критике идеи национализации или социализации народного хозяйства и создания планово-централизованной социалистической экономики у Вебера приемыкает критика концептуального ядра политической доктрины марксистского социализма — учения о диктатуре пролетариата. То, что марксисты по привычке называют «диктатурой пролетариата», и опыт социалистической революции в России доказывает это лишний раз, на практике является, по мнению Вебера, диктатурой харизматического вождя и идущей за ним партийной свиты. Можно с полным правом сказать, что пример революций в России и Германии только еще больше укрепил Вебера в убеждении, что «ни сильная единая внешняя, ни подобная внутренняя политика массовых государств не может *эффективно* проводиться коллегиально. Особенно для целей социализации „диктатура пролетариата“

97,5%, Наркомате путей сообщения — 88,1%, Наркомате госконтроля — 80%, Наркомате здравоохранения — 60,9%, Наркомпроде — 60,8%, Наркомате торговли и промышленности — 56,2% (Ирошников, 1973: 53–54). Только в двух ведомствах — ВЧК и Наркомате иностранных дел — они составляли незначительное меньшинство — 16,1% и 22,9% соответственно.

как раз требует *диктатора*, движимого доверием масс. Именно этого не могут и не хотят стерпеть не „массы“, а массовые парламентские, партийные или (что не составляет никакой разницы) властвующие в Советах господа» (Weber, 1976a: 163), — писал он. Напротив, ленинская идея государства-коммуны, основанного на постепенном отмирании государства как «живой машины» господства, управляемой профессиональной бюрократией, представлялась Веберу чистой утопией, опровергнутой к тому же самым ходом истории. Не менее резко Вебер отзывался и о системе Советов, в которой он, в отличие от вождей большевизма, видел не зародыши политической власти рабочего класса, но прямой путь к хаотизации общественно-политической жизни¹².

Можно с полным правом сказать, что широкое использование большевиками старых специалистов в органах государственной власти и в Красной Армии, а также Ноябрьская революция в Германии 1918 года, в ходе которой старый чиновничий аппарат империи без особых изъятий и сокращений перешел на сторону новой власти, укрепили Вебера в убеждении, что современный бюрократический аппарат есть не что иное, как функционирующая по формальным правилам «живая машина» рационального управления, которая готова без разбора служить тому, кто проявляет в ней заинтересованность, а также готов выплачивать чиновникам причитающееся им жалованье и обеспечивать им подобающее социальное положение в обществе. «Выяснилось, — писал Вебер в ноябре 1918 года, — что бюрократическая машина по характеру своих идеальных и материальных движущих сил и в связи с природой современной хозяйственной жизни, которая при сбое в этой машине оказалась бы в катастрофическом состоянии, — при известных условиях, не раздумывая, готова служить каждому, кто физически обладает средствами насилия и гарантирует сохранность чиновничьих должностей» (Вебер, 2003с [1918]: 347).

По словам Вебера, «как подчиненные обычно могут противодействовать уже существующему бюрократическому господству только путем создания собственной контрорганизации (*Gegenorganisation*), также подверженной бюрократизации, так и сам бюрократический аппарат (в силу принудительно действующих интересов и материального, и чисто содержательного, т. е. идеального, рода) привязан к необходимости своего дальнейшего функционирования» (Weber, 1976a: 128). Поскольку «возможности овладения этим аппаратом со стороны непрофессионала ограничены», то сама «потребность в постоянном, строгом, интенсивном и калькулируемом управлении» не позволит новому социалистическому обществу обойтись без использования бюрократического аппарата. Поэтому «всякий рациональный социализм должен был бы просто воспринять и развить» этот аппарат,

12. Впрочем, скептическим отношением к Советам как форме политической власти была отмечена позиция всех выдающихся социально-политических мыслителей из числа представителей немецких академических кругов. «Ни Дельбрюк, ни Мейнеке, ни Вебер, — констатирует А. И. Патрушев, — не верили в жизнеспособность советской системы. Мейнеке даже полагал, что „после такой катастрофы Россия никогда не сможет вновь стать великой державой“. В этом с ними были единодушны и пангерманские историки» (Патрушев, 1992: 82).

ибо потребность в рациональном управлении «обуславливает судьбу бюрократии как ядра *всякого* массового управления» (Weber, 1976a: 128–129).

Выводы, к которым Вебер пришел в результате анализа опыта Октябрьской революции 1917 года в России и Ноябрьской революции 1918 года в Германии, звучали довольно неутешительно для адептов марксистского социализма. Вместо того чтобы знаменовать собой зарю новой эпохи, ведущей к упразднению эксплуатации человека человеком, эти социальные перевороты представляли собой всего лишь еще один шаг на пути процесса бюрократизации современного мира, более того, они придавали ему дополнительное ускорение. Ян-Вернер Мюллер отмечает:

Вся эта динамика и послужила конечной причиной, по которой Макс Вебер отвергал социализм. По его мнению, побочным следствием социализма являлся кошмар универсальной бюрократизации: социализм объединяет то, что, по крайней мере на Западе, существует по отдельности, а именно экономическую и государственную бюрократию, и приводит к «диктатуре бюрократа». По этой причине Вебер с нарастающим ужасом следил за большевистским «великим экспериментом» (Müller, 2013: 40).

Некоторые итоги и уроки

В начале XX века Макс Вебер был одним из тех немногих социальных ученых немарксистской ориентации, которые признавали возможность существования социализма как особой политической и социально-экономической системы. Однако его главное внимание было приковано к феномену рационального промышленного капитализма западного типа и, говоря шире, к имеющим всемирно-историческое значение процессам рационализации политической, религиозной, социально-экономической и культурной жизни, приводящей к его появлению в современную эпоху на Западе. В соответствии со своим теоретическим подходом Вебер выделял две формы социализма — одну современную, связанную с рациональным промышленным капитализмом, фабричной дисциплиной труда и возникающим на их основе массовым рабочим движением, а потому ставящую во главу угла проблемы рациональной организации производства на коллективистской основе, и другую, которая выводит на первый план проблему распределения общественного богатства на уравнительных началах. Эту вторую форму социализма, в основе которой лежит идеал распределительной справедливости и которая не является сугубо современной, но встречается в мировой истории на всем ее протяжении, Вебер называет «коммунизмом». В разделах «Хозяйства и общество», относящихся к 1918–1919 годам, он специально оговаривается, что эта «противоположность между эволюционистской и ориентированной на проблему производства (прежде всего марксистской), с одной стороны, и исходящей из распределения (сегодня снова именуемой „коммунистической“) рационально-плановой формой социализма — с другой, отнюдь не сгладилась со времен „Нищеты философии“ Маркса» (Weber, 1976a: 61). К доктринальным расхождениям между двумя этими форма-

ми социализма Вебер сводил и истоки раскола российской социал-демократии на большевиков и меньшевиков, правда, оговариваясь при этом, что не менее важную роль в этом расколе играла борьба за власть и души потенциальных адептов между вождями соперничающих фракций российской социал-демократии. «Конфликт внутри русского социализма с его страстными спорами между Плехановым и Лениным сводится в конечном счете к этим же проблемам, как и сегодняшний раскол в социалистическом движении; несмотря на то что в первую очередь он вызван ожесточенной борьбой за руководящие должности и кормления, он одновременно обусловлен и этой проблематикой» (Weber, 1976a: 61).

Само появление современного социализма, как подчеркивал Вебер, стало возможным только на почве рационального промышленного капитализма, менового рыночного хозяйства и рациональной организации свободного наемного труда в форме делового предприятия. Как и в случае с капитализмом, предложенный Вебером анализ предполагает, что социализм в его уравнилельно-распределительной форме, социализм в обличье «коммунизма» представляет собой всемирно-историческое явление, которое можно встретить в самых разных странах в самые разные эпохи. Однако рациональный социализм, основанный на массовом рабочем движении и организационно оформленный в виде партийного социализма социал-демократического типа, возникает только на Западе и лишь в XIX веке. Более того, он представляет собой, по сути дела, побочный продукт рационального промышленного капитализма западного типа. По словам Вебера, «из этой жизненной ситуации, из фабричной дисциплины и возник современный социализм. Социализм разнообразнейших типов существовал повсюду, во все времена и во всех странах мира. Современный социализм во всем его своеобразии возможен только на этой основе» (Вебер, 2003b [1918]: 327).

В силу этого только в индустриальном капиталистическом обществе на Западе в качестве базисного социального конфликта смог оформиться конфликт между трудом и капиталом, между свободными наемными работниками и частными капиталистическими собственниками и предпринимателями. «За пределами Запада полностью отсутствует характерная для современного мира противоположность между крупными промышленниками и свободными наемными рабочими. Поэтому нигде, кроме Запада, не могла сложиться та проблематика, которая свойственна современному социализму» (Вебер, 1990b [1920]: 53).

По этой причине Вебер считал, что социализм не сойдет с политической и социальной повестки дня современности до той поры, пока продолжает существовать современный рациональный промышленный капитализм западного типа с характерным для него базисным социальным конфликтом между трудом и капиталом, частными предпринимателями и наемными работниками. «Я придерживаюсь мнения, — подчеркивал он, — что средств покончить с социалистическими убеждениями и надеждами не существует. Рабочие будут вновь и вновь становиться в каком-то смысле социалистами. Вопрос лишь в том, будет ли этот социализм терпимым с точки зрения государственных интересов» (Вебер, 2003b [1918]: 342).

Тем не менее к самой идее о возможности построения в условиях развитого индустриального общества социализма, политический строй которого представлял бы собой диктатуру пролетариата, а хозяйственный строй — централизованную плановую экономику, основанную на натуральном обмене, Вебер относился резко отрицательно. По его мнению, такие характерные особенности современного индустриального общества, как технологическая необходимость отделения работников от средств производства, равно как и превосходство рационального бюрократического господства над всеми прочими формами управления делают неосуществимой идею социалистической революции как «прыжка из царства необходимости в царство свободы» (Маркс). «Такой аппарат, — писал Вебер о рациональной бюрократии еще до Первой мировой войны, — чем дальше, тем больше делает чисто технически невозможными „революции“ в смысле насильственного создания совершенно новых образований господства благодаря своему контролю над современными средствами сообщения и коммуникации (телеграф), а также вследствие возрастания рациональности его внутренней структуры» (Weber, 1976b: 571). Тот политический и хозяйственный строй, который может прийти на смену рациональному промышленному капитализму, вместо того чтобы уничтожить эксплуатацию человека человеком и заменить бюрократическую систему господства демократическим самоуправлением масс, лишь доведет до логического конца универсальный и неизбежный процесс бюрократизации современного общества. Иными словами, для Вебера социализм в форме «государственного социализма» представлял собой еще один шаг по пути бюрократизации современного мира и, следовательно, «растущую несвободу», а в форме диктатуры пролетариата — «диктатуру харизматического вождя или партийной элиты» (Патрушев, 1992: 162).

Еще одним важным доводом против жизнеспособности социалистического общества служил для Вебера аргумент об экономической несостоятельности централизованной плановой экономики. Вопрос о жизнеспособности социалистической экономики и декларируемом марксистами ее превосходстве в плане эффективности и рациональности над рыночно-капиталистической экономикой Вебер в своих поздних работах рассматривает через призму понятийного противопоставления «менового» (Verkehrswirtschaft) и «планового» (Planwirtschaft) хозяйства (Weber, 1976a: 59–60). Хозяйственный строй государственного социализма принимает форму планового хозяйства, т. е. он представляет такой зависящий от государственной бюрократии хозяйственный союз или деловое предприятие, которые, опираясь на натуральный расчет и плановую организацию, ориентируются на удовлетворение потребностей. По мнению Вебера, именно использование денежного расчета, особенно в его наиболее совершенной форме — форме расчета капитала, позволяет добиться наивысшей степени формальной рациональности, т. е. точной рациональной калькуляции всех хозяйственных операций, в условиях менового (рыночно-капиталистического) хозяйства. Напротив, плановая экономика в решающей степени зависит как от натурального расчета, определяющего

предметные цели ее развития, так и от директивных указаний административных органов управления. В условиях нетоварной социалистической экономики, не знающей денежного и шире — хозяйственного расчета в форме капитального расчета и не имея возможности ориентироваться на информацию, предоставляемую системой рыночных цен, административный аппарат правящей партии или социалистического государства был бы вынужден регулировать массовое потребление при помощи иррациональных средств. Обсуждая вопрос о том, почему эффективный экономический расчет невозможен в условиях плановой социалистической экономики, Вебер указывает, что проблема того, массовому выпуску каких товаров следует отдавать приоритет с точки зрения общества, при социализме может быть разрешена либо путем следования традиции, либо путем подчинения «приказу диктаторской власти, неким строго определенным образом (*eindeutig*) регулирующей потребление» (Weber, 1976a: 56). Кроме того, по словам Вебера, «в случае его радикальной реализации плановому хозяйству придется смириться с уменьшением степени формальной, *расчетной* рациональности, что неизбежно произойдет с исчезновением денежного и капитального расчета» (Weber, 1976a: 60). Иными словами, с точки зрения Вебера, рынок в любом случае действует как более рациональный механизм в плане максимально точного расчета хозяйственных операций, чем система централизованного планирования.

В заключение сформулируем несколько важных, на наш взгляд, уроков, вытекающих из веберовского анализа опыта практического осуществления социализма в России в 1917–1918 годах. Несмотря на то что, как справедливо отмечает Моммзен, Вебер «в 1918 году неверно оценил природу возникающей марксистско-ленинской системы, отчасти из-за того, что он находился под влиянием своих националистических воззрений, а отчасти потому, что информация относительно революционных событий в России, которую позволяла публиковать немецкая цензура, была сильно искажена» (Mommesen, 1997: 14), проведенный им по горячим следам анализ социалистического эксперимента в России обладал несомненными достоинствами, причем не только практико-полемиического, но и социально-теоретического свойства. Это касается как его тезиса о тотальной бюрократизации социалистического государства, лишенного альтернативы в виде частного предпринимательства и свободных рабочих профсоюзов, так и тезиса о политической диктатуре вождя или партийной элиты, стоящих над обществом и свободных от сколько-нибудь серьезного контроля с его стороны. Кроме того, в противоположность многим теоретикам и экономистам социалистического толка вроде О. Нейрата Вебер еще в 1918–1920 годах высказал довольно серьезные и впоследствии оправдавшиеся сомнения насчет того, что при социализме как социально-экономической системе — в условиях отказа от рынка, складывающейся на нем системы цен и денежного расчета капитала, — хозяйственные дела будут вестись более рационально, чем при частнохозяйственном капитализме.

Наконец, немаловажным достоинством теоретического подхода, предложенного Вебером, является то, что «анализ советского общества, который строится

на его идеях, позволяет избежать упрощенного подхода, рассматривающего бюрократическую диктатуру как порождение личной власти стремящихся к ней индивидов. Согласно веберианской точке зрения, господствующее положение бюрократических структур определяется их социальной функцией в системе плановой экономики, а также властью и привилегиями, связанными с этой функцией и имеющими тенденцию к расширению в условиях отсутствия иных центров власти. Это — результат социалистического проекта, и его нельзя списать на неблагоприятные условия, в которых такой проект был впервые осуществлен» (Beetham, 1987: 67). Можно сказать, что использование веберианской перспективы позволяет зафиксировать одну из ключевых черт советского опыта, а именно центральную роль советского государства-партии и его бюрократических структур как главного агента социальных изменений, происходивших в советском обществе. Эта концептуализация отношений между государством-партией и динамикой социальных изменений в веберианском ключе позволяет по-новому поставить целый ряд важных проблем истории и природы советского общества, разработка которых еще ждет своего часа.

Литература

- Бруцкус Б. Д. (1922). Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе // *Экономист*. № 1 (I–IV), 2 (V–VI), 3 (VII–X).
- Бруцкус Б. Д. (1999 [1923]). Социалистическое хозяйство: теоретические мысли по поводу русского опыта. М.: Стрелец.
- Вебер М. (1990а [1919]). Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 644–706.
- Вебер М. (1990б [1920]). Предварительные замечания / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 44–60.
- Вебер М. (2003а [1918]). Парламент и правительство в новой Германии // Вебер М. Политические работы (1895–1919) / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Праксис. С. 107–299.
- Вебер М. (2003б [1918]). Социализм // Вебер М. Политические работы (1895–1919) / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Праксис. С. 300–342.
- Вебер М. (2003с [1918]). Будущая государственная форма Германии // Вебер М. Политические работы (1895–1919) / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Праксис. С. 343–393.
- Грациоци А. (2016). История СССР / Пер. с франц. В. Любина и др. М.: РОССПЭН.
- Дмитриев Т. А. (2014). Оспаривая политическую демократию: Ян-Вернер Мюллер о политическом опыте Европы XX века // Нарочницкая Е. А. (ред.). Россия и мир: анатомия международных процессов. М.: Международные отношения. С. 319–338.
- Ирошников М. П. (1973). К вопросу о слове буржуазной государственной машины в России // Токарев Ю. С., Ковальчук В. М., Носов Н. Е., Петрикеев Д. И., Соболев

- Г. Л., Фрайман А. Л. (ред.). Проблемы государственного строительства в первые годы Советской власти. Л.: Наука. С. 46–66.
- Ларин Ю. (1924). Интеллигенция и революция: хозяйство, буржуазия, революция, госаппарат. М.: Госиздат.
- Лосский Н. О. (1991). Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы философии. 1991. № 11. С. 116–190.
- Мизес Л. фон. (1994 [1932]). Социализм: экономический и социологический анализ / Пер. с англ. Б. С. Пинскера М.: Catallaxy.
- Патрушев А. И. (1992). Расколдованный мир Макса Вебера. М.: Изд-во МГУ.
- Beetham D. (1985 [1974]). Max Weber and the Theory of Modern Politics. Cambridge: Polity Press.
- Beetham D. (1987) Bureaucracy. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Breuer S. (1992). Soviet Communism and Weberian Sociology // Journal of Historical Sociology. Vol. 5. № 3. P. 267–290.
- Kaube J. (2014). Max Weber. Ein Leben zwischen den Epochen. Berlin: Rowohlt.
- Mises L. von. (1920). Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen // Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik. Bd. XLVII. № 1.
- Mises L. von. (1922). Die Gemeinschaft: Untersuchungen über den Sozialismus. Wien: Gustav Fischer.
- Mommsen W. J. (1959). Max Weber und die deutsche Politik. Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Mommsen W. J. (1997). Max Weber and Regeneration of Russia // Journal of Modern History. Vol. 69. P. 1–17.
- Mommsen W. J. (2000). Max Weber's «Grand Sociology»: The Origins and Composition of «Wirtschaft und Gesellschaft» // History and Theory. Vol. 39. № 3. P. 364–383.
- Parkin F. (2002). Max Weber. London: Routledge.
- Somary F. (1994). Erinnerungen eines politischen Meteorologen. München: Matthes & Seitz.
- Weber M. (1976a). Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie. Hbd. I / Hrsg. J. Winckelmann. Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Weber M. (1976b). Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie. Hbd. II / Hrsg. J. Winckelmann. Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Weber M. (1988a [1917]). Rußlands Übergang zur Scheindemokratie // Weber M. Gesammelte Politische Schriften. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1988. S. 197–215.
- Weber M. (1988b [1918]) Innere Lage und Aussenpolitik // Weber M. Gesammelte Politische Schriften. Tübingen: J. C. B. Mohr. S. 292–305.
- Weber M. (1988c). Gesamtausgabe. Bd. 16, Abt. I: Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften und Reden, 1918–1920 / Hrsg. W. J. Mommsen, W. Schwentker. Tübingen: J. C. B. Mohr.

The Russian Revolution as an Experimental Refutation of Socialism: Max Weber's Version

Timofey A. Dmitriev

Associate Professor, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: tdmitriev@hse.ru

Max Weber was one of the first social scientists to give a critical analysis of the socialist experiment in Russia from 1917 to 1920. The fundamental importance of this segment of Weber's heritage today is that Weber makes his interpretation of the 1917 Russian Revolution not only from a practical-polemical standpoint, but also from a theoretical-sociological one. The main focuses in the article are Weber's analysis of the Russian revolution from the point of view of the practical results of Bolshevik policies, and his comparison of the policies of the Bolsheviks during the Russian Revolution and Civil War of 1917–1920 with the doctrinal propositions of Marxist socialism. The article also deals with Weber's thesis of the unavoidable bureaucratization of socialist society, and with his comparative analysis of the market and the planned economy. In conclusion, we formulate the idea of the heuristic potential which Weber's analysis of the experience of the practical implementation of socialism in Russia might have for contemporary studies of the history of Soviet society.

Keywords: Russian Revolution, socialism, Bolshevik Party, state bureaucracy, planned economy, bureaucratization of the world

References

- Beetham D. (1985) *Max Weber and the Theory of Modern Politics*, Cambridge: Polity Press.
- Beetham D. (1987) *Bureaucracy*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Breuer, S. (1992) Soviet Communism and Weberian Sociology. *Journal of Historical Sociology*, vol. 5, no 3, pp. 267–290.
- Brutskus B. (1922) Problemy narodnogo hozjajstva pri socialisticheskom stroe [Problems of National Economy under the Socialist System]. *Economist*, no 1 (I–IV), 2 (V–VI), 3 (VII–X).
- Brutskus B. (1999) *Socialisticheskoe hozjajstvo: teoreticheskie mysli po povodu russkogo opyta* [Socialist Economy: Theoretical Thoughts about the Russian Experience], Moscow: Strelets.
- Dmitriev T. (2014) Osparivaja politicheskiju demokratiju: Jan-Verner Müller o politicheskom opyte Evropy XX veka [Contesting Political Democracy: Jan-Verner Müller about the Political Experience of the 20th Century Europe]. *Rossija i mir: anatomija mezhdunarodnyh processov* [Russia and the World: Anatomy of International Processes] (ed. E. Narochnickaya), Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenija, pp. 319–338.
- Graziosi A. (2016) *Istorija SSSR* [History of the USSR], Moscow: ROSSPEN.
- Iroshnikov M. (1973) K voprosu o slome burzhuaaznoj gosudarstvennoj mashiny v Rossii [Toward the Question of Dismantling of Bourgeois State Apparatus in Russia]. *Problemy gosudarstvennogo stroitel'stva v pervye gody Sovetskoy vlasti* [The Problems of State Building in the Early Years of Soviet Power] (ed. Y. Tokarev), Leningrad: Nauka, pp. 46–66.
- Kaube J. (2014) *Max Weber: Ein Leben zwischen den Epochen*, Berlin: Rowohlt.
- Larin J. (1924) *Intelligencija i revoljucija: hozjajstvo, burzhuaazija, revoljucija, gosapparat* [Intellectuals and Revolution: Economy, Bourgeoisie, Revolution, State Apparatus], Moscow: Gosizdat.
- Lossky N. (1991) Vospominanija. Zhizn' i filosofskij put' [Memoirs. Life and Philosophical Path]. *Voprosy filosofii*, no 11, pp. 116–190.
- Mises L. von (1920) Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. *Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik*, vol. XLVII, no 1.
- Mises L. von (1922) *Die Gemeinschaft: Untersuchungen über den Sozialismus*, Wien: Gustav Fischer.

- Mises L. von (1994) *Socializm: jekonomicheskij i sociologicheskij analiz* [Socialism: The Economical and Sociological Analysis], Moscow: Catallaxy.
- Mommsen W. J. (1959) *Max Weber und die deutsche Politik*, Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Mommsen W. J. (1997) Max Weber and Regeneration of Russia. *Journal of Modern History*, vol. 69, pp. 1–17.
- Mommsen W. J. (2000) Max Weber's "Grand Sociology": The Origins and Composition of "Wirtschaft und Gesellschaft". *History and Theory*, vol. 39, no 3, pp. 364–383.
- Parkin F. (2002) *Max Weber*, London: Routledge.
- Patrushev A. (1992) *Raskoldovannyj mir Maksa Webera* [The Disenchanted World of Max Weber], Moscow: MSU Press.
- Somary F. (1994) *Erinnerungen eines politischen Meteorologen*, München: Matthes & Seitz.
- Weber M. (1976) *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, Hbd. I*, Tübingen: J. B. C. Mohr.
- Weber M. (1976) *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Hbd. II*, Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Weber M. (1988) Rußlands Übergang zur Scheindemokratie. *Gesammelte Politische Schriften*, Tübingen: J. C. B. Mohr, pp. 197–215.
- Weber M. (1988) Innere Lage und Aussenpolitik. *Gesammelte Politische Schriften*, Tübingen: J. C. B. Mohr, pp. 292–305.
- Weber M. (1988) *Gesamtausgabe, Bd. 16, Abt. I: Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften und Reden, 1918–1920*, Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Weber M. (1990) Politika kak prizvanie i professija [Politics as a Vocation]. *Izbrannye proizvedenija* [Selected Works], Moscow: Progress, pp. 644–706.
- Weber M. (1990) Predvaritel'nye zamechanija [Preliminary Observations]. *Izbrannye proizvedenija* [Selected Works], Moscow: Progress, pp. 44–60.
- Weber M. (2003) Parlament i pravitel'stvo v novej Germanii [Parliament and Government in the New Germany]. *Politicheskie raboty (1895–1919)* [Political Works (1895–1919)], Moscow: Praxis, pp. 107–299.
- Weber M. (2003) Socializm [Socialism]. *Politicheskie raboty (1895–1919)* [Political Works (1895–1919)], Moscow: Praxis, pp. 300–342.
- Weber M. (2003) Budushhaja gosudarstvennaja forma Germanii [Future Political Form of Germany]. *Politicheskie raboty (1895–1919)* [Political Works (1895–1919)], Moscow: Praxis, pp. 343–393.

Ведение жизни: систематический очерк в контексте исследовательской программы Макса Вебера*

Ганс-Петер Мюллер

Профессор общей социологии Института социальных наук
Берлинского университета им. Гумбольдта
Адрес: Universitätsstraße 3b, Berlin, Deutschland 10117
E-mail: hans-peter.mueller@sowi.hu-berlin.de

Олег Кильдюшов
(переводчик)

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

Статья профессора общей социологии Берлинского университета имени Гумбольдта Ганса-Петера Мюллера посвящена важнейшему для систематики Макса Вебера понятию «ведение жизни». Сначала автор делает парадоксальный вывод о том, что данный ключевой концепт не получил у классика ни точного определения, ни детальной экспликации. Далее он проясняет значимость связанных с жизнью понятий для веберовской исследовательской программы, помещая ее в контекст интеллектуальной истории начала XX века и соотнося с баденским неокантианством, философией жизни и философской антропологией. В качестве следующего шага исследователь реконструирует функциональное место понятия «ведение жизни» в разработанной Вебером аналитической оптике, с помощью которой он изучал феномен западного рационализма как процесса систематического расколдовывания мира. При этом он выделяет три основных аспекта рационализации жизни в условиях модерна: научно-техническую, метафизически-этическую и практическую формы рациональности современного типа. В своем анализе работ, посвященных близкой или смежной проблематике, он выделяет десять основных способов ведения жизни, характерных для глобализированного мира и связанных с такими аспектами, как транснациональность, лабораторизация, флексибилизация, проектность, ускорение, неустойчивость, креативность, социальный контроль, дигитализация и рефлексивность форм жизни, свойственных жителям западного мира в начале XXI века. В завершение исследователь делает далеко идущие выводы относительно эвристических перспектив операционализации веберовского аналитического инструментария в рамках исследований актуальных форм ведения жизни.

Ключевые слова: Макс Вебер, ведение жизни, интеллектуальная история, рациональность, современность, стили жизни

© Müller H.-P., 2017

© Кильдюшов О. В., перевод, 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-111-135

* Перевод сделан по изданию: Müller H.-P. (2016). Lebensführung: Eine systematische Skizze im Anschluss an Max Webers Forschungsprogramm // Schwinn T., Albert G. (Hrsg.). Alte Begriffe — Neue Probleme: Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 249–267.

Макс Вебер всегда придавал огромное значение строгости понятий и идеально-типическому способу их образования. Тем не менее целый ряд центральных для него понятий не получил ни точного определения, ни аналитической экспликации. Интересно, что к ним относятся и все веберовские понятия, связанные с «жизнью»: *жизненные шансы, жизненные силы, методика жизни, порядки жизни, регламентация жизни, стили жизни, способы ведения жизни* — если называть лишь самые важные. Немецкая социология — прежде всего в лице Георга Зиммеля и Макса Вебера — возникла когда-то именно как «наука о жизни», а не как наука об обществе, образование понятий и теорий в ней направлено на понимание и объяснение структуры и культуры как социальной, так и индивидуальной жизни в современных условиях.

Почему Вебер дал определения одним своим базовым понятиям, а другим — нет, на первый взгляд удивляет и, строго говоря, остается загадкой. Но это никак не отменяет их значимость для его произведений, учитывая частоту использования. Далее в качестве первого шага мы напомним о концепте *ведение жизни*, его контексте и значимости в истории духа. Мы выдвигаем здесь следующий тезис: данное понятие является для Вебера центральным, но не до конца определенным, и потому нуждается в экспликации в рамках концептуальной схемы, близкой его взглядам, хотя и не полностью идентичной им. В качестве второго шага мы обсудим его включенность в веберовскую историю общества модерна. В данном контексте укажем на недостаточную разработанность его подхода, оставляющего некоторые вопросы открытыми. В качестве третьего шага мы проверим релевантность понятийного аппарата Вебера для актуальных дискуссий. В данном случае тезис таков: в XXI веке вопросы, связанные со способами ведения жизни, становятся центральной проблемой, возникающей на пересечении хозяйства и общества.

Понятие «ведение жизни»

Хотя «ведение жизни» не является ни основным, ни окончательно определенным понятием, им обозначается аналитическая и нормативная перспектива социологии Макса Вебера. Человек и его способ ведения жизни — в конечном счете именно на это направлены все его исследования. Для него всегда было важно при изучении «хозяйства и общественных порядков и сил» также обращать внимание на то, какой человеческий тип и какой способ ведения жизни поддерживается господствующей культурой. *Ведение жизни* есть шарнир, соединяющий индивида и общество. У Вебера речь идет о месте человека и его личности в констелляции современных ценностных сфер и жизненных порядков.

Отчетливое требование изучать способы ведения жизни было альфой и омегой его представлений о социологии и в самом начале его научной карьеры, и в ее конце. Уже в лекции, прочитанной при вступлении в должность профессора во Фрайбурге в 1895 году, он помещает изучение «формообразования человечества»

в центр всякой научной работы и объявляет ее масштабом «человеческое величие и благородство нашей натуры» (Weber, 1988a: 13; русс.: Вебер, 2003б: 23). А в самом конце еще раз о «вопросе о будущем человечества», этой точке сборки его социологии, он вспомнит в 1917 году в работе «Смысл „свободы от оценки“ в социологической и экономической науке» (Lepsius, 2003: 41): «Лишь одно не подлежит сомнению: при оценке любых общественных отношений, независимо от их характера и структуры, необходимо установить, какому человеческому типу они дают в процессе внешнего или внутреннего отбора (мотивов) оптимальные шансы стать господствующим» (Weber, 1985: 517; русс.: Вебер, 2006: 435; перевод исправлен).

Одна из предпосылок человеческой жизни, хотя и не основная, заключается в том, что ее нужно каким-то образом вести. Как почти лишенное инстинктов и открытое окружающему миру существо, человек — в силу своего «эксцентрического положения», как это называет философская антропология (Plessner, 2003/1928; русс.: Плеснер, 2004), — просто вынужден придавать форму миру и своей жизни. Это простирается от обеспечения «выживания» до устройства «благой жизни». Поэтому вряд ли должно удивлять то, что философия, а позже теология постоянно обращались к данному вопросу о правильной, благой и успешной жизни и необходимом способе ее ведения.

В античной греческой и римской философии центральную роль играли идеи, представления и практики, связанные с «руководством или наставлением души» (Foucault, 1989 [1984], 2004 [1982]; Hadot, 2002; Rabbow, 1954; Schmid, 1991; Müller, 2014). В центре философии искусной жизни находились «забота о себе» (*epimeleia heautou*) и «самопознание» (*gnothi seauton*, как требовал Дельфийский оракул). Связанные с этим практики и техники самости до сих пор рассматриваются в качестве средств успешного ведения жизни.

Смысл и цель душевных императивов античного искусства жизни приобрели сегодня, в эпоху индивидуализма, совершенно иное значение. Если античная философия и христианские учения о спасении были направлены на душу и на руководство ею, то в раннее Новое время понятие души не только заменяется греческим понятием «псюхе», но и вся проблематика руководства душой расширяется до вопроса о правильном и подходящем способе ведения жизни. Важным моментом этого развития является пуританизм (Weber, 1988b; русс.: Вебер, 2006б), который посредством своей чисто религиозной направленности делает возможным методически-рациональное ведение жизни и даже сегодня влияет на уже чисто секулярные жизненные техники и практики.

В этот интеллектуально-исторический контекст и следует включить интерес Вебера к вопросам ведения жизни. При этом он не развивает ни подходов античной философии искусства жизни, ни современной для него философии жизни В. Виндельбанда, Г. Риккерта или М. Шелера в качестве философского фундамента исследований проблематики, связанной с ведением жизни (Perpeet, 1984). Он не следует за своим другом и коллегой Георгом Зиммелем (Simmel, 1999 [1918])

к философии жизни, но также и не создает некую антропологию, пытающуюся абстрактно определить место человека в космосе. «Гениально образованный» Макс Вебер, конечно, более или менее знаком со всеми этими аргументами и в случае необходимости включает их в свои рассуждения, в его социологии культуры неизбежно встречаются элементы и моменты античного искусства жизни, современной ему философии ценностей и философии жизни, а также антропологии (ср.: Tenbruck, 1999; Hennis, 1987, 1996). В результате все эти «философии» присутствуют в его трудах, но лишь «имплицитно», а не эксплицитно. Макс Вебер — именно социолог, а не философ, поэтому он следует исследовательской стратегии эмпирической науки. Его знаменитое кредо звучит так: «Эмпирическая наука никого не может научить тому, что он *должен* делать, она указывает только на то, что он *может*, а при известных обстоятельствах на то, что он *хочет* совершить» (Weber, 1985: 151; русс.: Вебер, 2006в: 274).

Тем не менее социология как наука о культуре подводит к философской программе-минимум, состоящей из трех абстрактных базовых элементов: 1) культура как наделенный смыслом значимый сегмент мира и культурные люди, наделенные способностью осмысленного отношения; 2) идея *ценностных сфер* и *жизненных порядков*, на которые распадается современное общество, в результате чего индивид оказывается внутри общественной констелляции, для которой характерны напряжение и ценностные конфликты. Для изучения этой констелляции Вебер в качестве аналитической рамки разрабатывает теорию действия, теорию общества и теорию культуры (Schluchter, 2003); 3) положение современного человека с его *личностью* и *способом ведения жизни*, вынужденного самостоятельно решать проблему свободы и смысла.

Исходя из этого, можно попытаться точнее определить тот комплекс связанных с жизнью понятий, с которым постоянно работает Вебер, и актуализировать его применительно к сегодняшним исследованиям.

Для этого можно использовать следующую схему:



Рисунок 1. Понятия, связанные с жизнью

В центре находится способ ведения жизни, который, с одной стороны, зависит от жизненных шансов, а с другой — заметным и измеряемым образом проявляется в специфических стилях жизни. Современные общества состоят из различных ценностных сфер и жизненных порядков, имеющих различный уровень дифференциации и институционализации и находящихся между собой в отношениях взаимного усиления, игнорирования или противодействия (Schluchter, 2009; Schwinn, 1998); с ними должна считаться отдельная личность, действующая согласно собственному ценностному параллелограмму («демонологии», по Веберу). С одной стороны, к этой базовой модели примыкает философия (жизни) и теология, предлагающие нормативные образцы ведения жизни («Как я должен жить?»); искусство жизни есть практическая философия, предлагающая рецепты и технологии того, как вести себя («Что я могу сделать для благой жизни?»). Они стоят вне этой чисто эмпирико-научной модели, с которой работает Вебер, но это не означает, что они не имеют значения или ценности. Напротив: они предлагают культурную основу, из которой как общество, так и люди могут получать стимулы и вдохновение для формирования способа ведения жизни. Например, методически-рациональное ведение жизни зависит у Вебера от определенной хозяйственной, трудовой и социальной конституции, которая в первую очередь усиливает значимость труда и профессии как первичного места проверки статуса спасен-

ности. На другой стороне находятся религия (например, пуританизм) и культура (капиталистическое общество успеха), которые помещают в центр жизни аскезу и дисциплину.

Эта модель отчетливо демонстрирует, что ведение жизни является комплексным и сложным понятием. Достаточно назвать лишь четыре аспекта этой комплексности и сложности, на основе которых можно аналитически продвинуться вперед:

1) Понятие *жизни* демонстрирует каждому человеку, что он не распоряжается витальным базисом собственной жизни в виде судьбы, болезни и смерти.

2) Понятие *ведение* указывает на необходимость формирования собственной жизни в качестве обязательства, вызова и требования.

3) Понятие *ведение жизни* имеет «двойную природу», поскольку соотносится как с чужим, так и своим поведением. В античных учениях об искусстве жизни эта дуальность чужого и собственного поведения проявляется постоянно; она находит выражение и в понятии *гуверnementальности* у Фуко (Foucault, 2006 [1979]).

4) Следовательно, характер и способ ведения жизни колеблется между гетерономным полюсом полного приспособления и автономным полюсом суверенного определения ее формы.

Таким образом, в практических исследованиях ведение жизни можно градуально представить между полюсами зависимости и независимости. С точки зрения иерархии и социального неравенства можно распределить социальные слои и классы в зависимости от того, какие оттенки принимают их жизненные понятия, а также с учетом таких аспектов, как их шансы и стилизация. Вслед за тремя видами шансов на благосостояние у Адама Смита (Smith, 1978 [1776]; русс.: Смит, 2007), который проводил различие между жизненным минимумом (*subsistence*), комфортом (*convenience*) и роскошью (*luxury*), Р. Дарендорф предложил дифференцировать *шансы на выживание, шансы на достаток и шансы на богатство* (Dahrendorf, 1979: 110). Это деление на три группы можно использовать для различения между низшим классом, борющимся за выживание, средним классом, пытающимся сохранить благосостояние, и высшим классом, наслаждающимся роскошной жизнью. Соответствующими понятиями стилизации могли бы быть *образ жизни* как более или менее успешное приспособление к скромной структуре материальных и культурных шансов, *ведение жизни* как более или менее успешная борьба за правильную, благую и удачную жизнь и *стиль жизни* как более или менее успешная стратегия выбора и демонстрации потребления.

Отсюда следующая схема:



Рисунок 2. Классы и ведение жизни

Веберовский подход к ведению жизни

На этой аналитической основе Вебер разрабатывает свою исследовательскую программу, чтобы с ее помощью изучать западный рационализм как «мир противоречий». В его трудах соединены три перспективы изучения проблемы современного ведения жизни (ср. Müller, Wehrich, 1990: 22ff.). Вначале он — подобно Георгу Зиммелю и Эрнсту Трельчу — на уровне культуры и общества обращается к вопросу о том, какое воздействие процесс рационализации оказал на современную жизнь. Прогресс наук и *научно-технического* рационализма с их принципом калькулируемости приводит к расколдовыванию мира, избавлению от чар всех мифических, магических и религиозных сил; этот процесс секуляризации имеет последствия для *метафизически-этического* рационализма, который должен утверждать мир как осмысленно упорядоченный космос (Weber, 1988b: 564; русс.: Вебер, 2017: 434). Религиозные верования обесцениваются посредством трезвых научных объяснений, при этом не предлагается никакой «этической компенсации» для решения проблемы теодицеи. После того как все высшие инстанции утратили право на определение обязательных идеалов, индивид на уровне *практического* рационализма получает исключительную компетенцию по приданию своей жизни осмысленной формы. Поэтому как никогда высокими кажутся исторические шансы на автономное ведение жизни со стороны «идеальной личности», которая «обнаруживает свою сущность в постоянстве своего внутреннего отношения к определен-

ным крайним „ценностям“ и „смыслам жизни“» (Weber, 1985: 132). Тем не менее Вебер, подобно Зиммелю, крайне скептичен: во-первых, он не теряет из виду цену индивидуализации, поскольку «сейчас стало еще сложнее извлекать их (идеалы. — Г.-П. М.) из собственной груди в эпоху и без того субъективистской культуры» (Weber, 1988с: 420); к тому же он видит вокруг себя не «индивидов», а лишь людей, «которые требуют порядка и ничего кроме порядка» и становятся нервными и трусливыми в момент, когда этот порядок на мгновение теряет устойчивость, и беспомощными, когда их вырывают из их исключительной приспособленности к этому порядку» (Там же: 414).

Большое преимущество Вебера в том, что он не останавливается на этом общем уровне диагностирования общества, культуры и эпохи и не довольствуется чем-то вроде «капиталистического отчуждения» (Маркс) или «трагедии современной культуры» (Зиммель). Скорее он пытается, с одной стороны, расширить эту общую перспективу посредством сравнительно-исторического изучения способов ведения жизни, а с другой — углубляет ее посредством анализа групп сословного обобществления. Его исследование аскетического протестантизма, изначально ограниченное капиталистическим своеобразием Запада, разрослось в работах из цикла «Хозяйственная этика мировых религий» до масштабной попытки выявить *принципы формирования способов ведения жизни* как таковые (Hennis, 1987; Müller, 2007; Schluchter, 1988). «[О]н разработал подход, в рамках которого, во-первых, отождествил религиозную этику и формулируемые в ней последние мотивы истолкования ценностей; во-вторых, он выявил институциональную конфигурацию, определяющую различные порядки и силы, а также доминантные группы носителей, что позволило более детально описать практически релевантный этос соответствующих групп и типичный для них тип „личности“» (Müller, 2009: 332).

С учетом строгой систематики веберовского подхода, его сравнительно-культурная социология религии, посвященная ценностно-ориентированным способам ведения жизни, является настоящей находкой для современных исследований стилей жизни.

В конечном счете Вебер обращается к изучению *групп носителей*, чтобы лучше понять значение и стратегические способы функционирования *ведения жизни*. *Сословное обобществление* указывает на процесс, отличный от образования классов — когда индивид через свою семью (статус по рождению) или через полученную квалификацию (профессиональный статус) становится членом определенной группы. Каждое сословие обязывает своих членов соблюдать кодекс общего для них способа ведения жизни, который регулируется правовым или конвенциональным образом, усваивается посредством сословного образования и поддерживается с помощью особой групповой традиции. Соответственно, стиль жизни определенной статусной группы имеет три функции: прежде всего он порождает идентичность и маркирует принадлежность; затем он обеспечивает символическое отграничение от других стилей жизни, что поддерживается через «селективную ассоциацию» посредством специфического брачного и дружеского поведения;

наконец, часто стиль жизни служит замыканию социальных отношений и монополистической апроприации жизненных шансов.

Уже этот небольшой набросок о статусе и месте *ведения жизни* в веберовской исследовательской программе показывает многозначность данного понятия, которое Вебер часто использует как синонимичное *стилю жизни, форме жизни, методике жизни и регламентации жизни* (Hermann, 2006; Jaeggi, 2014). Между тем его функция также проясняется, поскольку ведение жизни может быть понято как стратегия преодоления современных условий жизни (Böhnisch, 1984; Schimank, Mau, Groh-Samberg, 2014; Schimank, 2015). В конечном счете Вебер рисует амбивалентный образ человека модерна. С одной стороны, он предсказывает ему полную утрату свободы и смысла в условиях капиталистически-бюрократического «панциря послушания»: «Тогда-то применительно к „последним людям“ этой культурной эволюции обретут истину следующие слова: „Бездушные профессионалы, бессердечные сластолюбцы — и эти ничтожества полагают, что они достигли ни для кого ранее не доступной ступени человеческого развития“» (Weber, 1988b: 203f.; русс.: Вебер, 2006б: 127).

С другой стороны, в своих докладах «Наука как призвание и профессия» и «Политика как призвание и профессия» он учитывает последствия дифференциации ценностных сфер и порядков жизни, выводя из взаимодействия внешней организации и профессиональных требований способы ведения жизни, которые дифференцированы профессионально-специфически и вдохновлены этикой ответственности. Представляется, что эти «профессиональные этики» есть нечто большее, нежели простая замена утраченного образа жизни, который обосновывался религиозно и регулировался полностью. Видимо, Вебер — подобно Дюркгейму (1991 [1950]) — обнаружил в мире профессионального труда ключ к решению проблемы смысла (Müller, 1992). В таком случае все сводится к тому, что «каждый найдет своего демона и будет послушен этому демону, ткущему нить его жизни» (Weber, 1985: 613 русс.: Вебер, 2006г: 546). Тем не менее остается проблема свободы, связанная со «стальным панцирем» (Habermas, 1981: 449ff.).

В действительности современные исследования стилей жизни не следуют за программой анализа ведения жизни, предложенной Максом Вебером (Hartmann, 1999; Otte, 2004). На понятийном уровне основное внимание в них сместилось с ведения жизни на стиль жизни. Содержательно они направлены на эмпирически измеряемые модели труда, семьи, досуга, потребления и медиа, что позволяет составить шаблонную карту ценностей, сред и стилей жизни (Müller, 2013). То, что так интересовало Вебера — *момент ведения стилизированной жизни* и связанные с ним потенциальные конфликты (Landmann, 1963), — практически полностью выпало из поля зрения. Сегодняшняя социология вряд ли изучает то, какую ценность, смысл и значение люди придают своему способу ведения жизни. А ведь именно это Вебер пытался показать на материале целей и путей спасения в мировых религиях, наряду с интерпретацией предлагаемых ими установок и истолкований мира, т. е. исследуя *религию как влияющую на ведение жизни силу*. Если

где-то действительно обращаются к понятию *ведение жизни* (Voß, 1991; Behringer, 1998; Kuderer, Voß, 2000; Voß, Weihrich, 2001), там в центре внимания находится повседневная организация различных требований и вызовов, возникающих в сфере профессионального труда, семьи, дружеского общения и т. д. Таким образом, ведение жизни становится «management of living», и исследовательский интерес направлен на стратегии, с помощью которых люди решают повседневные проблемы.

Концепция, объединяющая с помощью веберовских понятий исследования стилей жизни и исследования способов ведения жизни, может работать со следующим определением: стили жизни могут быть поняты «как структурированные в пространстве и времени образцы ведения жизни, зависящие от ресурсов (материальных и культурных), форм семьи и домохозяйств, а также от ценностных установок. Ресурсы означают *жизненные шансы*, соответствующие опции и возможности выбора; форма домохозяйства и семьи обозначает *жизненную, жилищную и потребительскую единицу*; наконец, ценностные установки определяют доминирующие цели жизни, формируют менталитет и выражаются в специфическом габитусе» (Müller, 2009: 343).

Исследования, основанные на данном подходе, в первую очередь могут быть направлены на изучение компетенций, связанных с ведением жизни, и их распределением среди населения, что позволит выявить проблемы поиска форм жизни и уязвимости различных способов ведения жизни. Разработка «образцов современного ведения жизни» (Vetter, 1991) может стать отдельной и плодотворной областью исследований, опирающейся на наследие Макса Вебера.

Изучение ведения жизни сегодня

Сегодня есть все основания вновь вернуться к понятию и модели Вебера. Причем как с теоретико-методической точки зрения, так и в плане диагностики культуры и эпохи, а также в историко-эмпирическом и этико-нормативном аспекте. Если начать с последнего, этико-нормативного момента, то свобода, образование и личность как условия и предпосылки суверенного ведения жизни во времена Вебера в кайзеровской Германии были в лучшем случае проблемами аристократически-буржуазного меньшинства. Сейчас это меньшинство давно превратилось в большинство. Можно пойти еще дальше и заявить о том, что в эпоху индивидуализма синдром, связанный с идеями культурной значимости свободы, образования и личности, охватил без остатка все «общество людей» (Vobruba, 2009), т. е. в принципе касается всех людей в западном мире. Этот идеал формирует гигантские требования, бросает серьезные вызовы и накладывает реальные обязательства на всех и каждого. При этом *историко-эмпирически* ясно, что подобные требования ко всем будет очень сложно выполнить *всем*. Почти очевидно, что притязания и действительность все больше расходятся друг с другом. В сфере *диагностики культуры и времени* это выражается во множестве несовместимых ключевых слов, связываемых с силами, которые формируют сегодня способы ведения

жизни, и их амбивалентным воздействием. Не претендуя на полноту перечисления, можно выявить десять образцов ведения жизни, которые кажутся репрезентативными для духа эпохи.

1) *Глобальные и транснациональные способы ведения жизни.* Штеффен Мау скрупулезно описал практикуемые немцами образцы транснационального обобществления и выявил постоянное увеличение транснациональных взаимосвязей, контактов и сетей (Мау, 2007). Чем выше уровень образования и чем престижнее профессия, тем сильнее масштаб транснациональных связей. Правда, в первую очередь эти контакты направлены на Европу, Северную Америку, Австралию, Турцию, Россию и гораздо меньше на Африку, Латинскую Америку или Азию. Штеффен Мау и Роланд Фервибе в своей работе «Социальная структура Европы» также исследовали рост уровня горизонтальной европеизации и транснациональных связей (Мау, Verwiebe, 2009). Национальное государство давно отслужило свое в качестве модели контейнера, содержащего жизненные шансы и способы ведения жизни.

2) *Лаборизированное ведение жизни.* Герд-Гюнтер Фосс уже в своей докторской диссертации (Voß, 1991) обсуждает труд как способ ведения жизни, продолжая в духе веберовского диагноза эпохи: «Пуританин *хотел* быть профессионалом, мы *должны* быть таковыми» (Weber, 1988b: 203; Вебер, 2006б: 126). На основе широкого распространения трудовых и профессиональных отношений в начале XXI века (Böhle, Voß, Wachtler, 2010) Фосс описывает изменения значимости труда, профессии и рабочей силы в свете размышлений, сделанных Максом Вебером столетием назад (Voß, 2014). В своем «Методологическом введении к исследованиям Союза социальной политики об отборе и адаптации рабочих в замкнутой крупной промышленности (выбор профессий и профессиональная карьера)», написанном в 1908 году, Вебер поставил вопрос о том, какое воздействие *замкнутая крупная промышленность* оказывает на личные свойства, профессиональную судьбу и внепрофессиональный стиль жизни своих рабочих, какие физические и психические качества в них развивает и как они выражаются в общем способе ведения жизни рабочих» (Weber, 1988с: 1). Короче говоря: «*Какого человека формирует современная крупная промышленность в силу своего имманентного своеобразия и какую профессиональную (и тем самым косвенно также внепрофессиональную) судьбу готовит для них?*» (Ibid.: 37). Вебер ставит этот вопрос применительно к рабочим, однако его можно, конечно, расширить на всех наемных работников и спросить о том, какая картина «опосредованных через труд, культуру и ведение жизни» вырисовывается в начале XXI века (Müller, 2003). Фосс выделил три фундаментальные тенденции (Voß, 2014: 393–398): во-первых, сложившиеся во второй половине XX века так называемые «нормальные трудовые отношения» стали вытесняться новыми, гораздо менее стабильными. Во-вторых, профессия все меньше имеет отношение к призванию и служит в первую очередь средством заработка, тогда как искомая самореализация все более усложняется. В-третьих, изменяется самопонимание самих рабочих, поскольку роли работодателей и наемных работников

по-новому смешаны в трудовой силе XXI века, что имеет серьезные последствия. Фосс и Пограт называют это типом «предпринимателя, оперирующего собственной рабочей силой» и отграничивают его от веберовского «наемного рабочего-пролетария», а также от «профессионально работающего по найму» в системе фордизма (Voß, Pongrat, 1998). Для него характерны три признака: самоконтроль, самоэкономизация и саморационализация. *Самоконтроль* указывает на то, что предприниматель, оперирующий своей рабочей силой должен сам управлять своей профессиональной деятельностью посредством предоставленной ему расширенной автономии. *Самоэкономизация* обозначает то обстоятельство, что такой предприниматель относится к своей рабочей силе как к товару, который он в качестве индивидуализированного профессионала должен произвести и продать на рынке. Он как бы превращается в «Я-предприятие» (Bröckling, 2007). *Саморационализация* подразумевает направление всей жизни на успешное использование материальных, технических и медийных ресурсов в рамках все более неограниченной трудовой и жизненной ситуации.

3) *Гибкие способы ведения жизни*. Этот новый тип «предпринимателя в форме рабочей силы» с его тремя «С» не является исключительно немецким феноменом и, видимо, представляет собой явление, характерное для всего западного мира. Ричард Сеннет назвал это «коррозией характера» (Sennett 1998), поскольку флексибилизация труда и структурная замена устойчивых бюрократических форм организации на менее жесткие и децентрализованные сети экономических предприятий значительно изменили ценность труда и его роль для самопонимания и идентичности трудящихся. Видимо, гибкий капитализм производит тип «гибкого человека».

4) *Проектный способ ведения жизни*. Причина его появления была исследована Люком Болтански и Эв Кьяпелло в их работе «Новый дух капитализма» (Boltanski, Chiapello, 2003 [1999]). Вебер еще исходил из того, что однажды утвердившийся капитализм становится некой машиной или системой, которая для своего сохранения уже не нуждается ни в каком «духе» вроде пуританского. В глазах Вебера границы капитализма, видимо, имели энергетическую природу, а не носили мотивационный характер. Посредством насилия, принуждения и адаптации человеку можно навязать капиталистические трудовые отношения. Но, согласно тезису Болтански и Кьяпелло, это не объясняет того, почему люди при этом не просто соглашаются, но и отчасти с энтузиазмом соучаствуют в этом. Откуда этот «энтузиастический дух соучастия»? Из каких источников черпают мотивацию люди? Как следует понимать этот новый дух капитализма? Из новейшей литературы по менеджменту Болтански и Кьяпелло заимствуют фигуру, которую они обозначают как «проектный град». Новой фигурой капитализма является «проектный человек», который пытается утвердить себя в сетях взаимодействия, в идеале — в качестве их узловой точки. Ведь в узлах сетей концентрируется информация, а информация есть власть. Эту информационную власть проектный человек использует для того, чтобы закрепить свое положение внутри сети в качестве незаменимого

и гарантировать себе участие в следующем проекте. Лишь таким образом можно с помощью краткосрочных проектов добиться долгосрочной занятости. Но и в этих сетевых играх есть свои победители и проигравшие, так что очевидно лишь одно: караван идет дальше вместе с победителями, а проигравшие остаются на обочине.

5) *Ускоренное ведение жизни.* Уже Вебер в своем анализе сочинений Бенджамина Франклина отмечает, что время — деньги, а пустая трата времени — один из тяжких грехов в пуританизме и капитализме. Ведь ускорение темпа жизни связывается с модерном так же, как раковина — с улиткой. Уже Гете отмечал: «Все чертовски ускоряется»¹ (Osten, 2003). Важнейшая фигура в его творчестве, Фауст, носится по миру и затевает один прорывной проект за другим. Ради скорости и разнообразия ведения жизни он даже готов отдать свою душу, если однажды задержится и скажет: «Остановись, мгновенье, ты — прекрасно!» В социологии прежде всего Георг Зиммель в своем диагнозе модерна уделял внимание «ускорению темпа жизни» в результате социальной дифференциации, утверждения денежной экономики и появления крупных городов. Во Франции в XX веке Поль Вирильо получил признание в качестве теоретика ускорения: в работе «Скорость и политика» (Virilio, 1980 [1977]) он обосновал дромологию. Он продолжил изучение темпоральных структур в последующих сочинениях (Virilio, 1992 [1990]; Virilio, 2012 [2011]). Однако Вирильо — медиатеоретик и постмодернист, а не социолог. Что означает ускоренное ведение жизни, систематически впервые показал Хартмут Роза в своем исследовании «Ускорение: измерение временных структур модерна» (Rosa, 2005). Согласно его тезису, безмолвное нормативное давление ускорения нарушает баланс инерции и ускорения; становясь важнее денег и власти, в качестве тайной правящей силы оно увеличивает плотность переживаний на единицу времени, жертвуя ради расширения опций и повышения конкурентоспособности даже ведением жизни, направленным на достижение некой жизненной цели. Имя нового демона — «ускорение»; под ценностным диктатом скорости жизненные шансы и само ведение жизни обесцениваются как не приносящие удовольствия мимолетные мгновения, как промежуточные станции на пути к следующему переживанию.

6) *Рискованный и/или неустойчивый способ ведения жизни.* Наметившаяся с 1980-х годов трансформация в направлении неолиберального капитализма финансовых рынков, конечно, может рассматриваться в качестве одной из движущих сил перестройки мира труда. Возвращение социального вопроса в повестку дня является заслугой Робера Кастеля (Castel, 2000 [1995]). Посредством различения трех зон — интеграции, неустойчивости и разрыва — ему удалось показать типы и уровни социальной уязвимости в новом мире труда. Неустойчивость, деградация, исключение — три ключевых слова, точно описывающих социальный вопрос в начале XXI века (Castel, Dörre, 2010).

1. В нем. оригинале: «Alles veloziferisch!» — игра слов: Гете создал неологизм из слов *velocitas* («скорость», лат.) и *luziferisch* («дьявольский», нем.).

7) *Креативный способ ведения жизни.* Времена социальных изменений, трансформаций и кризисов всегда предоставляют жизненные шансы новым статусным группам. По мере перестройки экономики и предприятий, трансформации вертикально структурированных бюрократий в горизонтально структурированные сети, наемные сотрудники все сильнее участвуют не только в процессе производства, но и в процессе инноваций. В принципе все люди могут быть креативными, однако Ричард Флорида в своем исследовании «Возвышение креативного класса» (Florida, 2002) проводит различие между «сверхкреативным ядром», к которому относятся ученые, художники, дизайнеры, преподаватели и предприниматели, и «креативными профессионалами», к которым он относит менеджеров, адвокатов, врачей и квалифицированных рабочих. Таким образом, в социальной и профессиональной структуре общества существуют значительные социальные перепады в отношении креативности. Насколько амбивалентным оказывается креативность общества и ведения жизни, Корнелия Коппеч исследовала на примере профессий в области рекламы (Koppetsch, 2006). Поскольку в ней казаться важнее, чем быть, конкуренция в данной отрасли навязывает ее сотрудникам ярко выраженную пуританскую профессиональную этику успеха — абсолютно в духе веберовского анализа, хотя вообще-то данный род занятий скорее должен способствовать развитию у них экспрессивных ценностей. В любом случае, если следовать анализу Андреаса Реквица (Reckwitz, 2012), процесс всевозможной креативизации кажется безудержным. Ведь «изобретение креативности» запускает «процесс общественной эстетизации», когда чтобы быть успешной, экономика должна стать «эстетичной».

8) *Поднадзорное ведение жизни.* Бум информационных и коммуникационных технологий привел не только к прогрессу в сфере сетевизации мира. IT-технологии сами по себе одновременно позволяют таким образом контролировать соединенный сетями мир и его пользователей, что затронутые лица даже не замечают этого. Ранние идеи наблюдения восходят к Иеремии Бентаму и его «Паноптикуму», в котором правильно расположенный надзиратель может следить за всеми заключенными тюрьмы, которые при этом не будут его видеть. Мишель Фуко, характеризуя данный диспозитив надзора, говорит о бентамовском паноптизме (Foucault, 2010 [1975]). При этом он даже не подозревал о том масштабе надзора, который стал возможен сегодня благодаря технологиям наблюдения. В принципе, сегодня любой способ ведения жизни «наблюдаем», достаточно использовать электронные устройства и тем самым оставлять нестираемые следы в Мировой паутине.

9) *Дигитализированный способ ведения жизни.* Мануэль Кастельс в своей трилогии, посвященной информационному обществу (Castells, 2001 [1996]) и свидетельствующей о глобальном обществе, зафиксировал бум IT-технологий в сетевом обществе и их воздействие на перестройку общественных жизненных отношений. Его беспокоит, что то, что было когда-то названо «виртуальной реальностью» (Lanier, 2015), превращается сейчас в «культуру реальной виртуальности». Сеть становится важнее, чем общество. Медийная реальность может возобладать над

реальностью социальной. Можно ожидать, что «индустрия 4.0» также приведет к появлению «общества 4.0». Но тогда возникает вопрос, как дигитализация способа ведения жизни изменит нашу жизнь, непосредственно возвращая нас к вопросу, который еще на первом социологическом конгрессе 1909 года ставил Макс Вебер в связи с анкетированием по поводу газет: «Каким образом она (пресса. — Г.-П. М.) участвует в формировании современного человека» (Weber, 1988с: 441).

10) *Рефлексивный способ ведения жизни*. Чем дальше продвигается модернизация современных обществ, тем больше у их жителей способностей к рефлексивности. Общества, которые поддерживают свою стабильность посредством изменений, т.е. постоянно перестраиваются и эту постоянную трансформацию рассматривают в качестве единственной экзистенциальной и институциональной гарантии, вынуждены отказываться или переходить на иные модели традиций, усовершенствовать институты и ослаблять как социальные, так и индивидуальные идентичности. Такого рода «рефлексивная модернизация», как эти изменения называли Ульрих Бек, Энтони Гидденс и Скотт Лэш (Beck, Giddens, Lash, 1994), также принуждает людей к рефлексивному способу ведения жизни. Но что это значит, помимо того простого факта, что люди должны придавать форму своей жизни и потому вынуждены размышлять о своем способе ведения жизни? Маргарет Арчер обратилась к исследованию этого вопроса в своей книге «Рефлексивный императив в поздней современности» (Archer, 2012, а также: Müller, 2015). Подобно Беку, Гидденсу и Лэшу, она исходит из того, что способ ведения жизни становится более рефлексивным в условиях быстрых социальных изменений, что позволяет придать жизни такие формы, которые не заведут в биографический тупик. Арчер даже формулирует тезис «о продвинутой рефлексивности», чтобы отграничить свой подход от рефлексивной модернизации. Она различает четыре типа рефлексивности: «коммуникативная рефлексивность» имеет место в том случае, если перед действием происходит внутреннее общение со значимыми другими (семья и друзья). «Автономная рефлексивность» описывает модус, при котором субъект осуществляет внутреннее общение с самим собой и действует в соответствии с ним. «Метарефлексивность» подразумевает внутренний критический диалог, в котором опять же критически оценивается эффективность собственного действия внутри общества. «Нарушенная рефлексивность» — дефицитарный модус, при котором внутренний диалог не ведет к осмысленному курсу действий, последствием чего является дезориентация и ситуативно обусловленное экспрессивное действие. «Метарефлексивность» — это новый модус, который утверждается в позднем модерне вместе с ускоренным морфогенезом, а *проще говоря*: вместе с социальными изменениями. Ее тезис таков: «С началом более быстрого морфогенеза оказывается совершенно беспрецедентное воздействие на структуру и культуру личной рефлексивности, которое способствует утверждению особого режима рефлексивного рассуждения — метарефлексивности» (Archer, 2012: 31f.; в оригинале выделено курсивом). Метарефлексивность как комбинация из позитивного семейного опыта и значительной избирательности при выборе форм жиз-

ни в глазах Арчер представляет собой доминирующий в будущем тип социализации; но и в этой общественной игре карты раздаются очень неравномерно, тем более, как признает сама Арчер, она опрашивала лишь своих студентов в Уорвике, то есть привилегированную общественную группу.

Все эти десять пунктов по-своему ставят диагноз общественной эпохе и выражают воздействие описанных соответствующим образом общественных отношений на ведение жизни. Даже не пытаясь оценивать или тем более синтезировать данные попытки диагноза эпохе в единую картину ситуации, связанную со способами ведения жизни, можно утверждать, что хотя профессиональная отраслевая социология как институционализированная форма эмпирических социальных исследований обеспечивает гигантское изобилие данных и специальных знаний, тем не менее она может относительно немного сказать по поводу ключевых проблем нашего времени в теоретико-методическом плане. Наряду с изучением обыденных способов ведения жизни, лишь биографические исследования пытаются выйти на след тех смыслов, которые конструируются при поиске жизненных форм (Bude, 1984; Hahn, 2000; Sackmann, 2007). Видимо, немецкая социология уже давно не является «наукой о жизни», которая серьезно и глубоко занимается культурными и экзистенциальными вопросами нашего времени. Понятно и теоретически она вернулась на тот уровень притязаний, что был до Вебера и Зиммеля, поскольку в основном предается страсти охотников и собирателей данных и *petits faits*². Идеалом для нее является тотальное измерение мира, однако из-за нагромождения разнообразных данных все больше теряется целостность предмета — общество и одобряемые им способы ведения жизни. С точки зрения профессиональной специализации социология лишается одной из самых благородных задач нашей дисциплины: сегодня хотя бы увидеть базовые проблемы ведения жизни во всей их широте.

В случае появления такого желания и обращении к наследию Макса Вебера следует сделать три следующих шага:

1) Прежде всего следует определить и оценить как старые и все еще актуальные, так и новые силы, влияющие на ведение жизни.

2) Это возможно лишь тогда, когда будут проанализированы важнейшие макропроцессы и их микропоследствия; фокус должен быть направлен на социальные практики в различных полях ведения жизни.

3) Наконец, в рамках такого понимания вызовов и требований можно изучать уязвимость и устойчивость различных статусных групп, а также используемые ими важнейшие механизмы решения проблем. Давление, оказываемое на способы ведения жизни, и их шансы на реализацию могут стать интересной мерой оценки свободы и качества жизни в определенном обществе.

Если принять подобное предложение, тогда вырисовывается следующая картина, показывающая общую перспективу:

2. Мелких фактов (фр.)

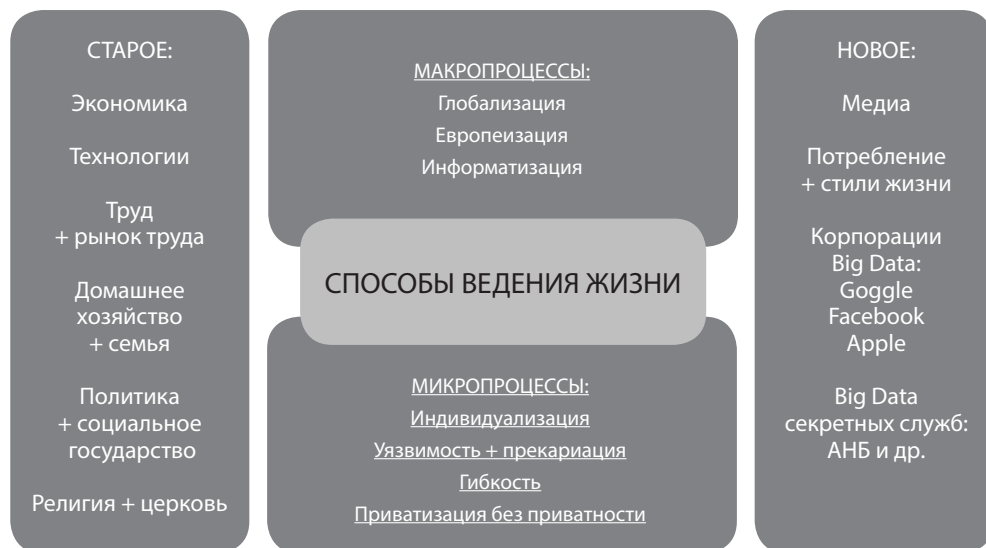


Рисунок 3. Силы, определяющие способы ведения жизни сегодня

Намечается широкое поле исследований, дающих ответы на четыре основных вопроса: 1) Что означает ведение жизни сегодня? 2) Какой теоретико-методический дизайн необходим для решения этого вопроса? 3) Какие образцы ведения жизни можно выявить в современных обществах? 4) Как сегодня (еще) возможно самоопределение применительно к способу ведения жизни? Такой подход, находящийся совершенно в духе Макса Вебера и социологической традиции изучения ведения жизни, мог бы позволить и немецкой социологии вновь стать более внимательной к волнующим общество вопросам.

Литература

- Вебер М. (2003). Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы (1895–1991) / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Праксис. С. 7–39.
- Вебер М. (2006а). Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической литературе / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. С. 415–452.
- Вебер М. (2006б). Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. С. 19–186.
- Вебер М. (2006в). «Объективность» социально-научного и социально-политического познания / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. С. 271–320.

- Вебер М. (2006г). Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. П. П. Гайденоко // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. С. 529–548.
- Вебер М. (2017). Промежуточное рассмотрение: теория уровней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова. СПб.: Владимир Даль. С. 399–445.
- Плеснер Х. (2004). Ступени органического и человек: введение в философскую антропологию / Пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанова. М.: РОССПЭН.
- Смит А. (2007). Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. П. Н. Ключкина. М.: Эксмо.
- Archer M. (2012). *The Reflexive Imperative in Late Modernity*. New York: Cambridge University Press.
- Albert G., Bienfait A., Sigmund S., Wendt C. (Hgg.). (2003). *Das Weber-Paradigma*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Beck U., Giddens A., Lash S. (1994). *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford: Stanford University Press.
- Behringer L. (1998). *Lebensführung als Identitätsarbeit: Der Mensch im Chaos des modernen Alltags*. Frankfurt am Main: Campus.
- Boltanski L., Chiapello E. (2003 [1999]). *Der neue Geist des Kapitalismus*. Konstanz: UVK.
- Castel R. (2000 [1995]). *Die Metamorphosen der sozialen Frage: Eine Chronik der Lohnarbeit*. Konstanz: UVK.
- Castel R., Dörre K. (Hgg.). (2010). *Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung: Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts*. Frankfurt am Main: Campus.
- Castells M. (2001 [1996]). *Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft*. Wiesbaden: VS.
- Dahrendorf R. (1979). *Lebenschancen: Anläufe zur sozialen und politischen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Dürkheim E. (1991 [1950]). *Physik der Sitten und des Rechts: Vorlesungen zur Soziologie der Moral* / Hg. H.-P. Müller. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Florida R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.
- Foucault M. (1989 [1984]). *Die Sorge um sich: Sexualität und Wahrheit*, Bd. 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Foucault M. (2004 [1982]). *Hermeneutik des Subjekts: Vorlesung am College de France 1981/2*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Foucault M. (2006 [1979]). *Geschichte der Gouvernementalität I+II*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Foucault M. (2010 [1975]). *Überwachen und Strafen: Die Geburt des modernen Gefängnisses*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Habermas J. (1981). *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Hadot P.* (2002). Philosophie als Lebensform: Antike und moderne Exerzitien der Weisheit. Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Hahn A.* (2000). Konstruktionen des Selbst: der Welt und der Geschichte Aufsätze zur Kultur Soziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hartmann P. H.* (1999). Lebensstilforschung: Darstellung, Kritik und Weiterentwicklung. Opladen: Leske und Budrich.
- Hennis W.* (1987). Max Webers Fragestellung: Studien zur Biographie des Werkes. Tübingen: Mohr.
- Hennis W.* (1996). Max Webers Wissenschaft vom Menschen: Neue Studien zur Biographie des Werkes. Tübingen: Mohr.
- Hermann D.* (2006). Back to the Roots! Der Lebensführungsansatz von Max Weber // *Albert G., Bienfait A., Sigmund S., Stachura M.* (Hgg.). Aspekte des Weber-Paradigmas. Wiesbaden: VS. S. 238–257.
- Hien G.* (1997). Lebensführungscompetenz // *Breuninger R.* (Hg.). Philosophie der Subjektivität und das Subjekt der Philosophie. Würzburg: Königshausen und Neumann. S. 24–35.
- Höhle F., Voß G.-G., Wachtler G.* (Hgg.) (2010). Handbuch Arbeitssoziologie. Wiesbaden: VS.
- Höhnisch L.* (1984). Lebensbewältigung // *Otto H.-U., Thiersch H.* (Hgg.). Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik. München: Hermann Luchterhand. S. 1119–1121.
- Bröckling U.* (2007). Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hude H.* (1984). Rekonstruktion von Lebenskonstruktionen: Eine Antwort auf die Frage, was die Biographieforschung bringt // *Kohli M., Robert G.* (Hgg.). Biographie und soziale Wirklichkeit. Stuttgart: Metzler. S. 7–28.
- Jaeggi R.* (2014). Kritik von Lebensformen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Koppetsch C.* (2006). Das Ethos der Kreativen: Eine Studie zum Wandel von Identität und Arbeit am Beispiel der Werbeberufe. Konstanz: UVK.
- Kudera W., Voß G.-G.* (Hgg.). (2000). Lebensführung und Gesellschaft: Beiträge zu Konzept und Empirie alltäglicher Lebensführung. Opladen: Leske und Budrich.
- Landmann M.* (1963). Pluralität und Antinomie: Kulturelle Grundlagen seelischer Konflikte. München: E. Reinhardt.
- Lanier J.* (2015). Wenn Träume erwachsen werden: Ein Blick auf das digitale Zeitalter. Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Lepsius M.R.* (2003). Eigenart und Potenzial des Weber-Paradigmas // *Albert G., Bienfait A., Sigmund S., Wendt C.* (Hgg.). Das Weber-Paradigma. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 32–41.
- Mau S.* (2007). Transnationale Vergesellschaftung: Die Entgrenzung sozialer Lebenswelten. Frankfurt am Main: Campus.
- Mau S., Verwiebe R.* (2009). Die Sozialstruktur Europas. Konstanz: UVK.

- Müller H.-P. (1992). Gesellschaftliche Moral und individuelle Lebensführung: Ein Vergleich von Emile Dürkheim und Max Weber // *Zeitschrift für Soziologie*. Bd. 21. № 1. S. 49–60.
- Müller H.-P. (2003). Kultur und Lebensführung — durch Arbeit? // *Albert G., Bienfait A., Sigmund S., Wendt C.* (Hgg.). *Das Weber-Paradigma*. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 271–297.
- Müller H.-P. (2007). Max Weber: Eine Einführung in sein Werk. Köln: Böhlau.
- Müller H.-P. (2009). Lebensstile: Ein neues Paradigma der Differenzierungs- und Ungleichheitsforschung // *Solga H., Powell J., Berger P. A.* (Hgg.). *Soziale Ungleichheit: Klassische Texte zur Sozialstrukturanalyse*. Frankfurt am Main: Campus. S. 331–343.
- Müller H.-P. (2013). Werte, Milieus und Lebensstile: Zum Kulturwandel unserer Gesellschaft // *Hradil S.* (Hg.). *Deutsche Verhältnisse: Eine Sozialkunde*. Frankfurt am Main: Campus. S. 185–208.
- Müller H.-P. (2014). Lebensführung und Lebenskunst im Zeitalter der Unsicherheit // *Aulenbacher B., Dammayr M.* (Hgg.). *Für sich und andere sorgen: Krise und Zukunft von CARE*. Weinheim: Beltz Juventa. S. 18–30.
- Müller H.-P. (2015). Der neue kategorische Imperativ? Margaret Archers Trilogie zur reflexiven Lebensführung // *Soziologische Revue*. Bd. 38. № 2. S. 198–208.
- Müller H.-P., Steffen S. (Hgg.). (2014). *Max Weber-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung*. Stuttgart: Metzler.
- Müller H.-P., Wehrich M. (1990). *Lebensweise — Lebensführung — und Lebensstile: Eine kommentierte Bibliographie*. München: Universität der Bundeswehr.
- Osten M. (2003). «Alles veloziferisch» oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit: zur Modernität eines Klassikers im 21. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Insel.
- Otte G. (2004). *Sozialstrukturanalysen mit Lebensstilen*. Wiesbaden: VS.
- Perpeet W. (1984). Kulturphilosophie um die Jahrhundertwende // *Brackert H., Wefel-meyer F.* (Hgg.). *Naturplan und Verfallskritik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 364–408.
- Plessner H. (2003 [1928]). *Die Stufen des Organischen und der Mensch*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Rabbow P. (1954). *Seelenführung: Methodik der Exerzitien in der Antike*. München: Kösel.
- Reckwitz A. (2012). *Die Erfindung der Kreativität: Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung*. Berlin: Suhrkamp.
- Rosa H. (2005). *Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Sackmann R. (2007). *Lebenslaufanalyse und Biografieforschung: Eine Einführung*. Wiesbaden: Springer.
- Schimank U. (2015). Lebensplanung? Biographische Entscheidungspraktiken irritierter Mittelschichten // *Berliner Journal für Soziologie*. Bd. 25. № 1–2 (im Erscheinen).
- Schimank U., Mau S., Groh-Samberg O. (2014). *Statusarbeit unter Druck? Zur Lebensführung der Mittelschichten*. Weinheim: Beltz Juventa.

- Schluchter W.* (1988). Religion und Lebensführung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schluchter W.* (2003). Handlung, Ordnung und Kultur: Grundzüge eines weberianischen Forschungsprogramms // *Albert G., Bienfait A., Sigmund S., Wendt C.* (Hgg.). Das Weber-Paradigma. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 42–74.
- Schluchter W.* (2009). Grundlegungen der Soziologie. Bd. 1. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Schmid W.* (1991). Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schwinn Th.* (1998). Wertsphären, Lebensordnungen und Lebensführungen // *Bienfait A., Wagner G.* (Hgg.). Verantwortliches Handeln in gesellschaftlichen Ordnungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 270–319.
- Sennett R.* (1998). The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: Norton.
- Simmel G.* (1999 [1918]). Lebensanschauung: Vier metaphysische Kapitel // *Simmel G.* Gesamtausgabe. Bd. 16 / Hgg. G. Fitzi und O. Rammstedt, Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 209–425.
- Smith A.* (1978 [1776]). Der Wohlstand der Nationen: Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen. München: Deutscher Taschenbuch.
- Tenbruck F.* (1999). Das Werk Max Webers: Gesammelte Aufsätze zu Max Weber. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Vetter H.-R.* (Hg.) (1991). Muster moderner Lebensführung. München: Juventa.
- Virilio P.* (1980 [1977]). Geschwindigkeit und Politik: Ein Essay zur Dromologie. Berlin: Merve.
- Virilio P.* (1992 [1990]). Rasender Stillstand. München: Hanser.
- Virilio P.* (2012 [2011]). Der große Beschleuniger. Wien: Passagen.
- Vobruba G.* (2009). Die Gesellschaft der Leute: Kritik und Gestaltung sozialer Verhältnisse. Wiesbaden: VS.
- Voß G.-G.* (1991). Lebensführung als Arbeit: Über die Autonomie der Person im Alltag der Gesellschaft. Stuttgart: Enke.
- Voß G.-G.* (2014). Arbeit, Beruf und Arbeitskraft: Wie verändert sich ihre Bedeutung im 21. Jahrhundert? // *Müller H.-P., Sigmund S.* (Hgg.). Max Weber-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung. Stuttgart: Metzler. S. 393–398.
- Voß G.-G., Pongratz H. J.* (1998). Der Arbeitskraftunternehmer: Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft? // *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie.* Bd. 50. № 1. S. 131–158.
- Voß G.-G., Weihrich M.* (Hgg.). (2001). tagaus-tagein: Neue Beiträge zur Soziologie alltäglicher Lebensführung. München: Hampp.
- Weber M.* (1985). Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr.
- Weber M.* (1988a). Gesammelte Politische Schriften. Tübingen: Mohr.
- Weber M.* (1988b). Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen: Mohr.
- Weber M.* (1988c). Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Tübingen: Mohr.

Life Conduct: A Systematic Sketch in the Context of Max Weber's Research Program

Hans-Peter Müller

Full Professor of General Sociology, Humboldt University Berlin

Address: Universitätsstraße 3b, 10117 Berlin, Deutschland

E-mail: hans-peter.mueller@sowi.hu-berlin.de

Oleg Kildyushov (translator)

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

The article focuses on one of Max Weber's central concepts known in German as *Lebensführung* (i.e., *life conduct*, though often mistakenly translated as *life style* in English). The author of this article begins with a rather paradoxical statement that this key concept remained without either a strict definition or a detailed elaboration in Weber's sociology. He demonstrates the importance of *life* for Weber's scientific research program, putting it into the complex context of the intellectual history at the turn of the century where the German Neo-Kantianism of the Baden School, philosophical anthropology, and the philosophy of life played significant roles. He continues with the reconstruction of the functional place of *Lebensführung* among the analytical tools Max Weber applied in his studies of Western rationalization, understood as a process of the total disenchantment of the world. Müller distinguishes between three main aspects of the rationalization of life in the situation of Modernity: the scientific-technological, the metaphysically-ethical, and the practical forms of modern rationality. He points to the poly-semantic meaning of *Lebensführung*, while, at the same time, noticing that there is no special attention paid to the concept in current studies of the forms and styles of life. After a concise analysis of similar problems, he in turn formulates ten different forms of *Lebensführung* in the globalized world, proper to the people in Western countries. These forms are related to trans-nationality, laborization, flexibilization, project-based activity, acceleration, instability, creativity, social control, digitalization, and reflexivity. In conclusion, from his analysis, he draws far-reaching consequences regarding the heuristic capacity and operationalization opportunities of Max Weber's concepts.

Keywords: Max Weber, life conduct, intellectual history, rationality, modernity, life styles

References

- Archer M. (2012) *The Reflexive Imperative in Late Modernity*, New York: Cambridge University Press.
- Albert G., Bienfait A., Sigmund S., Wendt C. (eds.) (2003) *Das Weber-Paradigma*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Beck U., Giddens A., Lash S. (1994) *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*, Stanford: Stanford University Press.
- Behringer L. (1998) *Lebensführung als Identitätsarbeit: Der Mensch im Chaos des modernen Alltags*, Frankfurt am Main: Campus.
- Boltanski L., Chiapello E. (2003) *Der neue Geist des Kapitalismus*, Konstanz: UVK.
- Castel R. (2000) *Die Metamorphosen der sozialen Frage: Eine Chronik der Lohnarbeit*, Konstanz: UVK.
- Castel R., Dörre K. (eds.) (2010) *Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung: Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main: Campus.
- Castells M. (2001) *Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft*, Wiesbaden: VS.
- Dahrendorf R. (1979) *Lebenschancen: Anläufe zur sozialen und politischen Theorie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Dürkheim E. (1991) *Physik der Sitten und des Rechts: Vorlesungen zur Soziologie der Moral* (ed. H.-P. Müller), Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Florida R. (2002) *The Rise of the Creative Class*, New York: Basic Books.
- Foucault M. (1989) *Die Sorge um sich: Sexualität und Wahrheit, Bd. 3*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Foucault M. (2004) *Hermeneutik des Subjekts: Vorlesung am College de France 1981/2*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Foucault M. (2006) *Geschichte der Gouvernementalität I+II*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Foucault M. (2010) *Überwachen und Strafen: Die Geburt des modernen Gefängnisses*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Habermas J. (1981) *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hadot P. (2002) *Philosophie als Lebensform: Antike und moderne Exerzitien der Weisheit*, Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Hahn A. (2000) *Konstruktionen des Selbst: der Welt und der Geschichte Aufsätze zur Kultur Soziologie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hartmann P. H. (1999) *Lebensstilforschung: Darstellung, Kritik und Weiterentwicklung*, Opladen: Leske und Budrich.
- Hennis W. (1987) *Max Webers Fragestellung: Studien zur Biographie des Werkes*, Tübingen: Mohr.
- Hennis W. (1996) *Max Webers Wissenschaft vom Menschen: Neue Studien zur Biographie des Werkes*, Tübingen: Mohr.
- Hermann D. (2006) Back to the Roots! Der Lebensführungsansatz von Max Weber. *Aspekte des Weber-Paradigmas* (eds. G. Albert, A. Bienfait, S. Sigmund, M. Stachura), Wiesbaden: VS, pp. 238–257.
- Hien G. (1997) Lebensführungscompetenz. *Philosophie der Subjektivität und das Subjekt der Philosophie* (ed. R. Breuninger). Würzburg: Königshausen und Neumann, pp. 24–35.
- Höhle F., Voß G.-G., Wachtler G. (eds.) (2010) *Handbuch Arbeitssoziologie*, Wiesbaden: VS.
- Höhnisch L. (1984) Lebensbewältigung. *Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik* (eds. H.-U. Otto, H. Thiersch), München: Hermann Luchterhand, pp. 1119–1121.
- Horckling U. (2007) *Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer Subjektivierungsform*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hude H. (1984) Rekonstruktion von Lebenskonstruktionen: Eine Antwort auf die Frage, was die Biographieforschung bringt. *Biographie und soziale Wirklichkeit* (eds. M. Kohli, G. Robert), Stuttgart: Metzler, pp. 7–28.
- Jaeggi R. (2014) *Kritik von Lebensformen*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Koppetsch C. (2006) *Das Ethos der Kreativen: Eine Studie zum Wandel von Identität und Arbeit am Beispiel der Werbeberufe*, Konstanz: UVK.
- Kudera W., Voß G.-G. (eds.) (2000) *Lebensführung und Gesellschaft: Beiträge zu Konzept und Empirie alltäglicher Lebensführung*, Opladen: Leske und Budrich.
- Landmann M. (1963) *Pluralität und Antinomie: Kulturelle Grundlagen seelischer Konflikte*, München: E. Reinhardt.
- Lanier J. (2015) *Wenn Träume erwachsen werden: Ein Blick auf das digitale Zeitalter*, Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Lepsius M.R. (2003) Eigenart und Potenzial des Weber-Paradigmas. *Das Weber-Paradigma* (eds. G. Albert, A. Bienfait, S. Sigmund, C. Wendt), Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 32–41.
- Mau S. (2007) *Transnationale Vergesellschaftung: Die Entgrenzung sozialer Lebenswelten*, Frankfurt am Main: Campus.
- Mau S., Verwiebe R. (2009) *Die Sozialstruktur Europas*, Konstanz: UVK.
- Müller H.-P. (1992) Gesellschaftliche Moral und individuelle Lebensführung: Ein Vergleich von Emile Durkheim und Max Weber. *Zeitschrift für Soziologie*, vol. 21, no 1, pp. 49–60.
- Müller H.-P. (2003) Kultur und Lebensführung — durch Arbeit? *Das Weber-Paradigma* (eds. G. Albert, A. Bienfait, S. Sigmund, C. Wendt), Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 271–297.
- Müller H.-P. (2007) *Max Weber: Eine Einführung in sein Werk*, Köln: Böhlau.
- Müller H.-P. (2009) Lebensstile: Ein neues Paradigma der Differenzierungs- und Ungleichheitsforschung. *Soziale Ungleichheit: Klassische Texte zur Sozialstrukturanalyse* (eds. H. Solga, J. Powell, P. A. Berger), Frankfurt am Main: Campus, pp. 331–343.
- Müller H.-P. (2013) Werte, Milieus und Lebensstile: Zum Kulturwandel unserer Gesellschaft. *Deutsche Verhältnisse: Eine Sozialkunde* (ed. S. Hradil), Frankfurt am Main: Campus, pp. 185–208.

- Müller H.-P. (2014) Lebensführung und Lebenskunst im Zeitalter der Unsicherheit. *Für sich und andere sorgen: Krise und Zukunft von CARE* (eds. B. Aulenbacher, M. Dammayr), Weinheim: Beltz Juventa, pp. 18–30.
- Müller H.-P. (2015) Der neue kategorische Imperativ? Margaret Archers Trilogie zur reflexiven Lebensführung. *Soziologische Revue*, vol. 38, no 2, pp. 198–208.
- Müller H.-P., Steffen S. (eds.) (2014) *Max Weber-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung*, Stuttgart: Metzler.
- Müller H.-P., Wehrich M. (1990) *Lebensweise — Lebensführung — und Lebensstile: Eine kommentierte Bibliographie*, München: Universität der Bundeswehr.
- Osten M. (2003) "Alles veloziferisch" oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit: zur Modernität eines Klassikers im 21. Jahrhundert, Frankfurt am Main: Insel.
- Otte G. (2004) *Sozialstrukturanalysen mit Lebensstilen*, Wiesbaden: VS.
- Perpeet W. (1984) Kulturphilosophie um die Jahrhundertwende. *Naturplan und Verfallskritik* (eds. H. Brackert, F. Wefelmeyer), Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 364–408.
- Plessner H. (2003) *Die Stufen des Organischen und der Mensch*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Rabbow P. (1954) *Seelenführung: Methodik der Exerzitien in der Antike*, München: Kösel.
- Reckwitz A. (2012) *Die Erfindung der Kreativität: Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung*, Berlin: Suhrkamp.
- Rosa H. (2005) *Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Sackmann R. (2007) *Lebenslaufanalyse und Biografieforschung: Eine Einführung*, Wiesbaden: Springer.
- Schimank U. (2015) Lebensplanung? Biographische Entscheidungspraktiken irritierter Mittelschichten. *Berliner Journal für Soziologie*, vol. 25, no 1–2.
- Schimank U., Mau S., Groh-Samberg O. (2014) *Statusarbeit unter Druck? Zur Lebensführung der Mittelschichten*, Weinheim: Beltz Juventa.
- Schluchter W. (1988) *Religion und Lebensführung*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schluchter W. (2003) Handlung, Ordnung und Kultur: Grundzüge eines weberianischen Forschungsprogramms. *Das Weber-Paradigma* (eds. G. Albert, A. Bienfait, S. Sigmund, C. Wendt), Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 42–74.
- Schluchter W. (2009) *Grundlegungen der Soziologie, Bd. 1*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Schmid W. (1991) *Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schwinn Th. (1998) Wertsphären, Lebensordnungen und Lebensführungen. *Verantwortliches Handeln in gesellschaftlichen Ordnungen* (eds. A. Bienfait, G. Wagner), Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 270–319.
- Sennett R. (1998) *The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*, New York: Norton.
- Simmel G. (1999) Lebensanschauung: Vier metaphysische Kapitel. *Gesamtausgabe, Bd. 16*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 209–425.
- Smith A. (1978) *Der Wohlstand der Nationen: Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen*, München: Deutscher Taschenbuch.
- Tenbruck F. (1999) *Das Werk Max Webers: Gesammelte Aufsätze zu Max Weber*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Vetter H.-R. (ed.) (1991) *Muster moderner Lebensführung*, München: Juventa.
- Virilio P. (1980) *Geschwindigkeit und Politik: Ein Essay zur Dromologie*, Berlin: Merve.
- Virilio P. (1992) *Rasender Stillstand*, München: Hanser.
- Virilio P. (2012) *Der große Beschleuniger*, Wien: Passagen.
- Vobruba G. (2009) *Die Gesellschaft der Leute: Kritik und Gestaltung sozialer Verhältnisse*, Wiesbaden: VS.
- Voß G.-G. (1991) *Lebensführung als Arbeit: Über die Autonomie der Person im Alltag der Gesellschaft*, Stuttgart: Enke.
- Voß G.-G. (2014) Arbeit, Beruf und Arbeitskraft: Wie verändert sich ihre Bedeutung im 21. Jahrhundert? *Max Weber-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung* (eds. H.-P. Müller, S. Sigmund), Stuttgart: Metzler, pp. 393–398.

- Voß G.-G., Pongratz H. J. (1998) Der Arbeitskraftunternehmer: Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft? *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, vol. 50, no 1, pp. 131–158.
- Voß G.-G., Wehrich M. (eds.) (2001) *tagaus-tagein: Neue Beiträge zur Soziologie alltäglicher Lebensführung*, München: Hampp.
- Weber M. (1985) *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen: Mohr.
- Weber M. (1988) *Gesammelte Politische Schriften*, Tübingen: Mohr.
- Weber M. (1988) *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, Tübingen: Mohr.
- Weber M. (1988) *Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik*, Tübingen: Mohr.

Продисциплинарные и антидисциплинарные сети в позднесоветском обществе

Илья Кукулин

Кандидат филологических наук, доцент школы культурологии факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: ikukulin@hse.ru

В статье продемонстрирована односторонность в описании социальных сетей в советском обществе, которая исподволь сложилась в исторических и социологических исследованиях последних десятилетий. Под «социальной сетью» в социологии обычно понимается совокупность ближних и дальних знакомств, связывающих между собой людей в конкретной местности или социальном кластере. Применительно к российскому обществу социологи и политологи чаще всего пишут о сетях блата, теневой экономики, неформальных связей, «разъедающих» современные институты и препятствующих модернизации. По-видимому, и в позднесоветском, и в современном российском обществе существовали сети многих других типов, однако они изучаются гораздо реже и никогда — систематически. Причин, по которым возникло это «слепое пятно», минимум две: 1) большое политическое значение и специфическая организация «антидисциплинарных» сетей в позднесоветском и постсоветском обществе и 2) сложная комбинация модернизационных и контрмодернизационных тенденций в развитии СССР, удачно «схваченная» термином Анатолия Вишневского «консервативная модернизация». Описание взаимодействия этих тенденций требует уточнения некоторых положений современных теорий социальных сетей. Для примера рассмотрены ограничения, которые встречается при рассмотрении советского общества концепция Харрисона Уайта.

Ключевые слова: социальные сети, позднесоветское общество, блат, теневая экономика, Харрисон Уайт, дисциплинарное государство, консервативная модернизация

1

Задача этой статьи — выявить скрытое противоречие, существующее между теоретической социологией и социологическим осмыслением позднесоветского и современного российского общества. Точнее, между тем, как в современной теоретической социологии осмысливается функционирование социальных сетей — и тем,

© Кукулин И. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-136-173

* Статья выполнена в рамках проекта ШАГИ РАНХиГС «Изоляционизм и советское общество: ментальные структуры, политические мифологии и культурные практики (1946–1985)» (2017). Благодарю анонимного рецензента «Социологического обозрения» за ценные замечания, которые очень помогли при доработке статьи.

как в исследованиях России описывается «работа» сетей в советском и постсоветском социуме.

Термин «социальная сеть» (social network), по существу, является омонимом, так как описывает три феномена, лишь частично совпадающие между собой.

Первый — это социальные сети «вообще», в том смысле, в котором этот термин в 1954 году ввел британский антрополог Джон Эрандел Барнс, описывая систему отношений жителей небольшого норвежского острова (Barnes, 1954): совокупность ближних и дальних знакомств, связывающих между собой людей в конкретной местности или социальном кластере. По мере развития социологии уже в 1960-е годы стало понятно, что каждый человек включен не в одну, а во множество социальных сетей, имеющих разную функцию: дружеские, профессиональные, основанные на хобби, на совместной вовлеченности в общественную деятельность и т. п., и индивиду в этом случае приходится постоянно «переключаться» между ними. Сеть — это открытая и нестабильная структура, не имеющая постоянного «членства», в этом смысле она отличается от сообщества или от группы, связанной общими целями, ценностями, ощущением принадлежности, часто — позитивным переживанием этой принадлежности (Bruhn, 2011: 12–13). Сеть не накладывает на вовлеченных в нее индивидов подобных психологических «обязательств». Гибкость сети и ее способность «подстраиваться» к быстрым изменениям может быть противопоставлена социальным институтам, которые функционируют на основании известных правил, в ряде случаев регулируемых законодательными актами.

Второй смысл сети — это информационная система, позволяющая людям передавать друг другу сообщения, изображения, аудио- или видеозаписи. Примеры такой сети — social media, платформы для общения, ставшие одним из важнейших элементов Web 2.0: Facebook, Twitter и так далее. В этих сетях каждый участник представлен одним или несколькими аккаунтами, которые являются его/ее «голом», инстанцией передачи информации.

Начиная с 1990-х годов, когда началась экспансия Интернета, социологи говорят о том, что в современном мире стремительно растет роль сетевых отношений в обоих описанных выше смыслах: и сетевых связей в обществе, и электронных сетей. Электронные сети оказались идеальной технической основой для изменения общества, в котором горизонтальные связи *ad hoc* все больше оказываются востребованы для реализации локальных, временных проектов (Болтански, Кьяпелло, 2011). Целый ряд социологов полагает, что вообще в современном мире замкнутые социальные структуры изучать невозможно и следует говорить только о сетевых (Урри, 2012). Социальный мыслитель Мануэль Кастельс еще в 1996 году выпустил книгу «Восход сетевого общества», которая впоследствии вошла в состав его трилогии «Информационный век» (Castells, 2010). Кастельс стал одним из первых, но далеко не единственным, кто полагал, что развитие общества, опосредованное новейшими коммуникационными технологиями, может привести к более справедливым общественным отношениям — менее иерархическим, менее отчужденным, более способствующим сознательному, критическому отношению

к власти. Аналогичные гипотезы высказывают авторы, анализирующие влияние Интернета на российское общество (см., например: Gorham, Lunde, Paulsen, 2014).

В 1990–2010-е годы происходит становление новой, сетевой парадигмы в социологии — некоторые авторы говорят о появлении «реляционной социологии», которая порывает с прежними представлениями об обществе как композиции стабильных, имеющих собственную «субстанцию» норм, акторов и институтов и вводит новое представление об обществе как ансамбле динамических отношений (Emirbayer, 1997; Prandini, 2015).

Третье значение слова «сеть» — это неинституциональные социальные отношения, которые осложняют работу государственных институтов или даже подменяют эти институты. Такая «противительная» интерпретация термина используется прежде всего при описании обществ, которые считаются переходными от диктатуры/авторитаризма/тоталитаризма к демократии — чтобы объяснить, почему институты западного типа, основанные на контрактных отношениях, в этих обществах не прививаются или работают не так, как в странах, где возникли изначально. Такой подход используется, в частности, в политологических, социологических и экономических исследованиях современной России. Так, в 2001 году экономист Ростислав Капелюшников писал:

Наблюдения показывают, что, попадая в российскую среду, любые формальные институты сразу же прорастают неформальными отношениями и личными связями. Дело обстоит так, как если бы они подвергались мутации и в результате становились неспособными выполнять свое предназначение — служить общезначимыми «правилами игры»... В российских условиях такие институты... переключа[ются] в режим двустороннего (или многостороннего) персонализированного торга. (Цит. по: Капелюшников, 2016: 351)

Несмотря на то что диагноз Капелюшникова поставлен давно, он во многом сохраняет свою силу — с оговоркой о том, что сегодня важнейшим участником «персонализированного торга» стали силовые структуры¹. Специфической проблемой постсоветского общества признается не само по себе наличие развитой инфраструктуры неформальных сетей, а то, что система внеконтрактных отношений в этих сетях признается «по умолчанию» лучше контрактной.

С высказыванием Р. И. Капелюшникова я совершенно согласен, однако если рассмотреть его в более широком контексте, можно видеть, что именно к таким «неформальным отношениям» и сводится понимание социальных сетей применительно к поздней и постсоветской России; развитие интернет-коммуникаций и опосредованные ими социальные связи изучаются помимо «теневых сетей».

Можно назвать довольно много работ, где важнейшим структурным элементом советского и постсоветского российского общества признаются блат, связи криминалитета или неформальные отношения внутри властных институтов.

1. См. подробнее: Ledeneva, 2013.

Среди первых исследователей таких структур был Егор Гайдар, еще в последние советские годы написавший монографию об их опасности (Гайдар, 1990). Сегодня одной из причин избирательного внимания именно к сетям блага и «теневых» коррупционных и лоббистских групп является интерес западных научных и политических институций к экспертизе рисков и опасностей, связанных с Россией, так как коррупционные сети и сети политического влияния, включающие в себя все большее количество действующих лиц вне России, в 2000–2010-е годы постепенно стали восприниматься как проблема международного масштаба. Так, в 2011 году вышло минимум две книги, сосредоточенные на «теневых» сетевых структурах власти и перераспределения прибыли: первая — сборник под редакцией А. Мошеса и В. Кононенко «Россия как сетевое государство: что работает в России, если государственные институты не функционируют?» (Moshes, Kononenko, 2011), вторая — «Российские сети организованной коррупции и их международные траектории» С. Челухина и М. Р. Хаберфельда (Cheloukhine, Haberfeld, 2011). Автор предисловия к первой из названных книг, Вадим Кононенко, доказывает, что Россия — уникальное «сетевое государство», которое не соответствует веберовскому представлению о государстве как о системе рационализирующих бюрократических институтов:

В последние десятилетия в России сложился род симбиоза между неформальными группами и формальными институтами. В рамках этого симбиоза элитные группы отстаивают свои собственные интересы, проникая в институты и в итоге сливаясь с государством, в то же самое время сохраняя позиции, неподвластные (unaccountable) этим институтам. Поэтому государство всегда оказывается слабым и подчинено сетям, и все же держится «на плаву», так как является своего рода институциональным каркасом, нужным для этих сетей. (Kononenko, 2011: 5)²

Иначе говоря, в первых двух пониманиях слова «социальная сеть», описанных выше, их эволюция воспринимается как явление позитивное и способствующее улучшению социального климата, а в третьем случае — как явление негативное и опасное, причем, по-видимому, авторы, описывающие сети во всех трех смыслах, имеют этические и интеллектуальные резоны для таких интерпретаций, однако описания «плохих» сетей в российском обществе основано не на теоретических моделях, а на эмпирических наблюдениях. Возникает вопрос о том, как можно «вписать» исследования российского общества в «сетевой поворот» (или «реляционный поворот»), который можно наблюдать в сегодняшней социологии? Эта статья призвана сделать первые шаги к возможному ответу.

Такая задача, как я полагаю, может быть решена в три этапа. Сначала я попробую показать, в каком контексте возникли влиятельные сегодня парадигмы изучения социальных сетей и какие в них есть «слепые пятна». Затем — как изучение функционирования сетей в российском имперском, советском и постсоветском

2. Здесь и далее, если иного не оговорено, перевод иноязычных цитат выполнен автором статьи.

обществах позволяет уточнить базовые положения теории социальных сетей в целом. Тем самым я попытаюсь заполнить пробел между теоретическим представлением о социальных сетях и эмпирическими наблюдениями, касающимися «антиинституциональной» природы сетей в позднесоветском и постсоветском обществе. Далее я представлю эскиз классификации разных типов социальных сетей, действовавших в позднесоветской культуре — с середины 1950-х до конца 1980-х годов. Эта классификация позволит показать на нескольких примерах, как «советский» контекст менял функционирование принципов, представленных в современных теориях социальных сетей. Таким образом я попробую дать эскиз концептуального «моста» между теорией социальных сетей и социологией советского и постсоветского общества.

2

Теории социальных сетей развиваются сегодня очень интенсивно (см., например, сводки современного состояния исследований: Stegbauer, 2010; Borgatti, Lopez-Kidwell, 2011). Даже самое эскизное рассмотрение этой обширной и динамичной картины не может быть осуществлено в рамках одной статьи, поэтому я вкратце обсужу концепцию одного из самых цитируемых исследователей социальных сетей — Харрисона Уайта. После того как Уайт в 1963 году был принят на работу в Гарвардский университет, он начал там читать курс «Введение в социальные отношения» и руководил работой ряда студентов, которые впоследствии и создали науку о социальных сетях (network analysis) как особую отрасль социологии. Результаты работы Уайта и его учеников в 1960–1970-х годах в истории американской социологии принято называть «гарвардской революцией» или «гарвардским прорывом».

Открытия, сделанные в рамках этого движения, позволяли пересмотреть широко распространенную тогда в американской науке концепцию структурного функционализма, которая предполагала описание общества как совокупность надличных и стабильных систем. Монография Уайта «Идентичность и контроль: как возникают социальные формации» (White, 2008)³, впервые вышедшая в 1992 году, была переиздана в 2008-м издательством Принстонского университета, что говорит о ее востребованности на протяжении долгого времени.

Уайт доказывает, что человек конструирует собственную личность, «переключаясь» из одной социальной сети в другую. Уайт использует для сетей термин-неологизм «netdom», что можно приблизительно перевести как «сетепространство» — или, в переводе И. Каспэ, «сетевая сфера», — а «network» интерпретирует как социальную репрезентацию сетепространств, то есть «как мы их видим». Переключение предполагает смену не только самих сетепространств, но и конкрет-

3. Первое издание вышло в 1992 году, но для второго книга была существенно переработана. В дальнейшем при цитировании книги Уайта страницы указываются после цитаты в скобках по второму изданию.

ных позиций внутри них; в разные моменты человек определяет себя через смену своих позиций в сетепространствах и свое положение в них. Каждое переключение дает человеку возможность выработать «значение» (meaning), из которых складывается его/ее представление о социальном порядке и собственной жизни. Представление о системе таких переключений и об их значениях, развернутое в нарратив, Уайт называет «историей»; этот нарратив структурирует личную идентичность человека⁴. Структурирование социального самосознания, позволяющее человеку жить в условиях постоянной неопределенности, Уайт называет «контролем». Этот же термин он употребляет и для управления людьми со стороны властных инстанций; с его точки зрения, это разные формы одного и того же процесса. В целом Уайт полагает, что социально-политический контроль необходим для того, чтобы примирять различные секторы общества — или создавать видимость такой гармонизации (p. 220).

Вопрос о том, как влияют на структуру и функционирование социальных сетей культурные особенности того общества, в котором эти сети складываются и действуют, изучен довольно слабо. Ян А. Фузе заметил

Идея [сегодня] состоит в том, чтобы прийти к эмпирически адекватной феноменологии социальных сетей, основываясь на самоописаниях сетевых связей и обрабатывая их количественными методами. Однако сами категории самоописания редко становились предметом эмпирического исследования — а такое исследование показывает, что стандартная типология связей вроде «любовь», «дружба» или даже «обсуждение важных вопросов» может означать совершенно разные вещи в разных контекстах. (Fuhse, 2009: 56)⁵

Можно добавить: и в разных культурах. Вопрос о том, как культурные различия влияют на работу социальных сетей, ставится редко⁶ и в основном в тех случаях, когда ученые из неевропейских регионов начинают критически комментировать утверждения своих европейских коллег — как излишне универалистские и не дающие представления об обществах незападного типа (например: Ikegami, 2005).

Представления Уайта о связи самоконтроля личности и внешнего социального контроля и описание их как, по сути, разновидностей одного и того же процесса показывают, что при всех ссылках на неевропейские случаи (Мексика, Япония и др.) Уайт в качестве нормы по умолчанию полагает европейское дисциплинарное общество. Сложение такого типа общества описывает историк Филип Горски в книге «Дисциплинарная революция: Кальвинизм и восход государства в Европе раннего Нового времени» (Gorsky, 2003). Методологически следуя за работами

4. В рамках своей теории Уайт выделяет пять смыслов «идентичности» (p. 17-18) и всякий раз, анализируя проблематику идентичности, оговаривает, в каком смысле по своей классификации он употребляет это слово.

5. Фузе ссылается, в частности, на работы: Fisher, 1982; Yeung, 2005.

6. Те, кто сегодня изучает сетевые отношения в меняющихся обществах с резко выраженной культурной спецификой, чаще всего фокусируются больше на новейшей политической истории этих обществ, чем на их культурных особенностях: Rechitski, 2014; Castells, 2015.

Мишеля Фуко и основываясь на анализе исторических источников, Горски полагает: успех европейских государств в дисциплинировании собственного населения в XVII–XVIII веках был основан на союзе государства — в том числе и конкретных монархов — и религиозных организаций, которые вместе распространяли и поддерживали среди населения/паствы нормы религиозно обоснованного самоконтроля. Такой процесс происходил, например, в Пруссии. Однако превращение самоконтроля в норму могло идти и снизу вверх, с уровня церковных общин, и затем подхватываться государством, как это было в Нидерландах. Более нюансированно историю контроля в европейских обществах описывает Паоло Проди (Проди, 2017): он показывает, как в истории Западной Европы происходила функциональная дистрибуция внешнего контроля (государство, закон, церковь) и внутреннего контроля (совесть), которые находятся в сложных отношениях между собой — иногда взаимодополнительных, иногда остроконфликтных.

Историк культуры Виктор Живов предположил, что в случае России такая логически последовательная дистрибуция не сформировалась:

Религиозное дисциплинирование, начатое в середине XVII века одновременно церковными и светскими властями, становится государственной политикой при Петре Великом⁷. Однако же из дисциплинарной революции ничего не получается. Население предпочитает коррупцию религиозной дисциплине, которая не интериоризируется, а воспринимается как государственное принуждение. Вместо консолидации общества результатом революции оказывается размежевание отдельных классов; вместо эффективности управления — различные формы «двойной бухгалтерии» и т. д. (Живов, 2008: 351)

Живов считал, что причиной неудачи петровской дисциплинарной революции в России стали исторические особенности русского православия⁸ и возникшее в результате действий самого Петра подчинение церкви государству. Историк даже полагал, что попытка дисциплинарной революции в XVIII веке привела в итоге к большевистскому перевороту, потому что после подчинения церкви имперская власть осталась без союзников в общественной жизни.

Катастрофа 1917 года лишь укрепила механизм русского исторического развития: власти предрасположены не хотят сотрудничать ни с какими другими автономными социальными силами и не обладают необходимыми для этого институтами. Отсутствие социальной дисциплины делает принуждение и насилие излюбленными средствами контроля, и власть, пользуясь этими средствами, толкает управляемое население ко все большему отчуждению и потере навыков социального саморегулирования. (Живов, 2008: 352)

7. Подробнее историю этого вопроса см.: Живов, 2004: 66–68.

8. Обсуждение этой гипотезы, лишь эскизно намеченной в статье Живова, не входит в задачу этой статьи.

Аргументированная проверка утверждений Живова, если брать всю историю России с XVIII до XX века, конечно, потребовала бы отдельной монографии, а не статьи, так как историк предлагает очень масштабные обобщения. Тем не менее описанная им — на основе довольно обширного фактического материала — логика организации социальных сетей в послепетровском обществе явственно перекликается с моделями политологов и социологов, которые пишут о конфликте сетей и институтов в современной России (Ledeneva, 1998; Ledeneva, 2006; Ledeneva, 2013). И Живов, и Алена Леденева показывают, как разные общественные группы строят с помощью сетей «обходные пути», чтобы бороться с государственными институтами или приспособить их под собственные нужды; на протяжении XVIII–XXI веков инструментами такого приспособления являются коррупция и личная протекция.

Живов в своей статье пишет только об особой тенденции, которая отличала Россию от западноевропейских государств. Однако со строительством «обходных путей» в истории России сосуществовало и «нормальное» развитие институтов современного государства — например, судебных. На протяжении XVIII — начала XX века жители России вполне успешно осваивали взаимодействие с юридическими инстанциями (Уортман, 2004; Burbank, 2004). Необходимо понять, как тенденции к строительству «обходных путей» вокруг государственного контроля сосуществовали — и сосуществуют сегодня в России — с развитием элементов дисциплинарного общества в западноевропейском духе.

Особенность развития российского общества состояла не в том, что в нем воспроизводилось систематическое — пусть и не повсеместное — отчуждение индивидов от государственных институтов; вплоть до возникновения welfare state такое отчуждение было тяжелой социальной проблемой и в других странах Западной Европы и Северной Америки — и не только в XIX, но и в XX веке. Но именно в России, если такое отчуждение возникало, связи и знакомства в его преодолении значили особенно много — притом что институциональный дизайн страны был во многом близок к европейскому. Это было связано с процессом, который проанализирован в работах Живова — государство фактически присвоило себе роль церкви в формировании новых режимов личного самоконтроля. В XX веке большевики — если следовать этой логике — попытались произвести окончательное «огосударствление совести» (Хархордин, 2016), но они же сделали сетевые связи еще более важным элементом общества, поскольку установили систему государственного распределения; окончательно оно было введено вместе с концом НЭПа⁹. Эта система распределения привела к постоянному дефициту ресурсов и конкуренции за них. Распределение ресурсов оказалось возможным в первую очередь благодаря «теневым» сетевым структурам, и это обстоятельство оказало

9. Впрочем, видимо, соответствующие тенденции были заложены еще до 1917 года, во время Первой мировой войны, когда в ответ на резкий рост государственного регулирования экономики последовал расцвет черного рынка (Погребинская, 2016).

косвенное или прямое влияние на все взаимодействие сетей и институтов в СССР в целом.

Слово «блат» до 1917 года было связано с первой очередь с жаргоном криминального мира, в конце же 1920-х оно распространяется в русском языке как жаргонное обозначение протекции, позволяющей доставать дефицитные товары и услуги.

Среди пассажиров по томному блеску глаз и по умению держать проводников в страхе он узнавал тех, кто тоже [как и он] устраивался по блату.

Если эти люди ехали с женами, то чудилось, что даже женились они по протекции, по чьей-то записочке, вне всякой очереди, — такие у них были подруги, отборные, экспортные, лучше, чем у других.

И когда они переговариваются между собой, кажется, что они беспрерывно твердят некое загадочное спряжение:

я — тебе,
ты — мне,
он, она, оно — мне, тебе, ему,
мы — вам,
вы — нам,
они, оне — нам, вам, им.

...

Товарищи, еще одна важная новость! Но помните — это секрет! Никому ни слова!

Тише!

У нас есть писатели по блату! (Немного, но есть.)

Композиторы по блату! (Бывают.)

...

Это тонкая штука. И это очень сложная штука. В искусстве все очень сложно. И это большое искусство — проскочить в литературу или музыку без очереди. (Ильф И., Петров Е. Человек с гусем [первоначальное название «Жизнь по блату»], 1933) (Ильф, Петров, 1961)

Советское государство стремилось поставить под контроль любые «горизонтальные» связи. Эта стратегия последовательно проводилась в жизнь начиная с переворота 1917 года:

Диктатура большевистской партии и масштабный террор не отменяли принципиально коалиционного характера советского режима: его жизнеспособность зависела от включения в свою орбиту и «приручения» любых спонтанных проявлений локальной солидарности (кроме напрямую враждебных, которые пытались уничтожить). Поэтому главные усилия большевиков были направлены на недопущение возникновения альтернативных центров социальной интеграции (наподобие старой [дореволюционной] общечеловечности): стратегически большевистский режим основывался на поддержании раздробленности общества, связанного лишь структурой партийной сети. (Герасимов, Могильнер, Глебов, т. 2: 615–616)

А. Г. Левинсон назвал такую деятельность советских политических инстанций «социоцидом» (Левинсон, 2009). Такая блокировка тоже способствовала расцвету сетевых структур — особенно в позднесоветские десятилетия.

В постсоветское время формирование новых общественных связей в ситуации, когда большинство населения привыкло к опасности и бессмысленности любой «организации», привело к моделированию вторичных социальных структур по образцу первичных (семья, дружеский круг и т. п.) и, более того, к убежденности акторов в том, что такое положение является наилучшим: так, один из «олигархов» 1990-х убеждал на совещаниях своих коллег по медиакомпаниям в том, что организация бизнеса по образцу семьи — по его выражению, «итальянская» — гораздо лучше «американской» контрактной модели¹⁰.

В ответ на советские попытки «дисциплинарной революции»¹¹, которые власти пытались провести в ситуации отсутствия общественных партнеров и тотального дефицита, в обществе развились многочисленные, иногда очень сложные практики социального саморегулирования, но большинство имело принципиально антидисциплинарный характер, то есть были направлены «в обход» властных институтов (и государственных, и партийных). Общей чертой советских социальных сетей было то, что они функционировали как структуры неинституционализированной и антидисциплинарной солидарности.

Если не говорить о неформальных отношениях в рамках органов власти, функционирование значительной части сетевых структур советского общества может быть описано как субверсивная «тактика слабых», по Мишелю де Серто (де Серто, 2013). Де Серто описывал «тактики слабых» как формы повседневного творчества «из подручных деталей». По-видимому, советские сети тоже могут быть поняты не только как адаптационные или полукриминальные структуры, но и как пространства импровизированного творчества.

Люди, вовлеченные в те или иные практики, умели исподволь влиять на функционирование существующих институтов или действовать помимо них, но не хотели, а в большинстве случаев и не могли создавать новые институты. «Обходные» социальные сети, разного рода «институциональные шунты» и «вертикальные сговоры» были наиболее заметными последствиями этой антидисциплинарности, влияющей на развитие российского общества вплоть до настоящего времени.

По-видимому, «антидисциплинарные» сетевые структуры существуют в любых странах: коррупция и кумовство — феномены интернациональные. Историк культуры Сергей Козлов сравнивает неформальные отношения в научных и образовательных институциях Второй Империи во Франции и позднего СССР (Козлов, 2009). Но, возможно, в имперской России и определенно — в Советском Союзе такие отношения приобрели смысл универсальной формы альтернативной социальной организации. Этот феномен имеет настолько очевидное значение для ор-

10. Здесь я основываюсь на устном сообщении участника этих совещаний.

11. Таких попыток на протяжении XX века было несколько — об «оттепельном» варианте см., например, работы Брайана Ла Пьера (LaPierre, 2012) и О. Л. Лейбовича (Лейбович, 2016а).

ганизации общества, что отвлекает исследователей от постановки вопроса: какие другие, не антидисциплинарные, сети существовали в России и в СССР? Ответ на этот вопрос потребовал бы, вероятно, целой серии монографий, поэтому я ограничусь коротким перечислением нескольких типов «других» сетей — и только на материале позднесоветского общества.

3

Несмотря на террор сталинского режима против собственного населения, в СССР 1940-х — начала 1950-х все же были возможны различные типы неформальной социальной организации, помимо блата. Примерами такой организации были группы интересов во властных структурах, объединения молодых поэтов, молодежные компании, различные формы коллегиальных взаимодействий (Fürst, 2010; Д. Козлов, 2015)¹².

Однако социальные сети в это время не могли оказывать сколь-либо заметного влияния на общественную жизнь. Их значение резко возросло после смерти Сталина — сразу по нескольким причинам.

Прежде всего государственные и государственно-общественные институты, созданные в 1930-е — начале 1950-х, в это время обнаруживали все большую неэффективность, и социальные сети оказались успешно работающим компенсаторным механизмом в ситуации частичной анонии. Кроме того, интеллигенции и политическим элитам стало ясно, что предстоят большие изменения «правил игры», и для участия в их переопределении стали складываться новые сети отношений — и актуализироваться старые.

Одним из элементов новой социальной реальности стало смягчение репрессивного характера режима. Лидия Чуковская писала в очерке «Памяти Фриды» (1965):

...в пятидесятые годы... внезапный стук в дверь перестал обозначать: за тобою пришли, а значил: к жизни вернулся друг... люди начали между собой общаться... в стране, после прекращения сталинских зверств, начало робко, ощупью складываться общественное мнение... всякое произнесенное вслух открытое слово долетало до жадных слушателей... ненапечатанные рукописи начали распространяться по городу с такой скоростью, словно они в самом деле обладали ногами или колесами... (Чуковская, 2010: 529)

Поэтому сетевые структуры в сфере культуры получили наибольшее развитие в период конца 1950-х — 1980-х годов. Во многих случаях они были столь же антидисциплинарными, как и сети теневой экономики. Возникновение одной из таких сетевых структур описала М. Майофис на материале советской детской литературы 1954–1957 годов (Майофис, Кукулин, 2017). Она показала, как в это время

12. О социальных сетях в теневой экономике советского периода см., например: Митрохин, 2006.

формируется сложная сеть связей между отдельными авторами и несколькими группами писателей разных поколений; ее элементами были не только живые, но и умершие и репрессированные писатели (как, например, соавтор «Республики ШКИД» Григорий Белых или писатель Борис Житков), память о которых хранили и транслировали их друзья¹³. Следствием функционирования этих сетей стало распространение новых норм письма и отношения к литературе, первоначальным кодификатором которых была Лидия Чуковская (Майофис, 2017).

Говоря о более позднем периоде — 1960–1970-х годах, можно выделить такие феномены, как советские субкультуры, основанные на сетевых отношениях людей из разных городов (прежде всего хиппи: Fürst, 2014; Fürst, 2016; Fürst, 2018), и международные сети, включавшие в себя советских музыкантов и неофициальных художников (Doucette, 2016; Mikkonen, 2016), которые стали предметом изучения только в последние годы. Однако у нас есть косвенные данные для того, чтобы предположить существование еще целого ряда подобных структур. Их выявление и исследование может быть осуществлено только по результатам сбора материала, прежде всего — архивных документов и биографических интервью. Сделать это необходимо сегодня, пока большинство свидетелей живы и в здравой памяти.

Процесс урбанизации в СССР изучен относительно хорошо и до сих пор остается в сфере внимания исследователей (Меерович, 2008; Меерович, Конышева, Хмельницкий, 2011; Samuelson, 2011; DeNaan, 2013 и др.). Однако до настоящего времени почти не изучено, как общались между собой выходцы из одного и того же села/местечка/«национальной окраины» после переселения в большие города, если они не селились отдельным анклавом. На основании мемуарных нарративов можно предположить, что такие связи могли действовать на протяжении многих лет. Сегодня в России распространены официальные землячества (известны, например, костромское и пермское землячества в Москве), но это зарегистрированные структуры, в руководство которых в качестве «свадебных генералов» или лоббистов входят богатые бизнесмены, высокопоставленные менеджеры, CEO государственных корпораций и т. п. Сетевые структуры, которые действовали и действуют в России помимо такого рода официальных институтов, остаются в значительной степени «невидимыми».

Из постов в социальных сетях, в которых авторы 40–50 лет вспоминают о своих родителях, мы можем судить о том, что в советских условиях встречалось общение однокурсников после окончания вуза, реже — одноклассников (одноклассники или одношкольники чаще встречались раз в год в условленную дату, так что их общение было более ритуализированным). Сегодня одноклассники и однокурсники постоянно общаются через электронные социальные медиа — напомним о существовании специализированной сети odnoklassniki.ru. Однако, судя по ряду

13. Применительно к роли репрессированных и насильственно забытых в этих сетях можно воспользоваться акторно-сетевой теорией Бруно Латура, позволяющей рассматривать взаимодействие людей с «нечеловеческими» акторами (Латур, 2014), или теорией американского социального психолога Кеннета Х. Крайка о «сетях посмертной репутации» (Craik, 2009: 173–200).

данных, у однокурсников такое общение не всегда ограничивается только Интернетом: «Со своей группой из университета видимся регулярно, праздники отмечаем, танцуем, беседуем, по возможности помогаем друг другу», — пишет одна из посетительниц форума для молодых матерей¹⁴. В Интернете регулярно публикуются заметки о том, как бывшие однокурсники в одной из постсоветских стран собрали деньги на лечение или помощь человеку, попавшему в кризисную ситуацию или даже для организации рискованного бизнес-стартапа¹⁵. Это особенно интересно потому, что в России и других постсоветских странах нет американской традиции жертвовать деньги на *alma mater*. Социальные сети бывших одноклассников и однокурсников в СССР и в современной России пока не стали предметом самостоятельного изучения.

Публикации «дембельских альбомов» и их исследования показывают: обязательным элементом подобных рукодельных книг была страница с домашними адресами солдат, служивших в той же части и призванных в то же время, что и владелец альбома (Погодин, 2011)¹⁶. Однако, как мне известно, никто не изучал, насколько часто бывшие солдаты после увольнения из армии поддерживали переписку друг с другом, насколько регулярно встречались и т. д.¹⁷

Огромную роль при поступлении в советские вузы играли репетиторы. Их услуги были непубличными, хороших репетиторов родители абитуриентов и уже поступивших студентов «передавали» друг другу через знакомых. Родители, репетиторы и абитуриенты образовывали сетевые структуры.

В СССР были ограничены права индивидуальной собственности на жилье. Основной формой отношений граждан с жилплощадью было проживание в государственных или ведомственных квартирах, на которые у них не было права собственности. Однако обмен жилья был крайне популярной операцией. Он осуществлялся через маклеров или через партийных и государственных чиновников, которые тоже могли выступать в роли маклеров — только обычно осуществляли эту функцию на уровне целых ведомств¹⁸. Профессиональные маклеры, занимав-

14. <http://babybym.com/threads/vy-obschaetes-s-byvshimi-odnoklassnikami-odnokursnikami.1598/>

15. <http://www.5-tv.ru/news/101043/>; <https://ok.ru/group/52124370665544/topic/64004204552264>; <https://news.am/rus/news/335230.html> (заметка о том, как одноклассники 19-летнего юноши, тяжело раненного в Нагорном Карабахе, собирали деньги на улицах Еревана); <http://www.nestor.minsk.by/mg/articles/1999/05/0200.html>; <https://www.pressreader.com/estonia/mk-estonia/20170301/281500751031729>

16. См. репродукции страниц с адресами сослуживцев из записной книжки солдата и «дембельского альбома»: <http://soviet-life.livejournal.com/1716842.html>; <https://lenta.ru/photo/2015/02/23/dmb/#12>

17. В книге Сергея Ушакина «Патриотизм отчаяния», в соответствии с задачами книги, обсуждается общение бывших участников чеченских войн, объединенных общей травмой (Oushakine, 2009) — но остается неизученным, в чем оно было похоже и в чем непохоже на взаимодействие тех бывших солдат, кому повезло больше, чем героям Ушакина, и в чьей жизни не было опыта войны, которую ее участники считали бессмысленной.

18. «Скажем, газета „Известия“ получила квартиры для своих сотрудников у московского „мэра“ Промыслова, а в благодарность преподнесла ему снимок, на котором Брежнев дружески хлопает Промыслова по плечу. „Известинский“ фотокор вовремя щелкнул аппаратом: подобные снимки советские чиновники обожали. Они вешали их в кабинетах и приемных, чтобы продемонстрировать каждому посетителю степень своей близости к „влиятельному телу“» (Травин, 2012).

шиеся индивидуальным обменом, неоднократно изображались в советском кино и литературе. Однако сети, складывавшиеся вокруг них, социологически не описаны.

В 2000–2010-е годы советское и постсоветское коллекционирование становится предметом мемуарно-исследовательских книг (Рац, 2005; Малинкин, 2011). В процессе этого коллекционирования складывались сетевые структуры, связывавшие коллекционеров, их наследников, разного рода продавцов антиквариата и так далее (о современной ситуации в этой сфере см., например: Малинкин, 2011: 56–71). Но и об этих связях известно очень мало.

Судя по мемуарной и религиоведческой литературе, в 1970-е годы активно развивались сети поклонников неофициальных религиозных авторитетов (православных «неостарцев», либеральных православных священников, харизматичных имамов, буддийского учителя Бидии Дандарона), активистов национальных движений и т.д. Эти сети становятся предметом изучения только в последние годы (Гумеров, Бустанов, Белич, 2011 и др.).

Социальные сети в СССР приобрели ряд специфических функций, самый простой пример — распространение самиздата, более сложный — взаимная поддержка или взаимное информирование людей, не находившихся друг с другом в отношениях «первичной» (семейной или близко-дружеской) зависимости. Ограничения информации вызывали волны слухов (более правдоподобных, а иногда и более достоверных, чем официальные сводки), которыми советские люди делились с ближними и дальними знакомыми (Werth, 2001; Кринко, 2009; Лейбович, 2016б). Представители различных репрессированных групп (от пятидесятников до крымских татар) в 1970-е годы сотрудничали в деле информирования международной общественности о нарушениях прав человека в СССР.

Все перечисленные феномены составляют общую картину сложной и очень насыщенной социальной динамики, далеко выходящей за пределы представлений о сетях как структурах обмена услугами и дефицитными ресурсами. Вместе с цепочками «блата» и теневой экономики все перечисленные сети составляли единый континуум, общий социальный контекст. Однако из-за особой роли блата и теневой экономики целый ряд сетей в советском и постсоветском обществе остаются «затененными» или «невидимыми». Сегодня требуется дополнительное аналитическое усилие, чтобы описать санкционированные и несанкционированные формы сетевой деятельности в позднем СССР как элементы единого пространства.

Такие системы неформальных связей могли бы существовать и в дисциплинарном обществе, но в советских условиях они приобретали дополнительную смысловую нагрузку, а отношения внутри них гиперсемантизировались, приобретали особое эмоциональное значение.

Эта черта сетей в советском обществе требует скорректировать концепцию ученика Х. Уайта, Марка Грановеттера. В 1973 году он опубликовал статью «Сила слабых связей» (Granovetter, 1973)¹⁹. Грановеттер показал, что:

- 1) наиболее значимыми каналами неформального распространения новой информации (например, о рабочих вакансиях) являются не «сильные» связи — такие как дружеские или родственные, — а «слабые», такие как дальнее знакомство;
- 2) именно «слабые» связи соединяют между собой разные компании и способствуют тому, что до того или иного человека доходит *неожиданная* информация.

Городские сообщества, в которых много дружеских компаний, но мало слабых связей («дальних знакомств») между ними, обычно гораздо хуже способны отстаивать свои интересы в споре с городскими властями, чем сообщества, где таких слабых связей много.

Грановеттер противопоставляет «сильные» и «слабые» связи, как в структуралистской бинарной оппозиции. Но в советских условиях, скорее, существовал сплошной континуум перехода от «сильных» связей к «слабым». Слабые связи, намного более полезные, чем в открытом обществе (так как институционализированных каналов информации и поддержки «от чужих» в СССР почти не было), контекстуально выглядели более «сильными», чем в ситуациях, описанных в статье американского социолога.

Экономист и социолог Винсент Остром противопоставил «моноцентрические» и «полицентрические» системы управления (Ostrom, 1972; ср. также: Ostrom, Tiebout, Warren, 1961). В позднем СССР институты были организованы строго моноцентрически и иерархически и изменить этот порядок не представлялось возможным; попытки Н. С. Хрущева децентрализовать советскую экономику с помощью территориальных «советов народного хозяйства» потерпели крах. Сети делали позднесоветское общество более полицентрическим и тем самым скрадывали разрушительный социальный эффект, наносимый ригидностью советских институтов и их скрытой эрозией. Неформальные отношения в СССР были источником автономной рациональности (вполне по Ю. Хабермасу), иногда цинической, иногда «идеалистической», часто смешивавшей то и другое, но в любом случае не вполне совместимой с официально провозглашаемыми стратегиями, нормами и правилами советских институтов²⁰.

Иначе говоря, позднесоветское общество было «сетевым» — но в другом смысле, чем тот, в котором этот термин ввел Мануэль Кастельс: это общество, в котором сетевые связи оказывались наиболее важными по сравнению с контрактно-институциональной системой отношений, но не из-за развития новых форм коммуникации и проектного мышления, как это происходит сегодня (см. у Бол-

19. В настоящее время на эту статью сделано более 37 000 ссылок.

20. О различии этих уровней организации институтов — стратегий, норм и правил — см.: Crawford, Ostrom, 1995.

тански и Кьяпело о «проектном граде»: Болтански, Кьяпело, 2011), а вследствие систематического отчуждения и дефицита. Такое общество можно назвать «сетевым поневоле».

В 1950–1960-е годы ученые начали описывать советское общество как сеть закрытых от внешнего наблюдения «обществ взаимной защиты» (Fainsod, 1963: 235–237, 388–389, 575). Однако и тогда, и позже исследователи таких частных социальных кластеров не обращались к концепции социальных сетей — в том числе и Алексей Юрчак в своем фундаментальном труде о советском обществе 1970-х — начала 1980-х годов (Yurchak, 2006; Юрчак, 2016). По-видимому, сегодня имеет смысл включить изучение советских и постсоветских сетей в более широкий контекст.

4

Таким образом, «наложение» аппарата теоретического сетевого анализа на исследование социальных сетей в позднесоветской России дает основания сделать два вывода. Во-первых, в позднесоветском обществе — как, по-видимому, и на более ранних этапах его развития — были переплетены продисциплинарные и антидисциплинарные элементы, а социальные сети решали два типа задач: некоторые — только продисциплинарные, некоторые — только антидисциплинарные, некоторые — возможно, и те и другие. Во-вторых, сети в советских условиях отличались повышенной функциональностью. В целом «позднесоветский случай» помогает обогатить современные представления о теории социальных сетей. Я позволю себе предложить теперь эскизную классификацию социальных сетей в позднесоветском обществе, демонстрирующую переплетение и взаимодействие продисциплинарных и антидисциплинарных элементов. Критериев этой классификации три: тип институционализации сетей (и их размер, который во многом определяется особенностями институционализации), их функция и тип связи внутри сети.

Понятие «функция», однако, требует пояснения. В англоязычной литературе недостаточное внимание уделено сетям, создающимся ради специальных функций — кроме разве что религиозных и криминально-террористических сетей (о которых см., например: Canter, Alison, 2000). В СССР сетевые структуры, напротив, активизировались для решения конкретных задач, вне зависимости от того, были они связаны с публичными институтами или нет, поэтому классификация этих задач совершенно необходима.

Сетевые структуры в советском обществе действовали и в «обычном» режиме, и для суррогатной замены институтов, в частности — как замена общественных организаций с гибкой, децентрализованной структурой. Парадокс состоит в том, что в силу советской институциональной логики даже те организации, которые выросли из реальных общественных инициатив, в действительности работали как «фасад» (front-office) для лоббистских групп, что будет показано дальше. Поэтому сетевые структуры лучше справлялись с функциями общественных организа-

ций, чем они сами, и могли поэтому дальше пользоваться поддержкой со стороны властных инстанций. Возможно рассмотреть и «поощряемые» и «непоощряемые» сети с единой точки зрения.

Здесь я ограничиваюсь максимально схематичной функциональной классификацией: 1) задачи, поощряемые властями; 2) задачи, противоречащие намерениям властей, но не их официальным декларациям; 3) и задачи, противоречащие не только интенциям властей, но и действующим законам и публично признаваемым социальным и политическим конвенциям. Степень антидисциплинарности этих сетей была разной: первые могли быть вполне совместимы с дисциплинирующей деятельностью властей, третьи — безусловно, несовместимы, вторые — даже еще более опасны, так как само их функционирование свидетельствовало о разрыве между риторикой властей и их реальной практикой.

Первый тип сетей — это общественные движения, опиравшиеся на «низовые» неформальные структуры, но развивавшиеся при публичной поддержке различных органов партийной и государственной власти, чаще всего — ЦК ВЛКСМ; можно сказать, что в описанных ниже случаях ЦК ВЛКСМ «форматировал» сетевые общественные движения, питавшиеся реальным социальным энтузиазмом.

Примеров таких движений несколько: это движение юных моделлистов-конструкторов, на основе которого в 1966–1967 годах была создана сетевая организация НТТМ (Научно-техническое творчество молодежи), клубы любителей фантастики (КЛФ) или, например, движение «красных следопытов», которые разыскивали сведения о местных героях Великой Отечественной войны или предпринимали усилия, чтобы идентифицировать личность незахороненных жертв войны, чьи останки или оружие можно было найти на полях или в лесах (таких непогребенных останков, равно как и разбросанного по полям оружия, еще в 1960-х оставалось очень много). Отряды «красных следопытов» из разных школ переписывались друг с другом и с ветеранами войны, формируя сложные сетевые структуры. Аналогично, обширную сеть контактов выстраивали и низовые структуры моделлистов-конструкторов и любителей фантастики.

Если подобные сети, как это было в случае «красных следопытов», создавались для школьников и на основе школ, то они решали поставленные руководством СССР и ВЛКСМ идеологические задачи. Сети же, объединявшие более взрослых участников — студентов, молодых профессионалов и т. п., — несмотря ни на какие усилия их идеологических кураторов, развивались как структуры, поощрявшие прежде всего досуговую деятельность и имевшие отчасти эскапистский смысл. Поэтому они парадоксально совмещали дисциплинарную и антидисциплинарную функции.

Говоря о движении моделлистов-конструкторов, я буду опираться на обширное и пока не опубликованное автобиографическое интервью, которое основатель этого движения, инженер, популяризатор науки и комсомольский функционер Юрий

Столяров дал в 2012 году антропологу Зинаиде Васильевой²¹. Движение он организовал по прямому указанию ЦК ВЛКСМ, где в конце 1950-х годов был создан новый сектор — научного и технического творчества детей и молодежи; в 1959 году Столяров был приглашен туда на работу, в 1961 году под его редакцией начал выходить альманах «Юный моделист-конструктор» (статус альманаха на первых порах Столяров определил как «полулегальный», так как он не был утвержден всеми необходимыми в таком случае партийными инстанциями), впоследствии преобразованный в ежемесячный журнал «Моделист-конструктор». Сам Столяров живо интересовался не только комсомольской и редакторской работой, но и психологией творчества, опубликовал по этому вопросу ряд популярных книг и переписывался с Людвигом фон Берталанди (1901–1972) — австрийско-американским биологом, основоположником общей теории систем. В 1966 году Столяров посетил ГДР и ознакомился там с деятельностью созданного под эгидой восточногерманского комсомола (Freie Deutsche Jugend, «Свободная немецкая молодежь») движения молодых инженеров-новаторов, ежегодно участвовавших в «Ярмарках мастеров будущего» (Messe der Meister von Morgen); в ФРГ существовало аналогичное движение «Jugend forscht» («Молодежь изучает», сокращенно Jufo), созданное в 1965 году. Увиденное настолько впечатлило Столярова, что он по согласованию с ЦК ВЛКСМ преобразовал движение моделистов-конструкторов в движение научно-технического творчества молодежи (НТТМ), ежегодно проводившее Всесоюзные выставки НТТМ; авторам лучших идей и разработок вручался значок победителя от имени ЦК комсомола.

В 1986 году все тот же ЦК (уже без участия Столярова) принял решение об организации на базе движения хозрасчетных центров НТТМ, которые стали фактически первыми легальными бизнес-структурами на территории Советского Союза. И тут началась уже другая история: центры НТТМ стали «точками пересборки», где комсомольские функционеры в массовом порядке превращались в начинающих бизнесменов. При всех превращениях, на протяжении всей истории с 1959 до 1986 года это движение опиралось на сети людей, посвящающих свой досуг моделированию и техническому конструированию, и развивалось под прямым руководством комсомола. Однако даже руководитель движения Ю. Столяров, будучи человеком абсолютно лояльным, чувствовал себя не вполне «совпадающим» с официальной идеологией и часть своих статей был вынужден публиковать за границей — хотя и не в эмигрантском тамиздате, а в изданиях ЮНЕСКО, с санкции Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП).

В отличие от НТТМ, движение Клубов любителей фантастики (КЛФ) сложилось, видимо, стихийно и было замечено руководителями комсомола уже после того, как стало интенсивно развиваться. Возникло оно в 1957–1958 годах из фанатов нашумевшей повести Георгия Мартынова «Каллисто» (1957) и ее продолжения

21. Благодарю З. Васильеву за возможность использовать это интервью.

«Каллистяне» (1960)²². Дилогия повествовала о встрече землян с обитателями далекой планеты Каллисто — похожими на людей, но темнокожими и создавшими технически высокоразвитую цивилизацию, оставившую земную далеко позади. «При детских библиотеках десятками формировались общества поклонников дилогии, которые писали продолжения книги и рассказы из мира [вымышленной планеты] Каллисто... создавали музеи Каллисто, составляли энциклопедию Каллисто и т. д. и т. п.»²³. Этому буму никак не мешали (а возможно, даже способствовали) диковинные сочетания штампов научной фантастики и соцреализма, встречавшиеся в романе Мартынова: например, космический корабль инопланетян, приземлившись в Курской области, земляне встречают с торжественными речами, оркестром и почетным караулом, как высокопоставленную иностранную делегацию²⁴. Однако в конце 1950-х — начале 1960-х в СССР начинают выходить многочисленные переводы западной фантастики и приобретают популярность советские авторы, не уступающие по качеству текстов своим европейским и американским коллегам — как, например, братья Стругацкие, — поэтому участники нового движения нашли себе новые, более подходящие предметы интереса²⁵.

Движение КЛФ интенсивно развивалось на протяжении 1960–1980-х годов, но продолжало сохранять полуофициальный статус²⁶. В 1981 году автор журнала «Техника — молодежи» все еще сетовал: «[Клубы] до сих пор не имеют централизованного руководства, единых целей и задач, материальной базы, а подчас даже помещения, где можно было бы собраться для очередного заседания или какого-нибудь другого мероприятия» (Осипов, 1981: 10). В той же установочной статье автор высказывал пожелания к дальнейшей деятельности клубов, по-видимому, транслируя претензии комсомольских кураторов этого движения: «...самая важная потенциальная функция подобных клубов — это активная пропаганда того будущего, за которое мы боремся и которое мы строим. Члены КЛФ могли бы гораздо активнее заниматься чтением лекций на предприятиях и в учебных заведениях, проводить тематические обзоры, специализированные дискуссии, вечера» (Там же: 11).

Таких результатов, судя по сохранившимся мемуарам, комсомольские руководители от КЛФ не добились. Участники КЛФ исправно воспроизводили в своих

22. В США субкультура любителей фантастики сложилась еще в 1930-е годы, и их первый съезд состоялся в Нью-Йорке 2–4 июля 1939 г. В нем принимало участие около 200 человек.

23. Из статьи о Г. Мартынове: Коротков, 2006.

24. См. иронический отзыв о романе Мартынова: Синявский, 1960. Подробнее о значении научной фантастики для советского общества середины 1950-х см.: Кукулин, 2017.

25. Впрочем, германский историк советской культуры Маттиас Шварц в беседе со мной предположил, что движение поклонников Мартынова с самого начала направляли школьные учителя, которые стремились дать подросткам соцреалистический образец фантастики — в противовес именно публикациям западной фантастики и братьев Стругацких.

26. Огромный архив статей из местной прессы о развитии этого движения выложен в Интернете: <http://www.fandom.ru/klf/>

публичных выступлениях требовавшуюся от них коммунистическую риторику²⁷, однако вплоть до конца советского периода движение развивалось в сторону не идеологизации, а институционализации фэндом — автономной субкультуры поклонников научной фантастики. В середине 1980-х годов участники КЛФ начали проводить ролевые игры сначала по романам англоязычных «научных фантастов», а затем, с 1989-го, и по фэнтезийным произведениям Дж. Толкиена. Эти игры дали начало влиятельной постсоветской субкультуре (Мамаев, 2000). Путешествия на природу для участия в ролевых играх были совсем не похожи на «чтение лекций на предприятиях и в учебных заведениях».

Вторым типом позднесоветских сетей стали группы, организованные с целью давления на власти. С одной стороны, их деятельность была публичной, с другой — противоречила интенциям центральных или местных властей, хотя не противоречила официальным декларациям — например, о том, что в СССР нет политических преследований и соблюдаются права человека.

Самыми известными сетями такого типа были международные (это очень важно — они всегда выходили за пределы СССР) движения в защиту безвинно арестованных интеллектуалов: Иосифа Бродского в 1964 году, Андрея Синявского и Юлия Даниэля в 1965-м, Константина Азадовского и Светланы Лепилиной в 1980-м. В этих сетях можно выделить ядро и периферию — подобно тому, как это делает Чарльз Кадушин, обсуждая сети с тесной связью в центральных участках (Kadushin, 2012: 50–54, 79, 123–128), — но периферия состояла из фигур, «центральных» для других сетей. В составе защитников должны были быть не только друзья арестованных, но также академические или литературные «звезды», иностранцы, по возможности — люди с высоким официальным статусом²⁸. Именно они и были значимой «периферией», к которым взывали друзья арестованных. В деле Синявского и Даниэля «вмешаться, повлиять, заступиться пытались Илья Эренбург, Корней Чуковский, Константин Паустовский, Арсений Тарковский, Виктор Шкловский, Белла Ахмадулина, Павел Антокольский, Юрий Нагибин, Булат Окуджава» (Каверин, 1989: 3). Эренбург, Шкловский и Чуковский по своему статусу были близки к советской писательской номенклатуре (тем не менее каждый из них имел с точки зрения советского режима различные «прегрешения» и потому безупречным членом номенклатуры считаться не мог). Вокруг арестованного в Ленинграде филолога К. Азадовского и его гражданской жены С. Лепилиной образовалась разветвленная неформальная сеть защитников, действовавших в разных странах; в ней участвовали руководители ПЕН-клубов, слависты, политические журналисты, видные литераторы-эмигранты — Лев Копелев, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов (Дружинин, 2016: 130–164); в СССР друзья Азадовского пытались

27. См., например: «Как бы ни отличались клубы друг от друга, основная цель их была и остается единой — это пропаганда коммунистических идей, воспитание человека будущего, развитие творческих возможностей членов КЛФ на базе научной фантастики» (Чертков, 1983).

28. О составе защищавших Синявского и Даниэля можно судить по письмам, телеграммам и заявлениям в их защиту, помещенным в книге: Великанова, Еремина, 1989.

привлечь к его защите поэта Михаила Дудина, лауреата Государственной премии СССР и депутата Верховного совета РСФСР (Дудин отказался им помогать только после того, как получил прямой запрет из Союза писателей) (Там же: 224). Историк Вольфрам Эггелинг описал типичный сценарий активизации таких разветвленных социальных структур, как «спираль „процесс-протест“» (Эггелинг, 1999: 212–213).

Подобные «сети давления» если и достигали результата, то не сразу — как это было с освобождением Иосифа Бродского из архангельской ссылки (впрочем, важным было в этом случае и давление иностранных писательских кругов: Гордин, 2005). Но параллельно сети решали и еще одну, очень важную задачу: публичное выражение и воспроизводство солидарности с жертвами государственного произвола. В итоге те, кто включался в эти сети, мог обнаружить, что в его или ее историю (пользуясь терминологией Уайта) теперь входит нарратив освобождения и сопротивления отчуждающей дисциплине.

Второй формой «культурно-лоббистских» движений в СССР были возникавшие в 1960–1980-е годы неформальные группы защиты памятников архитектуры, предназначенных под снос или радикальную перестройку²⁹. При всем внешнем сходстве с движениями в защиту арестованных часто они не могут быть названы социальными сетями в строгом смысле слова. В каждом таком движении можно было выделить сплоченную группу энтузиастов — чаще всего в нее входил хотя бы один архитектор — которая решала проблему путем аппаратной борьбы, сопровождавшейся кампанией в прессе; второй вариант сценария — если аппаратная борьба затягивалась или с самого начала обещала быть трудной, участники лоббистской группы сознательно провоцировали алармистские письма от рядовых читателей газеты в партийные комитеты и органы местной власти³⁰. В этом случае формировалось, пользуясь терминологией Г. Ливитта, «колесо», wheel-structure, в котором многочисленные участники были связаны с центром (лоббистская группа и поддерживающий ее печатный орган), но не друг с другом (Leavitt, 1951). В ряде случаев в подобных кампаниях участвовали местные ячейки ВООПИиК — Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры. Однако при оценке роли ВООПИиК следует учесть замечание писателя Олега Волкова, высказанное в конце 1980-х годов, но обобщающее его предыдущий опыт:

Истинное назначение этих организаций — быть ширмами, отгораживающими власть от критики и нареканий — они переадресуются обществу. У них нет реальных полномочий и прав, поэтому они не обладают никаким авторитетом в глазах хозяйственников и градостроителей. Если удастся изредка в Советском Союзе отстоять памятник, добиться сохранения природного

29. См. о них, например: Келли, 2009; Ходий, 2016.

30. Как показывает Келли, в середине 1960-х годов в Ленинграде общественности удалось не допустить перестройки целого ряда зданий на Невском проспекте. Статью, сыгравшую роль триггера для многочисленных писем читателей, опубликовал Дмитрий Лихачев, входивший в лоббистскую группу защитников проспекта: Лихачев, 1965.

урочища, то в подавляющем большинстве случаев это — результат усилий отдельных лиц, использующих личные связи и удачно выступивших в печати. (Волков, 1989: 452)

Характерно, что Волков говорит о том, что ему нужно было «накопить опыт» и «приглядеться»: задачи формальных организаций в СССР на самом деле решались неформальными группами (концепция «вертикального сговора» по С. Козлову), и для того, чтобы отличить «фасад» (front-office) от «изнанки» (back-office, который в действительности и «офисом»-то трудно было назвать), действительно требовалось знание, дающееся опытом непосредственного участия.

Впрочем, советские добровольные организации служили не только «громом-отводами», как о том говорит Волков, но и пространствами организации досуга для социально активных людей. Во второй половине 1960-х годов СССР, так и не перейдя к постиндустриальному типу экономики, приобрел отдельные черты постиндустриального общества. Все большую роль в нем играла сфера досуга, и идеологические инстанции, по-видимому, пытались организовать такие институты, которые бы отвлекали граждан от разного рода антидисциплинарной деятельности.

Сети в защиту несправедливо осужденных нарушали неписанные советские правила, но апеллировали к писаным. Они были антидисциплинарными по сути, но и сами «ловили» советско-большевистские элиты на скрытой антидисциплинарности. Они показывали, что публичная риторика контроля и реальное осуществление контроля в СССР мало соотносились между собой. Функционирование таких сетей может быть интерпретировано как попытка дисциплинировать антидисциплинарные элиты.

Третьим типом сетей в СССР были структуры, направленные на реализацию безусловно осуждаемых государством задач: теневая экономика, самиздат, независимое информирование советской и международной общественности о нарушениях прав человека в СССР (с официальной точки зрения — «антисоветская агитация и пропаганда» и «распространение заведомо ложных измышлений», подпадающие, соответственно, под ст. 70 и 190 УК РСФСР и аналогичные статьи в УК других союзных республик). Эти сети были организационно автономными и саморегулируемыми, однако сети теневой экономики в ряде случаев были сращены с государственными органами: «левая» продукция, произведенная на государственных предприятиях, распространялась по нелегальным каналам, а поддельные предметы западного ширпотреба (например, джинсы), изготовленные в подпольных мастерских «цеховиков», могли быть реализованы в государственных магазинах с использованием черной бухгалтерии. В целом я полагаю, что теневая экономика в СССР была необходимой частью советского хозяйства и связана с ним тысячами социальных капилляров, но неофициальная культура и некоторые неофициальные общественные движения были во многих отношениях действительно независимы от советской публичной сферы.

Кроме того, между этими формами нелегальной самоорганизации было еще одно различие. Теневая экономика реализовала задачу, которую государство обещало, но не могло решить на протяжении десятилетий — «рост благосостояния населения». Тем не менее функционирование теневых структур было противоправным, а участие в них — уголовно-наказуемым³¹. И все же сетевые связи этого типа не имели явного значения политической оппозиционности. Напротив, информирование о нарушениях прав человека соответствовало международным нормам и букве советских законов, но имело политически оппозиционный смысл и официально считалось преступным и «клеветническим» действием.

Сети, образуемые вокруг всех этих институтов, можно в целом назвать нелегальными. Их функционирование имело не просто антидисциплинарный характер — оно способствовало формированию *альтернативных моделей социальности*.

В повседневной практике советских людей сосуществовали нормативные (отчуждающие) и альтернативные модели, нужно было регулярно переключаться из одной в другую, поэтому получившаяся «на выходе» идентичность — в терминологии Уайта — была мозаичной и нестабильной, а описывающий ее нарратив — «история» — мог транслироваться только в неофициальной среде, так как включал в себя «антидисциплинарные» значения.

Для того чтобы объяснить развитие таких моделей социальности, нужно сделать отступление. М. Липовецкий пишет о «мозаичности» советского субъекта, которая видна еще в документах 1930-х годов. Липовецкий анализирует дневники московского метростроевца Степана Подлубного, которые для Й. Хеллбека стали образцом удачного советского дисциплинирования (Hellbeck, 2006: 165–221)³². Полемизируя с ними, Липовецкий замечает:

«Советский человек» — лишь одна из персон Подлубного. Рядом с ней, практически не пересекаясь, существует персона скрывающегося кулака — изгнанного из института, стоящего в тюремных очередях с передачами для арестованной матери. Есть и третья персона — опять-таки развивающаяся параллельным курсом с первыми двумя: секретного агента и информатора ГПУ/НКВД. Налицо и четвертый сюжет субъективности: отношения Подлубного с женщинами — как правило, достаточно жестокие: кажется, что он восполняет свою социальную ущербленность гендерным насилием. Самое поразительное в дневниках Подлубного — именно эти параллельные жизни и легкость, с которой советский субъект артистически, казалось бы, полностью «забывая» о своих других персонах, переходит из одной «роли» в другую, — чем, безусловно, напоминает о трикстерах. (Липовецкий, 2009)

31. Напомню, что по статье 153 УК РСФСР «[ч]астно-предпринимательская деятельность с использованием государственных, кооперативных или иных общественных форм» наказывалась «лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или ссылкой на срок до пяти лет с конфискацией имущества». Аналогичные статьи были в УК других союзных республик.

32. Фрагменты из дневника Подлубного опубликованы по-английски в кн.: Garros, Korenevskaya, Lahusen, 1995: 293–331. Дневник С. Подлубного анализировала также Н. Козлова в своей книге: Козлова, 2005: 187–253.

Именно с этой «мозаичностью» Липовецкий связывает успех среди советских читателей и зрителей фильмов и книг о трикстерах, от Остапа Бендера до Штирлица.

Альтернативная социальность вводила в эту «мозаичность» новое измерение: те из советских людей, кто в 1970-е покупал подпольно произведенные джинсы и брал у знакомых почитать самиздатские книги, знали, что вступают в отношения с антидисциплинарным *институтом* (хотя, разумеется, не использовали таких слов), что в их положении находятся еще очень многие члены их «воображаемого сообщества» — тем самым их «теневой» опыт до некоторой степени легитимизировался. Происходившие в советском обществе «переключения» соответствовали теории Уайта, но с одной оговоркой: разные «сетепространства» в советском обществе могли находиться в конфликтных и даже во взаимоотрицающих отношениях.

По-видимому, уровни доверия в центре и на периферии нелегальных сетей радикально различались. Авторы, готовившие «Хронику текущих событий», доверяли друг другу, но к своим читателям обращались с призывами соблюдать конспирацию:

«Хроника» ни в какой степени не является нелегальным изданием, но условия ее работы стеснены своеобразными понятиями о легальности и свободе информации, выработавшимися за долгие годы в некоторых советских органах. Поэтому «Хроника» не может, как всякий другой журнал, указать на последней странице свой почтовый адрес. Тем не менее каждый, кто заинтересован в том, чтобы советская общественность была информирована о происходящих в стране событиях, легко может передать известную ему информацию в распоряжение «Хроники». Расскажите ее тому, у кого вы взяли «Хронику», а он расскажет тому, у кого он взял «Хронику», и т. д. Только не пытайтесь единолично пройти всю цепочку, чтобы вас не приняли за стукача. (Без автора, 1968)

Самиздат в СССР был исключительно разнообразен и по своим формам, и по задачам³³. Только периодических изданий на разных языках в 1956–1986 годах в советском самиздате выходило более 300 (Комароми, 2016). Сегодня изучением самиздата занимаются несколько рабочих групп — в Государственной публичной исторической библиотеке, в Библиотеке Университета Торонто и др. Однако институционально многие аспекты самиздата до сих пор изучены недостаточно: так, до сих пор не слишком хорошо известно, как взаимодействовали редакции самиздатских журналов и перепечатывавшие их машинистки — кроме тех, кто был связан с политическими изданиями³⁴, какой могла быть рецепция самиздатских

33. См.: Zisserman-Brodsky, 2003; Комароми, 2016.

34. Одно из немногих исключений — статья: Дедюлин, 2013. Большую ценность в этом смысле представляет также интервью, взятое руководителем торонтской группы исследователей самиздата Энн Комароми у Льва Мнухина, в 1970-е годы — руководителя разрешенных семинаров по поэзии М. Цветаевой, при которых выходил самиздатский журнал «Все о Цветаевой»: <http://samizdatcollections.library.utoronto.ca/interviews/ru/lev-mnukhin>. См. также об институциональных

публикаций среди разных групп читателей и многое другое. Сегодня эти лакуны заполняют в рамках своего исследовательского проекта социологи литературы Жозефина фон Зицевиц и Геннадий Кузовкин. Так, Зицевиц была первой, кто стал систематически интервьюировать машинисток, перепечатававших самиздатские тексты; ее опросы о распространении самиздата продолжаются и сегодня.

Сети независимого распространения информации в советском социуме структурно напоминали будущее информационное общество (еще одна параллель с реальностью, описанной в книгах Кастельса). В 2014 году состоялась премьера документального фильма «Невозможное возможно. В поисках прототипа», снятого в Армении на киностудии «Версус» (сценарист и режиссер — Тигран Паскевичян) и посвященного советскому самиздату. На протяжении всего фильма авторы обсуждают самиздат как особую коммуникационную сеть и с помощью анимационной графики демонстрируют сходство структур распространения самиздата и нынешнего Интернета. Сам Мануэль Кастельс свой интерес к современным медиа вообще и Интернету в особенности связывает с юношеским опытом приобретения и распространения запрещенной литературы в условиях франкистской Испании³⁵.

5

Анатолий Вишневский назвал процессы, разворачивавшиеся в СССР в XX веке, «консервативной модернизацией» (Вишневский, 1998). Эта парадоксальная формулировка очень точна: процессы инфраструктурной модернизации и урбанизации совмещались в СССР с насильственным насаждением архаически-общинных практик вроде организации колхозов, с принижением ценности психологической рефлексии (которая часто сближалась в публичной риторике с «бесплодным самокопанием» [Кукулин, 2015]), с ограничениями на психологические исследования и трансляцию их результатов в общество (официальный запрет педологии и психоанализа, неписанный запрет на любые формы психотерапии). Совмещение экономической (пусть и очень милитаризированной) модернизации и социальной архаизации, насаждавшейся как новая норма, привело к многолетнему тлеющему конфликту между государственными и микросоциальными структурами и в итоге стало одной из причин краха советского режима (Вишневский, 1998: 181–184).

Разнообразие социальных сетей в позднем СССР — один из лучших примеров (если не самый лучший), чтобы изучать противоборство и симбиоз этих противо-

аспектах самиздата в энциклопедии «Самиздат Ленинграда»: Долини, Иванов, Останин, Северюхин, 2003. Некоторые важные методологические проблемы обсуждает в своей рецензии на это издание Андрей Крусанов: Дети Ра. 2004. № 2 (<http://magazines.russ.ru/ra/2004/2/l35.html>).

35. Кастельс, 2016. Еще один вариант подобной работы — книга Роберта Дарнтона «Поэзия и полиция: Сеть коммуникаций в Париже XVIII века» (Darnton, 2012), где автор, опять-таки прямо сопоставляя описываемую им ситуацию с функционированием Интернета, описывает распространение в Париже 1750-х годов сатирических песенок, высмеивавших короля, маркизу де Помпадур и высшую знать.

речащих друг другу тенденций. Вполне легальные социальные формы, характерные для развитого индустриального и постиндустриального общества — такие как клубы любителей фантастики, — сосуществовали с запрещенными сетями самиздата, чьи участники тоже часто были вполне модернизированными по своему сознанию, но эта модернизированность формировалась вопреки, а не благодаря советскому социальному менеджменту, и с «сетями выживания», основанными на обмене услугами «в обход» институциональных правил. Сети третьего типа были по сути архаизирующими, так как сводили экономическую или культурную деятельность к механизмам натурального обмена, при которых экспертная оценка и контрактные отношения подменялись «персонализированным торгом» (анахронистически пользуясь выражением Р. Капелюшника), окрашенным личными отношениями.

Необходимость переключаться между сетями, действующими по «модернизационным» и «архаизирующим» принципам, по-видимому, приводила к развитию принципиально «мозаичных» идентичностей. Для того чтобы лучше понять этот процесс, следует более подробно изучить разнообразие и взаимодействие социальных сетей в позднесоветском обществе. В этой статье я позволил себе ограничиться только постановкой задачи.

Литература

- Без автора. (1968). Год прав человека продолжается // Хроника текущих событий. № 5. URL: <http://old.memo.ru/history/diss/chr/chr5.htm> (дата доступа: 19.07.2017).
- Болтански Л., Кьяпелло Э. (2011). Новый дух капитализма / Пер. с франц. под общей редакцией С. Фокина. М.: Новое литературное обозрение.
- Великанова Е. М., Еремина Л. С. (ред.). (1989). Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М.: Книга.
- Вишневский А. (1998). Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ.
- Волков О. (1989). Погружение во тьму. М.: Молодая гвардия.
- Гайдар Е. (1990). Экономические реформы и иерархические структуры. М.: Наука.
- Герасимов И., Могильнер М., Глебов С. (2017). Новая имперская история Северной Евразии: в 2 тт. Казань: Ab Imperio.
- Гордин Я. А. (2005). Память и совесть, или Осторожно — мемуары! // Знамя. № 11. С. 192–207.
- Гумеров И. Г., Бустанов А. К., Белич И. В. (2011). Семья Биктимеровых и традиции Накшбандийа в Западной Сибири // Восточные рукописи: Материалы международной научной конференции. Казань: ИЯЛИ АН РТ. С. 148–154.
- Дедюлин С. В. (2013). «Там был город». «Северная почта»: из воспоминаний о реальном сотрудничестве редакции с поэтами и критиками // Жаккар Ж.-Ф., Фридли В., Херльт Й., Казарновский П. (ред.). «Вторая культура». Неофициаль-

- ная поэзия Ленинграда в 1970–1980-е годы: материалы международной конференции (Женева, 1–3 марта 2012 г.). СПб.: Росток. С. 94–113.
- Долинин В. Э., Иванов Б. И., Останин Б. В., Северюхин Д. Я. (2003). Самиздат Ленинграда. 1950–1980-е. Литературная энциклопедия. М.: Новое литературное обозрение.
- Дружинин П. (2016). Идеология и филология: в 3 тт. Т. 3: Дело Константина Азадовского. Документальное исследование. М.: Новое литературное обозрение.
- Живов В. М. (2009). Дисциплинарная революция и борьба с суевением в России XVIII века: провалы и их последствия // Прохорова И., Майофис М., Дмитриев А., Кукулин И. (ред.). Антропология революции. М.: Новое литературное обозрение. С. 327–360.
- Живов В. М. (2004). Из церковной истории времен Петра Великого. М.: Новое литературное обозрение.
- Ильф И., Петров Е. (1961). Человек с гусем // Ильф И., Петров Е. Собрание сочинений. Т. 3. М.: Гослитиздат.
- Каверин В. (1989). Вместо предисловия // Великанова Е. М., Еремина Л. С. (ред.). Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М.: Книга. С. 3–4.
- Капелюшников Р. И. (2016). «Где начало того конца?..» (к вопросу об окончании переходного периода в России) // Капелюшников Р. И. Экономические очерки: Методология. Институты. Человеческий капитал. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ. С. 343–364.
- Кастельс М. (2016). Власть коммуникации / Пер. с англ. Н. М. Тылевич под ред. А. И. Черных. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ.
- Келли К. (2009). «Исправлять» ли историю? Споры об охране памятников в Ленинграде 1960–1970-х годов // Неприкосновенный запас. № 2. С. 117–139.
- Козлов Д. (2015). Неофициальные группы советских школьников 1940–1960-х годов: типология, идеология, практики // Кукулин И., Майофис М., Сафронов П. (ред.). Острова утопии: педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980-е). М.: Новое литературное обозрение. С. 451–494.
- Козлов С. (2009). Сообщество выскочек: «субъективный фактор» реформы высшего образования во Франции эпохи Второй империи // Новое литературное обозрение. № 100. С. 583–606.
- Козлова Н. (2005). Советские люди: сцены из истории. М.: Европа.
- Комароми А. (2016). Цифровые ресурсы для самиздата. База данных «Советская самиздатская периодика» и электронный архив «Исследовательский проект по истории диссидентства и самиздата» // Acta Samizdatica (Москва). № 3 (подготовлено на основании изучения коллекции самиздата в Библиотеке Университета Торонто). URL: <https://samizdatcollections.library.utoronto.ca/Acta-Samizdatica-Russian> (дата доступа: 19.07.2017).
- Коротков Ю. (2006). Звездоплаватель // Если. № 11. С. 284–288.

- Кринко Е. (2009). Неформальная коммуникация в «закрытом» обществе: слухи военного времени (1941–1945) // Новое литературное обозрение. № 100. С. 494–508.
- Кукулин И. (2015). «Воспитание воли» в советской психологии и детская литература конца 1940-х — начала 1950-х годов // Кукулин И., Майофис М., Сафронов П. (ред.). Острова утопии: педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980-е). М.: Новое литературное обозрение. С. 152–190.
- Кукулин И. (2017). Периодика для ИТР: советские научно-популярные журналы и моделирование интересов позднесоветской научно-технической интеллигенции // Новое литературное обозрение. 2017. № 145. С. 61–85.
- Латур Б. (2014). Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И. Полонской. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ.
- Левинсон А. (2009). Предварительные замечания к рассуждениям о приватном // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 567–582.
- Лейбович О. Л. (2016а). Новые паттерны партийности: конструирование городских практик в послесталинское десятилетие // Новое литературное обозрение. № 137. С. 91–108.
- Лейбович О. Л. (2016б). «Война на западе уже началась...»: разговоры 1939 г. в бараках, тюрьмах и очередях // Шаги/Steps. Т. 2. № 1. С. 14–27.
- Липовецкий М. (2009). Трикстер и «закрытое» общество // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 224–245.
- Лихачев Д. С. (1965). Четвертое измерение // Литературная газета. 10 июня. С. 3.
- Майофис М. (2016). Двухпартийная организация и двухпартийная литература? Политическое воображение советских писателей и становление позднесоветской культурной парадигмы (конец 1956 — начало 1957 г.) // Ab Imperio. № 3. С. 267–309.
- Майофис М. (2017). Общество по борьбе с ханжеством: об одной незамеченной тенденции в литературе 1950-х годов // Новое литературное обозрение. 2017. № 143. С. 91–108.
- Майофис М., Кукулин И. (2016). От составителей [раздела «Институты оттепельного общества»] // Новое литературное обозрение. 2016. № 137. С. 11–15.
- Майофис М., Кукулин И. (2017). Анализ социальных сетей в исторической социологии культуры (на материале советской детской литературы 1954–1957 годов). Препринт SSRN. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2981561 (дата доступа: 19.07.2017).
- Мамаев В. (2000). Ролевое движение в России — истинные правила игры // Игромания. № 4. URL: <http://www.kulichki.com/tolkien/podshivka/ooo400.htm/> (дата доступа: 19.07.2017).
- Меерович М. Г. (2008). Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917–1937 годы). М.: РОССПЭН.
- Меерович М. Г., Коньшева Е. В., Хмельницкий Д. С. (2011). Кладбище соцгородов: градостроительная политика в СССР (1928–1932 гг.) М.: РОССПЭН.

- Митрохин Н. (2006). Евреи, грузины, кулаки и золото Страны Советов: книга В.Д. Иванова «Желтый металл» — неизвестный источник информации о позднесталинском обществе // Новое литературное обозрение. № 80. С. 195–220.
- Никипорец-Такигава Г., Паин Э. (ред.). (2016). Интернет и идеологические движения в России. М.: Новое литературное обозрение.
- Осипов А. (1981). От Калининграда до Хабаровска: о клубах любителей фантастики в СССР // Техника — молодежи. № 11. С. 10–11.
- Платт К. Ф. М., Натанс Б. (2010). Социалистическая по форме, неопределенная по содержанию: позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака «Все было навечно, пока не кончилось» / Пер. с англ. Н. Мовниной // Новое литературное обозрение. № 101. С. 167–184.
- Погодин Н. А. (2011). Институт армии в формировании идентичности молодежи российского общества. Дисс. ... канд. соц. наук. Краснодар: Южный федеральный университет.
- Погребинская В. А. (2016). Формирование принципов мобилизационной экономики в годы Первой мировой войны // Худокормов А. Г., Погребинская В. А. (ред.). Первая мировая война: влияние на экономику России и мира. М.: МГУ. С. 19–31.
- Проди П. (2017). История справедливости: от плюрализма форумов к современному дуализму совести и права / Пер. с ит. И. Кушнарёвой; пер. с лат. А. Апполонова. М.: Изд-во Ин-та Гайдара.
- Серто М. де. (2013). Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / Пер. с франц. Д. Калугина и Н. Мовниной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Синявский А. (1960). Без скидок: о современном научно-фантастическом романе // Вопросы литературы. № 1. С. 45–59.
- Травин Д. (2012). СССР: от мифов к фактам. [Статья] 2. «Народ и партия едины, но ходят в разные магазины...» // Звезда. № 2. С. 156–172.
- Уортман Р. С. (2004). Властители и судии: развитие правового сознания в императорской России / Пер. с англ. М. Л. Долбилова и Ф. Л. Севастьянова. М.: Новое литературное обозрение.
- Урри Дж. (2012). Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия / Пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ.
- Хархордин О. (2016). Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Издательство ЕУСПб.
- Ходий В. (2016). Защита «Горбатого дома»: как в Иркутске более полувека назад зарождалось движение в защиту памятников истории и культуры // Губерния (Иркутск). 2016. 23 августа. URL: <http://www.vsp.ru/social/2016/08/23/564889> (дата доступа: 19.07.2017).
- Чертков А. (1983). Великое кольцо // Кораблестроитель (многотиражка Николаевского Кораблестроительного института). 18 ноября. С. 2.
- Чуковская Л. (2010). Памяти Фриды // Чуковская Л. Из дневника. Воспоминания. М.: Время. С. 609–697.

- Эггелинг В. (1999). Политика и культура при Хрущеве и Брежневе / Пер. с нем. М. Молчанова. М.: Аиро-XXI.
- Юрчак А. (2016). Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение.
- Barnes J. A. (1954). Class and Committees in a Norwegian Island Parish // *Human Relations*. Vol. 7. P. 39–58.
- Borgatti S. P., Lopez-Kidwell V. (2008). Network Theory // *Greenwood R., Oliver Ch., Sahlin K., Suddaby R.* (eds.). *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*. London: SAGE. P. 43–47.
- Bruhn J. C. (2011). *The Sociology of Community Connections*. Dordrecht: Springer.
- Burbank J. (2004). *Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905–1917*. Bloomington: Indiana University Press.
- Canter D., Alison L. (2000). *The Social Psychology of Crime: Groups, Teams and Networks*. Aldershot: Ashgate.
- Castells M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. London: Polity Press.
- Castells M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Cheloukhine S., Haberfeld M. R. (2011). *Russian Organized Corruption Networks and their International Trajectories*. Dordrecht: Springer.
- Craik K. H. (2009). *Reputation: A Network Interpretation*. Oxford: Oxford University Press.
- Crawford S. E. S., Ostrom E. (1995). A Grammar of Institutions // *American Political Science Review*. Vol. 89. № 3. P. 582–600.
- Crooke M., Lawrence B. W. (eds.) (2005). *Muslim Networks: From Hajj to Hip-Hop*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Darnton R. (2012). *Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris*. Cambridge: Harvard University Press.
- DeHaan H. D. (2013). *Stalinist City Planning: Professionals, Performance, and Power*. Toronto: University of Toronto Press.
- Doucette C. (2016). Norton Dodge in Lianozovo: Transnational Collaboration and the Making of the Soviet Unofficial Artist // *Fainberg D., Kalinovsky A.* (eds.). *Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange*. Lanham: Lexington Books. P. 147–162.
- Emirbayer M. (1997). Manifesto for a Relational Sociology // *American Journal of Sociology*. Vol. 103. № 2. P. 281–317.
- Ikegami E. (2005). *Bonds of Civility: Aesthetic Networks and the Political Origins of Japanese Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fainsod M. (1963). *How Russia is Ruled*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fischer C. (1982). What Do We Mean By «Friend»? An Inductive Study // *Social Networks*. Vol. 3. № 4. P. 287–306.
- Fuhse J.A. (2009). The Meaning Structure of Social Networks // *Sociological Theory*. Vol. 27. № 1. P. 51–73.

- Fürst J. (2010). *Stalin's Last Generation: Soviet Post-War Youth and the Emergence of Mature Socialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Fürst J. (2014). Love, Peace and Rock'n'Roll on Gorky Street: The "Emotional Style" of the Soviet Hippie Community // *Contemporary European History*. Vol. 23. № 2. P. 565–587.
- Fürst J. (2016). If You're Going to Moscow, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair (and Bring a Bottle of Port Wine in Your Pocket): The Soviet Hippie «Sistema» and Its Life in, Despite, and with «Stagnation» // *Fainberg D., Kalinovsky A. (eds.). Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange*. Lanham: Lexington Books. P. 123–146.
- Fürst J. (2018). *Flowers Through Concrete: Exploration in the Soviet Hippieland*. Oxford: Oxford University Press. (В печати)
- Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). (1995). *Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930s*. New York: New Press.
- Gorham M., Lunde I., Paulsen M. (eds.). (2014). *Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media*. Abingdon: Routledge.
- Gorsky Ph. (2003). *The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe*. Chicago: University of Chicago Press.
- Granovetter M.S. (1973). The Strength of Weak Ties // *American Journal of Sociology*. Vol. 78. № 6. P. 1360–1380.
- Kadushin Ch. (2012). *Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings*. Oxford: Oxford University Press.
- Kononenko V. (2011). Introduction // *Kononenko V., Moshes A. (eds.). Russia as a Network State: What Works in Russia When State Institutions Do Not?* London: Palgrave Macmillan. P. 1–18.
- LaPierre B. (2012). *Hooligans in Khrushchev's Russia: Defining, Policing, and Producing Deviance during the Thaw*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Leavitt H. J. (1951). Some Effects of Certain Communication Patterns on Group Performance // *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Vol. 46. P. 38–50.
- Ledeneva A. V. (1998). *Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ledeneva A. (2006). *How Russia Really Works: The Informal Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business*. Ithaca: Cornell University Press.
- Ledeneva A. (2013). *Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lipovetsky M. (2011). *Charms of the Cynical Reason: The Trickster's Transformations in Soviet and Post-Soviet Culture*. Boston: Academic Studies Press.
- Mikkonen S. (2016). Changing Dynamics: From International Exchanges to Transnational Musical Networks // *Fainberg D., Kalinovsky A. (eds.). Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange*. Lanham: Lexington Books. P. 163–184.

- Ostrom V., Tiebout C.M., Warren R.* (1961). The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry // *American Political Science Review*. Vol. 55. P. 831–842.
- Ostrom V.* (1972). Polycentricity. Prepared for delivery at the 1972 Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington Hilton Hotel, Washington, D.C., September 5–9. URL: <https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/3763/vostroo4.pdf> (дата доступа: 19.07.2017).
- Oushakine S. A.* (2009). *The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Prandini R.* (2015). Relational Sociology: A Well-Defined Sociological Paradigm or a Challenging “Relational Turn” in Sociology? // *International Review of Sociology*. Vol. 25. № 1. P. 1–14.
- Rechitski R.* (2014). Trust Networks, Human Security, the Determinants of Migration Decisions: The Case of Global Refugees in Ukraine // *Журнал исследований социальной политики*. Т. 12. № 4. P. 599–612.
- Rossman J.* (2005). *Worker Resistance under Stalin: Class and Revolution on the Shop Floor*. Cambridge: Harvard University Press.
- Samuelson L.* (2011). *Tankograd: The Formation of a Soviet Company Town: Cheliabinsk, 1900s–1950s*. New York: Palgrave Macmillan.
- Stegbauer Chr.* (Hrsg.) (2010). *Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie: Ein neues Paradigma in den Sozialwissenschaften*. Dordrecht: Springer, 2010.
- Werth N.* (2001). Defeatist and Apocalyptic Rumors in the 1920s and 1930s in the Former Soviet Union (USSR) // *Vingtième Siècle*. № 3. P. 25–35.
- White H.* (2008). *Identity and Control: How Social Formations Emerge*. Princeton: Princeton University Press.
- Yeung K.-T.* (2005). What Does Love Mean? Exploring Network Culture in Two Network Settings // *Social Forces*. Vol. 84. P. 391–420.
- Yurchak A.* (2006). *Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation*. Princeton: Princeton University Press.
- Zisserman-Brodsky D.* (2003). *Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivation, and the Rise of Ethnic Nationalism*. New York: Palgrave Macmillan.

“Pro-disciplinary” and “Anti-disciplinary” Networks in Late Soviet Society

Ilya Kukulin

PhD, Assistant Professor, Department of the Humanities, School of Cultural Studies, National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: ikukulin@hse.ru

This article is aimed at revealing a kind of methodological narrowness in the descriptions of social networks in Soviet society. In sociological research, the term "social network" usually refers to a complex of close and distant acquaintances that connect people in a certain geographical locality, and/or in a certain social cluster. However, if regarding the studies of Soviet and post-Soviet society, sociologists and political scientists usually use this term referring to the networks of corruption, coat-tails, a shady economy, etc., that "corrode" modern social and political institutes, hindering modernization. These can also refer to the secret networks of samizdat and dissidence in the 1960–70s. All of these networks can be defined as "anti-disciplinary". Apparently, in both the late Soviet and post-Soviet societies, networks of different types existed, and examples of these are described in the article. Nevertheless, all other networks aside from the "anti-disciplinary" ones are studied significantly less, and were never studied systematically. There are at least two types of causes that have entailed this "blind spot". The "hidden" networks in the late Soviet and post-Soviet societies were and are of great political significance and of a specific organization; thus, they are considered as structures unavoidable for the understanding of Russia's social dynamics and power relations. Secondly, Soviet society was based on a very complicated combination of modernizing and "archaizing" trends. This tension can be designated as "conservative modernization", as coined by the demographer Anatoly Vishnevsky. A study of the interrelation between "pro-disciplinary" and "anti-disciplinary" networks demands a reconsideration of some the basic theses of the theory of social networks. Here, I use Harrison White's theory in order to demonstrate the limits of its applicability to late Soviet society.

Keywords: social networks, late Soviet society, blat, shady economy, Harrison White, disciplinary state, conservative modernization

References

- Barnes J. A. (1954) Class and Committees in a Norwegian Island Parish. *Human Relations*, vol. 7, pp. 39–58.
- Boltanski L., Chiapello È. (2011) *Novy dukh kapitalizma* [The New Spirit of Capitalism], Moscow: New Literary Observer.
- Borgatti S. P., Lopez-Kidwell V. (2008) Network Theory. *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism* (eds. R. Greenwood, Ch. Oliver, K. Sahlin, R. Suddaby), London: SAGE, pp. 43–47.
- Bruhn J. C. (2011) *The Sociology of Community Connections*, Dordrecht: Springer.
- Burbank J. (2004) *Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905–1917*, Bloomington: Indiana University Press.
- Canter D., Alison L. (2000) *The Social Psychology of Crime: Groups, Teams and Networks*, Aldershot: Ashgate.
- Castells M. (2010) *The Rise of the Network Society*, Oxford: Wiley-Blackwell.
- Castells M. (2015) *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*, London: Polity Press.
- Castells M. (2016) *Vlast' kommunikatsii* [Communication Power], Moscow: HSE Press.
- Cheloukhine S., Haberfeld M. R. (2011) *Russian Organized Corruption Networks and their International Trajectories*, Dordrecht: Springer.
- Chertkov A. (1983) Velikoe koltso [The Great Ring]. *Korablestroitel*, November 18, pp. 2.
- Chukovskaja L. (2010) Pamjati Fridy [To the Memory of Frida]. *Iz dnevnika. Vospominaniia* [From a Diary. Memoirs], Moscow: Vremia, pp. 609–697.
- Craik K. H. (2009) *Reputation: A Network Interpretation*, Oxford: Oxford University Press.
- Crawford S. E. S., Ostrom E. (1995) A Grammar of Institutions. *American Political Science Review*, vol. 89, no 3, pp. 582–600.
- Crooke M., Lawrence B.W. (eds.) (2005) *Muslim Networks: From Hajj to Hip-Hop*, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Darnton R. (2012) *Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century Paris*, Cambridge: Harvard University Press.
- Dediulin S. V. (2013) "Tam byl gorod". "Severnaja pochta": iz vospominanij o real'nom sotrudnichestve redaktsii s pojetami i kritikami ["There Was the City". "The Northern Post"

- Samizdat Journal: From the Memoirs on the Editorial Board's Real Collaboration with Poets and Critics]. "Vtoraja kul'tura": neoficial'naja poezija Leningrada v 1970–1980-e gody: materialy mezhdunarodnoj konferencii (Geneva, 1–3 marta 2012 g.) ["Second Culture": Leningrad Unofficial Poetry of the 1970–80s] Proceedings of International Conference (Geneva, March 1–3, 2012)] (eds. J.-Ph. Jaccard, V. Friedli, J. Herlth, P. Kazarnovsky), Saint Petersburg: Rostok, pp. 94–113.
- DeHaan H. D. (2013) *Stalinist City Planning: Professionals, Performance, and Power*, Toronto: University of Toronto Press.
- Dolinin V., Ivanov B., Ostanin B., Severukhin D. (2003) *Samizdat Leningrada: 1950-e — 1980-e. Literaturnaja enciklopediia* [Samizdat of Leningrad: 1950–80s: The Literary Encyclopedia] (ed. D. Severukhin), Moscow: New Literary Observer.
- Doucette C. (2016) Norton Dodge in Lianozovo: Transnational Collaboration and the Making of the Soviet Unofficial Artist. *Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange* (eds. D. Fainberg, A. Kalinovsky), Lanham: Lexington Books, pp. 147–162.
- Druzhinin P. (2016) *Ideologija i filologija. T. 3: Delo Konstantina Azadovskogo. Dokumental'noe issledovanie* [Ideology and Philology, Vol. 3: Investigative Vase of Konstantin Azadovsky], Moscow: New Literary Observer.
- Eggeling W. (1999) *Politika i kul'tura pri Hrushheve i Brezhneve* [The Soviet Literary Policy between 1953 and 1970: Between Emancipation and Continuity], Moscow: Airo-XXI.
- Emirbayer M. (1997) Manifesto for a Relational Sociology. *American Journal of Sociology*, vol. 103, no 2, pp. 281–317.
- Fainsod M. (1963) *How Russia is Ruled*, Cambridge: Harvard University Press.
- Fischer C. (1982) What Do We Mean by "Friend"? An Inductive Study. *Social Networks*, vol. 3, no 4, pp. 287–306.
- Fuhse J. A. (2009) The Meaning Structure of Social Networks. *Sociological Theory*, vol. 27, no 1, pp. 51–73.
- Fürst J. (2010) *Stalin's Last Generation: Soviet Post-War Youth and the Emergence of Mature Socialism*, Oxford: Oxford University Press.
- Fürst J. (2014) Love, Peace and Rock'n'Roll on Gorky Street: The "Emotional Style" of the Soviet Hippie Community. *Contemporary European History*, vol. 23, no 2, pp. 565–587.
- Fürst J. (2016) If You're Going to Moscow, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair (and Bring a Bottle of Port Wine in Your Pocket): The Soviet Hippie "Sistema" and Its Life in, Despite, and with "Stagnation". *Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange* (eds. D. Fainberg, A. Kalinovsky), Lanham: Lexington Books, pp. 123–146.
- Fürst J. (2018) *Flowers Through Concrete: Exploration in the Soviet Hippieland*, Oxford: Oxford University Press (forthcoming).
- Gaidar E. (1990) *Ekonomicheskie reformy i ierarhicheskie struktury* [Economic Reforms and Hierarchical Structures], Moscow: Nauka.
- Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.) (1995) *Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930s*, New York: New Press.
- Gerasimov I., Mogilner M., Glebov S. (2017) *Novaia imperskaia istoriia Severnoi Evrazii* [New Imperial History of North Eurasia], Kazan: Ab Imperio.
- Anonymous (1968) God prav cheloveka prodolzhaetsia [The Year of the Human Rights is Going On]. *Khronika tekushchikh sobytii*, no 5. Available at: <http://www.memo.ru/history/diss/chr/> (accessed 19 July 2017).
- Gordin I. (2005) Pamjat' i sovest', ili Ostorozhno — memuary! [Memory and Conscience; or, Careful! Memoirs!]. *Znamia*, no 11, pp. 192–207.
- Gorham M., Lunde I., Paulsen M. (eds.) (2014) *Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication*, Abingdon: Routledge.
- Gorsky Ph. (2003) *The Disciplinary Revolution. Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe*, Chicago: University of Chicago Press.
- Granovetter M. S. (1973) The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, vol. 78, no 6, p. 1360–1380.
- Gumerov I., Bustanov A., Belich I. (2011) Sem'ja Biktimerovyh i tradicii Nakshbandiia v Zapadnoj Sibiri [The Biktimerovs Family and Naqshbandiya Traditions in Western Siberia]. *Vostochnye*

- rukopisi: Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii*. [Oriental Manuscripts: Proceedings of an International Academic Conference], Kazan: IJaLI AN RT, pp. 148–154.
- Ikegami E. (2005) *Bonds of Civility: Aesthetic Networks and the Political Origins of Japanese Culture*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ilf I., Petrov E. (1961) Chelovek s gusem [A Man with a Gander]. *Sobranie sochinenii. Tom 3* [Collected Works, Vol. 3], Moscow: Goslitizdat.
- Kadushin Ch. (2012) *Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings*, Oxford: Oxford University Press.
- Kapeliushnikov R. (2016) "Gde nachalo togo konca?.." (k voprosu ob okonchaniі perehodnogo perioda v Rossii) ["Where is beginning of an end, that..." (Regarding the Termination of Transition Period in Russia)]. *Ekonomicheskie ocherki: Metodologija. Instituty. Chelovecheskii kapital* [Economical Essays: Methodology. Institutes. Human Capital], Moscow: HSE Press, pp. 343–364.
- Kaverin V. (1989) Vmesto predisloviia [Instead of a Foreword]. *Tsena metafory, ili Prestuplenie i nakazanie Sinjavskogo i Danielja* [Price of a Metaphor; or, Crime and Punishment of Sinyavsky and Daniel] (eds. E. Velikanova, L. Eremina), Moscow: Kniga, pp. 3–4.
- Kelly C. (2009) "Ispravljat' li istoriju? Spory ob ohrane pamjatnikov v Leningrade 1960–1970-kh godov [Is There Need to "Repair" History? Discussions on the "Protection of Cultural Heritage" in Leningrad of the 1960–70s]. *Neprikosnovenny zapas*, no 2, p. 117–139.
- Kharkhordin O. (2016) *Oblichat' i licemerit': genealogija rossijskoj lichnosti* [Reveal and Dissimulate: A Genealogy of the Russian Personality], Saint Petersburg: EUSPb Press.
- Khodii V. (2016) Zashchita "Gorbatogo doma": kak v Irkutskе bolee poluveka nazad zarozhдалos' dvizhenie v zashchitu pamjatnikov istorii i kul'tury [Protection of the "Hunchbacked House": How Movement for Protection of Cultural Heritage was Emerging in Irkutsk a Half of Century Ago]. *Guberniia (Irkutsk)*, August 23. Available at: <http://www.vsp.ru/social/2016/08/23/564889> (accessed 19 July 2017).
- Komaromi A. (2016) Cifrovye resursy dlja samizdata. Baza dannyh «Sovetskaja samizdat'skaja periodika» i jelektronnyj arhiv «Issledovatel'skij proekt po istorii dissidentstva i samizdata» [Digital Resources for History of Samizdat: Database "Soviet Samizdat Periodicals" and the Electronic Archive "Project for the Study of Dissidence and Samizdat"]. *Acta Samizdatica*, no 3, p. 17–26.
- Kononenko V. (2011) Introduction. *Russia as a Network State: What Works in Russia When State Institutions Do Not?* (eds. V. Kononenko, A. Moshes), London: Palgrave Macmillan, pp. 1–18.
- Korotkov Yu. (2006) Zvezdoplavatel' [Star Wanderer]. *Esli*, no 11, pp. 284–288.
- Kozlov D. (2015) Neoficial'nye gruppy sovetskikh shkol'nikov 1940–1960-h godov: tipologija, ideologija, praktiki [Unofficial Groups among the Soviet Schoolchildren: Typology, Ideology, Practices]. *Ostrova utopii: pedagogicheskoe i social'noe proektirovanie poslevoennoj shkoly (1940–1980-e)* [Islands of Utopia: Pedagogical and Social Design of Post-War School (1940–80s)] (eds. M. Mayofis, P. Safronov, I. Kukulin), Moscow: New Literary Observer, pp. 451–494.
- Kozlov S. (2009) Soobshhestvo vysokochek: "subjektivnyj factor" reformy vysshego obrazovaniia vo Francii jepohi Vtoroi imperii [A Community of Parvenues: The "Subjective Factor" in the Reform of Higher Education During the Second Empire in France]. *New Literary Observer*, no 100, pp. 583–606.
- Kozlova N. (2005) *Sovetskie ljudi: sceny iz istorii* [The Soviet People: Scenes from History], Moscow: Evropa.
- Krinko E. (2009) Neformal'naja kommunikacija v "zakrytom" obshhestve: sluhi voennogo vremeni (1941–1945) [Informal Communications in a "Closed" Society: Wartime Rumours (1941–1945)]. *New Literary Observer*, no 100, pp. 494–508.
- Kukulin I. (2015) "Vospitanie voli" v sovetskoj psikhologii i detskaia literatura kontsa 1940-kh — nachala 1950-kh godov ["Training the Will" in Soviet Psychology and Children's Literature of the Late 1940s—Early 1950s]. *Ostrova utopii: pedagogicheskoe i social'noe proektirovanie poslevoennoj shkoly (1940–1980-e)* [Islands of Utopia: Pedagogical and Social Design of Post-War School (1940–80s)] (eds. M. Mayofis, P. Safronov, I. Kukulin), Moscow: New Literary Observer, pp. 152–189.
- Kukulin I. (2017) Periodika dlja ITR: sovetskie nauchno-populjarnye zhurnaly i modelirovanie interesov pozdnosovetskoj nauchno-tehnicheskoi intelligencii [Periodicals for Engineers:

- Soviet Popular Science Journals and the Shaping of the Late-Soviet Scientific and Technical Intelligentsia's Interests]. *New Literary Observer*, no 145, pp. 61–85.
- LaPierre B. (2012) *Hooligans in Khrushchev's Russia: Defining, Policing, and Producing Deviance during the Thaw*, Madison: University of Wisconsin Press.
- Latour B. (2014) *Peresborka social'nogo: vvedenie v aktorno-setevuju teoriju* [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory], Moscow: HSE Press.
- Leavitt H. J. (1951) Some Effects of Certain Communication Patterns on Group Performance. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, vol. 46, pp. 38–50.
- Ledeneva A. (2006) *How Russia Really Works: The Informal Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business*, Ithaca: Cornell University Press.
- Ledeneva A. V. (1998) *Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ledeneva A. (2013) *Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson A. (2009) Predvaritel'nye zamechanija k rassuzhdenijam o privatnom [Introductory Remarks Towards a Discourse on the Private]. *New Literary Observer*, no 100, pp. 567–582.
- Leybovich O. (2016) Novye patterny partijnosti: konstruirovanie gorodskih praktik v poslestalinskoe desjatiletie [New Party-Belonging Patterns: The Construction of Urban Practices in the Post-Stalin Decade]. *New Literary Observer*, no 137, pp. 91–108.
- Leybovich O. (2016) "Vojna na zapade uzhe nachalas'...": razgovory 1939 g. v barakah, tjur'mah i ocheredjah ["A War in the West has already begun": 1939 Talks in Barracks, Prisons and Queues]. *Shagi/Steps*, vol. 2, no 1, pp. 14–27.
- Likhachev D. S. (1965) Chetvertoe izmerenie [Fourth Dimension]. *Literaturnaya gazeta*, June, no 10, p. 3.
- Lipovetsky M. (2009) Triks i "zakrytoe" obshchestvo [Trickster and the "Closed Society"]. *New Literary Observer*, no 100, p. 224–245.
- Lipovetsky M. (2011) *Charms of the Cynical Reason: The Trickster's Transformations in Soviet and Post-Soviet Culture*, Boston: Academic Studies Press.
- Mamaev V. (2000) Rolevoe dvizhenie v Rossii — istinnye pravila igry [Role-Playing Game Movement in Russia: Real Rules of the Game]. *Igromania*, no 4. Available at: <http://www.kulichki.com/tolkien/podshivka/000400.htm/> (accessed 19 July 2017).
- Mayofis M. (2016) Dvukhpartijnaja organizatsija i dvukhpartijnaja literatura? Politicheskoe voobrazhenie sovetskih pisatelei i stanovlenie pozdnesovetskoj kul'turnoi paradigmy (konec 1956 — nachalo 1957 gg.) [Two-Party Organization and Two-Party Literature? Political Imagery of Soviet Writers and Formation of the Late Soviet Cultural Paradigm (End of 1956 — Beginning of 1957)]. *Ab Imperio*, no 3, pp. 267–309.
- Mayofis M. (2017) Obshchestvo po bor'be s hanzhestvom: ob odnoj nezamechennoj tendencii v literature 1950-h godov [Society for the Struggle Against Boorishness: On an Overlooked Tendency in 1950s Literature]. *New Literary Observer*, no 143, pp. 91–108.
- Mayofis M., Kukulin I. (2016) Ot sostavitelei [razdela "Instituty otpepel'nogo obshchestva"] [From the Guest Editors of the Section "Institutes of the Thaw Society"]. *New Literary Observer*, no 137, pp. 11–15.
- Mayofis M., Kukulin I. (2017) Analiz social'nykh setej v istoricheskoi sociologii kul'tury (na materiale sovetskoj detskoj literatury 1954–1957 godov) [Social Networks Analysis in Historical Sociology of Culture: Case Study of Soviet Children's Literature in 1954–57]. SSRN preprint. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2981561 (accessed 19 July 2017).
- Meerovich M. (2008) *Nakazanie zhilishhem: zhilishhnaja politika v SSSR kak sredstvo upravljenija ljud'mi (1917–1937 gody)* [Punishment with Dwelling: Housing Policy in the USSR as Means of Social Management (1917–1937)], Moscow: ROSSPEN.
- Meerovich M., Konyshcheva E., Khmel'nitsky D. (2011) *Kladbishhe sotsgorodov: gradostroitel'naja politika v SSSR (1928–1932 gg.)* [Cemetery of Socialist Cities: Urban Planning Policy in the USSR (1928–1932)], Moscow: ROSSPEN.

- Mikkonen S. (2016) Changing Dynamics: From International Exchanges to Transnational Musical Networks. *Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange* (eds. D. Fainberg, A. Kalinovskiy), Lanham: Lexington Books, pp. 163–184.
- Mitrokhin N. (2006) Evrei, gruziny, kulaki i zoloto Strany Sovetov: kniga V. D. Ivanova "Zheltyj metal" — neizvestnyj istochnik informacii o pozdnestalinskom obshchestve [The Jews, Georgians, Oppressed Peasants and the Soviet Gold: Valentin Ivanov's Book "Yellow Metal" — an Unknown Source of Information on the Late Stalinist Society]. *New Literary Observer*, no 80, pp. 195–220.
- Nikiporets-Takigawa G., Pain E. (eds.) (2016) *Internet i ideologicheskie dvizheniya v Rossii* [Internet and Ideological Movements in Russia], Moscow: New Literary Observer.
- Osipov A. (1981) Ot Kaliningrada do Habarovska: o klubakh ljubitelej fantastiki v SSSR [From Kaliningrad to Khabarovsk: On the Sci-Fi Fan Clubs in the USSR]. *Tekhnika — molodezhi*, no 11, pp. 10–11.
- Ostrom V. (1972). *Polycentricity*. Prepared for delivery at the 1972 Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington Hilton Hotel, Washington, D.C., September 5–9. Available at: <https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/3763/vostro04.pdf> (accessed 19 July 2017).
- Ostrom V., Tiebout C.M., Warren R. (1961) The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry. *American Political Science Review*, vol. 55, pp. 831–842.
- Oushakine S. A. (2009) *The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Platt K. F. M., Natans B. (2010) Sotsialisticheskaya po forme, neopredelennaya po sodержaniyu: pozdnosovetskaya kul'tura i kniga Alekseja Yurchaka "Vse bylo navechno, poka ne konchilos'" [Socialist in Form, Indeterminate in Content: Late Soviet Culture and Alexei Yurchak's *Everything Was Forever, Until It Was No More*]. *New Literary Observer*, no 101, pp. 167–184.
- Pogodin N.A. (2011) *Institut armii v formirovanii identichnosti molodezhi rossijskogo obshchestva* [The Army as an Institute for Construction of Russia's Youth's Identity] (PhD Dissertation), Krasnodar: South Federal University.
- Pogrebinskaya V. (2016) Formirovanie printsipov mobilizacionnoj jekonomiki v gody Pervoj mirovoj vojny [Emergence of Principles of Mobilization Economy in the Years of the First World War]. *Pervaya mirovaia vojna: vliianie na ekonomiku Rossii i mira* [The First World War: Impact on World and Russia's Economy] (eds. A. Khudokormov, V. Pogrebinskaya), Moscow: MSU, pp. 19–31.
- Prandini R. (2015) Relational Sociology: A Well-Defined Sociological Paradigm or a Challenging "Relational Turn" in Sociology? *International Review of Sociology*, vol. 25, no 1, pp. 1–14.
- Prodi P. (2017). *Istoriia spravedlivosti: ot pljuralizma forumov k sovremennomu dualizmu sovesti i prava* [A Story of Justice: From Pluralism of Forums to Modern Dualism of Conscience and Law], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Rechitski R. (2014) Trust Networks, Human Security, the Determinants of Migration Decisions: The Case of Global Refugees in Ukraine. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 12, no 4, pp. 599–612.
- Samuelson L. (2011) *Tankograd: The Formation of a Soviet Company Town: Cheliabinsk, 1900–1950s*, New York: Palgrave Macmillan.
- Serto M. de (2013) *Izobretenie povsednevnosti. 1. Iskustvo delat'* [The Practice of Everyday Life, Vol. 1: The Art of Doing], Saint Petersburg: EUSPb Press.
- Sinyavsky A. (1960) Bez skidok: o sovremennom nauchno-fantasticheskom romane [Without Discount: On Contemporary Science-Fiction Novel]. *Voprosy literatury*, no 1, pp. 45–59.
- Stegbauer Chr. (ed.) (2010) *Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie: Ein neues Paradigma in den Sozialwissenschaften*, Dordrecht: Springer.
- Travin D. (2012) SSSR: ot mifov k faktam. [Stat'ja] 2. "Narod i partiya ediny, no hodjat v raznye magaziny..." [The USSR: From Myths to Facts. Article 2. "The People and the Party are At One But Visits the Different Stores"]. *Zvezda*, no 2, pp. 156–172.
- Urry J. (2012) *Sociologija za predelami obshchestv: vidy mobil'nosti dlja XXI stoletija* [Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century], Moscow: HSE Press.
- Velikanova E., Eremina L. (eds.) (1989) *Cena metafory, ili Prestuplenie i nakazanie Sinjavskogo i Danijelja* [Price of a Metaphor; or, Crime and Punishment of Sinyavsky and Daniel], Moscow: Kniga.

- Vishnevsky A. (1998) *Serp i rubl': konservativnaja modernizacija v SSSR* [A Snake and a Rouble: Conservative Modernization in the USSR], Moscow: OGI.
- Volkov O. (1989) *Pogruzhenie vo t'mu* [Sinking into Darkness], Moscow: Molodaya gvardiya.
- Werth N. (2001) Defeatist and Apocalyptic Rumors in the 1920s and 1930s in the Former Soviet Union (USSR). *Vingtième Siècle*, no 3, pp. 25–35.
- White H. (2008) *Identity and Control: How Social Formations Emerge*, Princeton: Princeton University Press.
- Wortman R.S. (2004) *Vlastiteli i sudii: razvitie pravovogo soznaniia v imperatorskoj Rossii* [Rulers and Judges: The Development of a Russian Legal Consciousness], Moscow: New Literary Observer.
- Yeung K.-T. (2005) What Does Love Mean? Exploring Network Culture in Two Network Settings. *Social Forces*, vol. 84, pp. 391–420.
- Yurchak A. (2006) *Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation*, Princeton: Princeton University Press.
- Yurchak A. (2016) *Eto bylo navsegda, poka ne konchilos': poslednee sovetskoe pokolenie* [Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation], Moscow: New Literary Observer.
- Zhivov V. (2004) *Iz cerkovnoj istorii vremen Petra Velikogo* [From the Orthodox Church History of Peter the Great's Epoch], Moscow: New Literary Observer.
- Zhivov V. (2009) Disciplinarnaja revoliuciia i bor'ba s sueveriem v Rossii XVIII veka: provaly i ih posledstviia [Disciplinary Revolution and Fight with Superstition in 18th Century Russia]. *Antropologija revoliucii* [Anthropology of Revolution] (eds. I. Prokhorova, M. Mayofis, A. Dmitriev, I. Kukulin), Moscow: New Literary Observer, pp. 327–360.
- Zisserman-Brodsky D. (2003) *Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivation, and the Rise of Ethnic Nationalism*, New York: Palgrave Macmillan.

«Я есть!»: позднесоветское кино через призму реляционной социологии Харрисона Уайта (et vice versa)*

Ирина Каспэ

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник
лаборатории историко-культурных исследований
Школы актуальных гуманитарных исследований
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Адрес: просп. Вернадского, 82, стр. 9, Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: ikaspe@yandex.ru

В статье на материале популярного советского кино 1970–1980-х годов исследуются представления о социальной идентичности и социальном взаимодействии, востребованные в культуре позднего социализма. Этот материал предлагается рассмотреть через призму реляционной социологии Харрисона Уайта; в центре внимания — его концепция идентичности. Связывая идентичность с поиском контроля, Уайт придает ключевое значение процессу переключения (switching) между различными сетевыми сферами — в ходе этого процесса неизбежна интериоризация «социального шума», т. е. противоречивых, несогласованных, не соответствующих друг другу социальных ролей и образов социальной реальности. Используя оптику Уайта, можно заключить, что именно такой процесс крайне затруднен в условиях тоталитарной социальности, когда предпринимается попытка политической монополизации контроля. Официальный нарратив «сталинского времени» предполагает устранение любых «социальных шумов», любых противоречий между различными сферами советской жизни и утверждает антропологию советского человека, абсолютно тождественного себе (и нормативным предписаниям) в самых разных контекстах. Одновременно на донарративных уровнях социальной реальности происходят разрушение горизонтальных связей и рост социальной атомизации, что, со своей стороны, также не способствует работе механизма переключения. Как показывается в статье, в позднесоветском, посттоталитарном кино (возникающем после распада канонов «большого стиля») существенно усложняются способы репрезентации сетевых сфер, однако механизм переключения между ними выглядит сломанным, что выражается в слипании разных контекстов социального взаимодействия (прежде всего — «формальных» и «неформальных»), в непроясненности ролевых и межличностных границ, в специфической тоске по «подлинному я» и регулярном высказывании персонажей из ролевой интеракции в проективные пространства грез, воспоминания etc.

Ключевые слова: социальная идентичность, социальное взаимодействие, социальные сети, реляционная социология, Харрисон Уайт, позднесоветское кино

© Каспэ И. М., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-174-206

* Статья подготовлена в рамках работы над коллективным проектом «Институциональная динамика и социальные сети в позднесоветский период (1965–1991)» (ШАГИ РАНХиГС, 2016). Я признательна Марии Майофис и Илье Кукулину, инициировавшим этот проект и высказавшим много ценных соображений в ходе совместных обсуждений и семинаров. Я благодарна также Татьяне Дашковой за внимательную поддержку и Борису Степанову за беспощадную дружескую критику, побудившую меня уточнить или пересмотреть многие положения первоначального варианта текста. И Святославу Каспэ за подзаголовок.

Идентичность, контроль и утопия

В последние годы в исследованиях, посвященных позднему СССР, всё более заметны попытки описать саму ткань социальности, ее специфику — те связи и отношения, которые и означают возможность общества. Такая реконструкция социальной ткани может быть предпринята, скажем, через антропологию культурных практик (здесь в первую очередь следует вспомнить концепцию Алексея Юрчака, основывающуюся на различии «констативного» и «перформативного» уровней коммуникации [Yurchak, 2006]) или через историю институционального строительства [Майофис, Кукулин, Сафронов, 2015]). Как ни странно, оптика, предложенная в рамках теории социальных сетей и реляционной социологии, до недавнего времени оставалась в сущности не востребовавшейся, — поэтому возможность принять участие в коллективном исследовательском проекте, выводящем в план обсуждения именно такую оптику, показалась мне интересной и вдохновляющей.

Термин «сети» в советском контексте ассоциируется прежде всего с «теневой экономикой», системой блата и непотизма. Как замечает Шейла Фицпатрик, «с самого начала официальная система распределения, основанная на централизованном планировании и бюрократии, приобрела своего неофициального двойника, систему блата, основанную на личных контактах и неформальных договоренностях» (Fitzpatrick, 2000: 167). Очевидно, что к последнему десятилетию социализма «сила слабых связей» (Granovetter, 1973) достигает пика — цепочки опосредованных функциональных («нужных») знакомств стремительно разрастаются, а опора на них принимает массовый, всеобщий (Липовецкий, 2009: 237) и, в сущности, вынужденный, почти безальтернативный характер.

Однако инструментарий реляционной социологии позволяет говорить о сетях и в более широком значении — с ним можно работать на тех уровнях анализа, которые непосредственно связаны с проблематикой идентичности и в целом со смысловым, символическим измерением социального.

Одной из базовых для такого подхода работ, безусловно, является «Идентичность и контроль» (1992) Харрисона Уайта. Здесь предложен ракурс, в котором противопоставление «официальной» власти и «неофициальных» сетей обнаруживает свой схематичный характер — концепция Уайта побуждает увидеть картину более сложным образом. «Сети» для него — не локальное явление, занимающее определенное место в повседневной социальной жизни, но то, что, собственно, социальную жизнь составляет. «Каждый человек живет, переключаясь (*switching*) между сетевыми сферами (*netdoms*)», — подчеркивает Уайт (White, 2008: 11). Метафора «сети» и сопутствующие ей метафоры («сетевая сфера», «переключение», «узел», «связь» и т. д.) вводятся и осознаются Уайтом как способ выстроить новый вариант социологии, новый вариант ответа на зиммелевский вопрос «как возможно общество?» (упоминание Зиммеля не случайно — реляционную социологию генеалогически связывают с зиммелевской оптикой, направленной прежде всего на отношения, взаимодействия, связи между людьми (Мальцева, Романовский,

2011)). Такой набор метафор позволяет Уайту описывать социальное не как систему, не как застывшую структуру, а как непрекращающееся движение («поток») — изменчивое, разнонаправленное, во многом хаотичное, но в то же время удерживающее нас вместе и, более того, придающее нашей жизни смысл.

Позволю себе остановиться на этой концепции чуть подробнее. Уайт дистанцируется от структуралистского подхода, который основывается «на мифе об обществе как о некоей предзаданной сущности» (White, 2008: 15). Но, с другой стороны, он отвергает и теорию рационального выбора, которая, по его мнению, основывается «на мифе о личности как о некоей предзаданной сущности» (Ibid.: 14). Обоим подходам Уайт противопоставляет собственную концепцию идентичности, центральную для его теории. Отрицая наличие каких бы то ни было предзаданных структур, Уайт кладет в основу этой концепции непредсказуемость и случай — они провоцируют потребность контроля и поиск социальной опоры, в ходе которого и возникает идентичность. Идентичность, по Уайту, производится непосредственно в процессе (или, точнее, в процессах) интеракции; это не целенаправленное обретение фиксированного образа «я», а пульсирующее движение — мы приобретаем контроль и утрачиваем его вновь (ср. различие подобных, «процессуальных», «мягких» концепций идентичности и «жестких», в пределе — «эссенциалистских» концепций, предполагающих, что идентичность имеет фундаментальную, глубокую, стабильную природу: Brubaker, Cooper, 2000).

Описывая идентичность как процесс, Уайт, в сущности, разворачивает определенную последовательность его этапов. Идентичность в самом простейшем смысле реализуется как «узел» на пересечении различных социальных связей; на этом, первом этапе идентичность синонимична «позиции» — это что-то вроде определения собственных координат, ориентации в пространстве социального и в то же время — участие в создании такого пространства, поскольку оно, согласно Уайту, возникает из связей и завязываемых узлов (собственно, так и определяется «сетевая сфера»). Идентичность второго, более сложного типа — уже скорее «социальное лицо», роль, которая присваивается нам в ходе того или иного социального взаимодействия (то есть тогда, когда социальная опора найдена). Однако мы не застываем ни в этом взаимодействии, ни в этой роли. Идентичность в третьем смысле, по Уайту, возникает постольку, поскольку мы перемещаемся между различными уровнями социального взаимодействия — между различными «сетевыми сферами» (дома, или на работе, или в тайном обществе мы играем разные роли, замечает Уайт). Следовательно, неизбежны несоответствия: роли, органичные для разных сетевых сфер, могут плохо согласовываться между собой и даже противоречить друг другу. Такого рода несогласованности образуют «социальный шум», который делает идентичность многосоставной и неоднозначной. Когда мы пытаемся интерпретировать эту сложную идентичность, возникает четвертый тип идентичности, еще более сложный. Это уровень нарративизации представлений о себе, уровень «рассказывания историй». Идентичность здесь — «история путешествия через различные сетевые сферы» (Ibid.: 17).

Итак, «сетевые сферы» Уайта неотделимы от механизмов формирования и поддержания идентичности. Истории идентичностей, взаимодействуя между собой, создают общее нормализующее дискурсивное поле контекста, через которое закрепляется сеть, — иными словами, уайтовское понятие сетевой сферы подразумевает, что социальные связи имеют символическое измерение (Мальцева, Романовский, 2011).

При этом Уайт исходит из убеждения (вполне, кстати говоря, структуралистского), что собственно смысл производится через столкновение (различение, сопоставление) контекстов. «Значения возникают через переключения» — так называется один из разделов вводной главы в книге «Идентичность и контроль». Ссылаясь на теорию восприятия, предложенную Джеймсом Гибсоном, Уайт заключает: «...восприятие как процесс происходит только вместе с различием (*contrast*) и только из различия... Следовательно, новый смысл появляется для людей лишь через переключение — из одной сетевой сферы в другую» (White, 2008: 12).

Очевидно, что в таком случае идентичность третьего типа, возникающая в результате переключения между сетевыми сферами, занимает в концепции Уайта центральное место. Уайт подчеркивает, что этот смысл понятия «идентичность» принципиально «не имеет применения» (Ibid.: 11) в литературных утопиях. Не потому, что утопический персонаж не может соединять в себе несколько социальных ролей (теоретически подобная возможность не исключена), а потому, что за рамки утопии выносятся любые признаки социального шума — т. е. все те несогласованности, несообразности, неподконтрольности, которые неизбежно сопровождают процесс переключения. Поэтому утопия ассоциируется с четко закрепленным набором ролей, а не с динамичными, находящимися в постоянном становлении идентичностями (Ibid.; см. также: White, 1992: 115, 212, 313)¹.

Апелляция к утопии выглядит довольно неожиданно, но представляется далеко не случайной: ценностный заряд уайтовского проекта социологии с его сопротивлением взгляду на общество как на застывшую и строго функциональную конструкцию вполне можно назвать оппозиционным по отношению к утопической логике. Характерно, что, подвергая эту логику инверсии, то есть противопоставляя предзаданному порядку предзаданный хаос, Уайт, по сути, остается под

1. Концепция вытеснения неподконтрольного «шума» в контексте разговора об утопии мне особенно близка; работая с понятием утопического, я опираюсь на сходный тезис: «Утопическая универсализация и рационализация представлений о счастье предполагает, что достичь его можно, лишь вынеся за скобки всё, что кажется «непродуманным», «неразумным», «бессмысленным», иными словами — установив тотальный контроль над смысловыми ресурсами, признав правомерным лишь строго функциональное их использование. Путь к утопическому изобилию лежит через семиотический аскетизм, устранение смысловых излишков, упразднение информационных шумов. Если бы такая декларация могла быть в полной мере реализована, результат представлял бы собой замыкание процесса смыслопроизводства, своего рода семиотическое «застывание» (метафора, которая так часто используется для описания утопии) — оказались бы блокированы любые процедуры переноса значений, собственно, создающие саму возможность языка» (Каспэ, 2015).

влиянием понятийного аппарата утопии и делает ядром своих рассуждений потребность в контроле — ключевую для практики утопизирования.

Я отнюдь не планирую выстроить собственное исследование как некий «анализ по Уайту». Мне не близка категоричность, с которой механизмы идентичности оказываются ограничены задачами поиска контроля, хотя сама констатация связи между идентичностью и контролем представляется чрезвычайно значимой. Уайт, безусловно, абсолютизирует роль, которую сетевые интеракции играют в процессе смыслообразования, и, в сущности, редуцирует сам процесс, сводя его к лотреамоновской «случайной встрече швейной машинки и зонтика на операционном столе». Иными словами, для меня предпочтительными являются более «жесткие», психологически ориентированные концепции идентичности.

Вместе с тем я попробую использовать уайтовский теоретический проект в качестве специфической призмы, отдельного оптического прибора, через который можно рассматривать интересующий меня материал, периодически возвращаясь к другим, более привычным режимам исследовательского зрения (разумеется, при условии, что такого рода *переключения* будут отрефлексированы и специальным образом маркированы в тексте). Представляется, что предложенный Уайтом ракурс может оказаться для историка советской культуры небесполезным — прежде всего как альтернатива подходам, основывающимся на оппозициях «официальное»-«неофициальное», «публичное»-«приватное», всегда заведомо условных и далеко не всегда эффективных. Но дело не только в инструментальной пользе. Та противоположная утопии модель описания общества, на которой настаивает Уайт, могла бы стать своего рода контрастной рамкой, выявляющей специфику тоталитарной социальности.

Без сомнения, теория тоталитарных режимов имеет дело с таким общественным устройством, которое с позиции уайтовской теории социальных сетей радикально неисправно: если попробовать через уайтовскую оптику определить характер тоталитарной социальности, мы, вероятнее всего, обнаружим выпадение или вытеснение идентичности третьего типа. В таких обществах попытка политической монополизации механизмов контроля будет преподноситься на более высоких, символических, нарративных уровнях (уровнях трансляции властного дискурса) как унификация сетевых сфер, их взаимопереводимость — устранение различных шумовых помех и создание устойчивых, готовых функциональных ролевых моделей, с которыми остается только отождествиться.

Конечно, именно такую ролевую структуру воспроизводят музыкальные комедии «сталинского большого стиля», располагающие ограниченным репертуаром амплуа и сюжетных формул (Дашкова, 2008: 147–148). По наблюдению Татьяны Дашковой, сюжетная интрига здесь сводится к изменению внешних обстоятельств — личностные изменения и внутренние конфликты почти полностью исключены (Там же).

Яркой иллюстрацией к нашей теме может послужить, например, «Весна» Григория Александрова (1947) — фильм, снятый в период зрелости «большого сти-

ля», на пике утверждения его канонов. Механизм переключения между сетевыми сферами визуализируется через сюжет двойничества: две главные героини, абсолютно одинаковые внешне (обеих играет Любовь Орлова) и подчеркнута разные внутренне (вдумчивая ученая из Института Солнца и солнечно-эмоциональная артистка оперетты) меняются ролями, не меняя поведенческих паттернов, — каждая попадает в незнакомый, совершенно чужой, но уже сложившийся сетевой контекст, при этом в полной мере «оставаясь собой» (то есть сохраняя свое схематичное амплуа). Такая подмена создает почву не только для комичных ситуаций, но и для завязывания новых отношений, развитие которых завершается взаимопониманием и, конечно, влюбленностью. Показательна интерпретация «Весны», которую предлагает (или, вероятнее, воспроизводит) сама Орлова: «Сюжет фильма строится на комедийном конфликте между кинорежиссером, которого играет Н. Черкасов, и ученой женщиной. Режиссер неверно судит о характере и поведении людей науки, а ученая превратно представляет себе людей искусства. Постепенно они помогают друг другу преодолеть эти ошибочные и односторонние суждения» (Орлова, 1946). Иными словами, речь идет о радостном празднике переводимости (из которого, разумеется, исключаются носители девиантного поведения вроде единственного отрицательного персонажа «Весны», захвота Бубенцова (Ростислав Плятт), с его нежеланием честно играть роль советского трудящегося и брачными аферами) — журчат ручьи, спят лучи, а люди науки и люди искусства оказываются не так уж далеки друг от друга. В эпилоге комедии героини-двойники исчезают, чтобы через мгновение слиться в целостном образе актрисы Любви Орловой, плакатной блондинки в строгом и неприметном костюме, рациональной и эмоциональной одновременно — кинематограф «большого стиля» легко и без остатка абсорбирует разные идентичности, выдавая на выходе обобщенную фигуру идеального советского гражданина.

Понятно, что подобные символы отлаженной, идеально функционирующей структуры социальных отношений контрастировали с тем, что происходило «на самом деле» — на донарративных уровнях социальной реальности. Исследования советского общества тоталитарного периода (1930–1950) показывают отмирание горизонтальных связей (они оказывались блокированными и/или опасными) и рост социальной атомизации. Так, в формулировке Ирины Сохань и Дмитрия Гончарова, «сплоченность тоталитарного социума» достигается через доминирование вертикальной солидарности и устранение горизонтальной: «Уничтожаются как досовременные структуры солидарности (локальные связи в рамках семьи, клана, местных и религиозных общин и т. п.), так и современные структуры гражданского общества и институты плюралистической системы политического участия... Уничтожение горизонтальных структур солидарности разворачивается как процесс атомизации общества, которая выступает одновременно и инструментом, и социетальным эффектом системы тотального контроля» (Сохань, Гончаров, 2013: 144).

В терминологии Уайта — процесс формирования социальной идентичности прерывается на двух первых этапах, реальные социальные практики устроены так, что не позволяют достичь идентичности третьего типа; легитимные дискурсы «перепрыгивают» через этот уровень, создавая разрыв между нарративизацией, контекстуализацией, репрезентацией (четвертый тип идентичности) и актуальным репертуаром социальных позиций и ролей.

В годы позднего социализма разрыв между верхними и нижними уровнями идентичности, становясь всё более формализованным и всё более видимым, начинает осознаваться в терминах «двоемыслия», несоответствия «идеологии» и «реальности» etc. Однако подобные противопоставления плохо описывают, безусловно, происходившее в это время усложнение (или восстановление) как самих социальных связей, так и способов их репрезентации, в том числе и кинематографических.

Утопия и мелодрама

В данной статье речь пойдет о популярных фильмах 1970–1980-х годов. Кристин Рот-Ай вписывает советскую кинематографическую индустрию этого времени в общемировой контекст послевоенного медийного бума, «эпохи медиа», и показывает, что в СССР была запущена своего рода программа альтернативной «медийной империи», отчасти заимствующая инструменты и практики голливудского и западноевропейского кино (Roth-Ey, 2011). Одним из симптомов подобного заимствования можно считать наметившуюся дифференциацию: «сложное кино», «кино не для всех» начинает отличаться от фильмов, адресованных самой широкой аудитории (Ibid.: 57–64). Разумеется, такие фильмы *для всех* было бы неточно назвать «массовыми» — этот термин прочно привязан к специфике коммерческой индустрии, что, конечно, не соответствовало институциональному устройству позднесоветского кинематографа (хотя Рот-Ай и указывает на существование «кассового кино», подразумевавшего воспроизводство отдельных бизнес-стратегий [Ibid.: 64]). «Массовая культура» являлась для «медийной империи» СССР одним из основных воображаемых объектов идеологического противостояния; Рот-Ай определяет парадоксальный позднесоветский медийный режим как «антимасскультовую культуру для масс» (Ibid.: 22). Кинематограф, производившийся в подобном режиме, с одной стороны, пытается соответствовать критериям доступности и даже развлекательности, с другой — предполагает более или менее отчетливую дидактическую позицию (как минимум вынужден учитывать всегда возможный со стороны контролирующих инстанций вопрос «чему может научить такое кино?»), наконец, — не чужд элементов «авторского» (режиссерского) самовыражения, хотя и в достаточно жестких конвенциональных границах².

2. Об этом медийном режиме см. также: Faraday, 2000; Балина, 2007.

В этом потоке «кино для всех» меня будут прежде всего интересовать фильмы, ориентированные на производство и воспроизводство образов «современной советской жизни». Это кино, которому было в значительной мере свойственно внимание к «рассказыванию истории», нарративу, к разворачиванию сюжетной интриги, выстраиванию «отношений» между героями (и, соответственно, к актерской игре, штучной «прорисовке роли»), демонстративное балансирование между «комической» и «лирической» модальностями (отдельный вопрос — что под ними подразумевалось) и в немалой степени — то, что Олег Аронсон называет «изобразительной пассивностью» или «визуальной апатией» («удивительная тусклость освещения, выплывшее изображение, дешевые декорации...» (Аронсон, 2003: 192)).

Характерно, что сегодня эти «лирические комедии» и «художественные фильмы» нередко получают (в том числе и в исследовательской литературе) жанровое определение мелодрамы — совершенно невозможное в годы их выхода на экраны, когда мелодрама расценивалась как «низкий жанр», «коммерческий» и «буржуазный» (First, 2008: 21). Джошуа Фёрст прослеживает медленные изменения, которые происходили в этом плане с языком позднесоветской кинокритики: от легитимации самой идеи жанрового кино, от первых робких размышлений о возможности альтернативного, советского варианта мелодрамы до поиска «мелодраматических мотивов» в популярных советских фильмах и, наконец, уже в начале перестройки, статьи о мелодраме в таком официальном издании, как «Кино: Энциклопедический словарь» (Ibid.: 37). В статье, написанной кинокритиком Ириной Шиловой, признается, что «черты и признаки М.<елодрамы> становятся частью полижанровых кинематографич.<еских> моделей», причем примеры, которыми проиллюстрирован этот тезис — «Летят журавли» (1957) и «Служебный роман» (1977), — задают весьма широкий диапазон для его трактовки (Шилова, 1987: 264). Как показывает дальнейшая история рецепции послевоенных советских фильмов (начиная с оттепельных), «признаки мелодрамы» могут быть обнаружены, наверное, в большинстве из них.

Оговорю: для меня здесь имеют значение не вопросы жанровой классификации (я ни в коей мере не выступаю сейчас с киноведческих позиций и не задаюсь целью установить некую «подлинную» жанровую принадлежность интересующих меня фильмов), а те ожидания, которые связываются с мелодраматическим жанром, и сам факт возможности их проецирования на позднесоветское кино. Эти ожидания, конечно, будут различаться в зависимости от культурных и дискурсивных традиций, но так или иначе чаще всего предполагается, что для мелодрамы характерно внимание к определениям социальной нормы, к моральным и эмоциональным контрастам, к «отношениям» и «связям», завязывающимся на пересечении различных контекстов, — что в некотором смысле близко к ключевым сюжетам уайтовской реляционной социологии.

Как отмечают Луиза МакРейнольдс и Джоан Ньюбергер в предисловии к составленному ими сборнику «Имитации жизни: Два века мелодрамы в России», «одно из основных напряжений, спровоцировавших революцию во Франции, про-

извело то, что станет центральным мотивом мелодрамы: конфликт между идентичностями в приватной и публичной сферах» (McReynolds, Neuberger, 2006: 6). В терминах Уайта этот конфликт описывался бы как проблематизация переключения между различными *сетевыми* сферами, различными контекстами, различными социальными порядками. Вообще, если третий (в уайтовской классификации) тип идентичности и может быть как-то репрезентирован на четвертом, нарративном этапе, если опыт переключения и может быть отражен в историях идентичности, то, безусловно, прежде всего — через фигуры внутреннего конфликта, непредставимые, как подчеркивает Уайт, в утопических повествованиях. Характерно, что описывая мелодраму, по сути, как сентиментальный вариант истории идентичности, МакРейнольдс и Ньурбергер противопоставляют ей именно утопизм, подразумевая под ним абстрактные, дистанцированные от персонального опыта дискурсивные практики, заряженные идеей тотального социального контроля (Ibid.: 3).

Таким образом, при помощи условных конструкций утопии и мелодрамы можно разметить крайние точки, или полюса той проблемной области, которая будет рассматриваться ниже. Для меня тут, безусловно, важна возможность увидеть фильм как историю идентичности, «историю путешествия через различные сетевые сферы» (сам Уайт считает подобную аналитическую процедуру вполне легитимной и даже, пожалуй, слишком ее упрощает — см., например, его сопоставление фильма с практикой сплетни [White, 1992: 67]). Цель моего анализа позднесоветского популярного кино — выяснить, какие механизмы идентичности и какие модели социального взаимодействия воспроизводились и проигрывались на символических (или «нарративных», как сказал бы Уайт) уровнях. Мне представляется, что здесь оправданны как минимум три разворота, которые позволили бы привлечь к разговору уайтовскую схему, в то же время помня, что в случае кино мы имеем дело с ее специфическим преломлением в фикциональном пространстве. Речь пойдет, во-первых, о том, как рассказываются собственно «истории идентичности» — как выстраиваются сюжеты обретения (утраты, поиска) социальной позиции, социальной роли, социально приемлемого (или неприемлемого) «образа я». Во-вторых, о том, как воссоздается ткань социальности: как представлены социальные связи и интеракции, как обозначаются переходы между различными социальными контекстами; всё это вовсе не предполагает трактовки тех или иных кинематографических перипетий как буквального «отражения жизни», хотя соцреалистические каноны и настроены именно на такой режим восприятия. В этом смысле меня будет интересовать не степень «правдоподобия» миметического кино, а те когнитивные ресурсы и нормы социального воображения, которые оно выявляет. Кинематограф этого типа в первую очередь репрезентирует не социальный опыт как таковой, а закрепленные в культуре способы нарративизации социальных отношений — дискурсивные паттерны, *истории*; иными словами, это кино в ракурсе уайтовской концепции представляет собой не просто нарратив, но нарратив о нарративах. Наконец, третий разворот связан с тем, что

кинематограф (даже такой нарративно, сюжетно ориентированный, как позднесоветский), разумеется, не только рассказывает истории, но и *визуализирует* символы социального взаимодействия: пространственные метафоры, лежащие в основе теории социальных сетей вообще и уайтовской теории в частности, здесь могут оказаться видимыми (о физическом пространстве и визуализации сетей: White, 1992: 70–71, 323).

Истории идентичностей

К темам идентичности позднесоветское популярное кино, безусловно, очень чувствительно. На смену канонам «большого стиля» приходит принципиально другое понимание реализма: эффект узнаваемости и «типичности» начинает создаваться не за счет воспроизводства определенного набора масок-амплуа, а за счет усложнения конструкции персонажа, за счет фигур «внутреннего конфликта». Что может представлять собой этот конфликт и насколько он связан с задачей примирить различные социальные контексты?

В фильме «Влюблен по собственному желанию» (1982) (в титрах он помечается как «серьезная комедия») история социальной девиации приобретает отчетливый мелодраматический модус — это история утраты, поиска и обретения себя, вписанная в рамку сентиментального сюжета. Главный герой с говорящей фамилией Брагин (Олег Янковский) уходит из большого спорта, столкнувшись с несправедливостью и блатом, устраивается заточником на заводе, разводится, спивается — в этом плачевном состоянии его и обнаруживают зрители, а также девушка с многообещающим именем Вера (Евгения Глушенко), работающая в библиотеке и увлеченная идеями аутотренинга. В такой диспозиции соединены многие формулы позднесоветского кино, где нередки и спившиеся бывшие спортсмены (хоккеист Сергей Гурин из фильма «Москва слезам не верит» [1980] или цирковой артист Валентин из фильма «Одинокая женщина желает познакомиться» [1988]), и романтические героини, воплощающие веру или надежду и соответствующим образом названные. Но в первую очередь здесь отчетливо заявлена проблематика ролевой интериоризации, чрезвычайно значимая для интересующих меня фильмов. Накал экзистенциального отчаяния, пронизывающий эту «серьезную комедию», сопряжен со специфическим расщеплением протагониста: Брагин переживает опыт драматического несовпадения со своими социальными ролями — и с ролью спортсмена, подразумевающей беспримесный достижительный сценарий и жесткую конкуренцию, и с официально поощряемой ролью советского рабочего. Роль воспринимается как набор готовых предписаний, с которыми невозможно идентифицироваться. Лишь влюбившись по собственному желанию и не без помощи психологических техник, герой ощущает способность «бежать по своей дорожке, по своей, только по своей, где нет ни первого, ни второго, ни последнего, потому что я на ней единственный».

«Внутренний конфликт» в данном случае (как и во многих других позднесоветских фильмах — мне уже приходилось писать об этом в связи с фильмами Эльдара Рязанова: Каспэ, 2010) возникает из чувства, что социальная роль представляет собой пустую, ложную оболочку, которой противопоставляется «подлинное я». Уайт настаивает на том, что «подлинное я» — это тоже социальная роль, формирующаяся в сфере самых доверительных связей, в «маленьком мире» интимности, близкой дружбы и романтической любви (White, 2008: 48–50). Бесспорно, в определенном отношении это так, и тогда истории, рассказываемые позднесоветским кино, могут быть описаны через мелодраматический сюжет переключения между сетевыми контекстами «маленького» и «большого» мира. В этом случае, впрочем, нам придется констатировать возрастающую ценность «приватных», «интимных» идентичностей (см. об этом, напр.: McReynolds, Neuberger, 2006; First, 2008), иными словами, мы будем вынуждены прибегнуть к тому языку, к тому противопоставлению публичного и приватного, без которого как раз намечались обойтись.

Мне, однако, представляется более симптоматичным то, что остается за рамками уайтовской модели, что не может быть ею учтено и именно потому, возможно, позволит уловить специфику позднесоветских фильмов: в истории Брагина центральное место занимают метафоры воли (желания) и экзистенциального смысла — мы видим, что воля тут не всегда совпадает с контролем, а смысл не всегда возникает из переключений. Готовые ролевые паттерны позволяют добиться контроля, однако без волевого участия кажутся бессмысленными. Обретение ролевой идентичности настойчиво преподносится как волевой акт и, что в данном случае почти синонимично, акт *веры*. Стоя за станком и одновременно практикуя ауто-тренинг — пытаясь присвоить свою актуальную роль, вменить ей смысл, — герой фильма апеллирует именно к вере как критерию самопроверки: «Так верю или не верю? Не пойму. Чего-то не хватает. Кто ответит? Кто поможет?»; «Кажется, ёкнуло. Потеплело что-то... Неужели начинаю верить?». Отвергая заведомо формализованные, утратившие идеологическую силу дискурсивные модели («М-да, как на партсобрании...»), Брагин ищет такой нарратив, который избавит его от диссоциации и, соответственно, сможет быть признан не ложным.

«Влюблен по собственному желанию» предлагает, на мой взгляд, одну из самых рефлексивных и одну из самых характерных историй идентичности в советском кино 1970–1980-х. Причудливо сочетая модальность самоконструирования (построения собственной личности и собственной судьбы) с модальностью возвращения к себе (к «подлинному я»), эта история помогает указать на две гендерно окрашенные сюжетные линии, чрезвычайно востребованные в других позднесоветских фильмах.

В финале «серьезной комедии» уличные электронные часы, светящиеся за окном брагинской квартиры, застывают на полночных четырех нулях. «Страшно, — комментирует Вера. — Как начало мира. И еще ничего нет, ни времени, ни пространства». Одновременно застывает и кинокамера — до тихого щелчка первой секунды, знаменующего возвращение социального пространства и времени. Об-

нуление, стирание атрибутов социального мира — значимый этап в тех историях идентичности, которые рассказываются в позднесоветском популярном кино. Его герою нередко приходится пережить выпадение из привычных социальных связей и даже из пространства социального взаимодействия в целом, почувствовать себя «никим», чтобы затем обрести волю, смысл и стать, собственно, героем. Он оказывается втянут в любовный сюжет и, что то же самое, в сюжет обретения себя через процедуру стирания ролевых маркеров — например, через потерю удостоверения личности: протагонист «Вокзала для двоих» (1982) в результате нелепого стечения обстоятельств временно лишается паспорта и вынужден оставаться пару дней на «промежуточной станции», зависая между прошлой ролью столичного музыканта и будущей ролью заключенного исправительно-трудовой колонии.

Но в особенно отчетливой форме ситуация стирания социальной идентичности воспроизводится, конечно, в другом фильме Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). Напиваясь до беспамятства в бане, Женя Лукашин буквально очищается от любых социальных ролей и, таким образом, оказывается готов к встрече с судьбой и любовью:

— Куда вы меня несете?

— Навстречу твоему счастью. Погоди! Хорошо, что мы его помыли.

Процесс интимизации, переключения в контекст «маленького мира» здесь носит экстремальный характер — в самом начале истории будущий герой-любовник стаскивает брюки и засыпает на диване будущей героини.

Герой, оказавшийся без брюк, — в сущности, формульный элемент позднесоветских фильмов, специфичный для них способ понимания комического. Врач-педиатр Виктор, сыгранный Андреем Мироновым («Будьте моим мужем», 1981), теряет брюки (а заодно, кстати говоря, и паспорт) на переполненном отдыхающими южном пляже, создавая тем самым повод для ряда комедийных эпизодов и для обращения за помощью к малознакомой героине (Наташа Костикова в исполнении Елены Прокловой): «В этом городе, где меня никто не знает, я только к вам могу прийти без брюк» (Ср.: «У меня в этом городе, кроме вас, никого нет. И денег тоже нет. Ни копейки, как оказалось. А билет без денег не дадут. Вы не могли бы одолжить рублей пятнадцать-шестнадцать?» в «Иронии судьбы» или «Я в этом городе, кроме вас, никого не знаю» в «Вокзале для двоих»).

В фильме «Любовь и голуби» (1981) переход героя из повседневной ситуации в курортную разыгрывается на контрасте между строгостью парадной одежды и пляжной наготой: подчеркнуто тщательно облачаясь в единственный костюм, отец семейства Василий (Александр Михайлов) прощается с женой и детьми, открывает дверь своего дома — и оказывается в одних плавках в море, где тут же знакомится с героиней-разлучницей (Людмила Гурченко). Ближе к финалу фильма тема примирения героя с женой и семьей также оркестрована мотивом отсутствия

брюк, на сей раз комически неуместного — «Куда огородами без штанов! Я тебе говорила: оденься», «Штаны-то надень» etc.³

Наконец, в фильме «Блондинка за углом» (1984) мотив снятых брюк выглядит как пародия или цитата: главный герой Николай Гаврилович (Андрей Миронов) сбегает с собственной свадьбы, демонстративно срывая галстук-бабочку, пиджак и, для гротескного эффекта, брюки — чтобы присоединиться к чьей-то утренней пробежке и пополнить список киноцитат еще и отсылкой к «Осеннему марафону» (1979).

Побег — ключевая метафора, ассоциирующаяся с позднесоветским кино; указание на нее — одно из «общих мест» языка описания позднесоветского периода в целом. Побег здесь — безусловно, продолжение (или логическое завершение) процесса стирания социальной идентичности, выпадения из ролевого взаимодействия; вместо уайтовских *переключений* из одной сетевой сферы в другую персонажи советских фильмов 1970–1980-х годов периодически *выпадают* в проективные, воображаемые пространства мечты, воспоминания, грёзы, сна («Афоня» [1975], «Полеты во сне и наяву» [1982], «Где находится нофелет» [1986] и др.), в идеализированные («вненаходимые», в терминах Алексея Юрчака [Yurchak, 2006: 126–157]) пространства странных увлечений, будь то разведение голубей («Любовь и голуби») или утиная охота («Отпуск в сентябре» [1979] — телефильм, снятый по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота»).

Если герои популярного кино 1970–1980-х обретают самость через стирание ролевой идентичности, то женские персонажи нередко занимаются преобразованием и формированием себя, как бы гримируясь для новой роли. Здесь чрезвычайно востребована сюжетная формула, интерпретировавшаяся советской критикой как современная вариация сюжета о Золушке (наиболее известная история этого типа — конечно, «Служебный роман» [1977]): это история переодеваний и «приодеваний», экспериментов с собственной внешностью и поведенческими привычками, в ходе которых осваивается и присваивается роль романтической героини. Кажется, единственный маскулинный вариант подобного сюжета предложен в комедии «Где находится нофелет» (1986) (Геральд Бежанов снял специфическую реплику своего же фильма «Самая обаятельная и привлекательная» [1985] — на волне его успеха); в основном же идея ролевого преобразования — и самоконструирования вообще — связывается в этом кино исключительно с женским миром, из него в конечном счете исходит, им поддерживается и воспроизводится. В фильме «Влюблен по собственному желанию» именно Вера является безусловной но-

3. Чтобы увидеть, насколько специфическим образом здесь рассказываются истории стирания социальной идентичности, стоит сравнить упомянутые выше фильмы с комедией Франсиса Вебера «Игрушка» (1976), популярной в позднем СССР, — в «Игрушке» тоже присутствует мотив позорного публичного обнажения, но он встраивается в рациональный нарратив социальной критики: «Вы представляете себе, что должен чувствовать человек, когда его в одном белье вталкивают в зал, где полно людей? Нет? Сейчас вы представите»; или там же: «Вы, стало быть, способны остаться совсем голым и в таком виде обойти редакцию?.. Так кто же из нас хуже... кто из нас чудовище: я, приказавший вам скинуть брюки, или вы, готовый оголить свой зад?»

сительницей конструктивистских взглядов и инициатором совместных перемен (хотя в процесс переделки собственной внешности она включается вынужденно, подчиняясь условиям игрового договора с Брагиным).

Однако у бодрой убежденности в том, что «человек — хозяин своей судьбы» (которая может преподноситься как некое системное знание и опираться на «научную базу», на новейшие достижения психологии или социологии), есть оборотная сторона — конечной точкой на пути самоконструирования, если он пройден успешно, оказывается раскрытие «внутренней глубины», где обнаруживается всё та же инстанция «подлинного я». Именно «настоящее лицо» героини ожидает встретить герой («Я думал, вы сегодня утром были настоящая. Но я ошибся...» [«Служебный роман»]); и именно будничность рассказанной истории, ее вписанность в границы привычного, повседневного мира оказывается залогом счастливого финала. История перевоплощения и переодевания здесь оборачивается историей возвращения — к подлинной себе и к подлинному счастью, которое продолжительное время оставалось на расстоянии вытянутой руки, однако не замечалось и игнорировалось.

В сущности, это своего рода инверсия историй из кинофильмов «большого стиля», воспевавших возможности советской мобильности и ценности советской мобилизации, — историй о восхождении героини к блестящей роли советской труженицы. «Золушки» позднесоветского кино движутся в противоположном направлении: от официально предписанной роли, уже формализованной, утратившей идеологический заряд и ассоциирующейся с гендерной безликостью, к консервативности и задушевности «маленького мира» — идея самоконструирования, пропущенная через мелодраматический фильтр, выворачивается наизнанку и поэтому приобретает парадоксальный характер.

Другой, негативный, вариант женского конструирования ролевой идентичности связан с сохраняющим популярность в этом кино комедийным сюжетом подмены: героини регулярно выдают себя «за какого-то другого», примеряют чужую роль («Москва слезам не верит» [1979], «Будьте моим мужем» [1981], «Время желаний» [1984] и др.); обычно в этом сюжете акцентируются модусы лукавства, обмана — подобные ролевые манипуляции не одобряются (что тоже косвенно указывает на актуальность представлений о существовании «подлинного я»), но часто оправдываются как вынужденные, необходимые для достижения *контроля*, как единственная возможность достигать своих целей, оставаясь в пределах легитимных режимов взаимодействия (ср. недоумение героини «Вокзала на двоих», пытающейся угадать профессиональную принадлежность героя: «Что ж за профессия такая, где можно не врать?»).

Линия, ориентированная на конструирование ролевой идентичности, и линия, ориентированная на выпадение из социального взаимодействия, могут и пересекаться, образуя специфический симбиоз практик лукавства и практик побега, которые оказываются не так уж далеки друг от друга. Такую смычку и ее безнадежный характер лучше всего иллюстрирует драма героя «Осеннего марафона» (1979),

Андрея Бузыкина (Олег Басилашвили), — в его случае ложь является специфическим способом избежать включенного социального взаимодействия (тех его уровней, на которых возможна какая бы то ни было персональная заинтересованность в происходящем и, следовательно, способность к разделению ответственности, совершению выборов и принятию решений), при этом, однако, принципиально не разрывая никаких связей. Ложь Бузыкина очевидна всем, к кому она обращена, но позволяет риторически удерживаться в конвенциональных рамках, на поверхности социальной ткани — уклоняться, но не уходить, уходить, но возвращаться, застыть в ситуации марафона, так и не доводя ее до ситуации окончательного побега.

Безусловно, пытаясь сейчас «прочитывать» фильмы 1970–1980-х годов как истории идентичностей, я не могу исключить, что мой режим чтения в числе прочего задан более поздними нарративами о «советском человеке» — тем образом «человека лукавого» (Левада, 2000: 20), уклоняющегося, ускользающего, занятого поиском лазеек в нормативных барьерах, склонного к эскапизму, к практикам «внезаходимости» etc., который моделируется в исследовательской литературе. Но нельзя исключить и обратной перспективы: миметическое кино времен позднего социализма по-своему работает над воспроизводством или даже моделированием нарративов, впоследствии ставших частью исследовательских языков описания советского человека и советского общества. Реляционная социология позволяет увидеть сюжет позднесоветского ускользания и эскапизма в не вполне привычном ракурсе: не только как историю бегства от официального давления, от постепенно утрачивающих всякий смысл идеологических предписаний, но и как историю уклонения от ролевого взаимодействия, историю неполадок и сбоев на уровне выстраивания ролевой идентичности и ролевых отношений.

Апеллируя к уайтовской оптике, можно сфокусировать взгляд на принципиальном разрыве между дискурсами идентичности и дискурсами контроля в этих фильмах. Обретение контроля, возможность управлять ситуацией в «большом» пространстве сетевых сфер с высокой вероятностью будет связываться с модусами лжи и лукавства; обретение идентичности — с инстанцией «подлинного я» и нередко с выпадением из социальных контекстов. Несмотря на конструктивистскую риторику («человек может сделать себя сам»), идентичность тут понимается скорее как возвращение к себе, чем как формирование себя. Такое понимание, в принципе, характерно для мелодраматических сюжетов — позднесоветское кино осваивает опыт несовпадения между актором и его ролью, вытеснявшийся из кинематографа «большого стиля» с его моделью человека, без остатка равного себе в любых социальных ролях. При этом догадка, что с ролью можно и не совпасть, переживается персонажами советских фильмов 1970–1980-х годов как экзистенциальная проблема и провоцирует определенное недоверие к процессу ролевых интеракций: роль либо остается чужеродной, навязанной «формой», которую в конечном счете хочется сбросить, словно не слишком удобные брюки (какие бы

неловкие ситуации за этим ни воспоследовали), либо присваивается с осязательным трудом и срачивается с «подлинным я».

Понятно, что идея свободной смены и тем более совмещения множества разных ролей здесь вряд ли может быть соотнесена с представлениями об идентичности; для репрезентации уайтовской идентичности «третьего типа» в подобных нарративах нет места. Конечно, ни из чего не следует, что такая репрезентация в принципе должна иметь место в сюжетных формулах популярного кино. Однако ниже я постараюсь показать, что в своей имитации повседневной советской жизни и повседневных советских дискурсов фильмы последних десятилетий социализма сообщают именно об определенной социальной поломке — механизме *переключения* между различными сферами, контекстами и ролями то и дело оказывается буксующим или разлаженным.

Модели социального пространства

Говоря о том, что в кинематографе (и не только в кинематографе) позднего социализма оказывается чрезвычайно популярно амплуа трикстера, Марк Липовецкий (Липовецкий, 2009) указывает на ту проблематику, которую Уайт описывает в терминах переключения. Трикстерство персонажей фильмов 1970–1980-х годов фиксирует наличие кардинальных, труднопреодолимых разрывов между различными сетевыми контекстами.

Одной из таких формульных медиативных фигур является «неприспособленный к жизни» герой («Жизни не знает, жизни не знает», — причитает в «Вокзале на двоих» главная героиня, официантка Вера [Людмила Гурченко]). Персонаж этого типа вовсе не обязательно плохо ориентируется в актуальном устройстве сетевых сфер (хотя истории нарушенной социальной ориентации весьма распространены); его основная проблема в том, что он не может (не хочет) настроиться на такой режим интерпретации социальной реальности, который позволил бы увидеть связь между различными контекстами и, как следствие, органично переключаться между ними. Герой, «не знающий жизни», пытается опереться на догматично-нормативные представления (что оценивается другими как «идеализм» или даже как «романтичность») и либо попадает в комичные ситуации, не ожидая внезапного столкновения контекстов, либо начинает выстраивать связи между контекстами по собственным правилам, которые с точки зрения общепринятой логики выглядят непрагматичными, нерациональными, неуместными, абсурдными (от Юрия Деточкина в «Берегись автомобиля» [1966]⁴, до поздних трактовок образа не знающего жизни идеалиста — Николай Гаврилович в «Блондинке за углом», строитель Алеша в «Нужных людях» [1986]).

Другая распространенная фигура — герой-помощник, наделенный способностью (которая чаще всего преподносится как уникальный талант) не только ори-

4. См. размышления о Деточке как о «промежуточном герое», «трикстере» в: Прохоров, 2007: 255.

ентироваться в пространстве несогласованных контекстов, но и прокладывать в нем прагматически оправданные маршруты. Это бескорыстный или корыстный посредник между сетевыми сферами, своего рода «живой переключатель», компенсирующий отсутствие соответствующих социальных механизмов и помогающий обрести контроль или хотя бы его иллюзию.

«Я не спекулянтка, мы посредники между землей и народом!» — говорит работница теневой торговли по прозвищу Дядя Миша (Нонна Мордюкова) в «Вокзале для двоих». «Друзей в доме не бывает... А кто в доме бывает? Только нужные люди...» — сетует главный герой этого фильма, пианист Платон Рябинин (Олег Басилашвили). Ближе к середине 1980-х советское кино, упоминая о «теневом» посредничестве, имеет дело уже не с «отдельными недостатками», требующими обличения и искоренения (как это преподносилось в фильмах 1950–1960-х годов), но с некими регулярными, рутинными практиками, без которых непредставима советская сфера потребления и советская повседневность в целом (так, ни одно преобразование внешности романтической героини не обходится без покупки «фирменных вещей» у фарцовщиков, «с рук» или «из-под прилавка»). Однако функции посредников здесь далеко не исчерпываются областью теневой экономики; медиаторы чрезвычайно востребованы и для восстановления общинных (в тённисовском смысле — «Gemeinschaft»), «сильных» связей, которые представляются разорванными.

К общинным, родовым, традиционным ценностям позднесоветское кино очень внимательно, однако они утверждаются в модальности долженствования, через риторику контраста между должным и реальным, то есть прошлым и настоящим. Сильные связи здесь нуждаются в том, чтобы их сила специальным образом подчеркивалась и отстаивалась. Те позднесоветские фильмы, которые со всей очевидностью манифестируют значимость семьи, делают это через процедуры проблематизации и драматического конфликта («По семейным обстоятельствам» [1977], «Любовь и голуби» и др.). Образ коммунальной квартиры — советский городской вариант общинного соседства, подразумевающий чрезвычайно тесную, почти «родственную» близость случайно оказавшихся рядом людей (именно такой образ отчетливо представлен в фильме «Наши соседи» [1957]), — после начала массового строительства типовых многоквартирных домов воспринимается ностальгически (характерно, что в фильме «Покровские ворота» [1982], снятом по одноименной пьесе Леонида Зорина, события происходят примерно тогда же, когда и действие «Наших соседей», — в 1956 году).

«Речь идет о том, что люди разучились общаться. Сидят у своих телевизоров и даже не знают своих соседей. Ведь из двенадцати человек двое жили в одном доме и даже в одном подъезде, а познакомились только у нас в клубе. Это же урбанизация какая-то!» — восклицает директора клуба (Лия Ахеджакова) из фильма «Москва слезам не верит». Городская атомизация, одиночество в большом городе (в равной мере указывающее на разрушение семейных и общинно-соседских связей) интерпретируется здесь как социальная катастрофа, близкая к эпидемии:

«Одиночество! Люди измучены одиночеством!» («Москва слезам не верит»), «Одиноким не может быть счастливым. Нет ничего хуже одиночества. А ведь это всем известно... Счастливое общество состоит из счастливых личностей» («Одиноким предоставляется общежитие», 1983), «Одиночество опасно для любого существа, а для женщины в особенности!» («Одинокая женщина желает познакомиться»).

Иными словами, это ситуация, неразрешимая без помощи посредников. Институт сватовства, клубы «для тех, кому за тридцать», объявления о поиске «спутника жизни» становятся распространенными атрибутами позднесоветских мелодраматических сюжетов. Без медиатора не могут быть завязаны и соседские отношения — так, в фильме по пьесе Михаила Рождина «Старый Новый год» (1980), своего рода социальной притче, организованной вокруг темы соседства, посредником между новоселами свежестроенного дома становится некто Иван Адамыч (сочетание сказочного имени и библейского отчества предоставляет широкий простор для трактовок — то ли «сын человеческий», то ли «Иван, не помнящий родства»), который перемещается с этажа на этаж в желании «всегда быть с народом», участвует во всех переносах мебели и во всех разговорах, чтобы к концу фильма превратиться из престарелого пьяницы в мудрого Деда Мороза (Евгений Евстигнеев).

Итак, посредники «сводят», «знакомят» и людей, и разьединенные социальные контексты, позволяя ориентироваться там, где ориентация была нарушена. «Знакомство» в той социальной реальности, которая моделируется в позднесоветских фильмах — ключевой (и, возможно, единственный хорошо работающий) механизм завязывания социальных отношений и обретения контроля. Позднесоветское кино, при всем своем внимании к «маленькому миру», к домашним, интимным контекстам, чувствительно к ракурсу, который интересовал Грановеттера: к ситуациям, когда «слабые» связи, основанные на механизме знакомства, оказываются более инструментальными и эффективными, чем «сильные».

Разумеется, отчетливо такой ракурс представлен в фильмах, снятых уже накануне или на заре перестройки — «Блондинка за углом», «Нужные люди», — где мы видим стремительное разрастание цепочек опосредованных знакомств и расширение их экспансии практически на все сферы повседневной жизни. Гротескная, фельетонная модальность сочетается в этих фильмах с сюжетом романтической любви, а сатирическое обличение нелегальных предпринимательских практик — с намеками на то, что речь на самом деле идет о чем-то не меньшем, чем основания онтологической уверенности.

«Я испытываю благодаря тебе совершенно незнакомое мне до сих пор чувство душевного покоя. И любви к жизни. Я воспринимаю мир таким, какой он есть. Я верю в будущее, потому что поверил в настоящее, в сегодняшний день», — Николай Гаврилович, протагонист «Блондинки за углом», обращает этот монолог влюбленного собственно к блондинке, продавщице Надежде (Татьяна Догилева), которая становится для него проводником в мир «нужных людей», дефицитных вещей — и обретенного наконец контроля. Сеть «нужных людей» здесь — не про-

сто локальный кластер, а образ социального порядка как такового, образ «мира как он есть». Чем больше социальных областей оказывается покрыто цепочками персональных связей, тем шире жизненный мир и тем увереннее «чувство душевного покоя» (ср. ставший популярным шансон из фильма «Нужные люди»: «А у меня все схвачено / За все давно заплачено / И жизнь моя налажена / На зависть всем / Везде места заказаны / И кое-чем обязаны / Такие люди разные / Что нет проблем»).

Такая модель социальных отношений, конечно, не отличается сложностью (Уайт не может в полной мере использовать концепцию Грановеттера для решения своих задач — она для этого, строго говоря, и не предназначена — и критикует как слишком схематичную и неуниверсальную [White, 2008: 43–44]). По большому счету механизм знакомства (каким он выглядит в фильмах о «нужных людях») основывается даже не на ролевом взаимодействии, а на взаимном позиционировании, определении своего места в социальном пространстве (в терминах Уайта, тут актуален лишь самый первый, простейший тип идентичности). Само пространство в этом случае не видится многомерным, оно уплощается, идеальная социальность мыслится как некая единая, одноуровневая сеть — вообразенный Стэнли Милграмом «тесный мир», где каждый связан с каждым (Milgram, 1967). С важной поправкой: поскольку кластер «нужных людей» противостоит значительному внешнему давлению, тесный мир будет казаться комфортным лишь при условии, что в него допускаются вовсе не все, а только, по определению блондинки Надежды, «наши» (причем критерии опознания «наших», «своих» далеко не всегда соотносятся с соображениями рациональной прагматики); за пределами этого вообразяемого острова социальной упорядоченности остается вообразяемый хаос и мрак (собственно, «ненужные люди»).

Понятно, что такая одноуровневая модель фактически исключает возможность отчетливой дифференциации контекстов взаимодействия и, соответственно, того ролевого репертуара, который этими контекстами задан. Уайтовская идея сложной, многосоставной идентичности, возникающей на пересечении противоречивых социальных ролей (идентичности «третьего типа»), предполагает, что противоречия в принципе осознаются — иначе говоря, существуют определенные нормы и навыки различения границ между контекстами. Персонажи позднесоветского кино регулярно взаимодействуют вне подобных норм; доступные им инструменты описания и осмысления социального пространства часто *не успевают* за практиками переключений, не улавливают усложняющейся ролевой динамики.

Это может выражаться в специфическом эффекте — контексты «склеиваются», «слипаются» и переключения между ними начинают предполагать не столько ролевой конфликт, сколько наложение ролей, их спутанность. Так, подпольный квартирный маклер (Владимир Басов) из фильма «По семейным обстоятельствам», пытаясь эффективно и эффектно балансировать на границе разных сетевых сфер, периодически сбивается и запутывает сам себя. В целях конспирации он требует от клиентов подменять терминологию, имеющую отношение к недвижимости,

терминологией из других контекстов — например, имитировать разговор о продаже кофточек или о родственных связях:

- Так, что у вас есть?
- Сорок метров, квартира.
- Никаких квартир. Мы говорим о тете. Квартира — это тетя. Метраж — возраст. Сколько лет вашей тете?
- Тете Анюте, наверное, лет шестьдесят уже.
- Какой тете Анюте?
- Ой, я забыла. Сорок.
- А, другое дело. Сколько у вас детей? Комнат, значит.
- Две.
- Двое, да? Метраж? Простите. Возраст?
- Двадцать пять и пятнадцать.
- Так. Младшая, пожалуй, маловата будет. Слишком молода.
- Ну, так уж получилось.
- Я понимаю, но сейчас пятнадцать лет не котируется. Все хотят постарше.
- Странно, а раньше наоборот.
- Опять?

Очевидно, что в своих комичных попытках не выглядеть человеком, оказывающим «теневые» услуги, он начинает выглядеть человеком, оказывающим *другие* «теневые» услуги — скажем, своднические, но он не останавливается на этом и, в конце концов, действительно вовлекается в роль если не сводника, то брачного агента, направляя клиентку-вдову к своему знакомому, не нуждающемуся в обмене квартиры, но холостому.

Менее буффонадный, более «реалистичный» вариант наложения различных режимов ролевого взаимодействия демонстрирует героиня фильма «Где находится нофелет?» — начальница лаборатории научно-исследовательского института Клара Семеновна (Инна Ульянова):

- Здравствуйте! Голиков! Как у нас дела с дихронизатором?
- Почти готов. Заканчиваю настройку.
- А, очень хорошо. Потом сразу же возьмитесь за трехступенчатый дифференциальный переключатель. Я заверила шефа, что мы справимся. Что вы скажете, Пал Федорович?
- Справимся.
- Я не сомневалась в вашем ответе. А вы знаете, этот пиджак вам мал, Симукова. Это мой размер. Вы не возражаете, если я примерю?
- Пожалуйста, Клара Семеновна.
- Благодарю вас. О, и цвет мой. Вы знаете, я сейчас примерю и дам вам ответ. А это что, тоже продается?
- Да! Но очень дорого, по буфетной цене. Голиков отказался.
- Ну и правильно сделал, а я, дура, возьму. Потому что обожаю такие конфеты. Пойдемте, рассчитаемся.

К роли покупательницы принесенных с черного рынка товаров Клара Семеновна переходит, в сущности не оставляя роли начальницы. Этот переход для нее никак не маркирован и не выглядит противоречивым.

Нехватка норм и практик различения социальных контекстов чаще всего будет компенсироваться, конечно, через интимизацию режимов взаимодействия — через неожиданное смещение «формальных» («профессиональных», «должностных») модальностей в сторону «неформальности» и «душевности», через внезапную подмену рациональных дискурсов апелляцией к ценностям подлинного «я». «Ему моя душа не нужна, ему лук нужен!» — восклицает в фильме «Блондинка за углом» мясник Рашид (Баадур Цуладзе), когда возмущенный покупатель в очередной раз тщетно пытается добиться от работников гастрономического отдела ответа на вопрос, будут ли давать лук. В случае такого рода подмен отличить непреднамеренный коммуникативный сбой от намеренной манипулятивной игры обычно почти невозможно.

Итак, с одной стороны, персонажи позднесоветских фильмов сталкиваются с ситуациями разорванных, несогласованных социальных контекстов, которые не могут быть соединены без специальных героев-посредников (не исключено, что не могут быть соединены вовсе). С другой стороны, недифференцированные контексты «слипаются», накладываются друг на друга и друг друга подменяют. В целом уайтовские «переключения» здесь сопровождается принципиальная непроясненность правил, непроясненность границ — между контекстами коммуникации, различными сетевыми сферами, различными социальными ролями. И, соответственно, межличностные границы тоже оказываются чрезвычайно уязвимыми, — об этом речь пойдет дальше.

Образы социального пространства

Позднесоветские популярные фильмы легко описывать как *истории*. Это кино прежде всего сюжетно и нарративно и, по меткому определению Олега Аронсона, отличается «визуальной апатией». Завершающая глава статьи будет посвящена тому, что в данном случае вытесняется на обочину зрительского внимания — собственно, опыту зрения и пространственного восприятия.

Очевидно, что одной из легко опознаваемых визуальных особенностей «сталинского большого стиля» было то, что можно назвать производством пространства — в несколько более буквальном смысле, чем тот, который имел в виду Лефевр. Приверженность широким проспектам и высотным зданиям на риторическом уровне сближалась здесь с характеристиками страны в целом («Широка страна моя родная...»); принципы визуализации этого официально поощряемого типа восприятия в кинематографе, в фотографии, в живописи, в книжной и журнальной иллюстрации показывают, что тут имеется в виду не только пропаганда имперского гигантизма и задействуются не только инструменты тоталитарного подавления (через демонстрацию ничтожности каждого отдельного члена обще-

ства на фоне «великого» и «высокого» государственного целого), но также — утверждение ценности «свободных», «открытых», то есть пустующих пространств, своего рода полых контейнеров для коллективных аффектов (главным из которых, безусловно, являлось ликование — см.: Рыклин, 2002; а также Богданов, 2009; Balina, Dobrenko, 2009) и для персональных мотиваций (подробнее: Каспэ, 2015). Эта пространственная избыточность, щедрое изобилие урбанистического пространства (уравновешивающее его пространство колхозного изобилия, переполненное плодами трудовых подвигов, — как в фильме Ивана Пырьева «Кубанские казаки» [1949], — конечно, устроено принципиально иначе) имеет самое прямое отношение и к проблематике социальных отношений, связей, сетей и к проблематике смысловых ресурсов культуры.

Опорным для социологии пространства является тезис о том, что пространство существует, т. е. является видимым, воспринимаемым, является предметом опыта, только если оно становится местом intersubjectивного взаимодействия. Александр Ф. Филиппов, анализируя зиммелевскую социологию пространства, формулирует этот тезис следующим образом: «Если люди не взаимодействуют, то пространство между ними — это „практически говоря ничто“... То есть пространство может быть значимо не только для исследователя с его „познавательным интересом“, но и для участников во взаимодействии. Для них этот интерес связан не с тем чистым пространством, которое практически означает Ничто, но с наполненным, востребованным пространством взаимодействия» (Филиппов, 2008: 84).

Просторные городские площади «большого стиля» востребованы разве что для упорядоченных массовых шествий (см.: Филиппов, 2011), участники которых хотя и воодушевлены чувством причастности большому сообществу, вступают во взаимодействие не столько друг с другом, сколько с воображаемой инстанцией идеологической нормы, а еще точнее — превращаются в функции для перемещения транспарантов и трансляции лозунгов (ср. финальные кадры фильма Григория Александрова «Цирк» [1936]). Нерационально высокие потолки с лепниной, впоследствии опознаваемые как ключевые атрибуты «сталинского ампира», создают пространственную пустотность на уровне, до которого процессы социального взаимодействия дотянуться не могут, эти процессы остаются внизу, в перегородженном и перенаселенном пространстве коммунальных квартир. Однако пустотные пространства, будучи неотъемлемой частью изобразительных канонов «большого стиля», не являются в полной мере провалами в «ничто», не являются зонами отсутствия социального смысла. Скорее можно сказать, что это зоны *застывшего* смысла (ср. метафору «окаменевшей утопии», которую использует в своих исследованиях Евгений Добренко: Balina, Dobrenko, 2009), зоны остановленного процесса смыслообразования. Это места, полностью очищенные от *социальных шумов*, от любых побочных и неизбежных эффектов непосредственного и неуправляемого движения сетевых потоков, предполагающего переключение между различными контекстами, — в этих местах невозможна коммуникация, процедуры обмена, процедуры сверки и переноса значений, однако оказывается востре-

бована сама семантика дистилляции, искоренения лишнего (всего, что отвлекает от поставленной задачи, мешает, сбивает с толку), специфического выправления и распрямления смысла, иными словами — абсолютного контроля.

Новые принципы показа, которые приходят на смену «большому стилю», конечно, в первую очередь разрушают именно эту застывшую величественную пустотность. Эльдар Рязанов в мемуарной книге «Неподведенные итоги» пишет о том, что в своей борьбе с кинематографическими канонами «большого стиля» («В те годы на наших экранах преобладали комедии, которые, как правило, имели мало общего с жизнью» [Рязанов, 2007: 52]) он использовал в числе прочего прием нестудийной съемки: «За окнами кипела настоящая, неорганизованная жизнь. При съемке уличных эпизодов применялась скрытая камера, то есть среди ничего не подозревавшей толпы артисты играли свои сцены» (Там же). Опробовав этот прием в одной из своих ранних комедий, «Дайте жалобную книгу» (1964), Рязанов остается верен ему и дальше, часто используя ракурсы городской панорамы в качестве специфических прологов и эпилогов к фильмам (как и многие другие режиссеры 1970–1980-х годов). Монументальное панорамирование полупустого (как правило, утреннего) города надолго остается в советском изобразительном каноне (например, в фотографии), однако в рязановских «лирических комедиях» и вообще в популярном кинематографе последних десятилетий социализма получает распространение принципиально другой тип панорамы, отчасти соответствующий урбанистической оптике европейского кино конца 1960-х — начала 1970-х — город здесь снимается в часы пик, он густо населен и непременно подвижен, камера следит за потоками транспорта и потоками людей, перемещающимися в разных направлениях. О замысле «Служебного романа» Рязанов вспоминает следующее: «Все отношения героев должны раскрываться на людях... Я сформулировал для себя образ фильма как колоссальный московский „муравейник“, в котором наше учреждение будет выглядеть его крохотной частицей, а наши герои — несколькими персонажами из огромной, многомиллионной и подвижной человеческой массы» (Там же: 201).

Итак, в позднесоветском кино появляется *толпа* — «подвижная» и при этом (в отличие от массовых шествий, соответствующих канонам «большого стиля») «неорганизованная». Примечательно, каким образом Рязанов в приведенной выше цитате формулирует кинематографическую задачу, для которой толпа задействуется, — горожане в целом и сотрудники статистического бюро («учреждения», где разворачиваются основные события «Служебного романа») в частности призваны выполнять функцию воображаемого сообщества наблюдателей, своего рода общественного контроля. Эта функция однозначно улавливалась первыми зрителями фильма, во всяком случае профессиональными зрителями. Критик Валентин Михалкович в рецензии на «Служебный роман» замечает:

Тут человек — если б даже захотел — никак не может почувствовать свое одиночество. ...Он постоянно оказывается под перекрестным обстрелом лю-

бопытных взглядов. Олицетворением этого всеобщего пристального внимания является профсоюзная активистка Шура (Л. Иванова). ...Статистическое учреждение так и представлено у Рязанова — не в своей учетно-планирующей деятельности, а именно в этом жгучем любопытстве к всевозможным личным событиям. И получается, что функционирует оно не ради выполнения какой-то существенно важной, профессиональной задачи, а является единым — стоголовым, двухсотглазым — организмом, предназначенным для коллективного переживания интимных перипетий. (Михалкович, 1978)

Очевидно, что Шура является носителем нормативной, но уже устаревшей, не работающей модели горизонтальных отношений, основывающейся на институте «товарищеской взаимопомощи». Эта тоталитарная модель, пережившая свой последний расцвет в конце 1950-х — начале 1960-х годов благодаря прививке «неформальности» и «искренности», предполагает иллюзию абсолютной прозрачности, проницаемости границ, причем легкость общественного вторжения в зоны, которые в нетоталитарных условиях помечались бы как «частные» или даже «интимные», тоже может быть увидена в ракурсе уайтовской теории сетевой идентичности: нарушения межличностных границ оказывались возможны постольку, поскольку на символических уровнях конструирования социальной реальности стирались границы между различными контекстами социального действия и взаимодействия, утверждалась антропология человека, абсолютно идентичного, тождественного себе (и официальной норме) в самых разных контекстах; а следовательно, поведение этого целостного индивида дома, на работе, в кругу друзей или на любовном свидании могло оцениваться одними и теми же людьми и обсуждаться в рамках одного и того же дискурса по одним и тем же правилам (ср. неуместный совет, который Шура дает несчастной Оле Рыжовой, замучившей любовными письмами заместителя директора статистического учреждения Юрия Григорьевича Самохвалова: «Вернитесь в семью, в коллектив, в работу!»).

Не представленным в нормативных дискурсах аналогом этой модели товарищеского «пристального внимания» (или «партийной бдительности» в самом официальном варианте) становятся, конечно, всевозможные практики подглядывания за чужой жизнью, за тем, что явно не предназначено для постороннего взгляда (подробнее об этом: Каспэ, 2010), и практики нарративизации увиденного («пересуды», «слухи», «сплетни»). В «Служебном романе» оказываются выявлены и соединены оба режима «коллективного переживания интимных перипетий» — и, условно говоря, официальный, приобретающий к середине 1970-х годов чисто формальный характер, и девиантный, который на фоне формализации официальной нормы начинает казаться более непосредственным и более человечным — он представлен в первую очередь переглядываниями и перешептываниями сотрудников статистического учреждения:

— Алёна! Слушай, держись за стул, а то упадешь. ...Конечно, я понимаю, чужие письма читать нехорошо... Но я стала читать — просто оторваться не могла! Слушай.

Характерно, что пространство, в котором происходит действие фильма, не просто проницаемо для многих любопытных взглядов, оно устроено сложнее, соединяя в себе характеристики открытости и закрытости. Михалкович описывает Статистическое учреждение, где трудятся персонажи, следующим образом:

Огромный зал, где корпят над своими бумагами и арифмометрами сотрудники, просторен, как лесная вырубка... Здесь можно найти нелепо укромные уголки — вроде того, в который забился товарищ Бубликов (П. Щербаков), начальник отдела общественного питания: он окружен великолепной канцелярской растительностью и вроде находится в затишье, но прямо перед ним — лестница, по которой вверх и вниз дефилируют стройные женские ножки, отрывая товарища Бубликова от жгучих статистических проблем. Начальство — директорша Людмила Прокофьевна и ее заместитель располагаются на антресолях этого зала, причем из кабинета директорши есть прямой выход на крышу, где Людмила Прокофьевна разводит дополнительные к уже имеющимся пальмы и сикоморы, аккуратно поливая их по утрам. В общем, Статистическое учреждение из фильма меньше всего напоминает современный, строго функциональный офис; в учреждении этом жив дух клуба, гостиничного холла или зала ожидания с его неразберихой. (Михалкович, 1978)

Михалкович оценивает такое пространство как экзотическое, однако оно весьма соответствует оптике, востребованной, пусть и в менее ярких формах, и в других советских фильмах 1970–1980-х годов. В каком-то смысле мелодраматическая интрига здесь почти всегда «раскрывается на людях», однако характерно, что сам диапазон общественного внимания нередко оказывается довольно узким и слабым, многоглазый организм не в состоянии удержать обещанный было зрителю «панорамный» образ социальной реальности — он дробится на случайные куски и фрагменты (так, Бубликов из своего закутка под лестницей способен разглядеть только «стройные женские ножки»). Наконец, особую роль в этом кино играют фигуры незамечания, игнорирования — своего рода «слепые пятна» внутри пространства взаимодействия.

В этом отношении значим эпизод с инвентаризационной комиссией, которая со смехом врывается в кабинет директора Статистического учреждения, Людмилы Прокофьевны Калугиной (Алиса Фрейндлих), и начинает свою кропотливую опись наличного мира, сверяя номера вещей и почти не замечая людей, иными словами — стирая пространство взаимодействия, элиминируя его смысл:

- Что это значит?
- Инвентаризация...
- 4322, стул!
- 1906, стул!

- Товарищи, в чем дело, я спрашиваю?
- 3892, настольная лампа.
- Минуточку!
- 113, стул!
- Гляди, какая лампа-то хорошая...
- Да, хороша...
- Товарищи, одну минуточку!
- Стол для заседаний, 4308.
- Товарищи, что за бесцеремонность, я спрашиваю?
- Выполняем ваш же приказ, товарищ директор!
- Вы работники умственного труда. Ну и мы тоже... Вот.
- 4264, счетно-вычислительный аппарат.
- Осторожно, пожалуйста!
- Пойдемте в зал заседаний.
- Какая бестактность!
- Саранча! Налетчики!
- Чернильный прибор, 1319.
- Вазочка, 5869. Ваза «Мозер».
- Самолет подарочный, 1314.
- 4319, стул!
- Жор, что это за штука, а?
- Слово неприличное написано.
- Стереть!

Парадоксальное сочетание практик праздного любопытства, неумного подглядывания, деятельного внимания с практиками взаимного незамечания и вытеснения довольно часто встречается в позднесоветском кино. Именно на гротескном контрасте этих практик строится упоминавшийся выше эпизод с недовольным покупателем в «Блондинке за углом»: отмахиваясь от приобретающего почти гамлетовскую безнадежность вопроса о луке, сотрудники гастрономического отдела универсама заняты теоретической дискуссией о коллективной солидарности и уважении к личности. Особенно страстно отстаивая ценность товарищеской взаимопомощи, продавщица Надежда невольно провоцирует выявление теневой, невидимой, незамечаемой стороны ситуации — в пылу спора рабочий магазина (сыгранный Алексеем Жарковым и озвученный Евгением Киндиновым) между делом дает исчерпывающий ответ на сакраментальный вопрос: «Вот лука нет почему? Да потому что в нем алкаш-грузчик спит! Пойди, сделай из него человека!» Надежда незамедлительно отправляется «спасать» и «перевоспитывать» несчастного — им и оказывается главный герой, Николай Гаврилович, сломленный крушением прежней жизни астрофизика и дебютом в новой роли грузчика (обязательным атрибутом которой, конечно, являлся алкоголический опыт):

Николай Гаврилович: Теперь я труп. Я на том свете.

Надежда: Ты это кончай. Ты на этом, на нашем свете. И мы за тебя будем бороться!

Сложно устроенное пространство универсама — открытая для всеобщего обозрения просторная территория торгового зала, в которой лука нет, и потаенные лабиринты подсобных помещений, в сердце которых в таре с луком спит главный герой, — это, безусловно, не просто сатирическая метафора теневой экономики; универсам здесь достигает символических масштабов универсама, в числе прочего визуализируя определенные принципы социальных отношений.

В этом сложном сочетании открытости и закрытости, напряженного внимания и игнорирования не так просто уловить границу между видимым и невидимым, вообще не так просто уловить границы, которые не могли бы быть нарушены самым бесцеремонным образом.

Примечательно, что сюжетный мотив подмены и двойничества, столь любимый советской комедией на протяжении всей её истории, в фильмах 1970–1980-х годов получает новый поворот: объектом путаницы оказываются не только сами персонажи, но и их приватные зоны — новая отдельная квартира в «Иронии судьбы» или пляжный топчан в фильме «Будьте моим мужем» — главный герой, искупавшись в море, не может найти на переполненном пляже оставленные им вещи, по ошибке принимает за свой топчан чужой (совершенно идентичный) и уже начинает натягивать джинсы (ничем не отличающиеся от его собственных), как обнаруживается их настоящий хозяин, джинсы снимаются, завязывается словесная перепалка, в это время к топчану решительно подходит неизвестная дама, уверенно облачается в лежащую на нем одежду и скрывается из виду.

Благодаря такого рода ироничному обличению проблем типового производства и типового потребления мы можем лучше понять ту специфику репрезентации социального пространства, которая характерна для этого кино. Социальное пространство не выглядит больше застывшим, монолитным и пустым, как в городских панорамах «большого стиля», напротив, оно часто выглядит переполненным, тесным, нередко даже захламленным и при этом «обживает» весьма специфическим образом: оно словно дробится на множество приватных зон, границы которых проведены, но жестко не установлены (и поэтому такие приватные территории могут схлопываться, наслаиваться друг на друга), тем самым невидимыми, незамечаемыми оказываются в первую очередь области *между* ненадежно отгороженными приватными зонами — то есть собственно области социальной коммуникации, ролевого взаимодействия, выстраивания связей, области поддержания смыслового порядка. В целом это и есть модель пространства, в котором практически невозможна дифференциация социальных контекстов.

Востребованность закрытых, герметичных пространств в советском кино 1970–1980-х годов вполне сопоставима с востребованностью панорам большого города, а студийная съемка не менее распространена, чем нестудийная — основное место действия популярных фильмов всё чаще переносится в выгородки малогабаритных квартир; именно в эти годы советские режиссеры проявляют отчетливый интерес к всевозможным киноадаптациям европейского герметичного детектива («Опасный поворот» [1972], «Чисто английское убийство» [1974], «Кра-

жа» [1982], «Десять негритят» [1987], «Мышеловка» [1990], «Ловушка для одинокого мужчины» [1990]); наконец, именно герметичное пространство, которое нельзя своевольно покинуть, выбирается в качестве сцены для социально проблемного, «острого» кино («Премия» [1974], «Гараж» [1979]).

Панорамная оптика и герметичность в каком-то смысле оказываются двумя сторонами одного и того же пространственного (и социального) восприятия и нередко комбинируются в одном фильме. Вступительные титры к обеим сериям фильма «Ищите женщину» (1982) (по пьесе Робера Тома «Попугайша и цыпленок», являющейся, в свою очередь, французской адаптацией пьесы британского драматурга Джека Поплуэлла «Миссис Пайпер ведёт следствие») накладываются на нарезку эпизодов из французских детективов — стрельба, погони, проезд на автомобиле по городу, панорамы Парижа, Эйфелева башня, Нотр-Дам. Однако вскоре зрительские ожидания оказываются обманутыми, и на экране появляется подлинное и единственное место действия фильма — адвокатская контора мэтра Роше, телефонистка которого, мадмуазель Алиса Постик (Софико Чиаурели), смотрит детективы по телевизору. Такая игра со зрительским восприятием и ролью телезрителя в числе прочего, конечно, пародирует излюбленный в позднесоветском кино прием, когда «кипящая неорганизованная жизнь» большого города оказывается рамкой, в которую вписываются герметичные студийные декорации: социальное пространство представлено либо с очень дальнего расстояния, либо с очень близкого; оптика, соразмерная уайтовскому процессу переключения между различными социальными контекстами, тут скорее отсутствует.

«Социальный шум», вытеснявшийся за пределы дистиллированного кинематографа «большого стиля», вторгается в фильмы 1970–1980-х, однако — и это самый принципиальный момент — продолжает рассматриваться как нечто внешнее, объективированное, никак не затрагивающее процессов формирования идентичности. Обретение идентичности тут не связывается с процедурой интериоризации противоречивых образов социальной реальности — что провоцирует эффекты абсурдности, несочетаемости разных визуальных элементов, столь характерные для позднего советского кино (и чем позднее кино, тем очевиднее эти эффекты).

Идентичность vs контроль

Необходимо заметить: тёмные кадры и плохая акустика популярного кино 1970–1980-х годов могут показаться невнятными только зрителю, плохо знакомому с подобным типом изобразительности (или, напротив, слишком хорошо, профессионально знакомому с историей кино); при определенном навыке заинтересованного просмотра этих фильмов из тьмы проступают выразительные крупные планы и харизматичная актерская игра. Неразличимость контекстов интересубъективного взаимодействия в данном случае представляется совершенно дисфункциональной с точки зрения стороннего наблюдателя, однако героям фильмов позднего СССР — не без помощи специальных персонажей-посредников — удается как-то

ориентироваться в этом запутанном и парадоксальном социальном пространстве. Такого рода парадоксальность — когда законы взаимодействия неясны и в то же время все знают, как следует действовать; когда режимы ролевого поведения спутаны, однако все понимают, какую роль нужно играть, — стала впоследствии, уже во времена перестройки, одним из устойчивых сюжетов ироничного описания позднесоветского общества.

Можно сказать об этом и иначе: социальное пространство, моделируемое в позднесоветских фильмах, будет видеться непредсказуемым и никак не регулируемым, если смотреть на него с точки зрения проблематики социальной идентичности. Но оно же может быть увидено и как застывшая система, подчиненная определенным и неизменным ритуалам, с жесткой иерархией статусов и распределением ролей, с размеченными границами частных территорий, причем эта ритуализированность будет преподноситься как унылая, скучная, эти роли и эти территории — как «пустые», не имеющие отношения к «подлинному я». Иными словами, идентичность и контроль, объединенные Уайтом в названии одной книги, оказываются в этом кино разведены и даже противоположны друг другу.

Идентичность здесь преимущественно воспринимается как возвращение к «подлинному я», как интимное «обнажение сути» — разумеется, затруднительное в ситуации переключения между различными социальными контекстами и различными сетевыми сферами. Буксующий механизм «переключения» нередко соседствует с модусами лукавства, обмана, игры без правил — чаще всего вынужденной, необходимой для достижения контроля. Такой разрыв между идентичностью и контролем позволяет наиболее чувствительным героям этого кино поддерживать ритуалы взаимодействия и в то же время не включаться во взаимодействие полностью, ускользать, «выпадать» в проективные воображаемые пространства. Этот разрыв — именно в том месте, где должен осуществляться механизм «переключения» — делает персонажей одновременно и уязвимо открытыми, и невидимыми друг для друга (по обеим причинам межличностные границы в любой момент могут оказаться нарушенными), более того — невидимыми для самих себя.

Именно так ощущает (или, точнее, не ощущает) себя спивающийся бывший спортсмен Брагин, главный герой «серьезной комедии» «Влюблен по собственному желанию», когда на пике экзистенциального отчаяния и на перепутье между «неподлинной» и «подлинной» жизнью выкрикивает в безличную тьму ночного шоссе: «Я есть! Я не исчез! Слышишь! Я не исчез! Я есть! Есть я-а-а-а!..»

Литература

- Аронсон О. (2003). Советский фильм: неродившееся кино // Аронсон О. Метакино. М.: Ад Маргинем. С. 87–106.
- Балина М. (2007). 1970-е: из опыта буратинологии // Неприкосновенный запас. № 3. С. 182–194.

- Богданов К. (2009). Открытые сердца, закрытые границы: о риторике восторга и беспредельности взаимопонимания // Новое литературное обозрение. № 100. С. 136–154.
- Дашкова Т. (2008). Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода // Богданов К., Борисова Н., Мурашов Ю. (ред.). СССР: территория любви. М.: Новое издательство. С. 147–148.
- Каспэ И. (2010). Границы советской жизни: представления о «частном» в изоляционистском обществе. Часть вторая // Новое литературное обозрение. № 101. С. 185–206.
- Каспэ И. (2015). Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий последних десятилетий социализма // Социологическое обозрение. Т. 14. № 2. С. 41–69.
- Левада Ю. (2000). Человек лукавый: двоемыслие по-русски // Мониторинг общественного мнения. № 1. С. 19–27.
- Липовецкий М. (2009). Трикстер и «закрытое» общество // Новое литературное обозрение. № 100. С. 224–245.
- Майофис М., Кукулин И., Сафронов П. (ред.). (2015). Острова утопии: педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980-е). М.: Новое литературное обозрение.
- Мальцева Д., Романовский Н. (2011). О современных сетевых теориях в социологии // Социологические исследования. № 8. С. 28–37.
- Михалкович В. (1978). Пигмалион среди нас // Искусство кино. № 2. С. 38–48.
- Орлова Л. (1946). <О съемках фильма «Весна»> // Советский экран.
- Прохоров А. (2007). Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб.: Академический проект.
- Рыклин М. (2002). Пространства ликования. Тоталитаризм и различие. М.: Логос.
- Рязанов Э. (2007). Неподведенные итоги. М.: Вагриус.
- Сохань И., Гончаров Д. (2013). Социокультурная инженерия тоталитаризма: советский гастрономический проект // Полития. № 2. С. 142–155.
- Филиппов А. Ф. (2008). Социология пространства. СПб: Владимир Даль.
- Филиппов А. Ф. (2011). «Охотный ряд»: к истории и феноменологии одного публичного места // Пугачева М. Г., Вахштайн В. С. (ред.). Пути России: будущее как культура: прогнозы, репрезентации, сценарии. М.: Новое литературное обозрение. С. 375–390.
- Шилова И. (1987). Мелодрама // Юткевич С. И. (ред.). Кино: Энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия.
- Balina M., Dobrenko E. (eds.). (2009). Petrified Utopia: Happiness Soviet Style. London: Anthem Press.
- Brubaker R., Cooper F. (2000). Beyond «Identity» // Theory and Society. Vol. 29. № 1. P. 1–47.
- Bulmer M. (1987). The Rejuvenation of Community Studies? Neighbors, Networks and Policy // Sociological Review. Vol. 33. № 3. P. 430–448.

- Faraday G. W.* (2000). *Revolt of the Filmmakers: The Struggle for Artistic Autonomy and the Fall of the Soviet Film Industry*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- First J.* (2008). Making Soviet Melodrama Contemporary: Conveying «Emotional Information» in the Era of Stagnation // *Studies in Russian and Soviet Cinema*. Vol. 2. № 1. P. 21–42.
- Fitzpatrick S.* (2000). Blat in Stalin's Time // *Lovell S., Ledeneva A., Rogachevskii A.* (eds.). *Bribery and Blat in Russia: Negotiating Reciprocity from the Middle Ages to the 1990s*. London: McMillan.
- Granovetter M.* (1973). The Strength of Weak Ties // *American Journal of Sociology*. Vol. 78. № 6. P. 1360–1380.
- McReynolds L., Neuberger J.* (eds.). (2002). *Imitations of Life: Two Centuries of Melodrama in Russia*. Durham: Duke University Press.
- Milgram S.* (1967). The Small World Problem // *Psychology Today*. Vol. 1. № 1. P. 61–67.
- Roth-Ey K.* (2011). *Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the Media Empire that Lost the Cultural Cold War*. Ithaca: Cornell University Press
- White H. C.* (1992). *Identity and Control: A Structural Theory of Social Action*. Princeton: Princeton University Press.
- White H. C.* (2008). *Identity and Control: How Social Formations Emerge*. Princeton: Princeton University Press.
- Yurchak A.* (2006). *Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation*. Princeton: Princeton University Press.

“I Still Exist!”: Late Soviet Cinema Through the Prism of the Relational Sociology of Harrison White (Et Vice Versa)

Irina Kaspe

Senior Research Fellow, School of Advanced Studies in Humanities, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: Prospect Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: ikaspe@yandex.ru

The article is devoted to the popular Soviet cinema of the 1970s and 1980s, and examines the prevalent modes of the representation of social identity and social interaction in the culture of late socialism. The author selected the relational sociology of Harrison White as her theoretical framework. Attention is primarily paid to White's concept of identity. He associates identity with the seeking of control, and attaches a crucial meaning to the process of switching between different “netdoms”; in the process; an interiorization of the “social noise” (contradictory, inconsistent, and without corresponding social roles and images of social reality) is inescapable. Based on White's theory, the author of the article concludes that such a process was extremely hindered in the conditions of a totalitarian society when an attempt of political monopolization of control was undertaken. The Stalin-era official narrative implied the elimination of any “social

noises", that is, any contradictions between the various domains of Soviet life and the adjusted anthropology of Soviet man, who is obliged to be absolutely identical to himself (and to the normative prescriptions) in different contexts. At the same time, the destruction of the horizontal ties and the increasing social atomization had a place in the pre-narrative levels of social reality, so the mechanism of switching could not have been sufficiently operative as well. The article demonstrates that in post-totalitarian late Soviet cinema which arose after the dissolution of the canons of the Stalinist "Grand Style", the forms of representation of social domains became substantially more complicated, but the mechanism of switching between them seems to be broken. This was reflected in the fact of the conglutination of different contexts of the social interaction ("formal" and "informal", for example), the vagueness of the role and interpersonal boundaries peculiarly longing for the "authentic self", and the regular escaping from the role interaction to the imaginary spaces of dream, reminiscences, etc.

Keywords: social identity, social interaction, social networks, relational sociology, Harrison White, late Soviet cinema

References

- Aronson O. (2003) Sovetskij fil'm: nerodivsheesja kino [The Soviet Movie: Unborn Cinema]. *Metakino* [Metacinema], Moscow: Ad Marginem, pp. 87–106.
- Balina M. (2007) 1970-e: iz opyta buratinologii [1970s: From the Experience of Burattinology]. *Neprikosnovennyj zapas*, no 3, pp. 182–194.
- Balina M., Dobrenko E. (eds.) (2009) *Petrified Utopia: Happiness Soviet Style*, London: Anthem Press.
- Bogdanov K. (2009) Otkrytye serdca, zakrytye granicy: o ritorike vostorga i bespredel'nosti vzaimoponimanija [Open Hearts, Closed Boundaries: On the Rhetoric of Delight and the Endlessness of Common Understanding]. *New Literary Observer*, no 100, pp. 136–154.
- Brubaker R., Cooper F. (2000) Beyond "Identity". *Theory and Society*, vol. 29, no 1, pp. 1–47.
- Bulmer M. (1987) The Rejuvenation of Community Studies? Neighbors, Networks and Policy. *Sociological Review*, vol. 33, no 3, pp. 430–448.
- Dashkova T. (2008) Granicy privatnogo v sovetskikh kinofil'mah do i posle 1956 goda: problematizacija perehodnogo perioda [The Boundaries of Privacy in the Soviet Movies before and after 1956]. *SSSR: territorija ljubvi* [USSR: The Territory of Love] (eds. K. Bogdanov, N. Borisova, U. Murashov), Moscow: Novoe izdatel'stvo, pp. 147–148.
- Faraday G. W. (2000) *Revolt of the Filmmakers: The Struggle for Artistic Autonomy and the Fall of the Soviet Film Industry*, University Park: Pennsylvania State University Press.
- Filippov A. (2008) *Sociologija prostranstva* [Sociology of Space], Saint Petersburg: Vladimir Dal.
- Filippov A. (2011) "Ohotnyj rjad": k istorii i fenomenologii odnogo publichnogo mesta [Ohotnyj Rjad: Towards the History and Phenomenology of a Public Place]. *Puti Rossii: budushhee kak kul'tura: prognozy, reprezentacii, scenarii* [The Russian Ways: The Future as the Culture: Forecasts, Representations, Scenarios] (eds. M. Pugacheva, V. Vakhshstein), Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 375–390.
- First J. (2008) Making Soviet Melodrama Contemporary: Conveying "Emotional Information" in the Era of Stagnation. *Studies in Russian and Soviet Cinema*, vol. 2, no 1, pp. 21–42.
- Fitzpatrick S. (2000) Blat in Stalin's Time. *Bribery and Blat in Russia: Negotiating Reciprocity from the Middle Ages to the 1990s* (eds. S. Lovell, A. Ledeneva, A. Rogachevskii), London: Macmillan.
- Granovetter M. (1973) The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, vol. 78, no 6, pp. 1360–1380.
- Kaspe I. (2010) Granicy sovetskoj zhizni: predstavlenija o "chastnom" v izolacionistskom obshhestve [The Boundaries of Soviet Life: Views of the "Private" in Isolationist Society]. *New Literary Observer*, no 101, pp. 185–206.
- Kaspe I. (2015) Navyk utopicheskogo vzgljada: na materiale avtorskih fotografij poslednih desjatiletij socializma [The Skill of Utopian Vision: Photojournalism in the Last Soviet Decades]. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 2, pp. 41–69.
- Levada Y. (2000) Chelovek lukavij: dvoemyslie po-rossijski [Man the Liar: Russian Doublethinking]. *Monitoring of Public Opinion*, no 1, pp. 19–27.

- Lipovetsky M. (2009) Trixster i "zakrytoe" obshhestvo [The Trickster and "Closed" Society]. *New Literary Observer*, no 100, pp.224-245.
- Majofis M., Kukulin I., Safronov P. (eds.) (2015) *Ostrova utopii: Pedagogicheskoe i social'noe proektirovanie poslevoennoj shkoly (1940–1980-e)* [The Islands of Utopia: Pedagogical and Social Design of the Post-War School (1940s–1980s)], Moscow: New Literary Observer.
- Maltseva D., Romanovsky N. (2011) O sovremennyh setevykh teorijah v sociologii [About the Contemporary Network Theories in Sociology]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 28–37.
- McReynolds L., Neuberger J. (eds.) (2002) *Imitations of Life: Two Centuries of Melodrama in Russia*, Durham: Duke University Press.
- Mikhalkovich V. (1978) Pigmalion sredi nas [Pygmalion among Us]. *Iskusstvo kino*, no 2, pp. 38-48.
- Milgram S. (1967) The Small World Problem. *Psychology Today*, vol. 1, no 1, pp. 61–67.
- Orlova L. (1946) O s'emkah fil'ma "Vesna" [About the Creating a Film "Vesna (Spring)"]. *Sovetsky ekran*.
- Prokhorov A. (2007) *Unasledovannyj diskurs: paradigmy stalinskoj kul'tury v literature i kinematografe "ottepeli"* [Inherited Discourse: Paradigms of Stalinist Culture in Thaw Literature and Cinema], Saint Petersburg: Akademicheskij proekt.
- Riazanov E. (2007) *Nepodvedennye itogi* [Non-summarized Results], Moscow: Vagrius.
- Roth-Ey K. (2011) *Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the Media Empire that Lost the Cultural Cold War*, Ithaca: Cornell University Press.
- Ryklin M. (2002) *Prostranstva likovaniia. Totalitarizm i razlichie* [Spaces of Jubilation. Totalitarianism and Difference], Moscow: Logos.
- Shilova I. (1987) Melodrama. *Kino: Entsiklopedicheskii slovar'* [Cinema: Encyclopedic Dictionary] (ed. S. Yutkevich), Moscow: Sovetskaia entsiklopediia.
- Sohan I., Goncharov D. (2013) Sociokul'turnaja inzhenerija totalitarizma: sovetskij gastronomicheskij proekt [Socio-Cultural Engineering of Totalitarianism: Soviet Gastronomical Project]. *Politeia*, no 2, pp. 142–155.
- White H. C. (1992) *Identity and Control: A Structural Theory of Social Action*, Princeton: Princeton University Press.
- White H. C. (2008) *Identity and Control: How Social Formations Emerge*, Princeton: Princeton University Press.
- Yurchak A. (2006) *Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation*, Princeton: Princeton University Press.

От редактора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
 93 94 95 96 97 98 99 100

Когда вы пробегаете глазами этот ряд чисел, вы вряд ли задерживаетесь взглядом на каких-то из них. Более того, вам вовсе не нужно пробегать его глазами, в отличие от этих строчек. Скорее всего, вы этого и не делали, т. е. не переводили взгляд с одного числа на другое или с одной группы чисел на другую. Возможно, начав читать текст, вы с недоумением подумали: «Почему здесь эти числа? Может, это ошибка?», но в любом случае одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять, что перед вами именно ряд чисел от 1 до 100. Достаточно посмотреть в начало и в конец. Или даже не смотреть. При этом не важно, что в ряду нет одного числа.

Однако если бы кто-то попросил вас разбить этот ряд на 10 частей, вы бы скорее всего сделали это так:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

И многие из тех, кто разбил бы его по-другому, сделали бы это так, чтобы *не* было похоже, будто они разбивают 100 на 10 десятков.

Почему круглые числа настолько удобны? Потому что у нас 10 пальцев на руках? Потому что мы склонны к симметрии? Потому что мы просто привыкли? Все это возможно, но не отвечает на вопрос: в чем заключается это «удобство» как реальная практика? Что мы делаем с круглыми числами? Определенно, круглые

числа облегчают счет. Сложить (я уже не говорю — умножить) 20 и 30 гораздо проще, чем 19 и 29. Поэтому мы округляем. Мы округляем, когда рассчитываемся в магазине, мы округляем, когда запоминаем телефонный номер, мы округляем, когда назначаем время встречи. И, безусловно, мы округляем, когда кого-то или что-то чествуем. Например, этнометодологию.

2017 год — особая дата для этнометодологии, поскольку в ней сходятся сразу несколько круглых чисел: 100 лет со дня рождения Гарольда Гарфинкеля, 50 лет с момента выхода первой и главной книги по этнометодологии «Исследования по этнометодологии» и 25 лет с момента выхода «Лекций о разговоре» Харви Сакса (не менее важной для этнометодологии, хотя гораздо реже читаемой книги). Что можно сделать со всеми этими круглыми числами? Как минимум две вещи. Во-первых, бросить ретроспективный взгляд на проделанную этнометодологами работу. «Остров сокровищ» — как характеризовал Альфред Шюц то, что «открыл» Гарфинкель, в одном из писем последнему — уже достаточно хорошо изучен. «Остров сокровищ» — это феномены организации повседневной жизни, выявить которые позволяет только детальный анализ ситуативных действий. Этнометодологи смогли показать, что уровень и способ детализации имеет значение для того, что мы (социологи, например) можем обнаружить там (и только там) в мире. В этом отношении эволюцию этнометодологии можно рассматривать с точки зрения развития средств детализации феноменов порядка: от дескриптивных отчетов до видеозаписей. При этом важна не сама по себе техника фиксации данных, а то, что она позволяет обнаружить организацию там, где большинство социологов различают лишь хаос сырых данных. У «сырого бытия» (если использовать термин Мориса Мерло-Понти) есть организация — именно это открытие составляет цель и достижение этнометодологии. Все остальное — лишь вспомогательные средства. Да, историю этнометодологии можно описывать как историю идей и понятий, либо как историю социальных отношений между отдельными лицами и группами, либо как историю борьбы за признание и институционализацию, но все эти способы описания должны опираться на фундамент радикальных эмпирических исследований, решающих задачу погружения в гущу повседневных действий и обнаружения там феноменов порядка. Поэтому в конечном итоге ответом на вопрос «Что такое этнометодология?» является каталог этнометодологических исследований. В данном номере «Социологического обозрения» мы представляем небольшой фрагмент этого каталога.

Однако с круглыми числами, выпавшими на 2017 год, можно поступить и иначе: использовать их для взгляда в будущее, а не в прошлое. Представляемые статьи дают для этого все основания. Они «нащупывают» те направления этнометодологии, наиболее интересные достижения в рамках которых нам еще предстоит увидеть (хотя, безусловно, каждое из них имеет серьезную историю). В чем их ценность?

Статья Кристины Поповой касается одного из важнейших понятий этнометодологии — «наблюдаемость». Это понятие играло все более важную роль по мере

развития этнометодологии, однако его возможности еще далеко не исчерпаны. Его значимость обусловлена тем, что в отличие от другого известного этнометодологического термина, «accountability», «наблюдаемость» допускает гораздо меньше конструктивистских толкований (account можно в конечном итоге понимать как конструируемую акторами смысловую структуру) и в этом отношении гораздо четче указывает на радикальные феномены порядка, т. е. феномены, которые заключаются в практиках производства собственной анализируемости. Прослеживая перипетии подходов к наблюдаемости и вариантов прочтения данного термина в этнометодологии, Кристина показывает, что этнометодологические исследования визуального могут развиваться лишь в рамках сближения идеи наблюдаемости и идеи объективности социальных феноменов. Из ее текста вырисовывается следующая формула:

феномен порядка = детали + практика + описание (account)

Три указанные составляющие, конечно же, можно разделить только аналитически. В конкретных ситуативных действиях феномены производятся посредством практик упорядочивания описываемых деталей, или достижения детальной описуемости практик, или практической организации деталей описания. Благодаря такому пониманию феноменов порядка становится невозможным проводить разделение между наблюдаемыми результатами действий и самими этими действиями. Наблюдаемость оказывается имманентной структурам действия. Для этнометодологических исследований данный тезис означает, например, что анализ того, как люди производят наблюдаемые феномены порядка, должен производиться буквально изнутри самих практик наблюдения. Технические возможности для этого уже существуют или появятся в ближайшем будущем. Максимальное «приближение» к осуществляемой ситуативной практике, здесь и теперь, в доступных именно этим участникам именно этих деталях, даст возможность обнаруживать то, что существующие методы не позволяют схватывать. Открывающиеся здесь перспективы можно оценить, если сравнить запись движения в толпе пешеходов изнутри этой толпы и запись этой толпы снаружи. Описание практик ходьбы в толпе оказывается гораздо более адекватным, если для исследователя толпа становится доступна как постоянно меняющаяся конфигурация деталей зрительного поля ее участника, взгляд которого скользит по спинам, рюкзакам, затылкам, плечам, ногам, ботинкам или зафиксирован на телефоне, но при этом все равно схватывает происходящее вокруг. Разумеется, наблюдаемость феноменов порядка при этом не сводится только к их «зрительности». Феноменальное поле выстраивается вокруг тела, погруженного в мир в качестве целостности всеми доступными ему способами. Технические средства позволяют фиксировать лишь некоторые аудио-визуальные детали происходящего, но чем больше внимания в этнометодологии будет уделяться проблеме наблюдаемости, тем больше открытий в этой области следует ожидать.

Статья Артема Рейнюка и Александра Широкова посвящена как раз тому, как проблематика наблюдаемости может быть раскрыта в случае изучения видеоигр. Видеоигры интересны тем, что позволяют показать, каким образом участники конкретных ситуаций создают порядок из того, что есть у них под рукой, будь это компьютерная мышь, игровое меню, «умершие» союзники по игре или залетевшая в комнату оса. Как показывают авторы, чтобы все эти вещи стали феноменами порядка в указанном выше смысле, они должны стать организационными объектами, т. е. должны быть встроены в определенную практику. Применение понятия феноменального поля открывает в этом отношении возможность взглянуть на данную практику в особой перспективе. Важность видеоигр для этнометодологии состоит в том, что они, во-первых, требуют выработки специфических техник фиксации данных (поскольку мы можем записать буквально все, что показывается на экране, т. е. что видно игроку) и, во-вторых, позволяют существенно трансформировать понимание феноменальных деталей практики. Когда наравне и посредством физического тела действует тело (или тела) игровое, детали оказываются тем, что могут вмещать в себя разные типы материальности: как обычно нам знакомые, так и, в данном случае, игровые. В этом отношении мир по ту сторону экрана настолько же материален, как и мир по эту, поскольку оба они упорядочиваются в соответствии с практической логикой организации действий игроков. Такое «переплетение» (еще один термин Мерло-Понти) игрока и мира-в-экране — довольно необычный для этнометодологии предмет изучения, доступ к которому дает детальный анализ видеоигр. Наблюдения, которые делают Артем и Александр, применимы, впрочем, к гораздо более широкому кругу вещей, например к тому, что происходит, когда мы пользуемся смартфонами. Мы координируем свои действия с виртуальными объектами (значками программ, например) точно так же, как мы координируем свои действия с другими людьми, идя по улице. Здесь открывается огромное поле для исследований.

Статья Юлии Августис, представляющая собой одно из первых этнометодологических исследований рэп-баттлов, показывает, как изменяется наша перспектива рассмотрения практик институционального взаимодействия, если мы анализируем их не с точки зрения институциональных правил, а с точки зрения процесса институционализации ситуативных действий. Рэп-баттлы — особая форма организации разговора, при которой действующий обычно адресует реплики только одному из участников, но при этом добивается реакции остальной аудитории и сам реагирует прежде всего на нее, а не на противника. «Моделирование получателя» (*recipient design*) носит здесь сложный характер. Баттлеры должны совмещать институциональные ограничения и повседневные методы организации разговора. Юлия показывает, что происходит, когда эти методы не выполняют свою работу, в частности, когда попытка соблюдать очередность «панчлайн — смех — панчлайн — смех» проваливается. Смех, который баттлеры стараются «приручить», ведет себя не так, как они хотят, причем это очевидно всем присутствующим (зрители смеются над тем, что не засмались в «положенном» месте). В данном

случае на передний план выходит связка «организационный феномен/производящая этот феномен когорта», связка, которая не очень часто изучалась в этнометодологии, но сулит много интересных наблюдений и благодаря рэп-баттлам может стать еще одним направлением приложения дальнейших исследовательских усилий. Речь идет о возможности изучения того, как создаются и поддерживаются локальные когорты в зависимости от производимых ими феноменов порядка. Например, как зрители рэп-баттла становятся одной когортой, когда смеются, и как они управляют этим процессом когортообразования, управляя производством соответствующих феноменов.

Все три предлагаемые статьи показывают одну принципиально важную для этнометодологии вещь: развитие этнометодологии возможно только в той мере, в какой объект изучения «диктует» исследователю программу его исследования. Рэп-баттлы, видеоигры, рисунки в учебниках по биологии, археологические раскопки и т. п. требуют не применения готовой методологии к очередному объекту, а изобретения новых понятий, новых способов фиксации данных и новых способов описания. Это «дикие» (продолжим эксплуатировать Мерло-Понти) практики, ускользающие от заготовленных концептуальных и методологических ловушек. Предлагаемые статьи позволяют кое-что об этих диких практиках узнать. Это говорит о том, что этнометодология по-прежнему способна на открытия. И этому не могут помешать даже круглые юбилейные числа.

Андрей Корбут

Исследования визуального в этнометодологии

Кристина Попова

Аспирант аспирантской школы по социологии

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: k.popovaooo@gmail.com

Статья посвящена способам изучения визуального в этнометодологии. Показано, что исторически в ЭМ существовали четыре подхода к исследованию визуального. Первый предполагает понимание визуальности как наблюдаемости. Согласно идее Гарольда Гарфинкеля, феномены порядка существуют в видимых методах их производства. В таком случае любое этнометодологическое исследование (как исследование наблюдаемых способов производства порядка) можно считать визуальным. Тем не менее в 1980–1990-е годы в этнометодологии возникли три самостоятельных проекта исследования визуального, представленные в работах Майкла Линча, Чарльза Гудвина и Джеффа Коултера. Все они ставили задачу показать практическую природу восприятия (в противоположность восприятию как психологическому процессу), но видели решение в изучении разных аспектов визуального: изображений, практик зрения и языковых конструкций, описывающих «модусы восприятия». В тексте рассматриваются отношения между этими концепциями и исходной идеей Гарфинкеля о наблюдаемости. Анализируются идеи, которыми проекты Линча, Гудвина и Коултера дополнили программу Гарфинкеля, и то, как эти дополнения были использованы в работах других этнометодологов. Показано, что хотя ни один из этих проектов не был в полной мере реализован, вместе они сформировали концепцию исследования визуального в этнометодологии. Эта концепция, во-первых, основывается на идее Гарфинкеля о наблюдаемости, а во-вторых, предполагает возможность изучать восприятие как практическое социальное достижение, укорененное в локальных контекстах взаимодействия.

Ключевые слова: этнометодология, визуальное, наблюдаемость, профессиональное зрение, праксеология восприятия, изображения, научные репрезентации

Одной из ключевых для этнометодологии (ЭМ) является идея наблюдаемости (witnessability)¹. Она предполагает, что феномены порядка производятся в действиях агентов, которые наблюдаемо (observable) упорядочены и объяснимы

© Попова К. А., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-212-232

* Я благодарна Андрею Корбуту и Полине Дячкиной за ценные комментарии и помощь в подготовке этой статьи.

1. «Witnessability» у Гарфинкеля не сводится к визуальности, поэтому перевод «witnessability» как «наблюдаемости» не совсем точен. Гарфинкель зачастую использует как взаимозаменяемые термины «witnessability» (дословно можно перевести как «свидетельствуемость»), «observability» (наблюдаемость) и «visibility» (зримость, видимость), не проясняя различий между ними (см., например: Garfinkel, 1967; в статье о доверии он также говорит о «воспринимаемых средах» [Garfinkel, 1963], а в поздних работах — об «аудиовизуальности» [Garfinkel, 2002: 223, 283]). Вопрос о том, как соотносятся свидетельствуемость, наблюдаемость и видимость, может быть самостоятельным предметом

для компетентных участников практики. В отличие от социологии «скрытого порядка»², ЭМ исходит из того, что феномены порядка уже существуют в упорядоченной последовательности действий, а не заданы внешними «социальными фактами» в виде правил или структур, которые нужно обнаружить, чтобы выявить порядок в действиях.

Такая концепция предполагает, что этнометодологическое исследование должно быть описанием способов, используемых участниками для производства феноменов порядка (этнометодов) и деталей, которые конституируют специфику практики, делают ее наблюдаемо узнаваемой (recognizable) и отличимой от всех остальных. Несмотря на разнообразие объектов исследования и способов описания упорядоченности³, наблюдаемость феноменов порядка была одной из основных теоретических предпосылок этнометодологической программы как минимум с конца 1960-х годов (Корбут, 2013: 20–22), хотя она изначально не позиционировалась как исследование визуального и не всегда была связана с применением визуальных методов⁴.

Наблюдаемость, видимость феноменов порядка и методов их производства предполагает доступность их для анализа, поэтому наблюдаемость можно считать синонимом визуальности, как это предлагает делать Род Уотсон (Watson, 2005)⁵. В таком понимании визуальность — это свойство практики, а не материального мира. Ожидание автобуса на остановке или согласованное движение пешеходов — в такой же степени визуальный феномен, как и искусство или фотография. Если исходить из этой позиции, любое описание наблюдаемых методов производства феноменов порядка может быть визуальным, но разговор о визуальном как об отдельной области в ЭМ невозможен, визуальность — это свойство практики, неотделимое от нее.

Если в ЭМ визуальность понимается как наблюдаемость, не ясно, какое место в ее программе могут занимать другие концепции визуального. Тем не менее внутри ЭМ в 1980–1990-е годы возникло несколько отличающихся проектов исследования визуального. Речь идет об исследованиях научных репрезентаций Майкла Линча, исследованиях «профессионального зрения» Чарльза Гудвина и исследова-

исследования. В этом тексте я фокусируюсь на визуальности как наблюдаемости, потому что из такого понимания исходят визуальные исследования в ЭМ.

2. Термин Эрика Ливингстона, который проводит границу между этнометодологией как социологией видимого (witnessable) социального порядка и традиционной социологией скрытого (hidden) порядка (Livingston, 2008: 28–29).

3. В качестве обзора исследований 1970–1980-х годов см. например: Garfinkel, 1986; Lynch et al., 1983.

4. Судя по всему, у Гарфинкеля видимость или визуальность выступает одним из свойств наблюдаемости/свидетельствуемости. Видеозапись может зафиксировать детали, формирующие наблюдаемую упорядоченность практики (Garfinkel, 2002: 148; Garfinkel, Livingston, 2003: 21), но наблюдаемость феноменов порядка шире, чем визуальность. Это показывают, например, исследования взаимодействия со слепоглыми детьми (Goode, 1990). Для них мир очевидно упорядочен не наблюдаемым или визуальным, но свидетельствуемым образом, хотя аналитик (и вообще зрячие) открывают эту упорядоченность через наблюдение.

5. До выхода работы Уотсона этнометодологи, занимавшиеся видеоанализом, исходили из этого понимания визуального, не артикулируя его (Goodwin, 1981; Heath, 1986; Heath, Luff, 2000).

ниях Джеффа Коултера по «праксеологии восприятия». Все трое ставили перед собой цель показать практическую природу восприятия (в противоположность восприятию как психологическому процессу), но видели решение в изучении разных аспектов визуального: изображений, практик зрения и языковых конструкций, описывающих разные «модусы восприятия».

В статье я рассмотрю отношения между четырьмя концепциями (визуальность как наблюдаемость, изображения, практики зрения или описания) с точки зрения их вклада в современные исследования визуального в ЭМ. Меня будет интересовать вклад подходов Линча, Гудвина и Коултера в первоначальную идею Гарфинкеля о наблюдаемости, а также то, как их дополнения используются в эмпирических исследованиях других ученых, близких к ЭМ.

Как я постараюсь показать, эти подходы к визуальному были интегрированы в единую концепцию визуального в ЭМ. Она, во-первых, основывается на идее Гарфинкеля о наблюдаемости/визуальности как свойстве практик, а во-вторых, предполагает возможность изучать визуальное восприятие как совместное практическое ситуативное достижение, а не индивидуальный когнитивный феномен. Однако объединение произошло только отчасти. В дальнейшем этнометодологи взяли из работ Линча, Гудвина и Коултера саму тему — исследование когнитивных феноменов (восприятия) через наблюдаемые действия (которая не была подробно прописана у Гарфинкеля), но сделали ее побочным сюжетом, продолжив фокусироваться на содержании практик. Исследования визуального восприятия не стали самостоятельным сюжетом в ЭМ. Большинство теоретических положений, которыми Линч, Гудвин и Коултер дополнили Гарфинкеля, их последователи в ЭМ также проигнорировали, заимствовав только основную идею о том, что визуальное восприятие реализуется через практики.

Визуальное как изображение

Исследования научных репрезентаций Майкла Линча хронологически были первым проектом изучения визуального в ЭМ, который дополнил исследования наблюдаемых методов организации практик анализом изображений.

Линч начал заниматься темой научных репрезентаций во время исследования лаборатории, в которое он был вовлечен параллельно с Бруно Латуром, Стивом Вулгаром, Клауссом Аманом, Карин Кнор-Цетиной (Amann & Knorr-Cetina, 1988; Knorr-Cetina, 1981; Latour, 1986; Latour & Woolgar, 1979; Lynch, 1985a). Интерес Линча к репрезентациям был вписан в проблематику, которой занималась STS (Science and Technology Studies) того периода — дебаты о природе научного знания между «реалистами» и «конструктивистами», вопрос о том, являются ли научные репрезентации отражением реальности или они ее конструируют. Линча интересовал вопрос, как репрезентации получают свою «реалистичную» форму, как она связана с объектом исследования и социальным порядком в лаборатории (Lynch, 1991b: 207).

Анализ репрезентаций как материальных объектов привел Линча к спору с концепцией ментальных репрезентаций (теориями восприятия как когнитивного процесса отбора информации из внешнего мира). Этот подход к восприятию предполагает, что репрезентации — это проекции разума, отображения на сетчатке (Lynch, 1988: 204), т. е. феномены, недоступные для наблюдения. Линча же интересовала «внешняя сетчатка» — материальные изображения, которые заключают в себе коллективные практики ученых, направленные на то, чтобы «трансформировать ранее скрытые феномены в визуальные отображения для совместного „видения“ и „знания“» (Lynch, 1988: 202–203).

Исследование «внешней сетчатки» предполагало, что репрезентации определенным образом задают то, что может быть увидено. С позиции Линча, они способны на это, потому что содержат коллективную работу по их созданию. В качестве примера он рассматривает схематическое изображение клетки в учебнике по биологии. В биологии модель клетки воплощает в себе работу с конкретным объектом, из наблюдений над которым она была получена (например, лабораторной мышью), обработку объекта лабораторным оборудованием, стандартизацию его признаков, графическую обработку, подчеркивание одних аспектов и затемнение других. В результате модель выглядит для других ученых натуралистично и позволяет читать ее как демонстрацию одних свойств объекта в противовес другим. Линч рассматривает несколько техник превращения научных изображений в «натуралистичный объект» (Lynch, 1985b, 1988), но общая идея состоит в том, что область видимого и способы восприятия научного объекта опосредованы практиками работы с ним, которые воплощены в изображениях⁶. В работах Линча 1980-х годов изображения — это «долингвистические способы производства порядка», определяющие те стороны объекта, которые потом становятся различимы в словесных объяснениях ученых (Lynch, 1985b: 52)⁷.

Идея об изображениях, которые содержат практики работы с ними и за счет этого формируют восприятие, отчасти совпадала с программой Гарфинкеля, отчасти — с подходом STS (в частности, идеей Латура и Вулгара о «записывающих устройствах»). Делая акцент на работе, воплощенной в изображениях, Линч следовал принципам классических этнометодологических исследований науки (Garfinkel, Lynch, Livingston, 1981). Разговор об изображениях как о результате обобщенных практик, которые задают стабильные способы их прочтения, и попытка говорить о практике на основе анализа инструкции (если изображение понимать как инструкцию, которая содержит указания на то, как ее читать) выходил за пределы классических этнометодологических исследований, поскольку пред-

6. На примере гистологии Линч пишет об этом так: «Графические форматы, инструментальные поля и техники подготовки в гистологии одновременно проникают в области того, что видимо, и в средства восприятия, как если бы они работали в качестве элементов внешней сетчатки, которые активируют то, что различимо, и схематически обрабатывают его» (Lynch, 1985: 59).

7. В другой статье, посвященной изображениям в биологии, Линч упоминает, что репрезентации требуют определенных навыков для их прочтения, но не останавливается на этом подробнее (Lynch, 1991).

полагал, что изображение может предопределять практику (например, практику восприятия).

Другие авторы заимствовали у Линча в основном первую часть, продолжавшую работу Гарфинкеля, и тему исследования научных репрезентаций. Работы Люси Сачмэн о репрезентациях в когнитивной науке (Suchman, 1988), Линча и Д. Бьелича о проведении научных экспериментов (их можно назвать отчетами) концентрировались на описании рутинной работы по созданию научных объектов (Bjelić, 1996; Bjelić, Lynch, 1992). В них ответом на вопрос, как ученые делают видимым свой объект, было описание техники выполнения эксперимента, а не свойств изображения. Такой же ответ дает недавнее исследование Филиппа Сормани об использовании сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Он гораздо больше нацелен на описание «живой работы» лаборатории, а не процесса перевода данных в репрезентации или анализа их свойств. Для Сормани вопрос о том, как ученые «видят», — это вопрос о том, как порядок в лаборатории становится видимым и доступным для описания, на который он отвечает одновременно через классическую этнографию, описание собственного обучения и видеоанализ экспериментов (Sormani, 2014).

Исследования Линча о технологически опосредованной природе восприятия также внесли вклад в концепцию визуальных практик Гудвина (Goodwin, 1994: 601; Goodwin, Goodwin, 1996: 61). Технические устройства и визуальные репрезентации, наравне с телесными практиками играют для него ключевую роль в структурировании восприятия и выступают способом, который позволяет сделать профессиональную специфику зрения устойчивой и воспроизводимой (Goodwin, 2000a). При этом Гудвин критиковал Линча за то, что тот говорил о репрезентациях как о стабильных объектах, а не об их использовании в контексте локальной работы, и пытался восполнить этот недостаток подхода Линча в собственных исследованиях (Goodwin, 1996: 41). Последующие работы Линча (Lynch, Jordan, 2000) больше фокусировались не на анализе свойств изображений, а на их использовании.

Современные исследования науки, близкие к ЭМ, также рассматривают изображения в контексте их использования и как «площадки взаимодействия», а не стабильные объекты, формирующие восприятие. Например, Морана Алач ставит вопросы о том, как репрезентации мозга создаются в контексте взаимодействия ученых, как их форма задает восприятие и какие средства ученые привлекают для того, чтобы получить информацию из изображений и задействовать их в своей работе (Алач, 2011). Джанет Вертеси использует классическую этнографию, чтобы проследить процесс создания фотографий Марса, начиная с обсуждения того, куда направить робот-марсоход, до обработки снимков и использования их в работе. Ее интересует и то, как устроен процесс принятия решений и распределение обязанностей в команде, и телесные практики «видения» снимков (Vertesi, 2015). Эти исследования больше сосредоточены на локальном содержании работы: каким образом нейрочеловеки используют фМРТ-снимки в своей работе, каким об-

разом создаются изображения Марса, каким образом физики работают с СТМ (в этой конкретной ситуации здесь-и-сейчас), а не на обобщенных практиках визуализации.

Практики зрения Чарльза Гудвина

Если исследования изображений касались вопроса о природе восприятия лишь отчасти, то для исследований Чарльза Гудвина о «профессиональном зрении» этот вопрос был ключевым. В 1990-е годы Гудвин написал серию работ о восприятии в рабочих практиках. В них его главной задачей было показать практическую природу зрения и освободиться от представления о зрении как об индивидуальном когнитивном процессе. Это направление работы Гудвина выросло из исследований роли взгляда в разговоре (Goodwin, 1981) и проекта Люси Сачмэн по изучению работы аэропорта в центре Xerox PARC⁸.

«Профессиональное зрение» — основной термин Гудвина, который стал известен далеко за пределами ЭМ, — отсылает к первому опубликованному исследованию на эту тему (Goodwin, 1994)⁹. В статье с одноименным названием Гудвин анализирует видеозапись судебного процесса над полицейскими, избившими чернокожего мотоциклиста Родни Кинга. Несмотря на наличие доказательств, присяжные сначала оправдали обвиняемых. Свидетель защиты убедил их, что для полицейских движения мотоциклиста сигнализировали агрессию и попытку атаковать, которая вынуждала продолжать применять силу (Goodwin, 2000a). Материалы судебного разбирательства Гудвин сопоставляет с работой студентов-археологов, которым нужно научиться классифицировать почву по цветам. Он показывает, что, как и полицейские, археологи воспринимают землю на месте раскопок специфическим образом, например, видят больше оттенков и используют различие между цветами как материал для своей работы. Эту способность видеть и понимать мир селективно, как того требуют задачи профессии, Гудвин называет профессиональным зрением (Goodwin, 1994: 606).

Гудвин, естественно, не был первым, кто подумал о селективности зрения, хотя именно эту идею чаще других замечали его интерпретаторы за пределами ЭМ. Его задача состояла в том, чтобы показать, что профессиональное зрение — это не свойство, которое по умолчанию присуще человеку, и не индивидуальная когнитивная операция, а феномен, который (в случае судебного разбирательства) создается в ходе взаимодействия между свидетелем защиты, видеозаписью избивения и присяжными. Присяжные могут увидеть признаки агрессии в движениях мотоциклиста только после того, как полицейский через наблюдаемые телесные практики укажет на сцены, которые нужно «видеть» определенным образом,

8. Хронологически первая работа Гудвина о специфике профессионального зрения была представлена на конференции в 1990 году и основывалась на данных совместного проекта с Люси Сачмэн (Goodwin, Goodwin, 1996: 61).

9. Хотя сам Гудвин не использовал его за пределами этой публикации.

подчеркнет нужные моменты этих сцен и соотнесет их с «кодовой схемой», т. е. расскажет присяжным, о чем сигнализирует тот или иной момент. Чтобы «увидеть» цвет почвы и использовать его в работе, студентам-археологам нужно сопоставить материал с цветовой схемой Манселла, отреагировать на замечания более опытных археологов, занести результат в специальную форму и отметить на карте. Все это предполагает, во-первых, обучение, а во-вторых, наблюдаемую коллективную работу. Профессиональное зрение производится через способы его реализации — демонстрацию и выделение определенных эпизодов, которые могут указывать на агрессивные намерения задержанного; в случае археологии — через использование специальных инструментов, графических репрезентаций, инструкций и корректирования совместной работы во время сбора археологического материала. Зрение — это не автоматический процесс, а результат активного телесного взаимодействия с внешним миром, структурирования его так, чтобы подчеркнуть некоторые его свойства в противовес другим. Возможность видеть мир селективно — это практическое коллективное достижение, которое реализуется через определенный набор наблюдаемых действий (в статье 1994 года Гудвин выделяет три типа таких действий: использование кодовых схем, высвечивания или подчеркивания [highlighting] и использование графических репрезентаций [Goodwin, 1994: 606–607]). Демонстрации практической природы зрения посвящены публикации Гудвина о работе археологов (Goodwin, 2000b), океанологов (Goodwin, 1995), сотрудников аэропорта (Goodwin, Goodwin, 1996) и химической лаборатории (Goodwin, 1997).

Показывая роль артефактов и телесных практик в структурировании восприятия, Гудвин не спорит с тем, что зрение является когнитивным процессом, он выступает против отождествления сознания с индивидуальными структурами мозга (Goodwin, 1994: 609, 1997: 26; Goodwin, Goodwin, 1996: 88). В социологии такой подход предполагает, что за зрением стоит индивидуальная когнитивная схема, которая в свою очередь обусловлена социальным. Поскольку зрение считается индивидуальным психологическим процессом, социологи не могут изучать зрение «напрямую»: сначала требуется предварительно каким-то образом извлечь знание о зрении — например, методом фотоинтервью (Harper, 2002), через опрос о предпочтениях в фотографии (Бурдые и др., 2014) или путем анализа визуальных артефактов, которые можно интерпретировать, зная схему интерпретации (Grassseni, 2007). Для Гудвина сознание и зрение — это феномены, ситуативно возникающие во взаимодействии между людьми, инструментами и артефактами (Goodwin, Goodwin, 1996: 88). Они наблюдаемы, доступны для анализа и социальны, потому что состоят в последовательности согласованных действий, а не за счет внешних факторов. В этом концепция Гудвина, в работах которого зрение начинает напоминать «распределенное сознание» Эдвина Хатчинса (Hutchins, 1995)¹⁰, заметно отличается от подхода к зрению как индивидуальному когнитивному процессу,

10. По поводу отличий между двумя концепциями «распределенного сознания» см. например: Streeck, 2015.

заданному внешними социальными структурами. Отличия от работ, скажем, Питирима Сорокина, для которого геолог «видит» в земле геологические структуры, а крестьянин чернозем, потому что так устроено его знание (Абрамов, 2016: 303), могут быть более значительными, чем представляются на первый взгляд.

Гудвин выступает против идеи, что восприятие задано внешними по отношению к практике и агенту структурами, например языком. Лучше всего это проясняет исследование эксперимента в химической лаборатории (Goodwin, 1997). Эмпирически оно посвящено разбору прикладной задачи, которая стоит перед химиками, — определению того, что индикатор, который сигнализирует о завершении реакции, стал черным. Сложности при выполнении инструкции «завершить эксперимент, когда индикатор станет черным», связаны с тем, чтобы определить, достаточно ли насыщен этот черный цвет, чтобы можно было назвать его черным, а реакцию завершенной. Теоретически работа построена на споре со структуралистским подходом к восприятию цвета в лингвистике и когнитивной антропологии. С точки зрения лингвистов, последователей Соссюра, структуры восприятия цвета находятся в языке (что получило название гипотезы Сэпира — Уорфа). Развивая эту идею, Б. Берлин и П. Кей (Berlin, Kay, 1969) показали, что системы классификации цвета во всех языках построены по одному принципу, что, скорее всего, связано с устройством зрительной системы. Гудвин противопоставляет этой позиции взгляд на восприятие цвета как на действие, укорененное в конкретной ситуации. Существующая в языке категория «черного» оказывается бесполезной в ситуации эксперимента. Чтобы провести эксперимент, химикам нужно определить свои критерии «черного», релевантные для текущей задачи, поэтому они создают новые категории для определения цвета (индикатор подходящего черного определяется как цвета «шерсти гориллы»). Разбирая то, как химики справляются с этой задачей, Гудвин показывает, что восприятие цвета укоренено в локальной работе и неотделимо от понимания конкретной практики, в данном случае — химического эксперимента. Эксперимент химиков показывает, что цвета «самого-по-себе» не существует, он существует лишь как часть практики.

Гудвиновские исследования практик зрения — основной проект, который получил известность за пределами этнометодологии, хотя зачастую — в искаженном виде или на уровне обобщенных ссылок¹¹. Впрочем, недопонимание этих исследований наблюдается и в ЭМ. Критически отзываясь по поводу их популярности, Энн Ролз называет Гудвина популяризатором очевидной идеи о том, что профессионалы начинают видеть объекты, которые другие не замечают. Ссылаясь на «Этнометодологическую программу» Гарфинкеля (Garfinkel, 2002), Ролз пишет, что для Гарфинкеля любое взаимодействие с объектами предполагало социально обусловленное зрение (Rawls, 2009: 713), из чего можно сделать вывод, что работа Гудвина в этом направлении была избыточной.

11. Например, часть последователей использовала термин «профессиональное зрение», чтобы изучать представления и когнитивные категории (Russ et al., 2008; Styhre, 2010), хотя основной задачей Гудвина был спор с таким подходом.

В действительности Гудвин не утверждал, что практическая природа зрения или особенности восприятия присущи только профессионалам — в первой же публикации на эту тему он пишет, что профессиональные практики просто являются более наглядной демонстрацией социальной природы зрения, практики «высвечивания» или «кодирования» широко распространены (Goodwin, 1994: 630). Кроме того, хотя Гарфинкель очевидно не был заинтересован в исследовании индивидуальных психологических процессов, он не занимался критикой индивидуализма прицельно. В этом смысле попытки Гудвина говорить о психологических процессах как о практиках продолжали логику Гарфинкеля, но были важным дополнением его программы. Возможно, Ролз права в том, что практическую концепцию зрения можно было построить только с опорой на Гарфинкеля, но Гудвин также привлек теорию деятельности Л. С. Выготского, когнитивную антропологию Дж. Лэйв и Э. Венгера и теорию распределенного сознания Э. Хатчинса. В конце концов работа по исследованию зрения привела Гудвина к формированию собственной теории действия (Goodwin, 2000с), близкой к Хатчинсу отказом от идеи агента как индивидуального актора и сосредоточенной на роли телесных и материальных «семиотических ресурсов» в формировании социального (Streeck, 2015).

Однако, как и в случае Линча, те идеи Гудвина, которые выходили за пределы программы Гарфинкеля, этнометодологи почти не использовали. Хотя, судя по количеству цитирований, ссылки на работы Гудвина в какой-то момент стали почти обязательными в визуальных исследованиях в ЭМ (и иногда вне ее), у Гудвина почти не было последователей, которые продолжали бы работать с теми же теоретическими проблемами и ресурсами. Почти никто из последующих исследователей не фокусировался на вопросах о природе зрения и месте сознания, которые интересовали Гудвина. Идеи о социальной природе зрения и практическом выражении когнитивных феноменов получили широкое распространение, понятия «воплощенной структуры участия» (*embodied participation framework*), семиотических полей или знаковых систем — гораздо меньше¹².

Исследователи, которые фокусировались на «видимом», «визуальном» или «профессиональном зрении», опираясь на работы Гудвина, гораздо больше занимались описанием конкретных практик. В этом смысле исследования того, как становится видимым формирование рабочих групп (Kawatoko, Ueno 2003), изучение роли видео в работе врачей (Mondada, 2003) и многочисленные работы об инструкциях в обучении (Alby, Zucchermaglio, 2008; Gåfvels, 2016; Lindwall, Ekstorm, 2012; Rystedt et al., 2011) следуют за Гудвиным лишь отчасти. Они используют работы Гудвина, чтобы включить в анализ практик когнитивные процессы, но концентрируются на специфических деталях. В качестве исключения можно назвать

12. Здесь нужно сделать оговорку: этнометодологи иногда употребляют эти понятия, чтобы сфокусироваться на взаимодействии и использовании невербальных ресурсов, но остаются в рамках «гуманистической» концепции агентности» (Streeck, 2015: 432) (участники разговора используют разнообразие семиотических ресурсы, чтобы, например, донести сообщение до собеседника), тогда как для Гудвина агентность размывается в ситуации взаимодействия между жестами, телами и семиотически нагруженными объектами.

работы Ога Нишизаки (Nishizaka, 2000a, 2000b), который в 2000-е годы занимался вопросом о природе зрения. Впоследствии он изменил фокус, но остался близок к Гудвину интересом к практикам структурирования восприятия (Nishizaka, 2006, 2014). Морана Алач также более активно, чем другие, использовала идеи Гудвина о роли семиотических ресурсов в структурировании восприятия (Alač, 2011), правда, совмещая их с исследованиями научных репрезентаций в STS, идеями Умберто Эко и Чарльза Пирса.

Праксеология восприятия Джеффа Коултера

Третий подход, который внес вклад в исследования визуального в ЭМ и мог стать альтернативой для анализа визуального, представлен в работах Джеффа Коултера и его соавторов — Эда Парсонса и Уэса Шэррока (Coulter, Parsons, 1990; Sharrock, Coulter, 1998, 2003). Как и Гудвин, Коултер с соавторами пытаются уйти от идеи о восприятии как индивидуальной когнитивной операции, рассматривая его как ситуативное практическое социальное достижение (Coulter, Parsons, 1990: 251–252). Отличие состоит в том, что они предлагают отказаться от исследований восприятия как единого процесса и изучать отдельные «модальности восприятия». Развивая идеи лингвистической философии, Коултер утверждает, что ключевую роль в исследовании этих модальностей должны играть языковые конструкции, например глаголы, которые описывают варианты «визуальной ориентации»: «наблюдать», «замечать», «искать», «бросать взгляд» и т. д. (Ibid.: 260–261). Коултер предлагает сосредоточиться на описании использования этих глаголов и контекстов их применения, отказавшись от исследований визуального восприятия в целом¹³.

В отличие от концепций Линча и Гудвина, которые возникли из эмпирических исследований, «праксеология восприятия» появляется как результат теоретического спора. Основными сторонами выступают философы Джерри Фодор и Зенон Пилишин, а также психолог Джеймс Гибсон. Далее я коротко представлю их позиции, чтобы сделать более ясной концепцию Коултера и соавторов.

Фодор и Пилишин представляют «когнитивно-конструктивистский» подход к восприятию, который выступает основным объектом критики Коултера (Coulter, Parsons 1990: 255). Он предполагает, что зрение разделено на две части: физическое восприятие информации нейронами и перевод в концепты. Интерпретация или перевод информации в ментальные репрезентации (концепты) — это социальный процесс, остальные части — когнитивные операции, которые должна изучать психология. Такое разделение не устраивает Коултера, ему важно отказаться от идеи зрения как психологического процесса, но сохранить концептуальную связанность (conceptually boundness) зрения, связку между зрением и языком (Coulter, Parsons, 1990: 255–256).

13. В совместной работе с Шэрроком он расширяет эту идею, предлагая также отказаться от генерализированной теории обучения (Sharrock, Coulter, 2003).

На первых этапах союзником Коултера и Парсонса выступает Дж. Гибсон и его экологическая теория восприятия (Гибсон, 1988). Гибсон предполагает теорию прямого восприятия, без посредника в виде ментальных репрезентаций. Структурирование информации, по Гибсону, происходит не на уровне когнитивных операций — поток уже структурирован через «аффордансы» внешнего мира. Для Коултера также важно, что Гибсон критикует исследования статичного восприятия. Восприятие всегда вовлечено в другие виды активности, поэтому его нужно изучать в контекстах реализации.

Коултер и Парсонс поддерживают стремление Гибсона контекстуализировать исследования восприятия. Их основная претензия состоит в том, что Гибсон не делает следующий шаг, которым должен стать отказ от исследований восприятия как общего явления. Если восприятие ситуативно, то вместо зрения или восприятия «вообще» нужно исследовать разные «модальности восприятия», среди которых до сих пор были изучены только несколько основных: видение¹⁴, смотрение, сканирование (scanning). Нужно расширить этот список и обратиться к описанию других конструкций, которые мы используем, чтобы говорить о восприятии в конкретной ситуации¹⁵.

Похожую претензию Коултер и Парсонс адресуют этнометодологическим исследованиям восприятия. Критикуя исследования взгляда в разговоре, выполненные Гудвиным, Коултер отмечает, что взгляд (gaze) и производное от него глаzenie (gazing) в ситуации разговора может иметь конкретное значение, которое Гудвин игнорирует. Сказать, что слушатель «глазеет» на говорящего, означает, что он не следует за ходом разговора и не вовлечен в него. Сказать, что кто-то «глазеет» на прохожего, значит указать на слишком пристальное внимание. Исследователи, которые используют слово «взгляд» как обобщающий концепт, не замечают этих оттенков (Coulter, Parsons, 1990: 265–266). Такую же критику Коултер применяет к использованию концепта «видеть» в анализе категоризации членства (membership categorization analysis — МСА) Харви Сакса. В одном из первых текстов об МСА Сакс показывает, что восприятие обусловлено социальными категориями: когда мы наблюдаем категориально-связанную активность, мы склонны видеть в ее участниках членов категории, к которой эта активность принадлежит (Sacks, 1972: 338–339). Он доказывает это, анализируя фразу «Ребенок заплакал. Мама взяла его на руки». Когда наблюдатель видит такую последовательность действий, он видит, что мать берет на руки ребенка, а не, например, что женщина берет на руки

14. Позднее Коултер уже в соавторстве с Шэрроком со ссылкой на Гилберта Райла пишет о том, что «видеть» или «воспринимать» вообще не подходят для исследования психологических феноменов, т. к. обозначают достижение, а не процесс (Sharrock, Coulter, 1998: 149; 2003: 77).

15. В последующих публикациях Коултер расширил свою критику гибсоновской теории, обнаружив в ней остатки «когнитивизма». В совместной работе с Шэрроком он критикует идею аффорданса и концепт «информации». Аффордансы ситуативны, поэтому нет смысла в их исследовании и введении дополнительного термина, нужно изучать контексты, в которых они приобретают смысл. Следует использовать только категории, которые сами наблюдатели используют, чтобы «видеть» (Sharrock, Coulter, 1998: 162).

мужчину. Сакс называет этот механизм «максимой смотрящего» (viewer's maxim). Для Коултера такой пример не совсем корректен, потому что «смотреть» (view) отсылает к конкретной активности: можно смотреть телевизор или парады, но ситуацию с мамой и ребенком мы можем «наблюдать», «заметить» ее, «стать свидетелем» (Coulter, Parsons, 1990: 264). Анализ восприятия в более узких категориях, укорененных в ситуации их использования, может быть альтернативной исследовательской задачей.

В качестве примера эмпирической программы праксеологии восприятия Коултер и Парсонс предлагают проследить использование значений слова «заметить» (notice), гораздо более ограниченного в контекстах использования, чем «видеть». Они достаточно обзорно рассматривают подборку ситуаций, в которых восприятие может быть описано как «замечание», разграничивая «заметить» от «заметить, что» или «не заметить что-то» (Coulter, Parsons, 1990: 266–269). При этом их эмпирическая программа остается размытой. Например, не до конца ясно, какой материал предлагается использовать: должны ли это быть наблюдения «живой работы», как предполагается у Гарфинкеля, анализ объяснений участников или только анализ типичных случаев употребления конструкций, которые относят к зрению. Не ясно, интересует ли Коултера только использование языка для описания восприятия или телесные практики.

В дальнейших работах Коултер и его соавторы не развивают свой эмпирический проект, концентрируясь на теоретических спорах с Гибсоном, Фодором и Хомским (Sharrock, Coulter, 1998, 2003). Это может быть одной из причин, по которым проект праксеологии восприятия не был реализован в работах других авторов. Эмпирические исследования обычно либо используют отправные пункты теории о практической природе зрения и отрицании ментальных репрезентаций, общие для всех этнометодологических подходов к анализу визуального (Alač, 2011; Büscher et al., 2000; Evans, Fitzgerald, 2016; Heinemann, 2016; Koschmann et al., 2010), либо заимствуют отдельные концепты, сохраняя основной фокус на описании наблюдаемых особенностей практики (Hindmarsh, Heath, 2000; Licoppe, 2017; Llewellyn, Burrow, 2008; Sormani, 2014).

Визуальное и наблюдаемое в современных этнометодологических исследованиях

Проблематика исследования визуального как самостоятельной области, интересовавшая Гудвина, Коултера и Линча, оказалась исчерпанной в начале 2000-х. Это не значит, что этнометодологи перестали заниматься исследованиями визуального, однако вопросы о природе зрения были вытеснены исследованиями специфики практик.

«Визуальность» в современных этнометодологических исследованиях выражается в методах (видеоанализ) и фокусе на наблюдаемых методах организации практик. Очень приблизительно современные исследования визуального в ЭМ

разбиваются на несколько тематических областей, которые во многом пересекаются. Это исследования рабочих мест (Luff, Hindmarsh, Heath, 2000), невербальной коммуникации в разговоре (Heinemann, 2016; Kidwell, 2015; Mondada, 2016; Nishizaka, 2013); научной работы, включая работу с репрезентациями (Alač, 2008, 2011, 2014; Sormani, 2014); инструкций и обучения навыкам (Bernhard et al., 2007; Gåfvels, 2016; Lindwall, Ekstorm, 2012; Lindwall, Lymer, 2008; Nishizaka, 2014); работы с техникой и компьютерными интерфейсами (Alby, Zuccheromaglio, 2008; Heath, vom Lehn, 2008; Luff et al., 2000). Из работ Линча, Коултера и Гудвина эти исследования иногда заимствуют темы (изображения, профессиональное восприятие или языковые конструкции), но концентрируются на описании специфики практик, т. е. скорее следуют изначальной логике Гарфинкеля, чем реализуют какой-то из отдельных проектов визуального. Восприятие/зрение и способы его реализации в них возникают как отдельные темы только в той степени, в которой они вносят вклад в организацию локального взаимодействия.

Четыре подхода к визуальному, которые исторически существовали в ЭМ: визуальность как наблюдаемость, изображения, практики зрения или описания можно было бы считать конфликтующими, но эмпирические исследования объединили их в единую концепцию визуального в ЭМ. Эта концепция, во-первых, основывается на идее Гарфинкеля о наблюдаемости/визуальности как свойстве практик, а во-вторых, предполагает возможность изучать визуальное восприятие как совместное практическое ситуативное достижение, а не индивидуальный когнитивный феномен.

В итоге, с одной стороны, мы можем говорить о неудаче проектов Гудвина, Коултера и Линча, поскольку в полной мере они никогда не были реализованы ни внутри, ни вне ЭМ. Последователи заимствовали из них тематику, но сохранили только те идеи, которые совпадали с концепцией Гарфинкеля и идеей о наблюдаемости. С другой стороны, отправные пункты этих концепций сформировали этнометодологический подход к исследованию восприятия и других когнитивных феноменов как коллективных наблюдаемых достижений, укорененных в практике и локальных взаимодействиях. Таким образом, они дополнили концепцию Гарфинкеля возможностью эмпирически изучать когнитивные процессы, но отказались от них как от объяснительного принципа.

Литература

- Абрамов Р. Н. (2016). Обыденное и научное знание в исследованиях профессий и профессионализма: историко-теоретический анализ // *Девятко И. Ф., Абрамов Р. А., Катерный И. В. (ред.). Обыденное и научное знание об обществе: взаимодействия и конфигурации. М.: Прогресс-Традиция. С. 246–309.*
- Бурдые П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К. (2014). *Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии* / Пер. с франц. Б. М. Скуратова. М.: Праксис.

- Гибсон Дж. (1988). Экологический подход к зрительному восприятию / Пер. с англ. Т. М. Сокольской под ред. А. Д. Логвиненко. М.: Прогресс.
- Корбут А. (2013). Гоббсова проблема и два ее решения: нормативный порядок и ситуативное действие // Социология власти. № 1–2. С. 9–26.
- Alač M. (2008). Working with Brain Scans: Digital Images and Gestural Interaction in fMRI Laboratory // *Social Studies of Science*. Vol. 38. № 4. P. 483–508.
- Alač M. (2011). Handling Digital Brains: A Laboratory Study of Multimodal Semiotic Interaction in the Age of Computers. Cambridge: MIT Press.
- Alač M. (2014). Digital Scientific Visuals as Fields for Interaction // *Coopmans C., Vertesi J., Lynch M., Woolgar S. (eds.). Representation in Scientific Practice Revisited*. Cambridge: MIT Press. P. 61–88.
- Alby F., Zuccheromaglio C. (2008). Collaboration in Web Design: Sharing Knowledge, Pursuing Usability // *Journal of Pragmatics*. Vol. 40. № 3. P. 494–506.
- Amann K., Knorr-Cetina K. (1988). The Fixation of (Visual) Evidence // *Human Studies*. Vol. 11. № 2–3. P. 133–169.
- Berlin B., Kay P. (1969). Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press.
- Bernhard J., Lindwall O., Engkvis J. t, Zhu X., Degerman M. S. (2007). Making Physics Visible and Learnable Through Interactive Lecture Demonstrations. Paper presented at Physics Teaching in Engineering Education PTEE (January 2007).
- Bjelić D. (1996). Lebenswelt Structures of Galilean Physics: The Case of Galileo's Pendulum // *Human Studies*. Vol. 19. № 4. P. 409–432.
- Bjelić D., Lynch M. (1992). The Work of a (Scientific) Demonstration: Respecifying Newton's and Goeth's Theories of Prismatic Color // *Watson G., Seiler R. M. (eds.). Text in Context: Contributions to Ethnomethodology*. London: SAGE. P. 52–78.
- Büscher M., Friedlaender V., Hodgson E., Rank S., Shapiro D. (2000). Designs on Objects: Imaginative Practice, Aesthetic Categorisation, and the Design of Multimedia Archiving Support // *Digital Creativity*. Vol. 11. № 3. P. 161–172.
- Coulter J., Parsons E. D. (1990). The Praxiology of Perception : Visual Orientations and Practical Action // *Inquiry*. Vol. 33. № 1. P. 251–72.
- Evans B., Fitzgerald R. (2016). «You Gotta See Both at the Same Time»: Visually Analyzing Player Performances in Basketball Coaching // *Human Studies*. Vol. 40. № 1. P. 1–24.
- Gåfvels C. (2016). Vision and Embodied Knowing: The Making of Floral Design // *Vocations and Learning*. Vol. 9. № 2. P. 133–149.
- Garfinkel H. (1963). A Conception of, and Experiments with, «Trust» as a Condition of Stable Concerted Actions// *Harvey O. J. (ed.). Motivation and Social Interaction: Cognitive Determinants*. New York: Ronald Press. P. 187–238.
- Garfinkel H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Englewood-Cliffs: Prentice-Hall.
- Garfinkel H. (ed.). (1986). *Etnomethodological Studies of Work*. London: Routledge.
- Garfinkel H. (2002). *Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism*. Lanham: Rowman and Littlefield.

- Gafrinkel H., Livingston E.* (2003). Phenomenal Field Properties of Order in Formatted Queues and Their Neglected Standing in Current Situation of Inquiry // *Visual Studies*. Vol. 18. № 1. P. 21–28.
- Goode D.* (1990). On Understanding without Words: Communication between a Deaf-Blind Child and Her Parents // *Human Studies*. Vol. 13. № 1. P. 1–37.
- Goodwin C.* (1981). *Conversational Organization: Interaction Between Speakers and Hearers*. New York: Academic Press.
- Goodwin C.* (1994). Professional Vision // *American Anthropologist*. Vol. 96. № 3. P. 606–633.
- Goodwin C.* (1995). Seeing in Depth // *Social Studies of Science*. Vol. 25. P. 237–274.
- Goodwin C.* (1997). The Blackness of Black: Color Categories as Situated Practice // *Resnick L. B., Säljö R., Pontecorvo C., Burge B.* (eds.). *Discourse, Tools and Reasoning: Essays on Situated Cognition*. Berlin: Springer. P. 111–140.
- Goodwin C.* (2000a). Practices of Seeing: Visual Analysis: An Ethnomethodological Approach // *van Leeuwen T., Jewitt C.* (eds.). *Handbook of Visual Analysis*. London: SAGE. P. 157–182.
- Goodwin C.* (2000b). Practices of Color Classification // *Mind, Culture, and Activity*. Vol. 7. № 1–2. P. 19–36.
- Goodwin C.* (2000c). Action and Embodiment within Situated Human Interaction // *Journal of Pragmatics*. Vol. 32. № 10. P. 1489–1522.
- Goodwin C., Goodwin M.* (1996). Seeing as Situated Activity: Formulating Planes // *Engeström Y., Middleton D.* (eds.). *Cognition and Communication at Work*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 61–95.
- Grassens C.* (2007). *Skilled Visions: Between Apprenticeship and Standards*. New York, Oxford: Berghahn Books.
- Harper D.* (2002). Talking about Pictures : A Case for Photo Elicitation // *Visual Studies*. Vol. 17. № 1. P. 13–26.
- Heath C.* (1986). *Body Movement and Speech in Medical Interaction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heath C., Luff P.* (2000). *Technology in Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heath C., vom Lehn D.* (2008). Configuring Interactivity: Enhancing Engagement with New Technologies in Science Centres and Museums // *Social Studies of Science*. Vol. 38. № 1. P. 63–91.
- Heinemann T.* (2016). From «Looking» to «Seeing»: Indexing Delayed Intelligibility of an Object with the Danish Change-of-State Token N↑a↓: // *Journal of Pragmatics*. Vol. 104. P. 108–132.
- Hindmarsh J., Heath C.* (2000). Sharing the Tools of the Trade // *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 29. № 5. P. 523–562.
- Kawatoko Y., Ueno N.* (2003). Talking about Skill: Making Objects, Technologies and Communities Visible // *Visual Studies*. Vol. 18. № 1. P. 47–57.
- Kidwell M.* (2015). Gaze // *Tracy K., Ilie C., Sandel T.* (eds.). *The International Encyclopedia of Language and Social Interaction*. Hoboken: John Wiley & Sons. P. 1–5.

- Knorr-Cetina K.* (1981). *The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science*. Oxford: Pergamon Press.
- Koschmann T., LeBaron C., Goodwin C., Feltovich P.* (2010). «Can You See the Cystic Artery yet?» A Simple Matter of Trust // *Journal of Pragmatics*. Vol. 43. № 2. P. 521–541.
- Latour B.* (1986). *Visualisation and Cognition : Drawing Things Together* // *Kuklick H.* (ed.). *Knowledge and Society: Studies in the Sociology of Culture Past and Present*. Greenwich: JAI Press. P. 1–40.
- Latour B., Woolgar S.* (1979). *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*. Princeton: Princeton University Press.
- Licoppe C.* (2017). Showing Objects in Skype Video-Mediated Conversations: From Showing Gestures to Showing Sequences // *Journal of Pragmatics*. Vol. 110. P. 63–82.
- Lindwall O., Ekstorm A.* (2012). Instruction-in-Interaction: The Teaching and Learning of a Manual Skill // *Human Studies*. Vol. 35. № 1. P. 27–49.
- Lindwall O., Lymer G.* (2008). The Dark Matter of Lab Work: Illuminating the Negotiation of Disciplined Perception in Mechanics // *Journal of the Learning Sciences*. Vol. 17. № 2. P. 180–224.
- Livingston E.* (2008). *Ethnographies of Reason*. Aldershot: Ashgate.
- Llewellyn N., Burrow R.* (2008). Streetwise Sales and the Social Order of City Streets // *British Journal of Sociology*. Vol. 59. № 3. P. 561–583.
- Luff P., Hindmarsh J., Heath C.* (eds.). (2000). *Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing System Design*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lynch M.* (1985a). *Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in A Research Laboratory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Lynch M.* (1985b). Discipline and the Material Form of Images: An Analysis of Scientific Visibility // *Social Studies of Science*. Vol. 15. № 1. P. 37–66.
- Lynch M.* (1988). The Externalized Retina: Selection and Mathematization in the Visual Documentation of Objects in the Life Sciences // *Human Studies*. Vol. 11. № 2–3. P. 201–234.
- Lynch M.* (1991). Science in the Age of Mechanical Reproduction: Moral and Epistemic Relations between Diagrams and Photographs // *Biology and Philosophy*. Vol. 6. № 2. P. 205–226.
- Lynch M., Jordan K.* (2000). Patents, Promotions, and Protocols: Mapping and Claiming Scientific Territory // *Mind, Culture, and Activity*. Vol. 7. № 1&2. P. 124–146.
- Lynch M., Livingston E., Garfinkel H.* (1983). Temporal Order in Laboratory Work // *Knorr-Cetina K., Mulkay M.* (eds.). *Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science*. London: SAGE. P. 205–238.
- Mondada L.* (2003). Working with Video: How Surgeons Produce Video Records of Their Activity // *Visual Studies*. Vol. 18. № 1. P. 58–73.
- Mondada L.* (2016). Challenges of Multimodality: Language and the Body in Social Interaction // *Journal of Sociolinguistics*. Vol. 20. № 3. P. 336–366.
- Nishizaka A.* (2000a). Seeing What One Sees: Perception, Emotion, and Activity // *Mind, Culture, and Activity*. Vol. 7. № 1–2. P. 105–123.

- Nishizaka A.* (2000b). The Neglected Situation of Vision in Experimental Psychology // *Theory & Psychology*. Vol. 10. № 5. P. 579–604.
- Nishizaka A.* (2006). What to Learn: The Embodied Structure of the Environment // *Research on Language and Social Interaction*. Vol. 39. № 2. P. 155–193.
- Nishizaka A.* (2013). Distribution of Visual Orientations in Prenatal Ultrasound Examinations: When the Healthcare Provider Looks at the Pregnant Woman's Face // *Journal of Pragmatics*. Vol. 51. P. 68–86.
- Nishizaka A.* (2014). Instructed Perception in Prenatal Ultrasound Examinations // *Discourse Studies*. Vol. 16. № 2. P. 217–246.
- Rawls A. W.* (2008). Harold Garfinkel, Ethnomethodology and Workplace Studies // *Organization Studies*. Vol. 29. № 5. P. 701–732.
- Russ S., Sherin B. L., Colestock A., Sherin M. G.* (2008). Professional Vision in Action: An Exploratory Study // *Issues in Teacher Education*. Vol. 17. № 2. P. 27–46.
- Rystedt H., Ivarsson J., Asplund S., Johnsson A., Bath M.* (2011). Rediscovering Radiology: New Technologies and Remedial Action at the Worksite // *Social Studies of Science*. Vol. 41. № 6. P. 867–891.
- Sacks H.* (1972). On the Analyzability of Stories by Children // *Gumperz J. J., Hymes D.* (eds.). *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication*. New York: Rinehart & Winston. P. 325–345.
- Sharrock W., Coulter J.* (1998). On What We Can See // *Theory & Psychology*. Vol. 8. № 2. P. 147–164.
- Sharrock W., Coulter J.* (2003). Dissolving the «Projection Problem» // *Visual Sociology*. Vol. 18. № 1. P. 74–82.
- Sormani P.* (2014). Respecifying Lab Ethnography: An Ethnomethodological Study of Experimental Physics. Farnham: Ashgate.
- Streeck J.* (2015). Embodiment in Human Communication // *Annual Review of Anthropology*. Vol. 44. P. 419–438.
- Styhre A.* (2010). Disciplining Professional Vision in Architectural Work: Practices of Seeing and Seeing beyond the Visual // *Learning Organization*. Vol. 17. № 5. P. 437–454.
- Suchman L.* (1988). Representing Practice in Cognitive Science // *Human Studies*. Vol. 11. № 2–3. P. 305–325.
- Vertesi J.* (2015). *Seeing Like a Rover: How Robots, Teams, and Images Craft Knowledge of Mars*. Chicago: University of Chicago Press.
- Watson R.* (2005). The Visibility Arrangements of Public Space: Conceptual Resources and Methodological Issues in Analysing Pedestrian Movements // *Communication & Cognition*. Vol. 38. № 1. P. 201–227.

Ethnomethodological Studies of Visuality

Kristina Popova

PhD Student, Graduate School of Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: k.popova000@gmail.com

The article considers how ethnomethodology (EM) studies visuality. Historically, there were four approaches to visuality in EM, those of visuality as observable activity, as images, as practices of vision, and as language constructions. Harold Garfinkel's idea of witnessability implies that the phenomena of order exist in observable methods of their production. Observability, or witnessability, at this point can be an equivalent for visuality because it suggests an opportunity to be studied with visual methods. In such a case, any ethnomethodological study is a visual study because it implies a description of observable methods of order production. Besides this idea of observability, three separate projects of visual research were developed in EM from 1980s to the 1990s by Michel Lynch, Charles Goodwin, and Jeff Coulter. They all tried to present the practical approach to visual perception (in contrast with perception as an individual psychological process), but found solutions in studying different aspects of visuality, which were images, practices of seeing, and language constructions describing different modes of perception. This text considers the relationships between the three conceptions and Garfinkel's initial idea of observability. It analyzes ideas which Lynch, Goodwin, and Coulter added to Garfinkel's ethnomethodological program, and shows how other ethnomethodologists use these additions. The article demonstrates that together they produced EM's approach to visuality, although none of these projects were completely realized inside EM. It is based on Garfinkel's idea of observability, supplemented by the opportunity to study perception as a practical social achievement situated in local interactional contexts.

Keywords: ethnomethodology, visuality, witnessability, professional vision, praxeology of perception, images, scientific representations

References

- Abramov R. (2016) Obydennoe i nauchnoe znanie v issledovaniyah professij i professionalizma: istoriko-teoreticheskij analiz [Mundane and Scientific Knowledge in the Studies of Professions and Professionalism: Historical-Theoretical Analysis]. *Obydennoe i nauchnoe znanie ob obshchestve: vzaimovlijanija i konfiguracii* [Mundane and Scientific Knowledge: Interference and Configurations] (eds. I. Deviatko, R. Abramov, I. Katerny), Moscow: Progress-Tradition, pp. 246–309.
- Alač M. (2008) Working with Brain Scans: Digital Images and Gestural Interaction in fMRI Laboratory. *Social Studies of Science*, vol. 38, no 4, pp. 483–508.
- Alač M. (2011) *Handling Digital Brains: A Laboratory Study of Multimodal Semiotic Interaction in the Age of Computers*, Cambridge: The MIT Press.
- Alač M. (2014) Digital Scientific Visuals as Fields for Interaction. *Representation in Scientific Practice Revisited* (eds. C. Coopmans, J. Vertesi, M. Lynch, S. Woolgar), Cambridge: MIT Press, pp. 61–88.
- Alby F., Zuccheromaglio C. (2008) Collaboration in Web Design: Sharing Knowledge, Pursuing Usability. *Journal of Pragmatics*, vol. 40, no 3, pp. 494–506.
- Amann K., Knorr-Cetina K. (1988) The Fixation of (Visual) Evidence. *Human Studies*, vol. 11, no 2–3, pp. 133–169.
- Berlin B., Kay P. (1969) *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*, Berkeley: University of California Press.
- Bernhard J., Lindwall O., Engkvist J., Zhu X., Degerman M. S. (2007) Making Physics Visible and Learnable Through Interactive Lecture Demonstrations. Paper presented at Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2007 (January 2007).

- Bjelić D. (1996) Lebenswelt Structures of Galilean Physics: The Case of Galileo's Pendulum. *Human Studies*, vol. 19, no 4, pp. 409–432.
- Bjelić D., Lynch M. (1992) The Work of a (Scientific) Demonstration: Respecifying Newton's and Goeth's Theories of Prismatic Color. *Text in Context: Contributions to Ethnomethodology* (eds. G. Watson, R. M. Seiler), London: SAGE, pp. 52–78.
- Bourdieu P., Boltanski L., Castel R., Chamboredon J.-C. (2014) *Obshhedostupnoe iskusstvo: opyt o social'nom ispol'zovanii fotografii* [Photography: A Middle-Brow Art], Moscow: Praxis.
- Büscher M., Friedlaender V., Hodgson E., Rank S., Shapiro D. (2000) Designs on Objects: Imaginative Practice, Aesthetic Categorisation, and the Design of Multimedia Archiving Support. *Digital Creativity*, vol. 11, no 3, pp. 161–172.
- Coulter J., Parsons E. D. (1990) The Praxiology of Perception: Visual Orientations and Practical Action. *Inquiry*, vol. 33, no 1, pp. 251–72.
- Evans B., Fitzgerald R. (2016) "You Gotta See Both at the Same Time": Visually Analyzing Player Performances in Basketball Coaching. *Human Studies*, vol. 40, no 1, pp. 1–24.
- Gärfvels C. (2016) Vision and Embodied Knowing: The Making of Floral Design. *Vocations and Learning*, vol. 9, no 2, pp. 133–149.
- Garfinkel H. (1963) A Conception of, and Experiments with, "Trust" as a Condition of Stable Concerted Actions. *Motivation and Social Interaction: Cognitive Determinants* (ed. O. J. Harvey), New York: Ronald Press, pp. 187–238.
- Garfinkel H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*, Englewood-Cliffs: Prentice-Hall.
- Garfinkel H. (ed.) (1986) *Etnomethodological Studies of Work*, London: Routledge.
- Garfinkel H. (2002) *Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism*, Lanham: Rowman and Littlefield.
- Garfinkel H., Livingston E. (2003). Phenomenal Field Properties of Order in Formatted Queues and Their Neglected Standing in Current Situation of Inquiry. *Visual Studies*, vol. 18, no 1, pp. 21–28.
- Gibson J. (1988) *Jekologicheskij podhod k zritel'nomu vospriyatiju* [The Ecological Approach to Visual Perception], Moscow: Progress.
- Goode D. (1990). On Understanding without Words: Communication between a Deaf-Blind Child and Her Parents. *Human Studies*, vol. 13, no 1, pp. 1–37.
- Goodwin C. (1981) *Conversational Organization: Interaction Between Speakers and Hearers*, New York: Academic Press.
- Goodwin C. (1994) Professional Vision. *American Anthropologist*, vol. 96, no 3, pp. 606–633.
- Goodwin C. (1995) Seeing in Depth. *Social Studies of Science*, vol. 25, pp. 237–274.
- Goodwin C. (1997) The Blackness of Black: Color Categories as Situated Practice. *Discourse, Tools and Reasoning: Essays on Situated Cognition* (eds. L. B. Resnick, R. Säljö, C. Pontecorvo, B. Burge), Berlin: Springer, pp. 111–140.
- Goodwin C. (2000) Practices of Seeing: Visual Analysis: An Ethnomethodological Approach. *Handbook of Visual Analysis* (eds. T. van Leeuwen, C. Jewitt), London: SAGE, pp. 157–182.
- Goodwin C. (2000) Practices of Color Classification. *Mind, Culture, and Activity*, vol. 7, no 1–2, pp. 19–36.
- Goodwin C. (2000) Action and Embodiment within Situated Human Interaction. *Journal of Pragmatics*, vol. 32, no 10, pp. 1489–1522.
- Goodwin C., Goodwin M. (1996) Seeing as Situated Activity: Formulating Planes. *Cognition and Communication at Work* (eds. Y. Engeström, D. Middleton), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 61–95.
- Grasseni C. (2007) *Skilled Visions: Between Apprenticeship and Standards*, New York, Oxford: Berghahn Books.
- Harper D. (2002) Talking about Pictures: A Case for Photo Elicitation. *Visual Studies*, vol. 17, no 1, pp. 13–26.
- Heath C. (1986) *Body Movement and Speech in Medical Interaction*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Heath C., Luff P. (2000) *Technology in Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Heath C., vom Lehn D. (2008) Configuring Interactivity: Enhancing Engagement with New Technologies in Science Centres and Museums. *Social Studies of Science*, vol. 38, no 1, pp. 63–91.

- Heinemann T. (2016) From "Looking" to "Seeing": Indexing Delayed Intelligibility of an Object with the Danish Change-of-State Token N[†]å↓. *Journal of Pragmatics*, vol. 104, pp. 108–132.
- Hindmarsh J., Heath C. (2000) Sharing the Tools of the Trade. *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 29, no 5, pp. 523–562.
- Kawatoko Y., Ueno N. (2003) Talking about Skill: Making Objects, Technologies and Communities Visible. *Visual Studies*, vol. 18, no 1, pp. 47–57.
- Kidwell M. (2015) Gaze. *The International Encyclopedia of Language and Social Interaction* (eds. K. Tracy, C. Ilie, T. Sandel), Hoboken: John Wiley & Sons, pp. 1–5.
- Knorr-Cetina K. (1981) *The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science*, Oxford: Pergamon Press.
- Korbut A. (2013) Gobbsova problema i dva ee reshenija: normativnyj porjadok i situativnoe dejstvie [The Hobbes's Problem and Two Its Solutions: Normative Order and Situated Action]. *Sociology of Power*, no 1–2, pp. 9–26.
- Koschmann T., LeBaron C., Goodwin C., Feltovich P. (2010) "Can You See the Cystic Artery Yet?" A Simple Matter of Trust. *Journal of Pragmatics*, vol. 43, no 2, pp. 521–541.
- Latour B. (1986) Visualisation and Cognition : Drawing Things Together. *Knowledge and Society: Studies in the Sociology of Culture Past and Present* (ed. H. Kuklick), Greenwich: JAI Press, pp. 1–40.
- Latour B., Woolgar S. (1979) *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*, Princeton: Princeton University Press.
- Licoppe C. (2017) Showing Objects in Skype Video-Mediated Conversations: From Showing Gestures to Showing Sequences. *Journal of Pragmatics*, vol. 110, March, pp. 63–82.
- Lindwall O., Ekstorm A. (2012) Instruction-in-Interaction: The Teaching and Learning of a Manual Skill. *Human Studies*, vol. 35, no 1, pp. 27–49.
- Lindwall O., Lymer G. (2008) The Dark Matter of Lab Work: Illuminating the Negotiation of Disciplined Perception in Mechanics. *Journal of the Learning Sciences*, vol. 17, no 2, pp. 180–224.
- Livingston E. (2008) *Ethnographies of Reason*, Aldershot: Ashgate.
- Llewellyn N., Burrow R. (2008) Streetwise Sales and the Social Order of City Streets. *British Journal of Sociology*, vol. 59, no 3, pp. 561–583.
- Luff P., Hindmarsh J., Heath C. (eds.) (2000) *Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing System Design*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Lynch M. (1985) *Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in A Research Laboratory*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Lynch M. (1985) Discipline and the Material Form of Images: An Analysis of Scientific Visibility. *Social Studies of Science*, vol. 15, no 1, pp. 37–66.
- Lynch M. (1988) The Externalized Retina: Selection and Mathematization in the Visual Documentation of Objects in the Life Sciences. *Human Studies*, vol. 11, no 2–3, pp. 201–234.
- Lynch M. (1991) Science in the Age of Mechanical Reproduction: Moral and Epistemic Relations between Diagrams and Photographs. *Biology and Philosophy*, vol. 6, no 2, pp. 205–226.
- Lynch M., Jordan K. (2000) Patents, Promotions, and Protocols: Mapping and Claiming Scientific Territory. *Mind, Culture, and Activity*, vol. 7, no 1–2, pp. 124–146.
- Lynch M., Livingston E., Garfinkel H. (1983) Temporal Order in Laboratory Work. *Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science* (eds. K. Knorr-Cetina, M. Mulkay), London: SAGE, pp. 205–238.
- Mondada L. (2003) Working with Video: How Surgeons Produce Video Records of Their Activity. *Visual Studies*, vol. 18, no 1, pp. 58–73.
- Mondada L. (2016) Challenges of Multimodality: Language and the Body in Social Interaction. *Journal of Sociolinguistics*, vol. 20, no 3, pp. 336–366.
- Nishizaka A. (2000) Seeing What One Sees: Perception, Emotion, and Activity. *Mind, Culture, and Activity*, vol. 7, no 1–2, pp. 105–123.
- Nishizaka A. (2000) The Neglected Situation of Vision in Experimental Psychology. *Theory & Psychology*, vol. 10, no 5, pp. 579–604.
- Nishizaka A. (2006) What to Learn: The Embodied Structure of the Environment. *Research on Language and Social Interaction*, vol. 39, no 2, pp. 155–193.

- Nishizaka A. (2013) Distribution of Visual Orientations in Prenatal Ultrasound Examinations: When the Healthcare Provider Looks at the Pregnant Woman's Face. *Journal of Pragmatics*, vol. 51, pp. 68–86.
- Nishizaka A. (2014) Instructed Perception in Prenatal Ultrasound Examinations. *Discourse Studies*, vol. 16, no 2, pp. 217–246.
- Rawls A. W. (2008) Harold Garfinkel, Ethnomethodology and Workplace Studies. *Organization Studies*, vol. 29, no 5, pp. 701–732.
- Russ S., Sherin B. L., Colestock A., Sherin M. G. (2008) Professional Vision in Action: An Exploratory Study. *Issues in Teacher Education*, vol. 17, no 2, pp. 27–46.
- Rystedt H., Ivarsson J., Asplund S., Johnsson A., Bath M. (2011) Rediscovering Radiology: New Technologies and Remedial Action at the Worksite. *Social Studies of Science*, vol. 41, no 6, pp. 867–891.
- Sacks H. (1972) On the Analyzability of Stories by Children. *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication* (eds. J. Gumperz, D. Hymes), New York: Rinehart & Winston, pp. 325–345.
- Sharrock W., Coulter J. (1998) On What We Can See. *Theory & Psychology*, vol. 8, no 2, pp. 147–164.
- Sharrock W., Coulter J. (2003) Dissolving The “Projection Problem”. *Visual Sociology*, vol. 18, no 1, pp. 74–82.
- Sormani P. (2014) *Respecifying Lab Ethnography: An Ethnomethodological Study of Experimental Physics*, Farnham: Ashgate.
- Streeck J. (2015) Embodiment in Human Communication. *Annual Review of Anthropology*, vol. 44, pp. 419–438.
- Styhre A. (2010) Disciplining Professional Vision in Architectural Work: Practices of Seeing and Seeing beyond the Visual. *Learning Organization*, vol. 17, no 5, pp. 437–454.
- Suchman L. (1988) Representing Practice in Cognitive Science. *Human Studies*, vol. 11, no 2–3, pp. 305–325.
- Vertesi J. (2015) *Seeing Like a Rover: How Robots, Teams, and Images Craft Knowledge of Mars*, Chicago: University of Chicago Press.
- Watson R. (2005) The Visibility Arrangements of Public Space: Conceptual Resources and Methodological Issues in Analysing Pedestrian Movements. *Communication & Cognition*, vol. 38, no 1, pp. 201–227.

Этнометодология видеоигр: феноменальное поле в игровой практике*

Артем Рейнюк

Магистрант программы «Фундаментальная социология»
Московской высшей школы социальных и экономических наук
Адрес: пр-т Вернадского, 82, корп. 2, г. Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: reynyuka.s@gmail.com

Александр Широков

Магистрант программы «Фундаментальная социология»
Московской высшей школы социальных и экономических наук
Адрес: пр-т Вернадского, 82, корп. 2, г. Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: neededs@gmail.com

В статье формулируются основания программы этнометодологических исследований видеоигр. Ядром этой программы выступает понятие феноменального поля, которое позволяет очертить ряд тем, принципиально важных для изучения реального опыта игроков, а именно: феноменальное поле игрока, феномены виртуального мира, феномены интерфейса, феномены повседневного мира, фигура и фон феноменального поля, проекции. В основе данной программы лежат эмпирические исследования, предполагающие детальное описание игровых действий и пошаговый анализ их последовательностей. Проблематика феноменального поля в игровой практике раскрывается путем анализа трех распространенных типов ситуаций, с которыми сталкиваются игроки. Первый тип ситуаций связан с координацией действий игроков в сетевых многопользовательских играх и ролью вербальной коммуникации в этой координации. На материале нескольких эпизодов из игр показывается, какое значение для организации феноменального поля игрока имеют другие игроки. Второй тип ситуаций касается взаимодействия игрока и интерфейса. Анализ игры за двух различных персонажей внутри одной игры обнаруживает, как может отличаться работа с интерфейсом в зависимости от специфики персонажей и деталей ситуации. Третий тип ситуаций связан с проблематикой согласования игровых действий в физическом и виртуальных мирах. Соответствующий анализ демонстрирует, каким образом игрок может переключаться между тремя разными типами объектов — объектами виртуального мира, игрового интерфейса и мира «по сю сторону монитора». На основе приведенных примеров показывается, что опирающаяся на детальный эмпирический анализ программа этнометодологических исследований позволяет раскрыть феноменологическую механику видеоигр.

Ключевые слова: этнометодология, феноменальное поле, видеоигры, координация действий, интерфейс, видеоанализ

© Рейнюк А. С., 2017

© Широков А. А., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-233-279

* Авторы выражают огромную признательность Андрею Михайловичу Корбуту. Без его чуткого руководства и блестящих наблюдений при работе с видеоданными (и, конечно же, курса «Этнометодология и конверсационный анализ», прочитанного в МВШСЭН), этот текст никогда не был бы написан.

Введение

Этим летом за финалом чемпионата мира по «DotA 2» с призовым фондом в 25 млн долларов (более известным как «The International») одновременно следили 5 млн человек по всему миру. За четыре года до этого в первые 24 часа продаж игра «GTA V» собрала кассу в 800 000 долларов¹. Еще раньше, в 2011 году, правительство США и американский Национальный фонд искусств официально признали компьютерные и видеоигры видом искусства. В результате разработчики видеоигр получили возможность подавать заявки на государственные гранты в размере от 10 до 200 000 долларов.

Видеоигры стали неотъемлемой частью современного мира. Люди создают игры, продают игры, говорят об играх и, собственно, в игры играют, а с недавних пор их начали еще и исследовать. Годом рождения дисциплины, изучающей видеоигры, обычно называют 2001-й, когда вышел первый номер журнала с соответствующим названием — «Game Studies». Его выход показывает, что «исследования видеоигр — это и результат, и ставка в жестокой борьбе между дисциплинами-конкурентами за право производить научные высказывания о видеоиграх» (Ветушинский, 2015: 43). На первом этапе развития исследований видеоигр особенно жаркие дискуссии развернулись вокруг вопроса о том, что такое видеоигра — система правил или нарратив². Ян Богост указывает, что такая постановка вопроса сейчас воспринимается как «проклятие... формализма, который нас отвлекает от более важных проблем значения, восприятия и применения видеоигр» (Богост, 2015: 79). Хотя были попытки найти точки соприкосновения этих двух перспектив (Юл, 2015), в целом сегодня «мы имеем дело не просто с одним из множества подходов к сложному и неоднозначному объекту — видеоигре, но со стремлением изучать его во всем многообразии и с учетом различных исследовательских перспектив» (Ветушинский, 2015: 42). В этой связи несколько парадоксальным кажется то, как мало внимания в рамках исследований видеоигр уделялось анализу непосредственных игровых практик. В большей степени это остается прерогативой самих разработчиков, которые, однако, в силу своих прагматических задач, часто ограничиваются лишь статистическим анализом совершенных действий, а не практик как таковых. Сильной программой эмпирических исследований игровых практик может стать этнометодология³, которая нацелена на изучение реальных практик

1. Для сравнения: число голливудских блокбастеров, собравших более 800 млн. долларов за все время проката, равняется 30. Собрать такую сумму за первые сутки проката ни одному фильму не удавалось в принципе.

2. В то же время некоторые исследователи отмечают, что такое противопоставление людологии и нарратологии несколько надуманно и представляет собой односторонний взгляд на историю Game Studies (Wesp, 2014).

3. Стоит отметить, что подход производственно-ориентированного изучения видеоигр Дэна Пинчбека в чем-то схож с этнометодологией. Основная идея в том, что если нужно изучить что-то, то это нужно создать. Соответственно, если мы хотим изучать видеоигры, мы должны их разрабатывать. Подробнее см.: Pinchbeck, 2010.

в их естественной обстановке без применения к ним какой-либо готовой теоретической или прагматической рамки.

Этнометодология ориентирована на изучение методов организации работы по производству социального порядка *in vivo*. Программной задачей этнометодологии является выявление методов производства и поддержания фактов «бессмертного обиденного общества» (по выражению Гарольда Гарфинкеля) или социального порядка, который всегда ситуативен. Основные принципы такого понимания социального порядка состоят в следующем: «1) социальный порядок производится в виде феноменальных деталей текущей ситуации; 2) эти феноменальные детали производятся как описуемые детали; 3) производство и описуемость феноменальных деталей носят процедурный характер» (Корбут, 2013: 22). Подобная перспектива дает продуктивные ресурсы для изучения того, как устроена сама практика игры, какими методами она упорядочивается.

В каталоге этнометодологических исследований уже есть ряд работ, посвященных видеоиграм. Первое детальное описание игрового опыта, напрямую относящееся к этнометодологической традиции, создал Дэвид Садноу в своей известной работе «Пилигрим в микромире» (Sudnow, 1984). Садноу, следуя своему методу анализа практики фортепианной импровизации (Sudnow, 1978), детально разбирает игру «Breakout». В ходе анализа он показывает, как у игрока постепенно формируются телесные навыки игры и как эти навыки связаны с ситуационным порядком, который выстраивает игрок для достижения игровых целей. Стюарт Ривс, Барри Браун и Эрик Лурье, вдохновившись работой Садноу, поставили вопрос о том, что такое игровой навык (или «skill» на языке геймеров) и как игрок в «Counter-Strike» становится экспертом (Reeves, Brown, Laurier, 2009). Их подход (как и подход Садноу) является постфеноменологическим, т.е. в основе исследования лежит феноменологический интерес к организации всякого опыта, но поиск ответа происходит в эмпирической, а не философской плоскости. Лоренца Мондада показала, как синхронизируются действия игроков в процессе игры с действиями и разговорами по поводу игры (Mondada, 2012). Помимо этого, этнометодологические исследования видеоигр обращаются и к таким феноменам, как разговоры и действия игроков в компьютерном клубе по поводу происходящих событий (как делает Бьерном Соблом в своей статье о «Warcraft III: DotA» [Sjoblom, 2011]), так и социальный порядок внутри виртуального мира (например, Ульрика Беннерстедт и Йонас Иварссон исследовали особенности поиска пути в MMORPG [Bennerstedt, Ivarsson, 2010]).

Слабая сторона существующих этнометодологических исследований видеоигр заключается в том, что все они посвящены разному (различные проблематики) и сделаны по-разному (отсутствует единый метод анализа). Следовательно, нужна четко сформулированная исследовательская программа. Основания такой программы авторы и попытаются предложить читателю. Начнем с ввода базовых понятий, используемых нами для анализа игровой практики.

Феноменальное поле: точка фокусировки

Мы будем следовать тому перепрочтению феноменологии, которое было намечено в поздних работах Гарольда Гарфинкеля (Garfinkel, 2002, 2007). Гарфинкель предлагает респецифировать ряд феноменологических понятий Эдмунда Гуссерля, Арона Гурвича, Мориса Мерло-Понти, Мартина Хайдеггера и др., рассмотрев их в качестве эмпирически доступных, наблюдаемых феноменов порядка. Ключевым элементом этой респецификации становится понятие «феноменальное поле», введенное Мерло-Понти. Оно и будет положено в фундамент нашей исследовательской программы.

Мерло-Понти использует понятие феноменального поля, чтобы схватить следующий важный аспект человеческого опыта: «Пред взором рефлексии нет и не может быть полного мира... она располагает всего лишь частичным видением и ограниченными возможностями» (Мерло-Понти, 1999: 95). Именно поэтому феноменология говорит о явленности. Каждому из нас явлено поле феноменов, и это поле — совокупность данных здесь и сейчас сущностей. Мерло-Понти, следуя за Гуссерлем периода «Кризиса европейских наук», постулирует поворот к «жизненному миру» (Lebenswelt). Анализ жизненного мира должен начинаться именно с доступных телу воспринимаемых феноменов. Тело (центральный концепт Мерло-Понти) — точка о, центр системы координат внутри жизненного мира, и именно вокруг этой точки выстраивается целостность этого мира. У нас никогда нет доступа ко всем феноменам жизненного мира в их полноте, наш доступ ограничен.

Позднее понятие феноменального поля будет респецифировано и радикализировано в этнометодологии. Сохраняя исходную феноменологическую задачу рассмотрения феноменов изнутри той ситуации, в которой они явлены, этнометодология использует понятие феноменального поля для указания на организационные феномены порядка. Именно указание на эти феномены позволяет осуществлять этнометодологический анализ практики: феномены порядка есть организационные детали каждой практики. Фокусирование на них, а также на механизм встраивания этих деталей в последовательность действий внутри практики, позволяет описывать социальные вещи (феномены порядка) такими, какие они есть, т. е. анализировать живую работу акторов по выстраиванию социального порядка. Одно из свойств феноменов порядка — их accountability, объяснимость-и-описуемость. Соответственно, феноменальное поле — это то, что акторы производят и анализируют изнутри разворачивающейся деятельности. Этнометодология предполагает, что в самой практике есть ресурсы для ее описания и объяснения. Этнометодологическое описание позволяет объяснять практику изнутри самой этой практики, схватывая посредством предоставляемых практикой ресурсов то, что для акторов составляет последовательность практических задач, способы решения которых для самих акторов являются, по выражению Гарфинкеля, «специфически неинтересными».

Безусловно, феноменология и этнометодология говорят о разных вещах. Если в центре внимания феноменологов находятся *акты сознания* (Gurwitsch, 1961:

626) (в широком смысле — *конституированные и воспринимаемые вещи* [Шпигельберг, 2002: 150]), то для этнометодологов важны *организационные вещи*, т. е. вещи, через которые мы организуем наблюдаемый социальный порядок. Вещи этнометодологов — это всегда социальные феномены. Описываемые Гарфинкелем и его учениками организационные детали создаются, воспроизводятся и трансформируются при помощи обыденных этнометодов. Этнометоды — это способы действия акторов в повседневной жизни, позволяющие создавать и пересоздавать социальный порядок.

Указанные выше интуиции открывают большие возможности для анализа игровых практик, которые мы попытаемся продемонстрировать. Мы будем опираться на феноменологический и этнометодологический подходы к изучению феноменального поля, но важно отметить, что перед нами прежде всего стоит прагматическая задача: создание описательных ресурсов для анализа феноменов порядка в видеоиграх, поэтому мы не претендуем на разработку понятия феноменального поля в строгом смысле слова. Для нас важнее его дескриптивная, а не концептуальная сила.

Мы сохраняем идею тела как центра, как точки входа, обеспечивающей и одновременно ограничивающей (фокусирующей) наш доступ к окружающим феноменам. Мы сохраняем идею организации социального порядка как решаемой актором задачи. Аналитически мы работаем с *феноменальным полем игрока*. В практике ему доступны как минимум три различных типа феноменов: *феномены виртуального мира*, *феномены интерфейса* и *феномены повседневного мира*. Феномены виртуального мира — это все то, что происходит внутри виртуальной реальности. Феномены интерфейса составляют отдельный тип феноменов, поскольку находятся на пересечении виртуального и повседневного миров. Одновременно для игрока естественным образом продолжает существовать повседневный мир, данный здесь-и-сейчас (перемещения компьютерной мыши, нажатие клавиш, шум города за окном, кипящий на кухне чайник или стучащий в дверь сосед). Это делает доступными для анализа действия игрока в физическом мире (перемещения взгляда, изменения позы, движения рук).

Обсуждаемые нами феномены порядка существуют в игровой практике. Все эти феномены есть части социального порядка, который мы называем видеоигрой. Переключение между тремя типами феноменов — это не скачок сознания, а гештальт-переключение, изменение соотношения фигуры и фона внутри единого феноменального поля игрока. Это означает, что в зависимости от ситуации в качестве фигуры на фоне выступает один из трех типов объектов. Соотношение между фигурой и фоном является гибким и определяется *ситуативно*, т. е. может быть объяснено только в конкретной ситуации игрового действия, исходя из игровых задач⁴.

4. В своей работе мы заимствуем только отдельные элементы концепции феноменального поля у Мориса Мерло-Понти и Гарольда Гарфинкеля. Например, мы не будем использовать понятие «фигурация» (Garfinkel, 2002: 177), поскольку понятия «организация» вполне достаточно для схватывания интересующих нас вещей.

При анализе игровых практик мы обнаружили, что и в феноменальном поле игрока существуют также особого рода организационные вещи, которые мы обозначили как *проекции*. Во время игры игроки постоянно ориентируются на возможные будущие события (действия, объекты, участников) и произошедшие события прошлого, напрямую влияющие на действия игрока здесь-и-сейчас. Внутри последовательности игровых действий проекции могут играть решающую роль в понимании разворачивающегося порядка игры.

Каждое из представленных понятий отсылает к организационным деталям игровой практики, которые вместе и составляют игру как таковую. Наша задача — схватить эти детали и, анализируя последовательность действий игроков, понять, как устроен социальный порядок видеоигры. Этот порядок крайне сложен и насыщен, он включает в себя самые различные игровые контексты и проблемы, и для их анализа, на наш взгляд, подходит исследовательская программа, построенная на понятии феноменального поля. Понятие феноменального поля позволяет рассматривать мышление игрока как то, что воплощено в его мире, который для него является актуальным в момент действия. Игра, как компьютерная программа, предлагает игроку различные изображения на мониторе и звуки в динамиках, но превращение их в феномены игры — работа игрока.

В этом отношении необходимо разделить игровые объекты и игровые феномены. Феномены — это объекты-в-феноменальном-поле. Элементы игрового мира не становятся объектом только потому, что присутствуют на экране. Для этого они должны стать предметом организационных действий и должны быть соотносены с другими феноменами в феноменальном поле. Феномен — это способ данности объекта «как его видит игрок», объект в игровой практике, а не объект на экране. Не все объекты, существующие на экране, становятся феноменами. Следовательно, интересующая нас феноменологическая механика игры — это механика производства и организации феноменов из объектов.

В нашей работе мы предлагаем рассмотреть три проблемы, с которыми игроки постоянно сталкиваются: *координация действий игроков* в сетевых многопользовательских играх, *взаимодействие игрока и интерфейса* и *согласование игровых действий в физическом и виртуальных мирах*. С помощью каких методов игроки координируют свои действия друг с другом? Каким образом они взаимодействуют с игровым интерфейсом? Как виртуальное тело согласуется с повседневным?

Данные и методология

Наш анализ будет основываться на видеоданных⁵. Весь набор данных, который используется в настоящей статье, был собран авторами с помощью технологий записи экрана, т.е. в центре внимания авторов находилось происходящее «внутри» игры, «в экране». Однако в процессе работы мы обнаружили, что помимо записи

5. Подробнее о специфике работы с видеоданными в этнометодологии см.: Heath, Hindmarsh, Luff, 2010; Максимова, 2016.

собственно игровой практики продуктивной оказывается запись дополнительных видеоматериалов: фиксация нажатий клавиш и запись с фронтальной камеры. Нажатия клавиш полезны, во-первых, для более точного наблюдения и описания действий игрока. Это может быть крайне важным в самых различных контекстах, например в силу ошибочных нажатий, «перекрытий» действия (ситуация, в которой игрок нажимает клавишу одного действия, а затем клавишу другого действия, которое отменяет предыдущее) и т. п. Во-вторых, такой источник данных позволяет выстроить более детализированное описание действий игрока: мы можем четко соотносить нажатия клавиш с игровыми действиями и событиями, причем даже в наиболее динамичных, насыщенных игровых ситуациях. Запись с веб-камеры необходима, чтобы иметь возможность анализировать реакцию игрока «по сторону» монитора на происходящее в виртуальном мире. Значение имеет весьма обширный объем информации: мимика, направление взгляда, повороты головы, движения рук (если их удалось зафиксировать). Мы видим, как ведет себя игрок, а значит, у нас появляется доступ к феноменам по обе стороны экрана и к тому, как эти феномены связываются между собой в игровой практике.

В целом, в анализе данных мы следуем политике *уникальной адекватности методов*, сформулированной Гарфинкелем. Он выделяет два способа реализации этой политики — слабый и сильный. Слабая версия заключается в требовании для «аналитика обладать, наравне с другими людьми, согласованной компетентностью в методах опознавания, идентификации, изображения, описания и т. д. феноменов порядка при локальном производстве связанных деталей» (Garfinkel, 2002: 176). В слабой версии исследователь должен обладать такой же компетенцией, как и другие участники практики, на уровне *восприятия* порядка. Сильная версия предполагает владение методами *производства* феноменов порядка, которые являются и методами исследования этих феноменов. «В каждом актуальном случае феномен порядка уже обладает всеми возможными методами его обнаружения, если стоит задача его обнаружения. Аналогично, всякий феномен порядка уже обладает всеми возможными методами его наблюдения, опознавания, счета, собирания, тематизации, описания и т. д.» (Garfinkel, 2002: 176). То есть в самой практике есть ресурсы ее анализа, использование которых приводит к описанию, уникально адекватному этой практике. Задача исследователя, исходя из политики уникальной адекватности методов, состоит в следующем: «„Пойди и сделай“, т. е. выбери интересующий тебя феномен и научись методам его производства. Обучения методам его производства и будет составлять исследование» (Корбут, 2011: 37).

С политикой уникальной адекватности методов связана также политика *гибридных исследований*. Она предполагает, что между этнометодологией и конкретными практиками могут устанавливаться гибридные отношения: этнометодология начинает служить целям прояснения практики, а практика начинает прояснять этнометодологические описания. Две эти стороны оказываются равноценными и нераздельными: этнометодология получает уникальный доступ и возможность описывать конкретные практики, а практика получает подробное описание, которое она может использовать, например, для своего совершенствования (Garfinkel,

2002: 101–102). Фундаментом гибридной политики является компетентность этно-методолога в изучаемой практике. Авторы настоящей статьи в достаточной степени владеют практикой игры, чтобы анализировать каждый из обсуждаемых в статье кейсов.

При работе с данными наша задача состоит в описании способов действия. Для анализа способов действия в этнометодологии существует специальный принцип, авторство которого приписывают Харви Саксу: *порядок в каждой точке* (Sacks, 1995). Он означает, что когда мы работаем с какими-либо данными, в каждой точке мы обнаруживаем порядок. Любая практика упорядочена. Нет более или менее упорядоченных мест, практик или данных. Любое конкретное единичное действие протекает в определенном порядке, и мы должны этот порядок эксплицировать. Каждая практика объяснима и рефлексивна ровно потому, что люди понимают, что и зачем они делают. Анализируя последовательность действий шаг за шагом, мы получаем возможность объяснить происходящее.

Со всеми данными, обсуждаемыми в статье, читатель может ознакомиться самостоятельно. Специально для этого нами был создан канал на YouTube⁶, куда были загружены все видеофрагменты, анализируемые в настоящей статье.

Взаимозаменяемость феноменальных полей как основание координации действий

В центре внимания в этом разделе находится проблема координации действий игроков и того, как эта координация осуществляется в разных условиях: когда у игроков есть возможность вербальной или текстовой коммуникации и когда такой возможности нет. Непосредственным объектом изучения выступают записи нескольких эпизодов из игр «Dota 2» и «Battlerite», которые были сделаны авторами.

Координация в отсутствие возможности коммуникации

Начнем с рассмотрения ситуации командного сражения в «Battlerite»⁷, когда у игроков отсутствует возможность договориться. Интерфейс игры включает (рис. 1):

6. Ethnomethodology of Videogames. <https://www.youtube.com/channel/UC5H7ZQyx86pFE1I49ZaxNw/videos>

7. «Battlerite» — киберспортивно ориентированная видеоигра жанра Team Arena Brawler. Игровой процесс представляет собой сражение двух команд на арене (возможны вариации 2 × 2 и 3 × 3). Матч состоит из нескольких раундов, для победы необходимо уничтожить команду соперника в трех раундах. На каждый раунд дается две минуты, по истечении которых территория арены начнет сужаться, всем, кто будет выходить за ее пределы, будет наноситься урон. Это сделано для того, чтобы раунды не затягивались слишком долго в ситуации, когда, например, участник одной команды начинает убегать от другого. Персонажи делятся на три класса: «Поддержка», «Дальний бой», «Ближний бой». У каждого персонажа есть свои уникальные способности, поэтому даже персонажи одного класса могут сильно отличаться.



Рисунок 1. Интерфейс «Battlerite»

1 — персонажи, составляющие одну команду, и их здоровье;
 2 — общее состояние здоровья команды (в данном случае 82%);
 3 — количество раундов в которых команда одержала победу (в данном случае два); на противоположной стороне экрана — те же самые показатели, относящиеся к команде противника;

4 — счетчик времени, по окончании которого территория арены начнет сужаться;

5 — способности персонажа (символы означают клавишу, за которой закреплена способность);

6 — затемненная иконка способности (означает, что способность перезаряжается) и время до перезарядки.

Необходимо подчеркнуть специфическую трудность, с которой сталкиваются игроки, у которых нет заранее собранной команды, — необходимость координировать свои действия с незнакомыми людьми без возможности вербальной или текстовой коммуникации. Единственный способ координации в таких условиях — наблюдение за действиями других игроков и ориентация на них. В связи с этим возникают две проблемы. Во-первых, некоторая заторможенность реакции на действия союзников: необходимо наблюдать за уже совершенными (или совершаемыми) действиями союзника и координировать с ним свои действия, что не всегда удается. Во-вторых, проблема первого хода: если единственный способ координации в таких условиях — наблюдение за действием союзника и ориентация на него, то возникает вопрос, кто должен производить первое действия, на которое остальные будут ориентироваться.

Рассмотрим два эпизода из матчей 2×2 . В первом эпизоде обе команды состоят из персонажа поддержки и персонажа ближнего боя⁸. В 1:55 игроки А и С (оба — персонажи ближнего боя), только заметив друг друга, сразу направляются в сторону противника (рис. 2). Персонаж С имеет в своем арсенале дистанционную атаку, которую он применяет к А еще до прямого контакта. В и D — персонажи поддержки, поэтому они сохраняют дистанцию и держатся позади персонажей ближнего боя. Также D выпустил в А способность, замедляющую передвижения всех, кто попадает в ее область действия.



Рисунок 2. Быстрое вступление в прямую конфронтацию

Сразу после дистанционной атаки, которая нанесла урон и немного отбросила А, игрок С использует прыжок, чтобы быстро сократить дистанцию с А и нанести дополнительный урон (рис. 3). D и В продолжают сохранять дистанцию по отношению к противнику. В использует лечащую способность, чтобы восстановить здоровье А, потерянное после дистанционной атаки С. D, хотя и является персонажем поддержки, продолжает дистанционные атаки на А, т. к. его союзнику еще не было нанесено урона. Далее началась прямая конфронтация двух команд.

В этом двухсекундном эпизоде можно отметить различия в методах действия и работе персонажей поддержки и атаки. Последние в большей степени ориентированы на противников, они играют «с» ними. Для класса поддержки важно учитывать состояние здоровья союзника, оказывать ему помощь, а по возможности осуществлять атаки. Поэтому можно предположить, что феноменальное поле

8. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=6xFklm7H9Gk>



Рисунок 3. Начало прямой конфронтации

игрока, играющего за персонажа поддержки, несколько шире и более динамично. Среди множества доступных игроку организационных объектов часть из них в определенный момент выходит на первый план, становится фигурой. Так, в один момент фигурой становится союзник, которого необходимо лечить (а персонажи противника оказываются фоном), в то время как буквально через пару мгновений фигурой становятся уже противники (а союзник остается на фоне до момента, пока ему не потребуется лечение). В отличие от персонажа атаки, который должен отслеживать и проектировать свое положение и положение двух противников, персонаж поддержки должен еще и следить за своим союзником, что требует от него постоянного переключения внимания между большим количеством персонажей. Чтобы обеспечивать это переключение, он должен определенным образом организовать свое феноменальное поле, например, занимая большую дистанцию по отношению к месту боя, чем его партнер. На скриншоте видно, что персонаж D одновременно «отодвигается» от места боя и старается сохранить возможность нанесения удара по противнику (A). С и D демонстрируют взаимную командную ориентацию: С отправляется в бой, зная, что D находится за ним (о том, что они команда, говорит то, что они появляются на экране, буквально гуськом следуя друг за другом) и что D держит его в фокусе внимания, а D следит за действиями С, чтобы оказать помощь в случае необходимости.

Рассмотрим другой эпизод⁹. На этот раз обе команды состоят из персонажей дальнего и ближнего боя. В зрительный контакт друг с другом стороны вступают на момент 1:54, но попытки завязать прямую конфронтацию сразу не предпринимается, обе команды перемещаются с целью выбрать удачный момент для атаки.

9. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=EXuEvlcycPs>

В 1:51¹⁰ игрок D оказывается в зоне досягаемости способности В (дальний бой) и последний предпринимает попытку атаки (рис. 4). Данная способность В наносит урон в области противника и оглушает его. Перед тем, как она сработает, в месте, куда ее направили, видна анимация в виде разломов земной поверхности, что можно вовремя заметить и покинуть опасную зону, увернувшись от удара. Игрок А (ближний бой) замечает эту анимацию и начинает двигаться в направлении к D, который также увидел анимацию и вышел из области поражения. Осознав, что попытка атаки оказалась неудачной, игрок А решает не нападать в одиночку на D и начинает отступать.



Рисунок 4. Неудачная попытка вступить в прямую конфронтацию

В 1:49 оба представителя красной команды предпринимая попытку контратаковать игрока А сразу с двух направлений, используя дистанционные способности. В этот момент А уже начал отступать (после неудачной атаки на D) и поэтому уворачивается от обеих атак (рис. 5). Важно отметить, что в начале раунда все персонажи находятся на «маунтах» (ездовых животных, которые увеличивают скорость передвижения). При атаке персонаж спешивается. Играя за персонажа ближнего боя, важно выбрать правильный момент для спешивания, т. к. это может помочь быстро сократить дистанцию с противником. В данной ситуации игрок А еще не спешился, и высокая скорость передвижения помогла эффективно отступить и легко увернуться от обеих атак.

10. Еще раз подчеркнем, что внутриигровой таймер идет в обратную сторону, на каждый раунд дается две минуты, по прошествии которых территория арены начинает сужаться.



Рисунок 5. Контратака красной команды

В 1:47 игрок В оказывается на подходящей дистанции от D для эффективной атаки и произвел ее (рис. 6).



Рисунок 6. Совместная атака А и В

А замечает это и опять направляется к D. На этот раз атака В достигает цели, а игрок А успевает подойти к D вовремя во многом за счет того, что А еще не спешил. Игрок С, увидев совместную атаку синей команды на своего союзника,

также вступает в прямой контакт и, таким образом, начинается полномасштабное сражение. Можно заметить, что на протяжении этого короткого периода, длящегося около 5 секунд, А и D (оба персонажи ближнего боя) не стремятся сразу же вступать в прямую конфронтацию, как это было в предыдущем эпизоде.

В данном эпизоде видно, что участники одной команды учитывают, каким образом организованы феноменальные поля друг друга. Персонаж А после неудачной атаки быстро отступает, тем самым освобождая «доступ» к персонажу D для своего союзника. А делает круг и оказывается рядом с В, когда тот начинает атаку на D. Иными словами, игроки одной команды ориентируются не только на расположение противников, но и на то, как в отношении противника ориентирован их союзник. Действия одного из участников команды отвлекает на себя внимание противников, что повышает шансы союзника на совершение успешного для его команды игрового действия. При этом игроки одной команды способны действовать скоординированно потому, что их персонажи располагаются рядом на экране, что облегчает для игрока отслеживание действий союзника.

В двух рассмотренных эпизодах, несмотря на отсутствие возможности вербальной или текстовой коммуникации, игроки координировались и совершали совместные действия. Мы полагаем, что эта координация была обеспечена пересечением феноменальных полей. Отчасти это пересечение напоминает то, что Альфред Шюц называл взаимозаменяемостью перспектив (Шюц, 2004: 485). Шюц отмечал, что в повседневной жизни мы ставим себя на место другого и полагаем, что, поменяйся мы с ним местами, мы бы воспринимали мир одинаковым образом. Если принять во внимание этот тезис, то можно предположить, что, поменявшись персонажами (не только с союзниками, но и с противниками), игроки будут воспринимать мир схожим образом, т.е. их феноменальные поля будут взаимозаменяемы. Игроки могут и постоянно «представляют» себя на месте друг друга; именно эта особенность практики позволяет им согласовывать действия даже без возможности вербальной коммуникации. При этом взаимозаменяемость феноменальных полей не означает их тождества. Скорее, речь идет о таком согласовании действий, когда игроки предоставляют союзникам возможности доступа к определенным действиям и стараются лишить противников определенных возможностей действия, для чего они постоянно ориентируются на организацию феноменального поля других игроков.

Однако между этими двумя эпизодами есть важное различие: второй случай отличается от первого наличием в начале раунда *неопределенности* в отношении того, кто и как должен начать атаку. Это различие становится понятным, если проанализировать работу феноменального поля. В ситуации, когда команда состоит из персонажей поддержки и ближнего боя, последний понимает, что метод действия персонажа поддержки направлен, в первую очередь, на поддержку, а не на атаку, его феноменальное поле ориентировано на союзника, а не на противников. Хотя он также может и должен по возможности атаковать, для него это второстепенная задача. Соответственно, начинать схватку должен персонаж атаки. За-

метим, что важна не столько номинальная принадлежность к классу, сколько тот набор способностей персонажа, который обеспечивает возможность игрока совершать определенные действия. Когда в команде есть сразу два персонажа атаки (ближний и дальний бой), их задачи схожи, они ориентированы на противников, в силу чего их феноменальные поля предполагают очень близкую организацию: оба знают, что их союзник фокусируется на противнике, но, в отсутствие возможности предварительной и текущей коммуникации, они не могут знать, кто должен нанести первый удар и по кому конкретно. Проблема первого хода в ситуации наличия двух персонажей атаки и при отсутствии возможности вербальной коммуникации решается за счет ориентации на конкретные детали: расположение противника и союзника, дистанция между ними, их действия, особенности арены и т. п. Во втором эпизоде персонаж дальнего боя начал атаку первым, поскольку дистанция до противника была достаточной для этого, и тот находился в пределах прямой видимости для персонажа В. Боец ближнего боя ориентировался на действия своего союзника и дополнял их своими. Этот механизм запускался дважды. Соответственно, в таких условиях более экспертным игроком оказывается тот, кто может лучше проецировать действия другого, кто лучше улавливает происходящее не только в пределах своего феноменального поля, но и внутри феноменальных полей других игроков (как союзников, так и противников).

В обоих эпизодах, несмотря на отсутствие возможности вербальной или текстовой коммуникации, игроки координировались и совершали совместные действия. Согласно нашему предположению, возможность этой координации была обеспечена пересечением феноменальных полей игроков. Далее обратимся к аналогичному эпизоду, но уже с возможностью вербальной коммуникации между игроками, и проанализируем, каким образом она меняет работу феноменального поля игроков и методы их координации.

Координация при наличии возможности договориться

Анализируемый далее случай — эпизод из игры «DotA 2»¹¹, представляющий собой командное сражение (или тимфайт, от англ. «team fight») 5×5 ¹². Сначала скажем несколько слов о специфике самой игры.

Местом действия является карта (рис. 7).

11. «DotA 2» — многопользовательская командная игра жанра Multiplayer Online Battle Arena, отдельная платформа для известной пользовательской карты для «Warcraft III: DotA». Если охарактеризовать этот жанр доступным языком, то это стратегия в реальном времени, в которой игрок контролирует только одного персонажа-героя. Игра является одной из самых популярных игр в мире (на момент написания данного текста онлайн находилось более 600 000 игроков. Средний же онлайн варьируется от 600 000 до 800 000 игроков). По данной киберспортивной дисциплине проводится огромное количество разнообразных турниров (самый крупный — ежегодный чемпионат мира The International. Призовой фонд TI 7 в 2017 году превысил 24 000 000 долларов США).

12. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=xj-aAqyvmI>



Рисунок 7. Карта «DotA 2», патч 7.00+

В игре участвуют две команды по пять человек. Одна команда играет за светлую сторону (The Radiant), другая — за темную (The Dire). Каждая сторона имеет свое центральное здание («Ancient»). Каждый игрок управляет одним из 110 уникальных героев. Каждый герой обладает ограниченным запасом здоровья и маны (рис. 8, зеленая и синяя полоски в центре экрана).



Рисунок 8. Интерфейс «DotA 2»

Персонажам доступны четыре способности (уникальные для каждого). Герой может получать опыт для повышения своего уровня (за каждый уровень дается одно очко для изучения способностей героя), зарабатывать золото, покупать и собирать предметы, которые усиливают его или дают дополнительные способности. Каждый игрок постоянно получает небольшое количество золота от своей базы, а также зарабатывает небольшие порции золота за убийство вражеских существ и большие — за убийство героев. Цель каждой из команд — разрушить вражеское центральное здание. Чтобы это стало возможным, игрокам нужно зарабатывать золото и опыт для своих персонажей, чтобы эффективнее убивать вражеских героев. В ситуации, когда герой «умирает», он отправляется в «таверну» и определенное время (в зависимости от уровня героя) не может участвовать в происходящих событиях. Таким образом, к достижению главной цели игроки приходят через серию совместных действий по убийству вражеских героев. Игра имеет ряд стадий (ранняя, средняя и поздняя) и в среднем продолжается от 20 до 50 минут.

Рассмотрим один из эпизодов игры. Для этого сначала приведем транскрипт разговора, состоявшегося по время этого эпизода¹³:

- 1 Skywriter: Вон вижу рыжего могу в спину забежать (1.5) Будет помощь?
- 2 (2.6)
- 3 Peon: Я бегу у меня почти все есть >через две, через три секунды<
- 4 но если заставишь он труп (2.1) А вот он прям тут сидит
- 5 (3.7)
- 6 Skywriter: Много сюда летит
- 7 Peon: Тут кстати виверна-то битая (4.9) >Не подходи<, бить меня
- 8 начнешь
- 9 (6.5)
- 10 Peon: Блин тут еще три три тыщи мипо (2.1) Пипец (0.3) А::: ста::н
- 11 дави::: (1.7) Если б успел заставить (1.2)
- 12 Сейчас [бы меньшими жертвами обошлись
- 13 Skywriter: [Ну чуть-чуть на самом деле не [повезло
- 14 Peon: [Да
- 15 (1.6)
- 16 Skywriter: По последнему вообще баши не шли (0.4)
- 17 [Ну еще плюс у меня еще стан откатился я не нажал
- 18 Peon: [Блин у меня еще

13. Расшифровка символов:

— — Интонационное выделение посредством смены высоты и/или диапазона голоса. Чем короче подчеркивание, тем слабее выделение.

(0.0) — Пауза в десятых долях секунды.

:: — Продление предшествующего звука. Чем длиннее ряд двоеточий, тем длительнее продление.

[— Точка одновременного начала накладывающихся высказываний.

> < — В начале и в конце высказывания или части высказывания, произносимого быстрее по сравнению с окружающей речью.

- 19 Skywriter: Ну в смысле умер, просто не успел
 20 Peon: У меня еще были деньги на две на два бустера но кура все время
 21 где-то летала

Отличительной характеристикой данного разговора выступает наличие целой серии координирующих высказываний, которые по-разному связаны с совершаемыми действиями. Рассмотрим эти высказывания.

Первое, на что следует обратить внимание, — начальные реплики и действия, соотносящиеся с ними. Очевидно, что приготовления к сражению начинаются с двух первых реплик: «Вижу рыжего» и «У меня все есть». Эти реплики условно могут быть обозначены как координирующие. Самое интересное для нас заключается в том, какие действия соответствуют этим репликам. Произнеся «Вижу рыжего», игрок Skywriter указывает на актуальные особенности своего феноменального поля. Если бы это была простая констатация того, что он видит, тогда логично было бы предположить, что до тех пор, пока он не получит ответ на следующий далее вопрос «Будет помощь?», никаких действий он предпринимать не будет. Однако для игроков эта ситуация устроена иначе. Мы видим, что Skywriter начинает движение в сторону игрока ганг за несколько мгновений до произнесения вопроса, а именно в тот момент, когда замечает оранжевый крестик на мини-карте и произносит «могу в спину забежать» (рис. 9).



Рисунок 9. Начало движения, предшествующее координирующей реплике

Это говорит о том, что вопрос «Будет помощь?» является способом фокусирования союзника (Peon) на совершаемом игроком Skywriter действии, а не условием

совершения этого действия. Соответственно, получаемый ответ («Я бегу у меня почти все есть >через две, через три секунды<») позволяет участникам команды координировать свои действия, поскольку организует временную перспективу действий обоих игроков в отношении совместного действия, находящегося теперь в центре их феноменального поля: все, что они делают, фокусируется на этом совместном действии.

Аналогичное действие совершает и игрок Ace-Ventura. При этом он никак не участвует в обсуждении и не обозначает свою готовность к бою, в отличие от игрока Реон. Несмотря на то что координирующие реплики при простом взгляде на транскрипт могут быть охарактеризованы как подготовительные, действия игроков не следуют за репликами. Происходит *рассинхронизация реплик и действий*.

Эта ситуация довольно быстро меняется: к концу произнесения высказывания «если заставишь¹⁴ — он труп» реплики и действия уже синхронизированы. В момент их произнесения игрок Skywriter действительно ищет возможность зафиксировать противника и позволить союзным героям его убить.

Реплика «Много сюда летит» также носит координирующий характер. Реон видит (как и другие игроки) несколько телепортаций героев противников (0:17). Соответственно, его высказывание означает: «На нас наступает слишком много врагов, поэтому мы оказываемся в опасном положении и нужно отойти». Игроки мгновенно понимают смысл этой реплики, начиная отступление в момент ее произнесения (0:19). Эта реплика описывает ситуацию для всей команды, выступая при этом не констатацией положения дел, а скорее, указанием в отношении желательных действий игроков. То, что игроки действуют именно так, как «инструктирует» реплика, подтверждает для Skywriter наличие единого понимания происходящего всеми игроками. Зримая синхронизация движений отступающих игроков наглядно свидетельствует об этом. При этом важно отметить, что, как и в самом начале фрагмента, дескриптивное высказывание оказывается способом организации феноменальных полей участников, согласующимся с визуальной организацией их действий.

4-я реплика (строка 7) вновь меняет ситуацию. Обстоятельство «виверна-то битая» мгновенно интерпретируется командой как сигнал к продолжению сражения, поскольку один из персонажей поддержки команды противника присоединяется к сражению, будучи ослабленным (с неполным запасом здоровья), а значит, команда сможет быстро его убить. Сражение продолжается в полном отсутствии координирующих высказываний (0:21–0:26). Происходящее в последующие 5 секунд подводит нас к еще одному координирующему высказыванию: «не подходи, бить меня начнешь». И здесь вновь наблюдается рассинхронизация реплик и дей-

14. «Заставить» (от англ. stun), т. е. оглушить — игровое сленговое выражение, означающее применение в отношении персонажа противника способности с «оглушением». Будучи оглушенным, персонаж не может применять свои способности и двигаться.

ствий: игрок Peon дает однозначное указание игроку Skywriter не подходить, но последний полностью игнорирует это указание (рис. 10).

Объяснить это можно двумя способами. Первый способ простой: Skywriter просто некомпетентный игрок и не понял смысла высказывания. Второй способ более сложный: игрок считает это указание необязательным в силу определенных игровых обстоятельств. Чтобы прояснить эти обстоятельства, необходимо глубже погрузиться в механику следующего микромомента (0:24–0:30, рис. 10). В чем смысл координирующей реплики «Не подходи»? Игроки понимают одновременно несколько вещей (говоря «одновременно», мы имеем в виду довольно быстрое осмысление каждой из них и вписывание их в свою игровую практику):



Рисунок 10. Игнорирование координирующей реплики сопартийца

1) Игрок P-M Hogmo, или Виверна, применил ультимативную способность «Winter's Curse». Это заклинание, будучи наложенным на одного из героев команды соперника (в нашем случае оно было использовано на Peon), повергает всех окружающих цель союзников в безумие, заставляя атаковать эту цель. Т.е. игроки одной команды атакуют собственного сопартийца в течение всего времени действия способности (около 1,4 секунды). Информацию об использовании Winter's Curse игроки получают из трех источников: аудиосопровождение применения, визуальная анимация способности, а также координирующее высказывание игрока Peon.

2) Судя по действиям игроков, это высказывание носит характер «реплики на всякий случай». В целом все участники ситуации понимают механику ультимативной способности Виверны и корректируют свои действия в соответствии с этим

знанием. Эта реплика произносится, чтобы в «хаосе» драки Skywriter нанес минимум повреждений Peon. Говоря проще, Peon своей репликой просит не заходить Skywriter'a в область действия Winter's Curse.

3) Указание «Не подходи» игнорируется, поскольку Skywriter считает, что такая траектория движения позволит ему максимально быстро сблизиться с противником. При этом Skywriter учитывает, что к моменту, когда он приблизится к Peon действие «проклятия» уже практически завершится. И действительно, Skywriter оказывается в области действия Winter's Curse приблизительно на 0.3 секунды и не успевает сделать ни одного удара по Peon. Этот эпизод никак не отражается в структуре разговора и не соотносится с репликами, но молчание можно интерпретировать как общее понимание ситуации. Игнорирование координационной реплики никак не комментируется, рассинхронизация действий и реплик не смущает игроков.

Есть ли определенные условия или свойства феноменальных деталей практики, позволяющее игрокам действовать именно таким образом? Ответ на этот вопрос связан с ключевой проблемой всего рассматриваемого фрагмента — проблемой синхронизации и рассинхронизации координирующих высказываний и действий игроков. Хотя интуитивно кажется, что успешная координация игроков возможна только в случае синхронизации их высказываний и действий, мы увидели, что координация происходит и при рассинхронизации. Следовательно, координация обеспечивается не высказываниями самими по себе, а ситуативными действиями игроков, в основе которых лежат применяемые этнометоды. Часть из них мы описали выше. Например, игрок может спрашивать о помощи не для того, чтобы узнать, получит ли он ее, а чтобы привлечь внимание союзника к уже разворачивающемуся действию. Или он может игнорировать запрет на действие, поскольку тот дублирует уже и так очевидную ситуацию, не учитывая возможности ее развития. Высказывания, не синхронизированные с действиями, способны выполнять координирующую роль, поскольку они описывают и предписывают не действия, а детали феноменального поля говорящего, которые обеспечивают взаимозаменяемость этих полей и проецирование действия и событий, которые могут произойти в будущем и составляют актуальные возможности игроков. Те или иные феномены появляются и исчезают в феноменальных полях игроков в качестве организационных вещей, а не в качестве объектов на экране и произносимых слов. Координирующие высказывания делают феноменальные детали складывающегося поля конкретного игрока доступными для всех.

Мы показали, что детальный анализ динамики феноменального поля позволяет нам схватить, каким образом происходит координация действий игроков. Легко представить себе некоторый континуум, на одной стороне которого — идеально скоординированная команда, которая буквально чувствует друг друга, как если бы у них было одно феноменальное поле на всех. На другом конце этого континуума мы можем представить ситуацию, когда все участники команды зашли в игру первый раз, не понимают, что происходит: что делают их союзники, как работа-

ют способности героев и т. п., и потому действуют невпопад. Их феноменальные поля почти не пересекаются, они «видят» разное и по-разному и не представляют, что «видят» их союзники и противники. Проекции им недоступны или доступны в крайне ограниченной форме. Возможность договориться смещает ситуацию в сторону «общего» феноменального поля, позволяет получить больше доступа к феноменальным полям других игроков. Например, если вы заметили нечто, то вы можете сообщить об этом своим союзникам, и это нечто попадает также и в их феноменальные поля.

Теперь обратимся к анализу игрового интерфейса, с которым постоянно приходится иметь дело игроку. Элементы интерфейса — это то, что все время доступно феноменальному полю игрока, а значит, анализируя как те или иные элементы попадают или исчезают из феноменального поля и становятся феноменами в контексте производимых деталей практики, мы сможем лучше раскрыть возможности этнометодологического подхода к видеоиграм.

Работа интерфейса

В данном разделе на нескольких примерах мы рассмотрим, как игрок выстраивает работу с элементами интерфейса, как он превращает их в феномены и как различия в этих феноменах могут быть связаны с различиями в методах действия. Объектом анализа выступают записи нескольких эпизодов из игры «Overwatch»¹⁵. Помимо этого, мы будем использовать различные гайды и пособия в качестве дополнительного источника информации об игре.

Интерфейс «Overwatch» может отличаться некоторыми особенностями у различных персонажей, но ряд элементов присутствует в каждом случае (рис. 11):

- 1 — здоровье персонажа;
- 2 — индикатор готовности суперспособности;
- 3 — способности и оружие;
- 4 — индикатор выполнения цели матча (в данном случае захват объекта);
- 5 — сообщения об убийствах.

15. «Overwatch» — многопользовательский кооперативный шутер с различными персонажами, у каждого есть специфические способности и роль в команде. Персонажи делятся на 4 класса: штурмовые герои (ударная сила, цель — нанесение урона), защитники (нацелены на укрепление позиций и прерывание вражеских атак), танки (принимают огонь на себя), герои поддержки (защищают и усиливают союзников). У каждого героя есть несколько уникальных навыков и одна суперспособность — особенно сильный прием, который может переломить ход сражения, но требует долгого времени на перезарядку. Матчи представляют собой сражение двух команд по 6 человек; чтобы победить в сессии игры, нужно выполнить определенное условие в зависимости от типа матча. Есть четыре типа матчей: захват точек — одна команда должна захватить несколько точек, другая их обороняет; сопровождение — атакующая команда должна доставить груз из точки А в точку Б за определенный промежуток времени, команда обороны должна ей помешать; захват точек/сопровождение — комбинация предыдущих, сначала атакующей команде нужно захватить груз, затем доставить его в пункт назначения, защитники им мешают; контроль объекта — команды сражаются за точку, необходимо ее захватить и удерживать, пока шкала не заполнится на 100%.



Рисунок 11. Интерфейс Overwatch

Мы сравним два набора ситуаций, возникающих, когда игрок играет за персонажа по имени «Ангел» и за персонажа по имени «Робот-монах». На наш взгляд, феноменальные детали их деятельности неразрывно связаны с особенностями организации интерфейса, которые получают различное организационное значение и по-разному опосредуют действия игроков.

Ангел, который видит мертвецов

Сначала рассмотрим игру за двух персонажей одной роли, но с некоторыми различиями в интерфейсе. В силу невозможности детальных описаний всех особенностей игры за этих персонажей, мы сконцентрируемся на одной ситуации — использовании ими суперспособностей¹⁶. У обоих персонажей они довольно схожи. Первого зовут «Ангел» — это персонаж поддержки, способный лечить и усиливать союзников. Его суперспособность — воскрешение близлежащих союзников. Важное ограничение состоит в том, что он может воскресить союзника, только если с момента его смерти прошло не более 10 секунд. В его интерфейсе есть счетчик, который показывает, сколько союзников персонаж может воскресить в данный конкретный момент. Воскрешению необходимо какое-то время, чтобы «перезарядиться», поэтому использовать его необходимо ответственно и в подходящие

16. «Суперспособность (абсолютная способность, ульта, ультимейт) — особая мощная способность героя, которую можно использовать только, когда ее заряд достигнет 100%. Индикатор заряда суперспособности расположен по центру, в нижней части экрана. Начальное значение индикатора 0%, при 100% заряде значение меняется на иконку абсолютной способности»: Суперспособность. <https://overwiki.ru/Суперспособность>

моменты (один из критериев «подходящности» — количество союзников, которых можно воскресить). В пособиях суперспособность рекомендуется «использовать в тот момент, когда погибло более одного вашего союзника»¹⁷.

Рассмотрим несколько ситуаций использования воскрешения. В первой ситуации командам необходимо захватить точку и держать оборону, пока индикатор не заполнится на 100%¹⁸. На момент начала эпизода перевес оказывается на стороне противника, точка находится под его контролем, а индикатор победы уже заполнился на 92%. Команде, в которой находится игрок¹⁹, необходимо срочно захватить точку или раунд будет проигран. Игрок слышит фразу «Я захвачу объект», которая автоматически произносится персонажами (не самими игроками), когда они начинают процесс захвата точки. Помимо этого, он замечает специальный знак и силуэты союзников, начавших атаку. Соответственно, определив эту ситуацию как попытку захватить точку, игрок выдвигается на помощь (рис. 12).



Рисунок 12. Игрок замечает атаку на точку и отправляется на помощь

Когда игрок добирается до самой точки, союзники, осуществлявшие атаку, уже погибли. Хотя в непосредственной зоне видимости игрока находится только два трупа союзников, сообщения указывают на гибель сразу трех. Индикатор суперспособности также показывает, что воскресить можно трех союзных героев. Игрок не сразу использует воскрешение: в зоне его видимости только один противник, плюс на некотором расстоянии находится еще один союзник, потенциально они могут справиться вдвоем. При этом сама точка все еще остается вне

17. Ангел (Mercy) гайд. <http://overfans.ru/gajdy/angel-mercy-gajd.html>

18. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=MHhXnLE6tY8>

19. Под игроком здесь и далее будет обозначаться тот, от чьего лица записывалась игра.

зоны видимости игрока, и он направляется к ней (рис. 13). Зайдя за угол, игрок обнаруживает, что на точке находятся сразу четыре противника, и тут же использует воскрешение (рис. 14), поскольку вдвоем они уже не справятся, но возвращение к жизни еще троих изменит расклад сил. Это помогает переломить ход битвы, и команде игрока удастся захватить точку.



Рисунок 13. Гибель союзников



Рисунок 14. Переопределение ситуации и использование воскрешения

Возможность быстрого действия игрока — использования суперспособности, как только он увидел противников, — обеспечивается тем, что интерфейс позволяет соотнести определенные прошлые события (смерть союзников) и определенное перспективы действия (возможность их воскрешения). При этом они соотносятся в контексте общей игровой ситуации, которая дана игроку в виде конкретных деталей феноменального поля: различных индикаторов, сообщений на экране и наблюдаемых союзников и противников. Игрок не спешит воскрешать союзников, пока в его поле зрения не появляются сразу четверо противников, но четыре противника становятся поводом для действия именно благодаря интерфейсу, который позволяет удерживать произошедшие события и возможности действия в одном феноменальном поле. (При этом игрок не ставит под сомнение, что элементы интерфейса действительно отражают случившееся прошлое и возможное будущее.) Тем самым через интерфейс игрок получает доступ к организационным вещам, в данном случае — к возможности переломить ход сражения, перейдя от решения справиться с одним противником при помощи одного живого союзника к решению справиться с четырьмя противниками, воскресив трех мертвых союзников. Данный пример хорошо показывает, каким образом игровое мышление воплощается в феноменальных деталях практики благодаря интерфейсу игры.

Рассмотрим другую ситуацию игры за Ангела, где задачей команды, в которой находится игрок, является захват некоторого объекта²⁰. Когда игрок подходит к этому объекту, он может воскресить двух союзников, но ситуация складывается не в его пользу, т.к. объект окружен тремя противниками. Живых союзников в поле зрения нет, и в случае использования суперспособности игрок оказался бы в ситуации 3×3 . Дополнительная сложность состоит в том, что воскрешенные союзники не могут двигаться в течение 2,25 секунды, поэтому существует большой риск, что за это время трое противников убьют самого игрока, а потом и двух оживленных союзников (рис. 15). Игрок решает не выдавать себя и отступить за стену. Сделав это, он замечает, что с другой стороны подходят два союзника. Один из них, Крысавчик, использует свою суперспособность (радиоуправляемую бомбу, которая наносит большой урон по площади и которую он направляет в сторону противников [рис. 16]). Использование воскрешения может переломить ход столкновения и помочь захватить объект, что и происходит в следующую секунду, когда игрок выходит из-за угла, использует суперспособность воскрешения и нападает на противников сзади.

Этот второй эпизод показывает, что отмеченное в первом эпизоде расширение феноменального поля игрока благодаря интерфейсу распространяется также и на других игроков, которые становятся актуальными участниками ситуации, не только когда игрок узнает об их приближении или реально их наблюдает, но и когда они временно недееспособны. «Мертвые» игроки, тем самым, остаются частью актуального поля событий игр.

20. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=v-k5E1fUok>



Рисунок 15. Противники защищают объект



Рисунок 16. Отступление

Оба рассмотренных эпизода с Ангелом демонстрируют, что интерфейс является инструментом характерного для игры способа рассуждения, поскольку выдвигает на передний план определенные организационные феномены, в данном случае — соотношение сил сторон, а все остальное превращается в фон. Игрок

прогнозирует, как изменится соотношение сил и сможет ли использование суперспособности привести к успеху в конкретной ситуации. Однако понимание событий и возможностей, визуализируемых в элементах интерфейса, не обусловливается интерфейсом самим по себе, а связано с упорядоченными ситуативными действиями игроков. Значение элемента интерфейса «Можно воскресить х2» зависит от текущей ситуации, которая организуется игроком и проявляется по мере развития событий, т. е. от деталей феноменального поля. В момент общей оценки ситуации счетчик суперспособности становится фигурой, до этого момента он оставался «объектом на фоне».

Необходимо отметить и еще одну важную особенность: интерфейс обеспечивает игроку получение одновременно двух потоков данных, касающихся текущей игровой ситуации: данных, которые можно назвать *ситуативными*, и данных, которые можно назвать *ситуационными*, т. е. восприятие ситуации «изнутри» этой ситуации и восприятие ее «извне». Соответственно, игрок совершает два типа работы: упорядочивает динамические ситуативные детали игры (различает видимых на экране противников и союзников, понимает особенности обстановки и управляет тем, что видит, например отходит назад, чтобы спрятаться за углом), т. е. управляет линией взгляда персонажа, которая в рассматриваемых эпизодах совпадает с линией взгляда игрока, и, кроме того, игрок считывает и включает в свою ситуативную деятельность информацию об игровой ситуации: о событиях, участниках и возможностях действия. Ситуационные данные явлены игроку тем же самым способом, что и ситуативные: посредством звуков и изображений на экране, благодаря чему игрок имеет возможность постоянно соотносить то, что он видит и слышит, с тем, что ему известно о том, что он видит и слышит, и принимать специфически игровые решения в зависимости от складывающихся обстоятельств. Такое переплетение ситуативных и ситуационных деталей усиливается тем, что некоторые элементы интерфейса располагаются рядом с тем местом на экране, где чаще всего фокусируется взгляд игрока, вследствие чего феноменальное поле игрока становится насыщенным возможностями действия в гораздо большей степени, чем если бы он ориентировался только на то, что видит его персонаж в сгенерированной компьютером обстановке.

Робот-монах

Второй персонаж — Дзенъятта — также является героем поддержки, способным лечить союзников²¹. В отличие от Ангела, роль которого сводится к лечению, Дзенъятта, помимо лечения, чаще вступает в прямую конфронтацию. Его суперспособность — «трансцендентность» — предполагает, что в течение 6 секунд персонаж становится неуязвимым, его скорость передвижения увеличивается в два раза, и вокруг него создается аура, которая каждую секунду восстанавливает находя-

21. Любопытно, что если Ангел отсылал к христианству, то Дзенъятта — это робот-монах, отсылающий к дзен-буддизму.

щимся вблизи союзникам большое количество здоровья. Сам Дзенъятта во время действия этой способности не может атаковать. Назначение трансцендентности — спасти команду в критический момент (как отмечается в некоторых гайдах, «основное предназначение Трансцендентности — это исцеление союзников в те моменты, когда они получают сильный урон, например при координированной попытке захватить объект или защите объекта от массовой атаки»²². Во многом эта задача схожа с «воскрешением» Ангела: переломить ход ситуации. Но если «вестник Бога» возвращает «с того света», то дзен-буддист спасает в последний момент.

Рассмотрим несколько эпизодов игры за Дзенъятту. В первом эпизоде команде игрока необходимо захватить точку. Рассматриваемый эпизод начинается в момент атаки на эту точку²³. Игрок слышит фразу одного из персонажей противоположной команды: «Застыньте, не шевелитесь!», свидетельствующую о том, что он использовал способность, которая замораживает всех противников в определенной области. Саму эту область игрок видит вскользь, однако замечает, что один из союзников в нее попал (рис. 17).



Рисунок 17. Наступление на точку

Это может быть удачным моментом для использования суперспособности: противник использовал способность по области, и в такой ситуации группового столкновения лечение сразу всех союзников, находящихся рядом, может переломить ход боя. Однако в этот момент игрок не знает, попал ли еще кто-то из союзников

22. Overwatch: Дзенъятта [гайд]. <http://www.allmmorpg.ru/overwatch/dzenyatta/>

23. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=OS3Hg5MQUDo>

в зону заморозки, а также не знает, сколько противников находится рядом, чтобы воспользоваться ситуацией заморозки. К тому же из команды игрока, помимо него самого, в непосредственной близости находятся еще четыре персонажа; вполне возможно, что они справятся без использования суперспособности. В связи с таким уровнем неопределенности игрок решил сохранить трансцендентность для другого подходящего момента.

Спустя секунду игрок слышит фразу «Огонь по готовности!», свидетельствующую о том, что один из противников использовал способность, которая создает воронку, затягивающую всех соперников, что тут же и происходит. Это крайне эффективный ход: воронка собирает всех противников в одно место, где они будут заморожены. Помимо этого, к месту сражения подошел еще один персонаж вражеской стороны, соответственно, игрок предполагает наличие как минимум трех противников. В такой ситуации его команда была бы нейтрализована в считанные секунды. Игрок предотвращает это, применяя суперспособность, благодаря чему его команда справляется со столь скоординированной атакой соперников (рис. 18). Стоит отметить, что трансцендентность была применена сразу после того, как воронка стянула всех союзников игрока в одно место. Это важно, потому что иногда применять данную суперспособность трудно: команда может разбежаться, и суперспособность будет действовать не на всех. В данном случае воронка противника помогла собрать всех союзников игрока вместе, чтобы тот их вылечил.



Рисунок 18. Использование трансцендентности

Вторая ситуация представляет собой менее удачный пример использования трансцендентности²⁴. В данном матче задача команды игрока — передвинуть не-который объект из одной точки в другую, для чего необходимо находится в непо-средственной близости к нему. В анализируемом эпизоде игрок с еще как минимум двумя союзниками передвигает объект. Игрок спрятался за бортом объекта, но предполагает наличие противника с левой стороны, т.к. кто-то атакует одного из союзников, который, получив урон, решает отступить назад к укрытию (рис. 19).



Рисунок 19. Передвижение объекта

Игрок применяет лечащую способность к отступающему союзнику, который уже почти вышел из зоны видимости. В этот момент прямо в направлении игрока выпускается суперспособность противника — стрела, которая выглядит как двух-головый дракон и наносит огромный урон, проходя через персонажа (рис. 20). Игрок понимает, что она нанесет урон ему и союзнику, который только что ото-шел назад. Проблема в том, что игрок не знает, есть ли сзади него еще союзники. Возможности повернуться и посмотреть нет, поскольку на принятие решения об использовании трансцендентности есть только доли секунды. В конце концов, игрок решает использовать суперспособность. Сзади не оказывается других то-варищей, и он спасает только себя и одного союзника, что в целом является не самым удачным использованием трансцендентности. В определенном смысле, ошибка была совершена еще несколько секунд назад, когда игрок пошел в аван-гарде наступления, т.к., чтобы эффективно использовать трансцендентность, не-

24. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=yTjO8qbuB1o>

обходимо внимательно следить не только за тем, что делают противники, но и за тем, где находятся союзники, как близко они друг к другу и т. п. Однако это оказывается проблематичным в связи с конкретными задачами данного сражения — необходимостью двигать объект. Помимо этого, нахождение слишком далеко от союзников может привести к тому, что игрок в критический момент не успеет подойти к ним вовремя.



Рисунок 20. Критическая ситуация

Таким образом, игра за Дзенъятту предполагает дилемму, которую каждый раз приходится решать. С одной стороны, необходимо держать в зоне видимости и противников, и союзников, постоянно оборачиваться, следить за их местоположением, т. е. необходимо держаться в стороне от сражения и быстро реагировать на действия противников. С другой стороны, это осложняется конкретными задачами игры (передвижение объекта, захват точки) и необходимостью находиться достаточно близко от союзников, чтобы успеть использовать трансцендентность. Эта дилемма делает феноменальное поле игрока, играющего за Дзенъятту, более динамичным, его фокусировка постоянно смещается, игроку необходимо следить за гораздо большим, нежели Ангелу, количеством элементов. В определенном смысле играя за Дзенъятту, нужно чувствовать ситуацию, ее динамику, чтобы эффективно использовать суперспособность. Как мы видим, играя за Дзенъятту, игрок сталкивается с другой организацией интерфейса, нежели в случае Ангела, которая предоставляет ему другие возможности действия. Эти возможности не настолько однозначны, как в случае Ангела, и для их реализации требуется учет гораздо большего числа факторов, что повышает вероятность ошибки или непра-

вильного решения. Например, когда у игрока нет времени оглянуться и выяснить расположение своих союзников, он должен ориентироваться на небольшое число ситуативных деталей вроде наблюдаемых действий противника, запомненных им предыдущих действий участников и видимого расположения других игроков. Его решения становятся опосредованы не деталями интерфейса, т. е. выведенными на экран прошлыми событиями и возможностями действия, а деталями развивающегося здесь-и-сейчас игрового эпизода, что делает ситуацию более неопределенной и тем самым более сложной и требующей более высокого уровня мастерства.

Интерфейс: между чувством и расчетом

Методы действия в игре за Ангела или за Дзенъятту в ситуациях использования суперспособности существенно различаются. Феноменальные поля игроков, играющих за этих персонажей, оказываются ориентированы на различные детали ситуации. Способ действия при игре за Ангела ориентирован, скорее, на элементы интерфейса (например, счетчик суперспособности), которые выводят на первый план определенную организационную вещь — соотношение сил команд, активными элементами которой оказываются как действующие, так и «мертвые», но доступные для воскрешения персонажи. Важно, что радиус суперспособности Ангела достаточно большой, поэтому игрок может держаться на некотором расстоянии от сражения и охватывать взглядом все происходящее. В случае Дзенъятты феноменальное поле игрока оказывается более динамичным, фигурой здесь выступает большой диапазон непосредственно игровых деталей. Элементы интерфейса при игре за Дзенъятту уходят в фон. Игроку необходимо постоянно двигаться, внимательно следить за действиями обеих сторон и находиться на достаточно близком расстоянии от союзников, чтобы в критический момент их спасти. Эффективно использовать трансцендентность Дзенъятты гораздо сложнее, нежели воскрешение Ангела. В гайдах отмечают, что Ангел является «самым простым»²⁵ персонажем поддержки; про игру за Дзенъятту, наоборот, пишут, что она «довольно сложна и немного отличается от игры за других героев поддержки»²⁶. Ориентируясь на счетчик, Ангел оценивает, сколько в данный момент можно воскресить союзников, что позволяет достаточно точно определять, насколько эффективным будет использование суперспособности в каждой конкретной ситуации. Действия Дзенъятты носят гораздо более неопределенный характер, и ему постоянно приходится каким-то образом справляться с этой неопределенностью. В игре за этого персонажа важно чувство ситуации, реакция на ее динамику; как указывают в гайдах, важно «видеть открывающиеся возможности»²⁷.

25. Overwatch: основы игры. Гайд по Ангелу. <http://miroverwatch.ru/overwatch-gajd-po-angelu/>

26. Дзенъятта. Overwatch. Гайд. <http://mmo13.ru/news/post-2066>

27. Overwatch: основы игры. Гайд по Дзенъятте. <http://miroverwatch.ru/overwatch-gajd-po-dzenyatte/>

Таким образом, игра за Дзенъятту требует большей компетенции (знания особенностей других персонажей и их способностей и др.), чтобы успешно проецировать их возможные действия. В игре за Ангела фигурой феноменального поля оказывается общее соотношение сил. Наличие инструментов интерфейса, позволяющих более-менее точно рассчитать это соотношение, делает успешное использование суперспособности Ангела менее требовательным к компетенции игрока. Он может не следить за конкретными событиями, например смертями союзников, но замечать их через счетчик. Таким образом, игрок принимает конкретные решения, оперируя различными элементами своего феноменального поля, которые могут быть как феноменами интерфейса, так и феноменами актуального игрового процесса.

Соотношение виртуальных и повседневных феноменов

Как было сказано выше, игроку доступны различные типы феноменов. В первую очередь это феномены, которые мы обозначили как *виртуальные*: звуки, персонажи, движения, обстановка и все прочее, что находится «внутри» виртуального мира. Игрок действует в смоделированном компьютером мире как в *естественном* мире своих действий. Он воспринимает этот мир и проецирует возможности развития текущей ситуации из того места, где в данный момент находится игровое тело, т. е. он ориентируется на последовательность организуемых и организационных феноменов порядка, которые доступны ему в каждый момент времени. Также игроку доступны феномены интерфейса. Интерфейс обеспечивает расширение феноменального поля игрока и фокусирует его внимание на определенных организационных вещах, прежде всего — на возможностях действия. Все эти организационные детали находятся в пределах феноменального поля игрока, в которое, помимо элементов интерфейса, входит и происходящее в повседневном мире. Вопрос, который интересует нас в данном разделе, может быть сформулирован следующим образом: как именно соотносятся друг с другом феномены, находящиеся в игровом и повседневном мирах? Что выступает фигурой, а что фоном? Какую работу осуществляет игрок с этими различными феноменами в процессе игры?

Для ответа на эти вопросы мы решили обратиться к анализу видеоигр с камерой от первого («TES 5: Skyrim») и от третьего лица («The Witcher 3: Wild Hunt»).

«Вы отравлены»

«TES 5: Skyrim»²⁸ — ролевая игра в открытом мире с возможностью игры от первого лица. В интерфейсе игры присутствует ряд базовых для ролевых игр элементов (рис. 21):

28. «Skyrim» — мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром, разработанная студией «Bethesda Game Studios» и выпущенная компанией «Bethesda Softworks». Подобно предыдущим играм серии, «Skyrim» предоставляет игроку возможность свободно путешествовать по

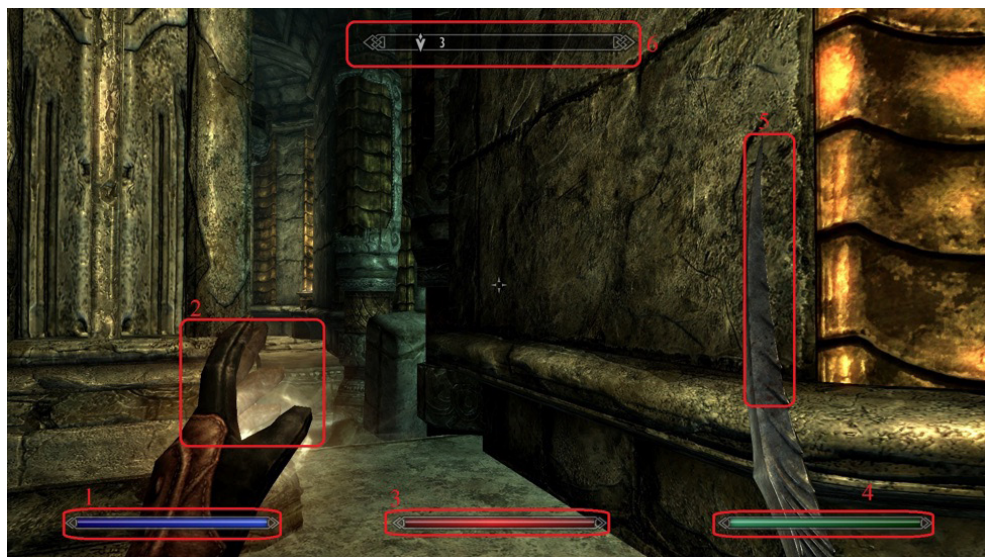


Рисунок 21. Базовые элементы интерфейса Skyrim

1 — синий индикатор количества маны (расходуется на применение заклинаний);

2 — активное заклинание/оружие в левой руке;

3 — красный индикатор количества здоровья;

4 — зеленый индикатор количества выносливости, расходуется при использовании силовых атак;

5 — активное заклинание/оружие в правой руке;

6 — игровой компас со сторонами света, отображающий внутриигровые объекты.

Игрок занимается исследованием двумерских²⁹ развалин. В процессе зачистки развалин от враждебных игроку созданий происходит релевантная для нашего исследования ситуация³⁰.

Эпизод начинается с того, что игрок в режиме скрытности обнаруживает монстра, который называется «Корус-охотник». Режим скрытности означает, что монстр не видит и не слышит персонажа игрока (об этом свидетельствует схематичный «закрытый глаз» на месте курсора). Игрок выбирает любопытную стратегию боя, в ходе осуществления которой происходит несколько значимых для нашего анализа событий.

На момент старта эпизода игрок вооружен двумя кинжалами. Игрок принимает решение перевооружиться и достать орудие дальнего боя. Сделать это возмож-

открытому игровому миру, исследуя его и самостоятельно находя новые места и задания. Действие «Skyrim» происходит в вымышленной провинции Скайрим на материке Тамриэль.

29. Гномы во вселенной TES.

30. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=mpdndLg8p6g>

но двумя способами. Первый из них — использовать индивидуально настроенную панель быстрого доступа (клавиша Q, рис. 22). Панель быстрого доступа формируется из доступных игроку вещей и заклинаний для их быстрого переключения. Важная особенность игры состоит в том, что в момент активации панели быстрого доступа события в игровом мире «Skyrim» замирают (ставятся на паузу). Эта механика в различных играх реализуется по-разному, но общепринятое наименование для нее — «тактический режим». Это момент, в котором игрок, манипулируя снаряжением и способностями персонажа, может выбрать наиболее удобную ему здесь-и-сейчас тактику боя. В ходе анализируемого эпизода игрок несколько раз воспользуется этой опцией.

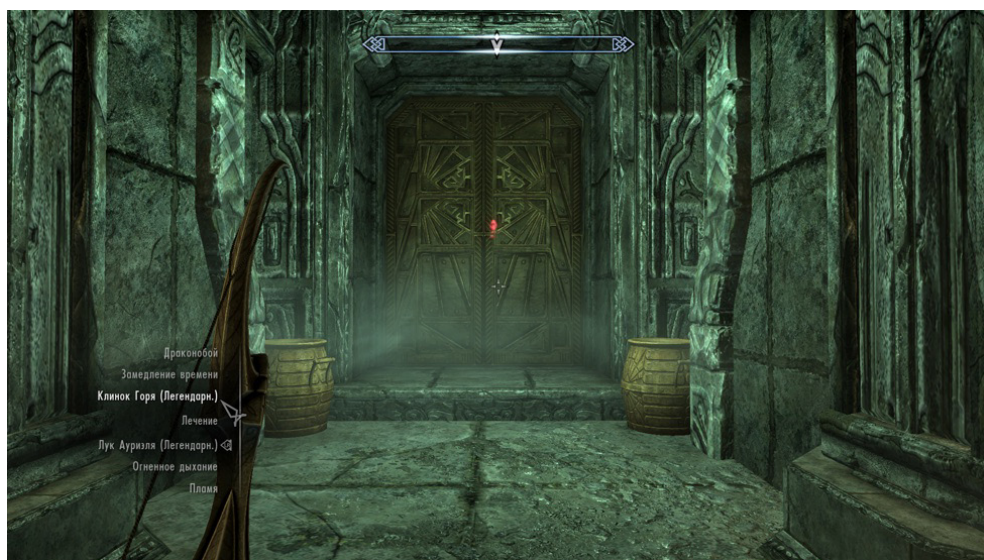


Рисунок 22. Панель быстрого доступа

Второй способ сменить оружие — воспользоваться вкладкой «Инвентарь» или рюкзаком персонажа (виртуальнымместилищем различных предметов, например оружия). В момент обращения к инвентарю игра также замирает. На старте обсуждаемого эпизода игрок выбирает второй вариант. Почему игрок выбирает именно этот вариант?

Открыв рюкзак, игрок меняет кинжалы на «Лук Ауриэля». Также игрок выбирает стрелу для выстрела из нескольких доступных ему видов. Выбор игрока падает на «Эльфийскую стрелу кровавого проклятья», приготовленную заранее, после чего игрок отключает режим инвентаря и начинается бой. Мы можем заключить, что игрок хотел использовать специальную стрелу, и он воспользовался режимом инвентаря именно потому, что в панели быстрого доступа этих стрел у игрока нет.

В этой ситуации наблюдается динамичное переключение между феноменами виртуального мира и феноменами интерфейса.

Игрок начинает бой выстрелом из лука по монстру в режиме скрытности, поскольку скрытый удар наносит увеличенное количество повреждений в рамках игровой механики. Успешную атаку сопровождает надпись в углу экрана «Скрытая атака — 3.0-кратный урон». В ходе боя игрок постоянно ориентируется на интерфейс, поскольку тот сообщает игроку, находится он в режиме скрытности или нет. Монстр, обнаружив враждебного ему персонажа, быстро сближается и атакует в ответ. В связи с тем, что монстр резко сократил дистанцию, игрок вновь обращается к панели быстрого доступа, для того чтобы вновь достать кинжалы для ближнего боя.

Когда игрок работает с интерфейсом, становится заметна одна особенность, указывающая на сложное соотношение различных типов феноменов: переключаясь на работу с интерфейсом, игрок совершает согласованные движения глаз и курсора. При этом как курсор может подсказывать, куда переводить взгляд, так и взгляд может вести за собой курсор. Однако когда игрок возвращается в игру, траектория движений его взгляда становится менее четко связанной с происходящим на экране. В какие моменты взгляд надолго «застревает» на одной точке.

Перевооружившись, игрок достаточно быстро расправляется с монстром (для этого игроку понадобилось нанести всего пару ударов). Однако в одну из последних перед смертью атак Корус отравляет персонажа. Об этом событии игроку также сообщает интерфейс (см. рис. 23, левый верхний угол скриншота).

Однако мы не можем однозначно сказать, обратил ли игрок внимание на эту надпись. Наша гипотеза заключается в том, что это сообщение интерфейса было проигнорировано игроком. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что сразу по завершении сражения игрок никак не реагирует на происходящее и действует в «штатном» режиме: обыскивает труп монстра и начинает дальнейшее движение по подземелью. Дело в том, что информацию об отравлении игрок может получить и более явным способом. Прямым следствием отравления является стремительное уменьшение очков здоровья. Эта информация доступна игроку в виде красной полоски здоровья внизу и в центре экрана (рис. 23). Игрок узнает о необходимости применить лечение, когда опускает взгляд вниз, чтобы обыскать убитого монстра. Если не предпринимать никаких действий, то персонаж игрока умрет в течение нескольких секунд. Задача игрока предельно конкретна: необходимо предотвратить игровую смерть. Для этого игрок вновь обращается к интерфейсу, на этот раз — к панели быстрого доступа. Именно в этот момент панель становится феноменом для игрока — он обращается к ней в рамках своего феноменального поля и актуализирует ее в практике. До этого момента панель остается для игрока лишь фоновым объектом. Игрок выбирает в панели заклинание «Лечение», активировав его «на каждую руку» (для более быстрого восстановления очков здоровья), и решает возникшую проблему (рис. 24).

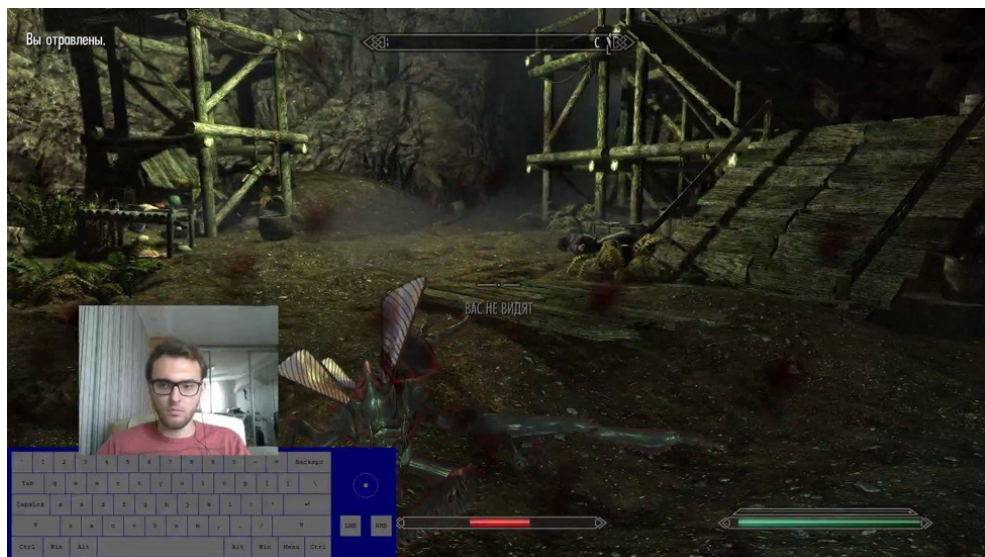


Рисунок 23. «Статус» персонажа

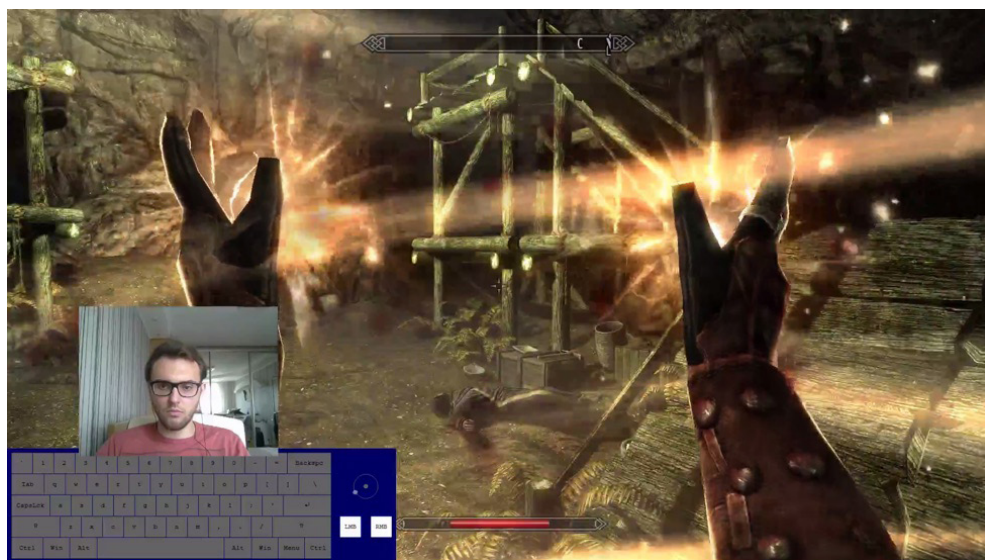


Рисунок 24. Лечение

Все вышеописанное занимает около 15 секунд. За это время глаза игрока проделывают огромный путь по экрану, во время которого игрок иногда совершает быстрые многочисленные движения глаз (когда работает с интерфейсом), а иногда его взгляд замирает (когда идет бой с монстром). При этом, вероятно, быстрые

движения позволяют игроку больше фокусироваться на небольших фрагментах своего феноменального поля, а долгий взгляд в одно место позволяет воспринимать более обширную область, но за счет расфокусирования внимания. Оба варианта действия связаны с конкретными организационными обстоятельствами деятельности, т. е. с ситуативной задачей, решаемой игроком: работой с интерфейсом или действием в игровом мире в качестве игрового тела.

«Осторожно, оса!»

«The Witcher 3: Wild Hunt»³¹ — ролевая игра с открытым миром и камерой от 3-го лица. К базовым элементам интерфейса игры относятся (рис. 25):



Рисунок 25. Базовые элементы интерфейса «The Witcher 3»

1 — индикаторы здоровья (красный) и интоксикации (зеленый). Индикатор интоксикации заполняется при использовании «ведьмачьих эликсиров»;

2 — действующие на Ведьмака в данный момент позитивные/негативные эффекты (зелья, бафы, дебафы и т. д.);

31. «The Witcher 3: Wild Hunt» — мультиплатформенная компьютерная ролевая игра, разработанная польской студией «CD Projekt RED» по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. Выпущена в 2015 году для Windows, Playstation 4 и Xbox One. Действие игры происходит в вымышленном фэнтезийном мире, напоминающем средневековую Восточную Европу. Главный герой, Геральт из Ривии, «ведьмак» — профессиональный охотник на чудовищ — отправляется в путешествие в поисках своей приемной дочери по имени Цири. «Ведьмак 3: Дикая Охота» — игра с открытым миром: игрок может свободно путешествовать по обширным территориям, самостоятельно находя новые места и задания.

3 — индикатор энергии (тратится при использовании знаков, силовых приемов или бега);

4 — индикатор адреналина (заполняется по мере боя). Чем выше уровень адреналина, тем сильнее удары Ведьмака;

5 — доступные в карманах (для быстрого использования в бою) зелья/бомбы;

6 — активный игровой квест;

7 — игровая мини-карта;

8 — доступные типы движений в бою (по своей сути 5 и 8 — памятки для игрока).

Ведьмак получает заказ разобраться с «утопцами», убивающими моряков в порту Ард Скеллиге. Выслеживание утопцев³² по следам приводит Геральта из Ривии в пещеру Миллюзины (чудовищного создания, которого местные принимали за богиню и приносили ей дары), где и происходит интересующий нас эпизод³³.

Первое, на что следует обратить внимание, — как устроена ориентация в виртуальном пространстве пещеры (рис. 26).

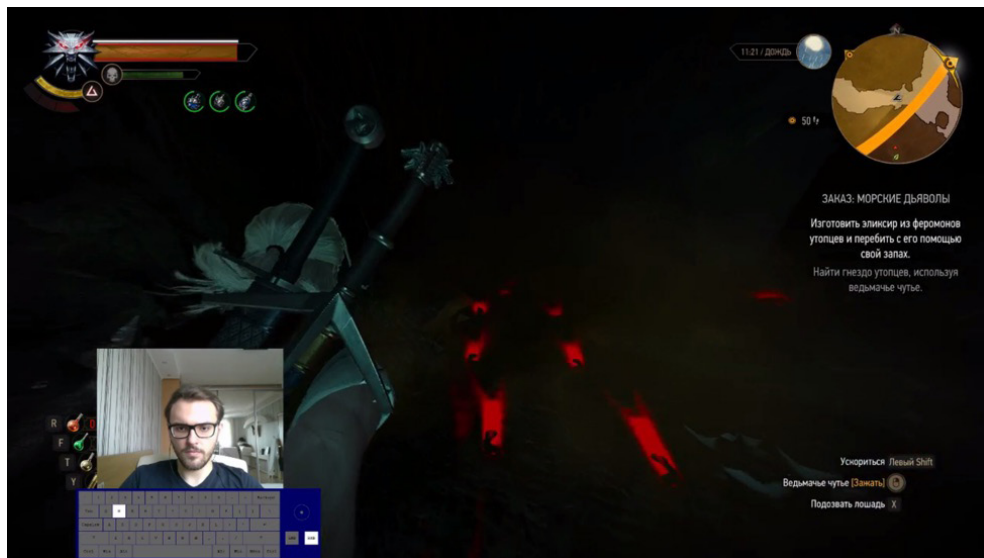


Рисунок 26. Ориентация в пространстве пещеры

В пещере царит крошечная тьма, и у игрока есть несколько опций, как решить проблему ориентирования. Первая опция — достать факел и осветить себе путь. В данном эпизоде эта опция не применяется, поскольку игроку необходимо обследовать часть пещеры под водой, а значит, факел становится бесполезным. Второй

32. Водяные во вселенной «Ведьмака».

33. Эпизод доступен по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=SYeO-vYCTW4>

вариант — выпить эликсир «Кошка», который позволяет видеть в темноте в ярком черно-белом спектре. В ходе последующего исследования пещеры Миллюзины игрок использует эту возможность, однако в анализируемом фрагменте он выбирает третий вариант. Третий вариант — «гибридный», и его проще всего описать в терминах феноменального поля. Пещера (и под водой, и над водой) — это коридор, в котором возможно двигаться в строго заданном направлении. Для того чтобы выбрать верное направление движения, игроку достаточно практически совместить наблюдаемые особенности пещеры и мини-карту в правом верхнем углу экрана. Используя «witcher senses», игрок видит следы утопцев, подсвеченные красным. Движение по этому следу позволяет игроку ориентироваться в виртуальном пространстве пещеры без применения «освещающих» девайсов. В каком-то смысле игрок видит и ориентируется, «не видя». Он предпочитает не использовать дополнительные инструменты для разрешения проблемы ориентирования в пространстве и пользуется тем, что доступно ему здесь-и-сейчас.

Сделанные выше наблюдения наводят нас на мысль о двух типах *accountability* (повседневной и виртуальной), одновременно присутствующих в видеоиграх. Для обсуждаемого выше кейса данную идею можно было проиллюстрировать так: когда игрок принимает решение выпить эликсир «кошка», чтобы видеть в темноте, его ассоунт можно описать исключительно в терминах виртуального мира: в пещере темно, значит нужно выпить соответствующее зелье. Когда же игрок выбирает гибридную стратегию ориентирования, собирая в своей практике два потока доступных данных, его ассоунт смещается в сторону повседневности, т. к. игровой интерфейс сообщает игроку информацию как человеку в повседневной жизни.

Продолжая идти по следу, персонаж ныряет под воду. Интересующая нас проблема возникает на 17:51. На изображении, снятом с веб-камеры, видно, что игрок смотрит в сторону от монитора. Взгляд этот достаточно выраженный, что означает заинтересованность в конкретном объекте: схватить его периферийным зрением оказалось невозможно. Более этого, этот объект каким-то образом привлёк внимание игрока. Этим объектом была крупная оса, которая становится для игрока объектом-в-феноменальном поле, т. е. феноменом (рис. 27).

На протяжении следующих 30 секунд игрок постоянно переводит взгляд с экрана на осу и обратно, однако при этом движение в виртуальном мире не прекращается. Как видно из скриншота, клавиши W («Вперед») и Shift («Плыть быстро») по-прежнему зажаты, а значит, движение продолжается. Безусловно, монотонность динамики феноменального поля игрока (персонаж совершает одно и то же действие без каких-либо изменений игровой обстановки) «освобождает» зрение и слух игрока от необходимости следить за происходящим на экране, поскольку в игре не появляется и, судя по всему, в ближайшем будущем не появятся новые организационные объекты. Однако игрок, достаточно долго находясь в «отвлечённом» состоянии (он смотрит на осу, смотрит на стол, почесывает лицо), все же не утрачивает фиксации на игровых событиях, которую ему обеспечивают руки (одна нажимает клавиши, другая держит мышку), глаза (иногда возвращающиеся

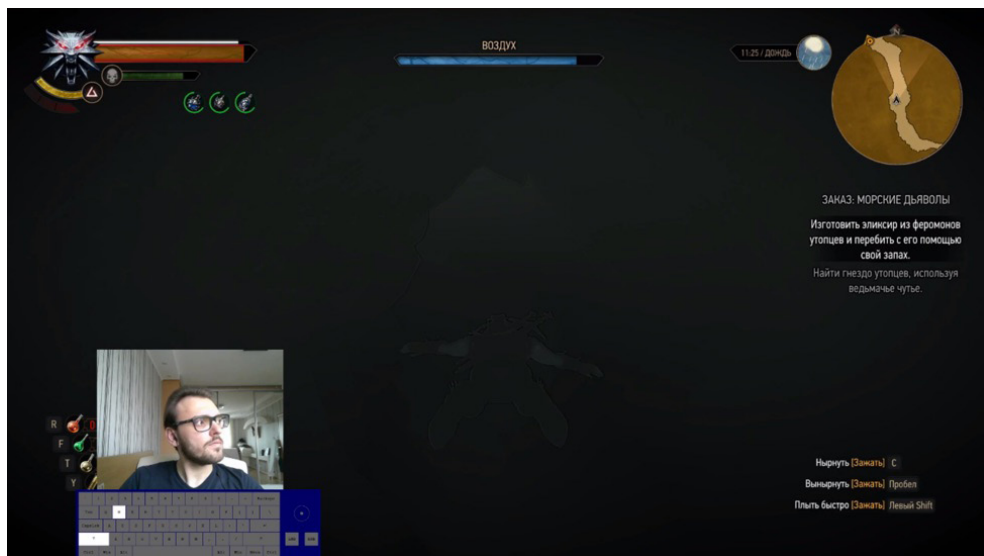


Рисунок 27. Резкое переключение внимания на повседневный объект

на экран) и уши (слышащие игровые звуки). Тем не менее когда персонаж заканчивает плыть, происходит интересное событие: игрок не переключается полностью снова на игровой мир, а наоборот, расширяет раскол между повседневным и виртуальным мирами, полностью переключая внимания на осу в комнате. Он фиксирует взгляд на осу, отпускает клавиши и персонаж перестает двигаться (рис. 28). Через несколько мгновений игрок поворачивает голову, опускает взгляд,

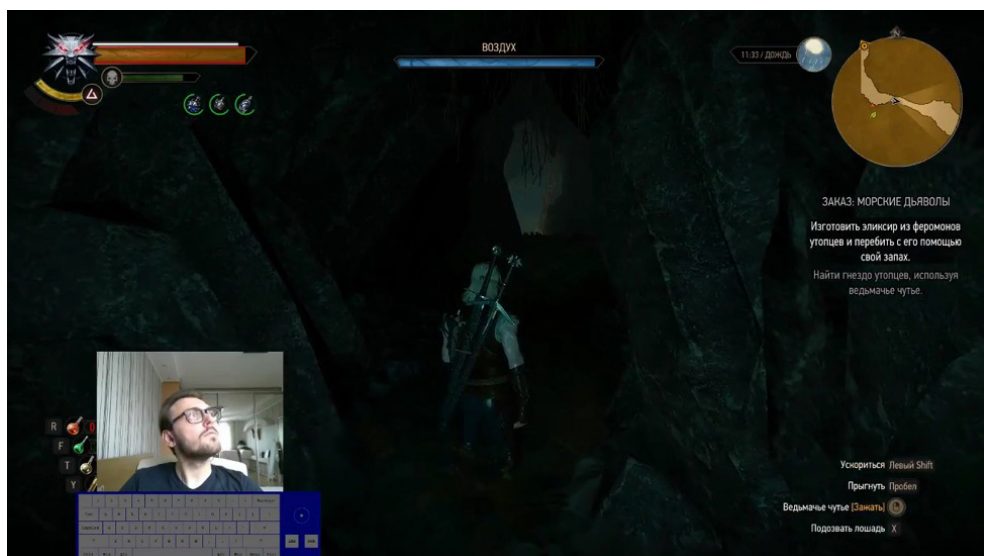


Рисунок 28. Полное переключение внимания на осу

снова нажимает клавишу движения (еще до того, как взгляд будет сфокусирован на экране) и продолжает играть.

Эта остановка игры была вызвана, вероятно, тем, что оса в комнате стала для игрока настолько «сильным» организационным объектом (т.е. возникла необходимость оценить ее возможную траекторию и необходимость мер по ее нейтрализации), а игра в этот момент требовала настолько много внимания (персонаж закончил плыть и начал выбираться на берег), что игрок прекращает играть и помещает в центре своего феноменального поля осу, на время «подвешивая» виртуальные события.

Два рассмотренных примера показывают, что игрок в рамках своего феноменального поля постоянно взаимодействует с различными типами феноменов. Способ взаимодействия определяется ситуативно, прагматикой эпизода. Однако такое переплетение различных типов феноменов может ослабляться или разрушаться как в силу вмешательства повседневного мира игрока, в центре которого он находится как физическое тело, так и в результате переключения внимания на элементы интерфейса, которые не равнозначны объектам вроде клавиатуры и мышки. При этом ни один из обсуждаемых типов феноменов не является определяющим по отношению к остальным. Возможны как ситуации, когда игрок прекращает играть, отдавая приоритет объектам обыденного мира, так и ситуации, когда мир игры заставляет игрока игнорировать объекты обыденного мира (о чем игроку может внезапно напомнить затекшая рука) или элементы интерфейса (когда игрок не замечает определенную информацию, выводимую на экран посредством того или иного элемента интерфейса).

Заключение

Этнометодология, безусловно, не представляет собой что-то «целое». Нет какой-то одной проблемы, стоящей перед этнометодологическими исследованиями. Скорее, это набор тем, каждая из которых требует оригинального аналитического подхода, а также разработки специфических методов наблюдения, сбора и анализа данных. Для нас центральной стала проблематика феноменального поля внутри игровой практики. Мы постарались развернуть эту проблематику, анализируя различные типы феноменов, доступных игроку в разнообразных игровых ситуациях, а также последовательность действий конституирующих практику видеоигры как таковую. Первостепенной задачей было предложить подход к анализу видеоигр. Говоря проще, мы хотели представить читателю исследовательскую программу.

Представляя эту программу, мы обратились к анализу трех конкретных проблем. Исследование координации действий игроков привело нас к на первый взгляд банальному выводу: возможность вербальной коммуникации делает взаимодействие игроков более скоординированным. Однако подробный разбор механики координации игроков довольно быстро заставляет признать, что это не

совсем так. Игроки постоянно координируются. Если у них нет возможности общаться, они ориентируются на действия других игроков (как союзников, так и противников), постоянно проецируя эти действия в собственное феноменальное поле (не всегда проецируя корректно, что и приводит к нарушению координации). Возможность договориться определенным образом переформирует происходящее в игре: взаимодействие не становится «более скоординированным», но «собирается» в новый порядок, происходит по-другому. В игровой практике различные способы координации постоянно уступают место друг другу в одних обстоятельствах, смешиваются в других или отсутствуют полностью в третьих. Понять, как именно это происходит, можно лишь через анализ конкретных игровых ситуаций, следуя за организацией феноменальных полей игроков. Все вышеперечисленное открывает широкие перспективы исследования различных способов организации взаимодействия внутри игры и их связи со спецификой самой игры (в частности, тех способов взаимодействия, которые в принципе доступны в конкретных играх — голосовые или текстовые чаты, жесты и т. п.).

Этнометодологический анализ взаимодействия игрока с интерфейсом (которому посвящен второй раздел статьи) придает большую гибкость нашему видению того, как это взаимодействие происходит. В перспективе этнометодологии нет смысла говорить об интерфейсе как таковом, но только о практиках взаимодействия с ним. Динамическая организация феноменов интерфейса, в которой фигуры в различных ситуациях постоянно меняются (игрок в разные моменты времени взаимодействует с различными феноменами интерфейса), позволяет нам понять специфические способы действия игроков и игровых персонажей. Персонажи-аватары в играх неравны, и это неравенство задается в том числе феноменальной организацией интерфейсов.

В третьем разделе мы проанализировали, как соотносятся различные типы феноменов в практике игры. В течение всего процесса работы с данными мы замечали, что доступные игроку феномены виртуального мира, игрового интерфейса и мира «по сю сторону монитора» — это разнообразные феномены-внутри-феноменального-поля игрока, взаимодействие с которыми в практике принципиально различается. Мы показали, как именно игрок постоянно переключается между ними, как фигурой становятся объекты то виртуального мира, то повседневного. Этот анализ хорошо демонстрирует, с насколько большим количеством феноменальных деталей необходимо считаться при анализе феноменологической механики игрового опыта. Тезис о двух типах *accountability* позволяет нам справиться со сложностью столь комплексного процесса, как видеоигра.

Этнометодология учит нас, что нет смысла строить общую теорию того, что такое видеоигра. Следует изучать социальный порядок внутри конкретных видеоигр, т. е. игровые практики *in situ*. В данном тексте мы предложили некоторые направления исследования этого сложного, постоянно ускользающего от нашего внимания порядка, построенные вокруг анализа работы феноменального поля игрока. Впереди предстоит большая критическая, концептуальная и методическая работа по развитию исследовательской программы этнометодологии видеоигр.

Литература

- Богост Я. (2015). Бардак в видеоиграх / Пер. с англ. П. Хановой // Логос. № 1. С. 79–99.
- Ветушинский А. С. (2015). To Play Game Studies Press the START Button // Логос. № 1. С. 41–60.
- Корбут А. М. (2011). Уникальная адекватность методов как исследовательский принцип в этнометодологии. Магистерская диссертация. М.: МВШСЭН.
- Корбут А. М. (2013). Гоббсова проблема и два ее решения: нормативный порядок и ситуативное действие // Социология власти. № 1–2. С. 9–26.
- Корбут А. М. (2014). Привычка как точильный камень феноменологии // Социология власти. № 1. С. 10–30.
- Максимова А. С. (2016). Использование видео для изучения социального взаимодействия // Социологическое обозрение. Т. 5. № 3. С. 91–121.
- Шпигельберг Г. (2002). Феноменологическое движение: историческое введение / Пер. с англ. В. П. Большакова и др. М.: Логос.
- Шюц А. (2004). Символ, реальность и общество / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Шюц А. Избранное. Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН. С. 456–529.
- Юл Й. (2015). Рассказывают ли игры истории? Краткая заметка об играх и нарративах / Пер. с англ. П. Хановой // Логос. № 1. С. 61–78.
- Bennerstedt U., Ivarsson J. (2010). Knowing the Way: Managing Epistemic Topologies in Virtual Game Worlds // Computer Supported Cooperative Work. Vol. 19. № 2. P. 201–230.
- Garfinkel H. (2002). Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Garfinkel H. (2007). Lebenswelt Origins of the Sciences: Working out Durkheim's Aphorism — Book Two: Workplace and Documentary Diversity of Ethnomethodological Studies of Work and Sciences by Ethnomethodology's Authors: What Did We Do? What Did We Learn? // Human Studies. Vol. 30. № 1. P. 9–56.
- Gurwitsch A. (1961). The Problem of Existence in Constitutive Phenomenology // Journal of Philosophy. Vol. 58. № 21. P. 625–632.
- Mondada L. (2012). Coordinating Action and Talk-in-Interaction in and out of Video Games // Gerhardt C., Ayass R. (Eds.). The Appropriation of Media in Everyday Life. Amsterdam: John Benjamins. P. 231–270.
- Pinchbeck D. (2010). I Build to Study: A Manifesto for Development Led research in Games. URL: <https://www.yumpu.com/en/document/view/9024697/i-build-to-study-a-manifesto-for-development-led-thechineseroom> (дата доступа: 14.11.2016).
- Reeves S., Brown B., Laurier E. (2009). Experts at Play: Understanding Skilled Expertise // Games and Culture. Vol. 4. № 3. P. 205–227.
- Sacks H. (1992). Lectures on Conversation. Oxford: Blackwell.
- Sjoblom B. (2011). Gaming Interaction: Conversations and Competencies in Internet Cafes. PhD thesis. Linköping: Linköping University Electronic Press.

- Sudnow D.* (1978). *Ways of the Hand: The Organization of Improvised Conduct*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Sudnow D.* (1984). *Pilgrim in the Microworld*. New York: Warner Books.
- Wesp E.* (2014). *A Too-Coherent World: Game Studies and the Myth of «Narrative» Media* // *Game Studies*. Vol. 14. № 2. URL: <http://gamestudies.org/1402/articles/wesp> (дата доступа: 14.11.2016)

Ethnomethodology of Videogames: Phenomenal Field in Game Practice

Artem Reiniuk

Master's Student, Moscow School of Social and Economic Sciences

Address: Prospect Vernadskogo, 82, building 2, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: reynyuka.s@gmail.com

Aleksandr Shirokov

Master's Student, Moscow School of Social and Economic Sciences

Address: Prospect Vernadskogo, 82, building 2, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: needeeds@gmail.com

The paper describes a program for the research of video games in the ethnomethodological perspective. The core of the program is represented by the concept of "phenomenal field" which highlights a number of topics significant for studying gamers' real experience, that is, the gamer's phenomenal field, the virtual world phenomena, the interface phenomena, the everyday phenomena, the figure and background of the phenomenal field, and the projection. The program is based on the empirical researches which provided a detailed description of game actions, as well as a step-by-step analysis of their sequences. The problem of the phenomenal field in game practices is revealed through the analysis of three common types of situations encountered by gamers. The first type is related to the coordination of gamers' actions in network multiplayer games, and to the role of verbal communication in this coordination. The materials from several game episodes illustrates the importance of other gamers for the organization of the gamer's phenomenal field. The second type of situation relates to the interaction of the gamer and the interface. The analysis of the activities of two different characters within one game shows how the work with the interface can differ depending on the specific features of a character and the details of the situation. The third type of situation is related to the problem of the coordination of game actions in the physical and virtual worlds. The analysis demonstrates the way in which the gamer can switch between three different types of objects, those of the objects of the virtual world, of the game interface, and of the world "on this side of a monitor". The analyses of these examples allows for the statement that the program of ethnomethodological studies based on the detailed empirical analysis makes it possible to reveal the phenomenological mechanics of video games.

Keywords: ethnomethodology, phenomenal field, videogames, coordination of actions, interface, video-analysis

References

- Bennerstedt U., Ivarsson J. (2010). Knowing the Way: Managing Epistemic Topologies in Virtual Game Worlds. *Computer Supported Cooperative Work*, vol. 19, no 2, pp. 201–230.
- Bogost I. (2015) Bardak v videoigrah [Videogames are a Mess]. *Logos*, no 1, pp. 79–99.
- Garfinkel H. (2007) Lebenswelt Origins of the Sciences: Working out Durkheim's Aphorism — Book Two: Workplace and Documentary Diversity of Ethnomethodological Studies of Work and Sciences by Ethnomethodology's Authors: What Did We Do? What Did We Learn? *Human Studies*, vol. 30, no 1, pp. 9–56.
- Garfinkel H. (2002) *Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Garwitsch A. (1961) The Problem of Existence in Constitutive Phenomenology. *Journal of Philosophy*, vol. 58, no 21, pp. 625–632.
- Juul J. (2015) Rasskazyivayut li igryi istorii? Kratkaya zametka ob igrakh i narrativakh [Games Telling Stories? A Brief Note on Games and Narratives]. *Logos*, no 1, pp. 61–78.
- Korbut A. (2011) *Unikalnaya adekvatnost metodov kak issledovatel'skiy printsip v etnometodologii* [The Unique Adequacy Requirement of Methods as a Research Principle of Ethnomethodology] (Magister Thesis), Moscow: MSSES.
- Korbut A. (2013) Gobbsova problema i dva ee resheniya: normativniy poryadok i situativnoe deystvie [Hobbes' Problem and Its Two Solutions: Normative Order and Situated Action]. *Sociology of Power*, no 1–2, pp. 9–26.
- Korbut A. (2014) Privyichka kak tochilnyi kamen fenomenologii [Habit as a Grindstone of Phenomenology]. *Sociology of Power*, no 1, pp. 10–30.
- Maximova A. (2016) Ispolzovanie video dlya izucheniya sotsialnogo vzaimodeystviya [The Use of Video for Studying Social Interaction]. *Russian Sociological Review*, vol. 5, no 3, pp. 91–121.
- Mondada L. (2012) Coordinating Action and Talk-in-Interaction in and out of Video Games. *The Appropriation of Media in Everyday Life* (eds. C. Gerhardt, R. Ayass), Amsterdam: John Benjamins, pp. 231–270.
- Pinchbeck D. (2010) I Build to Study: A Manifesto for Development Led research in Games. Available at: <https://www.yumpu.com/en/document/view/9024697/i-build-to-study-a-manifesto-for-development-led-thechineseroom> (accessed 14 November 2016).
- Reeves S., Brown B., Laurier E. (2009) Experts at Play: Understanding Skilled Expertise. *Games and Culture*, vol. 4, no 3, pp. 205–227.
- Sacks H. (1992) *Lectures on Conversation*, Oxford: Blackwell.
- Schütz A. (2004) Simvol, realnost i obschestvo [Symbol, Reality and Society]. *Izbrannoe: Mir, svetyaschiysya smyslom* [Selected Works: The World Shining Sense], Moscow: ROSSPEN, pp. 456–529.
- Spiegelberg H. (2002) *Fenomenologicheskoe dvizhenie: istoricheskoe vvedenie* [The Phenomenological Movement: A Historical Introduction], Moscow: Logos.
- Sjoberg B. (2011) *Gaming Interaction: Conversations and Competencies in Internet Cafes* (PhD Thesis), Linköping: Linköping University Electronic Press.
- Sudnow D. (1978) *Ways of the Hand: The Organization of Improvised Conduct*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Sudnow D. (1984) *Pilgrim in the Microworld*, New York: Warner Books.
- Vetushinsky A. (2015) To Play Game Studies Press the START Button. *Logos*, no 1, pp. 41–60.
- Wesp E. (2014) A Too-Coherent World: Game Studies and the Myth of "Narrative" Media. *Game Studies*, vol. 14, no 2. Available at: <http://gamestudies.org/1402/articles/wesp> (accessed 14 November 2016).

Производство порядка в рэп-баттлах: управление паузами и их отсутствием

Юлия Августис

Магистрант программы «Фундаментальная социология»

Московской высшей школы социальных и экономических наук

Адрес: пр-т Вернадского, 82, корп. 2, г. Москва, Российская Федерация 2119571

E-mail: javgustis@gmail.com

Данная статья представляет собой этнометодологическое исследование рэп-баттлов. Материалом для анализа явились видеозаписи баттлов, опубликованные на YouTube-канале площадки «Versus». В статье рэп-баттлы проанализированы в соответствии с принципами разговорного анализа — в качестве системы обмена высказываниями. Рассмотрены некоторые методы создания и воссоздания порядка рэп-баттла, под которым автор имеет в виду не следование формальным правилам, а ситуативное достижение участниками ситуации. Основное внимание уделено механизмам восстановления порядка в ситуациях возникновения сбоя: тишины, перебивания и наложения реплик. Приведены примеры восстановления порядка как со стороны баттл-рэперов, так и со стороны других участников ситуации: организатора, судей и публики. Выделены сходства и различия в методах воссоздания порядка в рэп-баттлах и повседневных разговорах. Баттлы также проанализированы в качестве формы институционального взаимодействия, имеющей свои особые черты. Анализ показывает, как рефлексивность порядка взаимодействия делает возможным институциональное взаимодействие без точного следования правилам в связи с тем, что формальные правила ситуации могут быть временно изменены в зависимости от ситуации. Полученные результаты могут оказаться полезны для дальнейших этнометодологических исследований взаимодействия с публикой, иных форм институционального взаимодействия, а также для исследования повседневных разговоров.

Ключевые слова: этнометодология, разговорный анализ, рэп-баттлы, институциональное взаимодействие, рефлексивность, тишина, перебивание, наложение чередов

За последние несколько лет рэп стал одним из самых популярных жанров музыки в России. Многие рок-группы переходят на исполнение композиций в этом жанре или добавляют элементы рэпа в свои произведения. Рэп-баттлы также превращаются из малоизвестного увлечения в событие, результаты которого широко освещаются средствами массовой информации. Видеозаписи российских рэп-баттлов набирают большее число просмотров на YouTube, чем видеозаписи ранее появившихся зарубежных рэп-баттлов.

Растущая популярность баттлов как в России, так и за рубежом не может оставаться незамеченной в академической среде. Рэп-баттлы становятся предметом анализа филологов и культурологов: их исследуют как в качестве литературной формы (Pate, 2010; Bradley, DuBois, 2010), так и как культурный феномен (Alim,

Lee, Carris, 2011; Harkness, 2014; Kajikawa, 2015; Wald, 2012). Их также изучают с точки зрения фрейм-анализа, выявляя техники, используемые баттл-рэперами для сохранения фрейма игры (Lee, 2009). Рэп-баттл, однако, можно рассматривать не только в культурном контексте, но и как ситуационную социальную практику, что делает это явление интересным для этнометодологии.

Для этнометодологии рэп-баттлы могут быть интересны тем, что, несмотря на предварительную подготовку текста участниками, этот текст должен быть произнесен в складывающихся здесь и сейчас обстоятельствах в конкретной ситуации, которую невозможно организовать заранее. Для этнометодолога здесь важен не столько текст, сколько организация чтения этого текста, реакция противника и слушателей на определенные слова и действия говорящего участника, т. е. ситуативное производство рэп-баттла.

В данной статье рэп-баттл рассматривается как система обмена высказываниями в соответствии с принципами конверсационного анализа, описывающего организацию повседневных разговоров, прежде всего — с точки зрения упорядочивания очередности говорящих¹. По мнению конверс-аналитиков, любой обмен высказываниями выстраивается таким образом, чтобы в каждый момент времени говорил только один человек и чтобы реплики разных участников не накладывались друг на друга и между ними не возникали длительные паузы. Разница между обыденными разговорными взаимодействиями и институционализированными формами обмена высказываниями состоит в наличии заранее установленных ограничений, касающихся размера реплик, их чередования, содержания и т. д. Рэп-баттл в этом отношении представляет собой особую форму разговора, в которой имеются определенные формальные правила организации взаимодействия, но их относительно немного.

Конверсационный анализ основывается на свойственном этнометодологии представлении о порядке. Если для традиционной социологии порядок определяется скрытыми от акторов внеситуативными социальными силами, то для этнометодологов порядок становится возможным благодаря методам, которые применяют акторы в конкретных ситуациях. По словам Томаса Эберле, с точки зрения этнометодологии «не акторы производят действия, а скорее действия производят акторов» (Eberle, 2012: 290). Порядок в этнометодологии понимается как временное и ситуативное достижение. Соответственно, порядок рэп-баттла выражается не в следовании установленным организаторами правилам, а в выстраивании взаимодействия, при котором не возникают перебивания, а также длинные паузы и задержки. Разумеется, при анализе баттла важен не только разговор, но и социальный контекст, в котором этот разговор осуществляется, поскольку порядок разговора определяется взаимодействием баттлеров и остальных присутствующих в ситуации людей (судей, организаторов, зрителей, операторов).

1. Подробно организация очередности разговора описывается в статье Сакса, Щеглоффа и Джефферсон: Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974.

Я рассмотрю некоторые методы, используемые участниками для создания и воссоздания социального порядка рэп-баттла. Порядок в данном случае может пониматься по-разному. Я буду рассматривать его с точки зрения самих участников, которые описывают организацию произносимых реплик с помощью понятия «флоу» (flow). Под «флоу» имеется в виду не только стиль, в котором баттлер пишет свой текст (рифмы, ритм), но и то, как он представляет его публике (скорость, ударение на определенных словах). Порядок при этом имеет двоякое значение. С одной стороны, порядок — это то, что может быть нарушено, и его нарушение будет заметно всем участникам, как происходит, к примеру, когда баттлер забывает фрагмент своего текста и возникает тишина. С другой стороны, порядок предполагает методы его восстановления, которые в некотором смысле являются частью порядка, поскольку в распоряжении участников рэп-баттлов есть специфические техники преодоления возникающих сбоев.

Основное внимание в статье будет уделено реакциям на возникновение сбоев. Я рассмотрю способы восстановления порядка при появлении тишины, а также при обратной ситуации — перебивании или наложении реплик. В фокусе внимания будет взаимодействие публики и баттлера, но также аспекты взаимодействия баттлера с соперником, организатором, судьями и отдельными слушателями из публики.

История и правила рэп-баттлов

Рэп зародился в хип-хоп культуре Бронкса в 1970-е годы. Про рэперов того времени Адам Брэдли и Эндрю Дюбуа пишут: «Они поэты, а рэп — это поэзия хип-хоп культуры» (Bradley, DuBois, 2010: xxix). Баттл-рэп как один из поджанров рэпа — это потомок игры «dozens», суть которой заключается в оскорблении родителей соперника. Именно эта игра сделала популярными до сих пор используемые в баттлах шутки, начинающиеся со слов «твоя мама». Современный баттл-рэп включает в себя не только оскорбления, но и «braggadocio», т. е. самовосхваления (Edwards, 2009: 25). Также баттлеры стремятся к демонстрации своих вербальных навыков и навыков рифмования. «Несмотря на то что оригинальность высоко ценится, баттл-рэперы часто прибегают к знакомым темам: жесткость гангстеров (гангста) или ее отсутствие, гомофобные оскорбления и указания на то, что рэпер сделал или сделает с девушкой соперника» (Wald, 2012: 198).

В 2008 году появились лиги «King of the Dot» в Канаде и «Don't Flop» в Великобритании, которые стали выкладывать записи рэп-баттлов в интернет-пространство. Позже подобные площадки стали возникать и в России. Самыми популярными на данный момент являются «Slovo», «SlovoSPB», «RBL» и «Versus». Материалом для анализа будут видеозаписи на YouTube-канале «versusbattleru»², на котором

2. <https://www.youtube.com/user/versusbattleru>

выкладываются видео с баттлами участников проекта «Versus», а также их баттлы с участниками других площадок.

Правила проведения рэп-баттлов в России не сильно отличаются от правил, которым следуют создатели зарубежных лиг. Каждый рэп-баттл на «Versus» начинается с представления судей, участников и объявления того, кто будет выступать первым по результатам жеребьевки. Правил не всегда строго придерживаются, и участник может, например, договориться с организаторами баттла о том, что он будет выступать первым. У каждого баттлера есть три раунда, начало которых обычно объявляется ведущим. Иногда баттлер начинает читать свой рэп без объявления о раунде, что в зависимости от ситуации игнорируется или считается нарушением. Несмотря на то что у рэп-баттлов есть некая структура и «правила», не существует ни одного рэп-баттла, который был бы полностью идентичен другому по структуре. Например, рэп-баттл может происходить с участием людей, которые не являются баттл-рэперами³. Случается, что участники баттла находятся в состоянии алкогольного опьянения⁴. Ситуация рэп-баттла может создаваться даже без соперника⁵. Во всех этих случаях порядок рэп-баттла создается определенными методами, а производимые людьми феноменальные детали происходящего и делают их участниками рэп-баттла.

Особенности рэп-баттла как формы институционального взаимодействия

Согласно разговорному анализу, организация смены чередов (turns) говорящих является основой любого разговора. Институциональные взаимодействия (например, политическое выступление, судебное заседание, школьный урок или стендап) имеют свои особые черты. Рэп-баттл также является институциональной формой взаимодействия, в котором речь участника в течение раунда следует рассматривать как одно полноценное высказывание. Специфическим институциональным для рэп-баттла местом перехода реплики оказывается тот момент, когда участник говорит «Раунд» (или, в рассматриваемом случае, «Версус») для того, чтобы объявить об окончании своего высказывания. Если участник забывает про это правило, то организатор может напомнить ему⁶. После этого публика выбирает себя в качестве следующего говорящего и «шумит». Затем организатор объявляет номер раунда и передает право голоса другому участнику, после чего начинается черед второго участника.

С точки зрения организации рэп-баттлы довольно близки к стендапу. Джейсон Раттер рассматривает взаимодействие между стендап-комиком и публикой в качестве «псевдодиадического», полагая, что публика действует как единый коллектив

3. Хованский VS Ларин (<https://www.youtube.com/watch?v=TpoGTdXwxMw>)

4. Обе 1 Канобе VS Энди Картрайт (<https://www.youtube.com/watch?v=iDlrPBnVF7I>)

5. Артем Татищевский VS ? (<https://www.youtube.com/watch?v=GZ5Z65SbnPM>)

6. Хип-хоп одинокой старухи VS Млечный (<https://youtu.be/YLpUig7Xhz4?t=6m14s>)

(Rutter, 2001). В рэп-баттле участников ситуации больше, но интеракция между баттл-рэпером и публикой имеет тот же диадический характер. За исключением случаев, когда высказываются отдельные люди, ее можно рассматривать как единое целое, как одного участника события. Помимо говорящего баттл-рэпера и публики в создании ситуации рэп-баттла участвуют: слушающий баттл-рэпер, который может отвечать сопернику обычно только действиями и жестами, но не словами, ведущий и судьи, которые могут высказаться в некоторых моментах баттла, а также после него, и камера, если ведется съемка.

Тексты участников рэп-баттлов на проекте «Versus» и подобных ему в основном состоят из шуток и оскорблений в адрес соперника. В большинстве случаев и шутки, и оскорбления содержат сетап и панчлайн. Эмси Эшер и Алекс Раппапорт пишут о том, что в тексте рэп-баттла желательно каждую или каждую вторую строчку делать панчлайном. Если же строчка не является панчлайном, то она должна быть сетапом, настраивать к шутке (Escher, Rappaport, 2006: 144). Сетап — это первая часть шутки, которая дает слушателю необходимую информацию и заставляет чего-то ожидать. Панчлайн, как его определяет Пол Эдвардс, это «особо сильная фраза в тексте, которая „цепляет“ слушателя» (Edwards, 2009: 58). Это может быть, например, интересная метафора или игра слов.

Несмотря на то что участник формально передает право голоса, только когда заканчивает свой раунд, во время его череды его высказывание постоянно прерывается, перебивается и перекрывается по разнообразным причинам. Обычно после панчлайнов баттл-рэперы делают паузу, чтобы дать публике время отреагировать. Тем не менее задача баттл-рэпера сложнее задачи стендап-комика, поскольку у баттлера есть необходимость не только получать реакцию от публики, но и сохранять свой флоу. Если панчлайн сильный, но не смешной, то публика реагирует аплодисментами или криками одобрения. Зрители также могут проявлять свое неодобрение через хуление, но говорить они начинают только в случаях нарушения порядка. К примеру, на вопрос участника «Готовы?» публика может посмеяться вместо ответа⁷.

Публика играет в рэп-баттле важнейшую роль. Эшер и Раппапорт утверждают: «Рэпер, который выигрывает расположение толпы, выигрывает сам баттл» (Escher, Rappaport, 2006: 142). По их мнению, для того чтобы завоевать признание толпы, нужно знать эту толпу (говорить о вещах, которые эта толпа понимает) и иметь с ней связь (читать о том, что происходит сейчас). Эти два совета касаются только содержания того, о чем читают баттл-рэперы. Однако успешность баттл-рэпера во многом зависит и от того, как он ведет себя в конкретной ситуации. Например, участнику рэп-баттла важно не только говорить о том, что будет понято публикой, но и в течение раунда делать паузы для реакции публики в одних местах и не делать их в других для сохранения флоу.

7. Леха Медь VS Букер Д. Фред (https://youtu.be/5bkLgLct_a4?t=7m)

На исход рэп-баттла влияют и действия участника, когда он находится в позиции слушателя. «Реакции баттлеров почти так же важны, как и их атаки, и опытные соперники, по-видимому, часто уделяют своей позе слушателя столько же внимания, сколько и своим навыкам рифмования. Некоторые демонстрируют наигранное пренебрежение, делая жесты руками, выражающие отвращение к жалким выпадам противника. Другие одобряюще смеются и демонстрируют своей ослабленной позой, что ничего впечатляющего сказано не было» (Wald, 2012: 197). Слушающий участник может проявлять как доброжелательность, так и агрессию, в связи с чем некоторые произнесенные реплики могут привести к драке после баттла.

Рэп-баттл отличается от ситуации стендапа или других видов выступлений перед публикой тем, что это не только взаимодействие со зрителями или слушателями, но также и «разговор» с соперником. Сакс пишет, что «система разговора разработана так, чтобы свести к минимуму задержки и тишину» (Sacks, 1974: 348). Если применить этот принцип к ситуации рэп-баттла, можно сказать, что рэп-баттл создается так, чтобы сделанные участником баттла паузы были заполнены реакцией слушателей. Рэп-баттл отличается от повседневных разговоров, так как существуют ограничения, определяющие как очередность говорящих (передача права голоса от одного участника к другому произношением слова «раунд»), так и содержание реплик (наличие сетапа и панчлайна). Участник может делать остановки в тексте намеренно или ненамеренно. Часто бывает сложно определить, является ли конкретная пауза умышленной, но изучив реакцию других участников ситуации, можно судить об «успешности» той или иной паузы. В следующем разделе я рассмотрю ситуацию, когда участник делает паузу, но публика реагирует не сразу или не реагирует вовсе.

Смех, паузы и реакция слушателей

Смех составляет неотъемлемую часть рэп-баттла и является одной из самых распространенных реакций на панчлайн. По мнению Гейл Джефферсон, смех «может осуществляться как последовательность, в которой производитель высказывания приглашает получателя посмеяться, а получатель принимает это приглашение» (Jefferson, 1979: 93). В рэп-баттлах подобные приглашения могут появляться после любых панчлайнов. Предпочтительная реакция на панчлайн — смех с минимальной задержкой со стороны слушателей, непредпочтительная — тишина. Сакс пишет о трех ответных последовательностях, которые могут возникнуть после ключевой фразы шутки: смех, смех с задержкой и тишина (Sacks, 1974: 348). По его мнению, поскольку задержки и моменты молчания нежелательны в системе разговора, имеются специальные методы минимизации задержек и тишины. В этом разделе я рассмотрю ситуации пауз и задержек, а также механизм, который позволяет превращать паузу в повод для комментария.

Внутри череда участника можно обнаружить запланированные (намеренные) и случайные (ненамеренные) остановки. Запланированные остановки баттл-рэпер производит для того, чтобы слушатели отреагировали на панчлайн. Эти остановки не дают публике право выбрать следующего говорящего, а участник в течение своего раунда каждый раз снова выбирает себя. Ненамеренные остановки возникают, когда участник, например, забывает свой текст или сбивается. В этих ситуациях организатор или судья может попросить публику пошуметь, но это далеко не единственный способ борьбы с тишиной в рэп-баттлах.

Остановка после панчлайна является релевантным местом перехода права голоса, но не от одного участника к другому, а от участника к слушателям рэп-баттла. Намеренные остановки могут быть восприняты в качестве релевантного места перехода права голоса и заполнены реакцией слушателей. В этом случае чем меньше по времени будет задержка между репликой баттлера и реакцией публики, тем успешнее может считаться панчлайн. Намеренная остановка также может стать паузой, если публика не реагирует, после чего баттлер продолжает читать свой текст. В случае с ненамеренными паузами слушатели могут дожидаться продолжения реплики (пауза) или поддержать участника криками и аплодисментами (задержка). Разница между задержкой и паузой заключается в том, что задержка происходит между чередами, а пауза — внутри. Каждая остановка после панчлайна является потенциальной задержкой и указывает слушателям на то, что сейчас им следует смеяться. Когда публика реагирует сразу, или задержка небольшая, панчлайн может считаться успешным. В другом случае возникают паузы или долгие задержки, которые как в ситуации с повседневными разговорами, так и в ситуации с рэп-баттлами не являются желательными.

Если баттлер делает остановку, публика не реагирует, а баттлер не продолжает зачитывать свой текст дальше, через какое-то время публика производит невеселый смех (*mirthless laughter*) для того, чтобы заполнить тишину. Такой смех «представляет собой способ произвести объект, соответствующий последовательности» (Sacks, 1974: 351). Обычно он начинается со смеха одного или нескольких людей, затем некоторые тоже начинают смеяться, но большая часть предпочитает промолчать.

- 1 Narek: Твой парень (0.7) твой парень (0.9) ТВОЙ ПАРЕНЬ (0.7)
- 2 латентный некрофил
- 3 (1.0)
- 4 Слушатели: ((невеселый смех))

(Narek VS Хип-хоп одинокой старухи)⁸

На баттл вместе с участником обычно приходят его друзья и знакомые; некоторые из них специально смеются в определенных моментах, чтобы указать осталь-

8. <https://youtu.be/VEzniStOyOc?t=13m37s>

ным присутствующим, где должно быть смешно. Это говорит о том, что сами участники процесса не только интуитивно знают механизмы, описанные Саксом, но и эффективно пользуются ими. Отреагировать на возникшую тишину может не только сам участник, но и другие присутствующие, которые иногда отшучиваются по поводу панчлайна или возникшей ситуации. Высказаться или пошутить может, например, организатор, который в одном из рэп-баттлов сказал участнику: «Рассказывай, что знаешь»⁹. Также в ситуации с забытым текстом публики может без просьбы со стороны баттл-рэпера или организатора «пошуметь» для поддержки.

Порядок рэп-баттла нарушается каждый раз, когда участник забывает часть своего текста. Зрители в этой ситуации обычно не перебивают, а дожидаются продолжения реплики. Восстанавливать порядок в этой ситуации может несколькими способами. Говорящий может превратить созданную задержку в паузу, чтобы избежать длительного молчания. Для этого ему нужно либо продолжить зачитывать свой текст, либо каким-либо образом отреагировать на возникшую тишину. Если тишина возникла после панчлайна, то во втором случае ему может помочь механизм, который Сакс называет «механизмом сравнительной оценки остроумия получателя» (the recipient comparative wit assessment device) (Sacks, 1974: 350). Одной из функций этого механизма является создание повода поговорить о сравнительном остроумии тех, кто не посмеялся после шутки. Такой реакцией может оказаться, например, объяснение шутки или прямое указание на то, что шутка была смешной. В следующем транскрипте участник рэп-баттла указывает слушателям на то, что они провалили тест на понимание шутки, не посмеявшись в нужном месте.

- 1 Narek: Если тут рядом (о.7) джарахов (о.9) то ты ива::н гай
- 2 Если рядом [рики эф то ты (1.1)] то ты ива::н
- 3 Слушатели: [хахахахаха ууу]
- 4 Narek: Бл*** [(1.7)] сбили суки
- 5 Слушатели: [хаха]
- 6 (1.2)
- 7 Narek: Ива::уэуэ- Если рядом рики эф то ты ива::н чай (1.2)
- 8 Ну:: э::то должно было быть смешно ладно
- 9 Слушатели: ((аплодисменты и крики слушателей))

(Narek VS Млечный)¹⁰

Механизм сравнительной оценки остроумия может применяться и после слабой реакции публики, как в следующем фрагменте.

9. Narek VS Млечный (<https://youtu.be/Qmq3jJW16zI?t=16m48s>)

10. <https://youtu.be/Qmq3jJW16zI?t=4m30s>

- 1 Леха Медь: Ты на бэттлах машина сме:рти (о.8)
 - 2 Фэны кричат (.) увеличивай пробег давай (о.9)
 - 3 Но здесь ты далеко не уедешь (о.6)
 - 4 Твои шины стерты (о.8) ты без протектора
 - 5 (2.5)
 - 6 Слушатель: [Во:::у
 - 7 Леха Медь: [Ты бл*** (о.7) Ну э:то бл*: доду:мать
 - 8 надо [еб*** что вы хотели бл***
 - 9 Слушатели: [((смех, аплодисменты, крики))
- (Леха Медь VS Букер Д. Фред)¹¹

В обоих случаях реакцию публики вызывает уже не панчлайн, а механизм оценки. Можно предположить, что он заставляет публику смеяться, поскольку у нее нет возможности обсудить панчлайн, выразить свое мнение. Некоторая часть публики может начать смеяться, а другая — сохранить молчание, но смех в этой ситуации уже относится не к самому панчлайну, а к последней строчке. Прямое объяснение шутки также является одним из примеров этого механизма, который указывает человеку на то, что он не посмеялся в нужном месте.

- 1 Narek: У нас сегодня все наоборот (.) Я схосс а ты ссох(.)ся
 - 2 Слушатели: ((тихий смех))
 - 3 Narek: Наоборот (.) развернуть (.) идите нах**
 - 4 Слушатели: Хахахах
- (Narek VS Хип-хоп одинокой старухи)¹²

В вышеприведенных случаях тишина превращается в повод для следующего комментария участника, но не каждый комментарий является упреком в отсутствии остроумия. Не каждая ситуация с комментарием по поводу тишины является использованием механизма сравнительной оценки остроумия. Например, участник может «объяснить» тишину тем, что его не хотят перебивать. Это уже не объяснение шутки, которое является примером использования механизма сравнительной оценки остроумия, но объяснение возникшей ситуации в формате шутки. Тишина в этом случае оказывается поводом для комментария, который впоследствии может вызвать ту реакцию публики, которую не вызвала произнесенная перед ним шутка. Другой реакцией баттл-рэпера на тишину может быть удивление по поводу того, что панчлайн не вызвал ожидаемой реакции. В следующем фрагменте сам участник указывает на то, что в коммуникации что-то «не сработало».

11. https://youtu.be/5bkLgLct_a4?t=18m9s

12. <https://youtu.be/VEzniStOyOc?t=13m1s>

- 1 Млечный: Это будет первый день (.) когда каждый зритель (.)
- 2 заберет домой по кусочку ВЕРСУСА (0.7)
- 3 Бл* не работает [йе: ладно
- 4 Слушатели: (((аплодисменты и крики слушателей))
(Букер Д. Фред VS Млечный)¹³

В представленном выше примере реплика баттлера вызывает реакцию публики, не являясь при этом механизмом сравнительной оценки остроумия, поскольку сам участник признает, что она «не работает». Однако не все комментарии после пауз приводят к реакции от зрителей. Еще одной функцией этого комментария может быть, например, оправдание. В следующем отрывке участник произносит панчлайн, после чего возникает пауза. На второй строчке участник повторяет часть панчлайна, снова делая небольшую паузу между «сера» и «я», после чего возникает реакция одного из баттлеров, который может оценить этот прием. Следующий комментарий участника воспринимается не как удивление, что публика не реагирует, а как указание на ее некомпетентность.

- 1 Galat: Твоя карьера настолько се(.).ра(.).я могу зажечь спичку (0.7)
- 2 Сера(.я ((щелкает пальцем)) И [мне поступило-кха [(1.1)
- 3 Слушатели: [е:п [е::
- 4 Galat: Ну (.) баттлрэперы поймут (0.7)
- 5 Мне поступило коммерческое предложение
(Galat VS Артем Лоик)¹⁴

Паузы возникают не только в случае неудачных панчлайнов, но также и в ситуации с забытым текстом. В подобных ситуациях участник может самостоятельно вспомнить текст, не сбиваясь со своего флю и заполняя паузу фразами или междометиями, как это делает баттл-рэпер в следующем фрагменте. В разговорном анализе подобные фразы называются престартерами (pre-starters). Их функция заключается в указании другим участникам разговора на то, что произносящий их человек собирается продолжить говорить. В баттл-рэпе, как и в хип-хопе, их называют эдлибами (ad-libs), а используются они еще и для сохранения флю. Примерами часто используемых эдлибов являются: «ай», «йо», «еее, бой», «окей», «брря» и другие.

13. <https://youtu.be/eUbaz-VrEYo?t=11m42s>

14. <https://youtu.be/9d18LbVe9gA?t=9m34s>

- 1 Rickey F: Когда старуха строит глазки он вызывает строительную бригаду
- 2 (1.9)
- 3 Слушатель: Е::
- 4 Rickey F: Окей (0.6) А:: (0.6) Че там у нас дальше (0.5) А! (0.8) Че правда
- 5 глаза колет?

(Хип-хоп одинокой старухи VS Rickey F)¹⁵

Участник может попросить публику пошуметь. Это также делается для того, чтобы избежать тишины.

- 1 Narek: Детка ты пока еще не готова
- 2 Слушатели: Хахахахаха
- 3 (0.6)
- 4 Narek: Детка ты пока еще не готова ((хлопнул в ладоши)) (0.3)
- 5 Э:: шуму дайте я выпью водички пожалуй
- 6 Слушатели: ((крики и аплодисменты))

(Narek VS Хип-хоп одинокой старухи)¹⁶

Мною были рассмотрены две нежелательные ответные последовательности, которые могут возникнуть после панчлайна: смех с задержкой и тишина. Смех с задержкой появляется между чередками и обычно является невеселым, постепенно нарастающим, но не захватывающим всех. Тишина появляется внутри чередки. Она может использоваться в качестве повода для последующего комментария, а может заполняться разнообразными междометиями, позволяющими баттлеру не сбиваться со своего флюу. На основе проанализированных баттлов можно выделить три способа превратить тишину в повод для комментария, который должен вызвать реакцию: указание на то, почему реакция должна была присутствовать (или объяснение того, почему она должна была быть); удивление тому, что не было реакции (в форме утверждения или вопроса публике); согласие с тем, что панчлайн не подходит для конкретной публики или ситуации.

Основной задачей баттлеров является минимизация задержек в словах и движениях, но они также должны заботиться о том, чтобы не создавался одновременный разговор, поскольку, как отмечает Сакс, «средства для уменьшения задержек приводят к появлению одновременных реплик, и наоборот» (Sacks, 2004: 37). В связи с этим далее я рассмотрю то, какими методами воссоздается порядок рэп-баттла в случаях, когда происходит перебивание (interruption) и одновременный разговор (overlapping).

15. <https://youtu.be/wUeOz9Y4uKM?t=25m16s>

16. <https://youtu.be/VEzniStOyOc?t=13m49s>

Реакция на перебивание и наложение чередов

Перебивание в рэп-баттлах в некоторой степени отличается от перебивания в повседневных разговорах. Одновременный разговор людей и перебивание друг друга в повседневности обычно воспринимается в качестве нарушения порядка, в связи с чем люди часто извиняются за то, что перебили своего собеседника. В ситуации рэп-баттла участники говорят по очереди, но публика постоянно перебивает говорящего участника громким смехом, криками или аплодисментами, чтобы показать свое одобрение или осуждение. Как пишет Сакс, «смена череда должна быть достигнута организационно» (Sacks, 2004: 35). В ситуации баттла эту смену череда организует участник, который в процессе чтения своего текста делает остановки после некоторых панчлайнов, но, несмотря на это, ни один баттл не проходит без ситуаций с перебиванием или наложением чередов.

По словам Яна Хатчби, «перебивать — значит начинать свой черед в точке, которая не является релевантным местом перехода» (Hutchby, 2008: 226). Можно утверждать, что перебиванием в ситуации рэп-баттла оказывается любой случай, когда люди смеются или говорят в момент, в котором участник рэп-баттла не сделал для этого остановку. Однако на рэп-баттлах участник не всегда может почувствовать, когда стоит сделать паузу, поэтому публика часто смеется, пока участник говорит. Иногда этот смех сбивает участника, что является видимым нарушением порядка, в других случаях участник продолжает читать свой текст поверх этого смеха. Одно и то же действие в зависимости от ситуации может приводить или не приводить к сбою в коммуникации. По этой причине мне больше подходит определение Джека Билмса, который предлагает рассматривать перебивание как «нормативное явление, производимое и признаваемое исключительно участниками» (Bilmes, 1997: 511). Исследователь может увидеть нарушения порядка через знаки, которые подают сами участники.

Таким образом, я могу дать свое определение перебивания в ситуации рэп-баттла. Перебиванием в данном случае является ситуация, когда публика шумит в момент, который не является релевантным местом перехода и который сбивает участника или воспринимается им как нарушение порядка. Как можно увидеть далее, перебивание в некоторых ситуациях может возникать и в релевантных местах перехода. Исходя из этого определения отметим, что перебиванием не является ситуация, когда слушатели реагируют на панчлайн, а участник продолжает чтение своего текста (наложение чередов). Перебиванием также не является ситуация, когда участник останавливается во время своего раунда и дает публике время отреагировать на панчлайн.

Билмс выделяет три способа, которыми человек может продемонстрировать, что его перебили: прямое заявление, отображения перебивания (вербальные и невербальные) и игнорирование (Bilmes, 1997: 515). В рэп-баттлах можно увидеть прямые заявления не только от участника, которого перебили¹⁷, но также от веду-

17. Леха Медь VS Букер Д. Фред (https://youtu.be/5bkLgLct_a4?t=23m40s)

щего и судей¹⁸. В ситуации, когда участник просит публику или отдельных людей из публики не шуметь, он отмечает сбой, тем самым создавая ситуацию нарушения порядка и указывая кричащим на то, что они являются нарушителями. Следующий пример демонстрирует, что не только исследователь, но и сами участники ситуации рэп-баттла не всегда могут определить, когда баттлер делает остановку намеренно или ненамеренно.

- 1 Леха Медь: Просто ты реально меня бл*** бесишь (.) еб***
- 2 Слушатели: [БРО БРО БРО БРО БРО БРО БРО БРО]
- 3 Леха Медь: [еб*** (.) просто- (о.9) да не (.) не не (.) погоди (.) погоди погоди]
- 4 нет я просто это я бл*** не текст забыл вы чо
(Леха Медь VS Букер Д. Фред)¹⁹

Участник может демонстрировать тот факт, что его перебили, например, повышая голос при зачитывании дальнейшего текста или изображая раздражение или удивление²⁰. В момент возникновения перебивания участник обычно резко останавливает чтение своего текста, дожидаясь достаточного уровня тишины. После этого он может, в зависимости от того, на каком моменте его перебили, повторно прочитать сетап незаконченной шутки или панчлайн законченной. Баттлер повторяет то, что было им сказано до перебивания, чтобы восстановить свой флоу. Ввиду того, что флоу имеет большее значение в рэп-баттлах с музыкальным минусом, их участники могут при перебивании начинать повторно зачитывать текст не с последнего сетапа или панчлайна, а с начала куплета.

Игнорирование — третий способ продемонстрировать, что произошло перебивание, — также часто возникает в баттлах. Игнорированием можно назвать отсутствие реакции на реплику при отсутствии наложения чередов. В следующем отрывке несколько людей из публики отвечают участнику на заданный вопрос, но он не обращает на это внимания и продолжает зачитывать заготовленный текст. Данная ситуация не считается перебиванием в определении Хатчби, поскольку баттлер делает паузу после панчлайна, которая может восприниматься как релевантное место перехода. В определении же Билмса в этом отрывке произошло перебивание, на которое участник ответил игнорированием. Это говорит о том, что в зависимости от контекста взаимодействия одни и те же высказывания могут иметь совершенно разное значение для его участников. В повседневном разговоре ответ на вопрос являлся бы частью порядка, в то время как в рэп-баттле разрозненные и не соответствующие ожиданиям баттлера ответы считаются нарушением порядка.

18. МЦ Похоронил VS Сын Проститутки (<https://youtu.be/byaRcjJaDkE?t=13m39s>)

19. https://youtu.be/5bkLgLct_a4?t=16m30s

20. Хип-хоп одинокой старухи VS Букер Д. Фред (<https://youtu.be/KTH8UeUDbiQ?t=12m>)

- 1 Narek: Помните прошлый (о.2) баттл когда я диссил старуху
2 за его огромные глаза и там все были прям в ах**
3 Слушатель: Нет
4 Слушатели: Хахахахах
5 Слушатель: Че-то ты придумал
6 Narek: Так вот старуха у тебя глаза не большие а маленькие даже
(Narek VS Млечный)²¹

Интересно также, что при произнесении публикой ожидаемой реакции ситуация являлась бы не нарушением порядка, а, наоборот, точным следованием последовательности, которая состоит из реплики баттлера и реакции на нее публики. Перебывание в рэп-баттле, таким образом, возникает не только в тех случаях, когда нарушается структура разговора, но также и в тех случаях, когда ответ публики не соответствует ожидаемому. Это можно отнести и к другим ситуациям институционального взаимодействия, в которых формальное право голоса имеет один человек, в то время как другим дана лишь возможность кратко высказываться или реагировать на слова говорящего.

Перебывание в институциональном взаимодействии отличается от перебывания в повседневных разговорах. Указанные Билмсом реакции на перебывание наблюдаются во многих формах институционального взаимодействия, так как эти формы тоже основываются на смене очередности говорящих. Тем не менее каждая форма институционального взаимодействия имеет свои особенности в ситуациях перебывания. В одном и том же месте разговора одна реплика может быть воспринята как нарушение порядка и перебывание, а другая — как очередной элемент последовательности. При взаимодействии политика с публикой производство публикой ожидаемых ответов на вопросы политика является частью порядка. Производство же неожиданных ответов, как, например, встречное задавание вопроса, создает ситуацию нарушения порядка. Сбой в порядке также может возникнуть, если вместо публики как единого коллектива отвечает один из участников публики, если это событие воспроизводится как нарушение порядка. В зависимости от ситуации оно может являться и частью порядка.

В институциональном взаимодействии важным оказывается не только то, в каком моменте человека перебили, но и то, кто его перебил, поскольку участники этого вида взаимодействия обладают различной степенью права голоса в различных моментах ситуации. Более того, некоторые моменты могут быть охарактеризованы в качестве передачи права голоса публике как единому коллективу, но не отдельным слушателям из публики. Еще одной специфической чертой институционального взаимодействия является тот факт, что ситуация может считаться или не считаться перебыванием в зависимости от содержания реплики. В повседнев-

21. <https://youtu.be/Qmq3jJW16zI?t=14m46s>

ных разговорах подобная ситуация может образоваться при ответе собеседника на риторический вопрос.

Перебивание в рэп-баттле, таким образом, возникает в следующих ситуациях: баттл-рэпер не создает релевантное место перехода, а публика реагирует на панчлайн или возникшую ситуацию; баттл-рэпер создает релевантное место перехода, но публика начинает реагировать на панчлайн уже после того, как участник продолжает читать свой текст; баттл-рэпер создает релевантное место перехода, но вместо ожидаемой реакции публики возникает неожиданная для участника реакция публики или одного из ее участников. Релевантные места перехода создаются участниками для передачи права голоса публике, но участники также могут перебить отдельные слушатели из публики, как нами уже было указано, а также соперник, организатор или судья. Для каждой из перечисленных категорий людей перебивание определяется по-разному, но сильно отличается от перебивания публикой, которое в большей степени является частью порядка.

Перебивание баттл-рэпера одним из слушателей в публике может приводить к нарушению порядка рэп-баттла, после чего может последовать замечание от организатора, судей, участников или других слушателей из публики. С иным содержанием эта реплика может стать поводом для смеха или комментария. Она все еще будет считаться нарушением структуры разговора, но уже не производимым участниками нарушением ситуации рэп-баттла. Перебивание также может возникнуть со стороны соперника, что может быть проигнорировано или также произведено в качестве нарушения порядка участниками ситуации. Например, участник может ответить сопернику: «Не нужно отвечать, дружище, у тебя будет на это время»²². Баттл-рэпер также может отреагировать на реплику организатора. К примеру, в одном из рэп-баттлов организатор произносит слово «раунд», чтобы закончить раунд одного из участников, но последний исправляет его и продолжает чтение своего текста²³.

Баттл-рэперы также зачастую продолжают чтение текста, не дождавшись момента, когда люди закончат смеяться. В таких ситуациях никто не воспринимает это в качестве нарушения порядка, и публика постепенно утихает, чтобы не мешать баттл-рэперу. Наложения могут происходить, например, когда баттлер заранее договаривается с публикой произнести фразу хором²⁴, когда публика или судьи продолжают высказывание вместе с участником, поскольку им очевидна рифма²⁵, когда участник продолжает чтение своего текста, не обращая внимания на смех²⁶. Перебиванием же являются ситуация, когда публика производит шум в нежелательном для участника месте или производит нежелательный для участника ответ, который воспринимается в качестве нарушения порядка. На перебива-

22. Young P&H VS Moonstar (<https://youtu.be/dqwaeEH1xLA?t=5m18s>)

23. ATL VS Энди Картрайт (<https://youtu.be/697MtjyWSKo?t=10m41s>)

24. Хованский VS Ларин (<https://youtu.be/ТрoGTdXwxMw?t=6m8s>)

25. Хованский VS Ларин (<https://youtu.be/ТрoGTdXwxMw?t=6m49s>)

26. Хованский VS Ларин (<https://youtu.be/ТрoGTdXwxMw?t=17m21s>)

ние баттл-рэпер может отреагировать прямым заявлением, игнорированием или отображением того, что его перебили. Однако перебивание, как было отмечено, не всегда воспроизводится как нарушение порядка. В ситуации рэп-баттла важно не только то, в каком месте перебили говорящего, но также и то, кто его перебил и что он сказал. Это приводит нас к тому, что в ситуациях институционального взаимодействия перебивание продуктивнее рассматривать не как момент в структуре разговора, но как зависимое от контекста и воспроизводимое участниками ситуации нарушение порядка.

Обсуждение

Рэп-баттл существенно отличается от повседневных разговоров в силу наличия институциональных правил (раунды, последовательность говорящих, ограничение участников в праве голоса и т. д.), которые более формальны и более устойчивы, чем обычные ситуативные способы организации взаимодействия. Он выстраивается как разговор с соперником, но при этом правом голоса слушающий не обладает, что сильно отличает эту ситуацию от повседневного разговора. Публика же выступает как участник ситуации взаимодействия с определенным набором возможных реакций на реплики говорящего. Как и в ситуации со стендапом, публика в рэп-баттлах чаще всего действует как единый коллектив. Однако рэп-баттл отличается от других форм публичных выступлений тем, что выстраивается как разговор с соперником. Рэп-баттл, таким образом, создается как институционализированный разговор, который осуществляется в ситуации, благоприятствующей обыденному взаимодействию. Осуществленный в статье анализ реакции участников баттлов на сбой показывает, что они ориентируются на институциональный характер происходящего, когда восстанавливают порядок взаимодействия. Эта ориентация, однако, заключается не в строгом следовании формальным правилам. Конверсационный анализ рэп-баттлов позволяет увидеть, что институциональное взаимодействие возможно без точного следования правилам. Это становится возможным благодаря двум особенностям взаимодействия во время рэп-баттлов: рефлексивности и контекстуальной ориентации.

Под рефлексивностью в данном случае имеется в виду свойство последовательности взаимодействия, а не сознания исследователя или говорящих (Rawls, 2006: 18). Рефлексивность выражается в наблюдаемых действиях и репликах и в их зависимости друг от друга, в возможности одной реплики показать другую в новом свете (Rawls, 2006: 34). Создание порядка рэп-баттла — это рефлексивный процесс в том смысле, что порядок создается в процессе выстраивания последовательностей чередов. Этот порядок является ситуативным, поскольку организация рэп-баттла как социального события каждый раз создается заново. Несмотря на наличие формальных правил поведения в ситуации, реальные действия участников упорядочиваются и понимаются исходя из складывающейся в каждый момент времени ситуации взаимодействия и потому формальные правила могут претер-

певать изменения в процессе, становясь более строгими или, наоборот, мягкими. Понимание участниками ситуации и друг друга возникает вследствие наблюдения за производимым порядком.

При анализе институционального взаимодействия важен и контекст, который также является не предварительным условием существования ситуации (в данном случае — рэп-баттла), а достижением ее участников. Контекст, как и порядок, производится локально и временно (Schegloff, 1992). Если порядок рэп-баттла — это достижение участников, которое выражается в выстраивании взаимодействия без перебиваний, длинных пауз и задержек, то контекст рэп-баттла — достижение участников, выражающееся в ситуативном производстве правил, отличающих конкретное институциональное взаимодействие от обыденного. Контекст указывает на понятность производимых упорядоченных действий, т. е. на понимание всеми присутствующими того, что они создают рэп-баттл, а не что-то иное. При нарушении порядка применяются повседневные методы его восстановления. Например, баттл-рэпер может прокомментировать возникшую тишину, чтобы вызвать реакцию публики. При нарушении же контекста временно меняются правила рэп-баттла. Соответственно, сбой в порядке баттла может не менять понимания происходящего всеми участниками ситуации, и тогда их взаимодействие воспринимается как рэп-баттл. Но возможны и ситуации, когда сбой приводит к нарушению контекста, и тогда происходящее перестает быть институциональным взаимодействием (рэп-баттлом) и становится повседневным взаимодействием.

Контекст создается при следовании ситуативно производимым правилам и восстановлении порядка в случае возникновения сбоя. Он может быть нарушен различными способами, со стороны различных участников и в различной степени. В баттлах известных и серьезных баттл-рэперов контекст более устойчив, чем в баттлах новых участников. Чем строже отношение к контексту, тем меньше возникает попыток его нарушить. К примеру, если ведущий делает замечание говорящему человеку из публики, то вероятность подобных нарушений снижается. Однако если контекст рэп-баттла не контролируется людьми, которые обычно за ним следят, то со временем баттл все меньше начинает напоминать баттл, превращаясь в обмен репликами между слушателями из публики²⁷. Рэп-баттл в этом случае постепенно превращается из институционального взаимодействия в обыденное, контекст рэп-баттла на время исчезает.

Понятия рефлексивности и контекста позволяют понять, каким образом в рэп-баттлах совмещаются и разводятся обыденное и институциональное взаимодействие. Понимание контекста позволяет участникам осознавать свои права на взаимодействие как в качестве отдельных индивидов, так и в качестве единого коллектива (например, публики). Рефлексивность порядка рэп-баттла проявляется в возникновении чередов, которые воспринимаются в качестве методов восстановления порядка и контекста. Присутствующие зрители, например, могут засме-

27. См. например: МЦ Похоронил VS Сын Проститутки (<https://www.youtube.com/watch?v=byaRcjJaDkE>)

яться от того, что не засмеялись в тот момент, когда баттл-рэпер сделал для этого паузу. В этом примере демонстрируется наложение одновременно существующих обыденного и институционализованного взаимодействия. В рамках существующих формальных правил баттлеры производят обыденную последовательность «панчлайн — смех», которая, однако, не «срабатывает» в силу отсутствия смеха. Слушатели осознают сбой в порядке обыденного взаимодействия и делают его объектом смеха, но выступают при этом в качестве единого коллектива, предусмотренного формальными правилами.

Рефлексивность порядка рэп-баттла, таким образом, делает возможным поддержание контекста рэп-баттла (институциональное взаимодействие) без точного следования правилам. При возникновении сбоя в контексте ситуации именно обыденное взаимодействие оказывается средством его восстановления. Рэп-баттл — это разговор, поэтому ему присущи методы создания и восстановления порядка, обнаруживаемые в повседневных разговорах. Однако рэп-баттл — это еще и институциональное взаимодействие, поэтому при его анализе оказываются важными методы создания и восстановления институционализованного социального контекста. Проведенный анализ показывает, что участники рэп-баттлов осознают границы между правилами обыденного и институционального взаимодействия и ориентируются на них при создании и восстановлении порядка рэп-баттла.

Заключение

В данной статье анализировались реакции на сбой в протекающем взаимодействии, связанные с наиболее частыми ситуациями нарушений порядка: паузами, перебиваниями и наложениями чередов. Однако во время рэп-баттлов происходит и множество «нормальных» взаимодействий, которые тоже определенным образом организованы. В основе этой организации лежат методы выстраивания порядка, предполагающие индивидуальные вариации во взаимодействии баттлеров и публики. Участники баттлов выбирают различные стратегии взаимодействия. Если одни чаще обращаются к присутствующей публике или к интернет-публике, то другие большую часть своих раундов концентрируются на сопернике. Эти стратегии могут быть предметом отдельного исследования. Кроме того, предметом анализа могут быть взаимодействия между членами публики, между публикой и организаторами и судьями, а также то, как взаимодействуют между собой баттлеры, когда один из них говорит, а другой слушает. Достойными внимания для дальнейшего исследования также могут оказаться ситуации, в которых баттл-рэпер специально ломает контекст рэп-баттла, переставая произносить панчлайны в адрес соперника и начиная, например, критически высказываться по поводу текущего состояния баттл-рэпа. Подобный анализ может дать лучшее понимание роли рефлексивности в процессе проведения и изменения границы между обыденным и институциональным взаимодействием.

Поскольку материалом для анализа являлись видеозаписи рэп-баттлов, следует отметить технические ограничения моего подхода. Во-первых, сделанные наблюдения носят предварительный характер и не могут распространяться на все рэп-баттлы, так как далеко не все снятые на площадке «Versus» баттлы выкладываются на соответствующем YouTube-канале. Кроме того, интересно было бы сопоставить имеющиеся записи с записями баттлов на других площадках. Во-вторых, многое из происходящего на рэп-баттлах недоступно для анализа, поскольку на видео можно увидеть и услышать не всех участников ситуации и не все события.

Несмотря на ограничения подхода, полученные в результате анализа рэп-баттлов, данные могут оказаться полезными для понимания других ситуаций с публичными выступлениями и разговорами, происходящими в институциональной обстановке. В статье рефлексивность исследована как свойство последовательности чередов, делающее возможным наложение обыденного и институционального взаимодействия. Сделанные по этой теме выводы могут быть применимы для дальнейшего изучения рефлексивности и методов сохранения и разрушения институционального взаимодействия. Материалы рэп-баттлов идеально подходят для исследования этого вопроса, поскольку, в отличие от, например, театрального представления, являются формой публичного выступления, которое часто прерывается слушателями из публики. Полученные результаты также дают возможность по-новому взглянуть на ситуации возникновения тишины, перебивания и наложения чередов в повседневных разговорах.

Расшифровка знаков (в порядке их использования в транскриптах)

Знак	Описание
(о.о)	Длина паузы в секундах и десятых долях секунды
слово	Интонационное ударение на букве
СЛОВО	Произношение слова с повышенной громкостью
((слово))	Комментарий исследователя
сло::во	Протяжённый звук
слово=	Отсутствие паузы между словами
[слово	Начало наложения реплик
слово]	Конец наложения реплик
<u>слово</u>	Интонационное ударение на слове
***	Нецензурная лексика
(.)	Очень короткая пауза (меньше десятой доли секунды)
слово-	Быстрая остановка в произношении слова
слово?	Вопросительная интонация

Использованные видеозаписи

- Артем Татищевский VS ? (Versus #8. Сезон II). <https://www.youtube.com/watch?v=GZ5Z65SbnPM>
- Букер Д. Фред VS Млечный (Versus: Fresh Blood 2). <https://www.youtube.com/watch?v=eUbaz-VrEYo>
- Леха Медь VS Букер Д. Фред (Versus: Fresh Blood 2). https://www.youtube.com/watch?v=5bkLgLct_a4
- МЦ Похоронил VS Сын Проститутки (Versus: Fresh Blood 3). <https://www.youtube.com/watch?v=byaRcjJaDkE>
- Хип-хоп одинокой старухи VS Rickey F (Versus: Fresh Blood 2). <https://www.youtube.com/watch?v=wUeOzgY4uKM>
- Хип-хоп одинокой старухи VS Букер Д. Фред (Versus: Fresh Blood 2). <https://www.youtube.com/watch?v=KTH8UeUDbiQ>
- Хип-хоп одинокой старухи VS Млечный (Versus: Fresh Blood 2). <https://www.youtube.com/watch?v=YLpUig7Xhz4>
- Хованский VS Ларин (Versus #4. Сезон III). <https://www.youtube.com/watch?v=TrpGTdXwxMw>
- ATL VS Энди Картрайт (Versus #14). <https://www.youtube.com/watch?v=697MtjyWSKo>
- Galat VS Артем Лоик (Versus #7. Сезон III). <https://www.youtube.com/watch?v=9d18LbVe9gA>
- Narek VS Млечный (Versus: Fresh Blood 2). <https://www.youtube.com/watch?v=Qmq3jJW16zI>
- Narek VS Хип-хоп одинокой старухи (Versus: Fresh Blood 2). <https://www.youtube.com/watch?v=VEzniStOyOc>
- Obe 1 Kanobe VS Энди Картрайт (Versus #3. Сезон III). <https://www.youtube.com/watch?v=iDlrPBnVF7I>
- Young P&H VS Moonstar (Versus Main Event #2. Сезон II). <https://www.youtube.com/watch?v=dqwaeEH1xIA>

Литература

- Alim H. S., Lee J., Carris L. M.* (2011). Moving the Crowd, «Crowding» the Emcee: The Coproduction and Contestation of Black Normativity in Freestyle Rap Battles // *Discourse & Society*. Vol. 22. № 4. P. 422–439.
- Bilmes J.* (1997). Being Interrupted // *Language in Society*. Vol. 26. № 4. P. 507–531.
- Bradley A., DuBois A.* (eds.). (2010). *The Anthology of Rap*. New Haven: Yale University Press.
- Eberle T. S.* (2012). Phenomenological Life-World Analysis and Ethnomethodology's Program // *Human Studies*. Vol. 35. № 2. P. 279–304.

- Edwards P.* (2009). *How to Rap: The Art and Science of the Hip-Hop MC*. Chicago: Chicago Review Press.
- Escher E., Rappaport A.* (2006). *The Rapper's Handbook*. New York: Flocabulary.
- Harkness G.* (2014). *Chicago Hustle and Flow: Gangs, Gangsta Rap, and Social Class*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hutchby I.* (2008). Participants' Orientations to Interruptions, Rudeness and Other Impolite Acts in Talk-in-Interaction // *Journal of Politeness Research*. Vol. 4. № 2. P. 221–241.
- Jefferson G.* (1979). A Technique for Inviting Laughter and Its Subsequent Acceptance Declination // *Psathas G.* (ed.). *Everyday Language: Studies in Ethnomethodology*. New York: Irvingston. P. 79–96.
- Kajikawa L.* (2015). *Sounding Race in Rap Songs*. Oakland: University of California Press.
- Lee J.* (2009). Battlin' on the Corner: Techniques for Sustaining Play // *Social Problems*. Vol. 56. № 3. P. 578–598.
- Pate A.* (2010). *In the Heart of the Beat: The Poetry of Rap*. Lanham: Scarecrow Press.
- Rawls A. W.* (2006). Respecifying the Study of Social Order: Garfinkel's Transition from Theoretical Conceptualization to Practices in Details // *Garfinkel H.* *Seeing Sociologically: The Routine Grounds of Social Action*. Boulder: Paradigm. P. 1–98.
- Rutter J.* (2001). Rhetoric in Stand-up Comedy: Exploring Performer-Audience Interaction. URL: <https://www.researchgate.net/publication/273903766> (дата доступа: 12.09.2017).
- Sacks H.* (1974). An Analysis of the Course of a Joke's Telling in Conversation // *Bauman R., Sherzer J.* (Eds.). *Explorations in the Ethnography of Speaking*. New York: Cambridge University Press. P. 337–353.
- Sacks H.* (2004). An Initial Characterization of the Organization of Speaker Turn-Taking in Conversation // *Lerner G. H.* (ed.). *Conversational Analysis: Studies from the First Generation*. Amsterdam: John Benjamins. P. 35–42.
- Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G.* (1974). A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation // *Language*. Vol. 50. № 4. P. 696–735.
- Schegloff E. A.* (1992). In Another Context // *Duranti A., Goodwin C.* (Eds.). *Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 193–227.
- Wald E.* (2012). *The Dozens: A History of Rap's Mama*. New York: Oxford University Press.

The Production of Order during Rap Battles: Managing Pauses and Their Absences

Iuliia Avgustis

Master's Student, Moscow School of Social and Economic Sciences

Address: Prospect Vernadskogo, 84, bldg 2, Moscow, Russian Federation 2119571

E-mail: javgustis@gmail.com

This article is the first ethnomethodological study of rap battles. The materials for analysis are videos of battles published on the YouTube-channel of Versus Project. In the article, rap battles are analyzed in accordance with the principles of conversation analysis as a speech-exchange system. Some methods of creating and re-creating the order of rap battles are discussed. Here, "order" does not mean following the formal rules, but the situational achievement of the participants in the situation. Attention is drawn to the mechanisms of restoring order in situations of occurrence of a failure: silence, interruption, and the overlapping of turns. Examples of restoring order both by the battle rappers and by other participants in the situation (the organizer, the judges, and the public) are given. There are reported similarities and differences in the methods of re-creating order in both rap battles and everyday conversations. These battles are also analyzed as a form of institutional interaction, which has its own special features. The analysis shows how the reflexivity of the participants in the situation makes the institutional interaction without following the rules precisely possible, because the reflexivity of the participants allows the changing the rules depending on the situation without the occurrence of a failure in the order. A distinction is made between the reflexivity of the public and the reflexivity of individual members of the public. The obtained results can be useful for further ethnomethodological studies of interaction with the public, other forms of institutional interaction, as well as for studying everyday conversations.

Keywords: ethnomethodology, conversational analysis, rap battles, institutional interaction, reflexivity, silence, interruption, overlapping

References

- Alim H. S., Lee J., Carris L. M. (2011) Moving the Crowd, "Crowding" the Emcee: The Coproduction and Contestation of Black Normativity in Freestyle Rap Battles. *Discourse & Society*, vol. 22, no 4, pp. 422-439.
- Bilmes J. (1997) Being Interrupted. *Language in Society*, vol. 26, no 4, pp. 507-531.
- Bradley A., DuBois A. (eds.) (2010) *The Anthology of Rap*, New Haven: Yale University Press.
- Eberle T. S. (2012) Phenomenological Life-World Analysis and Ethnomethodology's Program. *Human Studies*, vol. 35, no 2, pp. 279-304.
- Edwards P. (2009) *How to Rap: The Art and Science of the Hip-Hop MC*, Chicago: Chicago Review Press.
- Escher E., Rappaport A. (2006) *The Rapper's Handbook*, New York: Floccabulary.
- Harkness G. (2014) *Chicago Hustle and Flow: Gangs, Gangsta Rap, and Social Class*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hutchby I. (2008) Participants' Orientations to Interruptions, Rudeness and Other Impolite Acts in Talk-in-Interaction. *Journal of Politeness Research*, vol. 4, no 2, pp. 221-241.
- Jefferson G. (1979) A Technique for Inviting Laughter and Its Subsequent Acceptance Declination. *Everyday Language: Studies in Ethnomethodology* (ed. G. Psathas), New York: Irvingston, pp. 79-96.
- Kajikawa L. (2015) *Sounding Race in Rap Songs*, Oakland: University of California Press.
- Lee J. (2009) Battlin' on the Corner: Techniques for Sustaining Play. *Social Problems*, vol. 56, no 3, pp. 578-598.
- Pate A. (2010) *In the Heart of the Beat: The Poetry of Rap*, Lanham: Scarecrow Press.

- Rawls A. W. (2006) Respecifying the Study of Social Order: Garfinkel's Transition from Theoretical Conceptualization to Practices in Details. *Seeing Sociologically: The Routine Grounds of Social Action* (H. Garfinkel), Boulder: Paradigm, pp. 1–98.
- Rutter J. (2001) Rhetoric in Stand-up Comedy: Exploring Performer-Audience Interaction. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/273903766> (accessed 12 September 2017).
- Sacks H. (1974) An Analysis of the Course of a Joke's Telling in Conversation. *Explorations in the Ethnography of Speaking* (eds. R. Bauman, J. Sherzer), New York: Cambridge University Press, pp. 337–353.
- Sacks H. (2004) An Initial Characterization of the Organization of Speaker Turn-Taking in Conversation. *Conversational Analysis: Studies from the First Generation* (ed. G. H. Lerner), Amsterdam: John Benjamins, pp. 35–42.
- Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G. (1974) A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. *Language*, vol. 50, no 4, pp. 696–735.
- Schegloff E. A. (1992) In Another Context. *Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon* (eds. A. Duranti, C. Goodwin), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 193–227.
- Wald E. (2012) *The Dozens: A History of Rap's Mama*, New York: Oxford University Press.

Философ и государство: Ханна Арендт о философии Сократа

Алексей Жаворонков

Кандидат филологических и философских наук, старший научный сотрудник

Института философии РАН

Научный сотрудник (постдок) Философского семинара университета Эрфурта (Германия)

Адрес: Гончарная ул., д. 12, стр. 1, г. Москва, Российская Федерация 109240

E-mail: alexey.zhavoronkov@uni-erfurt.de

Настоящая статья посвящена критическому анализу эпистемических, моральных, социальных и политических аспектов арендтовской интерпретации сократического метода. В своих ранних (1954) и поздних (1974) лекциях о Сократе Арендт изображает его мыслителем, преодолевающим разрыв между созерцательной жизнью философа и жизнью активного гражданина. Сократическому дружескому диалогу равноправных мнений Арендт противопоставляет платоновский монолог учителя, доносящего истину до своих учеников. Несмотря на существенные аргументационные пробелы, возникающие в рамках предложенной ею оппозиции, последняя оказывается продуктивной в качестве философского лейтмотива, связывающего лекции Арендт с ее центральными работами — «Ситуация человека», «О революции» и «Эйхман в Иерусалиме». Созданный образ Сократа Арендт использует в качестве аргумента при рассмотрении вопроса о публичной роли мнения об отличительных особенностях внутреннего диалога, а также о связи между мышлением и действием. Не давая прямого ответа на вопрос о пользе действий Сократа для Афин и в целом скептически оценивая возможность мыслителей повлиять на общественную жизнь, Арендт тем не менее приводит убедительные аргументы в защиту необходимости сократовского метода в ситуациях кризиса традиционных ценностей. Сделанные ею выводы позволяют нам использовать ее интерпретацию в современных дискуссиях о консерватизме, о пересмотре различий между частным и общественным, а также о публичной роли индивидуального мнения в свете распространения новых форм коммуникации.

Ключевые слова: Ханна Арендт, Сократ, Платон, политика, мышление, действие, диалог

В какой момент своего развития философия перестала быть частью политики, а философы, разочаровавшись в общественной жизни, обернули свою критику против оснований собственных учений, занявшись проблемой расхождения между теорией и практикой? По мнению Ханны Арендт, таким поворотным моментом, имевшим для истории философии столь же большое значение, каким для религии обладал суд над Иисусом, был смертный приговор Сократу, положивший начало идейному конфликту между ним и Платоном. Контраст между сократической философской беседой и платоновским «учением», согласно Арендт, заключается в платоновском стремлении к убеждению широкой аудитории, предполагаю-

щем девальвацию частного мнения. Иными словами, платоновский эксперимент по возвращению философов в политику приводит к пересмотру самой сути философского диалога и обучения философии, смещая акценты с индивидуального характера мышления на взаимопонимание и коллективное действие. Несмотря на спорный характер историко-филологических оснований тезисов о Сократе и Платоне, впервые высказанных Арендт в политических лекциях 1954 года, их философские следствия представляются чрезвычайно широкими (выходящими далеко за рамки классической греческой философии) и заслуживающими подробного разбора, который будет предложен в настоящей статье.

Сократ и Платон: филологические и философские аспекты оппозиции

Соединение филологического, исторического и философского методов анализа характерно уже для защищенной в Гейдельберге диссертации Арендт, посвященной понятию любви у Августина. В интересующем нас цикле лекций «Проблема действия и мышления после Французской революции», прочитанных ею в американском университете Нотр-Дам в 1954 году¹, Арендт проводит анализ на нескольких уровнях, используя историко-филологические выводы в качестве основания для решения базовых философских проблем, таких как вопрос о критериях мышления, определение границ философской аргументации и описание отношений между философией и политикой. В рамках всей философии Арендт, носящей скорее несистематический характер, вопрос о мышлении, наряду с вопросом о предпосылках и следствиях социального действия, оказывается связующим звеном, лейтмотивом, проходящим через основные ее работы 1950–1960 годов («Истоки тоталитаризма», «Vita activa», «Эйхман в Иерусалиме», «О революции»), вплоть до поздних лекций 1974 года, опубликованных уже после смерти Арендт в форме незавершенной монографии, под заглавием «Жизнь ума». В последних лекциях Арендт вновь обращается к фигуре Сократа, расширяя свои тезисы и связывая их не только с анализом истории философии Нового времени, но и с политическими событиями XVIII, XIX и XX веков.

В ранних лекциях, посвященных Сократу, вопрос о разделении политики и философии поставлен в зависимость от филологического тезиса Арендт о возможности выделить сократовские идеи в платоновских диалогах, руководствуясь не в последнюю очередь соображениями хронологии (т. е. сосредотачивая внимание на текстах раннего периода). Начав со справедливой критики гегелевского тезиса о том, что истоки греческой философии лежат у Платона и Аристотеля, Арендт противопоставляет ему собственный тезис: поскольку платоновские и аристотелевские тексты, представляющие собой не начало, а высшую точку развития античной философии, возникают в условиях распада античного полиса и кризиса традиционного представления о политике, одним из ключевых у Платона и Ари-

1. Об историческом и биографическом контексте этих лекций см.: Дмитриев, 2008.

стотеля становится вопрос о возможности внеполитического существования гражданина полиса (Arendt, 2005: 5)². Именно в этом контексте Арендт рассматривает события вокруг суда над Сократом. В ходе процесса сократовское мнение (δόξα) о том, что его действия шли во благо полису, оказывается менее весомым по сравнению с мнением его обвинителей, полагающих, что он делает граждан негодными к общественной деятельности, подвергая сомнению общественный консенсус — традиционные представления об устройстве мира³. В общественном пространстве мнение Сократа оказывается лишь одним из многих, а выбранный философом метод общения со своими обвинителями и присутствующими на суде слушателями (отказ от убедительности и универсальности в пользу индивидуальности) лишний раз доказывает, что государству нельзя доверять заботу об идейном наследии философов: последнее смогло остаться в сохранности лишь после того, как философы создали собственное сообщество, противопоставившее себя государству.

Ответственность за пересмотр отношений между философией и государством, а также за смену вектора философского мышления с индивидуальности мнения на убедительность аргументации Арендт возлагает на Платона — по ее мнению, разочаровавшегося в способности своего учителя повлиять на трансформацию общественного пространства полиса (Arendt, 2005: 7)⁴. Тем самым платоновская критика в адрес мудрецов, не имеющих представления даже о том, что хорошо для них самих, распространяется и на Сократа. Выйдя на рыночную площадь и пытаясь обратиться одновременно ко многим, вместо того чтобы говорить с каждым по отдельности, мудрец рискует показаться смешным, как показался смешным собственной служанке Фалес Милетский, засмотревшийся на звезды и упавший в колодец⁵. Следствием платоновской критики, по мнению Арендт, является построение новой иерархии ценностей, во главу которой ставится идея добра (ἀγαθόν) как часть античного идеала калокагатии (Arendt, 2005: 10).

В рамках арендтовского анализа процесс над Сократом предстает водоразделом, символизирующим сразу несколько важных изменений в античной философии и политике. Сократ первым пытается перейти границу, определенную государством для мудрецов, которые должны были оставаться в стороне от «человеческих», политических дел. В ходе процесса между ним и его обвинителями возникает глубокое недопонимание: Сократу вменяют в вину вмешательство его как мудреца в политические дела, в то время как он не считает себя одним из мудрецов, сомневаясь в том, что мудрость вообще доступна смертным: парадоксальным

2. Цит. по англ. изд. ранней версии лекций. В отредактированной Арендт версии лекций о Сократе, впервые опубликованной под заголовком «Философия и политика» в журнале «Social Research» за 1990 год, часть текста была сокращена и изменена, так что отправной точкой служит уже не критика Гегеля, а тезис о ключевой роли суда над Сократом.

3. На последнее обстоятельство указывает, в частности, Майкл Маккарти (McCarthy, 2012: 127).

4. Об арендтовской интерпретации казни Сократа как «травмы» философии см.: Мотрошилова, 2013: 334–338.

5. Этот анекдот приводится в платоновском «Теэтете»: Theaet. 174a.

образом мудрейшим из людей, по мнению Дельфийского оракула, оказывается тот, кто знает о невозможности достижения мудрости⁶. Именно в этом и заключается ключевая слабость защиты Сократа: отказываясь от особого статуса мудреца и ставя себя на один уровень с собеседниками, он придает своему мнению такой же вес, как и любому другому. В общественном пространстве эта ситуация приводит к борьбе равноправных мнений, победа в которой для Сократа не только не гарантирована, но, более того, противоречит его представлению о философском методе (Arendt, 2005: 13).

Согласно логике Арендт, платоновский отход от метода сократической майевтики, направленной на выявление и прояснение индивидуальных мнений собеседников, означает переход от равноправия мнений к тирании метафизической истины⁷ (в этом отношении арендтовская критика в адрес Платона напоминает критику Поппера). Иными словами, убеждение в понимании Платона оказывается навязыванием собственного мнения в форме истины или «учения», формой просвещения, идущего сверху вниз, — в отличие от индивидуалистской модели, предполагающей множественность не отрицающих друг друга перспектив видения мира. Место сократовской дружеской беседы, начинающейся с вопроса о мнении каждого из собеседников, занимает монолог учителя, наставляющего своих учеников. В политическом измерении отличия оказываются не менее заметными. Сократ стремится раздражать собеседников, выбивать почву у них из-под ног, ставить под вопрос то, что раньше не было предметом критической рефлексии, превращая соревнующихся друг с другом и завидующих друг другу соперников⁸ в друзей, способных к заключению союзов, несмотря на различия (Arendt, 2005: 16–18). Платон, напротив, ищет общее основание для политического действия в надежности единого представления об истине, определяющей конечные цели, а не в понимании и учете позиции другого или других, основанном на взаимном уважении. Результатом этого, согласно Арендт, оказывается превратное понимание политического: ведь сама его суть заключается в коммуникации как обмене отличными друг от друга мнениями. Платоновский догматизм метафизической истины подменяет собой истины фактические, вытекающие из практических наблюдений, мышление оказывается оторванным от действия, а агональность мнений из само собой разумеющегося элемента полисной жизни превращается во вредное препятствие на пути к образцовому государству⁹.

В ходе анализа Арендт пользуется отсылками к конкретным, в основном ранним, платоновским диалогам, а также к «Риторике» и «Никомаховой этике»

6. В этой связи можно вспомнить слова Сократа о том, что он знает о своем незнании: Apol. 21d.

7. Подробнее о критике Арендт в отношении платоновского понятия метафизической истины см.: Magiera, 2007: 65–72.

8. В отличие от многих других философов, обращающихся к анализу идеи агональности, Арендт не делает различия между честной конкуренцией и не стесняющейся в средствах враждой (т. е., выражаясь метафорически, между гесиодовской доброй и злой Эридой).

9. Последнее изменение используется Арендт для доказательства более общего тезиса о недоверии философии к полису, см.: Neuen, 1992: 295.

Аристотеля (в рамках рассмотрения философского содержания идей убеждения и дружбы). Впрочем, даже при поверхностном рассмотрении выясняется, что с филологической точки зрения арендтовское разграничение между Сократом и Платоном в существенной мере основывается на шатких доводах. Во-первых, ни в одном дошедшем до нас тексте не говорится о серьезном конфликте или конфликтах между философами. Во-вторых, стремление Арендт провести как можно более четкую границу между высказываниями «исторического» Сократа и тезисами Платона, в том числе вложенными в уста Сократа, наталкиваются на неизбежные и в конечном счете неразрешимые трудности. Хотя в антиковедческих исследованиях второй половины XX века подобные попытки предпринимались неоднократно (достаточно вспомнить влиятельные — по крайней мере до относительно недавнего времени — публикации Грегори Властоса о Платоне и Сократе, вышедшие в 1970–1990-х годах), они не привели к убедительным результатам. В-третьих, ничуть не менее проблематичным представляется не подтвержденный убедительными отсылками арендтовский тезис о том, что важные элементы аристотелевской политической философии, в которых наиболее сильно проявляются отличия от философии Платона, восходят именно к Сократу.

Очевидно, Арендт и сама не была уверена в исторической и филологической убедительности предложенной ею реконструкции. В лекциях 1974 года она, вероятно, реагируя на дошедшие до нее критические отзывы, решает на лапидарное полемическое утверждение об исторической оправданности своего разграничения — несмотря на признаваемые ею сложности с анализом образа Сократа в поздних платоновских диалогах (Arendt, 1978: 168–169). Впрочем, в отредактированной версии ранних лекций о Сократе, вышедших через много лет после смерти Арендт, ни один из упомянутых проблематичных тезисов не был скорректирован или углублен (более того, Арендт применяет те же филологические аргументы к новому материалу). Иными словами, можно говорить не о существенном изменении позиции Арендт, а скорее о том, что в течение 1950-х и 1960-х годов постепенно поменялись некоторые акценты. Последнее позволило ей — вполне в духе Лео Штрауса — связать проблематику платоновских диалогов с современными вопросами социальной и политической философии.

Сократическая реабилитация политики

Следует отметить, что целый ряд упомянутых выше связей обнаруживается и в ключевых арендтовских работах, вышедших в двадцатилетнем промежутке между ранними и поздними лекциями о Сократе¹⁰. При этом можно говорить как о развитии предшествующих тезисов в не связанных лишь с античной проблематикой контекстах, так и о включении новых, важных для Арендт тем, например нигилизма и банальности зла, связывающих образ Сократа с арендтовским ана-

10. Еще одним связующим звеном являются посвященные Сократу и Платону заметки в дневниках Арендт. Подробнее см.: Bluhm, 2016.

лизом процесса над Эйхманом, в лекции 1974 года. Из соображений хронологии я начну с первого из двух аспектов, а в ходе анализа постараюсь опровергнуть теорию о разрыве между философским содержанием арендтовских лекций о Сократе и ее опубликованных работ (см.: Villa, 1999)¹¹.

В работе «Ситуация человека» (1958; в немецком издании 1960 года — «Vita Activa, или О деятельной жизни») Арендт возвращается к теме конфликта между философом и полисом, выраженным в оппозиции «βίος θεωρητικός — βίος πολιτικός». Подчеркивая уникальность Сократа как мыслителя, не записывавшего свои тексты (Arendt, 1958: 20, 186)¹², Арендт считает, что тем самым он смог достичь бессмертия не через созерцание, а через действие, избрав путь *vita activa* и не заботясь о том, чтобы оставить свои тексты потомкам. В то же время, согласно Арендт, Сократ скорее всего еще не видит противоречия между бессмертием и вечностью: в явном виде эта оппозиция появляется лишь у Платона, противопоставляющего созерцательную жизнь философа, занимающегося связанными с вечностью вопросами, жизни активного гражданина, чьи поступки способны гарантировать ему бессмертие (в частности, посмертную славу, передающуюся из поколения в поколение), но не вечность — в том смысле, в каком ее рассматривает метафизическое мышление (Arendt, 1958: 17–21). Все эти тезисы являются прямым продолжением высказанной в ранних лекциях Арендт идеи о том, что Сократ преступает заданные традицией рамки жизни мудреца и тем самым вступает в конфликт с политически активными гражданами полиса. Вопрос о том, вступает ли Сократ в конфликт со своими согражданами осознанно или же оказывается невольно втянутым в него, Арендт оставляет без явного ответа. Ее предшествующие тезисы скорее подводят к выводу о том, что он даже во время суда над ним не в полной мере осознавал истоки и суть выдвинутых против него обвинений и в том числе по этой причине потерпел неудачу в борьбе мнений. Впрочем, очевидно, что для Арендт наиболее важен не указанный аспект, а скорее то обстоятельство, что образ жизни и философия Сократа являют собой пример равноправного сосуществования βίος θεωρητικός и βίος πολιτικός, в противоположность бытующей в более поздней (в частности, средневековой) философии идее подчинения политической, или активной, жизни — жизни созерцательной¹³. Образ Сократа играет ключевую роль в реализации центральной задачи Арендт — реабилитации политического, — хотя с философской, а также филологической точки зрения эта реабилитация достигается дорогой ценой. Превращая Сократа в образцового гражданина, Арендт не подкрепляет свои аргументы демонстрацией того, какой именно вклад он внес в политическую жизнь полиса. Более поздний, представленный в лекциях 1974 года анализ неоднозначного влияния Сократа на

11. Противоположную точку зрения, близкую к моей, см.: Opstaele, 1999: 139 (впрочем, без подробного разбора роли Сократа в арендтовской философии).

12. Тезис об уникальности Сократа как философского мыслителя впоследствии станет отправной точкой лекций 1974 года.

13. Согласно Арендт, позднее эта иерархия была перевернута в работах Ницше и Маркса (Arendt, 1958: 17).

общественную деятельность его учеников углубляет проблему, но в то же время открывает возможные пути для ее решения.

Вопрос об условиях и формах реабилитации политического выходит на передний план в еще одной интересующей нас работе Арендт, в которой упоминается Сократ. В шестой главе своего труда «О революции» (1963) Арендт связывает тезис о роли *dóxa* в сократовской философии с центральной для всей ее работы оппозицией между Американской и Великой французской революцией¹⁴. Согласно Арендт, уже Парменид, а затем и Платон девальвируют роль мнения в публичном пространстве, противопоставляя его истине (Arendt, 1990: 229). В ходе Американской и Великой французской революции публичная функция мнения оказывается заново открытой, хотя сами революционеры и не вполне осознают это. Во Франции упомянутое открытие не приводит к политическим реформам и лишь способствует увеличению хаоса в общественном пространстве сталкивающихся друг с другом мнений, не получивших политического представительства, приводя в конечном итоге к гибели всех мнений и к установлению тирании единодушной публичной позиции (Arendt, 1990: 227–228). В Америке, свободной от европейских проблем, связанных с институтом наследственной аристократии и проистекающим из него социальным неравенством, оно, напротив, дает начало важным институциональным изменениям, среди которых Арендт особо выделяет возникновение двухпалатной парламентской системы: согласно замыслу отцов-основателей, множественность интересов в палате представителей американского Конгресса должна была уравниваться множественностью мнений в Сенате. Иными словами, Арендт, полемизируя с Марксом в вопросе о зависимости мнения от интереса, видит именно в американском Сенате публичный орган, призванный обеспечивать неприкосновенность мнений и демократии от власти (Arendt, 1990: 228–229). К сожалению, из современной перспективы тезис Арендт выглядит применимым в лучшем случае к анализу истории возникновения и первых этапов развития американского парламентаризма, но ни в коей мере не к современной ей или нам ситуации, в которой интересы политических групп ставятся значительно выше разнообразия мнений.

Скрытые отсылки к противопоставлению Сократа и Платона занимают особое место в работе Арендт «Эйхман в Иерусалиме: отчет о банальности зла» (1963; расширенное нем. изд. — 1965)¹⁵, основанной на статьях о проходившем в 1961 году судебном процессе над Адольфом Эйхманом. Неспособность Эйхмана мыслить¹⁶,

14. Краткое изложение сути арендтовского противопоставления Американской и Французской революции см. в Арендт, Шмид, 2016.

15. В вышедшем в 2008 году русском переводе книги ее заголовков и подзаголовков без видимых причин поменялись местами. Более того, получившийся новый заголовок был сокращен: из него исчезло слово «отчет», указывающее на обстоятельства работы Арендт в Иерусалиме по заданию журнала «The New Yorker» и в то же время намекающее на конфликт между журналистской позицией наблюдателя за судебным процессом и философской перспективой его анализа.

16. Это утверждение многократно и безуспешно оспаривалось исследователями как в свете недостаточно глубокой работы Арендт с источниками, так и в контексте этической уязвимости ее позиции (см., например: Beatty, 1994), так что я не буду подробно разбирать его сильные и слабые стороны.

понимаемая Арендт как невозможность воспринимать что-либо с иной, отличной от собственной точки зрения (Arendt, 1965: 76), иллюстрирует ее теорию о мышлении как внутреннем диалоге, образцом для которого служит диалог сократический. По причине отсутствия прямых упоминаний о Сократе и Платоне в работе Арендт обозначенные связи отчетливо проявляются лишь на фоне ее двух поздних лекций о Сократе, включенных в цикл 1974 года. В этих лекциях Арендт не только подробно раскрывает свое понимание внутреннего и внешнего диалога, но и возвращается к проблеме различия между мышлением и его отсутствием.

Между мышлением и действием

В ходе историко-философского анализа, составляющего центральную часть лекций о мышлении, Арендт по очереди задает своим незримым собеседникам — Солону, Пармениду, Платону, Аристотелю, Эпиктету, Цицерону, Декарту, Канту, Хайдеггеру — вопрос «Что заставляет нас мыслить?», каждый раз получая на него новые ответы. В череде исторических фигур ключевая позиция отдана Сократу, поскольку, с точки зрения Арендт, лишь он, помимо Солона, не является профессиональным философом и при этом совмещает в себе две противоречащие друг другу страсти: страсть к мышлению и страсть к действию. С точки зрения вопроса о мышлении Сократ оказывается наиболее ценным собеседником, поскольку он, в отличие других, не прячет свое мыслящее эго, делая его недоступным не только для других, но и для себя. Не относя себя ни к большинству, ни к немногим мудрецам, дистанцирующимся от сферы социального действия, Сократ, в отличие от Платона, не стремится к управлению другими, но в то же время и не позволяет другим всецело управлять собой (Arendt, 1978: 166–167). В том же контексте Арендт рассматривает и смерть Сократа — не как готовность пострадать за свое учение, а как отстаивание права вести диалог с другими, испытывая и своим размышлением о них побуждая их к размышлению о самих себе.

В соответствии с целями своего майевтического, по сути апорийного метода, Сократ описывает действие своей философии на себя самого и на своих собеседников с помощью трех метафор (Arendt, 1978: 172–173, с отсылками к *apol. 30e*, *Tht. 148e7–151d7* и *Men. 80c7–d1*). Называя себя оводом, Сократ намекает на свою роль раздражителя¹⁷, будящего граждан ото сна и побуждающего их к мышлению и деятельности, т. е. к настоящей жизни. В этой связи Арендт, вновь прибегая к филологическим аргументам, противопоставляет «истинного» Сократа «Апологии», прославляющего ценность жизни, платоновскому Сократу в «исправленной апологии» — в диалоге «Федон», — говорящему друзьям о своей усталости от жизни. Метафора повивальной бабки наиболее точно описывает метод Сократа, помогающий рождению мысли, но не порождающий ее самостоятельно, т. е., по сути, намеренно бесплодный. Впрочем, у этого метода все же есть как минимум один

17. В этом контексте проявляется некая, но не слишком скрываемая Арендт параллель между Сократом и Ницше.

конкретный — и весьма важный — результат: собеседники Сократа избавляются от предрассудков, стоящих на пути мышления, и формулируют собственное, осмысленное мнение. Таким образом, Сократ выполняет функцию просветителя, примерно в той форме, в какой она представлена у Канта (впрочем, сама Арендт прямо не говорит о подобной преемственности). Третья сократовская метафора — метафора электрического скака — описывает парализующее воздействие, оказываемое Сократом на участников диалога. Изначально использованная Меноном (причем скорее в негативном смысле) метафора скака благодаря Сократу распространяется на всех собеседников, в том числе и на себя самого, по его собственным словам, запутывающего себя ничуть не менее, чем остальных. Таким образом, Сократ и здесь показывает, что не может научить никакому конкретному знанию, но лишь только скромности в отношении ценности собственного мнения, а также относительно границ своего знания и способностей. Впрочем, в связи с третьей метафорой Арендт не упоминает о том, что Сократ использует ее при обсуждении тезиса о познании как припоминании, оставляя за скобками важную сократическую концепцию саморазвития человека посредством поиска.

Согласно аргументации Арендт, три метафоры, описывающие метод Сократа, демонстрируют, что он не является философом в строгом смысле, поскольку, в отличие от софистов или Платона, ничему не учит и даже не претендует на то, чтобы чему-либо научить. Тем самым Сократ не может дать и четкого ответа на вопрос о том, к чему пригодно мышление. Для описания формы сократовского мышления Арендт привлекает четвертую, уже не платоновско-сократовскую, а употребленную Софоклом и затем вновь открытую Хайдеггером метафору мышления как ветра или бури: Сократ ничего не писал потому, что вся суть его мышления заключалась в подвижности, открытости и смелости, не позволявшей искать укрытия в текстах (Arendt, 1978: 174)¹⁸.

«Буря мышления» не только демонстрирует смелость того, кто выбрал сократовский путь, но и оказывает разрушительное влияние на устоявшиеся традиции и ценности, в том числе на мораль. Возникает огромная опасность нигилизма, способного привести к цинизму в общественной жизни. В этой связи Арендт напоминает своим слушателям об опыте учеников Сократа, Алкивиада и Крития (Arendt, 1978: 175): Алкивиад множество раз менял свои политические убеждения, помогая то Афинам, то Спарте, то персам, в то время как Критий участвовал в афинском олигархическом перевороте Четырехсот, а 7 лет спустя, в 404 году до н.э., вошел в состав печально знаменитой коллегии Тридцати тиранов, арестовавшей и казнившей более тысячи афинских граждан. Очевидно, что обвинение Сократа в порче молодежи в первую очередь имело причиной поступки некоторых его учеников (помимо Алкивиада и Крития можно упомянуть и Хармида, также входившего в коллегию Тридцати тиранов).

18. Арендт подчеркивает, что именно поэтому Хайдеггер видит в Сократе наиболее тонкого, хотя и не наиболее великого мыслителя Запада.

Затрагивая проблему нигилизма, Арендт связывает вопрос о сократовском методе с проблематикой европейской философии XIX и XX веков, обращаясь к Ницше, Марксу и Хайдеггеру и делая как минимум небесспорные утверждения о том, что философия Ницше — это перевернутый платонизм, который все же остается платонизмом, а также о том, что, перевернув Гегеля, Маркс все же создает гегельянскую философию истории (Arendt, 1978: 176). Признавая, что нигилизм неизбежно содержится в мышлении, поскольку критическое мышление — в любой его форме — представляет опасность для устоявшихся ценностей, Арендт все же не считает его порождением мышления, видя в нем обратную сторону конвенционализма, проявление фрустрации, вызванной постоянной необходимостью заново перестраивать свои размышления при возникновении новой ситуации (Arendt, 1978: 175–176).

Говоря о затруднениях, связанных с мышлением, Арендт подчеркивает, что отсутствие мышления не является адекватным выходом и несет в себе даже более масштабные опасности, вроде тех, с которыми столкнулась Германия, а также Россия в межвоенный период. Отказ от собственного мнения, порождаемого мышлением, упрощает жизнь, значительно облегчая приспособление к любой новой системе ценностей и требований (будь то нацизм, сталинизм или же, напротив, демократическая система). Очевидно, что в данном случае Арендт имеет в виду и конкретный пример Эйхмана, который — по крайней мере, согласно его собственному объяснению на процессе — отказался от своего мнения ради эффективного выполнения возложенных на него бюрократических функций, в которые входила и отправка евреев в лагеря смерти.

Поднимая серьезную проблему нигилизма как возможного результата мышления, Арендт, к сожалению, в итоге ограничивается общими (хотя и весьма важными) замечаниями. Финальная часть первой из двух ее поздних лекций о Сократе заканчивается тезисом, что, с точки зрения Сократа, любовь к мудрости, красоте и справедливости является необходимой предпосылкой мышления, в то время как способность творить зло представляет собой противоположность этой любви и, следовательно, исключает саму возможность злых поступков как результата философствования (Arendt, 1978: 178). В то же время без ответа остается важный для философии вопрос о том, ответственен ли (и если да, то в какой степени) мыслитель за последствия интерпретаций своих идей. Можно лишь предположить, что Арендт, по сути, защищающая Сократа от его судей, ответила бы на этот вопрос отрицательно.

Вместо вопроса о негативных следствиях чужих интерпретаций Арендт, продолжая поднятую в «Эйхмане в Иерусалиме» тему зла как результата отсутствия мышления, исследует несколько ключевых высказываний Сократа, делая акцент на двух «позитивных», содержащихся в диалоге «Горгий», посвященном важному для Платона рассмотрению способов убеждения большинства (Gorg. 469b–c,

482b)¹⁹. Первое высказывание — «хуже творить несправедливость, чем ее терпеть» — в интерпретации Арендт означает, что Сократ в первую очередь все же занимает позицию человека, приверженного мышлению и индивидуальному мнению, не ратуя за активные действия любой ценой (Arendt, 1978: 181–182). Эта интерпретация подкрепляет философский тезис Арендт о Сократе-индивидуалисте и противнике тирании, хотя на филологическом уровне — в рамках рассмотрения общего контекста и хода беседы между Сократом и Полом (а также между Сократом и Калликлом) — она выглядит не столь прочно. Не учитывая фактор риторической функции высказываний Сократа, Арендт считает *все* его реплики выражением его собственного мнения, не допуская возможности того, что они могут быть лишь приемами, с помощью которых он подводит собеседников к результату, противоположному их исходному тезису²⁰. Указывающее на эту возможность высказывание Калликла о том, что Сократ ведет себя не как философ, а как оратор, Арендт демонстративно опровергает, тем самым вставая на позицию той группы читателей платоновских диалогов, которая считает, что Сократ всегда остается верен себе и открыто высказывает свои собственные мысли по каждому из вопросов. По этой причине аргументы Арендт выглядят значительно более весомыми в те моменты, когда она абстрагируется от контекста «Горгия», перенося проблему совершения и претерпевания зла в современный нам контекст (и напротив, перенос сделанных ею общих выводов на описание конкретного контекста платоновского диалога оказывается, на мой взгляд, не слишком убедительным).

Второе высказывание Сократа, касающееся необходимости всегда быть в согласии с самим собой (Arendt, 1978: 182–183), вводит центральную для второй лекции Арендт тему внутреннего и внешнего диалога. В противоположность Хайдеггеру, трактующему вопрос о тождестве и различии вещей (на примере другого платоновского диалога — «Софист») из перспективы отношения вещи к самой себе, а также к тому, что она *не* есть, Арендт говорит о том, что «ничто не может быть само по себе и в то же самое время для себя» (Arendt, 1978: 181–182; цит. по: Арендт, 2013: 182), за исключением сократовской ситуации мышления как наличия двух в одном. В то же время внутренний диалог с собой не предполагает единства: последнее достигается лишь в момент прекращения диалога, т. е. тогда, когда в него врывается внешний мир²¹. Иными словами, мышление, по Арендт, связано не с одиночеством (*loneliness*), а с уединением (*solitude*): именно в уединении мыслящий человек находится в дружеской компании с самим собой. По этой причине мыслящему человеку нельзя творить зло, чтобы впоследствии не восставать против себя: с точки зрения Арендт, можно жить в дружбе с тем, кто терпит зло, но

19. На филологическом уровне Арендт прибегает к тому же методу, что и в ранних лекциях, стремясь отделить «аутентичные» высказывания Сократа от платоновских аргументов.

20. Так, беседующий с Сократом Пол отстаивает точку зрения о превосходстве причинения зла над его претерпеванием.

21. В этом смысле арендтовское описание напоминает о ницшевской триаде «Я – Меня – друг/враг/другой» в «Так говорил Заратустра»: появление другого разрушает солипсистскую схему разговора между *Ich* и *Mich*.

не с грабителем или убийцей (Arendt, 1978: 188)²². Таким образом, как внешний, так и внутренний сократовский диалог основан на непротиворечии, понимаемом Арендт как отсутствие вражды. Суть диалектического и критического метода мышления не конфликтует с этим представлением, поскольку предполагает иную, но не враждебную и отрицающую остальные точку зрения. В свете арендтовских аргументов о неразрывной связи между мышлением, как естественным элементом человеческой жизни, и внутренним диалогом жизнь без мышления представляется не «недостатком большинства», а возможностью, которую осознанно выбирают те, кто боится диалога с собой. Однако жизнь без мышления не в полной мере является жизнью: скорее это сомнамбулическая форма существования.

Очевидно, что продуктивный — в сократическом смысле — диалог для Арендт может быть только дружеским, т. е. его участники должны находиться в равноправном положении и уважать, а не бояться друг друга. В отличие от Карла Шмитта, чье противопоставление друга и врага на деле не является полноценной оппозицией, поскольку Шмитт интересуется лишь ситуациями возникновения вражды, а не идеей дружбы из политической перспективы²³, Арендт отдает политический приоритет именно дружбе, а точнее, продуктивности публичного дружеского диалога для создания прочных оснований политического действия, исходящего из плюральности мнений, а не безусловного господства одного мнения²⁴.

Но в чем именно состоит связь между мышлением и политическим действием? Арендт дает лишь частичный ответ на этот деликатный вопрос, открывая своим оппонентам широкие возможности для критики разрыва между ее аргументами о *vita activa* и *vita contemplativa*. По-прежнему уклоняясь от вопроса о пользе действий Сократа для полиса, Арендт признает, что мышление, в отличие от жажды познания, в принципе не приносит обществу много добра — за исключением «особых», «пограничных» ситуаций кризиса коллективных ценностей (Arendt, 1978: 191–192). Жизнь в согласии с собой позволяет нам отделять истинное от ложного и в критический момент вынести верное суждение, представляющее собой побочный продукт мышления, ориентированный на частное, а не на общее, и существующий в мире явлений, а не в сознании. Впрочем, по Арендт, верное суждение в первую очередь помогает защитить от катастрофы наше Я, а не сообщество или общество, частью которого мы являемся. Вопрос об общественной роли индивидуальных суждений задан, но не раскрыт.

И все же последнее утверждение оказывается при ближайшем рассмотрении не до конца верным, поскольку Арендт говорит о пользе суждений для новых на-

22. Внутренний диалог задает границы человеческих действий: арендтовская метафора восстания против себя описывает связь между сознанием и совестью. См. об этом: Canovan, 1990: 158.

23. В сущности, Шмитт намеренно рассматривает лишь половину политической теории, оставляя за скобками ту ее часть, которая касается долгосрочных связей, например, сотрудничества между общественными и политическими структурами. Более подробно указанная особенность аргументации Шмитта разбирается в Gerhardt, 2003: 214–215.

24. Николя Айо (Hayoz, 2016: 14) справедливо замечает, что для Арендт отсутствие возможности подобного публичного диалога служит характерным признаком недемократических обществ.

чинаний (на примере Американской революции и ее последствий), а также в момент кризиса традиционных представлений. Наиболее ярким примером такого кризиса для Арендт является ситуация послевоенной Германии, с ее атмосферой дебатов о возможности или невозможности возврата к традиционным формам мышления и аргументации²⁵. Еще в своем раннем философском эссе «Подходы к немецкой проблеме» («Approaches to the German Problem», 1945) Арендт выдвигает тезис о том, что за своим фальшивым консервативным фасадом национал-социалистическая идеология скрывает самую радикальную форму нигилизма, отрицающую любую традицию (Arendt, 1994: 108–109). В послевоенной ситуации интеллектуального опустошения и кризиса традиции именно сократовский метод выявления мнений и установления равноправного диалога между ними представляется спасительным майевтическим средством, помогающим рождению новой традиции. Разумеется, на практике все оказывается гораздо более сложным, в чем убеждается и сама Арендт во время своей поездки в Германию в 1949 году. Тем не менее даже в ее поздних лекциях горькая констатация того факта, что философы редко могут приносить общественную пользу, уравнивается романтическим, но все же небезосновательным представлением об экзистенциальной ценности сократовского метода.

Несмотря на бросающиеся в глаза аргументационные трудности, оппозиция сократического мнения и платоновского убеждения представляется одной из ключевых и весьма продуктивных как в рамках философии Арендт, так и в свете современных дебатов по целому ряду тем. Фигура Сократа играет роль связующего звена между тезисами Арендт о политике и политическом действии и ее рассуждениями о мышлении и философском методе, не ограниченными рамками конкретных текстов и исторических событий. Для понимания роли Арендт как политического мыслителя, например, в сравнении с популярным в России Карлом Шмиттом, фигура Сократа важна, в частности, для анализа политического содержания идеи дружбы. Из перспективы обсуждения проблемы кризиса мышления предложенный Арендт сократический метод плюрализации мнений в общественном пространстве представляется как минимум достойным обсуждения. В свете растущего влияния социальных сетей, общего изменения (углубляющейся индивидуализации) формата общественной коммуникации и стирания прежних границ между частным и общественным «сократические» тезисы Арендт о роли *dōxa*,

25. В этих дебатах активно участвовал наставник и друг Арендт Карл Ясперс. В своем докладе «Unsere Zukunft und Goethe» («Наше будущее и Гете»), прочитанном им 28 августа 1947 года во Франкфурте по случаю получения премии Гете, Ясперс прямо говорит об утопичности представлений о возможности некритического возвращения к классическим традициям, подвергая последние критическому анализу с современных позиций, на примере фигуры Гете. Именно с этого доклада и последующей дискуссии между Ясперсом и филологом Эрнстом Робертом Курциусом, а не с более узкого (хотя и остро поставленного Адорно) вопроса о мышлении после Аушвица, начинается философское обсуждение проблемы кризиса мышления. Арендт была прекрасно осведомлена о контексте немецких дискуссий и, более того, в качестве приглашенного автора принимала живое участие в проекте издания журнала «Die Wandlung» (1945–1949), задуманного Ясперсом и его коллегами как площадка для обсуждения перспектив интеллектуального обновления Германии.

формирующегося в диалоге, могут быть использованы и для исследования новых способов реабилитации социальной и политической роли мнения. Впрочем, для этого потребуется несколько отдельных исследований.

Литература

- Арендт Х. (2013). Жизнь ума / Пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб: Наука.
- Арендт Х., Шмид К. (2016). Право на революцию. Разговор между профессором Карло Шмидом и Ханной Арендт / Пер. с нем. А. Н. Саликова // Социологическое обозрение. Т. 15. № 1. С. 56–74.
- Дмитриев Т. А. (2008). Возвращаясь к истокам: философия или политика, Сократ или Платон? // История философии. Вып. 13. М.: ИФ РАН. С. 141–152.
- Мотрошилова Н. В. (2013). Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие — время — любовь. М.: Академический проект.
- Платон. (1990–1994). Собрание сочинений: в 4 тт. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль.
- Arendt H. (1958). *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (1965). *Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen*. München: Piper.
- Arendt H. (1978). *The Life of the Mind*. San Diego: Harcourt Brace.
- Arendt H. (1990). *On Revolution*. London: Penguin Books.
- Arendt H. (2003). *Denktagebuch*. München: Piper.
- Arendt H. (2005). *The Promise of Politics*. New York: Schocken Books.
- Beatty J. (1994). Thinking and Moral Considerations: Socrates and Arendt's Eichmann // Hinchman L. P., Hinchman S. K. (eds.). *Hannah Arendt: Critical Essays*. Albany: State University of New York Press. P. 57–78.
- Bernstein R. J. (1996). *Hannah Arendt and the Jewish Question*. Cambridge: MIT Press.
- Bluhm H. (2016). Arendts Plato — unter besonderer Berücksichtigung ihres Denktagebuches. URL: <http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/viewFile/348/477> (дата доступа: 18.06.2017).
- Bormuth M. (2015). Einleitung // Bormuth M. (Hg.). *Hannah Arendt: Sokrates. Apologie der Pluralität*. Berlin: Matthes & Seitz. S. 7–32.
- Buckler S. (2011). *Hannah Arendt and Political Theory: Challenging the Tradition*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Canovan M. (1990). Socrates or Heidegger? Hannah Arendt's Reflections on Philosophy and Politics // *Social Research*. Vol. 57. № 1. P. 135–165.
- Canovan M. (1994). *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dolan F. M. (2002). Arendt on Philosophy and Politics // Villa D. (ed.). *The Cambridge Companion to Hannah Arendt*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 261–276.
- Gerhardt V. (2003). Politik als Ausnahme. Der Begriff des Politischen als dekontextualisierte Antitheorie // Mehring R. (Hg.). *Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen: Ein kooperativer Kommentar*. Berlin: Akademie Verlag, 2003. S. 205–218.

- Hayoz N.* (2016). Political Friendship, Democracy and Modernity // Социологическое обозрение. Т. 15. № 4. С. 13–29.
- Heuer W.* (1992). Citizen: persönliche Integrität und politisches Handeln: eine Rekonstruktion des politischen Humanismus Hannah Arendts. Berlin: Akademie Verlag.
- Magiera G.* (2007). Die Wiedergewinnung des Politischen: Hannah Arendts Auseinandersetzung mit Platon und Heidegger. Frankfurt am Main: Humanities Online.
- McCarthy M. H.* (2012). The Political Humanism of Hannah Arendt. Plymouth: Lexington Books.
- Nixon J.* (2015). Hannah Arendt and the Politics of Friendship. London: Bloomsbury.
- Opstaele D. J.* (1999). Politik, Geist und Kritik: eine hermeneutische Rekonstruktion von Hannah Arendts Philosophiebegriff. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Villa D.* (1999). Arendt and Socrates // Revue Internationale de Philosophie. Vol. 53. № 208. P. 241–257.
- Young-Bruehl E.* (2006). Why Arendt Matters. New Haven/London: Yale University Press.

The Philosopher and the State: Hannah Arendt on the Philosophy of Socrates

Alexey Zhavoronkov

PhD, Senior Researcher, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences

Postdoctoral Researcher, University of Erfurt

Address: Goncharnaya str., 12/1, Moscow, Russian Federation 109240

E-mail: alexey.zhavoronkov@uni-erfurt.de

My paper provides a critical analysis of the epistemic, moral, social, and political implications of Arendt's view of the Socratic method. In both her earlier (1954) and later (1974) lectures on Socrates, Arendt depicts him as a thinker who overcomes the gap between the contemplative life of a philosopher and the life of an active citizen. Arendt contrasts the Socratic dialog of equal opinions which takes place between friends with the Platonic monologue of a teacher delivering the truth to his students. Despite some significant flaws in her opposition of Socrates and Plato, her view proves to be a useful leitmotif connecting her lectures with several of her main works, those of "The Human Condition", "On Revolution", and "Eichmann in Jerusalem." Arendt uses her picture of Socrates as a supporting argument in her analysis of the public role of opinion, of the distinctive traits of the inner dialog, and of the connection between thinking and action. Although Arendt does not give a direct answer to the question of the usefulness of Socrates' actions for Athens and remains sceptical regarding the possibility of philosophical thinkers to influence the social life, she provides valid arguments in favor of the necessity of the Socratic method in the case of a crisis of collective values. Her conclusions allow us to use her interpretation in modern debates on conservatism, on the re-evaluation of differences between the private and the public sphere, and on the public role of opinion in light of the development of new forms of communication.

Keywords: Arendt, Socrates, Plato, politics, thinking, action, dialogue

References

- Arendt H. (1958) *The Human Condition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (1965) *Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen*, München: Piper.
- Arendt H. (1978) *The Life of the Mind*, San Diego: Harcourt Brace.
- Arendt H. (1990) *On Revolution*, London: Penguin Books.
- Arendt H. (2003) *Denktagebuch*, München: Piper.
- Arendt H. (2005) *The Promise of Politics*, New York: Schocken Books.
- Arendt H. (2013) *Zhizn' uma* [The Life of the Mind], Saint Petersburg: Nauka.
- Arendt H., Schmid H. (2016) Pravo na revoluciju. Razgovor mezhdu professorom Karlo Schmidom i Hanoj Arendt [Das Recht auf Revolution: Gespräch zwischen Prof. Dr. Carlo Schmid und der Philosophin Hannah Arendt (1965)]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 1, pp. 56–74.
- Beatty J. (1994) Thinking and Moral Considerations: Socrates and Arendt's Eichmann. *Hannah Arendt: Critical Essays* (eds. L. P. Hinchman, S. K. Hinchman), Albany: State University of New York Press, pp. 57–78.
- Bernstein R.J. (1996) *Hannah Arendt and the Jewish Question*, Cambridge: MIT Press.
- Bluhm H. (2016) Arendts Plato — unter besonderer Berücksichtigung ihres Denktagebuches. Available at: <http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/viewFile/348/477> (accessed 18 June 2017).
- Bormuth M. (2015) Einleitung. *Hannah Arendt: Sokrates. Apologie der Pluralität* (ed. M. Bormuth), Berlin: Matthes & Seitz, S. 7–32.
- Buckler S. (2011) *Hannah Arendt and Political Theory: Challenging the Tradition*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Canovan M. (1990) Socrates or Heidegger? Hannah Arendt's Reflections on Philosophy and Politics. *Social Research*, vol. 57, no 1, pp. 135–165.
- Canovan M. (1994) *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dmitriev T. (2008) Vozvrashajas' k istokam: Filosofija ili politika, Sokrat ili Platon? [Back to the Origins: Philosophy or Politics, Socrates or Plato?]. *Istorija filosofii, Issue 13*, Moscow: IPhRAS, pp. 141–152.
- Dolan F. M. (2002) Arendt on Philosophy and Politics. *The Cambridge Companion to Hannah Arendt* (ed. D. Villa), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 261–276.
- Gerhardt V. (2003) Politik als Ausnahme: Der Begriff des Politischen als dekontextualisierte Antitheorie // *Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen: Ein kooperativer Kommentar* (ed. R. Mehring), Berlin: Akademie Verlag, S. 205–218.
- Hayoz N. (2016) Political Friendship, Democracy and Modernity. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 4, pp. 13–29.
- Heuer W. (1992) *Citizen: persönliche Integrität und politisches Handeln: eine Rekonstruktion des politischen Humanismus Hannah Arendts*, Berlin: Akademie Verlag.
- Magiera G. (2007) *Die Wiedergewinnung des Politischen: Hannah Arendts Auseinandersetzung mit Platon und Heidegger*, Frankfurt am Main: Humanities Online.
- McCarthy M. H. (2012) *The Political Humanism of Hannah Arendt*, Plymouth: Lexington Books.
- Motroshilova N. (2013) *Martin Hajdegger i Hanna Arendt: bytie — vremja — ljubov'* [Martin Heidegger and Hannah Arendt: Being — Time — Love], Moscow: Akademicheskij proekt.
- Nixon J. (2015) *Hannah Arendt and the Politics of Friendship*, London: Bloomsbury.
- Opstaele D. J. (1999) *Politik, Geist und Kritik: eine hermeneutische Rekonstruktion von Hannah Arendts Philosophiebegriff*, Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Plato (1990–1994) *Sobranie sochinenij* [Collected Works] (eds. A. Losev, V. Asmus, A. Takho-Godi), Moscow: Mysl.
- Villa D. (1999) Arendt and Socrates. *Revue Internationale de Philosophie*, vol. 53, no 208, pp. 241–257.
- Young-Bruehl E. (2006) *Why Arendt Matters*, New Haven: Yale University Press.

Логика методологии (к публикации «Логических предпосылок всякой методологии» Н. И. Кареева)*

Алексей Малинов

Доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Адрес: Университетская наб., д. 7–9, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199034
E-mail: a.v.malinov@gmail.com

Евгения Долгова

Кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета
Адрес: Миусская пл., д. 6, к. 3, г. Москва, Российская Федерация 125994,
E-mail: dolgova-evg@rambler.ru

Цель статьи — введение в научный оборот неопубликованного исследования историка, социолога, методолога науки Николая Ивановича Кареева (1850–1931) — его работы «Общая методология гуманитарных наук». Она была написана в «закатный период» творчества ученого (в 1922 году) и не издана в силу цензурных ограничений. Работа резюмирует методологические изыскания ученого. Историкографически «Общая методология...» сохраняет некоторую преемственность с курсом «Методология истории» А. С. Лаппо-Данилевского, прочитанного в Петроградском университете. Указанный курс после смерти лектора в 1919 году планировалось передать Н. И. Карееву. Однако, несмотря на преемственность, книга Кареева оригинальна и написана во многом с других философских позиций. Подготовленная к печати работа хранится в личном фонде Н. И. Кареева в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Предлагаемая статья состоит из вступительного авторского комментария и публикации отрывка «Общей методологии...» — второй главы, которая называется «Логические предпосылки всякой методологии». В ней ученый охарактеризовал логику как условие всякой методологии, рассматривал существующие методы познания: индуктивный, дедуктивный, сравнительный, исторический; рассуждал о научных законах и их классификации; подробно останавливался на видах умозаключений и силлогизмов, а также на распространенных ошибках. В этой главе Кареев касался не только основ логики, но и теории аргументации и теории доказательств. Он сформулировал признаки научного знания: проверяемость, систематичность, полнота (целостность). Текст главы восстанавливается по черновой рукописи Кареева — автографу с пометами ученого (зачеркиваниями, подчеркиваниями, вставками на полях). Документы публикуются по современным правилам орфографии. Пунктуация, стилистические особенности, подчеркивания в тексте сохранены в целях аутентичной передачи источника.

Ключевые слова: Н. И. Кареев, методологическое наследие, «Общая методология гуманитарных наук», логика, позитивизм, критицизм

© Малинов А. В., 2017

© Долгова Е. А., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-319-326

* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ, проект № 17-78-10202 «Российская социогуманитарная наука новейшего времени как мобилизационный проект: институциональное, наукометрическое и социальное измерение».

Важной чертой современной эпистемологической ситуации в социальном и гуманитарном знании является не столько внимание преимущественно к зарубежным научным теориям при простой констатации лакун в истории отечественной интеллектуальной мысли, сколько признание того, что необходимым условием ее развития выступает переосмысление именно отечественного классического теоретического наследия, его актуализация с позиции приоритетов современного научного знания (Савельева, Полетаев, 2009).

Пример таких классических произведений, до сих пор не введенных в широкий научный оборот, — одна из последних работ историка, социолога, теоретика и методолога науки Николая Ивановича Кареева (1850–1931) — учебное пособие «Общая методология гуманитарных наук» (1922). С одной стороны, это исследование завершило изыскания по философии истории, продолжавшиеся четыре десятилетия; с другой — курс методологии гуманитарных наук оказался одним из последних, прочитанных ученым в высшей школе. В этом отношении до сих пор неопубликованную книгу можно считать резюмирующей обширное теоретико-методологическое наследие Кареева. Методологическая рефлексия известного историка опиралась на богатый личный исследовательский опыт. В отечественной исторической науке она сопоставима с такими произведениями его соратников по историко-филологическому факультету Петербургского университета, как «Методология истории» А. С. Лаппо-Данилевского (1909, 1910–1913, 1923) и «Философия истории» Л. П. Карсавина (1923). До этого философские и теоретические интересы Кареева ограничивались в основном теорией исторического процесса или, как он предпочитал выражаться, «историологией», отождествляемой с социологией. Однако в «Общей методологии гуманитарных наук» он не повторил выводы своих философско-исторических и социологических работ, а предложил систематическое изложение методологической стороны всякого исследования.

Подготовленная к печати, лишь частично опубликованная работа (Кареев, Малинов, 2011, 2013) хранится в личном фонде Н. И. Кареева в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Она восстанавливается по рукописным черновикам исследователя; двум корректурам первых глав; примечаниям Кареева и его выпискам из литературы при подготовке к работе.

Книга была написана Н. И. Кареевым в связи с подготовкой к чтению небольшого курса по методологии общественных наук в Петроградском университете в осеннем семестре 1922 года (Кареев, 1990: 285). В его основу легли, в свою очередь, материалы курса по истории исторического знания, прочитанного ученым на Высших женских курсах и в особенности курса по социологии, который планировался к передаче ему в Петроградском университете после преждевременной смерти А. С. Лаппо-Данилевского в 1919 году (хотя в итоге занятия вели П. А. Сорокин и К. М. Тахтарев (Кареев, Малинов, 2011: 148)). Из последнего, по словам Кареева, ему пригодилось «содержание, и главным образом главы II, VI и VII, которые ста-

ли предметом более подробного изложения»¹. Также в основу методологического курса легли материалы, привлекаемые ученым для написания книги «Общие основы социологии» (Кареев, 1919). Как отмечал сам Кареев в предисловии от 16 июня 1922 г., основной целью написания книги стало «желание подвести общие итоги под вырабатывавшимися в течение полустолетия методологическими взглядами и дать цельное изложение этого предмета»². Даже по форме изложения «Общая методология гуманитарных наук» следует за «Общими основами социологии».

По словам Кареева, «Общая методология гуманитарных наук» «как и «Общие основы социологии» несколько лет тому назад написана «единым махом»³. Однако объем ее значителен. Текст включает в себя «Введение», 7 глав, состоящих из 400 параграфов: 1) «Понятие науки и классификация наук», 2) «Логические предпосылки всякой методологии», 3) «Гуманитарные науки, их классификация и методология», 4) «Непосредственное наблюдение и констатирование фактов в гуманитарных науках», 5) «Научная работа в области исторических повторений», 6) «Теоретические гуманитарные науки», 7) «Нормативное и прикладное знание в гуманитарных науках». К «Общей методологии...» приложены примечания⁴; библиография⁵; выписки из трудов по истории, социологии и психологии⁶; список социологических работ автора. Сохранились две типографские корректуры работы с правкой Кареева: вторая⁷ и третья⁸, обе на 40 листах, датированные февралем 1923 года. Они включают параграфы 1–180 первой, второй и начала третьей главы.

Завершенную рукопись в 1920-е годы так и не удалось опубликовать (Долгова, 2012). Осенью 1922 года Ленинградский губернский отдел главного управления по делам литературы и издательств Наркомпроса РСФСР (Ленгублит) дал разрешение на публикацию книги. Кооперативное издательство «Наука и школа» успело напечатать часть работы⁹, однако в начале 1923 года корректура была отозвана из издательства: на ее публикацию как учебного пособия потребовалось получение особого разрешения из Государственного ученого совета (ГУСа). После довольно продолжительной задержки в печатании рукописи из Москвы было прислано письмо, разрешающее ее публикацию на общих основаниях. Однако по причине «резко идеалистической позиции» автора¹⁰ Карееву предложили напечатать работу при условии помещения в ней предисловия с критикой его взглядов. Отказавшись от этого, ученый тем не менее предпринял ряд шагов, направленных на получение разрешения на публикацию. «Соглашаясь пожертвовать второстепен-

1. Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 119. Н. И. Кареев. К. 39. Д. 10. Л. 3.

2. НИОР РГБ. Ф. 119. К. 39. Д. 13. Л. 206.

3. Там же. Д. 1. Л. 106. Приписка на полях.

4. Там же. Д. 9. Л. 1–9.

5. Там же. Д. 10. Л. 1–306.

6. Там же. Д. 15. Л. 1–108.

7. Там же. Д. 12. Л. 1–40.

8. Там же. Д. 13. Л. 1–40.

9. НИОР РГБ. Ф. 119. К. 39. Д. 11–14.

10. Там же. К. 19. Д. 36. Л. 1.

ным, чтобы спасти главное», исследователь предложил внести коррективы в текст работы, смягчив «неудобные с цензурной точки зрения места»¹¹. Председатель ленинградского Гублита И. Е. Острцов посоветовал ученому обратиться в Главлит, с разрешения которого книга могла быть освобождена от критического предисловия. На докладную записку Кареева в Главлит от 3 июня 1924 года председатель П. И. Лебедев-Полянский уже 9 июня наложил резолюцию: «если в работе нет мест неприемлемых с политической точки зрения, пропустить книгу без всяких предисловий»¹². Однако «Общая методология гуманитарных наук» так и не вышла в свет — причины этого, очевидно, следует искать в характере издания — как учебное пособие по гуманитарным дисциплинам оно привлекало особое внимание цензуры. В то же время организационные изменения в университете, в частности сведение всех «неестественных» дисциплин в один Факультет общественных наук (ФОН), изменение учебных планов привели к тому, что надобность в таком методологическом курсе отпала. Университет завоевывало «единственно верное учение», не допускавшее иных точек зрения. В скором времени в результате административных преобразований во главе университета оказался один из видных деятелей партии большевиков С. К. Минин, опубликовавший в 1922 году в журнале «Под знаменем марксизма» статью «Философию — за борт!». Вместе с философией как буржуазной наукой подозрение в идеализме падало и на методологию. Кареев же неоднократно выступал с опровержением «экономического материализма», собрав свою критику марксизма в отдельную книгу — «Критика экономического материализма. Старые и новые этюды» (СПб., 1896).

Идеи, высказанные Кареевым в «Общей методологии гуманитарных наук», несут отчетливое влияние позитивизма. Ученый всю свою жизнь оставался верным и последовательным позитивистом. В мемуарах он признавался, что

еще несколько колебался, как уже говорил об этом, быть ли мне в будущем историком или философом. В течение всего последующего времени философские интересы не покидали меня, приняв историко-теоретическую и социологическую окраску. Докторская моя диссертация была об основных вопросах философии истории, и занятия в этой области не прекращались до самого последнего времени. И опять я здесь невольно откликался на явления современной жизни, к числу которых относится пропаганда и распространение у нас в последних годах прошлого столетия теории экономического материализма. В IV–VII томах «Истории Западной Европы» я притом дал довольно много места рассмотрению главных течений философской мысли в XIX и XX веках, знакомство с которыми, скажу кстати, не поколебало во мне моего позитивизма, хотя внесло в него некоторые поправки и приучило более исторически понимать культурное значение осуждаемых позитивизмом стремлений. Наконец, и в своих книгах для молодежи о значении самообразования, о способах выработки мирозерцания, об основах нрав-

11. Там же.

12. Там же. Л. 3.

ственности, о сущности общественной деятельности я подчинялся тем же философским устремлениям своей психики. (Кареев, 1990: 251)

Несколько старомодный, особенно на фоне философских исканий начала XX века, позитивизм Кареева вызывал скептические оценки современников, а его коллеги по академическому цеху порой очень резко отзывались о личности и достижениях ученого (Ростовцев, 2000).

Еще одна философская традиция, которую упоминает и на которую ориентируется Кареев в «Общей методологии гуманитарных наук», — это критицизм. Следуя за И. Кантом, он указывал на всеобщий и необходимый характер научных высказываний, которые формулируются как априорные синтетические суждения, т. е. суждения, дающие новое знание («расширение знания», по выражению Кареева). В своей книге Кареев скуп на цитаты и ссылки. Тем примечательнее, что чаще других он упоминает лидера петербургских кантианцев, профессора кафедры философии Петербургского университета А. И. Введенского, в частности его труд «Логика как часть теории познания» (четырежды переиздававшийся при жизни автора). К точке зрения Введенского на возможность истории быть наукой Кареев отсылал и в другом своем произведении — «Историка» (Кареев, 1916). Вероятно, многие положения формальной логики, которые Кареев воспроизводил в публикуемой главе, взяты из «Логики» Введенского — самого популярного и неоднократно переиздававшегося в начале XX века гимназического учебника. В своем курсе Кареев обратил внимание и на книгу ученика А. И. Введенского И. И. Лапшина «Философия изобретения и изобретение в философии» (1922), высланного в том же году из Советской России на «философском пароходе» (Кареев был одним из немногих, кто пришел проводить изгнанников). Обращение историка к проблематике чужой душевной жизни также отсылает к полемике конца XIX века о признаках чужой одушевленности, инициированной Введенским. Соглашается Кареев и с «корректировкой» формулировок индуктивной логики Дж. С. Милля, предложенной Введенским. Стоит отметить, что в годы «изгнания» самого Кареева из университета (1899–1906) двухгодичный «семинарий» (1899–1901), посвященный разбору и критике шестой книги («Логика нравственных наук») «Системы логики силлогистической и индуктивной» Дж. С. Милля, вел А. С. Лаппо-Данилевский. Книга Кареева «Общая методология гуманитарных наук» во многом выросла из лекционного курса, за который он вынужден был взяться после смерти Лаппо-Данилевского. Курс последнего назывался «Методология истории». Курсы Кареева и Лаппо-Данилевского, несмотря на существенные различия, объединяло широкое понимание «методологии»: методология истории Лаппо-Данилевского фактически перерастала в гносеологию и теорию обществензнания; Кареев же стремился сформулировать общенаучную методологию, частным случаем которой является «методология гуманитарных наук». Данью неокантианству звучат утверждения Кареева об отличии (специфике) гуманитарных наук по методу исследования.

Ученый очертил сферу гуманитарного знания; обосновал как проблему существование единого исследовательского поля гуманитарных наук и оговорил принципы их взаимосвязей; поставил как исследовательскую задачу необходимость выработки единой, общей методологии для научного исследования; обосновал положение и методологический инструментарий истории в системе гуманитарных наук. Логика выступает для Кареева условием всякой методологии. Он подробно рассматривал существующие методы познания: индуктивный, дедуктивный, сравнительный, исторический; рассуждал о научных законах и их классификации; подробно останавливался на видах умозаключений и силлогизмов, а также на распространенных ошибках. В главе Кареев касался не только основ логики, но и теории аргументации и теории доказательств. Он формулировал признаки научного знания: проверяемость, систематичность, полнота (целостность). Это самая «формальная» и наиболее «школьная» глава в книге Кареева. Он был убежден, что без логики невозможно научное познание, строгость и доказательность научного знания. Однако реальность и политическая целесообразность эпохи диктовала другое: место логики занимала идеология. Примечательно, что в том же 1923 году, когда Карееву пришлось отказаться от попыток издать свою книгу, из Петроградского университета вынужден был уйти последний преподававший в нем логик — С. И. Поварнин, крупнейший специалист по теории спора и теории вывода, разрабатывавший логику отношений или «теорию логических рядов».

Публикуемый ниже документ — вторая глава «Общей методологии гуманитарных наук». Она называется «Логические предпосылки всякой методологии». Текст воспроизводится по машинописи — 3-й корректуре, датированной Кареевым 17 февраля 1923 года (в книге это должны были быть страницы 26–66), в примечаниях даны отсылки к рукописному черновику главы¹³. Сверка машинописной корректуры с рукописью в ряде случаев позволила установить первоначальный замысел автора: в сносах делается пометка о зачеркиваниях, вставках, приписках на полях, сделанных рукой Кареева.

Документ публикуется по современным правилам орфографии. Пунктуация, стилистические особенности, подчеркивания в тексте сохранены в целях аутентичной передачи источника. При воспроизведении текста применяется поздняя, архивная пагинация.

Литература

- Введенский А. П. (1912). Логика как часть теории познания. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича.
- Долгова Е. А. (2012). Из истории издания работы Н. И. Кареева «Общая методология гуманитарных наук» (1922–1924) // Вестник архивиста. № 1. С. 239–245.

13. НИОР РГБ. Ф. 119. К. 39. Д. 3. Л. 1–75.

- Кареев Н. И. (1916). Историка (Теория исторического познания). Из лекций по общей теории истории. Ч. I. Пг.: Тип. М. М. Стасюлевича.
- Кареев Н. И. (1919). Общие основы социологии. Пг.: Наука и школа.
- Кареев Н. И. (1990). Прожитое и пережитое. Л.: Изд-во ЛГУ.
- Кареев Н. И. (2011). Общая методология гуманитарных наук // Вече: журнал русской философии и культуры. Вып. 22. С. 147–174.
- Кареев Н. И. (2013). Понятие науки и классификация наук // Клио. № 2. С. 28–35.
- Лаппин И. И. (1922). Философия изобретения и изобретение в философии. Пг.: Наука и школа.
- Ростовцев Е. А. (2000). Н. И. Кареев и А. С. Лаппо-Данилевский: из истории взаимоотношений в среде петербургских ученых на рубеже XIX–XX вв. // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. III. № 4. С. 105–121.
- Савельева И. М., Полетаев А. В. (ред.). (2009). Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение.

The Logic of Methodology (On the Publication of “The Logical Prerequisites of the Methodology” by Nikolay Kareev)

Alexey V. Malinov

Dr. Hab (Philosophy), Professor, Saint Petersburg State University

Address: Universitetskaya Emb., 13B, Saint Petersburg, Russian Federation 199034

E-mail: a.v.malinov@gmail.com

Evgeniya A. Dolgova

PhD in History, Associate Professor, Russian State University for the Humanities

Address: Miusskaya sq., 6, GSP-3, Moscow, Russian Federation 125993

E-mail: dolgova-evg@rambler.ru

The purpose of the article is the research of the unpublished methodological scientific work of the Russian historian Nikolay Kareev, called the *The General Methodology of the Humanities*. This book was written in 1922, but was not published due to censorial restrictions. The text solved different problems of the humanities from the point of view of positivism. In an historiographical aspect, it has some continuity with the course “The Methodology of the History” by Alexander Lappo-Danilevsky, who taught it at the University of Petrograd (after the death of Lappo-Danilevsky in 1919, it was planned to pass this course to Kareev). However, the *General Methodology* is an original course, written from the different standpoints of Lappo-Danilevsky. This article consists of the introduction and a published fragment from the *General Methodology*. This fragment includes the second chapter, which is called “The Logical Prerequisites of the Methodology”. Here, Kareev characterized logic as a condition of any methodology, and considered existing methods of cognition, such as inductive, deductive, comparative, and historical; he talked about scientific laws and their classification; he dwelled on the types of inferences and syllogisms in detail, as well as on common mistakes. In this chapter, Kareev not only dealt with the foundations of logic, but also with the theory of argumentation and the theory of proofs. He formulated the signs of scientific

knowledge, those of verifiability, systematic, and completeness (integrity). We reconstructed the text of these paragraphs according to a monograph by Kareev, which is held in the Research Department of Manuscripts of the Russian State Library.

Keywords: Nikolay Kareev, methodological heritage, *General Methodology of the Humanities*, fragments, the logic, positivism, criticism

References

- Dolgova E. (2012) Iz istorii izdanija raboty N. I. Kareeva "Obshhaja metodologija gumanitarnyh nauk" (1922–1924) [From the History of the Publication of N. Kareev's *General Methodology of the Humanities* (1922–1924)]. *Vestnik arhivista*, no 1, pp. 239–245.
- Kareev N. (1916) *Istorika (Teorija istoricheskogo poznanija). Iz lekcij po obshhej teorii istorii. Ch. I* [Historics (A Theory of Historical Knowledge): From the Lectures on the General Theory of History, Part I], Petrograd: M. M. Stasulevich.
- Kareev N. (1919) *Obshhie osnovy sociologii* [General Foundations of Sociology], Petrograd: Nauka i shkola.
- Kareev N. (1990) *Prozhitoe i perezhitoe* [Memoirs], Leningrad: LSU Press.
- Kareev N. (2011) Obshhaja metodologija gumanitarnyh nauk [General Methodology of the Humanities]. *Veche: Journal of Russian Philosophy and Culture*, no 22, pp. 147–174.
- Kareev N. (2013) Ponjatie nauki i klassifikacija nauk [The Notion of Science and the Classification of Sciences]. *Klio*, no 2, pp. 28–35.
- Lapshin I. (1922) *Filosofija izobretenija i izobretenie v filosofii* [The Philosophy of Invention and Invention in Philosophy], Petrograd: Nauka i shkola.
- Rostovtsev E. (2000) N. I. Kareev i A. S. Lappo-Danilevskij: iz istorii vzaimootnoshenij v srede peterburgskih uchenyh na rubezhe XIX–XX vv. [Nikolay Kareev and Alexander Lappo-Danilevsky: From the History of Relationships among Saint Petersburg Scientists at the Turn of the 19th–20th Centuries]. *Journal of Sociology and Social Antropology*, vol. 2, no 4, pp. 105–121.
- Savelieva I., Poletaev A. (eds.) (2009) *Klassika i klassiki v social'nom i gumanitarnom znanii* [Classic and Classics in Social and Humanitarian Knowledge], Moscow: New Literary Observer.
- Vvedensky A. (1912) *Logika kak chast' teorii poznanija* [Logic as a Part of the Theory of Knowledge], Saint Petersburg: M. M. Stasulevich.

Общая методология гуманитарных наук

Глава 2

Логические предпосылки всякой методологии

Николай Кареев

Алексей Малинов

(Подготовка текста к публикации, комментирование)

Доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета

Адрес: Университетская наб., д. 7–9, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199034

E-mail: a.v.malinov@gmail.com

Евгения Долгова

(Подготовка текста к публикации, комментирование)

Кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета

Адрес: Миусская пл., д. 6, к. 3, г. Москва, Российская Федерация 125994,

E-mail: dolgova-evg@rambler.ru

Целью статьи является введение в научный оборот отрывка из неопубликованной книги историка, социолога, методолога науки Николая Ивановича Кареева (1850–1931) «Общая методология гуманитарных наук». Она была написана в «закатный период» творчества ученого (в 1922 г.), не была издана в силу цензурных ограничений и является работой, резюмирующей творческое наследие ученого (в части его методологических изысканий). В исследовании Н. И. Кареев очертил сферу гуманитарного знания; обосновал как проблему существование единого исследовательского поля гуманитарных наук и оговорил принципы их взаимосвязей; поставил как исследовательскую задачу необходимость выработки единой, общей методологии для научного исследования; обосновал положение и методологический инструментарий истории в системе гуманитарных наук. Публикуемый отрывок представляет собой вторую главу «Общей методологии...» и называется «Логические предпосылки всякой методологии». Это самая «формальная» и наиболее «школьная» глава в книге Н. И. Кареева. Логика выступает для Н. И. Кареева условием всякой методологии. Он подробно рассматривал существующие методы познания: индуктивный, дедуктивный, сравнительный, исторический; рассуждал о научных законах и их классификации; подробно останавливался на видах умозаключений и силлогизмов, а также на распространенных ошибках. В главе Н. И. Кареев касался не только основ логики, но и теории аргументации и теории доказательств. Он формулировал признаки научного знания: проверяемость, систематичность, полнота (целостность). Ученый был убежден, что без логики невозможно научное познание, строгость и доказательность научного знания. Однако реальность и политическая целесообразность эпохи диктовала другое: место логики занимала идеология. Идеи, высказанные Н. И. Кареевым в «Общей методологии гуманитарных наук» несут отчетливое влияние позитивизма. Данью неокантианству звучат утверждения Н. И. Кареева об отличии (специфике) гуманитарных наук по методу

© Малинов А. В., подготовка текста к публикации, комментарии, 2017

© Долгова Е. А., подготовка текста к публикации, комментарии, 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-327-365

исследования. Таким образом, Н. И. Кареев стремился сформулировать общенаучную методологию, частным случаем которой является «методология гуманитарных наук».

Ключевые слова: Н. И. Кареев, методологическое наследие, «Общая методология гуманитарных наук», логика, позитивизм, критицизм, методы познания, теория аргументации

54¹. Методология есть дальнейшее развитие того, что содержится во всякой логике, в применении к особенностям, представляемым предметами, задачами, точками зрения и приемами отдельных наук. В каждой науке должен быть определен ее *предмет*², указана ее *задача*, выяснена основная *точка зрения*, рассмотрены ее *методы*, особенно в гуманитарных науках вследствие меньшего их совершенства, большего количества отдельных в них направлений и спорности многих принципов. Каждая наука должна сама для себя решить все эти вопросы, но некоторые из них бывают в двух или большем числе наук общими, и иногда один и тот же метод играет роль не в одной науке. Укажу для примера на то, как в первой половине XIX века сначала в правоведении, а потом в науке о народном хозяйстве образовались *исторические школы*, которые перестали изучать свои предметы абстрактно, вне времени и пространства, и обратились к историческому материалу, к исторической точке зрения, к историческому методу. Другим примером может служить *сравнительный метод*, который был усвоен лингвистикой³ (сравнительное языкознание, сравнительная грамматика), наукою о мифах (сравнительная мифология), изучением литературы, права, государственных учреждений, самую социологией. Каждая наука сама должна разрабатывать применение в ней сравнительного метода, но и общая методология гуманитарных наук не может обойти его своим вниманием.

55. У гуманитарных наук сравнительно с естественными есть свои более или менее общие им методологические особенности, которые и могут быть предметом общего рассмотрения, как это и делается в настоящей книге. Есть, конечно, и общие логические предпосылки всех методологий, в свою очередь требующие быть рассмотренными вместе и⁴ в связи с дальнейшими деталями. Не повторяя целиком обычного руководства по логике, мы тем не менее напомним здесь главнейшие ее принципы, на которые опираются научные методы. Так, мы воспользовались уже кое-чем из учения о понятиях, их определениях и разделениях, о суждениях и их разделении по количеству для тех или других методологических соображений.

56. Если мы остановились на видоизменениях суждений по количеству и оставили в стороне видоизменения их по относительности, качеству и модальности, то по отсутствию прямой связи последних с методологическими проблемами. Важ-

1. В рукописи это параграф под номером 56.

2. Здесь и далее выделенные курсивом слова в рукописи подчеркнуты.

3. В рукописи: исправлено с: «языкознанием». НИОР РГБ. Ф. 119. К. 39. Д. 3. Л. 2.

4. В рукописи союз «и» отсутствует. — Там же.

нее учение о разделении суждений на *аналитические* и *синтетические* по содержащемуся в них материалу. Известно, что первое название Кант дал таким суждениям, где сказуемым служит понятие, все содержание которого образует большую или меньшую часть содержания последнего, а второе присвоил суждениям, в которых сказуемое еще не находится все целиком в составе подлежащего, как часть его содержания. В аналитических суждениях сказуемое может быть найдено посредством простого расчленения или *анализа* содержания подлежащего, когда мы, например, говорим, что все тела протяженны, т. е. исходим из мысли о протяженности всякого тела, как его существенного признака. Наоборот, сказуемое синтетических суждений не может быть найдено одним простым расчленением содержания подлежащего, как это можно видеть в суждении: «все тела тяжелы», поскольку в понятии тела мыслится лишь нечто, своим протяжением наполняющее часть пространства, но безотносительно к тому, имеет ли это какую-либо тяжесть (пример самого Канта). Если процессу расчленения, разложения, разбора соответствует термин *анализ* (развязывание⁵), то термин *синтез* обозначает нечто противоположное, а именно: связывание, соединение.

57. Известно, что познавательное значение этих двух видов суждений по их составу не одинаково. Чтобы удостовериться в истинности аналитического суждения, совершенно достаточно подвергнуть анализу его подлежащее, и раз мы увидим, что в содержание подлежащего входит или в нем подразумевается, и в обоих случаях сполна, содержание сказуемого, истина его тем самым удостоверена. Такой связи между подлежащим и сказуемым в синтетическом суждении нет, так что сколько бы мы ни анализировали подлежащее, ничего из этого занятия не выйдет. Для удостоверения в истинности такого суждения необходимо с пониманием подлежащего связать или соединить еще нечто такое, что принудило бы нас согласиться с данным суждением. Познавательное значение аналитических суждений заключается лишь в *разъяснении* знания, *расширение* же знания совершается лишь синтетическими суждениями, если только они чем-либо оправданны. Все суждения о существовании синтетичны, а для науки очень важно, прежде всего, констатирование действительной данности мыслимых в том или другом понятии предметов, не говоря уже о том, что только синтетические суждения сообщают нам нечто новое, чего не содержится в понятии подлежащего, в самом его определении.

58. Прогресс знания заключается в лучшем разъяснении старых понятий и возникновении новых, равно как в оправдании новых суждений по поводу прежних понятий. Количественно в каждой науке синтетических суждений неизмеримо больше, нежели аналитических. Весь вопрос в том, как удостовериться в истинности или, наоборот, ошибочности этих⁶ суждений, иначе говоря, как оправдывать их или опровергать, что имеет важное методологическое значение. И то, и другое,

5. Слово «развязывание» в рукописи приписано в верхнем поле. — Там же. Л. 4.

6. Слово «этих» в рукописи приписано на полях. — Там же. Л. 5–6.

т. е. оправдание и опровержение синтетических суждений происходит при содействии известных логических приемов или методов.

59. Логика сводит основные приемы оправдания синтетических суждений к двум, из которых один состоит в простом *констатировании* данных опыта в их чистом виде, а другой называется *доказательством*, сущность которого состоит⁷ в оправдании посредством умозаключения. Все синтетические⁸ суждения, оправданные простым констатированием данных опыта, образуют так называемое *непосредственное* знание; знание же, оправданное какими-либо доказательствами, называется *опосредованным*. Первое может заключаться только в единичных и частных суждениях, отнюдь не в общих, которые могут оправдываться только доказательствами, пригодными, кроме того, и для оправдания суждений единичных и частных.

60. Сами доказательства состоят из одного или нескольких умозаключений, из которых каждое может служить и для оправдания истинности суждения только в тех случаях, когда, во-первых, его посылками (исходными суждениями) являются, конечно, истинные же суждения, а во-вторых, само умозаключение составлено совершенно правильно. В каждом доказательстве необходимы три части: 1) доказываемое суждение или *тезис* (положение), 2) признанные за истинные⁹ суждения, служащие основаниями, или *посылками*, посредством которых тезис доказываемся, и 3) рассуждение или *вывод* (демонстрация), вытекающий из оснований. Но вместе с тем в доказательствах следует различать два вида: доказательства или *бывают или не бывают соединены с констатированием* данных опыта, в соответствии с чем знание бывает или эмпирическим (опытным), или рациональным (умозрительным), как об этом уже было сказано выше (§ 42).

61. Впрочем, деление доказательств на соединенные и несоединенные с констатированием данных опыта имеет более вспомогательное значение в качестве средства обозрения всех наиболее важных видоизменений доказательств, более же значения имеет в логике деление доказательств на *индуктивные* и *дедуктивные*, иначе на индукцию и дедукцию (наведение и выведение), из которых первая всегда служит *обобщающим* доказательством, а второе может быть безразлично и обобщающим, и не обобщающим доказательством, а кроме того обобщающее доказательство первой основывается на идее единообразия явлений действительности, а во второй обобщения доказываются без ссылок на эту идею, как это будет показано дальше.

62. Сообразно с различием индукции и дедукции, как методов, и сами науки принято разделять на индуктивные и дедуктивные, а иногда можно в одной и той же науке различать индуктивные и дедуктивные части (напр., в физике). Было бы, однако, ошибочно думать, что это разделение представляет собою то же самое, что и разделение наук на эмпирические и рациональные, хотя бы и оказалось, что

7. В рукописи исправлено с: «заключается». — Там же. Л. 5.

8. В рукописи слово «синтетические» — вставка на полях. — Там же.

9. В рукописи «признанные за истинные» — приписка на полях. — Там же. Л. 7.

каждая эмпирическая наука индуктивна, а каждая рациональная дедуктивна. Во-первых, всякое непосредственно знание, оправдываемое констатированием данных опыта, тем самым эмпирично, но не может не считаться ни индуктивным, ни дедуктивным, поскольку зависит от данных опыта без каких бы то ни было умозаключений и состоящих из них доказательств. Во-вторых, раз дедукция может быть соединена с установлением данных опыта, дедуктивная наука бывает одновременно и эмпирической; и наоборот, эмпирическая — дедуктивной, т. е. взаимные отношения рационализма и дедукции, и особенно эмпиризма и индукции не так просты, как это может казаться с первого взгляда.

63. Впрочем, взаимоотношения индукции и дедукции и понимаются не во всех логических трактатах одинаково, что необходимо принимать в расчет в методологических исследованиях. Главное отличие других взглядов от принимаемого нами заключается в определении индукции, как всякого обобщающего доказательства независимо от единообразия природы (§ 61). Разница между индукцией и дедукцией понимается широко: 1) индукция идет от частного к общему, дедукция — от общего к частному; 2) индукция идет от частного к общему, дедукция — или от общего к частному, или от частного же к частному же; 3) кроме индукции, идущей от частного к общему, и дедукции, идущей от общего к частному, есть еще *традукция*, идущая от частного тоже к частному¹⁰.

64. Присущим всем этим мнениям принципом является обобщающий характер индукции либо в обязательной связи с принципом единообразия, царящего в мире явлений, либо независимо от этого принципа. При указанном¹¹ ограничении индукции приходится принять обобщение без данного принципа за вид дедукции, тогда как при расширенном понимании индукции, дедукция всегда мыслится, как нечто противоположное индукции, как необобщающий метод доказательств с двояким толкованием перехода либо только от общего к частному, либо и от частного к частному, для какового случая устанавливается еще категория *традукции*. По моему мнению, индукцию нужно понимать с указанным ограничением, в пользу чего соображения будут приведены ниже; что же касается до дедукции, то характерною ее особенностью является доказывание единичных и частных суждений посредством суждений общих.

65. Доселе [мы говорили] о методах оправдания синтетических суждений. Теперь же скажем несколько слов о методах их опровержения, в общем сходящихся с первыми, но в одном отношении представляющих некоторую особенность. Она заключается в противопоставлении одного другому двух *противоположных суждений*, несовместимость которых видна сама собою, т. е. без каких бы то ни было умозаключений и доказательств, на них основанных: согласие с одним из них исключает возможность согласия с другим. Суждение может считаться опровергнутым, раз мы в состоянии удостовериться, что или оно само, или вытекающие из него суждения противоположны какой-нибудь известной нам истине, до чего

10. В рукописи «к частному» — приписка на полях. — Там же. Л. 7.

11. В рукописи «указанном» — приписка на полях. — Там же. Л. 8.

суждение может оставаться только неоправданным, но, пока что, не опровергнутым. Опровержение бывает *прямым*, когда касается самого опровергаемого суждения, и *косвенным*, когда вместо него самого имеются в виду следствия, выведенные из него при посредстве и истинных посылок, и правильных умозаключений. Метод косвенного опровержения равносителен «доведению до нелепости» (*reductio ad absurdum*), особенно будучи известным по своему употреблению в геометрии. Чтобы, однако, два противопоставляемые одно другому суждения были действительно логически противоположными, это может быть только в тех случаях, когда при вполне одинаковом материале одно утверждает, другое отрицает, но притом оба будут или общими, или одно общим, другое частным, или оба единичными, но только не оба частными, могущими, как оказывается, быть одинаково истинными, напр., суждение: «некоторые логические ошибки прямо бросаются в глаза» и «некоторые логические ошибки в глаза прямо не бросаются».

66. Общие противоположные суждения называются *противными*, контрарными, а противоположные суждения, из коих одно общее, а другое частное, — *противоречивыми*, контрадикторными. Противность и противоречивость следует различать, потому что в первом случае суждения могут быть одинаково ложными, как, например, когда мы сказали бы: «все тела легче воды» и «нет тел, которые были бы легче воды», тогда как противоречивые суждения не могут быть одновременно ложными: суждение, что «все тела легче воды», ложно, но это не мешает быть истинным суждению, что «некоторые тела легче¹² воды», как, напр[имер], ложно утверждение, что все доказательства нуждаются в данных опыта, при истинности того, что некоторые доказательства в них не нуждаются¹³. Указанная особенность противоречивых суждений лежит в основе особого вида не прямых или *анагогических* доказательств, состоящих в доказывании какого-либо суждения путем опровержения другого, находящегося с ним в противоречии. (В математике их называют «доказательствами от противного».)¹⁴

67. Чисто-рациональные науки не нуждаются для своих доказательств в данных опыта: в них всякое доказательство состоит из одних только умозаключений. Образцом чисто-рациональной науки является, конечно, математика. Особенность всех таких наук — та, что в них (как, впрочем, и в рациональных частях наук эмпирических) непременно существует известная совокупность суждений, при прямом или косвенном посредстве которых доказываются решительно все положения каждой из таких наук без малейшего исключения. Такие суждения составляют высшие основания рациональных наук, иначе называемые и первыми, прежде всего сообщаемые¹⁵, и последними, дальше которых идти некуда, а к их числу

12. Исправлено с: «тяжелее в». — Там же. Л. 9.

13. В рукописи фраза «напр[имер], ложно утверждение, что все доказательства нуждаются в данных опыта, при истинности того, что некоторые доказательства в них не нуждаются» — приписка на полях. — Там же.

14. В рукописи фраза «В математике их называют „доказательствами от противного“» — приписка на полях. — Там же. Л. 10.

15. В рукописи фраза «прежде всего сообщаемые» — приписка на полях. — Там же.

принадлежат, например, геометрические определения (суждения аналитические), и так называемые аксиомы (суждения синтетические), или истины самоочевидные. Часть логики и методология чисто-рациональных наук отличаются большой разработанностью, но для методологии гуманитарных наук эта часть логики имеет наименьшее значение, потому что эти науки — эмпиричны по самой своей природе, и последовательная¹⁶ рационализация такого знания возможна, главным образом, лишь при метафизическом подходе, например, к праву или, в нормативном отношении, к нравственности, в противоположном же смысле попыткой создания рациональной общественной науки была политическая экономия в так называемой классической школе (Адам Смит, Мальтус, Риккардо).

68. Для методологии гуманитарных наук важно только иметь в виду возможность неправильностей в доказательствах чисто-рационального характера, или логических ошибок, называемых чаще *софизмами*, реже *паралогизмами* (с оттенком обвинения в умышленности при употреблении первого термина). Ошибки могут заключаться или в доказываемом тезисе, или в основаниях доказательства, или в самом ходе рассуждения (ср. §). Логика очень подробно разработала вопрос о неправильных доказательствах, с чем должна считаться всякая методология, раз употребляемые наукою методы должны быть безукоризненными в логическом отношении. Это тем более важно, что неумышленные паралогизмы встречаются очень часто, и, быть может, особенно в пылу спора, когда труднее всего следить за правильностью собственной аргументации.

69. Ошибки в доказываемом тезисе сводятся к подмене его другим, близким к нему, но не тождественным с ним, что носит специфическое название игнорирования или подмены доказательства (*ignoratio sive mutatione elenchi*). Ошибки подобного рода очень часты в гуманитарных науках, когда, например, на указание, что следует поступать так-то, возражают ссылкой на то, что так, однако, не поступают, т. е. против тезиса¹⁷ о должном выставляют суждение об обычном. Частный вид такой ошибки представляет собою подмена тезиса другим, могущим подействовать на чувства того, к кому обращаются со своим доказательством: это — так называемый «довод для данного человека» (*argumentum ad hominem*) или для какой-либо группы людей (*argumentum ad populum*), имеющей особые интересы, пристрастия, предрассудки. В гуманитарных науках такие подмены (непреднамеренные и преднамеренные) бывают очень нередко.

70. Ошибки в основаниях доказательства могут состоять в пользовании или основанием, ложность которого нам известна, либо может быть немедленно обнаружена, или таким, которое еще не доказано и само собою не очевидно, или же и таким, что само-то оно доказывается на основании доказываемого же тезиса. Для обозначения таких ошибок существуют в логике свои особые термины, каковы, не перечисляя всех, в случаях первого рода — ложная предпосылка или первичная ложь (греч. *prôton pseudos*), основное заблуждение (*error fundamentalis*),

16. В рукописи слово «последовательная» — приписка на полях. — Там же. Л. 11.

17. В рукописи исправлено с: «положения». — Там же. Л. 12.

в случаях второго рода — требование основания (*petition principii*), т. е. доказательства истинности самого основания, в случаях третьего рода — порочный круг (*circulus vitiosus*), круг в оправдании или в доказывании (*circulus in probando sive in demonstrando*).

71. Наконец, *ошибки в рассуждении* называются ошибкой произвольного или неправильного вывода, а также ошибкой мнимой необходимости (*fallacia fictae necessitates*), когда доказываемый тезис никоим образом не выводим из приводимых оснований, либо выводится из них посредством неправильного умозаключения. Здесь или происходит произвольное присоединение вывода к основаниям, или умозаключение делается совершенно неправильным образом. В учении об умозаключениях логика обращает особое внимание на ошибки этой частной категории.

72. Выяснение условий¹⁸, соблюдение которых приводит к правильным умозаключениям, где наблюдается действительно логическая связь между выводами и посылками, имеет в логике очень важное значение, и самое это выяснение делается в целях предупреждения относительно могущих¹⁹ происходить в умозаключении ошибок. Дело в том, что если в одних случаях человек не может мыслить неправильно, т. е. нарушать логические законы мышления, то в других, наоборот, может такие законы нарушать, что дает основание для деления этих законов на естественные, подобные законам природы, и на нормативные, аналогичные с постулатами (требованиями) этики, очень далеко людьми несоблюдаемые, чтобы не сказать больше. Первые из этих законов, как естественные, действуют в нашем мышлении с безусловною принудительною силою (для хорошо²⁰ знающих укажу на законы тождества, исключенного третьего и отчасти, именно для представлений, так называемый закон противоречия), тогда как другие такую силу не обладают и являются только нормами, которые люди, как и всякие нормы, не имеющие значения естественных законов, более или менее часто нарушают.

73. Одним нормативным логическим²¹ законом мышления является закон *достаточного основания*, гласящий, что в правильном мышлении, кроме аналитических, логически необходимых суждений и суждений синтетических, найденных опытным путем, считаются также истинными могут только такие еще суждения, для которых уже имеются основания, достаточные для того, чтобы принудить нас с ними, этими суждениями, соглашаться, т. е. делать согласие с ними логически необходимым, как принято выражаться. Другой закон, наполовину (для представлений) естественный, наполовину (для мышления) нормативный, носит название *закона противоречия* (*lex contadictionis*²²), сущность которого заключается в признании невозможности и недопустимости в правильном мышлении, чтобы

18. В рукописи исправлено с: «установление правил». — Там же. Л. 13.

19. В рукописи исправлено с: «могущих при этом происходить». — Там же.

20. В рукописи слово «хорошо» — приписка на полях. — Там же. Л. 14.

21. В рукописи слово «логическим» — приписка на полях. — Там же.

22. В рукописи лат. название — вставка на полях. — Там же. Л. 15.

что-либо имело и в то же время, будучи рассматриваемо в том ее отношении, не имело того же самого признака. Обычно этот закон, как известно, продолжает называться законом противоречия, хотя уже давно было указано, что его следовало бы называть законом непротиворечия или непозволительности противоречия. Мышлению бывает доступно то, что является недоступным для представления. Мы от природы неспособны представить или вообразить что-либо в одно и то же время существующим и несуществующим, большим и небольшим²³, правильным и неправильным, но мыслить противоречие мы способны, ибо в противном случае никакими наглядными способами мы были бы не в состоянии разъяснить, что же такое противоречие. Поэтому мышление само по себе не подчинено закону, под властью которого находятся наши представления: в этой своей части закон противоречия нормативный.

74²⁴. Если мы соблюдаем естественные логические законы мышления не только²⁵ без нашего ведома, но и без каких бы то ни было усилий или стараний с нашей стороны, то соблюдение нормативных законов требует нашего внимания к собственному мышлению, потому что в этих случаях довольно²⁶ естественны ошибки, так сказать, психологического происхождения, раз наше мышление вообще совершается не по одним логическим законам. Умственные процессы, которые мы называем умозакключениями, как раз имеют ближайшее отношение к законам достаточного основания и противоречия. Ошибочные умозакключения возможны одинаково и в рациональных, и в эмпирических науках и при пользовании как дедукцией, так и индукцией.

75. Умозакключения, всегда выражаемые словесно при помощи винословных²⁷ союзов (ибо, так как, потому что, так что и т.п.) могут быть или действительными умозакключениями (или *истинными*) с выводами, заключающими в себе нечто новое по сравнению с посылками, или умозакключениями, только *кажущимися*, только повторяющими вполне или отчасти²⁸ содержание посылок. В кажущихся умозакключениях мы имеем или только словесные преобразования суждений, или повторения под видом вывода части содержания посылки, либо просто суммирование суждений, или превращения нескольких простых единичных в одно общее (случай полной индукции, о чем см. ниже), хотя бы эти кажущиеся умозакключения и были иногда не без пользы, когда, например, словесное преобразование делает суждение более ясным или ярким, или создается новая, обобщающая формула, хотя бы и без нового содержания.

76. К умозакключениям, ошибочно принимаемым за годные для *доказывания*, относятся такие, которые, будучи сами по себе истинными, только могут приводить нас к более или менее важным в научном отношении *догадкам*, но не более

23. В рукописи исправлено с: «маленьким». — Там же.

24. В рукописи объединены параграфы 74 и 75 в 1. — Там же. Л. 15-16.

25. В рукописи слова «не только» — вставка на полях. — Там же. Л. 15.

26. В рукописи слово «довольно» — вставка на полях. — Там же. Л. 16.

27. В рукописи слово «винословных» — вставка на полях. — Там же.

28. В рукописи фраза «вполне или отчасти» — вставка на полях. — Там же.

того. Здесь имеются в виду, во-первых, *неполная индукция*, во-вторых, аналогия. Индукция, собственно говоря, значит *наведение*, в смысле распространения чего-то на что-то или обобщения. В индукции различают три вида: полную или совершенную, неполную или несовершенную (у некоторых популярную, так сказать, «обывательскую») и научную. Оставляя последнюю пока в стороне, отметим, что полную индукцией называется такое обобщение, когда²⁹ мы, вместо того, чтобы перечислять до конца единичные суждения такого рода, как «Меркурий вращается вокруг Солнца с запада на восток, Венера вращается вокруг Солнца с запада на восток, Земля вращается» и т. д. и т. д., суммируем их в одно общее суждение о вращении всех планет вокруг Солнца; здесь мы получаем только кажущееся умозаключение, ибо предполагаемый вывод не дает нам ничего нового сравнительно с посылками.

77. Неполная индукция отличается от полной тем, что посылками в ней служат указания на нечто верное относительно лишь *нескольких, а не всех* (как в полной) случаев или примеров, перечисляемых в посылках, как подходящих под одно общее понятие, с распространением этого же самого, как верного, на весь объем общего понятия. В выводе при неполной индукции получается уже нечто новое, больше того, что содержится в посылках, и следовательно мы здесь имеем дело не с простым суммированием, а с настоящим умозаключением. Неполную индукцию называют еще индукцией через простое перечисление, в котором не встречается противоречащего обстоятельства (*induction per enumerationem simplicem, ubi non reperitur instantia contradictoria*). Все дело здесь в том, чтобы иметь несколько однородных случаев, не хлопоча ни о том, чтобы их было как можно больше, ни о том, чтобы выбор³⁰ их был произведен в каком-нибудь порядке, под одним лишь условием, чтобы они соответствовали выводу, а не стояли с ним в противоречии. Но именно простота такого перечисления и является препятствием для признания неполной индукции видом доказательства, хотя не исключает несколько возможности для нее быть способом создавать догадки. Мы еще увидим, что требуется от индукции, дабы она была действительно доказательством. Гуманитарные науки часто пользуются неполной индукцией, но когда при этом смотрят на нее, как на настоящее индуктивное доказательство, впадают в ошибку. (Пример неполной индукции: «золото, серебро, медь, железо — хорошие проводники электричества, а это все металлы, следовательно, металлы — хорошие проводники электричества».)³¹

78. Такую же ошибку допускают и те, которые готовы принимать за доказательства и *умозаключения по аналогии* — прием, очень часто практикуемый в гуманитарных науках. Аналогия (уподобление) состоит вот в чем: если в двух предметах

29. В рукописи густо зачеркнуто несколько слов текста. — Там же. Л. 17.

30. В рукописи исправлено с: «подбор». — Там же. Л. 18.

31. В рукописи фраза «Пример неполной индукции: „золото, серебро, медь, железо — хорошие проводники электричества, а это все металлы, следовательно, металлы — хорошие проводники электричества“» — приписка на полях. — Там же.

или классах предметов обнаруживается некоторое сходство или сходства в одном отношении, то мы ожидаем, что и еще какое-либо³² свойство в одном предмете, но в другом нами пока незамеченное, также в нем будет найдено. Притом, чем больше сходства представляют для нас между собою оба объекта наблюдения, тем сильнее в нас уверенность, что и в дальнейшем будет открываться то же самое. Умозаклучения по аналогии направляют мысль ученых на такие стороны предметов, исследование которых обещает дать важные результаты, ведут к новым догадкам, ложатся в основу целых теорий — каковою, например, была органическая социология, стремившаяся понять общество по аналогии с организмом, но доказательствами истинности каких-либо суждений отнюдь служить не могут.

79. В дальнейшем изложении логических предпосылок методологии мы остановимся на учениях, во-первых, о *силлогизмах*, имеющих громадное дедуктивное значение, на *гипотезах*, как предварительных ступенях знания³³, и на третьем виде индукции, называемом *научной индукцией*. Мы не будем здесь касаться *гносеологической* природы силлогизмов, т. е. их отношения к логическим законам мышления, объяснения и оправдания их последним, потому что на первом плане у нас должно стоять их *методологическое* значение, как истинных³⁴ умозаклучений, пригодных для доказывания научных истин. Такие умозаклучения могут быть непосредственными, когда для согласия с выводом достаточно одной только посылки, и опосредованными, требующими не менее пары посылок, взятых вместе, дабы принудить к согласию с выводом. Первые не расширяют нашего знания, а только могут его преобразовать, делая его словесное³⁵ выражение иногда более пригодным для дальнейших умственных операций (подобно кажущимся умозаклучениям), тогда как вторые, именно и называемые силлогизмами, наоборот, особенно содействуют расширению знания.

80. Ввиду этого последнего обстоятельства в логике особенно разработана теория силлогизмов, как самой важной части всякого доказательства и даже необходимого условия самого научного знания. Силлогизм может, как известно, быть определен в смысле умозаклучения, в котором, *на основании нескольких суждений* (не менее двух в простом силлогизме), *с необходимостью выводится новое суждение*, называемое заключением. Силлогизмы разделяют на простые и сложные, но, в сущности, сложные являются только соединениями простых. Напомню еще, что логика подразделяет простые силлогизмы на категорические, разделительные и условные, и что она особенно много занимается категорическими силлогизмами. Для примера того, какие правила устанавливаются для силлогизмов, остановимся на категорическом, требующем, чтобы в обеих посылках было одно общее понятие, вследствие чего в обеих посылках должно быть обязательно три понятия: два, встречающиеся по одному разу, и одно, встречающееся дважды. Понятия эти

32. В рукописи исправлено с: «другое». — Там же. Л. 19.

33. В рукописи слова «как на предварительных ступенях знания» приписка на полях. — Там же.

34. В рукописи слово «истинных» — приписка на полях. — Там же.

35. В рукописи исправлено с: «формульное». — Там же. Л. 20.

суть подлежащие и сказуемые обеих посылок, которых было бы четыре, если бы что-либо из них не должно было быть общим и здесь, и там. Понятия эти называются терминами силлогизма, из которых общий, который носит название среднего, схематически обозначают буквою М (*medius*, средний), тогда как сказуемое Р (т. е. *praedicatum*) называется *большим* термином силлогизма, а подлежащее S (т. е. *subjectum*) — *меньшим*, в зависимости от чего посылка, содержащая больший термин, называется сама большею, а та, в которой находится меньший — тоже меньшею. Схема силлогизма такова: S есть М, а всякое М есть Р, следовательно S есть Р. Например, Кай человек, а все люди (человеки) смертны, следовательно, Кай смертен. В данном примере большею посылкою нужно признать вторую, обыкновенно же принято большую ставить впереди.

81. Напомню еще, что от мест, занимаемых средним термином в обеих посылках, получаются разные так называемые *фигуры* категорического силлогизма с подразделением каждой на *модусы*³⁶ в зависимости от утвердительности или отрицательности суждений посылок или от общего или частного содержания; это доводит арифметическую³⁷ возможность модусов в возможных четырех фигурах до 64, а с единичными даже до 144, хотя на деле из 64 правильных модусов признается только 19. Все это представляет более схоластический, нежели научный интерес, так что в методологическом отношении может быть признано важным далеко не все, что в логиках говорится о силлогизмах. Мы можем здесь ограничиться напоминанием о двух правилах и соответствующих ошибках. Прегрешением против требования о том, чтобы в силлогизме было только три термина, является так называемое учетверение терминов (по латыни *quaternion terminorum*), заключающееся в употреблении одного и того же выражения не в одном и том же значении в разных частях силлогизма, т. е. или в обеих посылках, или в одной из них и в выводе. Этот вид ошибочных силлогизмов не настолько редок, чтобы о нем не упоминать³⁸.

82. Другое нарушаемое иногда общее правило, даже, так сказать, разветвляющееся на два частных правила, касается так называемой *распределенности понятий* в суждении. Под понятием, распределенным в данном суждении, следует разуметь понятие, которое входит в состав суждения таким образом, что последнее вне всякого сомнения должно быть отнесено ко всему объему данного понятия. Если же понятие будет входить в состав суждения так, что последнее будет относиться только к части объема этого понятия, то оно явится уже не распределенным в данном суждении. Так вот, во-первых, средний термин должен быть распределен хотя бы в той или другой посылке, т. е. по крайней мере в одной из них относиться ко всему объему понятия: если он не охватывает³⁹ всего объема ни в большей, ни в меньшей посылке, а мыслится лишь в некоторой части объ-

36. Далее зачеркнуты 2 слова. — Там же. Л. 21.

37. В рукописи слово «арифметическую» — приписка на полях. — Там же.

38. В рукописи последнее предложение — приписка на полях. — Там же. Л. 22.

39. В рукописи исправлено с «оказывается». — Там же.

ема, то будет неизвестно, что же это за часть, и одни ли же и те же части среднего термина мыслятся в обеих посылках, и вывода никакого будет сделать нельзя, как, например, из посылок: «золото — металл, серебро — металл». Во-вторых, из двух⁴⁰ других терминов силлогизма не может получиться вывода в значении всего объема, если он не имел такого значения в соответственной посылке, т. е. больший в большей, меньший в меньшей, потому что иначе мы говорили бы в выводе о тех⁴¹ частях объема того или другого термина, о коих не было упомянуто в посылках. Вот примеры ошибок против обоих правил о распределенности терминов. Именно средний термин остается нераспределенным в силлогизме: «южане носят легкую одежду, носят легкую одежду неаполитанцы, следовательно, неаполитанцы — южане», и силлогизм получается ошибочный. Ошибочен и такой силлогизм, в котором больший термин в соответственной посылке нераспределен, но в выводе которого является, наоборот, распределенным: «студенты обязаны учиться, но школьники не студенты, следовательно, они не должны учиться».

83. Силлогизмы разделительные и условные выражаются формулами 1) *А* есть или *В*, или *С*; но *А* не есть *В*; следовательно *А* есть *С*, и 2) если *А* есть *В*, то *С* есть *Д*; но *А* есть *В*; следовательно, и *С* есть *Д*, причем в обоих случаях только одна из посылок должна быть разделительной или условной, а другая в первом случае может быть и категорической, и тоже разделительной и условной, а во втором — только категорической или условной, отнюдь не разделительной, откуда получаются силлогизмы чисто-разделительные, разделительно-категорические, условно-разделительные, чисто-условные и условно-категорические, причем названия посылок большею и меньшею отпадают и заменяются соответственными их форме, т. е. они называются условными, разделительными, категорическими. Не входя в подробности, ограничимся только примерами могущих быть здесь неправильностей⁴². «Книги ценятся или из-за полезности содержания, или из-за изящества стиля; эта книга ценится из-за изящества стиля; значит, она не ценится из-за полезности содержания»; такой силлогизм неправилен, ибо «или» здесь берется в соединительно-разделительном смысле, поскольку книга одновременно может быть и тем, и другим, но если бы мы взяли второю посылкою суждение: «эта книга ценится не из-за изящества стиля», то получили бы правильный вывод: «значит, она ценится из-за полезности содержания». В первом случае произошло смещение *соединительно-разделительного* смысла (или, или=и, и) с *чисто-разделительным*.

84. Одинаково при обоих смыслах союза «или» ошибка может произойти от *неполноты деления*, т. е. *перечисления* в разделительной⁴³ [посылке] всех возможных сказуемых, из которых хотя бы одно должно быть отнесено к подлежащему. На деле *А* может быть или *Х*, или *У*, или *З*, но если мы разделительную посылку выра-

40. Слово «двух» в рукописи — приписка на полях. — Там же.

41. В рукописи слово «тех» — приписка на полях. — Там же. Л. 23.

42. В тексте зачеркнуто предложение: «Людей уважают или за ум или за доброту». — Там же. Л. 23.

43. В рукописи «разделительной» — вставка на полях. — Там же. Л. 24.

зим в форме «А есть или Х, или Y», а категорическую — в форме «А не есть Х», то вывод, что «А есть Y» может оказаться ошибочным, будет на самом деле «А = Z».

85. В условно-категорических силлогизмах одной из возможных⁴⁴ ошибок бывает *заключение от согласия с следствием*, [ведущего] к необходимости согласия и с основанием. «Если данный четырехугольник есть квадрат, то его диагонали равны между собою, но данный четырехугольник не квадрат; следовательно его диагонали не равны между собою» — такое рассуждение неправильно, так как диагонали вообще⁴⁵ равны еще и у удлинненных четырехугольников, и у ромбов. Ошибочно также полагать, что *отрицание основания условной посылки* обязывает *отрицать* и ее следствие.

86. Важно, однако, иметь в виду одну оговорку, касающуюся того, что логика *судит о правильности и неправильности только формы умозаключений*, а не о верности или неверности получающихся в итоге суждений, т. е. судит о том, вытекает ли вывод из своих посылок, или же присоединяется к ним совершенно произвольно. Неправильные силлогизмы ничего не доказывают, но из этого не следует, чтобы по содержанию вывод не мог быть и верным, откуда возможность того, чтобы неправильные силлогизмы приводили к более или менее удачным догадкам. Вся сила силлогизмов в их формальной правильности.

87. Правда, Милль в своей «Системе логики» доказывал, что силлогизмы не расширяют знания, потому что, по его мнению, истинность большей посылки («все люди смертны») уже предполагает истинность вывода («Сократ смертен»), так как мы не имеем права допускать большую посылку, не допустив предварительно истинность вывода; вывод «Сократ смертен», по мнению Милля, уже подразумевается в посылке «все люди смертны», откуда и отрицательное его отношение к доказательству силлогизмов. Доказывая, например, теорему о квадратах, никто не станет справляться о существующих в действительности квадратах и о верности теоремы относительно какого-либо отдельного квадрата, а просто будет ее доказывать сразу для всех квадратов. То же делается и по отношению к смертности всех существ, подходящих под понятие человека, хотя многие еще не только⁴⁶ не умерли, но еще не родились. Вывод заключается не в одной большей посылке, но как раз в соединении их обеих, из которых ни в одной, в отдельности взятой, не подразумевается то новое суждение, каким является вывод.

88. Служа расширению знания, силлогизмы *обуславливают самое существование научного знания*. Нет знания, раз еще не доказана мысль, имеющая притязание быть знанием, но непосредственное знание, заключающееся в простом констатировании фактов (§ 59), потому и состоит только из единичных и частных⁴⁷ суждений, большую часть относящихся к прошедшему времени, ибо в форме настоящего времени можно говорить лишь о происходящем в самый момент, ког-

44. В рукописи «из возможных» — вставка на полях. — Там же.

45. В рукописи слово «вообще» — вставка на полях. — Там же.

46. В рукописи слово «только» — вставка на полях. — Там же. Л. 26.

47. В рукописи «и частных» — вставка на полях. — Там же.

да высказывается суждение. Правильно об установленном данными опыта можно говорить только, что то-то и то-то *оказывалось*, так как утверждение⁴⁸ о чем-либо, что оно *оказывается*, включает в себе нечто большее, нежели то, что установлено бывшими данными опыта, т. е. некоторое обобщение. Во всем непосредственном знании мы имеем только материал для науки, которая вся в суждениях, оправданных доказательствами; последние же состоят из правильных⁴⁹ умозаключений, расширяющих знание, каковыми и являются силлогизмы.

89⁵⁰. Само существование силлогизмов имеет свое объяснение в логических законах мышления, в которых коренится логическая необходимость или неизбежность, под каковою разумеется невозможность что-либо отрицать без появления в наших мыслях противоречия. Посылки правильного силлогизма, так сказать, принуждают нас к согласию с выводом, и в этом-то и заключается логическая необходимость. Для того же, чтобы согласие с каким-либо суждением было логически необходимым; должны быть достаточные основания (§ 73), аналогичные, но (NB) далеко, конечно, не тождественные с тем, что представляют собою причины явлений, происходящих в мире: общее в них — *принудительная необходимость*. Все правила логики имеют значение только указаний на условия нарушения логических законов мышления (не естественных, исполняющихся автоматически, а нормативных § 6). Никакая наука не должна находиться в противоречии ни с установленными или доказанными фактами, ни с законными требованиями логики.

90. От вопроса о силлогизмах переходим, как было намечено в § 80, к вопросу о гипотезах. Совокупность фактов, установленных данными опыта, составляет только материал для науки, ставящей своею задачею *объяснить* происходящие в мире явления и даже на основании добытых объяснений их *предсказывать* и давать людям некоторую, хотя бы и ограниченную, возможность *распоряжаться* ими. Ни то, ни другое, ни третье невозможно без знания *причин*, производящих явления действительности, и законов, управляющих их необходимою связью, а само объяснение не может обходиться без тех же самых доказательств, которые употребляются в чисто-рациональных науках, за исключением только одного нового элемента, присущего одним наукам эмпирическим.

91. Этот новый элемент — *гипотезы*, пользующиеся в своих объяснениях⁵¹ *доказательствами, которые сами нуждаются еще быть доказанными*. Самое слово (греч. hypothesis) значит «предположение» и может быть заменено русским словом «догадка». Догадками одинаково могут быть и единичные и частные, и общие суждения, которые в отличие от *категорических* суждений, которым в логике (в порядке относительности⁵²) противопоставляются суждения условные и разде-

48. В рукописи исправлено с: «сказать о чем-либо». — Там же.

49. В рукописи слово «правильных» — приписка на полях. — Там же.

50. В рукописи этот и следующий параграфы ошибочно именованы одним номером 90. С этого момента нумерация параграфов в рукописи и машинописи совпадает. — Там же. Л. 27.

51. В рукописи слово «объяснениях» — приписка на полях. — Там же. Л. 28.

52. В рукописи слова «в порядке относительности» — приписка на полях. — Там же.

лительные, могли бы быть названы *гипотетическими*, если бы логика не имела еще суждений, в порядке модальности, *проблематические*, *аподиктические* и *ассерторические*: последние две категории имеют в виду *необходимость* чего-либо и *действительность* чего-либо, тогда как проблематические говорят лишь о возможности. Ассерторичность более соответствует знанию идиографическому, т. е. конкретных⁵³ явлений, аподиктичность — знанию номологическому, т. е. законов; но проблематичность может распространяться и на идиографическое знание, и на знание номологическое, так как⁵⁴ догадкой может быть либо какое-нибудь единичное или частное суждение о чем-нибудь, могущем оказаться действительным, либо какое-нибудь суждение общее, могущее превратиться в аподиктическое суждение. Нужно поэтому различать догадки идиографические, столь частые, например, в истории, и догадки номологические, без которых не обходится, между прочим, и социология. Раз существует разница между понятиями, нужно и терминологическое различение.

91. В трактатах логики под гипотезами понимаются, главным образом, догадки общего содержания, за которыми и следует сохранить преимущественно название гипотез. В таком случае, для тех предположений, столь частых в исторической науке, которые имеют в виду события и т. п., и аналогичных с ними, можно было бы пользоваться уже вошедшим в употребление термином *дивинация*, т. е. *угадывание*, хотя, вероятно, трудно было бы воздерживаться от распространительного понимания гипотез и от соответственного ему словоупотребления.

92. В трактатах логики дается обыкновенно много места вопросу о гипотезах и совсем не говорится о дивинациях по общему характеру логических исследований, направляющему их в сторону общего, а не частного и единичного знания, а между тем дивинации играют большую роль в гуманитарных науках, особенно в исторических их частях, и потому должны были бы занять и видное место в методологии этих наук, чего до сих пор почти не было. Сюда относятся, например, случаи анализа известных последующих событий для заключения от них к предыдущим событиям, фактически⁵⁵ мало или плохо известным, или совсем неизвестным. Благодаря большей конкретности дивинаций в сравнении с большей абстрактностью гипотез, первые только и могут разрабатываться лишь в специальных методологиях. Дивинации, однако, должны основываться на каких-нибудь доказанных теориях или, по крайней мере, на более вероятных гипотезах.

93. Выше уже было сказано, что строго-научное знание есть *достоверное* знание (ассерторические и аподиктическое⁵⁶), гипотетическое же знание есть знание проблематическое, *вероятное*. Но в науке именно рядом с добытыми истинами существуют проблемы, задачи, первым приступом к которым и являются догадки в форме предположений (гипотез) и угадываний (дивинаций). Многие пробле-

53. В рукописи исправлено с: «отдельных». — Там же.

54. В рукописи зачеркнуты слова «заклучают в себе». — Там же. Л. 29.

55. В рукописи слово «фактически» — приписка на полях. — Там же. Л. 30.

56. В рукописи текст в (...) — вставка на полях. — Там же.

мы науки так и остаются проблемами, причем одни догадки сменяются другими, менее научные более научными, стремясь все более приближаться к доказанным теориям. Избежать их нельзя хотя бы в качестве предварительных ступеней настоящего знания и вспомогательных средств эвристического и дидактического, или мнемонического⁵⁷ значения, т. е. в первом отношении — как способа нахождения новых путей к знанию, во втором — способа более легкого усвоения и запоминания содержания⁵⁸ науки учащимися. Догадки первой категории, как могущие сделаться подлинным знанием, заслуживают название реальных, а имеющие лишь вспомогательное значение принято называть *рабочими*, причем эти термины уже давно приняты в логике, хотя одна и та же гипотеза может быть одновременно и реальной, и рабочей, а иногда рабочая гипотеза так и остается рабочей, особенно когда гипотеза заранее считается не соответствующей действительности, как полезная только фикция, т. е. откровенная выдумка.

94. В более тесном смысле гипотезой называется предположение о существовании недоступной прямому наблюдению, т. е. скрытой для нас при данном состоянии положительного знания, остающейся, следовательно, неизвестной причины, предположение, подтверждающееся лишь возможностью при его помощи нечто объяснить в действительности, в качестве необходимого следствия предполагаемой нами причины. В сущности, к числу догадок относятся, с точки зрения философского критицизма и позитивизма, и все ответы⁵⁹ на метафизические вопросы о начале всех начал, о сущности вещей, о материи и духе и т. п., т. е. о трансцендентных объектах, никогда не могущих сделаться наблюдаемыми в опыте. Нужно строго различать гипотезы и факты, к числу которых относятся не только явления действительности, но и доказанные законы ее явлений, не говоря уже о совокупности явлений, образующих всю действительность.

95. Превращение догадок в положительное знание мыслимо⁶⁰ тройким образом: 1) простым *установлением данных опыта*, 2) так называемым *апагогическим доказательством* и 3) *прямым доказательством*. Первым путем было совершено открытие в нашей Солнечной системе последней известной планеты⁶¹, Нептуна, существование которой было предположено для объяснения некоторых странностей в движении Урана, пока новая для нас планета не была усмотрена в телескоп и как раз там, где она предполагалась. В гуманитарных науках, сплошь и рядом, например, археологические находки подтверждают (или, наоборот, опровергают) разные высказывавшиеся учеными догадки. Дешифрование египетских иероглифов и вавило-ассирийской клинописи относятся к числу случаев подтверждения фактами сделанных предположений. Здесь мы имеем дело не с гипотезами, а с дивинациями, если держаться терминологии, предложенной в § 91.

57. В рукописи слово «мнемонического» — приписка на полях. — Там же. Л. 31.

58. В рукописи слова «и запоминания содержания» — приписка на полях. — Там же.

59. В рукописи исправлено с: «метафизические теории». — Там же.

60. В рукописи исправлено с: «совершаются». — Там же. Л. 32.

61. В рукописи слова «в нашей Солнечной системе последней известной планеты» — вставка на полях. — Там же. Л. 32.

96. Апагогическое доказательство состоит в опровержении всех мыслимых догадок, направленных на объяснение фактов, кроме одного, посредством обнаружения противоречий с действительностью в следствиях, которые необходимо вытекают из всех остальных гипотез. В сущности здесь употребляется прием, известный под названием приведения к нелепости или доведения до абсурда (§ 65), тогда как тем самым оправдывается гипотеза, оставшаяся неопровергнутой, как не встречающая противоречия с действительностью. Так восторжествовала в астрономии знаменитая догадка Коперника, его гениальное открытие устройства Солнечной системы, подтверждавшееся потом и фактами. Мыслима, наконец, и возможность того, что признания гипотетического объяснения станет требовать само знание, как прямо из него вытекающего следствия.

97. Догадки могут относиться не только к причинам явлений, причины же явлений⁶² бывают допускаемы нами не на основании наблюдения только следствий, им приписываемых нами, но и прямо наблюдаемы в опыте, так что причины нам бывают даны в опыте, и задача лишь в том, чтобы доказать, что как раз данные обстоятельства, но не иное что-либо, влекут за собою интересующее нас явление, о причине которого мы пока лишь догадываемся. Одно явление считается вообще причиною другого лишь в том случае, если довольно наличности первого, дабы где бы то ни было и когда бы то ни было, безразлично, в одно ли время вместе с ним или немедленно после него, непременно наступало также и второе, т. е. раз возникает проявление X, возникает и явление⁶³ Y, причем для последнего не требуется еще наличности или появления каких-нибудь посторонних обстоятельств. Если данные опыта наводят нас на мысль, что X есть причина Y, то еще эта догадка нуждается быть доказанной в виде общего суждения: каждый раз, как возникает X, при всяких обстоятельствах возникает и Y, т. е. в виде *общего суждения о существовании причинной связи между двумя явлениями*.

98. Действие причины называется чаще *следствием*, но это не должно значить, что действие непременно следует за причиной, так как оно может быть и одновременным с ней, когда, например, железо одновременно и нагревается, и расширяется от нагревания, если только не интересоваться вопросом о том, что было причиною самого нагревания. Эта оговорка очень важна для различения по вопросу о причинности идиографической и номологической точек зрения: с последней важно *доказать*⁶⁴, что расширение железа *везде и всегда* происходит от его нагревания, с первой же может представлять интерес *узнать*, что было причиною нагревания-расширения *данного* куска железа: то ли, что он лежал на солнышке, или был положен в огонь, в духовой шкаф, в кипящую воду, или подвергся продолжительному и сильному натиранию. Единичное составное⁶⁵ суждение «этот кусок железа нагрелся-расширился, потому что кузнец положил его в сильное пла-

62. Следом в рукописи зачеркнуто несколько слов текста. — Там же. Л. 33.

63. В рукописи слово «явление» — приписка на полях. — Там же. Л. 34.

64. В рукописи исправлено с: «знать». — Там же.

65. В рукописи слово «составное» — приписка на полях. — Там же. Л. 35.

мя» не нуждается в доказывании, раз оно возникло, как непосредственное знание факта, но в следовании одних за другим *событий*, как причин и следствий, *причины всегда предшествуют следствиям*. Здесь приходится даже предупреждать, что следование во времени и причинная связь все-таки не одно и то же. ⁶⁶Post hoc, ergo propter hoc, т. е. «после этого, следовательно поэтому» — величайшая ошибка умозаключения.

99. Причина может быть простою и сложною, состоящею из нескольких причин⁶⁷, из которых каждая имеет значение только составной части причины, хотя часто и такая составная часть также называется причиной, особенно если одна она только представляет для нас интерес в данное время. Во избежание недоразумений в последующем будут раздельно употребляться выражения «причина» и «часть причины». В своем месте будет еще подробно рассмотрено, что в идиографическом знании принято вообще говорить не о причине в единственном числе, а о причинах во множественном.

100. Вернемся к возникновению у нас догадки, что явление X есть причина явления Y, и к желанию доказать истинность этого суждения (§ 97). Достаточно ли, спрашивается, привести для этого несколько случайно пришедших на память примеров связи между явлениями X и Y? Если бы это было так, то неполная индукция могла бы что-либо доказывать (§ 77) или даже (§ 98) признавалась нами не за ошибку мышления. Доказывать такие общие положения о причинной связи, как приведенное выше суждение⁶⁸ об отношении между X и Y, действительно приходится индуктивно, но тут требуется *особая индукция, производимая по некоторым строго установленным правилам*, такая, которая отличалась бы и от полной индукции, только суммирующей знание без малейшего его расширения (§ 76), и от индукции неполной, ничего не доказывающей своим «простым перечислением», хотя бы и без одного противоречащего обстоятельства.

101. Такой, третий вид индукции, получивший название научной, был открыт или изобретен в начале XVII века английским родоначальником эмпирического направления новой философии, Бэконом, который, собственно говоря, обнаружил (открыл), что наука прибегает к индуктивным доказательствам, отличным от полной и неполной индукции, только и бывших известными в тогдашней логике, и сделал первую попытку формулировать (изобрел) правила подмеченных им доказательств. Вот почему этот вид индукции (научной или индукции по преимуществу) называют еще *бэконовскою*, как, впрочем, называют ее и *миллевскою*, по имени английского же мыслителя⁶⁹ Джона Стюарта Милля, который через двести с лишком лет после Бэкона исследовал природу бэконовской индукции и ясно и подробно изложил ее основные виды в своей «Системе логики». Милль придал

66. В рукописи зачеркнуто «Или, как говорится...». — Там же. Л. 35.

67. В рукописи зачеркнуто: «являющихся в таком случае его частью. Но мы обычно называем ее составной». — Там же.

68. В рукописи зачеркнуто далее: «объясняет связи между». — Там же. Л. 36.

69. В рукописи слова «по имени английского мыслителя» — вставка на полях. — Там же. Л. 37.

этому учению такую форму, что другие логики только его пересказывают без критики. К Миллю нам придется еще возвращаться, тем более что в его книге есть целый отдел о логике гуманитарных наук, здесь же укажу, что миллевское учение об индуктивных методах в дальнейшем излагается с поправками, внесенными в него А. И. Введенским в «Логике, как части теории познания».

102. Во-первых, Милль неправильно считает свои методы, как *способы открывать* причинную связь, т. е. впервые *догадываться* о ней, тогда как на самом деле вопрос здесь о *способах доказывания* уже возникших догадок, т. е. сделанных открытий. Во-вторых, Милль излагает пять методов, считая их как бы вполне между собою однородными, тогда как на самом деле три из них оказываются простыми, а два — сложными, каковых, однако, может быть и больше. В-третьих, А. И. Введенский несколько видоизменил (как это уже делалось и раньше) самые названия трех простых⁷⁰ методов прибавкою к существительным «совпадение», «различие» и «изменение» прилагательного «единственный», что действительно требуется существом дела и делает терминологию более точной. Прибавим, что миллевские правила имеют в виду доказывание общих суждений с характером естественных законов, а потому неприменимы к решению вопросов идиографического содержания. В дальнейшем мы только напомним сущность дела в каждом методе.

103. *Метод единственного совпадения* (или схождения, или согласия) состоит в подборе в данных опыта таких примеров или случаев возникновения явления Y, чтобы у них было только одно общее для них всех обстоятельство, именно присутствие явления X в каждом из них. Положим, что мы имеем четыре случая возникновения явления Y, единственно совпадающих только в том, что в каждом из них есть явление X.

То есть:

Явление Y возникло при обстоятельствах XABC

--/-- Y возникло при --/-- XABD

--/-- Y возникло при --/-- XACD

--/-- Y возникло при --/-- XCDE

Ни A, ни B, ни C не могут считаться причиною или частью причины Y, ибо они встречаются не во всех четырех взятых случаях, а A в трех, B — в двух, C и D — в трех, E в одном, тогда как X есть во всех четырех: X есть причина Y.

104. *Метод единственного различения* требует подобрать (или NB: впервые создать при помощи эксперимента) наряду с каким-нибудь примером возникновения явления Y еще такой другой пример, в котором оно не возникло бы, но который был бы точь-в-точь таким же, как и первый пример, кроме лишь единственного различия: присутствия явления X в первом случае (когда явление Y возникло) и отсутствия явления X во втором (когда явления Y не оказалось):

Явление Y возникло при обстоятельствах XABC

--/-- Y не возникло при --/-- ABC

70. В рукописи слова «трех простых» — вставка на полях. — Там же.

т.е. ни А, ни В, ни С, ни соединение их не могут считаться причиной Y, но причиной или частью его⁷¹ должно быть X, т.е. или одно, или в соединении с А, либо с В, либо с С. Пример: под колпаком воздушного насоса находится электрический звонок, звучащий при нажатии кнопки, когда под колпаком есть воздух, и при таком же нажатии перестающий звучать, когда из-под колпака воздух выкачан. Присутствие воздуха — одна из причин издавания звука (другая — нажатие кнопки).

105. *Метод единственного изменения* (или перемены) требует подбора (или создания впервые экспериментом) среди данных опыта, по крайней мере, двух из таких случаев или примеров возникновения явления Y, чтобы 1) в каждом из них это явление возникло неодинаково, и чтобы 2) среди обстоятельств, при которых возникло это явление, неодинаковым или изменившимся оказывалось только явление X при полной неизменности других. Отмечая изменения разными цифрами при одних и тех же буквах, дадим этому методу такой схематический вид:

Явление Y₁ возникло при обстоятельствах X₁AB

—//— Y₂ возникло при —//— X₂AB

Здесь причиной явления Y может быть только явление X, ибо А и В оставались неизменными в обоих случаях, а Y между тем изменилось, когда то же произошло с X, которое и есть или причина, или часть причины Y. С точки зрения единственного изменения доказывается, например, причинная⁷² связь между нагреванием железа и его расширением.

106. Из двух остальных методов, рассмотренных Миллем, один он сам называет сложным (из соединения первого со вторым), а другой, в сущности, тоже сложный, он считает простым, называя его *методом остатков*. Сущность его такова: доказав, что сложное явление XAB служит причиной другого сложного явления YMN, и доказав вместе с тем, что часть АВ первого служит причиной части MN второго явления, мы вправе заключить из всего этого, что оставшая часть (остаток) первого сложного явления (X) образует причину или часть причины остальной части (остатка) второго сложного явления (Y).

107. В сущности, в науке значение имеют не указанные простые методы, а сложные, по отношению к которым эти простые методы являются только составными частями, могущими быть одинаково как однородными, так и разнородными. В громадном большинстве случаев простые индуктивные⁷³ методы в результате дают не категорические суждения о полной причине, а только разделительные, говорящие, что такое-то явление принадлежит к причине, но не выясняющие, однако, составляет ли оно полную причину или только составную часть причины. Во всяком случае, полученное одним методом должно дополняться и даже проверяться другим. Даже метод полного совпадения сам по себе не дает категорического суждения о полной причине, а только условное: X надо считать полной причиной, если следует оговариваться, [что] только не ввела нас в заблуждение

71. В рукописи слова «или частью его» — приписка на полях. — Там же. Л. 39.

72. В рукописи слово «причинная» — приписка на полях. — Там же.

73. В рукописи слово «индуктивные» — приписка на полях. — Там же. Л. 40.

множественность причин, могущих повлечь за собою одно и то же явление. Возвращаясь к схеме:

Явление Y возникло при обстоятельствах ХАВС

—//— Y возникло при —//— ХАВD

—//— Y возникло при —//— ХАСD

—//— Y возникло при —//— ХЕDЕ,

мы можем даже при существовании множественности причин предположить, что причиной Y в первых трех случаях могло быть ХА, а в четвертом одно Е, так что мыслимо даже отсутствие какой бы то ни было причинной связи (полной или частичной) между Х и Y, т. е. мыслима совершенная случайность⁷⁴ бросающегося в глаза совпадения. Во всяком разе, дело обстоит с миллевскими методами не так просто, как это может казаться при первом знакомстве с их упрощенными формулами. Ошибочные умозаключения могут быть и при пользовании ими совершенно так же, как и [при] употреблении силлогизмов.

108⁷⁵. Некоторые различают в индукции, во-первых, *индукцию объема*, во-вторых, *индукцию содержания*. Б. Эрдман, являющийся инициатором этого деления, указывал на то, что такие-то и такие-то гектогональные кристаллы, взятые в отдельности, суть кристаллы двойного приложения, и заключая отсюда, что еще кристаллы данного рода имеют означенное свойство, называет такую индукцию — индукцией объема, поскольку здесь обобщение имеет отношение ко всему тому, что входит в состав объема понятия. Если же имеются в виду *не отдельные виды одного рода, а отдельные признаки какого-либо предмета*, подвергающиеся процессу индукции, то сама индукция при этом будет уже индукцией содержания. Вот пример ее у самого Эрдмана: «Это тело имеет серебряную блестящую поверхность магнезии; это тело имеет растяжимость магнезии; это тело имеет удельный вес магнезии; это тело при накаливании издает ослепительный белый свет магнезии: значит это тело — магнезия»⁷⁶.

109. Только что указанный вид индукции, если уже так его называть, может иметь применение только в *идиографическом знании*, будучи, в сущности, не чем иным, как соответственным обобщением, в котором отдельные явления берутся не в качестве единичных случаев⁷⁷ какого-либо общего закона, а в качестве *частей* некоторого целого (§ 31), тогда индукция в обычном значении слова как раз относится к единичным случаям с точки зрения их, как простых *примеров*. Выше

74. В рукописи следом одно слово зачеркнуто.

75. В рукописи параграф 108: «Рассмотрев отдельно полную, неполную и научную индукцию, остановимся еще на принимаемом некоторыми авторами логических трактатов (Эрдманом, И. И. Лапшиным) четвертом виде, называемом *индукцией содержания*, с противоположением ее *индукции объема*, каковой и является, в сущности, всякая индукция, относящаяся к явлениям, подводимых под одно и то же понятие, т. е. составляющих его объем, будет ли то индукция полная, неполная или научная. Индукция содержания имеет в виду нечто иное». — Там же. Л. 42.

76. Авторская сноска Н. И. Кареева: *И. И. Лапшин*. Философия изобретения и изобретение в философии (1922). I. 186.

77. В рукописи слова «единичных случаев» — вставка на полях. — Там же. Л. 42.

было уже предложено называть упомянутый вид обобщения *интегрированием* или *синтезированием* (§ 33), в котором мы, несомненно, идем от частного к общему, составляя, однако, из простых единичностей единичности сложные. Такая умственная операция напоминает полную индукцию, суммирующую, как мы видели (§), отдельные *явления-примеры*⁷⁸ для выражения их в одном общем *правиле*, между тем как рассматриваемое индукцирование отдельных *явлений-случаев* служит для образования понятий о единичном *явлении*, в состав которого входят эти явления-случаи. Пусть сравнят суждения о движениях планет вокруг Солнца (§) постоянно *повторяющихся*, и о собирании Руси (§ 33), бывшем только *один раз*, как таковым, среди других подобных собраний территорий (Франции, Пруссии и т. п.).

110. То, что в явлениях, изучаемых наукою, наблюдается неоднократно, т. е. *повторяется*, только и может служить материалом для *общих и частных*⁷⁹ суждений, *единичные* же суждения имеют индивидуальное содержание, относясь к чему-либо, бывшему или данному в настоящий момент лишь *однажды* или лишь в *одном месте*. Только то, что повторяется неоднократно, и может быть исключительно предметом полной, неполной и научной индукции, но этими повторяющимися могут быть только те или другие *элементы* явлений, их *стороны* или *признаки*, отнюдь не сами явления, как *конкретные события*, однажды⁸⁰ случившиеся в таковое-то время и в таком-то месте. Расширение железа от его нагревания происходит всегда и везде, т. е. постоянно наблюдалось, но каждый единичный случай бывавших (как и будущих) нагреваний строго индивидуален. Факт совершился и, как говорится, канул в вечность, и если я в другой раз нагрею железо, то это будет *другой факт*, а не *прежний*, который не может возвратиться назад из поглотившей его вечности. Постоянно повторяется вращение земли вокруг своей оси и зависящая от этого смена дня и ночи, но каждый раз приходит *новый* день, наступает *новая* ночь, а не старые возвращаются. Всякое возникновение, наступление и т. п. чего-либо есть нечто *новое*, хотя бы и в *старом виде*. Каждое событие в широком смысле слова занимает свое определенное место в какой-нибудь⁸¹ причинно-следственной цепи, тоже определенной в пространственном и временном отношениях. «Никто, говорил один древний философ, не бывал дважды в одной и той же реке».

111. Наблюдаемые нами повторения чего-либо в явлениях действительности мы часто называем *общими правилами*, не придавая им *нормативного* значения, но считая зато случаи, подходящие под эти правила, *нормальными*, а не подходящие — *исключениями* из правил. Таково, например, грамматическое правило, что существительные имена в русском языке, оканчивающиеся на *о*, все среднего рода за такими-то и такими-то исключениями. Такие правила, получающиеся путем

78. В рукописи слово «примеры» — вставка на полях. — Там же.

79. В рукописи слова «и частных» — вставка на полях. — Там же. Л. 43.

80. В рукописи слова «однажды» — вставка на полях. — Там же.

81. В рукописи слова «в какой-нибудь» — вставка на полях. — Там же. Л. 43.

полной⁸² индукции, но с встречающимися при этом противоречащими случаями (не допускаемыми в индукции неполной, § 77), всегда, кроме того, ограничиваются *группами* предметов, данными нам в определенном месте и в определенное время: слова среднего рода с нормальным окончанием на *o* находятся только в русском и других славянских языках, да и то с известного времени, ибо в праарийский период те же слова оканчивались, вероятно, на *am* (санскр. *am*, греч. *on*, лат. *ut*). Русский язык, отдельные явления которого подводятся под массу индуктивно установленных правил, в конце концов, есть нечто единичное, в котором все беспрестанно и постоянно повторяется, и в то же время каждая отдельно произнесенная фраза представляет собою нечто такое, что никогда не возвратится. Нужно различать *неповторяемость* и *невозвратимость*. Строго *идиографическое* знание есть знание о том, что неповторимо во всех своих подробностях и невозвратимо, знание же *типологическое* (§ 40) и *номологическое* — знание о неизменно повторяющемся в некоторых или в особенности всех неповторимых во всех своих подробностях⁸³ и безусловно невозвратимых явлениях. Все различие между типологией и номологией то, что в первой могут быть только *общие правила*, допускающие исключения, а в последней — научные⁸⁴ *законы*, отличающиеся безусловным значением.

112. Под законами природы, или естественными законами, — или же законами действительности, как их лучше называть, чтобы мыслилась при этом не только природа в смысле физического мира, — разумеется *единообразие во взаимоотношениях явлений действительности*, заключающееся в том, что при наступлении одних и тех же строго определенных событий или обстоятельств всегда и везде наблюдается повторение одних и тех же строго определенных явлений. Связь между явлениями, требуемая естественными⁸⁵ законами, называется *законосообразностью* или *закономерностью*, причем второй вариант есть не совсем верный перевод с немецкого и, пожалуй, должен уступить право на исключительное употребление первому. Эти законы мы называем притом *естественными*, имея в виду их объективное существование, и научными, когда мыслим их, как общие суждения, в которых эти законы формулируются.

113. Логика занимается вопросом о том, как доказываются догадки о существовании тех или других законов, к которым (догадкам) мы так или иначе приходим. Если к научным⁸⁶ законам отнести (чего обыкновенно не делается⁸⁷) и общие истины математики, говорящие о единообразиях в пространственных и количественных отношениях, то уже по одному тому следует признавать возможность доказывания научных законов *чисто-рациональными способами*, но даже если исключить отсюда истины математики, то нужно иметь в виду, что совершенно

82. В рукописи слово «полной» — вставка на полях. — Там же. Л. 44.

83. В рукописи слова «во всех подробностях» — вставка на полях. — Там же. Л. 45.

84. В рукописи слово «научные» — вставка на полях. — Там же.

85. В рукописи слово «естественными» — вставка на полях. — Там же.

86. В рукописи исправлено с: «естественным». — Там же. Л. 46.

87. В рукописи слова «чего обыкновенно не делается» — вставка на полях. — Там же.

по образцу математического, абстрактно-дедуктивного метода работают теоретическая механика и рациональные части физики, тогда как в остальных науках господствуют *индуктивные методы* доказывания законов, соединенные с констатированием данных опыта. Миллевские правила доказательств причинной связи являются и способами доказывания законосообразных связей вообще, по отношению к которым причинные связи имеют только характер частного их вида.

114. Научные законы могут быть разделены на *точные* и *эмпирические* в зависимости от того, насколько они проверены, и потому, насколько мы можем на них полагаться, как на вполне доказанные, несомненные⁸⁸ истины, относительно которых можно быть уверенными, что никогда не случится что-либо им противоречащее. Таковы в особенности истины математики, хотя бы, например, теоремы геометрии. Сюда относятся такие законы природы, как пропорциональность притяжения массам тел и обратная его пропорциональность квадратам расстояний, пропорциональность квадратов времени колебания маятника его длине, обратная пропорциональность плотности и объема газов⁸⁹ и множество других подобных формул, так или иначе доказываемых *точными* науками.

115. Наоборот, название законов эмпирических присвоено тем общим формулам, соответствие которых с действительными явлениями принимается нами не с такою уверенностью, как по отношению к точным законам, а только с известною степенью вероятности. Примером эмпирического закона может быть постоянная связь между двумя признаками целого класса животных, а именно между *жвачностью* и *раздвоенностью копыт*, связь, устанавливаемая, кстати сказать, методом единственного совпадения (§ 103), примененного в данном случае не к причинной связи, а к сосуществованию явлений. Характерная особенность эмпирических законов заключается в том, что они доказываются именно только методом единственного совпадения и напоминают полные индукции через перечисление, в котором не встречается противоречащего примера (§ 77). Если бы обнаружен был вид жвачных млекопитающих однокопытных или двукопытных, но не жвачных, мы могли бы говорить о соединении жвачности с однокопытностью, как об общем правиле, а о предполагаемом виде, как об исключении. Точно так же до открытия спутников Урана и Нептуна можно было думать, что все тела нашей Солнечной системы, т. е. и планеты, и их спутники движутся с запада на восток (справа налево по человеческой мерке), но оказалось, что спутники двух названных планет совершают свое движение в обратном направлении, и то, что, казалось, могло бы быть эмпирическим законом, есть только простое правило, допускающее исключения. (Кстати, афоризм: «исключения только подтверждают правила» логически противоречив, ибо они не подтверждают, а ограничивают, превращая общее суждение обо всех случаях в частное суждение только о большинстве, хотя бы и подавляющем).

88. В рукописи слово «несомненные» — вставка на полях. — Там же. Л. 47.

89. В рукописи слова «обратная пропорциональность плотности и объема газов» — вставка на полях. — Там же.

116. Далее по своему содержанию естественные⁹⁰ законы разделяются на законы об *единовременности* и *последовательности* явлений. В своем курсе «Положительной философии» Огюст Конт назвал законы об единовременности законами *сосуществования*, обозначив их термином *статистические*, а другие — *динамическими*; но законы существования (например, жвачности и двукопытности) представляют собою только один вид законов об единовременности, рядом с которым есть другой — единовременного возникновения (например, обратная пропорциональность объема газа и его плотности), причем наступление одной перемены сопровождается наступлением и другой. Под законами последовательности разумеются порядки смены явлений одних другими или следования их одних за другими. Что касается до контовских терминов, то, как заимствованные специально из механики, их лучше отвергнуть, заменив их другими, более соответственными самому существу дела, т. е. единовременности в одних случаях и последовательности в других, что лучше всего обозначить терминами: *синхронические* (греч. «syn», т. е. предлог «с» и «chronos», время) и *консекутивные* (последовательные).

117. Консекутивные законы в свою очередь должны быть подразделены. Во-первых, это — законы *периодических смен*, например, дня и ночи, весны, лета, осени и зимы, зависящих от времен года — перелетов птиц с юга на север и обратно и т. п. Во-вторых, это — обычные законы *причинности* или *каузальные*, когда из двух неизменно⁹¹ связанных между собой явлений одно является причиною другого, хотя действие может возникать и одновременно со своею причиною (§ 98). В трактатах логики каузальные законы преимущественно, чуть не исключительно, имеются в виду, когда говорится о законах последовательности. Наконец, особую категорию консекутивных законов представляют собою законы *развития* или *эволюционные*, выражающие те постоянные порядки, в каких происходит развитие, прежде всего, животных и растительных организмов, взятых каждый в его отдельности, а также развитие всего в неорганической природе и в человеческой культуре. Обыкновенно эта категория в трактатах логики обходится полным молчанием. Из законов последовательности я, впрочем, исключил бы те, которые выражают периодичность, потому что ими отмечается лишь возвращаемость некоторых состояний, являющихся следствием других причин (например, суточного и годового обращения Земли вокруг Солнца), тогда как каузальные и эволюционные законы образуют все *вперед* и *вперед* идущие цепи из *причин* и *следствий* с превращением самих⁹² следствий в причины дальнейших новых следствий, или *ступеней* (стадий, фазисов) развития, с невозвратимостью в обоих случаях пройденных моментов. Схема периодичности может быть выражена рядом: А, В, С, D, А, В, С, D, А, В, С, D и т. д., тогда как причинные и эволюционные ряды действительных перемен, наблюдаемых в действительности, символизируя причинную связь знаком +, а эволюционную знаком =, будут такими:

90. В рукописи слово «естественные» — вставка на полях. — Там же. Л. 48.

91. В рукописи слово «неизменно» — вставка на полях. — Там же. Л. 49.

92. В рукописи «самих» — вставка на полях. — Там же. Л. 50.

$$A + B + C + D + E + F + G + H \text{ и т. д.}$$

$$A = B = C = D = E = F = G = H \text{ и т. д.}$$

118. Каузальная связь наблюдается в последовательности *событий*, из которых одно, как причина, предшествует другому, как его следствию⁹³: сильный дождь (одно событие) вызвал выход из берегов реки (другое событие), что повлекло за собою гибель скота (третье событие) и т. д., — пример причинной цепи, где предшествующее — причина последующего, но сказать, что ночь, предшествующая дню, есть причина дня, или, чтобы детство было причиной юности, юность — зрелости, зрелость — старости, мы не можем. Эволюционная связь, значит, отличается от причинности: семя, проросшее, превратившееся в растущее и выросшее растение, давшее цвет, из которого образовался плод, это — одно и то же существо (что я символизирую знаком =, только на разных ступенях своего развития, или в разных эволюционных стадиях, фазисах, причем процесс этот не может быть повторен одним и тем же существом, хотя бы даже только дважды и не может быть проделан в обратном порядке. Но равным образом и никакая причинная цепь не может быть пройдена в обратном порядке, т. е. гибель скота сделаться предшествующею причиною сильного ливня и т. п., да и если бы подобный процесс повторился, то это не было бы возвращением к старому, как это бывает в положениях земного шара в отношении к Солнцу, а наступлением нового, хотя и аналогичного старому (ср. §).

119. Если *причинные* цепи состоят из *событий*, то *эволюционные ряды* складываются из *состояний*, проходимых или переживаемых, как предметами неорганической природы и организмами, так и культурно-социальными формами. Этому размежеванию каузальных и эволюционных законов я приписываю большую методологическую важность для гуманитарных наук, для которых имеют значение не только каузальные законы, особенно выдвигаемые такими отделами номологического⁹⁴ естествознания, как физика и химия, но и эволюционные, преимущественно могущие интересовать биологов. Перенесение в гуманитарные науки понятий естественных законов, действующих в мире явлений, совершилось из области наук о неорганической природе, которую, главным образом, имеют в виду отделы логики, посвященные индукции.

120. Не иначе, как на основании эмпирических данных и путем типологической индукции (§§) устанавливаются эволюционные законы, т. е. общие для каждой специальной области знания формулы, в которых выражаются порядки, в каких проходят развития, например, отдельных представителей того или другого растительного или животного вида, — то, что в зоологии называется «историей развития». Эволюционные законы формулируются в виде общих законов на основании умозаключения от ряда единичных случаев к тому общему, что в них обнаруживается. В гуманитарных науках, как увидим в своем месте, это достигается при

93. В рукописи зачеркнута фраза: «Селевой обвал, сам вызванный чем-либо предшествующим, загромоздил русло реки». — Там же. Л. 51.

94. В рукописи слово «номологического» — вставка на полях. — Там же. Л. 52.

помощи *сравнительного* (сравнительно-исторического, историко-сравнительного) метода, обнаруживающего параллелизмы в развитии культурных состояний и форм, которые, в свою очередь, скрывают под собою эволюционные законосообразности.

121. Наиболее совершенными в смысле точности являются те законы, которые выражаются в математических формулах и, следовательно, заключают в себе указания на количественные отношения (ср. примеры в §). Некоторые воображают, что только формулы количественных отношений заслуживают названия законов по примеру физики, а другие думали сочинять аналогичные формулы даже для так называемых (ошибочно, как увидим) исторических законов. Если бы, действительно, было так, т. е. если бы естественные законы всегда были, так сказать, по крайней мере наполовину родственными математическим истинам, то пришлось бы отказаться от всякого номологического знания за пределами наук о неорганической природе или, по крайней мере, для всех качественных законов придумать новый термин, что и с логической точки зрения было бы недопустимым, так как обе категории законов доказываются одними и теми же методами.

122. Остановившись на силлогизмах и на индукции, как на методах доказывания научных положений, мы должны хотя бы слегка коснуться вопроса об их взаимных отношениях. Бэкон, родоначальник научной индукции, отрицал значение силлогизмов, и по его пути пошел, равным образом, и Милль (§ 87), видевший в силлогизме только то, что в логике называется «*petition principii*» (§). На самом деле, по бэконо-миллевским методам нельзя сделать ни одного нового заключения, не подводя исследуемый предмет под общие суждения, значит, не прибегая к силлогизму. Исследователи миллевских методов даже прямо указывают иногда, какие силлогизмы усматриваются в таких методах. Во всяком случае, противопоставление силлогизма индуктивному методу, как ему противоположного и именно дедуктивного, повлекло за собою, однако, очень неодинаковое понимание взаимных отношений и обоюдного значения силлогизмов и индукции.

123. С довольно-таки сбивчивым и произвольным употреблением разными авторами терминов *индукция* и *дедукция* очень и очень приходится считаться в методологических исследованиях (ср. §). Самому понятию индукции придается также различный смысл (§), вследствие чего у одних авторов одна и та же наука считается индуктивной, у других дедуктивной, и только какое-нибудь более или менее однообразное понимание термина может вывести из путаницы понятий. Если термин «индукция» ведет свое начало еще от Сократа, то «дедукция» в логике является нововведением прошлого столетия.

124. Обычно как-то принято сближать между собою понятия абстрактности, рационального знания, а также дедуктивного метода, с одной стороны, и более конкретного содержания, эмпирического знания и индуктивного метода, с другой, хотя *логических оснований* для этого не существует, *психологическая же причина* этого, по-видимому, заключается в том, что одни понятия кажутся более родственными с черпанием истины в самом разуме, в логике, в аналитических

суждениях, в определениях или в априорных идеях, другие — стоящими ближе к свидетельствам опыта, к фактам, к непосредственным⁹⁵ синтетическим суждениям, ко всему, так сказать, апостериорному. Многим кажется, что во всем последнем гораздо больше реализма и объективизма,⁹⁶ даже вообще научности, тогда как в остальном преобладают субъективизм, идеализм, метафизичность. Все это, однако, оказывается и путаницей понятий, и результатом малого знакомства с действительным характером кажущихся слишком противоположными направлений в процессах познания действительности.

125. В научном знании, кроме аналитических суждений, к каковым сводятся все рациональные определения, и суждений синтетических эмпирического происхождения, есть еще такие общие синтетические суждения, которые⁹⁷ никоим образом и никогда не могут быть доказаны, а между тем должны быть признаны, даже с логическою обязательностью, ввиду их необходимости для всякого опосредованного знания. Такие общие синтетические суждения называются⁹⁸ *априорными* предпосылками или принципами знания, причем под прилагательным «априорный» здесь отнюдь не следует разуметь ни указания на предвзятость, произвольность, неосновательность, часто в просторечии отождествляемые с априорностью, ни употребления термина «*a priori*» в смысле чего-то заранее взятого за исходный пункт на основании уже бывшего⁹⁹ дознанным прежде, а не вновь произведенного исследования.

126.¹⁰⁰ Без таких общих синтетических суждений, принятых¹⁰¹ нами без всяких доказательств и даже без малейшей надежды на то, что когда-нибудь они будут доказаны, принятых за первые (здесь смысл выражения «*a priori*»), основные принципы знания, в науке можно было бы обходиться только при одном из двух условий, а именно, если бы общие суждения могли оправдываться путем опыта, в котором мы познаем только единичные явления, или если бы общие синтетические суждения были доказуемы без помощи других таких же суждений, т. е., например, правильно выводимы из аналитических посылок, значит, двух условий одинаково логически неосуществимых по самой природе обоих видов суждений.

127. Прежде всего к числу таких априорных суждений относится *принцип причинности*. Мы можем так или иначе объяснять происхождение мысли о причинной связи явлений действительности, но мало ли какие мысли возникают в нашем уме, и факт¹⁰² существования мысли еще не есть ее оправдание. Далеко не все явления уже встречались в опыте, так как постоянно даже открываются новые, да и неизвестно из опыта, как происходили явления, не имевшие никаких очевидцев,

95. В рукописи слово «непосредственным» — вставка на полях. — Там же. Л. 55.

96. В рукописи зачеркнуты слова «тогда как...». — Там же.

97. В рукописи исправлено с: «никогда». — Там же. Л. 56.

98. В рукописи слово «называются» — вставка на полях. — Там же.

99. В рукописи слово «бывшего» — вставка на полях. — Там же.

100. В рукописи зачеркнуто начало фразы: «В науке можно было бы обходиться без...». — Там же.

101. В рукописи исправлено с: «принимаемых». — Там же.

102. В рукописи слово «факт» — вставка на полях. — Там же. Л. 57.

или как будут происходить в будущем, причем, наконец, в тех случаях, когда принцип оправдывался опытом, в сущности, все-таки происходило умозаключение, исходившее из принципов причинной связи.

128. С другой стороны, всем известны так называемые аксиомы или самоочевидные истины, из которых исходит математика, справедливо считаемая, как известно, самую точную наукою, а между тем математика даже совсем не нуждается ни в каких данных опыта. Оба соображения о¹⁰³ принципе причинности, говорящем в общем виде: «все имеет свою причину», и о математических аксиомах, как о чисто априорных суждениях, без которых прямо невозможно опосредованное (научное) знание, уже относятся к области гносеологии, которая может преподавать такие же правила для методологии, как и логика.

129. ¹⁰⁴Априорность основных принципов научного знания есть нечто для нас непонятное, но непонятным может оказаться и нечто, заключающееся в доказанном синтетическом суждении, содержащем в себе изложение какого-нибудь закона природы. Так ньютоновским законом тяготения приписывается всем телам некоторое свойство, совершенно непонятное, необъяснимое самим понятием тела, т. е. из него не вытекающее. Наука не должна отвергать ни одного естественного¹⁰⁵ закона за одну только его непонятность, но в полном праве требовать от каждого¹⁰⁶ основательной доказанности и по мере возможности объяснения его из других, более общих законов, или способности служить объяснению других.

130. Искание объяснения всего непонятного для науки за пределами опытного знания представляет собою выход за границы научного знания, вступление в область метафизики, состоящей из недоказуемых гипотез, притом даже, быть может, не отличающихся между собою по степени вероятности, что, однако, не может препятствовать прибегать к тем или другим предположениям об истинном (ноуменальном) бытии или о «вещах в себе» (§ 5), лишь бы эти предположения не выходили из роли вспомогательных средств в разработке положительного знания, иначе говоря, не шли далее того, чем являются вообще рабочие гипотезы (§ 93), особенно если они могут иметь эвристическое значение, как это позволительно сказать об атомизме. Сама наука должна решать вопрос, какая из метафизических гипотез в качестве вспомогательного средства могла бы быть для нее полезна, если только вообще это нужно для той или другой науки самой по себе, а не для удовлетворения личной пытливости или потребности в вере.

131. От научных выводов следует требовать, чтобы их содержание, при пользовании или непользовании метафизическими предпосылками, было одинаково приемлемо и даже обязательно для людей разных метафизических устремлений, для чего оно не должно противоречить ни одному из этих направлений. Дело в том, что противоречие с какой-либо метафизической теорией только свидетель-

103. В рукописи далее зачеркнуто два слова. — Там же.

104. В рукописи зачеркнуто несколько слов. — Там же. Л. 58.

105. В рукописи слова «ни одного естественного» — вставка на полях. — Там же.

106. В рукописи слово «каждого» — вставка на полях. — Там же.

ствовало бы о принадлежности автора научного труда к противоположному лагерю. Наука должна быть нейтральной, например, между материализмом, в котором часто обвиняют естественные науки, и спиритуализмом, без которого считает возможным обходиться современная «психология без души». Возникновение и развитие такой научной психологии без всяких метафизических предпосылок имеет весьма важное значение для того характера, какой приняли гуманитарные науки, долгое время остававшиеся под властью метафизики и в частности последним прибежищем спиритуализма. Но и противоположное стремление элиминировать из гуманитарных наук психику, т. е. рассматривать культурные и социальные явления или, по крайней мере, последние по типу естествознания с чисто внешней, объективной точки зрения, смахивает на тенденцию к материалистической метафизике.

132. Считая ошибочными чуть не отождествление рационального знания, абстрактности и дедуктивного метода, идеализма, субъективизма, априоризма¹⁰⁷, с одной стороны, и столь же тесную связь между эмпирическим знанием, конкретностью¹⁰⁸, индуктивным методом, реализмом, объективизмом, апостериоризмом, с другой стороны (§ 124), нельзя не признать, что, в общем, направления первой категории способны более тяготеть к спиритуализму в смысле признания духовности мировой субстанции, а направления второй — к материализму, считающему эту субстанцию вещественной. Но что наука все более эманципируется от тесной связи с той или другой метафизикой, можно видеть из того, что встречаются представители естествознания, сохраняющие спиритуалистические воззрения и даже мистические верования, и, наоборот, материалисты среди занимающихся гуманитарными науками. Как бы то ни казалось противоречивым, если спиритуализм того или другого натуралиста не оказывает влияния на содержание его научных взглядов, а материализм гуманиста не сказывается на его выводах, наука только остается в вящей выгоде.

133. Таковы мысли, вызываемые вопросом об априорных суждениях в научном знании, одни из которых¹⁰⁹ прямо составляют одно из¹¹⁰ необходимых условий научного знания, а другие или совсем в нем недопустимы, как предметы веры, или допустимы, но лишь в качестве рабочих гипотез, т. е. вспомогательных средств, вроде деревянных лесов при постройке каменного дома. Эти научные априорные суждения и метафизические гипотезы имеют в науке большое формальное значение, влияя на *способы понимания*, а не на *содержание знания*, последнее же имеет апостериорное происхождение в констатировании данных опыта. Нам и остается еще рассмотреть общие методы создания эмпирического материала науки, не входя в технические подробности, а оставаясь на обще-логической почве.

107. В рукописи слово «априоризма» — вставка на полях. — Там же. Л. 60.

108. В рукописи слово «конкретностью» — вставка на полях. — Там же.

109. В рукописи исправлено с: «которые, с одной стороны». — Там же.

110. В рукописи слово «одно из» — вставка в верхнем поле. — Там же. Л. 61.

134. Реальный материал науки создается¹¹¹ тем созерцательным отношением к действительности, которое состоит в планомерном и систематическом ее *наблюдении*, т. е. в подмечивании данных опыта. Формы этого наблюдения весьма разнообразны, да и очень не похожи одни на другие инструменты, помогающие наблюдать, все эти телескопы, микроскопы, спектроскопы, барометры, термометры, гигрометры и пр. и пр. Наблюдения бывают двух родов: *простое*, хотя бы и вооруженное подобными инструментами, и *экспериментирование*, производство экспериментов, делание опытов, употребляя последнее слово не в общем гносеологическом смысле, а в техническом значении испытания или пробы, что выйдет из наблюдения при особых¹¹², преднамеренно созданных условиях, тоже требующих всяких аппаратов, вроде насосов, электрических машин, колб, реторт и т. п.

135. Эксперимент, как известно, отличается от простого наблюдения именно¹¹³ тем, что при эксперименте для¹¹⁴ наблюдаемого явления преднамеренно создаются особые, искусственные условия с целью испытать или испробовать, какой же получится результат наблюдения при этих необычных обстоятельствах. С точки зрения различия между простым наблюдением и экспериментом, науки могут быть разделены на *наблюдательные* или *обсервационные* и *экспериментальные*, причем первые пользуются особыми обсерваториями (астрономическими, метеорологическими и др.), вторые — *лабораториями* (химическими, физиологическими и др.).

136. Какой из способов наблюдения: простой или экспериментальный предпочтительнее другого? Этот вопрос заслуживает большого внимания, но прежде всего нужно помнить, что не все явления могут быть предметом экспериментирования. Мы можем подвергнуть ряду оптических опытов солнечный луч, заставив его пройти через маленькое отверстие в темное помещение или через прозрачную призму и сделать то и другое одновременно, заставить луч отразиться последовательно в нескольких зеркалах, заставить несколько лучей собраться в фокусе выпуклого стекла или вогнутого зеркала и пр. и пр., но *заставить* само солнце, например, сдвинуться с места, распасться на несколько частей, увеличить или уменьшить силу своего света, как в состоянии это сделать с каким-нибудь земным источником света, мы совершенно не в состоянии. Нам доступны эксперименты с малым количеством воды, которую мы можем заставлять замерзать или испаряться, но заставить замерзнуть целый океан не в наших силах. Прибегать или не прибегать к экспериментам в каждом отдельном случае зависит не от нашего произвола, но от фактической возможности при всем нашем желании сделать искусственный опыт или от этической недопустимости, например, подвергать людей вивисекции. Область применения экспериментального метода ограничена, между прочим, и в гуманитарных науках, где эксперименты или фактически не-

111. В рукописи исправлено с: «наблюдением». — Там же.

112. В рукописи слово «особых» — вставка на полях. — Там же.

113. В рукописи слово «именно» — вставка на полях. Там же.

114. В рукописи слово «для» — вставка на полях. Там же. Л. 62.

возможны, или нравственно недопустимы, хотя в просторечии часто и называют *социальными экспериментами распоряжения*¹¹⁵ власти, оказывающиеся *post factum* своего рода пробами, которые, однако, производились вовсе не в научных, не в исследовательских целях. Такими «опытами» наука, конечно, пользуется, но для нее они — предмет простого наблюдения, как и другие социальные явления, совершавшиеся не ради познания объективной истины.

137. Между тем экспериментирование имеет несомненные преимущества перед простым наблюдением. Эти преимущества заключаются, прежде всего, в *облегчении* для нас: 1) возможности более точного *описания* явлений, раз мы, благодаря экспериментированию, наблюдаем изучаемые явления, сколько нам желательно, в одном и том же виде каждый раз; 2) возможности более точного выяснения причин того или иного явления; и 3) возможности точно¹¹⁶ определить *количественную сторону* перемен, происходящих в явлениях, а это все очень важно для научной индукции, нуждающейся, по возможности, в большом числе тождественных случаев, в освобождении явлений от посторонних существующих обстоятельств (в их изолировании), в способах измерения¹¹⁷, которые позволяли бы придать законам математическую формулировку. Это — одно, а другое важное преимущество в том, что эксперименты открывают не наблюдавшиеся раньше, совершенно для науки новые явления природы, как это произошло с рядом физических и химических явлений (электрические явления, рентгеновские лучи, радиоактивность разных веществ и т. п.), которые без производства экспериментов оставались бы неизвестными в теории и без применения к техническим целям.

138. В логике достаточно выяснено методологическое значение экспериментации и выяснено значение двух разных видов наблюдения. Психология, а вместе с нею гносеология, различают *опыт внешний* и *опыт внутренний*, вследствие чего и наблюдение может быть внешним или *объективным*, и внутренним, *субъективным*: в первом наблюдение направлено на все, что *не-я*, во втором как раз — на собственное *я*. Во внешнем наблюдении наблюдающий субъект и наблюдаемые объекты различны, будут ли последними материальная природа или чужая душевная жизнь, в наблюдении внутреннем — объектом становится сам субъект, откуда обозначение первого, как объективного, а второго — как субъективного. Иначе субъективное наблюдение называется *самонаблюдением*, а также *интроспекцией*, что в переводе значит «смотрение внутрь».

139. Во внешнем, по отношению к нам мире, нашему непосредственному наблюдению подлежат только материальные явления, действующие на органы наших чувств, преимущественно на зрение и слух, чужая же душевная жизнь нашему наблюдению недоступна, т. е. не может быть предметом такого же непосредственного познания, как наша собственная. Здесь мы наблюдаем только телесные, значит, материальные проявления (мимику, жестикуляцию, произведение звуков движе-

115. В рукописи исправлено с: «действия». — Там же. С. 63.

116. В рукописи слово «точно» — вставка на полях. — Там же. Л. 64.

117. В рукописи исправлено с: «измерениях». — Там же.

ния голосовых органов, языка, губ и т. д.), которые истолковываем как показатели чужих душевных переживаний, по аналогии со связью между душевными и материальными явлениями, известной нам из самонаблюдения. В этом смысле мы, значит, не непосредственно наблюдаем, а умозаклячаем, пользуясь внешним опытом и при обобщающем¹¹⁸ установлении внешних причин, вызывающих те или другие выражения лица, движения членов тела, звуки и т. п. не только у людей, но и у животных (виляние хвостом у собаки, сгибание спины у кошки, не говоря уже о лае, мяуканье и т. п.).

140. Это делает самонаблюдение основным методом при изучении душевных явлений, потому что душевные явления даны нам непосредственно только в нашем собственном внутреннем опыте, во внешнем же нам бывают даны только телесные, материальные обнаружения этих явлений в других живых существах, которыми мы пользуемся только в качестве показателей, знаков, сигналов, символов или как бы ни стали еще называть эти посредствующие звенья между познающим субъектом и чужими субъективными переживаниями. Когда психолог производит эксперименты над чужими переживаниями, то и тут это совершается, в сущности, не над самими явлениями, а над их показателями, среди которых главное значение принадлежит языку, как самому важному средству психического взаимодействия.

141. Известно, что родоначальник позитивизма в философии, Огюст Конт, отрицал возможность самонаблюдения над мышлением, — взгляд, опровергнутый научной гносеологией, — но некоторые его последователи пошли дальше и стали отрицать возможность самонаблюдения не только над мышлением, но и над всякими другими душевными явлениями, как будто никто не может знать, о чем и как он думает, что ощущает и чувствует, чего желает и т. д. Конт находил, что наше мыслящее (только мыслящее) я не может раздваиваться, будучи единичным, быть в одно и то же время объектом и субъектом, но фактически в таком раздвоении и нет никакой надобности, как, впрочем, его и не бывает, поскольку душевные явления обладают особым свойством, состоящим в сознательности: переживая известное душевное явление, мы уже, благодаря ему, знаем, *что* и *кем* (т. е. нашим же я) переживается. Телесные явления в себе (кровообращение, пищеварение и т. д.) мы тоже переживаем, но узнаем о них только из науки, т. е. переживаем бессознательно. (Другим аргументом Конта было то, что орган не может наблюдать над собственной своею деятельностью, например, глаз — над зрением, а потому и мозг — над мышлением, но дело в том, что и глаз, и мозг, как телесные органы, не могут наблюдать над телесною своею деятельностью, т. е. над физиологическими процессами, в них происходящими, мышление же есть деятельность психическая).

142. В самое последнее время возникло в изучении явлений человеческой жизни направление («бихавьюризм», о чем ниже), требующее исключительного применения к изучению этого рода явлений исключительно внешнего поведения (англ. behavior, поведение) людей — чисто объективного наблюдения, как над со-

118. В рукописи слово «обобщающем» — вставка на полях. — Там же. Л. 66.

вершенно механическими рефлексам, откуда — попытка превратить психологию и социологию в индивидуальную и коллективную *рефлексологию*, из которой должны быть элиминированы даже предположения о внутренних переживаниях так или иначе ведущих себя людей. В основе такого «метода» лежит скрытый материализм, выдающий себя за реализм по отношению к содержанию науки и за объективизм по отношению к форме и методу. Собственно говоря, это равносильно устранению психологии из того места, которое она занимает в ряду номологических наук (§), равносильно обоснованию социологии на данных физиологии и притом только рефлексологической ее части.

143.¹¹⁹ Различая простое наблюдение и самонаблюдение, как методы установки данных опыта, логика обыкновенно игнорирует разницу между прямым наблюдением действительности, возможным только для *наличной в данный момент действительности*, и наблюдением над остатками или следами *прошедшей действительности*, совершаемом в таких науках, как геология, палеонтология, археология и история, для познания той действительности, которая была, но которой уже нет, как канувшей в вечность (ср. §) и потому больше недоступной непосредственному наблюдению, как недоступна ему и чужая психическая жизнь. Эти остатки и следы прошлого относятся одинаково и к материальным, и к душевным явлениям и процессам.

144.¹²⁰ Когда логика пропускает столь важное обстоятельство, это происходит потому, что она вообще более интересуется методами доказательства, чем констатирования и что понимает науку более номологически, чем идиографически, т. е. как знание об общем, а не об единичном. Притом, в сущности, методы доказательства, употребление силлогизмов или индукции и т. п. одинаковы во всех науках, а приемы, при помощи которых происходит констатирование фактов, очень разнообразны для отдельных наук, что лишает их для логики¹²¹ общего, *принципиального* характера и придает характер *технический* (§). Действительно, техника наблюдения весьма различна у астронома, у зоолога, у археолога, у статистика, у историка, как различна и техника экспериментации у физика, у химика, у биолога (например, у вивисектора), у экспериментального психолога. Тут уже начинается область технической¹²² методологии отдельных наук, изучаемой на практике в обсерваториях, лабораториях, «специальных кабинетах», «в семинариях» гуманитарных наук. Ввиду, однако того, что *в вопросе о методе изучения прошлого* заинтересованы в большей или меньшей степени даже астрономы, поскольку делают предположения о прошлом Солнечной системы, в особенности же геологи, биологи (в частности, палеонтологи), археологи, историки, т. е. представители и естествознания, и гуманитарных наук, вопрос имеет и общий, принципиальный

119. В рукописи исправлено с: «Останавливаясь на различии». — Там же. Л. 70.

120. В рукописи этот параграф назван 114. И дальше нумерация продолжается с номера 144, вследствие чего — расхождение с машинописью. — Там же.

121. В рукописи «для логики» — вставка на полях. — Там же.

122. В рукописи «технической» — вставка на полях. — Там же.

интерес, является, значит, одним из вопросов гносеологии и логики. Поэтому мы должны коснуться его в настоящей главе, трактующей о логических предпосылках методологии.

145. Гносеологическое призвание о недоступности чужих душевных явлений непосредственному наблюдению приводит к философскому (онтологическому) вопросу о чужой одушевленности, который так называемым солипсизмом (от *solus* — один, единственный и *ipse*, сам), разрешается в смысле существования только моего я. Пусть существование других я будет недоказуемым априорным суждением, в смысле которого мы понимаем все внешние проявления психических переживаний других людей, что несколько не сделает эти переживания более доступными для постороннего наблюдения. Но в таком же положении находится и дело *невозможности доказать существование прошлого* ввиду того, что объекты истории вовсе не являются и не могут быть предметами, по отношению к которым возможно опытное знание¹²³. История, изучающая прошлое, должна делать умозаклучения от непосредственного наблюдения над остатками и следами (§ 143) или, как их называют, источников, памятников, документов, свидетельств, данных нам в действительности, доступных зрению, слуху, осязанию, к существованию в прошлом известных явлений. Умозаклучения истории — так продолжают развивать эту мысль — не могут обойтись без догадок (по нашей терминологии, *дивинаций* (§)), часть которых недоказуема, так что истинность каждого суждения о прошлом, бывшем до моего рождения, очевидна отнюдь не больше истинности утверждения о существовании чужой душевной жизни.

146. Каждое допущение истории, т. е. каждая догадка требует новых допущений, например, о том, что явления, бывшие до нас, происходили в известном порядке, по закону причинности, в той или другой эволюционной связи, причем многое по необходимости принимается на веру (но и¹²⁴ отвергается систематическим сомнением), так что, в конце концов, объекты истории (человечества ли, или природы, безразлично), если не *сверхопытны*, то *заопытны*. Разница между историей (опять-таки всего, начиная от образования Солнечной системы до кануна моего появления на свет) и метафизикой — та, что к последней совершенно неприменимо понятие большей или меньшей вероятности, а это делает и невозможным говорить о своем знании, что такое-то положение в ней ложно, тогда как по отношению к истории этого не бывает. Если кто-либо, сознавший себя только сегодня, скажет мне, что у него нет никаких доказательств о существовании вчерашнего дня, так и моего собственного, он будет в своем праве так говорить, но я-то сам хорошо знаю что он ошибается, что вчера существовало, а в нем и я, непосредственно знающий о бывшем его существовании. Я знаю вообще, что во мне происходит душевная жизнь, и потому найду ложным утверждение всякого солипсизма, признающего только свою одушевленность: я знаю, что, по крайней

123. Авторское примечание: См.: Константин Сотонин. Заопытное и трансцендентное (История и метафизика). Казань, 1915. Брошюра очень малого формата в 46 стр.

124. В рукописи слова «но и» — вставка на полях. — Там же. Л. 72.

мере, отрицание одной чужой одушевленности (т. е. моей) ложно, как могу знать, что будет ложным отрицание, по крайней мере, некоторых объектов истории.

147. Стоит, однако, установить одно исключение из правила, чтобы прийти к убеждению в существовании шансов и за другие подобные исключения, тогда как против — ни одного. Отсюда вытекает большая вероятность в пользу наличности и других я и бывшего существования исторических явлений. В этом-то и заключается разница между такими объектами, как чужая одушевленность и, если так можно выразиться, «бывшесть фактов прошлого», и объектами чисто-метафизическими. Первые — запытны, вторые — сверхопытны, и было бы совершенно неправильно причислять запытные объекты к области предметов не знания, а веры.

148. Дело в том, что, по крайней мере, объекты человеческой истории, события и культурные состояния когда-нибудь были объектами чьего-либо наблюдения, т. е. содержались в непосредственном опыте других людей, оставивших нам свои о них свидетельства. Если не считать то, что последние нам выдают, за материал знания, и признавать за таковое только то, что было в личном опыте, то и существование Америки или Австралии будет предметом веры, а не знания, вследствие их запытности для меня. Материал науки складывается даже вообще из неизмеримо большего количества всяких чужих достоверных свидетельств, нежели из непосредственных наблюдений каждого из нас в отдельности. *Критическая проверка достоверности чужих свидетельств* обязательна не в одной исторической науке, но и в других. Между прочим, и в экспериментальных, где каждый новый физический «опыт» тотчас же продлевается специалистами, да и в естествознании наблюдательного характера, когда, например, заявление одного астронома об открытой им комете, малой планете и т. д. заставляет других астрономов направлять свои трубы на определенную часть небесной сферы.

149. Конечно, историки в этом смысле имеют дело с запытным знанием, что не в состоянии подвергнуть явление повторным и повторным наблюдениям или таковым же экспериментам, и в их¹²⁵ распоряжении находится только критика источников со стороны подлинности памятников (остатков) и достоверности свидетельств (следов), но даже археологи, занимающиеся материальными остатками прежней культуры, находятся в лучшем положении, чем палеонтологи с их мертвыми остатками когда-то живой природы, потому что на подмогу им приходят еще говорящие источники, письменные свидетельства, остающиеся для нас совокупностью внешних показателей, через которые мы знакомимся и с душевными явлениями в более или менее далеком прошлом.

150. Научная критика должна пользоваться теми же методами рассуждения, наблюдения и экспериментации, какими пользуется и научное исследование. Только последние направлены на самую действительность, а первая¹²⁶ на действительное познание этой действительности. Определяя понятие науки, мы признали *прове-*

125. В рукописи исправлено с: «руках». — Там же. Л. 126.

126. В рукописи далее зачеркнуто несколько слов. — Там же. Л. 127.

ренность отдельных ее сведений за один из существенных ее признаков и не только проверкой содержания (т.е. сырого материала и выводов из него), но и формальной стороны, метода.

151. Каждое исследование есть работа *аналитическая*, как и критика. Другой существенный признак науки — систематизация знания, работа *синтетическая*, создающая из рассыпанных данных опыта стройное и цельное знание по принципам логики. Важны в науке не только точность и полнота знания, имеющая и свое утилитарное значение, но и стройность и цельность, сближающие науку с философией, которая есть высшая ступень в развитии мирозерцания. В духовной культуре наука занимает среднее место между искусством, образность которого соприкасается с конкретностью идиографии, и философией, идейности которого родственна абстрактность номологии.

НИОР РГБ. Ф. 119. Н. И. Кареев. К. 39. Д. 13.
Л. 130б-330б. Машинопись. Подлинник.

The General of Methodology of the Humanities, Chapter 2: The Logical Prerequisites of the Methodology

Nikolay Kareev

Alexey V. Malinov (editor)

Dr. Hab (Philosophy), Professor, Saint Petersburg State University
Address: Universitetskaya Emb., 13B, Saint Petersburg, Russian Federation 199034
E-mail: a.v.malinov@gmail.com

Evgeniya A. Dolgova (editor)

PhD in History, Associate Professor, Russian State University for the Humanities
Address: Miusskaya sq., 6, GSP-3, Moscow, Russian Federation 125993
E-mail: dolgova-evg@rambler.ru

The focus of the article is the research of the unpublished methodological scientific work by the Russian historian Nikolay Kareev, which is called *The General Methodology of the Humanities*. This book was written in 1922, but was not immediately published due to censorship restrictions. In it, Kareev described the sphere of humanitarian knowledge, and presented the existence of a holistic research field as a problem of the humanities and describes the principles of its interrelationships. As well, he put the need to develop a common methodology for scientific research as a research task, and substantiated the position and methodological tools of history in the humanities. The publication fragment from the *General Methodology* includes the second chapter, which is called "The Logical Prerequisites of the Methodology". In this chapter, Kareev characterized logic as a condition of any methodology, considered existing methods of cognition, those being inductive, deductive, comparative, and historical, talked about scientific laws and its classification, and dwelled on the types of inferences and syllogisms in detail, as well as on common mistakes.

In this chapter, Kareev dealt not only with the foundations of logic, but also with the theory of argumentation and the theory of proofs. He formulated the signs of scientific knowledge, those of verifiability, systematic, and completeness (integrity). The text solved the different problems of humanities from the point of view of positivism with some elements of neo-Kantianism.

Keywords: Nikolay Kareev, methodological heritage, *The General Methodology of the Humanities*, fragments, the logic, methods of cognition, positivism, criticism, neo-Kantianism

Область интернет-исследований в социальных науках*

Юрий Рыков

Кандидат социологических наук, младший научный сотрудник
лаборатории интернет-исследований Санкт-Петербургской школы
социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190008
E-mail: rykyur@gmail.com

Олег Нагорный

Стажер-исследователь лаборатории интернет-исследований
Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190008
E-mail: nagornyy.o@gmail.com

Исследования Интернета (Internet Studies) — междисциплинарное и мультидисциплинарное поле фундаментальных и прикладных исследований, объединяющее различные научные дисциплины, общим объектом исследования которых является Интернет. В настоящей обзорной статье дается определение области интернет-исследований, описание структуры ее предметной области как части социальных наук и анализируется тематический репертуар области, включая исследовательскую проблематику отдельных направлений. Более подробно проанализированы направления исследований Интернета, связанные с классической социологической проблематикой: неравенство, онлайн-сообщества и социальный капитал; а также темы исследований, связанные с изучением трансформаций в различных сферах общества: политике, общественном здоровье и медицине, образовании. Кратко описаны два основных теоретических подхода, в рамках которых происходит осмысление влияния Интернета на общество (концепция сетевого общества и критическая теория общества), и основные методы интернет-исследований. Авторы приходят к выводу, что существующие направления интернет-исследований имеют множество пересечений друг с другом и на их пересечении открывается перспектива более полного изучения механизмов, которые опосредуют социальные изменения, связанные с Интернетом, и объединяют онлайн- и офлайн-социальность в единое пространство.

Ключевые слова: интернет-исследования, социальные исследования Интернета, онлайн-сообщества, цифровое неравенство, социальный капитал, общественное здоровье и медицина, социальные медиа, политика онлайн

© Рыков Ю. Г., 2017

© Нагорный О. С., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-366-394

* Статья подготовлена по материалам исследования, проведенного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 году. Авторы также выражают благодарность И. А. Климову за ценные советы и критические замечания, высказанные в ходе подготовки статьи.

Исследования Интернета (Internet Studies) — это междисциплинарное и мультидисциплинарное поле фундаментальных и прикладных исследований, объединяющее различные научные дисциплины и предметные области общим объектом исследования, которым является Интернет. Поскольку Интернет — это социально-технический феномен, дисциплины, входящие в это поле, можно разделить на два класса. Первые занимаются изучением технической стороны Интернета и рассматривают такие связанные с этим вопросы, как архитектура сетей, интернет-безопасность, web-разработка. Вторые изучают социальные аспекты Интернета. Среди основных социально-гуманитарных дисциплин, делящих между собой это поле, представлены социология, политология, психология, экономика, антропология и этнография, лингвистика и семиотика. Цель данной статьи — дать описание предметных областей, тематики и исследовательской повестки, которые конституируют поле исследований Интернета в социальных науках, поскольку они составляют ядро этой междисциплинарной области. Таким образом, статья представляет собой аналитический обзор литературы по основным направлениям исследований, которые внесли важный вклад в формирование современной повестки области интернет-исследований.

Что такое исследования Интернета?

Во введении к первому опубликованному справочнику по интернет-исследованиям содержатся рассуждения редакторов-составителей — Ч. Эсс и М. Консальво — на тему определения интернет-исследований, из которых следует, что предметную область составляют различные виды человеческого общения и социального взаимодействия, осуществляемые при помощи Интернета, а также их влияние и последствия во множестве контекстов повседневной жизни (Ess, Consalvo, 2011: 1-2). Рецензент книги заметил, что предметная область интернет-исследований в приведенном определении тяготеет к социальным наукам, а не техническим, причем скорее социологии и коммуникативистики (communication science), а не экономики, лингвистики или психологии (Van Dijk, 2013). Отметим, что понятия коммуникации и социального взаимодействия, использованные в определении предметной области, являются базовыми понятиями социологии.

Определение из другого руководства по интернет-исследованиям, изданного Оксфордским Институтом Интернета, также имеет крен в сторону социальных наук. Редактор издания, У. Даттон, полагает, что в фокусе исследований Интернета находятся социальные и культурные последствия, вызванные широким распространением и разнообразными практиками использования Интернета и связанных с ним информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также способы, с помощью которых люди формируют облик Интернета (Dutton, 2013: 2–3). В этом определении добавляется обратное влияние социального на Интернет, сети обретает самостоятельный интерес для исследователей.

Существует еще одна перспектива, идущая от исследований массмедиа, которая рассматривает исследования Интернета как отраслевую дисциплину наук о медиа и коммуникации. Согласно МакКуэйлу, медиатеория Интернета пытается концептуализировать различия новых и традиционных медиа в плане перераспределения информационного трафика, изменения моделей коммуникации между отправителями и получателями контента (McQuail, 2010).

Несмотря на заявления о принципиальной междисциплинарности, интернет-исследования имеют сильный крен в область социальных наук, прежде всего социологии и политологии, которые до сих пор являются основными поставщиками исследовательских задач. В последние годы под влиянием достижений в компьютерных науках, информатике и исследованиях искусственного интеллекта (машинном обучении), сложился новый тренд, который часто называют «Большие данные» (Big Data). Исследовательские задачи, включающие сбор и анализ «Больших данных» из Интернета, во многом ставятся и выполняются специалистами из сферы IT, математиками и программистами, поэтому сегодня исследования Интернета невозможно представить без сильного компонента технических наук. Область, смежная и во многом пересекающаяся с интернет-исследованиями, но имеющая в основе компьютерные науки, называется Web Science¹. Она изучает функционирование крупномасштабных социотехнических систем, таких как World Wide Web, и оперирует преимущественно данными, доступными из Интернета, так называемыми «цифровыми следами» — «естественными» данными, оставляемыми пользователями на сайтах социальных сетей и других интернет-платформах (Berners-Lee at al., 2006; Shneiderman, 2007).

Наконец, важно отличать интернет-исследования от онлайн-исследований². Несмотря на близость и даже частую синонимичность значений, эти термины отсылают к исследованиям на совершенно разных основаниях. В первом случае Интернет предстает в качестве объекта или предмета изучения, а во втором — является прежде всего средством и средой исследования, инструментом сбора данных. Интернет фигурирует в онлайн-исследованиях в связи с вопросами методики и техники эмпирических исследований, тогда как сами исследования могут быть посвящены проблемам, не связанным с самим Интернетом. Онлайн-исследования стали очень популярным инструментом в маркетинге, и существует много интернет-сервисов для панельных опросов населения³. Тем не менее эти области пересекаются, и объектом онлайн-исследований часто становится пользовательское поведение, например, читателей интернет-СМИ или аудитории продвигаемых в сети коммерческих брендов.

1. Термин «Web Science» может быть переведен на русский как наука о веб-сетях.

2. Синонимом онлайн-исследований в литературе является термин «e-Research». Используя термин «онлайн-исследования» для обозначения этой области, мы апеллируем в первую очередь к серии российских научных изданий «Онлайн-исследования в России» (Шашкина, Девятко, Давыдова, 2010; 2012).

3. См. например: Harris Poll Online, American Consumer Opinion и др.

Структура предметной области и тематический репертуар интернет-исследований

Область интернет-исследований включает в себя широкий спектр теоретических и эмпирических направлений, исследовательских проблем и тем. Для получения полного представления об этой сфере исследований необходимо рассмотреть структуру предметной области и тематический репертуар интернет-исследований. Структура предметной области включает теоретико-методологические подходы и большие исследовательские вопросы, поднимаемые в рамках области.

Рассмотрим описание структуры предметной области, представленное У. Даттоном (Dutton, 2013). Он структурирует поле интернет-исследований по изучаемым объектам и обобщенным исследовательским вопросам. Он пишет, что интернет-исследования разведены по трем различным, но тесно связанным объектам: 1) технология и инфраструктура Интернета, включая его дизайн и разработку; 2) практики пользования Интернетом, включая паттерны использования среди различных групп населения и контекстов использования; 3) правовое регулирование Интернета, включая законодательство и регулирование в области частной жизни, свободы слова и авторских прав. Применительно к каждому из объектов исследовательский интерес составляют следующие вопросы: 1) Кто и как придает форму Интернету? 2) Почему? Какие структуры, смыслы, цели и ценности влияют на изменения Интернета? 3) С какими последствиями и для кого происходят эти изменения?

В рамках первого объекта исследований находит свое место технологический детерминизм, подчеркивающий важность технической основы Интернета как решающего фактора его воздействия. Имеется и обратный императив, конструктивистский — технодетерминизму противостоит поиск социального и культурного влияния в разработке и технических особенностях Интернета. Здесь также находят свое приложение такие направления, как исследования науки и техники (science and technology studies), акторно-сетевая теория (actor-network theory), изучение взаимодействий человек-компьютер (human-computer interaction), социальное конструирование технологий и др. Согласно Даттону, исследования практик пользования Интернетом укладываются в три обобщенных контекста использования: в повседневной жизни, в профессиональной деятельности, в контексте современных массмедиа. Наконец, третья область предполагает изучение политико-правового регулирования Интернета. Здесь поднимаются вопросы, связанные с авторским правом, интеллектуальной собственностью, неприкосновенностью частной жизни и этикой использования персональных данных (Floridi, 2013), свободой слова и самовыражения в пространстве Интернета. Даттон замечает, что исследования чаще всего мотивированы и направлены не на продвижение конкретной теории, а на решение социальных проблем, например, таких как сужение цифрового разрыва.

Иной вариант структурирования поля исследований Интернета в повседневной жизни предлагает М. Бакардиева, которая помещает в основу систематизации три эпистемологические перспективы социологии: позитивистскую, интерпретативную и критическую (Bakardjieva, 2011). Каждая из них определяет набор ключевых вопросов и соответствующую методологию. Позитивистский подход предполагает количественные (статистические) методы и ставит вопросы: кто находится онлайн, сколько времени затрачивается, какие действия совершаются, и другие. В рамках интерпретативного подхода используется качественная методология и интерес вызывают вопросы: почему люди используют Интернет, какое значение придадут этому, как это влияет на их жизненный мир. Наконец, критический подход к изучению Интернета отличается своим нормативным измерением. К чему приводит использование Интернета: к расширению свобод и возможностей людей или к их большему угнетению, к сглаживанию социального неравенства или его обострению, к отчуждению и эксплуатации людей — вот вопросы, поднимаемые в рамках критического подхода.

Приведенные выше способы систематического описания структуры поля интернет-исследований создают метапредставление о научном поле, существующих теоретических рамках и проблемах. Рассмотрим тематический репертуар интернет-исследований для более глубокого понимания исследовательской повестки и тематики.

Коллектив авторов из Китая составил тематическую карту интернет-исследований на основе анализа более чем 27 тыс. публикаций из реферируемых журналов по социальным наукам, индексируемых в Social Sciences Citation Index (SSCI) и Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Института научной информации (ISI) и ресурса Web of Science (Tai-Quan Peng at al., 2013). Авторы статьи проанализировали тексты аннотаций и ключевые слова с помощью метода кластеризации, в результате чего сгруппировали публикации в несколько направлений (рис. 1). Заметим, что данная схема не дает представления о существовании исследовательских проблем, а лишь определяет границы исследовательских направлений.

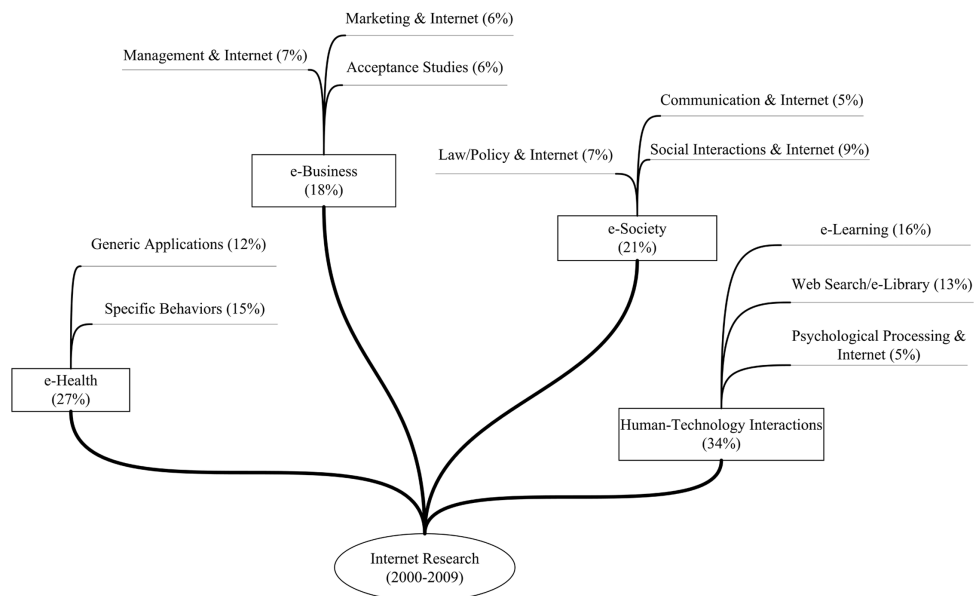


Рисунок 1. Древо направлений внутри области интернет-исследований
(воспроизведен по Tai-Quan Peng et al., 2013)

В 2001 году вышла широко цитируемая статья, в которой П. ДиМаджио и соавторы составили список ключевых тем и вопросов исследований Интернета с социологической перспективы (DiMaggio et al., 2001). По словам авторов, интерес социологии направлен на совокупность социальных последствий, на общественные изменения, происходящие под влиянием коммуникационной среды Интернета. Авторы выделяют ряд направлений, соответствующих различным сферам общественной жизни, в которых происходят институциональные трансформации. Выделено пять основных тем исследований влияния Интернета на общество: 1) социальное неравенство и «цифровой разрыв»; 2) политическое участие; 3) организации и другие экономические институты; 4) сообщества и социальный капитал; 5) культурные индустрии и культурное разнообразие. Выделенные направления исследований к настоящему моменту стали классическими и не теряют своей актуальности, однако за время, прошедшее с момента публикации статьи, произошли заметные изменения, и область обогатилась новыми знаниями и вызовами. Отталкиваясь от логики ДиМаджио и ориентируясь на сборник «Society and the Internet: How Networks of Information and Communication are Changing Our Lives» (Graham, Dutton, 2014), мы приводим собственный список ключевых тем и вопросов исследовательской повестки социальных исследований Интернета:

- 1) Интернет и социальное неравенство: «цифровые разрывы»
- 2) Онлайн-сообщества: структура и функционирование
- 3) Интернет и динамика социального капитала

- 4) Интернет и политика: электоральные компании, социальные движения и протестная мобилизация
- 5) Интернет и экономика: электронная коммерция и использование в бизнесе
- 6) Киберкультура и культурные трансформации
- 7) Интернет в социальной сфере: образование, здравоохранение и медицина, наука, религия

Помимо этих областей полезно отдельно выделить две основные теоретические парадигмы социальных исследований Интернета:

- 1) Интернет и концепция сетевого общества
- 2) Критические исследования Интернета и новых медиа

Рассмотрим подробнее некоторые из этих направлений.

Интернет и социальное неравенство: «цифровые разрывы»

Исследования «цифрового разрыва» (digital divide) представляют одну из главных тем социологии Интернета и имеют наиболее долгую историю. Центральный вопрос в рамках изучения цифрового разрыва касается распространения и доступности Интернета среди различных групп и категорий населения. Изначальной посылкой в данных исследованиях служит представление, что доступ к Интернету и информации является безусловным благом и ресурсом, расширяющим социальные возможности пользователей и повышающим жизненные шансы. Следовательно, те, кто имеет доступ и эффективно пользуется Интернетом, занимают выигрышное положение по сравнению с теми, кто этого доступа лишен. Таким способом Интернет воспроизводит или трансформирует систему социального неравенства. Понятие «цифрового разрыва» предполагает, что дифференциация населения на имеющих и не имеющих доступ к Интернету является дополнительным фактором неравенства, добавляемым к уже имеющимся источникам расслоения. В свою очередь, неравный доступ к Интернету связывается с влиянием демографических и социально-экономических различий, таких как пол, возраст, уровень доходов, уровень образования, этническая принадлежность, регион проживания и тип населенного пункта. Согласно данным большого исследования, проведенного в рамках Pew Internet & American Life Project, наиболее точными предикторами интенсивности и экстенсивности пользования Интернетом⁴ являются уровни дохода и образования (Witte, Mannon, 2010).

Теоретически существует три варианта эффектов воздействия распространения и использования Интернета на социальное неравенство (Hargittai, Hsieh, 2013). В случае если Интернет распространен преимущественно среди верхних слоев общества, то социальное неравенство и исключение усугубляются; такая модель социального эффекта называется «богатый становится богаче». Если обеспечивается равный доступ среди различных слоев населения, то социальное неравенство

4. Интенсивность означает частоту и регулярность использования Интернета. Экстенсивность отсылает к качеству пользования и означает разнообразие практики и целей.

остаётся на прежнем уровне. Если пользу от доступа к Сети прежде всего получают депривированные и маргинальные группы населения, неравенство сглаживается. В конечном счете связь между социально-экономическим статусом и владением цифровыми ресурсами обоюдно направленная, поэтому традиционные формы неравенства и цифровое неравенство могут усиливать друг друга (Van Dijk, 2005).

На ранних этапах изучения данной проблемы индикаторы цифрового неравенства были весьма «грубыми» и ограничивались материальным аспектом индивидуальной практики: наличие и качество компьютерной техники и программного обеспечения, физический доступ к сети Интернет, число мест с доступом к Сети или автономность доступа, скорость соединения. Когда в развитых странах проникновение Интернета достигло высокого уровня и доступ к Сети перестал быть проблемой, тогда на передний план вышли показатели пользования: навыки пользователей, цели использования, тематика искомой информации, функционал посещаемых сервисов и др. Согласно эмпирическим данным, образованные и материально обеспеченные люди чаще применяют Интернет для получения информации и установления дальних социальных связей, что, в свою очередь, увеличивает их социальный, экономический и культурный капитал (Hargittai, 2008). Образцовое исследование современного состояния цифрового разрыва в России на эмпирических данных показало, что, несмотря на уменьшение неравенства в сфере доступа, цифровое неравенство в целях использования увеличивается (Волченко, 2016). Таким образом, на современном этапе исследований существует сложная концепция цифрового разрыва, включающая по меньшей мере два уровня: цифровой разрыв первого уровня связан с материальными характеристиками доступа к ИКТ, разрыв второго уровня — с характеристиками использования (навыки и цели).

В рамках дискуссии цифрового разрыва также принято говорить о неравномерном доступе к вниманию аудитории пользователей (DiMaggio et al., 2001). В эпоху Web 1.0 исследователи отмечали, что на крайне малую долю веб-сайтов приходится подавляющая часть интернет-трафика и подавляющее число гиперссылок. Инфраструктура Интернета и поисковые машины играли решающую роль в распределении внимания между сайтами, что сближает Интернет с традиционными массмедиа. В эпоху социальных медиа и пользовательского контента неравномерное распределение внимания становится характеристикой индивидуальных пользователей и появляется еще один разрыв — виртуальное расслоение пользователей. Таким образом, в концепции цифрового неравенства намечается разрыв третьего уровня, связанный с неравномерным распределением внимания, признания и репутации пользователей, влияющих на получение выгоды (Wasko, Faraj 2005; Van Deursen, Helsper, 2015; Рыков, 2015; Ragnedda, 2017).

Актуальные вопросы изучения цифрового разрыва сегодня следующие: какие именно преимущества и выгоды соответствуют разным возможностям доступа, уровням навыков и типам пользования? Как человеческий, финансовый, культурный и социальный капитал меняется в результате использования Интернета? С какими последствиями сталкиваются те, кто исключен из Сети?

Онлайн-сообщества: структура и функционирование

Феномен виртуальных сообществ является одной из основных тем, привлекающих внимание исследователей. Понятие «виртуальное сообщество» (или «виртуальная община») впервые в социологический дискурс ввел Г. Рейнгольд в одноименной книге, посвященной описанию сообщества WELL. Автор дает следующее определение: виртуальное сообщество — «это социальное образование, которое появляется на основе практики компьютерно опосредованной коммуникации в Интернете, когда достаточное количество людей принимает участие в публичной дискуссии достаточно долгое время и с присущими человеческими чувствами, чтобы сформировать ткань личных отношений в виртуальном пространстве» (Rheingold, 1993). Рейнгольд указал на рождение качественно нового вида социальных общностей, которые стали возможны только благодаря Интернету. Признаками, отличающими виртуальные сообщества от обычных сообществ, являются: отсутствие географических и политических границ, разнообразие оснований и мотивов для объединения и взаимодействия людей (как следствие — разнообразие отношений и тематических контекстов коммуникации). Важно также различие между виртуальными сообществами и другими формами социальности, возникающими на основе компьютерно-опосредованной коммуникации. Ключевым признаком является наличие (полу-)публичной коммуникации, позволяющей общение многих со многими, и плотной ткани отношений между пользователями.

Первоначально научная проблематика изучения онлайн-сообществ заключалась в выяснении их природы, причин возникновения, мотивов участия, а также оказываемых влияние на жизнь эффектов, поэтому традиционной исследовательской задачей была и остается разработка классификаций и типологий онлайн-сообществ. В литературе существует масса классификаций, в основе которых лежат различные принципы. Например, в качестве таковых могут выступать цели сообщества и мотивы участия (Розина, 2009); основные функции и технология веб-сервиса (Smith, Kollock, 1999); соотношение производящих и потребляющих контент участников (Hansen, Shneiderman, Smith, 2010); тематика общения и взаимодействия; степень сопряжения с офлайн-пространством (Garcia et al., 2009). Интересна типология, предложенная Козинцем (Kozinets, 2010), который различает сообщества по двум параметрам: тематическая ориентация и плотность отношений между пользователями (рис. 2). Другими важными вопросами, волнующими исследователей, остаются вопросы о формировании и распаде онлайн-сообществ, об их жизненном цикле и проблема идентичности их членов (Kendall, 2011).

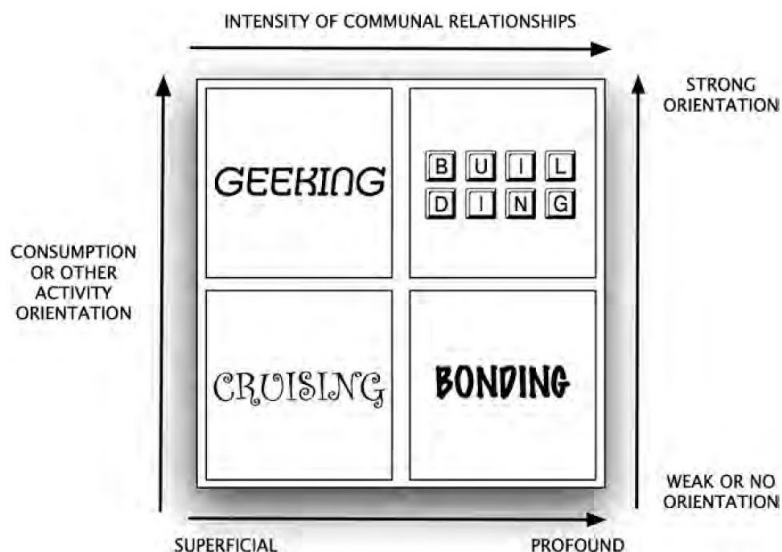


Рисунок 2. Матрица типов онлайн-сообществ
(воспроизведен по Kozinets, 2010)

На современном этапе исследовательский интерес сфокусирован на структуре и функционировании онлайн-сообществ различных типов, а также на изучении паттернов онлайн-поведения участников, в том числе конфликтов и сотрудничества. Ведущие западные социологи (см. напр.: Castells, 2001; Wellman, 2001; Wellman, Boase, Chen, 2002; Raine, 2012) считают, что пользовательская структура онлайн-сообществ представляет собой горизонтальную сеть и строится по принципам сетевого индивидуализма. Согласно концепции сетевого индивидуализма, в Интернете преобладают горизонтальные отношения, основанные на свободном общении, автономности и равенстве участников. Существует иная точка зрения, согласно которой в основе онлайн-сообществ лежат пользовательские различия и иерархические отношения (Reid, 1999; Бондаренко, 2004; O'Neil, 2009; Рыков, 2013). Неравномерное распределение внимания, репутации и социальных связей способствует формированию виртуальных элит и структурных неравенств между пользователями. Таким образом, исследования виртуальных социальных структур вращаются вокруг концептуальных дихотомий: «иерархия или сеть»/«неравенство или эгалитаризм» (Рыков, 2015).

Еще одной важной темой, тесно связанной с изучением структуры сообществ, является проблематика власти и социального влияния в интернет-пространстве. На уровне эмпирических данных эта проблематика пересекается с темой исследования онлайн-лидерства, в которой уже получены значительные результаты (Hogan, 2008; Ganley et al., 2009; Huffaker, 2010; Probst, Grosswiele, Pflieger, 2013). Исследования онлайн-лидерства направлены на выявление влиятельных пользова-

телей и объяснение их господствующего положения с помощью других характеристик их поведения. Как правило, структура сообществ состоит из небольшого ядра лидеров и большого числа периферийных пользователей (Van Mierlo, 2014). Эти результаты также могут быть интерпретированы в рамках концепции цифрового разрыва и темы социального неравенства.

Интернет и динамика социального капитала

Феномен возникновения новых общностей и возможность налаживать социальные связи в Интернете переформатирует исследовательскую проблему изучения групп и социального капитала, поднимая вопросы о его изменении, влиянии и значении. На раннем этапе изучения динамики социального капитала в эпоху Интернета исследования были тесно связаны с социальной проблемой интернет-зависимости и социальной изоляцией, и формулировка исследовательской проблемы носила нормативный характер: как практика пользования Интернетом сказывается на поддержании контактов и социального капитала пользователя — позитивно или негативно (Wellman, Boase, Chen, 2002)? Какие связи поддерживаются и налаживаются посредством Интернета, а какие утрачивают свое значение? Поддерживается ли посредством Интернета связь с уже знакомыми людьми из реальной жизни? Способствует ли опыт общения в Интернете повышению обобщенного доверия к другим?

ДиМаджио и соавторы указывают, что результаты исследований свидетельствовали в пользу как одной, так и другой точки зрения (DiMaggio et al., 2001). С одной стороны, более частое использование Интернета снижает вовлеченность в другие сферы деятельности (Kraut et al., 1998) и связано с сокращением социального круга, от чего пользователи могут страдать от одиночества и депрессии. Другое исследование показало, что чем больше времени пользователи проводят в Интернете, тем меньше времени проводят с семьей, друзьями и вне дома (Nie, Erbring, 2000). Однако повторное исследование дало противоположные результаты: исчезновение негативных эффектов и положительное влияние использования Интернета на поддержание контактов с социальным окружением (Kraut et al., 2002). Катц и Райс также указали, что использование Интернета не только не приводит к разрушительным последствиям для социального капитала, но даже может стать полезным для его накопления (Katz, Rice, 2002). По мнению Киттилсона и соавторов, онлайн-активность, основанная на существующих личных сетях, укрепляет близкие связи (*bonding relationships*), а интеракция, выходящая за рамки непосредственных личных сетей, такая как общение с людьми из других стран или с незнакомцами, может налаживать далекие связи (*bridging relationships*) (Kittilson, Dalton, 2010).

Многие эмпирические исследования (Haythornthwaite, 2002; Donath, boyd, 2004; Ellison, Steinfield, Lampe, 2007) показали, что использование Интернета и, в частности, сайтов социальных сетей (например, Facebook) связано с различными ви-

дами социального капитала, в том числе с установлением и накоплением слабых связей, преодолевающих структурные дыры (bridging social capital). Согласно результатам этих эмпирических исследований, более интенсивное использование сайта Facebook связано с большим объемом сближающего (bonding) и преодолевающего (bridging) социального капитала (Ellison, Steinfield, Lampe, 2007; Johnston et al., 2013). Авторы некоторых работ проводят более глубокий анализ и оценивают, какие именно функции и способы использования сайтов социальных сетей влияют на доступность социального капитала. Среди таких функций и практик рассматриваются: добавление в «друзья», частота размещения постов на своей странице, реакции на чужой контент (Bohn et al., 2014), публикация запросов помощи (Ellison et al., 2014). В частности, авторы установили, что положительное влияние на социальный капитал наблюдается до некоторых пределов (например, до достижения 400–600 «друзей»), а после их преодоления эффекты теряют устойчивость и могут быть прямо противоположными. Также есть исследования, которые опираются не на опросные методы и шкалы измерения воспринимаемого социального капитала, а на структурное понимание социального капитала как совокупности и разнообразия связей, существующих в эгоцентричных сетях (например, связей «дружбы» в случае Facebook; Brooks et al., 2014; Shen, Cage, 2015).

Социальный капитал связан не просто с использованием Интернета, но с участием в онлайн-сообществах, которые становятся источником накопления социального капитала. В фокусе исследований влияния онлайн-сообществ на социальный капитал находится изучение условий, при которых сообщества могут увеличивать или снижать социальный капитал участников. Исследование сайта молодых матерей показало, что онлайн-сообщество, образованное участниками сайта, существенным образом повышает социальный капитал матерей, пока они находятся в некоторой изоляции из-за необходимости ухода за ребенком (Drentea, Moren-Cross, 2005). Положительные эффекты социального капитала данного сообщества заключаются в предоставлении эмоциональной поддержки, информации и помощи кормящим матерям.

Интернет и политика: электоральные компании, социальные движения и протестная мобилизация

Влияние Интернета на политические процессы, пожалуй, наиболее популярная и заметная тематика в последние годы. В фокусе многих исследований оказывается влияние Интернета на становление и развитие демократических институтов в странах всего мира. Представления, ассоциирующие использование Интернета с развитием демократических процессов, сформировались в результате распространения сервисов Web 2.0, подразумевающих партисипаторное поведение пользователей. Техническая возможность высказываться и потенциально достигать большую аудиторию, доступная любым пользователям, рассматривается исследователями как фундаментальная предпосылка развития демократических инсти-

тутов, способствующая плюрализму мнений. Общий исследовательский вопрос в рамках исследования политических процессов — как присутствие и активность в социальных медиа граждан и других политических акторов способна влиять и менять реальную политическую практику, институты и мобилизовать людей на политическое участие.

Наиболее простым примером конвенционального влияния Интернета на политические процессы являются изменения в ведении предвыборной агитации во время избирательных кампаний. Хрестоматийный пример успешного использования социальных медиа в политической агитации — электоральная кампания Б. Обамы на президентских выборах в США 2008 года и использование усовершенствованной таргетированной рекламы на основе «больших данных» в электоральной кампании Д. Трампа на выборах 2016 года (Menczer, 2016). Исследования предвыборных кампаний строятся вокруг трех важных аспектов. Во-первых, Интернет предоставляет гражданам доступ к богатым информационным ресурсам, связанным с политикой. Во-вторых, кандидаты и партии могут выстраивать отношения со своими сторонниками с меньшими издержками. В-третьих, что наиболее фундаментально для демократии, Интернет содействует широкой общественной дискуссии по вопросам повестки дня и электоральной кампании (Lilleker, 2013).

Наиболее яркий пример радикальной трансформации политической системы под воздействием Интернета — череда массовых протестов в арабских странах (Египет, Тунис и др.), получивших название «Арабская весна» и приведших к значительным последствиям, вплоть до свержения правительств и смены политического режима. Многие эксперты отмечают, что Интернет сыграл едва ли не решающую роль в успехе этих протестных движений. Предполагается, что новые медиа способствовали изменению самой логики коллективных действий и выполняли ряд важных функций: источник альтернативных новостей; среда распространения протестной коммуникации и информации; поиск людей и рекрутинг новых участников; координация коллективных действий (назначение времени и места); возможность оценки масштаба протеста и принятие решения об участии.

Некоторые исследователи полагают, что микроблоги, в частности Twitter, способствуют нереципрокному обмену информацией, т. е. общению, а скорее, обеспечивают стремительное распространение новостей (Kwak et al., 2010). Поведение пользователей сервиса Twitter по распространению информации напоминает модели двухступенчатой коммуникации (Katz, Lazarsfeld, 1955) или диффузии инноваций (Rogers, 1983), так как передача информации происходит в цикле от одного к множеству других. Таким образом, информационные потоки в новых медиа являются любопытной комбинацией широкого медиавещания и межличностной передачи информации. Считается, что благодаря такой механике коммуникации происходит изменение логики коллективных действий и открываются широкие возможности для мобилизации населения.

Для проверки гипотез о роли и значимости Интернета в массовых протестах используются в основном два самостоятельных подхода к исследованию: изуче-

ние интернет-коммуникации путем сбора данных из Интернета (Gonzalez-Balio, Borge-Holthoefer, Moreno, 2013); и изучение участников традиционными социологическими методами опроса и интервью (Van Laer, 2010).

В рамках первого вида исследований собираются большие массивы данных из различных интернет-ресурсов и анализируются информационные потоки, их динамика и структура. Так, группа исследователей (Lotan et al., 2011) проанализировала массив твитов, собранных в период обострения и кульминации массовых протестов в Египте и Тунисе. Их интересовало, как различаются информационные потоки в зависимости от того, кто их инициирует, какие типы и как много пользователей вовлекается в поток? Как каждый тип пользователей генерирует и распространяет информацию через свои сети? Исследователи разработали классификацию пользователей и разбили их на две группы: в первую вошли аккаунты крупных СМИ, известных журналистов и авторитетных региональных и международных политиков; во вторую — участники, активно пользующиеся Twitter: активисты, блогеры и даже боты. Выяснилось, что информация о протестах распространялась в Twitter благодаря непосредственным участникам митингов и только затем журналистами и агентами СМИ. Отсюда авторы делают вывод о ключевой роли Интернета в успехе революционного восстания.

К аналогичному выводу пришли и российские авторы, которые изучали дискурсивные практики участников различных интернет-сервисов, включая Живой Журнал, Facebook и Twitter, методом качественного контент-анализа (Ваньке, Ксенофонтова, Тартаковская, 2014). Согласно результатам их исследования, причина успеха протестной мобилизации москвичей в декабре 2011 года (митинги на Болотной пл. и пл. Сахарова) — это эффект интерактивного Интернета, с помощью которого публичные события (фальсификации на думских выборах) перешли в плоскость личных переживаний и послужили мотивом коллективах действий.

В рамках второго подхода участников протестов опрашивают о причинах и мотивах их участия, о том, кто пришел вместе с ними, а также о том, какими источниками информации и средствами коммуникации они пользуются. Согласно результатам авторитетного исследования «Tahrir Data Project» (Wilson, Dunn, 2011), Интернет и социальные медиа использовались протестующими в Каире гораздо реже, чем традиционные СМИ: спутниковое телевидение и печатные издания. Опрос в рамках «Tahrir Data Project» показал, что устная речь лицом к лицу и общение по телефону воспринимались протестующими как самые важные для их собственной позиции, самые информативные и самые мотивирующие для участия в протестных акциях. Делается вывод, что социальные медиа не имеют решающего значения и не являются настолько важным средством коммуникации и координации действий протестующих, как полагают сторонники Twitter-революции. Их роль преувеличивается.

Интернет в социальной сфере

В качестве иллюстрации исследований Интернета в социальной сфере мы рассмотрим частное влияние Интернета на институты образования и общественного здоровья. Новые формы и форматы образования, возникшие вследствие влияния Интернета, получили обобщенное название «электронное обучение» (e-Learning). Исследователи, изучающие электронное обучение, прежде всего различают сферу образования на формальную и неформальную и рассматривают роль Интернета в трансформации каждой составляющей отдельно. Отмечается, что хотя влияние Интернета на сферу неформального обучения вызвало ощутимо больший преобразующий эффект по сравнению с изменениями в формальном образовании, изменения в обоих контекстах имеют скорее краткосрочные и маломасштабные эффекты (Davies, Eynon, 2013).

В целом образовательный процесс претерпевает заметные изменения не только из-за появления виртуальных университетов, предлагающих сертифицированные онлайн-курсы по разным образовательным программам и открывающих возможность дистанционного обучения, но также вследствие самоорганизации учащихся в онлайн-группы для образовательной коммуникации, например, на базе социальных интернет-сетей. Исследователей интересует, как появление академических онлайн-групп влияет на образовательный процесс, на успеваемость студентов, как обмен знаниями и коллективная кооперация сказываются на решении образовательных задач. Исследование показало, что более интенсивное участие студентов в коммуникации внутри академических онлайн-групп подразумевает их лучшую успеваемость (Vaquero, Sebrían 2013). Кроме того, судя по полученным результатам, большая часть онлайн-интеракций происходит внутри небольшого круга преуспевающих учащихся, который формируется на первых неделях курса, куда впоследствии трудно попасть остальным, менее успешным студентам. Данные результаты и мнение других исследователей заставляют обратить внимание на то, что успех освоения знаний в существенной мере зависит от взаимодействия учащихся, в том числе посредством Интернета (Воронкин, 2014).

В контексте темы влияния Интернета на общественное здоровье и институты медицины рассматриваются такие практики и проявления использования Интернета, как поиск и потребление связанной со здоровьем информации (Cline, Haynes, 2001; Morahan-Martin, 2004), использование пациентами интернет-порталов клиник и больниц для получения медицинских услуг, общение и поддержка в рамках тематических онлайн-сообществ (Coursaris, Liu, 2009; Setoyama, Yamazaki, Namayama, 2011), наконец, взаимодействие пациентов с врачами (Santana et al., 2010; Heaton, 2011). Эти практики пользования Интернетом, а также прочими информационными технологиями в рамках здравоохранения и медицины получили специальное обозначение — электронное здоровье (e-Health). Примеры проникновения Интернета в сферу здравоохранения касаются распространенных проблем и заболеваний, например, таких как отказ от курения (Cobb, Graham, Abrams,

2010), ожирение и лишний вес (Vandelanotte et al., 2009), диабет (Chomutare et al., 2013), ВИЧ/СПИД (Рыков, Кольцова, Мейлахс, 2016), онкологические заболевания (Blank, Adams-Blodnieks, 2007; Himelboim, Han, 2014), психические расстройства (Carron-Arthur et al., 2016).

Привлекательным аспектом развития электронного здоровья с исследовательской точки зрения является распространение онлайн-сообществ, объединяющих пользователей со сходными интересами по вопросам здоровья и медицины с целью обмена опытом, получения советов, оказания эмоциональной и моральной поддержки. Такие сообщества также называются группами поддержки или самопомощи. Существуют противоречивые данные о полезности таких сообществ для участников, однако независимо от этого группы самопомощи продолжают существовать и остаются востребованными. Показательным в этом плане является исследование сообщества матерей детей, родившихся с генетическими нарушениями, которое выявило, что наибольшим доверием и ценностью как источником информации пользуются не доктора, а другие родители (Schaffer, Kuczynski, Skinner, 2008).

Авторы другого авторитетного исследования, оценивающего положительные и отрицательные эффекты онлайн-сообществ, подчеркивают, что ценность информации от первого лица, необходимость устанавливать отношения с равными, а также запоминаемость личных историй являются ключевыми особенностями электронного здоровья и влияния Интернета на здравоохранение (Ziebland, Wyke, 2012). В результате своего исследования они приходят к выводу, что существует несколько областей, в рамках которых виртуальный опыт пациентов может повлиять на общественное здоровье. Помимо упомянутых в нашем обзоре, к этим областям также относятся: взаимоотношение со службами здравоохранения, визуализация болезни и опыт повествования о своей истории.

Интернет и концепция сетевого общества

Поле интернет-исследований конституировано не только богатой традицией эмпирических (data-driven) исследований, но и вкладом больших социологических теорий в концептуализацию феномена Интернета и своим видением соответствующих исследовательских проблем. Наиболее разработанной и распространенной теоретической рамкой интернет-исследований являются концепции сетевого общества (Castells, 2000) и сетевого индивидуализма (Wellman, 2001; Rainie, Wellman, 2012), описывающие социальные изменения современной эпохи. Данные концепции существенно повлияли на научное мышление и эпистемологию социальных исследований Интернета и представляют собой теоретический мейнстрим большинства исследований в этой области (Qiu, 2013).

Концепция сетевого общества рассматривает социальную структуру как часть глобального процесса общественных изменений, ключевой характеристикой которого является переход от территориальных иерархических сообществ к гори-

зонтальным сетям как основе социальности (Рыков, 2015). В рамках концепции сетевого общества Интернет явился драйвером, ускоряющим формирование сетевой организации, и инфраструктурой, обеспечивающей материальную поддержку сетям межличностных отношений и способствующей усилению роли слабых связей.

Исследования, основанные на этих концепциях, как правило, фокусируются на эгалитарном и эмансипирующем потенциале Интернета и новых медиа, влиянии присущих им механизмов социальной самоорганизации на формирование общественных движений, укрепление институтов гражданского общества, развитие новой публичной сферы и другие случаи освобождения общественных отношений от структурных ограничений и традиционных форм неравенства.

Критические исследования Интернета и новых медиа

Другое заметное направление изучения Интернета, использующее познавательные ресурсы большой теории, связано с марксистской интеллектуальной традицией и критической теорией общества (Fuchs, Dyer-Witheford, 2013). Критические исследования Интернета и новых медиа рассматривают последние в рамках широкого социального контекста капиталистического общества — как вписанные в разнообразные структуры неравенства, в том числе производственные отношения и отношения власти, которые оказывают решающее воздействие на инфраструктуру Интернета, механику и дизайн веб-сервисов, наконец, на практику и последствия его использования. В фокусе критического подхода к Интернету оказываются такие понятия, как цифровой труд, эксплуатация пользователей, коммодификация персональной информации, политическая экономия платформ социальных медиа. В идеологическом плане критическое направление исследований Интернета противостоит теориям сетевого общества и сетевого индивидуализма, а наиболее активными авторами, внесшими основной вклад в развитие направления, являются Ян ван Дейк (Van Dijk, 2012), Норберт Больц (Больц 2011, 2014) и Кристиан Фукс.

Критика направлена в первую очередь против представления о том, что Интернет делает общество более равным и свободным, что возможности, связанные с его использованием, распределены симметрично и доступны всем в одинаковой степени. Фукс отмечает корпоративную колонизацию социальных медиа и ассиметричное распределение выгод, то, что основное внимание сконцентрировано вокруг крупных компаний и СМИ, а также знаменитостей и известных политиков, т. е. обусловлено офлайн-социальной структурой. Такие интернет-гиганты, как Google, Facebook или YouTube, используют модели накопления капитала, основанные на эксплуатации неоплачиваемого цифрового труда интернет-пользователей, на коммодификации данных, производимых пользователями, и данных о пользовательском поведении, которые в конечном счете продаются как товар рекламодателям (Fuchs, 2014). В рамках критического анализа социальных медиа поднимаются диалектические вопросы: какие существуют альтернативы домини-

рующим социальным медиа, как должны выглядеть подлинно эгалитарные социальные медиа, которые способствуют формированию публичной сферы, партиципаторной демократии?

Методы интернет-исследований

В завершение остановимся на кратком описании методов интернет-исследований (online/digital/virtual research methods). Рассмотрим три основных метода, с помощью которых анализируют собранные из Интернета данные.

Метод анализа социальных сетей (Social Network Analysis) — традиционный метод социологии, корни которого уходят в социометрию Морено. Технически сетевой анализ является приложением математической теории графов к социологическим данным. Новые медиа являются источником множества сетевых данных, поэтому не удивительно, что сетевой анализ стал особенно популярен, фактически обрел новую жизнь в интернет-исследованиях (Garton, Haythornthwaite, Wellamn, 1997). Сети гиперссылок, виртуальной «дружбы» (Catanese et al., 2012), коммуникации, комментирования, упоминания, подписок, рекомендаций и выставления оценок — все эти виды связей могут быть смоделированы и проанализированы с помощью данного метода. Он хорошо подходит для изучения структуры онлайн-сообществ и структуры публичных дискуссий (Smith et al., 2014), социального влияния и выявления лидеров мнений, тестирования моделей распространения информации, слухов, новостей (information diffusion). С помощью этого метода можно также анализировать лонгитюдные данные, что позволяет изучать динамику сетей, сообществ, процессы их эволюции и факторы формирования (Backstrom et al., 2006). Применение сетевых алгоритмов в отношении связей индивидов, социальных групп и других типов объектов, например, товаров, медиаконтента, онлайн-сообществ, сайтов, магазинов и т. д., широко востребовано в современном маркетинге и рекламе. Инструменты SNA позволяют находить компаниям новых клиентов, усиливать персонафицированность рекламы, замерять конкуренцию в онлайн-среде, повышать продажи.

Автоматический анализ текстов (Text Mining). Интернет является не только источником данных о связях между различными информационными объектами, страницами, пользователями, но и хранилищем огромных массивов текстовой информации. Объемы текстовых данных настолько велики, что вручную их крайне трудно анализировать. Для этого разрабатываются специальные алгоритмы анализа текстов, цель которых — вычленив смысл, сгруппировать их с похожими по содержанию текстами (кластеризовать), получить некую количественную оценку, например, оценить отношение автора к описываемым явлениям или определить эмоциональную тональность коммуникации (sentiment-analysis) (Prabowo, Thelwall, 2009). В последнем случае используются дополнительные лингвистические инструменты, в том числе специальные словари. Особой задачей является те-

матическое моделирование, которое нашло свое приложение в изучении повестки дня и онлайн-общественного мнения в блогосфере (Koltsova, Koltcov, 2013).

Нетнография/сетевая этнография (Netnography) — качественный метод сбора и анализа данных, который представляет собой реализацию принципов этнографического полевого исследования в виртуальном пространстве. С помощью этого метода, как правило, исследуются ценности, идентичность, виртуальная культура онлайн-сообществ, паттерны поведения пользователей и отношения между ними (Kozinets, 2010).

Заключение

Описанные нами направления интернет-исследований имеют множество пересечений и взаимосвязей друг с другом, что частично подтверждает междисциплинарный статус этого поля и мотивирует использовать различные методологические подходы и методики к изучению интересующих явлений и объектов. Так, например, тема онлайн-сообществ является осевой и проходит сквозь все контексты использования Интернета и исследовательские темы: от микроструктурных изменений в повседневной жизни (например, способы налаживания и поддержания слабых связей) до макроскопических трансформаций в отдельных сферах жизни общества (политике, общественном здоровье). Несмотря на то что каждое из выделенных направлений имеет собственную предметную область, на их пересечении открывается перспектива более полного изучения механизмов, которые опосредуют социальные изменения, связанные с Интернетом, и объединяют онлайн- и офлайн-социальность в единое пространство.

Литература

- Больша Н. (2011). Азбука медиа / Пер. с нем. Л. Ионина, А. Черных. М.: Европа.
- Больша Н. (2014). Размышления о неравенстве. Анти-Руссо / Пер. с нем. И. В. Женина под ред. Я. Н. Охонько. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ.
- Бондаренко С. В. (2004). Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского государственного университета.
- Ваньке А., Ксенофонтова И., Тартаковская И. (2014). Интернет-коммуникации как средство и условие политической мобилизации в России (на примере движения «За честные выборы») // ИНТЕР. № 7. С. 44–73.
- Волченко О. (2016). Динамика цифрового неравенства в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 5. С. 163–182.
- Воронкин А. С. (2014). Социальные сети: эволюция, структура, анализ // Образовательные технологии и общество. Т. 17. № 1. С. 650–675.
- Розина И. Н. (2009). Виртуальные исследовательские сообщества: от зарубежных моделей к отечественным примерам // Образовательные технологии и общество. Т. 12. № 2. С. 389–408.

- Рыков Ю. Г. (2013). Виртуальное сообщество как социальное поле: неравенство и коммуникативный капитал // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. XVI. № 4. С. 44–60.
- Рыков Ю. Г. (2015). Сетевое неравенство и структура онлайн-сообществ // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. XVIII. № 4. С. 144–156.
- Рыков Ю. Г., Кольцова Е. Ю., Мейлахс П. А. (2016). Структура и функции онлайн-сообществ: сетевая картография ВИЧ-релевантных групп в социальной сети «ВКонтакте» // Социологические исследования. № 8. С. 30–42.
- Шапкина А. В., Девятко И. Ф., Давыдова С. Г. (ред.). (2010). Онлайн-исследования в России 2.0. М.: Северо-Восток.
- Шапкина А. В., Девятко И. Ф., Давыдова С. Г. (ред.). (2012). Онлайн-исследования в России 3.0. М.: Кодекс.
- Backstrom L., Huttenlocher D., Kleinberg J., Lan X. (2006). Group Formation in Large Social Networks: Membership, Growth, and Evolution // Proceedings of the 12th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM. P. 44–54.
- Bakardjieva M. (2011). Internet in Everyday Life: Diverse Approaches // Consalvo M., Ess C. (eds.). The Handbook of Internet Studies. Oxford: Blackwell. P. 59–82.
- Berners-Lee T., Hall W., Hendler J., O'Hara K., Shadbolt N., Weitzner D. (2006). A framework for Web science // Foundations and Trends in Web Science. Vol. 1. №1. P. 1–130.
- Blank T. O., Adams-Blodnieks M. (2007). The who and the what of usage of two cancer online communities // Computers in Human Behavior. Vol. 23. № 3. P. 1249–1257.
- Bohn A., Buchta C., Hornik K., Mair P. (2014). Making Friends and Communicating on Facebook: Implications for the Access to Social Capital // Social Networks. Vol. 37. P. 29–41.
- Brooks B., Hogan B., Ellison N., Lampe C., Vitak J. (2014). Assessing Structural Correlates to Social Capital in Facebook Ego Networks // Social Networks. Vol. 38. P. 1–15.
- Carron-Arthur B., Reynolds J., Bennett K., Bennett A., Cunningham J. A., Griffiths K. M. (2016). Community Structure of a Mental Health Internet Support Group: Modularity in User Thread Participation // JMIR Mental Health. Vol. 3. № 2. P. e20.
- Castells M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society. Cambridge: Blackwell.
- Castells M. (2001). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press.
- Catanese S., De Meo P., Ferrara E., Fiumara G., Provetti A. (2012). Chapter 12. Extraction and Analysis of Facebook Friendship Relations // Ajith A. (ed.). Computational Social Networks: Mining and Visualization. Berlin: Springer. P. 291–324.
- Chomutare T., Årsand E., Fernandez-Luque L., Lauritzen J., Hartvigsen G. (2013). Inferring Community Structure in Healthcare Forums: An Empirical Study // Methods of Information in Medicine. Vol. 52. № 2. P. 160–167.
- Cline R. J. W., Haynes K. M. (2001). Consumer Health Information Seeking on the Internet: The State of the Art // Health Education Research. Vol. 16. № 6. P. 671–692.

- Cobb N. K., Graham A. L., Abrams D. B. (2010). Social Network Structure of a Large Online Community for Smoking Cessation // *American Journal of Public Health*. Vol. 100. №7. P. 1282-1289.
- Coursaris C. K., Liu M. (2009). An Analysis of Social Support Exchanges in Online HIV/AIDS Self-Help Groups // *Computers in Human Behavior*. Vol. 25. № 4. P. 911-918.
- Davies C., Eynon R. (2013). Studies of the Internet in Learning and Education: Broadening the Disciplinary Landscape of Research // *Dutton W. H. (ed.). The Oxford Handbook of Internet Studies*. Oxford: Oxford University Press. P. 328-352.
- DiMaggio P., Hargittai E., Neuman W. Rassel, Robinson J. P. (2001). Social Implications of the Internet // *Annual Review of Sociology*. Vol. 27. P. 307-336.
- Donath J., boyd d. (2004). Public Displays of Connection // *BT Technology Journal*. Vol. 22. № 4. P. 71-82.
- Dutton W. H. (2013). Internet Studies: The Foundations of a Transformative Field // *Dutton W. H. (ed.). The Oxford Handbook of Internet Studies*. Oxford: Oxford University Press. P. 1-23.
- Ellison N. B., Steinfield C., Lampe C. (2007). The Benefits of Facebook «Friends»: Social Capital and College Students' Use of Online Social Network Sites // *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol. 12. № 4. P. 1143-1168.
- Ellison N. B., Gray R., Lampe C., Fiore A. T. (2014). Social Capital and Resource Requests on Facebook // *New Media & Society*. Vol. 16. № 7. P. 1104-1121.
- Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press.
- Fuchs C. (2014). *Social Media: A Critical Introduction*. London: SAGE.
- Fuchs C., Dyer-Witheford N. (2013). Karl Marx @ Internet Studies // *New Media & Society*. Vol. 15. № 5. P. 782-796.
- Ganley D., Lampe C. (2009). The Ties that Bind: Social Network Principles in Online Communities // *Decision Support Systems*. Vol. 47. P. 266-274.
- Garcia A. C., Standlee A. I., Bechkoff J., Cui Y. (2009). Ethnographic Approaches to the Internet and Computer-Mediated Communication // *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 38. № 1. P. 52-84.
- Garton L., Haythornthwaite C., Wellamn B. (1997). Studying Online Social Networks // *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol. 3. № 1.
- Gonzalez-Balio S., Borge-Holthoefer J., Moreno Y. (2013). Broadcasters and Hidden Influentials in Online Protest Diffusion // *American Behavioral Scientist*. Vol. 57. № 7. P. 943-965.
- Graham M., Dutton W.H. (eds.). (2014). *Society and the Internet: How Networks of Information and Communication are Changing Our Lives*. Oxford: Oxford University Press.
- Hansen D. L., Shneiderman B., Smith M. A. (eds.). (2010). *Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from a Connected World*. New York: Elsevier.
- Hargittai E. (2008). The Digital Reproduction of Inequality // *Grusky D. (ed.). Social Stratification*. Boulder: Westview. P. 936-944.

- Hargittai E., Hsieh Y. P. (2013). Digital Inequality // *Dutton W. H. (ed.). The Oxford Handbook of Internet Studies*. Oxford: Oxford University Press. P. 129–150.
- Haythornthwaite C. (2002). Strong, Weak, and Latent Ties and the Impact of New Media // *Information Society*. Vol. 18. № 5. P. 385–401.
- Heaton L. (2011). Internet and Health Communication // *Consalvo M., Ess C. (eds.). The Handbook of Internet Studies*. Oxford: Blackwell. P. 212–231.
- Himmelboim I., Han J.Y. (2014). Cancer Talk on Twitter: Community Structure and Information Sources in Breast and Prostate Cancer Social Networks // *Journal of Health Communication*. Vol. 19. № 2. P. 210–225.
- Hogan B. (2008). Analyzing Social Networks via the Internet // *Fielding N., Lee R., Blank G. (eds.). The SAGE Handbook of Online Research Methods*. London: SAGE. P. 141–160.
- Huffaker D. (2010). Dimensions of Leadership and Social Influence in Online Communities // *Human Communication Research*. № 36. P. 593–617.
- Johnston K., Tanner M., Lalla N., Kawalski D. (2013). Social Capital: The Benefit of Facebook “Friends” // *Behaviour & Information Technology*. Vol. 32. № 1. P. 24–36.
- Katz E., Lazarsfeld P. F. (1995). *Personal Influence*. New York: Free Press.
- Katz J. E., Rice R.E. (2002). *Social Consequences of Internet Use: Access, Involvement and Interaction*. Cambridge: MIT Press.
- Kendall L. (2011). Community and the Internet // *Consalvo M., Ess C. (eds.). The Handbook of Internet Studies*. Oxford: Blackwell Publishing. P. 309–325.
- Kittilson M.C., Dalton R.J. (2010). Virtual Civil Society: The New Frontier of Social Capital? // *Political Behavior*. Vol. 33. № 4. P. 625–644.
- Koltsova O., Koltcov S. (2013). Mapping the Public Agenda with Topic Modeling: The Case of the Russian LiveJournal // *Policy & Internet*. Vol. 5. № 2. P. 207–227.
- Kozinets R. V. (2010). *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*. London: SAGE.
- Kraut R., Kiesler S., Boneva B., Cummings J., Helgeson V., Crawford A. (2002). Internet Paradox Revisited // *Journal of Social Issues*. Vol. 58. № 1. P. 49–74.
- Kraut R. E., Patterson M., Lundmark V., Kiesler S., Mukhopadhyay T., Scherlis W. (1998). Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-being? // *American Psychologist*, Vol. 53. № 9. P. 1017–1032.
- Kwak H., Lee C., Park H., & Moon S. (2010). What is Twitter, a Social Network or a News Media? // *WWW’10: Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web*. New York: ACM. P. 591–600.
- Lilleker D. G., Vedel T. (2013). The Internet in Campaigns and Elections // *Dutton W. H. (ed.). The Oxford Handbook of Internet Studies*. Oxford: Oxford University Press. P. 401–420.
- Lotan G., Graeff E., Ananny M., Gaffney D., Pearce I., boyd d. (2011) The Revolutions Were Tweeted: Information Flows during the 2011 Tunisian and Egyptian Revolutions // *International Journal of Communication*. Vol. 5. P. 1375–1405.
- McQuail D. (2010). *McQuail’s Mass Communication Theory*. London: SAGE.

- Menczer F. (2016). Misinformation on Social Media: Can Technology Save Us? The Conversation. URL: <http://theconversation.com/misinformation-on-social-media-can-technology-save-us-69264> (дата доступа: 15.03.2017).
- Morahan-Martin J.M. (2004). How Internet Users Find, Evaluate, and Use Online Health Information: A Cross-Cultural Review // *CyberPsychology & Behavior*. Vol.7. № 5. P. 497–510.
- Nie N. H., Erbring L. (2000). Internet and Society: A Preliminary Report. Stanford Institute for the Quantitative Study of Society. URL: http://www2.uca.es/HEURESIS/documentos/Preliminary_Report.pdf (дата доступа: 15.03.2017).
- O'Neil M. (2009). *Cyberchiefs: Autonomy and Authority in Online Tribes*. London: Pluto Press.
- Prabowo R., Thelwall M. (2009). Sentiment Analysis: A Combined Approach // *Journal of Informetrics*. Vol. 3. № 2. P. 143–157.
- Probst F., Grosswiele L., Pfleger R. (2013). Who Will Lead and Who Will Follow: Identifying Influential Users in Online Social Networks // *Business & Information Systems Engineering*. Vol 5. № 3. P. 179–193.
- Qiu J. L. (2013). Network Societies and Internet Studies: Rethinking Time, Space, and Class // Dutton W. H. (ed.). *The Oxford Handbook of Internet Studies*. Oxford: Oxford University Press. P. 109–128.
- Ragnedda M. (2017). *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities*. London: Routledge.
- Rainie L, Wellman B. (2012). *Networked: The New Social Operating System*. Cambridge: MIT Press.
- Reid E. (1999). Hierarchy and Power: Social Control in Cyberspace // Smith M., Kollock P. (eds.). *Communities in Cyberspace*. London: Routledge. P. 107–133.
- Rheingold H. (1993). *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*. URL: <http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html> (дата доступа: 15.10.2012).
- Rogers E. (1983). *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Santana S., Lausen B., Bujnowska-Fedak M., Chronaki C., Kummervold P. E., Rasmussen J., Sorensen T. (2010). Online Communication between Doctors and Patients in Europe: Status and Perspectives // *Journal of Medical Internet Research*. Vol. 12. № 2. P. e20.
- Schaffer R., Kuczynski K., Skinner D. (2008). Producing Genetic Knowledge and Citizenship through the Internet: Mothers, Pediatric Genetics, and Cybermedicine // *Sociology of Health & Illness*. Vol. 30. № 1. P. 145–159.
- Setoyama Y., Yamazaki Y., Namayama K. (2011). Benefits of Peer Support in Online Japanese Breast Cancer Communities: Differences between Lurkers and Posters // *Journal of medical Internet research*. Vol. 13. № 4. P. e122.
- Shen C., Cage C. (2015). Exodus to the Real World? Assessing the Impact of Offline Meet-ups on Community Participation and Social Capital // *New Media & Society*. Vol. 17. № 3. P. 394–414.

- Shneiderman B.* (2007). Web Science: A Provocative Invitation to Computer Science // Communications of the ACM. Vol. 50. № 6. P. 25–27.
- Smith M., Kollock P.* (eds.). (1999). Communities in Cyberspace. London: Routledge.
- Smith M., Rainie L., Shneiderman B., Himelboim I.* (2014). Mapping Twitter Topic Networks: From Polarized Crowds to Community Clusters. Pew Research Internet Project. URL: http://www.pewinternet.org/files/2014/02/PIP_Mapping-Twitter-networks_022014.pdf (дата доступа: 20.10.2014).
- Tai-Quan Peng, Lun Zhang, Zhi-Jin Zhong, Jonathan J. H. Zhu.* (2013). Mapping the Landscape of Internet Studies: Text Mining of Social Science Journal Articles 2000–2009 // New Media & Society. Vol. 15. № 5. P. 644–664.
- Van Deursen A. J. A. M., Helsper E. J.* (2015). The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online? // Communication and Information Technologies Annual: Digital Distinctions and Inequalities. Vol. 10. C. 29–52.
- Van Dijk J.* (2005). The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. London: SAGE.
- Van Dijk J.* (2012). The Network Society. London: SAGE.
- Van Dijk J.* (2013). Review: The Handbook of Internet Studies // European Journal of Communication. Vol. 28. № 5. P. 587–590.
- Van Laer J.* (2010). Activists Online and Offline: The Internet as an Information Channel for Protest Demonstrations // Mobilization. Vol. 15. № 3. P. 347–366.
- Van Mierlo T.* (2014). The 1% Rule in Four Digital Health Social Networks: An Observational Study // Journal of Medical Internet Research. Vol. 16. № 2. P. e33.
- Vandelanotte C., Sugiyama T., Gardiner P., Owen N.* (2009). Associations of Leisure-Time Internet and Computer Use with Overweight and Obesity, Physical Activity and Sedentary Behaviors: Cross-Sectional Study // Journal of Medical Internet Research. Vol. 11. № 3. P. e28.
- Vaquero L. M., Cebrian M.* (2013). The Rich Club Phenomenon in the Classroom // Scientific Reports. Vol. 3. Article Number: 1174.
- Wasko M.M., Faraj S.* (2005). Why Should I Share? Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice // MIS Quarterly. Vol. 29. № 1. P. 35–57.
- Wellamn B.* (2001). Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking // International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 25. № 2. P. 227–252.
- Wellman B., Boase J., Chen W.* (2002). The Networked Nature of Community: Online and Offline // IT&Society. Vol. 1. № 1. P. 151–165.
- Wilson C., Dunn A.* (2011). Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive Analysis from the Tahrir Data Set // International Journal of Communication. Vol. 5. P. 1248–1272.
- Witte J. C., Mannon S. E.* (2010). The Internet and Social Inequality. London: Routledge.
- Ziebland S., Wyke S.* (2012). Health and Illness in a Connected World: How Might Sharing Experiences on the Internet Affect People's Health? // Milbank Quarterly. Vol. 90. № 2. P. 219–249.

Internet Studies in Social Sciences

Yuri Rykov

PhD, Junior Research Fellow, Laboratory for Internet Studies, National Research University Higher School of Economics (Saint Petersburg)

Address: Soyuza Pechatnikov str., 16, Saint Petersburg, Russian Federation 190008

E-mail: rykyur@gmail.com

Oleg Nagornyy

Research Assistant, Laboratory for Internet Studies, National Research University Higher School of Economics (Saint Petersburg)

Address: Soyuza Pechatnikov str., 16, Saint Petersburg, Russian Federation 190008

E-mail: nagornyy.o@gmail.com

Internet Studies is an interdisciplinary and multidisciplinary field of fundamental and applied research that integrates different research disciplines with a common object, that is, the Internet. This review article gives a definition and a brief description of the structure of Internet Studies as part of the social sciences, and introduces the research agenda of this field, including the most cutting-edge research issues. The agenda of Internet Studies is related to classical sociological issues such as inequality, online communities, and social capital, as well as topics related to the study of transformations in different spheres of society such as politics, public health and medicine, and education, which is analyzed in more detail. Two main theoretical approaches, the network society theory and critical theory of the Internet and society within which the influence of the Internet on society is interpreted, are briefly described. We conclude that the present directions of Internet research often intersect with each other, and that the perspective of a more complete study of the mechanisms that mediate social changes related to the Internet connecting online and offline sociality into a single space opens at these intersections.

Keywords: Internet Studies, Web Science, online communities, digital inequality, social capital, e-Health, social media, online politics, online research methods, network society

References

- Backstrom L., Huttenlocher D., Kleinberg J., Lan X. (2006) Group Formation in Large Social Networks: Membership, Growth, and Evolution. *Proceedings of the 12th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, New York: ACM. pp. 44–54.
- Bakardjieva M. (2011) Internet in Everyday Life: Diverse Approaches. *The Handbook of Internet Studies* (eds. M. Consalvo, C. Ess), Oxford: Blackwell Publishing, pp. 59–82.
- Berners-Lee T., Hall W., Hendler J., O'Hara K., Shadbolt N., Weitzner D. (2006) A Framework for Web Science. *Foundations and Trends in Web Science*, vol. 1, no 1, pp. 1–130.
- Blank T. O., Adams-Blodnieks M. (2007) The Who and the What of Usage of Two Cancer Online Communities. *Computers in Human Behavior*, vol. 23, no 3, pp. 1249–1257.
- Bohn A., Buchta C., Hornik K., Mair P. (2014) Making Friends and Communicating on Facebook: Implications for the Access to Social Capital. *Social Networks*, vol. 37, pp. 29–41.
- Bolz N. (2011) *Azbuka media* [ABC of Media], Moscow: Evropa.
- Bolz N. (2014) *Razmyshleniya o neravenstve. Anti-Russo* [Diskurs uber die Ungleichheit: Ein Anti-Rousseau], Moscow: HSE Press.
- Bondarenko S. V. (2004) *Social'naja struktura virtual'nyh setevykh soobshchestv* [Social Structure of Virtual Networked Communities], Rostov-on-Don: Rostov State University Press.
- Brooks B., Hogan B., Ellison N., Lampe C., Vitak J. (2014) Assessing Structural Correlates to Social Capital in Facebook Ego Networks. *Social Networks*, vol. 38, pp. 1–15.

- Carron-Arthur B., Reynolds J., Bennett K., Bennett A., Cunningham J. A., Griffiths K. M. (2016) Community Structure of a Mental Health Internet Support Group: Modularity in User Thread Participation. *JMIR Mental Health*, vol. 3, no 2, pp. e20.
- Castells M. (2000) *The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1: The Rise of the Network Society*, Cambridge: Blackwell.
- Castells M. (2001) *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*, Oxford: Oxford University Press.
- Catanese S., Meo P. D., Ferrara E., Fiumara G., Provetti A. (2012) Extraction and Analysis of Facebook Friendship Relations. *Computational Social Networks* (ed. A. Abraham), Berlin: Springer, pp. 291–324.
- Chomutare T., Årsand E., Fernandez-Luque L., Lauritzen J., Hartvigsen G. (2013) Inferring Community Structure in Healthcare Forums: An Empirical Study. *Methods of Information in Medicine*, vol. 52, no 2, pp. 160–167.
- Cline R. J. W., Haynes K. M. (2001) Consumer Health Information Seeking on the Internet: The State of the Art. *Health Education Research*, vol. 16, no 6, pp. 671–692.
- Cobb N. K., Graham A. L., Abrams D. B. (2010) Social Network Structure of a Large Online Community for Smoking Cessation. *American Journal of Public Health*, vol. 100, no 7, pp. 1282–1289.
- Coursaris C. K., Liu M. (2009) An Analysis of Social Support Exchanges in Online HIV/AIDS Self-Help Groups. *Computers in Human Behavior*, vol. 25, no 4, pp. 911–918.
- Davies C., Eynon R. (2013) Studies of the Internet in Learning and Education: Broadening the Disciplinary Landscape of Research. *The Oxford Handbook of Internet Studies* (ed. W. H. Dutton), Oxford: Oxford University Press, pp. 328–352.
- DiMaggio P., Hargittai E., Neuman W. Rassel, Robinson J. P. (2001) Social Implications of the Internet. *Annual Review of Sociology*, vol. 27, pp. 307–336.
- Donath J., Boyd D. (2004) Public Displays of Connection. *BT Technology Journal*, vol. 22, no 4, pp. 71–82.
- Dutton W. H. (2013) Internet Studies: The Foundations of a Transformative Field. *The Oxford Handbook of Internet Studies* (ed. W. H. Dutton), Oxford: Oxford University Press, pp. 1–23.
- Ellison N. B., Steinfield C., Lampe C. (2007) The Benefits of Facebook "Friends": Social Capital and College Students' Use of Online Social Network Sites. *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 12, no 4, pp. 1143–1168.
- Ellison N.B., Gray R., Lampe C., Fiore A. T. (2014) Social Capital and Resource Requests on Facebook. *New Media & Society*, vol. 16, no 7, pp. 1104–1121.
- Floridi L. (2013) *The Ethics of Information*, Oxford: Oxford University Press.
- Fuchs C. (2014) *Social Media: A Critical Introduction*, London: SAGE.
- Fuchs C., Dyer-Witheford N. (2013) Karl Marx @ Internet Studies. *New Media & Society*, vol. 15, no 5, pp. 782–796.
- Ganley D., Lampe C. (2009) The Ties that Bind: Social Network Principles in Online Communities. *Decision Support Systems*, vol. 47, no 3, pp. 266–274.
- Garcia A. C., Standlee A. I., Bechhoff J., Cui Y. (2009) Ethnographic Approaches to the Internet and Computer-Mediated Communication. *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 38, no 1, pp. 52–84.
- Garton L., Haythornthwaite C., Wellman B. (1997) Studying Online Social Networks. *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 3, no 1.
- Gonzalez-Balio S., Borge-Holthoefer J., Moreno Y. (2013) Broadcasters and Hidden Influentials in Online Protest Diffusion. *American Behavioral Scientist*, vol. 57, no 7, pp. 943–965.
- Graham M., Dutton W. H. (eds.) (2014) *Society and the Internet: How Networks of Information and Communication are Changing Our Lives*, Oxford: Oxford University Press.
- Hansen D. L., Shneiderman B., Smith M. A. (eds.) (2010) *Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from a Connected World*, New York: Elsevier.
- Hargittai E. (2008) The Digital Reproduction of Inequality. *Social Stratification* (ed. D. Grusky), Boulder: Westview, pp. 936–944.

- Hargittai E., Hsieh Y. P. (2013) Digital Inequality. *The Oxford Handbook of Internet Studies* (ed. W. H. Dutton), Oxford: Oxford University Press, pp. 129–150.
- Haythornthwaite C. (2002) Strong, Weak, and Latent Ties and the Impact of New Media. *Information Society*, vol. 18, no 5, pp. 385–401.
- Heaton L. (2011) Internet and Health Communication. *The Handbook of Internet Studies* (eds. M. Consalvo, C. Ess), Oxford: Blackwell, pp. 212–231.
- Himelboim I., Han J. Y. (2014) Cancer Talk on Twitter: Community Structure and Information Sources in Breast and Prostate Cancer Social Networks. *Journal of Health Communication*, vol. 19, no 2, pp. 210–225.
- Hogan B. (2008) Analyzing Social Networks via the Internet. *The SAGE Handbook of Online Research Methods* (eds. N. Fielding, R. Lee, G. Blank), London: SAGE, pp. 141–160.
- Huffaker D. (2010) Dimensions of Leadership and Social Influence in Online Communities. *Human Communication Research*, vol. 36, no 4, pp. 593–617.
- Johnston K., Tanner M., Lalla N., Kawalski D. (2013) Social Capital: The Benefit of Facebook “Friends”. *Behaviour & Information Technology*, vol. 32, no 1, pp. 24–36.
- Katz E., Lazarsfeld P. F. (1995) *Personal Influence*, New York: Free Press.
- Katz J. E., Rice R. E. (2002) *Social Consequences of Internet Use: Access, Involvement and Interaction*, Cambridge: MIT Press.
- Kendall L. (2011) Community and the Internet. *The Handbook of Internet Studies* (eds. M. Consalvo, C. Ess), Oxford: Blackwell, pp. 309–325.
- Kittilson M. C., Dalton R. J. (2010) Virtual Civil Society: The New Frontier of Social Capital? *Political Behavior*, vol. 33, no 4, pp. 625–644.
- Koltsova O., Koltcov S. (2013) Mapping the Public Agenda with Topic Modeling: The Case of the Russian LiveJournal. *Policy & Internet*, vol. 5, no 2, pp. 207–227.
- Kozinets R. V. (2010) *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*, London: SAGE.
- Kraut R. E., Patterson M., Lundmark V., Kiesler S., Mukhopadhyay T., Scherlis W. (1998) Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Wellbeing? *American Psychologist*, vol. 53, no 9, pp. 1017–1032.
- Kraut R., Kiesler S., Boneva B., Cummings J., Helgeson V., Crawford A. (2002) Internet Paradox Revisited. *Journal of Social Issues*, vol. 58, no 1, pp. 49–74.
- Kwak H., Lee C., Park H., & Moon S. (2010) What is Twitter, a Social Network or a News Media? *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web*, New York: ACM, pp. 591–600.
- Lilleker D. G., Vedel T. (2013) The Internet in Campaigns and Elections. *The Oxford Handbook of Internet Studies* (ed. W. H. Dutton), Oxford: Oxford University Press, pp. 401–420.
- Lotan G., Graeff E., Ananny M., Gaffney D., Pearce I., boyd d. (2011) The Revolutions Were Tweeted: Information Flows during the 2011 Tunisian and Egyptian Revolutions. *International Journal of Communication*, vol. 5, pp. 1375–1405.
- McQuail D. (2010) *McQuail's Mass Communication Theory*, London: SAGE.
- Menczer F. (2016) Misinformation on Social Media: Can Technology Save Us? Available at: <http://theconversation.com/misinformation-on-social-media-can-technology-save-us-69264> (accessed 15 March 2017).
- Morahan-Martin J. M. (2004) How Internet Users Find, Evaluate, and Use Online Health Information: A Cross-Cultural Review. *CyberPsychology & Behavior*, vol. 7, no 5, pp. 497–510.
- Nie N. H., Erbring L. (2000) Internet and Society: A Preliminary Report. Stanford Institute for the Quantitative Study of Society. Available at: http://www2.uca.es/HEURESIS/documentos/Preliminary_Report.pdf (accessed 15 March 2017).
- O'Neil M. (2009) *Cyberchiefs: Autonomy and Authority in Online Tribes*, London: Pluto Press.
- Prabowo R., Thelwall M. (2009) Sentiment Analysis: A Combined Approach. *Journal of Informetrics*, vol. 3, no 2, pp. 143–157.
- Probst F., Grosswiele L., Pfleger R. (2013) Who Will Lead and Who Will Follow: Identifying Influential Users in Online Social Networks. *Business & Information Systems Engineering*, vol. 5, no 3, pp. 179–193.

- Qiu J. L. (2013) Network Societies and Internet Studies: Rethinking Time, Space, and Class. *The Oxford Handbook of Internet Studies* (ed. W. H. Dutton), Oxford: Oxford University Press, pp. 109–128.
- Ragnedda M. (2017) *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities*, London: Routledge.
- Rainie L, Wellman B. (2012) *Networked: The New Social Operating System*, Cambridge: MIT Press.
- Reid E. (1999) Hierarchy and Power: Social Control in Cyberspace. *Communities in Cyberspace* (eds. M. Smith, P. Kollock), London: Routledge, pp. 107–133.
- Rheingold H. (1993) The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Available at: <http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html> (accessed 15 October 2012).
- Rogers E. (1983) *Diffusion of Innovations*, New York: Free Press.
- Rozina I. (2009) Virtual'nye issledovatel'skie soobshhestva: ot zarubezhnykh modelej k otechestvennym primeram [Virtual Research Communities: From Foreign Models to Domestic Examples]. *Obrazovatel'nye tehnologii i obshchestvo*, vol. 12, no 2, pp. 389–408.
- Rykov Yu. (2013) Virtual'noe soobshchestvo kak social'noe pole: neravenstvo i kommunikativnyj kapital [Virtual Community as a Social Field: Inequality and Communicative Capital]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 16, no 4, pp. 44–60.
- Rykov Yu. (2015) Setevoe neravenstvo i struktura onlajn-soobshhestv [Network Inequality and the Structure of Online Communities]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 18, no 4, pp. 144–156.
- Rykov Yu., Koltsova O., Meylakhs P. (2016) Struktura i funkcii onlajn-soobshhestv: setevaja kartografija VICH-relevantnykh grupp v social'noj seti "VKontakte" [Structure and Functions of Online Communities: Network Mapping of HIV-Relevant Groups in VK.com SNS]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 30–42.
- Santana S., Lausen B., Bujnowska-Fedak M., Chronaki C., Kummervold P. E., Rasmussen J., Sorensen T. (2010) Online Communication between Doctors and Patients in Europe: Status and Perspectives. *Journal of Medical Internet Research*, vol. 12, no 2, pp. e20.
- Schaffer R., Kuczynski K., Skinner D. (2008) Producing Genetic Knowledge and Citizenship Through the Internet: Mothers, Pediatric Genetics, and Cybermedicine. *Sociology of Health & Illness*, vol. 30, no 1, pp. 145–159.
- Setoyama Y., Yamazaki Y., Namayama K. (2011) Benefits of Peer Support in Online Japanese Breast Cancer Communities: Differences between Lurkers and Posters. *Journal of Medical Internet Research*, vol. 13, no 4, pp. e122.
- Shashkina A., Deviatko I., Davydova S. (2010) Onlajn issledovaniya v Rossii 2.0 [Online Research in Russia 2.0], Moscow: Severo-Vostok.
- Shashkina A., Deviatko I., Davydova S. (2012) Onlajn issledovaniya v Rossii 3.0 [Online Research in Russia 3.0], Moscow: Kodeks.
- Shen C., Cage C. (2015) Exodus to the Real World? Assessing the Impact of Offline Meetups on Community Participation and Social Capital. *New Media & Society*, vol. 17, no 3, pp. 394–414.
- Shneiderman B. (2007) Web Science: a Provocative Invitation to Computer Science. *Communications of the ACM*, vol. 50, no 6, pp. 25–27.
- Smith M. A., Rainie L., Shneiderman B., Himelboim I. (2014) Mapping Twitter Topic Networks: From Polarized Crowds to Community Clusters. Pew Research Internet Project. Available at: <http://www.pewinternet.org/2014/02/20/part-2-conversational-archetypes-six-conversation-and-group-network-structures-in-twitter/> (accessed 20 October 2014).
- Smith M., Kollock P. (eds.) (1999) *Communities in Cyberspace*, London: Routledge.
- Tai-Quan Peng, Lun Zhang, Zhi-Jin Zhong, Jonathan JH Zhu. (2013) Mapping the Landscape of Internet Studies: Text Mining of Social Science Journal Articles 2000–2009. *New Media & Society*, vol. 15, no 5, pp. 644–664.
- Van Deursen A. J. A. M., Helsper E. J. (2015) The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online? *Communication and Information Technologies Annual*, vol. 10, pp. 29–52.
- Van Dijk J. (2005) *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*, London: SAGE.
- Van Dijk J. (2012) *The Network Society*, London: SAGE.

- Van Dijk J. (2013) The Review on The Handbook of Internet Studies. *European Journal of Communication*, vol. 28, no 5, pp. 587–590.
- Van Laer J. (2010) Activists Online and Offline: The Internet as an Information Channel for Protest Demonstrations. *Mobilization*, vol. 15, no 3, pp. 347–366.
- Van Mierlo T. (2014) The 1% Rule in Four Digital Health Social Networks: An Observational Study. *Journal of Medical Internet Research*, vol. 16, no 2, pp. e33.
- Vandelandotte C., Sugiyama T., Gardiner P., Owen N. (2009) Associations of Leisure-Time Internet and Computer Use With Overweight and Obesity, Physical Activity and Sedentary Behaviors: Cross-Sectional Study. *Journal of Medical Internet Research*, vol. 11, no 3, pp. e28.
- Vanke A., Ksenofontova I., Tartakovskaya I. (2014) Internet-kommunikacii kak sredstvo i uslovie politicheskoy mobilizacii v Rossii (na primere dvizheniya "Za chestnye vybory") [Internet Communication as a Means and Condition of Political Mobilization in Russia (the Case of the Movement "For Fair Elections")]. *INTER*, no 7, pp. 44–73.
- Vaquero L. M., Cebrian M. (2013) The Rich Club Phenomenon in the Classroom. *Scientific Reports*, vol. 3, article no 1174.
- Volchenko O. (2016) Dinamika cifrovogo neravenstva v Rossii [Dynamics of Digital Inequality in Russia]. *Monitoring of the Public Opinion*, no 5, pp. 163–182.
- Voronkin A. (2014) Social'nye seti: jevoljucija, struktura, analiz [Social Networks: Evolution, Structure, Analysis]. *Obrazovatel'nye tehnologii i obshhestvo*, vol. 17, no 1, pp. 650–675.
- Wasko M. M., Faraj S. (2005) Why Should I Share? Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice. *MIS Q.*, vol. 29, no 1, pp. 35–57.
- Wellamn B. (2001) Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 25, no 2, pp. 227–252.
- Wellman B., Boase J., Chen W. (2002) The Networked Nature of Community: Online and Offline. *IT&Society*, vol. 1, no 1, pp. 151–165.
- Wilson C., Dunn A. (2011) Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive Analysis from the Tahrir Data Set. *International Journal of Communication*, vol. 5, pp. 1248–1272.
- Witte J. C., Mannon S. E. (2010) *The Internet and Social Inequality*, London: Routledge.
- Ziebland S., Wyke S. (2012) Health and Illness in a Connected World: How Might Sharing Experiences on the Internet Affect People's Health? *Milbank Quarterly*, vol. 90, no 2, pp. 219–249.

Концептуализация европейского модерна в социологии Джерарда Деланти*

Елена Масловская

Доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник
Социологического института Российской академии наук

Адрес: ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190005
E-mail: ev_maslovskaya@mail.ru

Михаил Масловский

Доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник
Социологического института Российской академии наук

Адрес: ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190005
E-mail: maslovski@mail.ru

Социологическая концепция Дж. Деланти анализируется в статье в контексте развития современной социальной теории и исторической социологии. Историю Европы Деланти прослеживает на фоне межкультурного взаимодействия, в ходе которого европейские общества испытывали влияние возрожденного античного наследия и различных религиозных традиций. Британский социолог анализирует процесс становления нации-государства, но в то же время выделяет в европейском обществе черты космополитизма, ставшие более заметными к концу XIX столетия. «Краткий XX век» рассматривается Деланти с точки зрения столкновения соперничавших проектов модерна. Период после 1989 года определяется им как новый этап европейской истории, который отличает развитие «постнационального» измерения модерна. Вместе с тем Деланти отмечает усиление кризисных тенденций в процессе европейской интеграции. Такие тенденции выступают выражением противоречий, которые характерны для модерна, в частности между капитализмом и демократией. В ряде работ социолога продемонстрированы возможности использования его теоретического подхода для анализа неевропейских обществ, в том числе стран Латинской Америки, в которых модерн развивался в соответствии с собственной цивилизационной и региональной логикой. С точки зрения авторов статьи, концепция Деланти представляет интерес для сравнительно-исторических исследований социальных процессов, происходивших в российском обществе.

Ключевые слова: Джерард Деланти, историческая социология, межкультурное взаимодействие, модерн, европейская интеграция

Концепция множественных модернов сформировалась к концу 1990-х годов и широко обсуждалась в мировой социологии с начала 2000-х годов. Эта концепция нередко отождествляется прежде всего с теоретическим подходом, разработанным

© Масловская Е. В., 2017

© Масловский М. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-395-408

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-03-00805 «Формирование и изменение цивилизационного порядка в современном российском обществе».

Ш. Эйзенштадтом (Eisenstadt, 2000). Вместе с тем в исторической социологии сегодня представлены несколько различных версий концептуализации множественных модернов, предложенных Й. Арнасоном, П. Вагнером, Й. Терборном. В целом сторонники данного направления делают акцент на анализе неевропейских вариантов модерна. Так, Эйзенштадт и Арнасон посвятили отдельные работы цивилизационной динамике и становлению современного общества в Японии, а в последние годы возрос интерес к латиноамериканскому региону (Wagner, 2011, Smith, 2017). Парадоксально, что европейский модерн, который ранее часто рассматривался в качестве образца для других обществ, оказался едва ли не на периферии интереса исследователей, развивающих данную концепцию.

В то же время к анализу европейского общества с позиций концепции множественных модернов обратился Джерард Деланти. Следует отметить, что он не может считаться типичным представителем британской социологии, для которой в целом характерны своего рода «эмпирицистский» уклон и недоверие к абстрактным теориям. При этом Деланти, который является редактором журнала «European Journal of Social Theory», находится в центре актуальных дискуссий и может содействовать распространению новых теоретических построений. К проблеме европейской идентичности британский социолог обращается уже в своей ранней работе «Изобретая Европу: идея, идентичность, реальность» (Delanty, 1995). Разработанная им концепция модерна наиболее полно представлена в книге «Формирование европейского модерна: историческая и политическая социология Европы» (Delanty, 2013). В ряде последующих публикаций он дополняет и конкретизирует основные положения своей концепции. В рамках данной статьи мы сфокусируемся на работах Деланти, вышедших с начала 2010-х годов и посвященных концептуализации европейского модерна, но не на его более ранних трудах по теории космополитизма (Delanty, 2009) и недавнем повороте к проблематике европейского культурного наследия (Delanty, 2017).

Формирование европейского модерна

В своем анализе становления европейского модерна Деланти отчасти опирается на концепцию множественных модернов Ш. Эйзенштадта. Однако более значимым для Деланти оказывается подход Й. Арнасона, который подчеркивает значение межцивилизационного взаимодействия в формировании различных версий модерна (Arnason, 2006). Как отмечают Х. Йоас и В. Кнебль, концепция Арнасона «имеет ярко выраженную трансквилизационную и транснациональную направленность» (Йоас, Кнебль, 2013: 787). Данная концепция выделяет способность различных цивилизаций к взаимному обучению и заимствованию тех или иных культурных черт. Кроме того, подход Арнасона отличает стремление «вернуть политическую власть» в цивилизационный анализ (Knöbl, 2010: 94). Наряду с Н. Элиасом и Ш. Эйзенштадтом Арнасон расценивается сегодня как один из ве-

дущих теоретиков цивилизационного анализа в исторической социологии (Smith, 2017: 29–49).

На концепцию Деланти повлияли труды П. Вагнера, разработавшего оригинальный вариант теории модерна (Wagner, 2008; Вагнер, 2009). Согласно Вагнеру, возникшую в XIX столетии версию либерального модерна в первой половине XX века сменила система «организованного модерна», которая просуществовала до своего кризиса, начавшегося в 1970-е годы. В дальнейшем ей на смену пришла «расширенная» версия либерального модерна. Следует отметить, что Вагнер подверг критике некоторые положения цивилизационного анализа в версии Эйзенштадта. Признавая определенные преимущества данного подхода применительно к странам Южной и Восточной Азии, Вагнер сомневается в плодотворности его использования для изучения «обществ переселенцев», в частности стран Латинской Америки (Wagner, 2011). При этом Вагнер разрабатывает собственную исследовательскую программу глобальной сравнительно-исторической социологии (Wagner, 2015). Тем не менее, как полагает Деланти, Вагнер не учитывает в полной мере взаимодействие и «переплетение» различных форм модерна (Delanty, 2015a: 27–28).

В работах Деланти история Европы рассматривается в контексте «межцивилизационной констелляции». Как подчеркивает этот социолог, в процессе межцивилизационного взаимодействия европейские общества испытывали влияние возрожденного античного наследия, а также религиозных традиций христианства, иудаизма и ислама. «Европа возникла в результате процесса, в котором участвовали многие культуры, и то, что сложилось в результате, было не общей цивилизацией, но плюралистичной матрицей» (Delanty, 2013: 22). Согласно Деланти, можно говорить о многообразии цивилизаций на самом европейском континенте, на котором в период Средневековья были представлены западная, византийская и исламская цивилизации. Кроме того, следует учитывать трансконтинентальное измерение межцивилизационного взаимодействия. Наконец, сама западная цивилизация отличалась внутренним плюрализмом (Delanty, 2013: 41).

Деланти характеризует становление модерна как процесс культурной и политической трансформации, в ходе которого возникают новые интерпретации социального мира. В эпоху Просвещения с конца XVII по начало XIX века окончательно сложилась «идея Европы», которая включала в себя осознание общей культурной основы при сохранении политического разделения. Рассматривая период от Французской революции 1789 года до Первой мировой войны, Деланти описывает процесс становления нации-государства, но в то же время выделяет в европейском обществе черты космополитизма, ставшие более заметными к концу XIX столетия. С его точки зрения, космополитизм являлся интегральной частью европейского модерна, не менее значимой, чем национализм (Delanty, 2013: 179).

Наряду с этим XIX век был «не только столетием возвышения европейских наций-государств, но и веком империй» (Delanty, 2013: 188). Европу данного периода следует характеризовать как состоящую не столько из отдельных наций-го-

сударств, сколько из «транснациональных государств», связанных между собой, а также и с колонизированными заморскими территориями (Delanty, 2013: 194). В новейших исторических исследованиях отмечается, что строительство наций в Европе не может быть понято без учета имперского контекста. Причем это относится к процессам формирования наций не только на периферии, но и в ядре империй (Berger, Miller, 2015: 30). Данный подход в исторических исследованиях вполне совместим с социологической концепцией множественных модернов.

«Краткий XX век» — с 1917 по 1989 год — анализируется Деланти с точки зрения столкновения соперничавших проектов модерна, а не наций-государств. Социолог выделяет четыре модели модерна: коммунизм, фашизм, либеральную демократию и проект транснациональной Европы. Как подчеркивает Деланти, первые две из указанных моделей потерпели крушение, тогда как две других в большей или меньшей степени преуспели. Однако на протяжении большей части XX века либеральная демократия выступала как одна из конкурирующих форм модерна на европейском континенте, а ее преобладание не было predetermined и исторически неизбежным (Delanty, 2016a: 411). В целом же все четыре модели «являлись порождением Европы и так или иначе апеллировали к идее Европы; они являлись также по существу продуктом политического модерна, коль скоро они артикулировали социальное воображаемое для создания политической общности на новых основаниях и пересмотра взаимоотношений между индивидом, государством и обществом» (Delanty, 2013: 216).

Страны Центральной и Восточной Европы в наибольшей степени испытали на себе влияние последствий реализации альтернативных проектов модерна (Delanty, 2012). Социокультурная динамика этого региона рассматривалась с позиций концепции множественных модернов, в частности в работах Арнасона (Arnason, 2005; Арнасон, 2011). Последовательную смену различных форм модерна в Центральной и Восточной Европе анализировал также П. Блоккер, который, как и Деланти, опирался на идеи Арнасона и Вагнера. Как отмечает Блоккер, в данном регионе существовало многообразие как соперничавших, так и сменявших друг друга версий модерна. При этом чередовались тенденции к большей открытости либо закрытости по отношению к западному либеральному модерну. С одной стороны, тенденция к открытости проявилась в попытках создания более свободного общества. С другой стороны, противоположная тенденция была реализована в наиболее радикальном виде в фашистских и коммунистических проектах модерна. После крушения коммунистических режимов в указанном регионе сохранялось наследие различных типов модерна (Блоккер, 2009).

В то же время проблема влияния исторического наследия на социально-политические процессы в странах Восточной Европы остается дискуссионной (Kotkin, Beissinger, 2014). В некоторых исследованиях подчеркивается, что посткоммунистические трансформации следует рассматривать как часть длительного исторического процесса демократизации и модернизации на европейском континенте. Кроме того, переосмысление роли исторического и культурного наследия пред-

полагает фокус на «выходящих за рамки национальных границ регионах и более широких „цивилизационных“ идентичностях на макроуровне» (Ekiert, 2015: 335). Но именно такой подход отличает концепцию множественных модернов.

Европейская интеграция и кризис

Первостепенное значение для Деланти имеет либеральный модерн и возникший на его основе проект европейской интеграции. Как указывает британский социолог, этот проект, осуществлявшийся с 1950-х годов, привел к формированию новой модели модерна, хотя данная модель и является продолжением его либеральной версии. Деланти рассматривает также современную ситуацию на европейском континенте в период после 1989 года. Он характеризует его как новый этап европейской истории, который отличает усиление «постнационального» измерения модерна. Одна из задач, стоящих перед Деланти, заключается в поиске оптимальной модели взаимоотношений между носителями различных культур в условиях космополитической демократии, прежде всего в Европейском союзе (Delanty, 2011).

Вместе с тем британский социолог не может не признать тот факт, что в странах Европы космополитическая тенденция сосуществует с противоположными тенденциями, связанными с распространением национализма. Первоначально европейская интеграция основывалась на формировании транснациональных экономических, политических и правовых институтов. При этом проблеме европейской культурной интеграции и формированию общеевропейской идентичности долгое время не уделялось должного внимания (Spohn, 2009: 362). Ядром единой Европы выступали католические и протестантско-католические страны, в которых значительное развитие получили процессы секуляризации. Однако эта ситуация изменилась в результате расширения Европейского союза и включения в него стран Восточной Европы, для которых были характерны иные формы секуляризации и в которых после крушения системы «реального социализма» наблюдались возрождение религии и рост национализма. В то же время выявились сложности с перенесением западноевропейских форм культурной интеграции в страны, недавно вступившие в ЕС либо добивающиеся этого статуса.

Отмечалось, что после расширения Евросоюза происходит скорее рост национального самосознания, особенно в странах Восточной Европы, чем формирование общеевропейской идентичности. Кроме того, в последние годы наметилось усиление кризисных тенденций в процессе европейской интеграции. «Любое описание европейского проекта сегодня должно учитывать реальность глубокого кризиса, возможность крушения проекта европейской интеграции и возникновение нового политического ландшафта, который отличала бы определенная степень фрагментации Европы» (Delanty, 2013: 273). Согласно Деланти, кризисные тенденции выступают выражением тех противоречий, которые характерны для модерна, в частности между капитализмом и демократией.

Проект европейской интеграции неоднократно сталкивался с кризисными ситуациями. Вместе с тем, как полагает Деланти, сегодняшний кризис отличается от всех предшествующих, поскольку существенно изменился экономический, политический и культурный контекст. В результате расширения Евросоюза уже невозможно рассматривать Европу исключительно с точки зрения исторического опыта западноевропейских стран-основательниц. Европа является сегодня более «мультицентричной». При этом мировая ситуация уже не характеризуется безусловным доминированием Запада. «Крупные центры экономической и политической власти существуют сейчас за пределами западного мира, который является лишь одним из центров глобальной власти» (Delanty, 2014: 209).

Кризис начался в условиях большей включенности Европы в глобальные процессы. Как отмечает Деланти, «сегодня стало очевидным, что европейская интеграция захвачена вихрем глобализации и, следовательно, не может определять собственный курс. Это одно из основных отличий от предшествующих периодов интеграции, когда она была в значительной мере движением к транснациональному управлению в рамках относительно ограниченного геополитического порядка» (Delanty, 2014: 209). Кроме того, во многом под воздействием глобальных экономических изменений в Евросоюзе сложилось новое разделение образующих его стран: не только между Западом и Востоком, но и между Севером и Югом. Тем не менее Деланти не считает, что проект европейской интеграции потерпел неудачу.

Обсуждая возможные пути преодоления кризисных черт в интеграционном процессе, Деланти обращается к проблеме общеевропейского исторического наследия. Он задает вопрос о том, как мы сегодня должны оценивать данное наследие. Хотя эта проблема широко обсуждается сегодня в работах историков, в новейших исследованиях, посвященных изменению «темпорального режима модерна», социологические теории служат для них скорее дополнением исторического анализа (Ассман, 2017). В целом Деланти придерживается «транснационального» взгляда на европейское наследие, в рамках которого учитывается взаимосвязь различных национальных историй и, кроме того, эта взаимосвязь встраивается в более широкий глобальный контекст (Delanty, 2017: 130). Как подчеркивает британский социолог, «космополитическая интерпретация европейского наследия начинается с выделения тех аспектов европейской истории и общества, которые дают возможность взаимодействия и диалога. Хотя разнообразие и в особенности признание цивилизационного плюрализма Европы являются частью этого, они не выступают основными особенностями космополитической перспективы. Более важным оказывается взаимосвязь различных исторических традиций, включая отношения между Европой и неевропейскими обществами» (Delanty, 2013: 298–299).

Неевропейские версии модерна

В ряде работ Деланти стремится продемонстрировать возможности своего подхода для анализа неевропейских обществ, в которых модерн развивался в соответствии с собственной цивилизационной и региональной логикой (Delanty, 2015b, 2016b). В данном случае его анализ отчасти перекликается с «неевропейской концептуализацией модерна», осуществленной Н. Музелисом (Mouzelis, 1999). С точки зрения этого социолога, если более ранние теории модерна — от Парсонса до Гидденса — подвергались критике за европоцентризм, то «постколониальные» концепции оказались не в состоянии отличить специфически западные черты современного общества от его универсальных характеристик (Mouzelis, 1999: 142). Однако Деланти удалось избежать крайностей как европоцентризма, так и «процветающего сейчас на академическом рынке принижения всего европейского» (Arnason, 2006: 51), что характерно для «постколониальных» подходов. Британский социолог рассматривает историю Европы во всей ее сложности, в немалой степени обусловленной противоречиями и антиномиями модерна.

Деланти расширяет схему четырех путей к модерну, предложенную Й. Терборном (Therborn, 2003, Терборн, 2015), и выделяет шесть основных типов современного общества: Европа, Новый Свет, постколониальные (Латинская Америка), исламские (Иран), реактивные (Турция, Япония) и альтернативные модерны. По сравнению с Терборном Деланти делает больший акцент на альтернативных типах модерна, которые сформировались, например, в России и Китае и представляют пример «эндогенных имперских традиций, укорененных в неевропейских цивилизациях» (Delanty, 2015b: 43). Однако пример России используется Деланти не столь широко и главным образом в контексте ее взаимодействия с европейскими странами.

Тем не менее вопрос о применимости концепции множественных модернов для изучения российского общества, в особенности советского периода, заслуживает более подробного обсуждения. Среди последователей данной концепции наибольшее внимание этой проблеме уделил Й. Арнасон (Arnason, 1993). Этот социолог подчеркивает, что «исчезнувший тип общества (при всех его губительных недостатках и иррациональности) являлся особым, пусть в конечном итоге и саморазрушительным, вариантом модерна, а не устойчивым отклонением от столбовой дороги модернизации» (Арнасон, 2011: 10). Концепция Арнасона использовалась для объяснения распада советской системы (Sakwa, 2013). Эта концепция, безусловно, повлияла и на характеристику альтернативных моделей модерна, предложенную Деланти. Но следует учитывать, что анализ коммунистической версии модерна и последствий ее распада в работах Деланти является во многом вторичным и не отличается существенной оригинальностью.

Особенности советской системы как формы модерна рассматривались в работах ряда историков. Как отмечает М. Дэвид-Фокс, в исследованиях советской истории в США сложились «модернистское» и «неотрадиционалистское» направ-

ления. При этом представители модернистского подхода «имплицитно» следуют за социологическим анализом множественных модернов (David-Fox, 2006: 538). О значении концепции множественных модернов для осмысления российской и советской истории Дэвид-Фокс вновь напомнил в статье, опубликованной в журнале «Новое литературное обозрение» (Дэвид-Фокс, 2016). В этой работе американский историк особо выделил понятия альтернативных и «переплетенных» (entangled) модернов, ссылаясь не только на исторические исследования, но и на труды социологов — Ш. Эйзенштадта, Й. Терборна, Й. Арнасона. Характерно, что он не упоминает П. Вагнера и Дж. Деланти. Однако следует отметить, что социологический анализ множественных модернов в большинстве случаев с трудом воспринимается историками, а работы Дэвид-Фокса здесь скорее исключение.

Что касается Деланти, особый интерес для него представляет латиноамериканский регион. В частности, Деланти и А. Мота рассматривают динамику модерна в Бразилии (Mota, Delanty, 2015). Признавая основополагающее значение анализа американских версий модерна в работах Эйзенштадта, эти исследователи считают необходимым дополнить и модифицировать предложенный им подход. Как утверждал Эйзенштадт, распространение модерна на американский континент сопровождалось не просто установлением местных вариантов его европейской модели, но формированием принципиально новых институциональных и идеологических паттернов (Eisenstadt, 2002). При этом он подчеркивал различия между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Латинской Америкой — с другой. С точки зрения израильского социолога, социокультурные основания этих двух разновидностей модерна были заложены, соответственно, протестантизмом и католической Контрреформацией. Если протестантизм благоприятствовал распространению идей эгалитаризма, то Контрреформация способствовала сохранению существующих иерархических структур и монополии католической церкви на распоряжение «средствами спасения».

Согласно Деланти и Мота, едва ли возможно характеризовать американские общества как образующие единую цивилизацию в силу различий между Севером и Югом, а также и между отдельными частями Латинской Америки. На протяжении XIX столетия в Бразилии сохранялось противостояние «домодернового колониального общества» и модернистских элементов, которые постепенно получали преобладание. После провозглашения республики в 1889 году наблюдалось дальнейшее усиление черт модерна в сфере политики и культуры. Ярким примером «трансформации европейской идеи» стало формирование «культы позитивизма», который указывал путь к модернистской «республике прогресса», основанной тем не менее на «авторитарном правлении самоназначенной элиты» (Mota, Delanty, 2015: 49).

Вместе с тем Деланти и Мота соглашаются с Эйзенштадтом в вопросе о роли католической церкви в длительном сохранении иерархического социального порядка. Но следует учитывать тот факт, что в ходе «третьей волны» демократизации с середины 1970-х годов две трети из примерно тридцати стран, осуществивших

успешный демократический транзит, были католическими. Подобное развитие событий во многом было следствием политики «аджорнаменто» (обновления католической церкви и ее адаптации к реалиям современного мира), сформулированной на II Ватиканском соборе 1962–1965 годов. В конечном итоге «сакрализация современного дискурса прав человека со стороны церкви явилась важнейшим фактором мобилизации ресурсов католицизма для перехода к демократии» (Casanova, 2011: 262). Это в полной мере проявилось и в ходе демократизации в Бразилии и других странах Латинской Америки.

Как полагают Деланти и Мота, бразильский проект модерна и его осуществление не могут быть в полной мере объяснены с позиций цивилизационной теории Эйзенштадта, поскольку формирование общества модерна в этой стране было во многом обусловлено трансформационными процессами более позднего происхождения, опиравшимися на иные источники. С такой точки зрения ключевое значение имела не столько изначальная культурная программа определенной цивилизации, сколько процессы межкультурного взаимодействия и обусловленные такого рода взаимодействием проекты политических элит. Данный подход может быть использован для сравнительного изучения модернизационной динамики Бразилии и России (Масловский, 2016; Maslovskiy, 2017).

Заключение

В целом теоретический подход, предложенный Деланти, в значительной степени опирается на сложившуюся в исторической социологии концепцию межкультурного взаимодействия. Работы этого социолога вносят значительный вклад в дискуссии о множественных модернах, ведущиеся в мировой социальной науке. Но следует учитывать, что концепция множественных модернов в целом остается на уровне общей теории. Эйзенштадт разработал «высокую теорию» в стиле Парсонса, и его подход уязвим для критических замечаний, высказывавшихся в адрес такого рода теоретизирования. Арнасон и Вагнер опирались на иные теоретические источники, предложив собственные версии критической теории модерна, но их работы также отличает абстрактный характер. Существует потребность в создании теорий среднего уровня, в большей степени допускающих эмпирическую проверку теоретических положений. Определенные шаги в этом направлении уже были сделаны, в том числе и в работах Деланти.

Осуществленный Деланти анализ формирования европейского модерна представляет интерес и для сравнительно-исторических исследований социальных процессов, происходивших в российском обществе. В частности, он позволяет по-новому взглянуть на многократно обсуждавшуюся проблему взаимоотношений России и Европы, которая может рассматриваться сквозь призму концепции «переплетенных модернов», когда речь идет об истории XIX столетия, либо в контексте столкновения альтернативных проектов модерна в XX веке. Кроме того, анализ неевропейских версий модерна в работах Деланти, хотя он является не столь под-

робным и во многом вторичным, тем не менее содержит ряд плодотворных идей. В конечном итоге обращение к работам Деланти и таких социологов, как Арнасон, Вагнер, Терборн, должно способствовать формированию нового взгляда на особенности модернизационной динамики российского общества.

Литература

- Арнасон Й. (2011). Коммунизм и модерн // Социологический журнал. № 1. С. 10–35.
- Ассман А. (2017). Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение.
- Блоккер П. (2009). Сталкиваясь с модернизацией: открытость и закрытость другой Европы // Новое литературное обозрение. № 6. С. 18–34.
- Вагнер П. (2009). Политическая форма новой Европы. Европа как политическая форма // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 12. № 2. С. 21–57.
- Дэвид-Фокс М. (2016). Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? / Пер. с англ. Т. Пирусской // Новое литературное обозрение. № 4. С. 19–44.
- Йоас Х., Кнебель В. (2013). Социальная теория. Двадцать вводных лекций / Пер. с нем. К. Г. Тимофеевой. СПб.: Алетеия.
- Масловский М. В. (2016). Социокультурная динамика множественных модернов в Бразилии и России // Социологический журнал. № 4. С. 8–24.
- Терборн Й. (2015). Мир: руководство для начинающих / Пер. с англ. Е. М. Горбуновой и Л. Г. Титаренко. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ.
- Arnason J. (1993). *The Future that Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model*. London: Routledge.
- Arnason J. (2005). Alternating Modernities: The Case of Czechoslovakia // *European Journal of Social Theory*. Vol. 8. № 4. P. 435–452.
- Arnason J. (2006). Understanding Intercivilizational Encounters // *Thesis Eleven*. Vol. 86. № 1. P. 39–53.
- Berger S., Miller A. (2015). Introduction: Building Nations in and with Empires — a Reassessment // Berger S., Miller A. (eds.). *Nationalizing Empires*. Budapest: CEU Press, P. 1–30.
- Casanova J. (2011). Cosmopolitanism, the Clash of Civilizations and Multiple Modernities // *Current Sociology*. Vol. 59. № 2. P. 252–267.
- David-Fox M. (2006). Multiple Modernities versus Neo-Traditionalism // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Vol. 54. № 4. P. 535–555.
- Delanty G. (1995). *Inventing Europe: Idea, Identity, Reality*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Delanty G. (2009). *The Cosmopolitan Imagination: The Renewal of Critical Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Delanty G.* (2011). Cultural Diversity, Democracy and the Prospects for Cosmopolitanism: A Theory of Cultural Encounters // *British Journal of Sociology*. Vol. 62. № 4. P. 633–656.
- Delanty G.* (2012). The Historical Regions of Europe: Civilizational Backgrounds and Multiple Routes to Modernity // *Historická Sociologie*. № 1–2. P. 9–24.
- Delanty G.* (2013). Formations of European Modernity: A Historical and Political Sociology of Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Delanty G.* (2014). Introduction: Perspectives on Crisis and Critique in Europe Today // *European Journal of Social Theory*. Vol. 17. № 3. P. 207–218.
- Delanty G.* (2015a). Europe and the Emergence of Modernity: The Entanglement of Two Reference Cultures // *International Journal for History, Culture and Modernity*. Vol. 3. № 3. P. 9–34.
- Delanty G.* (2015b). Europe in World Regional Perspective: Formations of Modernity and Major Historical Transformations // *British Journal of Sociology*. Vol. 66. № 3. P. 420–440.
- Delanty G.* (2016a). Multiple Europes, Multiple Modernities: Conceptualizing the Plurality of Europe // *Comparative European Politics*. Vol. 14. № 4. P. 398–416.
- Delanty G.* (2016b). A Transnational World? The Implications of Transnationalism for Comparative Historical Sociology // *Social Imaginaries*. Vol. 2. № 2. P. 17–33.
- Delanty G.* (2017). Entangled Memories: How to Study Europe's Cultural Heritage // *The European Legacy*. Vol. 22. № 2. P. 129–145.
- Eisenstadt S.* (2000). Multiple Modernities // *Daedalus*. Vol. 129. № 1. P. 1–29.
- Eisenstadt S.* (2002). The Civilizations of the Americas: The Crystallization of Distinct Modernities // *Comparative Sociology*. Vol. 1. № 1. P. 43–62.
- Ekiert G.* (2015). Three Generations of Research on Post-Communist Politics — a Sketch // *East European Politics and Societies*. Vol. 29. № 2. P. 323–337.
- Knöbl W.* (2010) Path Dependency and Civilizational Analysis: Methodological Challenges and Theoretical Tasks // *European Journal of Social Theory*. Vol. 13. № 1. P. 83–97.
- Kotkin S., Beissinger M.* (2014). The Historical Legacies of Communism: An Empirical Agenda // *Beissinger M., Kotkin S.* (eds.). *Historical Legacies of Communism in Russia and Eastern Europe*. New York: Cambridge University Press, P. 1–27.
- Maslovskiy M.* (2017). Brazil, Russia and the Multiple Modernities Paradigm // *Social Imaginaries*. Vol. 3. № 1. P. 147–165.
- Mota A., Delanty G.* (2015). Eisenstadt, Brasil and the Multiple Modernities Framework: Revisions and Reconsiderations // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 15. № 1. P. 39–57.
- Mouzelis N.* (1999). Modernity: A Non-European Conceptualization // *British Journal of Sociology*. Vol. 50. № 1. P. 141–159.
- Sakwa R.* (2013). The Soviet Collapse: Contradictions and Neo-Modernization // *Journal of Eurasian Studies*. Vol. 4. № 1. P. 65–77.
- Smith J.* (2017). *Debating Civilizations: Interrogating Civilizational Analysis in a Global Age*. Manchester: Manchester University Press.

- Spohn W.* (2009). Europeanization, Religion and Collective Identities in an Enlarging Europe: A Multiple Modernities Perspective // *European Journal of Social Theory*. Vol. 12. № 3. P. 358–374.
- Therborn G.* (2003). Entangled Modernities // *European Journal of Social Theory*. Vol. 6. № 3. P. 293–305.
- Wagner P.* (2008). *Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity*. Cambridge: Polity.
- Wagner P.* (2011). From Interpretation to Civilization — and back: Analyzing the Trajectories of Non-European Modernities // *European Journal of Social Theory*. Vol. 14. № 1. P. 89–106.
- Wagner P.* (2015). Interpreting the Present — a Research Programme // *Social Imaginaries*. Vol. 1. № 1. P. 105–129.

The Conceptualization of European Modernity in Gerard Delanty's Sociology

Elena Maslovskaya

Doctor of Sociology, Senior Researcher, The Sociological Institute of Russian Academy of Sciences
Address: 7th Krasnoarmeiskaya str., 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005
E-mail: ev_maslovskaya@mail.ru

Mikhail Maslovskiy

Doctor of Sociology, Senior Researcher, Sociological Institute of Russian Academy of Sciences
Address: 7th Krasnoarmeiskaya str., 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005
E-mail: maslovski@mail.ru

In the article, Gerard Delanty's sociology is analyzed in the context of the development of contemporary social theory and historical sociology. Delanty considers European history in the context of inter-civilizational encounters with the legacies of Antiquity and several religious traditions. He discusses the rise of the European nation-states and, at the same time, the growth of cosmopolitan traits which became more conspicuous by the end of the 19th century. He analyzes the "short 20th century" from the viewpoint of a clash of competing projects of modernity. The situation since 1989 is defined by Delanty as a new stage of European history characterized by the strengthening of the post-national dimension of modernity. At the same time, he considers the trends of crises in the European project. These trends represent the contradictions of modernity, particularly between capitalism and democracy. Delanty also demonstrates the possibility of the application of his theoretical approach to other world regions such as Latin America, where different versions of modernity have been formed. The authors believe that Delanty's theory is relevant for comparative-historical studies of social processes in Russian society.

Keywords: Gerard Delanty, historical sociology, inter-civilizational encounters, modernity, European integration

References

- Arnason J. (1993) *The Future that Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model*, London: Routledge.
- Arnason J. (2005) Alternating Modernities: The Case of Czechoslovakia. *European Journal of Social Theory*, vol. 8, no 4, pp. 435–452.
- Arnason J. (2006) Understanding Intercivilizational Encounters. *Thesis Eleven*, vol. 86, no 1, pp. 39–53.
- Arnason J. (2011) Kommunizm i modern [Communism and Modernity]. *Journal of Sociology*, no 1, pp. 10–35.
- Assmann A. (2017) *Raspalas' svjaz' vremjon? Vzljot i padenie temporal'nogo rezhima Moderna* [The Time is out of Joint? The Rise and Fall of the Temporal Regime of Modernity], Moscow: New Literary Review.
- Berger S., Miller A. (2015) Introduction: Building Nations in and with Empires — a Reassessment. *Nationalizing Empires* (eds. S. Berger, A. Miller), Budapest: CEU Press, pp. 1–30.
- Blokker P. (2009) Stalkivajas' s modernizatsiej: otkrytost' i zakrytost' drugoj Evropy [Confronting Modernization: Openness and Closure of the Other Europe]. *New Literary Observer*, no 6, pp. 18–34.
- Casanova J. (2011) Cosmopolitanism, the Clash of Civilizations and Multiple Modernities. *Current Sociology*, vol. 59, no 2, pp. 252–267.
- David-Fox M. (2006) Multiple Modernities versus Neo-Traditionalism. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, vol. 54, no 4, pp. 535–555.
- David-Fox M. (2016) Modernost' v Rossii i SSSR: otsutstvujushchaja, obshchaja, al'ternativnaja ili perepletennaja? [Modernity in Russia and the USSR: Absent, Common, Alternative or Entangled?]. *New Literary Observer*, no 4, pp. 19–44.
- Delanty G. (1995) *Inventing Europe: Idea, Identity, Reality*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Delanty G. (2009) *The Cosmopolitan Imagination: The Renewal of Critical Social Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Delanty G. (2011) Cultural Diversity, Democracy and the Prospects for Cosmopolitanism: A Theory of Cultural Encounters. *British Journal of Sociology*, vol. 62, no 4, pp. 633–656.
- Delanty G. (2012) The Historical Regions of Europe: Civilizational Backgrounds and Multiple Routes to Modernity. *Historická Sociologie*, no 1–2, pp. 9–24.
- Delanty G. (2013) *Formations of European Modernity: A Historical and Political Sociology of Europe*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Delanty G. (2014) Introduction: Perspectives on Crisis and Critique in Europe Today. *European Journal of Social Theory*, vol. 17, no 3, pp. 207–218.
- Delanty G. (2015) Europe and the Emergence of Modernity: The Entanglement of Two Reference Cultures. *International Journal for History, Culture and Modernity*, vol. 3, no 3, pp. 9–34.
- Delanty G. (2015) Europe in World Regional Perspective: Formations of Modernity and Major Historical Transformations. *British Journal of Sociology*, vol. 66, no 3, pp. 420–440.
- Delanty G. (2016). Multiple Europes, Multiple Modernities: Conceptualizing the Plurality of Europe. *Comparative European Politics*, vol. 14, no 4, pp. 398–416.
- Delanty G. (2016) A Transnational World? The Implications of Transnationalism for Comparative Historical Sociology. *Social Imaginaries*, vol. 2, no 2, pp. 17–33.
- Delanty G. (2017) Entangled Memories: How to Study Europe's Cultural Heritage. *European Legacy*, vol. 22, no 2, pp. 129–145.
- Eisenstadt S. (2000) Multiple Modernities. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 1–29.
- Eisenstadt S. (2002) The Civilizations of the Americas: The Crystallization of Distinct Modernities. *Comparative Sociology*, vol. 1, no 1, pp. 43–62.
- Ekiert G. (2015) Three Generations of Research on Post-Communist Politics — a Sketch. *East European Politics and Societies*, vol. 29, no 2, pp. 323–337.
- Joas H., Knöbl W. (2013) *Sotsial'naja teorija: dvadtsat' vvodnykh leksij* [Social Theory: Twenty Introductory Lectures], Saint Petersburg: Aleteja.
- Knöbl W. (2010) Path Dependency and Civilizational Analysis: Methodological Challenges and Theoretical Tasks. *European Journal of Social Theory*, vol. 13, no 1, pp. 83–97.

- Kotkin S., Beissinger M. (2014) The Historical Legacies of Communism: An Empirical Agenda. *Historical Legacies of Communism in Russia and Eastern Europe* (eds. M. Beissinger, S. Kotkin), New York: Cambridge University Press, pp. 1–27.
- Maslovskiy M. (2016) Sotsiokul'turnaja dinamika mnozhestvennykh modernov v Brazilii i Rossii [Socio-Cultural Dynamics of Multiple Modernities in Brazil and Russia]. *Sociological Journal*, no 4, pp. 8–24.
- Maslovskiy M. (2017) Brazil, Russia and the Multiple Modernities Paradigm. *Social Imaginaries*, vol. 3, no 1, pp. 147–165.
- Mota A., Delanty G. (2015) Eisenstadt, Brasil and the Multiple Modernities Framework: Revisions and Reconsiderations. *Journal of Classical Sociology*, vol. 15, no 1, pp. 39–57.
- Mouzelis N. (1999) Modernity: A Non-European Conceptualization. *British Journal of Sociology*, vol. 50, no 1, pp. 141–159.
- Sakwa R. (2013) The Soviet Collapse: Contradictions and Neo-Modernization. *Journal of Eurasian Studies*, vol. 4, no 1, pp. 65–77.
- Smith J. (2017) *Debating Civilizations: Interrogating Civilizational Analysis in a Global Age*, Manchester: Manchester University Press.
- Spohn W. (2009) Europeanization, Religion and Collective Identities in an Enlarging Europe: A Multiple Modernities Perspective. *European Journal of Social Theory*, vol. 12, no 3, pp. 358–374.
- Therborn G. (2003) Entangled Modernities. *European Journal of Social Theory*, vol. 6, no 3, pp. 293–305.
- Therborn G. (2015) *Mir: rukovodstvo dlja nachinajushchikh* [The World: Beginners' Guide], Moscow: HSE Press.
- Wagner P. (2008) *Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity*, Cambridge: Polity.
- Wagner P. (2009) Politicheskaja forma novoj Evropy: Evropa kak politicheskaja forma [The Political Form of New Europe: Europe as a Political Form]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 12, no 2, pp. 21–57.
- Wagner P. (2011) From Interpretation to Civilization — and Back: Analyzing the Trajectories of Non-European Modernities. *European Journal of Social Theory*, vol. 14, no 1, pp. 89–106.
- Wagner P. (2015) Interpreting the Present — a Research Programme. *Social Imaginaries*, vol. 1, no 1, pp. 105–129.

(Не)социальное конструирование реальности в эпоху медиатизации*

COULDRY N., HEPP A. (2016). THE MEDIATED CONSTRUCTION OF REALITY. CAMBRIDGE: POLITY PRESS.
256 P. ISBN 978-0-7456-8130-6

Евгения Ним

Кандидат социологических наук, доцент департамента медиа
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: nimeg@mail.ru

В книге Ника Коулдри и Андреаса Хеппа «Медийное конструирование реальности», изданной «Polity Press», предпринята попытка пересмотра классики социальной теории, а именно феноменологии П. Бергера и Т. Лукмана. Спустя полвека после выхода «Социального конструирования реальности» два известных медиаисследователя вновь задают вопросы о том, как создается и познается социальный мир — глубоко медиатизированный мир, где социальное все больше укореняется в технологической инфраструктуре цифровых коммуникаций. Всепроникающая медиатизация социальной жизни трансформирует все ее сегменты как на микро-, так и на макроуровне. Алгоритмы социальных медиа и других компьютерных систем квантифицируют и автоматизируют социальные процессы, прежде имевшие качественный характер. Формирование личной и коллективной идентичности, динамика организаций и социальный порядок в целом испытывают беспрецедентное давление «медиамультиверса». Для понимания такого мира социальная теория должна осуществить ревизию своих подходов и базовых понятий. По мнению авторов, классическая оптика Бергера и Лукмана здесь не вполне пригодна. Коулдри и Хепп развивают материалистическую феноменологию, акцентирующую роль медиатехнологий в построении социального мира. При этом сам социальный мир они рассматривают как сложную сеть фигураций, используя и адаптируя идеи Норберта Элиаса. Их работа имеет выраженный критический характер: авторов тревожит, что относительная автономия социальной жизни начинает подчиняться императивам технологических систем, обусловленным коммерческими интересами их разработчиков. Приходит время, когда социальное не конструируется в повседневных человеческих взаимодействиях, а производится посредством различных медиаплатформ. Эти платформы — теперь наш доступ к социальному миру и его пространство. Так наступил ли конец социального конструирования реальности? А вместе с ним и социального конструкционизма?

Ключевые слова: медиатизация, социальный мир, конструирование реальности, феноменология, Ник Коулдри, Андреас Хепп

© Ним Е. Г., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-409-427

* В данной научной работе использованы результаты проекта «Медиатизация социальных институтов, сообществ и повседневной жизни» (ТЗ-46), выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 году.

Известные теоретики медиа Ник Коулдри и Андреас Хепп осуществили смелую ревизию социологической классики — ключевого текста П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности», написанного пятьдесят лет назад. Свою книгу, изданную «Polity Press» в 2017 году, они назвали «The Mediated Construction of Reality»¹. Однако это не столько пересмотр взглядов Бергера и Лукмана, практически не упоминавших медиа в своем трактате, сколько попытка по-новому ответить на вопрос, как конструируется социальный мир, если этот мир обнаруживает вездесущее и настоящее присутствие медиатехнологий. Дело не сводится к тому, чтобы включить фактор медиа в традицию социального конструкционизма или реинтерпретировать саму традицию (Хепп и Колдри развивают специфическую перспективу «материалистической феноменологии»). Авторы пытаются понять: что социальная теория может дать для изучения медиатизированной социальной жизни и что теория медиа способна рассказать о социальном? Результатом этих изысканий стало впечатляющее описание социального мира, в котором пространство-время, знания, действия и идентичность конструируются «в» и «через» цифровые медиа — и лежащие в их основе коды, алгоритмы и программы.

Появление этого текста (и соавторства) нельзя назвать случайным. Книга стала очередным заметным вкладом в разработку теории медиатизации, довольно молодой и потому малоизвестной российскому научному сообществу. Концепт медиатизации (mediatization), как мы еще увидим, — один из ключевых в обсуждаемой монографии. Изначально развиваемая немецкими и скандинавскими учеными теория медиатизации осуществила успешную экспансию в англоязычную академическую среду (Hepp, 2013; Hepp, Krotz, 2014; Hjarvard, 2013; Lundby, 2009, 2014). За последние десять лет она не только обрела свой корпус авторов и текстов, но и вышла в пространство международных топовых журналов, конференций и исследовательских проектов. Ее адептом стал и поначалу критически настроенный к понятию медиатизации Ник Коулдри — профессор и глава департамента медиа и коммуникаций Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), известный социолог медиа и культуры. Его соавтор, Андреас Хепп, является профессором Центра исследований медиа, коммуникации и информации (ZeMKI) университета Бремена. Долгое сотрудничество в рамках целого ряда проектов побудило этих двух исследователей к написанию совместной книги.

Стоит отметить, что ни одна из работ Ника Коулдри и Андреаса Хеппа пока не переведена на русский язык, как и другие значимые тексты по медиатизации. Между тем теория медиатизации претендует, в зависимости от амбиций разработчиков, на статус новой социальной парадигмы или научно-исследовательской

1. Используемый здесь перевод названия книги «Медийное конструирование реальности» не вполне удачен, поскольку у русскоязычного читателя это может вызывать ассоциации с дискурсивными практиками медиа (медийными образами реальности). Здесь же речь идет о более фундаментальном процессе медиатизации. Поскольку авторы, чувствительные к различию «mediated» и «mediatized», предпочли первый вариант, в переводе фигурирует «медийное». Но по смыслу ближе «Медиатизированное конструирование реальности».

программы, как минимум — на теорию среднего уровня. «Превосходная и пионерская» (согласно рецензии Энтони Гидденса²) книга «Медийное конструирование реальности» должна быть по меньшей мере замечена российскими социологами. Я надеюсь, что мои критические размышления об этом тексте отчасти будут этому способствовать.

Достраивая мир Бергера — Лукмана

Прежде чем перейти к работе Коулдри и Хеппа, обратимся к трактату Бергера и Лукмана. Он был перечитан мной в ожидании выхода «Медийного конструирования реальности», уже анонсированного издательством «Polity Press». Меня интриговало, какие перспективы реинтерпретации через медийные контексты скрывает в себе концепция Бергера и Лукмана и как их разовьют Коулдри и Хепп в своей работе. Сохраняя логику своего читательского эксперимента, вначале изложу соображения о том мире без медиа, который изображен в тексте классиков. При этом условимся называть его «миром Бергера — Лукмана», а современность, описанную в «Медийном конструировании реальности», — «миром Коулдри — Хеппа».

Для начала вспомним, что «Социальное конструирование» было издано в 1966 году. Ко времени написания книги ее авторы (европейцы по происхождению) давно обосновались в США. И конечно же, в Америке того периода, впрочем, как и в других западных странах, массмедиа (газеты, радио и телевидение) были весьма заметным измерением социальной жизни. Настолько заметным, что канадский «пророк» информационной эпохи Маршал Маклюен, опубликовавший свои бестселлеры «Галактика Гутенберга» (1962), «Понимание медиа» (1964) и «Медиа есть сообщение» (1967) примерно в те же годы, предлагал периодизировать человеческую историю в зависимости от типа доминирующего средства коммуникации. Поэтому удивительно, что в социальном мире Бергера — Лукмана практически не фигурируют медиа, причастные к процессам конструирования повседневной жизни. И это объясняет, почему их книга, имеющая парадигмальное значение для социологии, слабо востребована в media studies.

Потеря медиа из виду в «Социальном конструировании» выглядит определенным упущением авторов. Однако в «их» интерсубъективном мире взаимодействий лицом к лицу медиа (как и другие технологии) вторичны. Ученым важно показать, что люди сами создают наполненную смыслами реальность, которая впоследствии приобретает статус внешней и принудительной. В трактате Бергера и Лукмана есть что-то космогоническое: это история о том, как социальная реальность возникла и оформилась в результате чьих-то первоначальных действий и их последующих повторений и типизаций. Этот творимый людьми социальный космос находится в некоем «начале всех начал», которое, впрочем, не остается

2. Цитата из отзыва Гидденса вынесена на заднюю обложку книги Коулдри и Хеппа.

в прошлом, поскольку реальность, уже обретшая «массивность» в непрерывных процессах экстернализации, объективации и реификации, по-прежнему творится — и творит своих создателей.

И медиа здесь отведена весьма значительная роль, хотя упоминается об этом мимоходом. Как мы знаем, мир Бергера — Лукмана состоит из множества реальностей, где реальность повседневности является «верховой»³. Однако есть и другие «конечные области значений» (сновидения, фантазии, игры, научные теории, искусство, религиозный опыт и безумие), которые способны «выключать» людей из повседневности и утверждать свою альтернативную онтологию как первичную — на время пребывания в таком мире. Переход между мирами, имеющими свой «когнитивный стиль», всегда воспринимается как шок. Поэтому необходимы механизмы поддержания базовой реальности повседневности, куда мы возвращаемся из этих опасных путешествий, грозящих подорвать ее как данность. К таким механизмам относятся, в частности, утренние ритуалы, например, поездка в электричке на работу и чтение «Нью-Йорк Таймс».

Газета в мире Бергера — Лукмана обладает поистине магическими свойствами. От прогноза погоды до рекламных объявлений она уверяет индивида в том, «что он находится, конечно же, в самом реальном из миров» (Бергер, Лукман, 1995: 243). Она ослабляет и сводит на нет реальность «тех зловещих экстазов, которые имели место до завтрака, — чуждый облик знакомых предметов после пробуждения от беспокойного сна, шок от неузнавания самого себя в зеркале ванной, невысказанное подозрение... что жена и дети в действительности являются таинственными чужаками» (Там же). Массмедиа выступают в роли экзорцистов, изгоняющих злых духов из иных миров, помогая повседневной жизни обрести привычные, узнаваемые очертания. При этом здесь не важны ни содержание новостей и форма их подачи, ни тип массмедиа (приводится пример с газетой, но это могло быть телевидение или радио). Что действительно имеет значение — так это способность медиа подтверждать существование моего «Я» и социального мира, разделяемого мной с близкими и дальними другими.

Хотя в «Социальном конструировании» медиа упоминаются лишь в единичных случаях, можно попытаться «достроить» мир Бергера — Лукмана в своем воображении, артикулируя их (медиа) присутствие. Заметим, что этот мир не отражал реалии современного ему общества (Америки 60-х годов прошлого века), и уж тем более не отражает сегодняшнюю жизнь. Это модель — идеально-типическая конструкция создаваемого людьми социального мира. Она слабо привязана к определенным технологическим, экономическим, культурным и политическим контекстам, и именно поэтому в ней нет для медиа особенного места. Однако в этом ограничении может состоять и ее сила: архетипический мир Бергера — Лукмана поддается всевозможным расширениям и модификациям, позволяющим вводить

3. В этом видении социального мира они следуют Альфреду Шюцу (Schutz, 1967 [1932]; Schutz, Luckmann, 1973).

вариативные факторы. По крайней мере до тех пор, пока не будут обрушены все его константы, заданные феноменологической перспективой.

Итак, попытаемся реконструировать мир Бергера — Лукмана, высветив в нем место медиа, понимаемых прежде всего как технологии опосредования коммуникации.

1) *Медиа и не-повседневные миры*. Выше уже упоминалось, что мир Бергера — Лукмана осознается как мультиверсум, в котором имеются отличные от повседневности «конечные области значений», куда мы совершаем относительно недолгие визиты. Что происходит с этими мирами опыта при соприкосновении с медиа? Неосязаемые пространства идей и грез невоспроизводимы на языке жизненного мира, но стремятся к физической объективации — они «хотят» стать текстом, звуком, визуальным образом, компьютерной симуляцией. Медиа здесь выступают как каналы связи, переключаяющие наше восприятие в режиме «фигура-фон». Картина, книга, фильм, компьютерная игра уводят человека в воображаемые сферы. Но они же возвращают нас к рутине: «это всего лишь книга или фильм». Медиа работают как «рубильник» и «интерфейс» между мирами. Это относится и к интернету, который вряд ли можно считать «иной» реальностью с особым когнитивным стилем, куда визионеры попадают и без посредства медиатехнологий. Скорее, интернет дает возможность медиатизировать неповседневный опыт и разделить его с другими. К тому же со временем интернет-среда все больше рутинизируется, превращаясь в мир опосредованных рабочих операций.

2) *Медиа и структура социального мира*. Жизненный мир Бергера и Лукмана — это Umwelt Альфреда Шюца (Schutz, 1967 [1932]: 163–207), зона непосредственно переживаемой социальной реальности. Это «мир спутников», находящихся «здесь и сейчас» и взаимодействующих лицом к лицу. Он окружен по большей части анонимным «миром современников» (Mitwelt), с которыми нас связывает общность проживаемой эпохи — и медиа опосредуют эту связь. Благодаря газетам, радио и телевидению мы знаем о существовании «других», а телефон и почта позволяют общаться с ними на расстоянии. В до-цифровое время условная граница между Umwelt и Mitwelt опознавалась именно по непосредственности или опосредованности опыта, но в пространстве онлайн-коммуникаций она становится почти бесшовной. Кроме живущих в этот миг, на горизонте социального мира находятся недостижимые для контакта «предшественники» и «преемники». Здесь медиа связывает нас с прошлым и будущим. Предшественники предстают в виде медийных образов, чему способствуют интенсивные процессы медиатизации истории и памяти. Воображая будущее, мы также апеллируем к медиа, создающим футурологические нарративы. Медиа задают границы между близким и далеким, актуальным и потенциальным, прошедшим и грядущим — и они же размывают их, меняя прежнее зонирование социального мира.

3) *Медиа и символический универсум*. Мир Бергера — Лукмана погружен в символический универсум, понимаемый как «матрица всех социально объективированных и субъективно реальных значений» (Бергер, Лукман, 1995: 158). Символи-

ческий универсум интегрирует маргинальные реальности и частные «подмиры» в базовое измерение повседневности. Он наделяет смыслом биографию индивида и легитимирует институциональный порядок. Медиа — технологическая основа этих символических процессов, ключевой транслятор знаний, ценностей и норм, интернализуемых в процессе социализации. Посредством медиа происходят объективация и реификация реальности, обретающей свойство нечеловеческой фактичности. Медиа овеществляют и натурализуют социальный мир в своих историях и образах — аудитории он предстает как данность, сравнимая с природой. При этом медиа могут поставить под сомнение конкретный политический режим или общественную норму, но не само человеческое общество с его основными институтами. Кроме того, медиа играют важную роль в «разгерметизации» частных смысловых миров (к примеру, мира медицины): благодаря медиа такие символические подуниверсумы становятся более прозрачными и постижимыми для современников.

4) *Медиа, знание и идентичность.* Медиа поддерживают «субъективную реальность» индивида, формируя его идентичность. Согласно Бергеру и Лукману, в процессе первичной социализации человек овладевает практическим, «рецептурным» знанием, позволяющим решать рутинные проблемы в «базовом» сегменте социального мира. Вторичная социализация предполагает усвоение специфического ролевого знания, необходимого для подключения к институциональным подмирам. Будучи влиятельным агентом социализации и образования, медиа давно и прочно встроены в систему производства и распределения знаний. В эпоху дигитализации когнитивное влияние медиа только возрастает: к примеру, компьютерные «поисковики», которые мы вопрошаем по любому поводу, становятся главными поставщиками повседневного и специализированного знания. Идентичность формируется в процессе этих постоянных узнаваний себя и мира, принятий и отказов от различных позиций и ролей. Однако если в мире Бергера — Лукмана доминировала идентичность, «признаваемая богами, психиатрией или партией» (Там же: 165), то сегодня более значимы цифровые образы, конструируемые в социальных медиа. Это идентичность, признаваемая сетевым сообществом (где, впрочем, оказались сами боги, психиатры и вожди) и выстроенная посредством медиатехнологий.

Итак, хотя в социальном мире Бергера — Лукмана медиа малозаметны, прояснить их функции и место вполне возможно. Медиа служат интерфейсом между повседневностью и маргинальным опытом; вовлечены в зонирование и изменение структуры жизненного мира; генерируют силовое поле смыслов, легитимирующих социальную реальность; участвуют в процессах производства знаний и идентичности. Однако остается ключевой вопрос: воспроизводят ли современные цифровые медиа архитектуру мира Бергера и Лукмана или, напротив, радикально меняют его онтологию? В своей работе «Медийное конструирование реальности» Ник Коулдри и Андреас Хепп доказывают, что вездесущее присутствие медиатехнологий имеет серьезные трансформативные последствия для социальной жизни.

Медиатизация социальной жизни и фигуративная теория

В отличие от авторов трактата по социологии знания, Коулдри и Хепп ставят перед собой несколько иную, но не менее амбициозную задачу: развить материалистическую феноменологию социального в эпоху глубокой медиатизации (р. 5). Они полагают, что нельзя изучать социальный мир только в качестве совокупности восприятий и интерпретаций, т. е. в символическом измерении. Смыслы генерируются в процессах коммуникации, практически полностью опосредованной в современном обществе. И фундаментальное значение здесь имеет технологическая инфраструктура коммуникаций, определяющая и сами коммуникативные практики, и более широкие социокультурные контексты, в которых эти практики имеют место. Коулдри и Хепп настаивают, что это радикально иная, медиатизированная социальная реальность, требующая ревизии теоретической оптики, разработанной Бергером и Лукманом.

Книга Коулдри и Хеппа состоит из трех разделов: «Конструирование социального мира», «Измерения социального мира» и «Деятельность в социальном мире».

В первом разделе авторы излагают свое видение социального мира как неразрывно переплетенного с коммуникацией и медиа. В целом критически оценивая феноменологию Шюца, Бергера и Лукмана, они согласны со следующими положениями: а) социальный мир интерсубъективен; б) реальность повседневности есть фундамент социального мира; в) социальный мир дифференцирован на внутренние подмиры, которые могут быть взаимосвязаны (р. 18–20). При этом теоретики медиатизации реартикулируют данные тезисы, наполняя их медийным содержанием. Они подчеркивают роль медиа в формировании «общего» социального мира и процессах институционализации, указывают на опосредованный характер множества рутинных операций, а также на то, что медиа поддерживают или, напротив, размывают границы между различными сегментами социальной жизни. Развивая идеи Альфреда Шюца, авторы отмечают, что сегодня между *Umwelt* и *Mitwelt* циркулируют непрерывные информационные потоки; и в целом современные медиатехнологии глубоко трансформируют структуру повседневности. Эти заключения во многом схожи с нашей экспликацией места медиа в «Социальном конструировании реальности», однако дальше начинаются и углубляются различия.

Социальный мир Коулдри — Хеппа создается посредством коммуникативных действий, предполагающих участие медиа. Под медиа здесь понимаются технические средства коммуникации, которые институализируют и материализуют коммуникативные практики (р. 32). Примечательно, что медиа не нейтральны в актах коммуникации, которую они определенным образом моделируют. По этой причине коммуникативная конструкция социального мира меняется, когда в ее построении задействованы медиа. Этот процесс опосредованного конструирования реальности авторы рассматривают в исторической перспективе, вводя понятие волн медиатизации.

Для начала нужно прояснить, что означает сама *медиа́тизация*. Согласно Коулдри и Хеппу, это «двусторонний» концепт, позволяющий связать трансформации общества и культуры, с одной стороны, и специфические изменения в медиа и коммуникациях — с другой (р. 36). При этом медиа́тизацию (*mediatization*) следует отличать от медиации (*mediation*): если понятие медиации отражает простой факт опосредования коммуникации, то медиа́тизация есть более глубокий и длительный метапроцесс, характеризующий проникновение медиации на все уровни социальной жизни. Медиа́тизация имеет как количественное, так и качественное измерение; в первом случае можно говорить о временном, пространственном и социальном распространении медиа, во втором — о всевозможных последствиях, которые имеет эта медиаэкспансия для социального мира. Собственно, происходит медиа́тизация всего и вся: политики, религии, образования, науки, спорта, потребления, туризма, детства, памяти, войны, терроризма и т. д. Похоже, это универсальный процесс, который в то же время нельзя назвать линейным, поскольку он имеет свою специфику в разных культурах, регионах и сегментах социальной жизни.

Концепция медиа́тизации усиленно «отстраивается» от теории медиума (Innis, 1950, 1951; McLuhan, 1962; Meyrowitz, 1995), утверждающей глобальное влияние какого-либо одного медиа на человеческое общество. В этой перспективе история рассматривается как последовательность медиакультур (устной, письменной, печатной, электронной), в которых доминирует то или иное средство коммуникации. Хепп и Коулдри предлагают свою версию истории медиакоммуникаций, охватывающую последние 600 лет, где выделяется четыре *волны медиа́тизации* (р. 38–52):

- 1) Механизация (1450–1830 гг.) связана с изобретением печатного станка и последующей индустриализацией коммуникации, результатом которой стало появление печатных медиа.
- 2) Электрификация (1830–1950 гг.) — в этот период возникает целый ансамбль медиа (телеграф, телефон, граммофон, радио, магнитофон, кинематограф, телевидение), основанных на электрической трансмиссии.
- 3) Дигитализация (с 1950-х гг.) — время компьютеров, интернета и мобильных коммуникаций, а также возрастающей интеграции машинного интеллекта в повседневную жизнь.
- 4) Дати́фикация (XXI век) — начало новой волны, знаменующей эпоху больших данных, источниками которых являются, в частности, интернет вещей и социальные медиа.

Каждую из перечисленных волн формирует не какое-то единичное медиа, а скорее особый технологический способ функционирования всей медиасреды. Волна медиа́тизации привносит качественные изменения в медиасистему, достаточно критичные для того, чтобы образовать отличительную фазу в текущем процессе медиа́тизации — даже с учетом локальных, региональных и национальных различий (р. 39). При этом возникающие «новые» медиа не вытесняют «старые»,

а способствуют их преобразованию в соответствии с инновационной парадигмой (например, печатные и электронные СМИ становятся цифровыми). Трансформируя медиасреду, очередная волна медиатизации обновляет и существующие в обществе практики коммуникации.

Последние две волны — дигитализация и датификация — коррелируют, по мнению Коулдри и Хеппа, с фазой *глубокой медиатизации* социального мира. Этот этап характеризуется своего рода технологической акселерацией: если от изобретения типографского станка до появления печатных газет прошло 150 лет, а такие электронные медиа, как телефон, радио, кино и телевидение, появились в течение полувека, то для возникновения и массового распространения цифровых инноваций потребовалось всего лишь три десятилетия. Однако дело не только в ускорении и масштабировании процессов медиатизации, но и в глубокой интеграции информационных инфраструктур и технологий в единую медиасреду, где любые устройства могут быть подключены друг к другу, а контент свободно циркулирует в мультимедийных сетях. Для обозначения этой ситуации авторы вводят понятие *media manifold* (р. 55–56) — по аналогии с топологическим многообразием в математике, предполагающим, что пространство со многими измерениями может быть адекватно представлено в форме пространства меньшей размерности (например, евклидова). Такая сложная метафора иллюстрирует мысль, что многомерный медиамультиверс⁴, содержащий бесчисленные информационные возможности, всегда редуцирован в опыте конечного пользователя, каждый раз выбирающего для решения своих задач лишь отдельные технологические опции. При этом динамика этой сложноорганизованной медиасреды оказывает серьезное влияние на всех отдельных акторов и социальный мир в целом — особенно сейчас, когда оставляемые нами «цифровые следы» генерируются в потоки больших данных, попадающих в распоряжение IT-корпораций и множества других организаций, как частных, так и государственных.

Для понимания того, как работает медиамультиверс на разных уровнях социальной реальности, Коулдри и Хепп развивают *фигуративный* подход (р. 57–78). Они вводят понятие коммуникативной фигурации, адаптируя для этого концепт «фигурации» немецкого социолога Норберта Элиаса (Elias, 1978, 1991 [1939]).

В отличие от «сетей», сводящих социальный мир к множеству констелляций взаимосвязанных акторов (Castells, 2009), или «сборок», komponующих в «плоском» социальном ландшафте ансамбли из человеческих и нечеловеческих актантов (Latour, 2005), понятие фигурации имеет определенные эвристические преимущества. По мнению авторов, оно содержит в себе обе возможности: видеть в потоке социальной жизни структуры как паттерны взаимозависимостей и понимать место материальных технологий в гетерогенных сетях. По сути, Коулдри и Хепп предлагают свою версию фигуративной социологии, релевантную для нашей цифровой эпохи. При этом они подчеркивают роль медиакоммуникаций

4. Здесь и далее *media manifold* переводится как медиамультиверс.

в поддержании (или даже конструировании) смысловых связей внутри и между фигурациями, без которых последние не могут существовать.

Любая *фигурация* в понимании Коулдри и Хеппа, предполагает наличие трех измерений (р. 66–67):

- 1) определенные рамки релевантности (*relevance-frames*), подразумевающие, что вовлеченные в фигурацию люди разделяют общие цели и ориентированы на совместные действия, имеющие смысл именно для данной фигуры;
- 2) специфическая констелляция акторов-людей, которая может рассматриваться как структурный базис фигуры (например, члены семьи, друзья, участники игры, пользователи одной медиаплатформы и т. д.);
- 3) определенные коммуникативные практики, включающие всю совокупность медийных объектов и технологий, поддерживающих данную коммуникативную фигурацию, ее «медиаансамбль».

Поскольку медиа становятся технологической инфраструктурой практически для всех фигураций (т. е. для всех малых и больших социальных миров, в которых мы живем), возникает множество вопросов о том, какие социальные и культурные последствия имеет это повсеместное медиаприсутствие. В какой мере возникающие медиатеchnологии стабилизируют или меняют коммуникативные практики, а возможно, и содержание самих отношений внутри фигураций? Как они «подключают» одну фигурацию к другой и участвуют в построении композитных «фигураций фигураций»? Способны ли цифровые медиатеchnологии создавать новые типы фигураций? Коулдри и Хепп не дают простых ответов на эти вопросы. Они постоянно подчеркивают, что процессы медиатизации вариативны, многомерны и противоречивы, а сами новые медиатеchnологии не появляются из «ниоткуда», как внешние захватчики: во многом их возникновение вызвано потребностями самих социальных акторов и коммуникативных фигураций.

Социальный мир в эпоху глубокой медиатизации

Как устроен медиатизированный мир Коулдри—Хеппа?

Мы узнаем об этом в двух других разделах книги. Ее вторая часть, «Измерения социального мира», посвящена пространству, времени и данным. Здесь просматривается некоторая аналогия с «Социальным конструированием реальности»: Бергер и Лукман также говорили о пространственно-временной структуре социального и акцентировали роль языка и знаний в повседневной жизни (в версии Коулдри и Хеппа социальный запас знания начинает замещаться большими данными).

Что касается пространства, то оно претерпевает критические изменения, связанные с работой медиамультиверса. Благодаря онлайн-коммуникациям с удаленными другими «здесь и сейчас» заменяется «там и сейчас» (р. 84). Это влечет два важных следствия: во-первых, интернет расширил жизненный мир через включение онлайн-областей, во-вторых, ситуация лицом к лицу больше не является

прототипом социального взаимодействия⁵. Напротив, опосредованное общение повсеместно становится базовым способом коммуникации. Деятельность многих фигураций (от семьи и школы до правительств и финансовых рынков) пространственно распределена между физически удаленными акторами и объектами. Все больше мест автоматизируются и управляются через медиатехнологии: например, пространства «умных городов» превращаются в цифровые локации, генерирующие данные для компьютерных систем (Kitchin, Dodge, 2011). Однако медиа могут не только оптимизировать, но и проблематизировать пространственные отношения. Цифровые медиакommunikации создают новые типы пространственного неравенства. Они также включают опции слежения и мониторинга, создавая условия для кибербуллинга и других онлайн-девиаций. Но главная проблема заключается в том, что медиаплатформы, на основе которых выстраивается множество пространств социального взаимодействия, являются продуктами частных корпораций. И именно они представляются в качестве главных демиургов медиатизированного социального мира, что качественно отличает его от мира Бергера — Лукмана, конструируемого в интересубъективном опыте.

Медиа также изменяют темпоральность социального мира. Они прочно внедрены в социальные практики различения времени, делая его более конкретным и осязаемым. Новостные медиа постоянно напоминают нам о времени, большинство цифровых гаджетов имеют функцию часов и календарей. Медиа — «социальные метрономы повседневности» (Neverla, 2010: 183) и координаторы взаимодействий на всех уровнях социальной жизни. В эпоху дигитализации медиа ускоряют ее темп, более того — создают «культуру мгновенности», принуждая многих жить в режиме 24/7, в боязни пропустить звонок или сообщение. Это культура немедленного ответа, формирующая новые нормы общения: если ты не ответил по электронной почте в течение дня (или на сообщение в социальных сетях спустя нескольких часов), коммуникативные ожидания твоих партнеров могут быть нарушены. Активное использование смартфонов и социальных медиа все больше предполагает, что ты должен быть всегда доступен для других. Есть нечто парадоксальное в том, что, следуя императиву технологической системы «быть всегда на связи», люди готовы ущемлять свои витальные потребности. Цифровые медиа, похоже, обладают свойством навязывать свой темп большим и малым фигурациям, живущим в своем собственном ритме (как и акторам, имеющим свое «внутреннее» время). Возникает конфликт темпоральностей, характерный именно для медиатизированного фигуративного порядка, где социальное время, по мнению Коулдри и Хеппа, уже не столько конструируется в человеческих взаимоотношениях, сколько производится технологической инфраструктурой.

Не только время и пространство трансформируются в эпоху глубокой медиатизации. Изменяется также характер производства и распределения социального запаса знания, которое прежде накапливалось людьми в процессе их повседнев-

5. Здесь авторы апеллируют к работам S. Zhao (2006, 2007).

ных интеракций и рефлексий. Сегодня источником и транслятором знания становятся информационные сети, обладающие огромными вычислительными мощностями и обрабатывающие гигантские потоки данных. Благодаря им мы не только что-то узнаем о социальном мире, но и взаимодействуем с ним через компьютерные интерфейсы. При этом чаще всего мы не знаем, как именно устроены поисковые системы, сервисы социальных сетей или сайты интернет-магазинов: в этом смысле они являются для нас «черными ящиками» (впрочем, так же как телевизор или радиоприемник). Однако есть нечто, что принципиально отличает новейшие медиатехнологии от предыдущих — это «черные ящики», не только используемые нами, но также использующие нас. В то время как мы пишем интересный пост в своей френд-ленте, компьютерные системы анализируют наши профили. Онтология повседневных взаимодействий радикально изменилась: в них повсеместно встраиваются большие данные и алгоритмы, автоматически идентифицирующие, классифицирующие и оценивающие каждого пользователя. При этом полученное таким способом «социальное» знание используется прежде всего в коммерческих и административных целях. Однако и на индивидуальном уровне «идеология датаизма» получает все большее распространение: примером может быть увлечение различными инструментами селф-трекинга (мобильные фитнес-приложения, умные часы), позволяющими квантифицировать свою физическую и социальную активность.

В эпоху онлайн-коммуникаций иначе конструируется персональная и коллективная идентичность. Об этом Хепп и Коулдри пишут в третьем разделе книги «Деятельность в социальном мире». Уже с детства в распоряжении ребенка оказываются медиаресурсы, с помощью которых создаются цифровые образы и само-нарративы; компьютерные игры, селфи, фанфики и блоги выполняют роль интерфейса между «самостью» и внешним миром. Современные медиа глубоко вовлечены в процессы первичной и вторичной социализации, формируя «алгоритмическое я» (Turkle, 2015: 79–99), измеряемое количеством «френдов», постов, лайков, «шервов» и т. д. Конструирование идентичности все больше зависит от интеграции в медийную инфраструктуру; поддержание своего «цифрового тела» требует постоянного доступа к сервисам социальных сетей.

Медиа также трансформируют процессы образования и деятельности коллективов. Происходит это, по мнению авторов, двумя путями. Во-первых, есть коллективы, возникшие на основе различных онлайн-платформ (media-based collectivities), и которые не могут самостоятельно существовать за их пределами. Например, это фэндомы или игровые «гильдии», включающие участников многопользовательских игр. В этом случае медиа предоставляют людям тематический контент, который их объединяет, и/или общее пространство для коммуникации. Во-вторых, можно говорить о медиатизированных коллективах (mediatized collectivities), таких как семья, компания сверстников, группа мигрантов или гей-сообщество. Подобные коллективы, хотя и основаны на личных взаимодействиях, с использованием мобильных технологий и интернета приобретают «распреде-

ленную» групповую идентичность; «текстура» их отношений испытывает трансформирующее влияние медиакоммуникаций. Еще в большей мере это влияние прослеживается на уровне любых формальных организаций, деятельность которых преобразована информационно-коммуникативными технологиями «сверху донизу».

Хепп и Коулдри отмечают роль медиа в построении «воображаемых сообществ»⁶, прежде всего таких как национальные государства. Традиционно эта роль связывалась с трансляцией контента, содержащего ценности и символы, конструирующие самосознание нации. Однако в эпоху глубокой медиатизации, сопряженной с процессами глобализации, политические проекты воображаемых объединений имеют тенденцию становиться транснациональными и транскультурными (Европейский союз является хорошей иллюстрацией). Таковы и многие социальные движения, активно использующие цифровые инструменты для достижения своих глобальных целей — например, международные хакерские организации.

Говоря о глубокой медиатизации политической сферы, Коулдри и Хепп осторожны с выводами о том, способствуют ли интернет-коммуникации и дата-технологии возникновению новых типов политики. Безусловно, благодаря цифровым медиа граждане получили более широкие возможности наблюдения за деятельностью государственных и частных организаций. В свою очередь, различные учреждения, включая правительство, также опосредуют свои отношения с населением через масштабные информационные системы и встроенные в них бюрократические интерфейсы. Но здесь важно видеть не только процессы демократизации общественной жизни. Социальный порядок, технологически укорененный в инфраструктуре больших данных, — это социальная фабрика, построенная на непрерывном взаимном слежении, последствия которого весьма неоднозначны. Идеология датаизма способна менять социальные нормы и принципы легитимности, в частности, устанавливая и натурализуя отношения между компаниями и пользователями, государством и гражданами, основанные на активной роли последних в производстве данных — без их очевидного согласия. Эта система в определенном смысле авторитарна. Примечательно, что национальные государства в лице своих правительств имеют все меньше контроля над информационно-технологическими инфраструктурами и все более зависимы от небольшого числа доминирующих корпораций (таких как Apple, Google, Microsoft), которые их создают.

Завершая свое исследование, Хепп и Коулдри заключают, что трансформация медиа послужила отправной точкой для трансформации социального порядка (р. 216–219). Здесь можно говорить по меньшей мере о трех фундаментальных последствиях глубокой медиатизации:

6. В понимании Б. Андерсона, см. его работу «Воображаемые сообщества» (Anderson, 1983).

Во-первых, в условиях дигитализации как социальные, так и медиапроцессы становятся глубоко рекурсивными. В широком смысле рекурсивность всегда была присуща социальному миру, поскольку в любых своих взаимодействиях мы воспроизводим правила и нормы, на которых он основан. Однако сегодня эти повседневные взаимодействия во многом управляются программным обеспечением, изначально предполагающим рекурсию. В ситуациях, когда мы теряем соединение с интернетом, наш пароль доступа перестает работать или невозможно обновить требуемый софт — социальная инфраструктура словно бы становится для нас разрушенной, потому что рекурсия была прервана, и наш мир потерял способность к воспроизводству.

Во-вторых, глубокая медиатизация социального порядка проявляется в процессах расширенной институционализации. Акторы, способные действовать относительно автономно (индивиды, коллективы, организации), становятся все более зависимыми в своих базовых операциях от масштабной медиаинфраструктуры, которая предоставляется и контролируется новыми формами институциональной власти (поисковыми системами, агрегаторами данных, облачными сервисами). Из этого пространства медиатизированных действий и взаимосвязей некуда бежать, поскольку теперь это пространство самой социальной жизни. И это изменение, даже больше — переделка социального, происходящая «извне», мотивирована вполне конкретными экономическими интересами разработчиков и поставщиков информационных услуг.

В-третьих, глубокая медиатизация усиливает рефлексивность социальных акторов. Отчасти это проявляется в том, что люди осознают издержки данного процесса, пытаются в некоторых случаях выработать практики сопротивления всепроникающей экспансии медиа. Но чаще реакция на негативные эффекты медиатизации иная: люди надеются, что возникшие проблемы решатся путем еще более масштабного внедрения еще более усовершенствованных медиатехнологий. Тем не менее существуя внутри медиамультиверса и сталкиваясь с его «острыми» границами, социальные акторы могут испытывать тревогу и беспокойство, что побуждает их к дискуссиям и действиям, подрывающим технологическую «данность» медиатизированного социального мира.

Конец социального конструирования реальности?

Хотя наш экскурс в медиатизированный мир Коулдри — Хеппа был в большей мере сосредоточен на его устройстве, книга «Медийное конструирование реальности» все же о другом. Это не только удачная попытка описать нашу новую жизнь с цифровыми медиа, но и амбициозный проект по пересмотру социальной теории, призванный повысить ее чувствительность к трансформативному потенциалу коммуникативных технологий. При этом речь идет о феноменологической, или, шире, культуралистской традиции, с которой Коулдри и Хепп себя идентифицируют. Развиваемую ими социальную герменевтику можно охарактеризовать как:

- фигуративную (поскольку она выстроена вокруг концепта фигураций Элиаса);
- материалистскую (в смысле акцентирования роли технологий в конструировании социального мира);
- критическую (как задающую вопросы о нормативных последствиях медиатизации).

Эти три отличительные черты, несомненно, дают повод для раздумий и дискуссий.

Прежде всего небесспорным выглядит привлечение фигуративного подхода Норберта Элиаса. Читателю порой становится неясно: исследуют ли авторы медиатизацию социального мира, вдохновляясь идеями Элиаса, или развивают фигуративную социологию Элиаса, попутно адаптируя ее к цифровым реалиям? Эта книга вполне могла бы называться и «The Mediatized Society of Individuals»⁷, тем более что Хепп и Коулдри мало апеллируют к тексту Бергера и Лукмана. Не совсем понятно, почему возможны смелые эксперименты с понятием фигурации (слабо очерченным у Элиаса, который к тому же не уделял внимания медиа), в то время как концепция Бергера и Лукмана (где медиа также не проявлены) признается бесперспективной для понимания медиатизированной реальности. При этом сама идея фигураций, подчеркивающая историчность, процессуальность, материальность и «переплетенность» социальной жизни, довольно органична для восприятия мира, живущего в пространстве медийных потоков и сетей. Но так ли нужен концепт фигураций, позволяющий избегать понятий социальных групп и институтов как атрибутов отвергаемого авторами функционализма? Ведь по сути, они все равно исследуют структуру социального мира, двигаясь от индивидуальных акторов к коллективам и организациям, а далее — к социальному порядку. В предыдущих своих текстах Андреас Хепп писал о множестве социальных/жизненных миров, каждый из которых имеет свою собственную коммуникативную фигурацию, включая медиаансамбль и практики использования медиа. Иными словами, понятие фигурации нужно было для обозначения медиатизированных связей между акторами и более конкретно — для эмпирического анализа медиатизированных социальных миров. Стоит ли фактически придумывать новую социологию, чтобы решать подобные задачи? Собственно, почему бы и нет.

Что касается акцента на материальности жизненного мира (и осязаемого влияния Бруно Латура), здесь он вполне уместен и эвристичен, поскольку речь идет о формах и последствиях дигитализации. Отметим, что классическая феноменология не отрицала мир объектов: напротив, именно манипуляции с миром тел, вещей и технологий являются основой рутинных практик и формируют повседневное знание. Другое дело, что объекты там рассматриваются в поле значений, которыми их наделяют люди. Поскольку сознание интенционально, для него в определенном плане нет разницы, кто, скажем, задает «лекала» идентичности:

7. Одна из работ Элиаса называется «Общество индивидов» (Elias, 1991 [1939]).

боги, политические партии или Facebook. В условном мире Бергера — Лукмана практически нет медиа, как нет и технологий в принципе, хотя навряд ли они не понимали историческую роль пара, электричества или печатного станка. Их интересовало *социальное*, т. е. intersубъективное конструирование мира человеческими существами. Так можно ли сказать, что в эпоху глубокой медиатизации конструирование мира перестало быть социальным в этом значении intersубъективности? Ник Коулдри и Андреас Хепп сами признают, что постулат об intersубъективном мире еще работает. Вероятно, вопрос в другом: что есть сегодня социальное для ученых после множества его ревизий и «пересборок»? Каким образом оно включает или исключает материальные объекты и технологии? Ответ Коулдри и Хеппа являет собой компромисс, поскольку они вводят технологии в структуру фигураций, но в качестве акторов рассматривают лишь людей. Поэтому роль медиа здесь может видаться по-разному: как максимум они предстают модификаторами социального мира, как минимум — являются технологической основой фигураций.

Подход Коулдри и Хеппа можно назвать критическим, что отличает его от других исследований медиатизации, избегающих оценивать ее социокультурные последствия в нормативной плоскости. Лучше всего их озабоченность экспансией датаизма отражена в романе-антиутопии Дэвида Эггерса «Сфера» (2013), на который они не раз ссылаются в своей работе. Там блестяще изображен абсолютно медиатизированный мир, тотально контролируемый всеисильной технологической корпорацией «Сфера». В этом мире непрерывного контакта и взаимного слежения приватность оценивается как преступление, а «прозрачность» (включая видеотрансляцию своей жизни в режиме 24/7) — ключевой этический императив. «Сфероиды» экстраполируют свою корпоративную культуру, построенную на избыточных коммуникациях (и связанную с достижением коммерческих целей), на все остальное человечество. Не иметь аккаунт в «Сфере» или не использовать его, значит лишиться доступа к дигитализированному социальному миру, превращенному в гигантский агрегатор всевозможных данных. Этот тревожный сценарий воображаемого будущего явно выглядит для Коулдри и Хеппа отчасти возможным и не совсем желанным, хотя они и облачают свою позицию в объективные формулировки. Следует ли объяснить эти тревоги излишним медиацентризмом, иначе говоря, технологическим детерминизмом, который отрицают сами теоретики медиатизации, но в котором их все же регулярно упрекают? Сложно сказать — это зависит от установок самого читателя. Но я думаю, многим будет близка эта сдержанная версия кибер-пессимизма.

Книга «The Mediated Construction of Reality» Ника Коулдри и Андреаса Хеппа обязательна к прочтению всем, кого интересуют процессы медиатизации социального мира. Это великолепный научный текст — насыщенный, дискуссионный и визионерский. Пусть авторы и «отреклись» от социологического наследия Бергера и Лукмана, их работа сама достойна стать новой классикой в социальной теории.

Литература

- Бергер П., Лукман Т. (1995). Социальное конструирование реальности / Пер. с англ. Е. Руткевич. М.: Медиум.
- Anderson B. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.
- Castells M. (2009). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Couldry N., Hepp A. (2016). *The Mediated Construction of Reality*. Cambridge: Polity Press.
- Elias N. (1978). *What is Sociology?* London: Hutchinson.
- Elias N. (1991 [1939]). *The Society of Individuals*. London: Continuum.
- Hepp A. (2013). *Cultures of Mediatization*. Cambridge: Polity.
- Hepp A., Krotz F. (eds.). (2014). *Mediatized Worlds: Culture and Society in a Media Age*. Basingtoke: Palgrave Macmillan.
- Hjarvard S. (2013). *The Mediatization of Culture and Society*. London: Routledge.
- Innis H. A. (1950). *Empire and Communications*. Oxford: Clarendon Press.
- Innis H. A. (1951). *The Bias of Communication*. Toronto: Toronto University Press.
- Kitchin R., Dodge M. (2011). *Code/Space: Software and Everyday Life*. Cambridge: MIT Press.
- Latour B. (2005). *Reassembling the Social*. Oxford: Oxford University Press.
- Lundby K. (ed.) (2009). *Mediatization: Concept, Changes, Consequences*. New York: Peter Lang.
- Lundby K. (ed.). (2014). *Mediatization of Communication*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- McLuhan M. (1962). *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. Toronto: University of Toronto Press.
- McLuhan M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- McLuhan M., Fiore Q., Agel J. (1967). *The Medium is the Massage: An Inventory of Effects*. New York: Bantam Books.
- Meyrowitz J. (1995). *Medium Theory* // Crowley D. J., Mitchell D. (eds.). *Communication Theory Today*. Cambridge: Polity. P. 50–77.
- Neverla I. (2010). *Medien als Soziale Zeitgeber im Alltag* // Hepp A., Hartmann M. (Hrsg.) *Die Mediatisierung der Alltagswelt*. Wiesbaden: VS. P. 183–194.
- Schütz A. (1967 [1932]). *The Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press.
- Schütz A., Luckmann T. (1973). *The Structures of the Life-World*. Vol. 1. Evanston: Northwestern University Press.
- Turkle S. (2015). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. New York: Penguin.
- Zhao S. (2006). *The Internet and the Transformation of the Reality of Everyday Life* // *Sociological Inquiry*. Vol. 76. № 4. P. 458–474.
- Zhao S. (2007). *Internet and the Lifeworld* // *Information Technology & People*. Vol. 20. № 2. P. 140–160.

The (Non)social Construction of Reality in the Age of Mediatization

Evgenia G. Nim

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, School of Media, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: nimeg@mail.ru

The book *The Mediated Construction of Reality* by Nick Couldry and Andreas Hepp, published by Polity Press, presents an attempt at reconsidering the classics of social theory, namely Berger and Luckmann's phenomenology. Half a century after the appearance of *The Social Construction of Reality*, two renowned media researchers ask new questions about the ways of making and understanding the social world. Today's world has become profoundly mediatized, and the social gets increasingly rooted in the technological infrastructure of digital communication. The pervasive mediatization of social life transforms all of its segments on both the micro- and macro-levels. The algorithms of social media and other computer systems quantify and automate social processes which used to be perceived as qualitative. In order to understand this world, social theory has to revise its approaches and basic notions. According to Couldry and Hepp, the classical optics of Berger and Luckmann's social constructionism is no longer suitable, developing a materialist phenomenology which emphasizes the role of media technologies in constructing the social world. Furthermore, these authors regard the social world as a complex network of figurations, using and adapting the ideas of Norbert Elias. Their work has a pronounced critical purpose: the authors are concerned about the relative autonomy of social life, which is coming under control of technological systems' imperatives and dictated by their developers' commercial interests. The time is approaching when the social is no longer constructed in everyday human interactions, but produced by means of various media platforms instead. Nowadays, these platforms provide us with access to the social world and constitute its space. Does this mean the end of the social construction of reality, as well as the end of social constructionism?

Keywords: mediatization, social world, construction of reality, phenomenology, Nick Couldry, Andreas Hepp

References

- Anderson B. (1983) *Imagined Communities*, London: Verso.
- Berger P. L., Luckmann T. (1966) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Garden City: Anchor Books.
- Castells M. (2009) *Communication Power*, Oxford: Oxford University Press.
- Couldry N., Hepp A. (2016) *The Mediated Construction of Reality*, Cambridge: Polity Press.
- Elias N. (1978) *What is Sociology?*, London: Hutchinson.
- Elias N. (1991 [1939]) *The Society of Individuals*, London: Continuum.
- Hepp A. (2013) *Cultures of Mediatization*, Cambridge: Polity.
- Hepp A., Krotz F. (eds.) (2014) *Mediatized Worlds: Culture and Society in a Media Age*, Basingtoke: Palgrave Macmillan.
- Hjarvard S. (2013) *The Mediatization of Culture and Society*, London: Routledge.
- Innis H. A. (1950) *Empire and Communications*, Oxford: Clarendon Press.
- Innis H. A. (1951) *The Bias of Communication*, Toronto: Toronto University Press.
- Kitchin R., Dodge M. (2011) *Code/Space: Software and Everyday Life*, Cambridge: MIT Press.
- Latour B. (2005) *Reassembling the Social*, Oxford: Oxford University Press.
- Lundby K. (ed.) (2009) *Mediatization: Concept, Changes, Consequences*, New York: Peter Lang.
- Lundby K. (ed.) (2014) *Mediatization of Communication*, Berlin: De Gruyter Mouton.

- McLuhan M. (1962) *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, Toronto: University of Toronto Press.
- McLuhan M. (1964) *Understanding Media: The Extensions of Man*, New York: McGraw-Hill.
- McLuhan M., Fiore Q., Agel J. (1967) *The Medium is the Massage: An Inventory of Effects*, New York: Bantam Books.
- Meyrowitz J. (1995) Medium Theory. *Communication Theory Today* (eds. D. J. Crowley, D. Mitchell), Cambridge: Polity, pp. 50–77.
- Neverla I. (2010) Medien als Soziale Zeitgeber im Alltag. *Die Mediatisierung der Alltagswelt* (eds. A. Hepp, M. Hartmann), Wiesbaden: VS, pp. 183–194.
- Schütz A. (1967 [1932]) *The Phenomenology of the Social World*, Evanston: Northwestern University Press.
- Schütz A., Luckmann T. (1973) *The Structures of the Life-World, Vol. 1*, Evanston: Northwestern University Press.
- Turkle S. (2015) *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*, London: Penguin.
- Zhao S. (2006) The Internet and the Transformation of the Reality of Everyday Life. *Sociological Inquiry*, vol. 76, no 4, pp. 458–474.
- Zhao S. (2007) Internet and the Lifeworld. *Information Technology & People*, vol. 20, no 2, pp. 140–160.

Социология Макса Вебера: поздняя, незавершенная и современная

SCHLUCHTER W. (2016). MAX WEBERS SPÄTE SOZIOLOGIE. TÜBINGEN: MOHR SIEBECK. 349 S. ISBN 978-3-16-153383-9

Дмитрий Катаев

Доктор социологических наук, доцент кафедры философии, социологии и теологии
Института истории, права и общественных наук Липецкого государственного
педагогического университета имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского
Адрес: ул. Ленина, д. 42, корп. 2, г. Липецк, Российская Федерация 398020
E-mail: dmirikataev@rambler.ru

Немецкий социолог Вольфганг Шлюхтер занимает особое место среди немецких исследователей Вебера. «Если бы в Гейдельберге не было Вольфганга Шлюхтера, тот „дух“ Макса Вебера, которым так любит покрасоваться город, снова бы стал бледной памятью о нем»¹, — писал о нем М. Р. Лепсиус. Действительно, исследования Шлюхтера по социологии религии и концепции всемирной истории как истории рационализации, реконструирующие, систематизирующие и одновременно актуализирующие веберовское наследие, переведены на множество языков. В России он известен прежде всего благодаря работам Ю. Н. Давыдова, в свое время прочитавшего несколько лекций в Гейдельберге² и там познакомившегося с ним лично. Вместе с Й. Винкельманом, В. Моммзенем, Х. Байером, М.Р. Лепсиусом, Г. Ротом В. Шлюхтер координировал в качестве издателя проект по изданию Полного собрания сочинений Макса Вебера в 47 томах (1984–2017), общественно-политическое и научное значение которого для немецкой и мировой социологии трудно переоценить. Книга «Поздняя социология Макса Вебера» является переработанным и сокращенным обобщением предисловий к двум главным социологическим трудам классика «Собрание сочинений по социологии религии» и «Хозяйство и общество» в составе Полного собрания сочинений Макса Вебера³.

© Катаев Д. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-3-428-435

1. Ссылка на цитату. Цит. по: Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schluchter mit Großer Universitätsmedaille ausgezeichnet. 31. Mai 2007. URL: <http://www.uni-heidelberg.de/presse/news07/2705schl.html>

2. Davydov J. N., Gaidenko P. P. (1995). Russland und der Westen: Heidelberger Max Weber-Vorlesungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

3. Weber M. (2013). Gesamtausgabe. Band I/23: Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie. Unvollendet. 1919–1920 / Hrsg. W. Schluchter, E. Hanke, K. Borchardt. Tübingen: Mohr Siebeck; Weber M. (2016). Gesamtausgabe. Band I/18: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus. Schriften 1904–1920 / Hrsg. W. Schluchter, U. Bube. Tübingen: Mohr Siebeck.

Называя веберовскую социологию «поздней» («запоздалой»), Шлюхтер объясняет это следующим образом. С 1910 года Вебер разрабатывал два масштабных проекта. Первый, упоминаемый им в письмах к издателю как «моя социология», первоначально имел название «Хозяйство и общество», затем был переименован в «Учебник политической экономии», позднее — в «Основы социальной экономики» и в окончательной версии — в «Хозяйство и общественные порядки и силы». Второй проект назывался «Собрание сочинений по социологии религии». Оба проекта так и остались незавершенными, но именно они, по мнению Шлюхтера, взаимодополняя друг друга, образуют ядро веберовской «поздней» социологии. Кроме того, не случайно, наверное, и сам Макс Вебер медлил с тем, чтобы называть свои работы социологическими. За два года до смерти, в 1918 году, он все еще называет социологию «гибридной дисциплиной», а себя самого — историком, юристом, национал-экономом. Относительная определенность возникает лишь незадолго до его кончины.

Все это, конечно много раз обсуждалось, однако рецензируемую книгу отличает ряд принципиально новых идей. Во-первых, это новый взгляд на соотношение национальной экономики и социологии в творчестве Макса Вебера. Если в предыдущих работах Шлюхтера Вебер-экономист характеризовался как пока еще «незрелый» социолог, а научное занятие национальной экономикой — как этап становления Вебера-социолога, то в «Поздней социологии» сама социология Вебера описывается как незавершенный фрагмент, а социологический этап творчества 1919/1920 года — как самый короткий, но в то же время самый яркий и незаслуженно недооцененный. Вторая новация — это анализ интеллектуальной биографии Вебера 1904/1905–1920 годов, включающий практически *все* без исключения его работы, поскольку они имеют отношение к основной проблеме: возникновению (но не *развитию*) и своеобразию западного капитализма.

Автор прослеживает историю возникновения, взаимовлияние и содержательную направленность двух основных проектов Вебера: социологии религии, которой посвящена первая и наиболее объемная часть книги, и послевоенной редакции «Хозяйства и общества», которая рассматривается во второй части. Шлюхтер стремится показать взаимную комплементарность этих незаконченных произведений и их значение для понимания Вебера как социолога.

Шлюхтер по-прежнему убежден в целостности и неувядающей актуальности веберовской социологии. При этом он выдвигает требование безоговорочной аутентичности как самих текстов, так и рецепции классики. Априорным для Шлюхтера является обращение к биографии и контекстуально-интеллектуальному дискурсу, с учетом которого создавались произведения классика, будь то работы по «Бюрократическому господству»⁴ (1972), «Развитию западноевропейского ра-

4. Schluchter W. (1972). Aspekte bürokratischer Herrschaft: Studien zur Interpretation der fortschreitenden Industriegesellschaft. München: Paul List.

ционализма» (1979)⁵, либо же «Исследования социологии религии и господства» (1988)⁶. Даже в программной статье «Действие, порядок и культура...»⁷ (2004) и критике рецепции Вебера в «Теориях рационального выбора»⁸ (2004), не говоря уже об «Основаниях социологии»⁹ (2006/2007), читатель постоянно погружен в веберовскую эпоху и научно-теоретические дискуссии.

В этом отношении «Поздняя социология» ничем не отличается от других работ немецкого вебероведа. Он стремится не упустить ни одной детали, которая дополняет «мозаику целостности» веберовской исследовательской программы, что характеризует, как отмечал уже Ю. Н. Давыдов, все творчество Шлюхтера: «Работы В. Шлюхтера... явно выделятся сегодня на общем „вебероведческом“ фоне. И прежде всего своей систематичностью, тщательностью обработки деталей и предельной аккуратностью обращения к веберовским дефинициям — столь же разнообразным, сколь и точным, столь же многоаспектным и многоуровневым, сколь и целенаправленным»¹⁰.

Многие темы книги, такие как преодоление «методологического спора», начало социологического пути Вебера с исследований протестантизма, «три прорыва» Вебера к социологии, целостность теоретического и методологического «ядра» его трудов, значение истории произведения, биографии и интеллектуального дискурса для прочтения и понимания Вебера, не являются новыми (как отмечалось выше, они вошли в интеллектуальную биографию Вебера-социолога с 1904 по 1920 год), но они позволяют по-новому взглянуть на соотношение социологии, экономической социологии, истории хозяйства, национальной экономики.

Структура первой и второй частей книги идентична с точки зрения хронологического изложения. Первая глава «От статей „Протестантская этика и дух капитализма“ до „Собрания сочинений по социологии религии“» начинается с рассмотрения биографических вех, академических и научных трудов (включая лекционные курсы по национал-экономии, научных диспутов), что дает возможность увидеть целостность рецепционных фактов, которые, по мнению Шлюхтера, и формируют «аутентичный» образ Вебера. Он детально исследует интеллектуальную эволюцию Вебера-социолога в контексте теоретических дискуссий с такими

5. Schluchter W. (1979). Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus: Eine Analyse von M. Webers Gesellschaftsgeschichte. Tübingen: Mohr.

6. Schluchter W. (1988). Studien zu M. Webers Religions- und Herrschaftssoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

7. Шлюхтер В. (2004). Действие, порядок и культура: основные черты веберовской исследовательской программы / Пер. с нем. В. В. Козловского, К. Г. Тимофеевой, А. В. Тавровского // Журнал социологии и социальной антропологии. Том VII. № 2. С. 22–50.

8. Schluchter W. (2004). Max Weber und Rational Choice // Berliner Journal für Soziologie. Heft 4. S. 561–575.

9. Schluchter W. (2006). Grundlegungen der Soziologie: Eine Theoriegeschichte in systematischer Absicht. Band I. Tübingen: Mohr; Schluchter W. (2009). Grundlegungen der Soziologie: Eine Theoriegeschichte in systematischer Absicht. Band II. Tübingen: Mohr (Siebeck).

10. Давыдов Ю. Н. (1998). Макс Вебер и современная теоретическая социология: актуальные проблемы веберовского социологического учения. М.: Мартис. С. 389.

современниками, как Г. Йеллинек, Ф. Брентано, В. Зомбарт, Э. Трёльч и другими, и во взаимосвязи с их методологическими и историческими работами. Особенно внимателен Шлюхтер к композиции текстов. Это имеет большое значение для понимания замысла Вебера, издания и переводов его трудов. Шлюхтер уверен, что «Собрание сочинений по социологии религии» в окончательной версии должно было бы в Полном собрании сочинений Макса Вебера состоять из 4 томов, но четвертый том («Западное христианство»), который, по мнению Шлюхтера, должен был стать венцом усилий Вебера, так и остался на стадии замысла.

Заголовок второй части книги говорит сам за себя: «От „Хозяйства и общества“ к социологии». Мы уже отмечали, что, по мнению Шлюхтера, поворот к «собственно» социологии обозначился у Макса Вебера лишь после 1918 года, когда были сделаны наброски «понятийных и методических контуров понимающей социологии». Хотя ни в 1909/1910 году, работая над организацией издания и редакцией «Учебника политической экономии», который был позднее переименован в «Основы социальной экономики», ни в 1914 году (работая над рукописью «Хозяйство и основные общественные силы») Вебер не оставлял идею написать «свою» социологию, но лишь в 1919/1920 году ему удалось это сделать методологически и категориально. Связано это, как считает Шлюхтер, с предубеждением Вебера относительно термина «социология», поскольку он не хотел идентифицировать свою собственную научную деятельность с дилетантскими, как он считал, попытками тех, кто называл себя в это время социологом. В то же время для Вебера соотношение национал-экономии и социологии играло важную роль. В 1909 году он становится соучредителем Немецкого общества социологов, в 1913-м публикует статью «О некоторых категориях понимающей социологии», в 1916-м пишет в письме Паулю Зибеку, что было бы преждевременным публиковать «его социологию», как он ее понимает. В 1919 году Вебер значительно переработал и улучшил (по сравнению со статьей 1913 г. «О некоторых категориях понимающей социологии») текст, который мы знаем как «Основные социологические понятия» — первую главу «Хозяйства и общества». Очень важно прояснить, пишет Шлюхтер, не генетическую, а логическую последовательность, которая начинается с понятия «действие/социальное действие», через «социальное отношение» переходит к понятию «социальный порядок» и заканчивается понятием «союз». Следующее понятие имплицитно предыдущее. Существует «действие/социальное действие» без «социального отношения», но не наоборот. «Союз» включает в себя «социальный порядок», «социальное отношение» и «действие/социальное действие».

Шлюхтер, таким образом, распутывает, но не разбирает, как это обычно происходит в отечественном и зарубежном веберизме, гордиев узел, сплетенный из категориальных, методологических, биографических, исторических и других нитей. Для этого он последовательно анализирует каждую из этих деталей, обращаясь к письмам, архивам, воспоминаниям. В отношении же основной научной проблемы Шлюхтер остается непоколебим: это возникновение, развитие и культурное значение капитализма. Хотя и этот аспект претерпевает кажущееся незна-

чительным, но все же концептуальное изменение. Так, Шлюхтер отходит от своей универсально-исторической трактовки *всего* творчества Вебера. Термин «развитие» (*Entwicklung*) применительно к западному рационализму/капитализму у него уступает место «возникновению» (*Entstehung*), и это не случайно. Если в своих ранних работах Шлюхтер отстаивал идею масштабности веберовских теоретических построений с априорной посылкой завершенности и универсальности его социологии, сопрягая ее со всеми возможными социологическими парадигмами, то начиная с программной статьи по веберовской исследовательской программе Шлюхтер говорит лишь о возможной *постановке* проблем при помощи веберовского теоретико-методологического инструментария, решения же могут и должны быть другими: «В центре находится понятийная каузустика. При этом он снова и снова подчеркивает: *какие* понятия образуются, это вопрос понятийной целесообразности, но *как* они образуются, уже нет. Есть только выбор между точными и неточными понятиями, но если востребованы точные понятия, необходимо образовывать идеальные типы в экономической теории, экономической социологии и социологии» (S. 307–308).

В книге «Поздняя социология Макса Вебера» читатель видит Вебера-историка и национального экономиста, и затем только фрагмент той социологии, которая должна быть *реконструирована*. При этом некая недосказанность подталкивает читателя познакомиться с «поздним» Вебером-социологом, каким он предстает в двух основных социологических трудах в новом издании Полного собрания сочинений.

Есть еще одна принципиально новая идея, которая оказывается своеобразным ответом Шлюхтера В. Хеннису¹¹ и Д. Кэслеру¹², поставившим под сомнение статус Вебера как социолога и, следовательно, сам замысел издания Полного собрания сочинений. Первый в ироничном тоне призывал «попрощаться» с Вебером как «классиком социологии» *в интересах непредвзятого понимания его как великого ученого* (выделено В. Хеннисом. — Д. К.), намекая на работы В. Шлюхтера и Ф. Тенбрука¹³, критикующие издания «Хозяйства и общества» под редакцией Йоханнеса Винкельмана и Марианны Вебер. Не менее ироничный укол — утверждение Хенниса, что для социологов является непререкаемым тезис об эволюции Вебера из «раннего» национал-эконома в «зрелого» социолога, несмотря на то что Вебер всю жизнь занимал должности, связанные с национал-экономией¹⁴. Однако Хеннис от

11. Hennis W. (1994). «Die volle Nüchternheit des Urteils»: Max Weber zwischen Carl Menger und Gustav Schmoller. Zum hochschulpolitischen Hintergrund des Werturteilspostulats // Wagner G., Zipprian H. (Hrsg.). Max Webers Wissenschaftslehre: Interpretation und Kritik. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 105–135.

12. Kaesler D. (2003). Max Weber. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung. Frankfurt am Main: Campus.

13. Речь идет о работе «„Хозяйство и общество“: конец мифа»: Schluchter W. (1988). «Wirtschaft und Gesellschaft»: das Ende eines Mythos // Schluchter W. Religion und Lebensführung. Band 2: Studien zu Max Webers Religions- und Herrschaftssoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 55–89, и работе Ф. Тенбрука «Прощание с „Хозяйством и обществом“»: Tenbruck F. (1977). Abschied von Wirtschaft und Gesellschaft // Zeitschrift für gesamte Sozialwissenschaft. Band 133. S. 703–736.

14. Hennis W. «Die volle Nüchternheit des Urteils». S. 106.

критики 1980-х годов переходит к полемике в 1990-е и, наконец, в 2000-х занимает по отношению к Шлюхтеру и проекту Полного собрания сочинений примирительную позицию¹⁵. Примирение происходит на поле национальной экономики и экономической социологии, что признается Шлюхтером в «Поздней социологии», хотя поворот в эту сторону обозначился еще в критической статье о теориях рационального выбора¹⁶. В этом отношении справедливо замечание А. Ф. Филиппова, который с отсылкой к работам Хенниса зафиксировал на современном этапе новое направление вебероведения: «Вебер намеренно ограничил область своих поздних исследований экономической социологией, потому что в это время его занимал совершенно конкретный исторический вопрос: как возник современный западный рациональный, ориентированный на рентабельность капитализм, а не общие вопросы экономической или социологической теории»¹⁷.

Об этом же пишет и Шлюхтер в своей «Поздней социологии», смещая проблемное поле веберовской социологии от «социологической структурной феноменологии универсальной истории»¹⁸ к «возникновению и своеобразию западного рационализма/капитализма»¹⁹. Как Шлюхтер в «Поздней социологии», так и Филиппов убеждены, что только с 1919/20 года мы можем говорить о Вебере как о социологе в полном смысле этого слова, поскольку для «воссоздания образа аутентичного Вебера» необходимо прояснение междисциплинарных связей в его творчестве. Реализация такой веберовской перспективы возможна лишь на основании нарратива двух основных проектов в Полном собрании сочинений.

Другой оппонент Шлюхтера, Дирк Кэслер²⁰, так и не смирился с фактом, что на поле «биографа Вебера» играют другие. Помимо сомнений относительно того, является ли Вебер в полном смысле слова «классиком» и социологом и есть ли смысл в актуализации его трудов, Кэслер критикует также «деконструкцию» «Хозяйства и общества», то, как она произведена, по его мнению, в Полном собрании сочинений. Нет необходимости останавливаться подробно на данной критике, поскольку она приведена во вступительной статье Л. Г. Ионина²¹ к русскому переводу «Хозяйства и общества»; на ней основаны аргументы в пользу выбора издания 1972 года под редакцией Винкельмана. Ряд замечаний нельзя тем не менее оставить без внимания. Сущность критики нового издания «Хозяйства и общества» сво-

15. См.: Hanke E. (2016). Entstehung und Bedeutung der Max Weber Gesamtausgabe. URL: <http://studylibde.com/doc/2306488/e.-hanke--entstehung-und-bedeutung-der-mwg-stand-16.05.2016>

16. Schluchter W. (2004). Max Weber und Rational Choice // Berliner Journal für Soziologie. Heft 4. S. 561–575.

17. Филиппов А. Ф. (2017). Социологическое проклятие политического // Вебер М. Власть и политика. М.: РИПОЛ классик. С. 21.

18. Schluchter W. (1979). Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus: Eine Analyse von M. Webers Gesellschaftsgeschichte. Tübingen: Mohr. S. 6.

19. Schluchter W. (2016). Max Webers späte Soziologie. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 36, 122, 309.

20. Kaesler D. (2006). Eine Konstruktion wird dekonstruiert: Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft zerfällt in Einzelteile. URL: <http://literaturkritik.de/id/9356>.

21. Ионин Л. Г. (2016) Вступительная статья редактора русского издания // Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 1. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ. С. 13–15.

дится к следующему: происходит «деконструкция» веберовского произведения. Выражена она прежде всего в том, что вместо двух томов винкельмановского издания (1972) в структуре нового содержится 7 томов «специальных социологий». Это может быть не совсем понятно русскому читателю, поскольку переводное издание состоит из четырех томов. Кроме того, противоречивое и двоякое толкование социологии господства в винкельмановской версии 1972 года («Типы господства» [S. 122–176] и «Социология господства» [S. 541–868])²² в новом издании выделено в специальный том²³ — именно так, как это планировал Вебер в рамках своей социологии 1919/1920 года, что подтверждается материалами из предоставленного Винкельманом в распоряжение Шлюхтера и Лепсиуса «Архива Макса Вебера», хранящегося в Мюнхенском университете. Те же самые соображения могут быть высказаны по поводу критики других «специальных социологий» из Полного собрания сочинений. Так же непонятны сомнения относительно историко-критической реконструкции при «улучшении» текста спустя практически 100 лет со смерти автора. Здесь следует учесть тот немаловажный факт, что все архивные данные и рукописи Вебера были переданы для изучения самим Винкельманом, который, к слову сказать, входил в число инициаторов и издателей Полного собрания сочинений и принимал непосредственное участие в разработке его плана и структуры.

Итак, Шлюхтер как бы ставит точку в заочном споре с Хеннисом и Кэслером. Да, действительно, Вебер был прежде всего юристом, затем национал-экономом, а потом уже социологом. Разработать категориальные и методические контуры своей «понимающей» социологии в догматической форме ему удалось лишь под конец жизни, но и в таком виде его категории остались фрагментами обширного замысла. Это, однако, не помешало распространению мощнейшего влияния той единственной немецкой социологии XX века, которая и поныне имеет мировое значение.

Обращение к этим критическим заметкам должно показать, что представленная Вольфгангом Шлюхтером версия «понимающей социологии» Макса Вебера на основе двух его масштабных трудов — лишь одна из версий, но это версия блестящего знатока, издателя Полного собрания сочинений, основанная на глубоком изучении как биографического нарратива, так и самого творчества, истории создания произведений, которые, переплетаясь и дополняя друг друга, образуют целостное ядро поздней «понимающей социологии».

Оба основных произведения понимающей социологии Макса Вебера — «Хозяйство и общество» в издании 1919/1920 года и запланированное в 4 томах «Собрание сочинений по социологии религии» — дополняют друг друга. В центре это-

22. Weber M. (1972/1980). *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie* / Besorgt von J. Winckelmann. Tübingen: Mohr.

23. Социология господства образует краеугольный камень веберовской социологии. О необходимости «преодоления» двойного толкования писал еще известный исследователь С. Бройер. См., например: Breuer S. (1991). *M. Webers Herrschaftssoziologie*. Frankfurt am Main: Campus, и др.

го незаконченного двойного проекта находится проблематика рационализации, вопрос, как возник рационализм западноевропейской культуры и чем он отличается от других культур. Шлюхтер исследует двойной проект как часть интеллектуальной биографии Вебера-социолога и в этом видится не только собственная версия Шлюхтера «понимающей социологии» Макса Вебера, но и приглашение к прочтению нового издания «Хозяйства и общества» и «Собрания сочинений по социологии религии» Полного собрания сочинений.

Sociology of Max Weber: Late, Incomplete, and Timely

Dmitry Kataev

Doctor of Sociology, Associate Professor, Department of Philosophy, Sociology and Theology, Lipetsk State Pedagogical Semenov-Tyan-Shansky University

Address: Lenina str., 42/2, Lipetsk, Russian Federation 398020

E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

Book Review: Wolfgang Schluchter. *Max Webers späte Soziologie* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2016).

СИДОРОВА С. Е. (РЕД.). (2015). ДВИЖЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВО: ПАРАДИГМА МОБИЛЬНОСТИ И ПОИСКИ СМЫСЛОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАТИЧНОСТИ. МОСКВА: ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 911 с. (ПОД НЕБОМ ЮЖНОЙ АЗИИ). ISBN 978-5-02-036603-9

Константин Глазков

Аспирант департамента социологии, преподаватель
кафедры методов сбора и анализа социологической информации
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: glazkov.konst@gmail.com

Рецензируемая работа является результатом многолетнего междисциплинарного проекта по изучению территориального конструкта под названием «Южная Азия». Пожалуй, во всей серии опубликованных и планируемых для публикации книг том «Движение и пространство» выглядит самым фундаментальным. Такое название вкупе с суровой толщиной сборника способно отпугнуть иного робкого читателя. И напрасно. Это очень увлекательное чтение! Книга состоит из разнообразных статей и двух важных введений, одно из которых поясняет нам происхождение «Южной Азии» и проекта (И. Глушкова), другое раскрывает общий концептуальный подход («мобильный поворот»), который объединяет весь сборник (С. Сидорова). Основной корпус материалов делится на пять важных с культурно-исторической точки зрения сюжетов в формировании южноазиатской действительности («Путь на родину», «Бегство на чужбину», «Власть на выезде», «Символы на марше», «В поисках выгоды»), а также на три модальности переживания мобильности («По шоссе», «По рельсам», «По воде»). Из них, в частности, мы можем узнать, что:

— население в регионе по большому счёту состоит из «мигрантов», «завоевателей» и «чужаков», где каждый архетип получает этническое наполнение лишь в отношении к тому контексту, в который он погружен (А. Сафронова, Е. Ванина);

— «самые страшные случаи насилия бывают там, где встречаются друг с другом колонны беженцев» (Л. Чернышева, с. 151);

— многие могольские падишахи отсутствовали в официальной столице большую часть своего правления, например, Аурангзеб 34 года из 49 лет правления (69%), а его сын Бахадур-шах I «находился в пути все 5 лет своего правления» (Е. Ванина, с. 209);

— в XVII веке редко удавалось увидеть одновременно хвост и голову каравана, в состав которого входило в среднем 100–200 повозок (Е. Ванина, с. 407);

— в Индии есть знак «Запрет на движение слонов» (фотовставка «Регуляторы движения», с. 544–545).

Помноженные на численность населения и запутанный культурный контекст, любой из упомянутых процессов или явлений обретает колоссальный эффект и поражает сознание. Впечатления от прочитанного усиливаются также за счет приведенных как бы между делом переводных художественных произведений и исторических документов.

Удачные находки приведенными выше фактами не ограничиваются. В книге авторы порой находчиво нащупывают различные сцепки между аспектами мобильности и другими, казалось бы, далекими от неё процессами. Среди них особенно хочется выделить несколько пассажей, посвященных необходимости для правителей разных эпох совершать перемещения по стране. «Вместе с падишахом по его владениям перемещалась *сама власть*, ее надлежало демонстрировать подданным, соседям и потенциальным мятежникам во всей мощи и блеске. Палаточный «городок», в котором располагался монарх, воспроизводил устройство императорской резиденции, и даже сами шатры носили названия соответствующих дворцов... — вместе с шатрами все это создавало подвижную копию столицы» (И. Глушкова, с. 217).

И еще два небольших фрагмента.

«Каждое письмо... уточняет его [монарха] местонахождение и дальнейшее направление следования и изобилует глаголами движения («уйти», «прийти», «выступить», «тронуться», «пересечь» и т. д.)...» (И. Глушкова, с. 223).

«Новость с языка» стоила меньше, чем «бумажная новость/новость с пера», а к известиям от ростовщиков/купцов/торговцев относились с вниманием, как и к брахманским, поскольку и те и другие передвигались на большие расстояния» (И. Глушкова, с. 226).

Первый фрагмент прекрасно передает идею, что поддержание власти во времена Империи Великих Моголов требовало постоянного курсирования собственно самой власти, которая была вынуждена поддерживать свою модель на ходу, воспроизводя все властные отношения каждый раз на новом месте. Второй фрагмент, акцентирующий внимание на важности глаголов движения в переписке, очень напоминает современные исследования мобильности, когда в фокусе анализа оказывается переживание разных типов мобильности, а также осуществляется поиск категорий для его описания¹. Третий фрагмент иллюстрирует интересную взаимосвязь между «достоверностью» информации и подвижностью ее источника.

Концептуальная оптика позволяет разглядеть в исторических фактах источник для теоретического размышления. Однако в сборнике редко встречаются развернутые теоретические рассуждения. Чаще изложение материала заканчивается любопытным, но сравнительно кратким суждением.

1. Например, см.: *Pascoe D.* (2001). *Airspaces*. London: Reaktion; *Rosler M.* (1998). In the Place of the Public // *Rosler M.* In the Place of the Public: Observations of a Frequent Flyer. Ostfildern-Ruit: Cantz. P. 26–79; *Thackera J.* (1997). Lost in Space: A Traveller's Tale // *Bode S., Millar J.* (eds.). Airport. London: The Photographers' Gallery. P. 58–69; *Williamson T.* (2003). The Fluid State: Malaysia's National Expressway // *Space and Culture*. Vol. 6. № 2. P. 110–131; *Wollen P., Kerr J.* (eds.). (2002). *Autopia: Cars and Culture*. London: Reaktion.

В этом плане особняком стоит статья Д. Мэсселоса «По городским артериям: мобильные формы протеста», которая начинается с проблематизации соотношения пути и пространства («путь — это стрела сквозь пространство», с. 336) и заканчивается некоторыми соображениями относительно того, как представленные случаи из концепции Сатъяграха «высвечивают различия между тем, как дорога или маршрут функционируют, и тем, как они воспринимаются» (с. 353). Отличительная особенность данной статьи заключается в том, что в ней сохраняется баланс между теоретическими проблемами и историческими материалами, когда детальное освещение устройства протестных маршрутов работает на раскрытие связи движения и его репрезентаций.

Критически отнестись ко всем статьям автор рецензии не решается ввиду недостаточной эрудиции. Эта книга – очень специальный труд, который по достоинству могут оценить лишь узкие специалисты. Тем не менее здесь есть важный аспект, который заслуживает отдельного социологического рассмотрения. Во введении С. Сидоровой указано, что основным концептуальным каркасом книги, общим для всех авторов, стал так называемый «мобильный поворот». Парадигма «новых мобильностей» известна и широко признана в мире. Обзор теорий, развиваемых в русле «мобильного поворота», проделан в книге превосходно. Создается ощущение, что были упомянуты многие, если не все ключевые имена. Затронуты, в частности, тексты Баумана, Урри, Кастельса, Крессвелла, Мэсси, Оже, Релфа, Харви, Шеллер. Дан также краткий анализ рецепции «мобильного поворота» в разных дисциплинах (географии, социологии, антропологии, истории), хотя некоторые дисциплинарные границы кажутся здесь довольно условными.

В этом обзоре есть одно очень важное высказывание, к которому рецензент хотел бы привлечь внимание. Есть разница между исследованиями, где мобильность выступала лишь как тема, и такими исследованиями, где она формулируется как проблема. А это значит, что описания мест, между которыми совершаются перемещения, не обязательно предполагают включение в парадигму мобильности. «Несмотря на то, что теория увязывалась с мобильностью, на самом деле она была о местах» (С. Сидорова, с. 29). В связи с этим замечанием и возникает главный читательский вопрос. Действительно ли это сборник работ, выполненных в рамках «мобильного поворота», или авторы попросту² обращаются к теме движения с разных сторон?

Иногда возникают сомнения по поводу полной преемственности между «насаждаемой» теорией и изложенным материалом. В некоторых местах эта рассогласованность приводит, как нам кажется, к некоторым нарушениям концептуальной целостности, связности между так называемым «мобильным поворотом» и сложившимися за его пределами теориями интерпретации типов культур. Например, в книге говорится о магистральном и локальном типах культур³ для пояснения

2. Хотя это совершенно неуместное слово по отношению к собранному материалу.

3. Головнев А. В. (2009). Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: Волот.

того, в каких отношениях находились Британская империя и властители Индостана (С. Сидорова, с. 235). Как это связано с мобильностью? «Применительно к британской магистральной культуре идея движения как механизма доминирования воплотилась в равномерной дисперсии власти по территории Индостана через опутывание его бюрократической сетью...» (с. 251). Нам кажется, что это нуждается в дополнительных обоснованиях, без которых выглядит как натяжка. Понятно, что теория типов культур, основывающаяся на методике анализа «мотивационно-деятельностных схем и историко-антропологических сценариев», имеет довольно опосредованные связи с теми подходами, которые получили развитие в западной традиции вместе со своим условным названием.

Сомнения в некоторых случаях усиливаются ввиду соотношения теоретических и собственно исторических источников, приводимых в конце каждой главы. Очевидно, что преобладают исторические источники и акценты делаются на «мобильных» аспектах истории Южной Азии, а не на проблематизации того, что считать «мобильным». Однако мы отдаем себе отчет в том, что перед нами — лишь один из первых опытов такого рода.

Подводя итог, важно отметить, что обсуждаемый сборник в первую очередь вносит существенный вклад в изучение и систематизацию материалов, связанных с Южной Азией и раскрывающих ее с «мобильной» стороны, а потому настоятельно рекомендуется к прочтению. Оптика «мобильного поворота» делает рассказанные истории в высшей степени интересными и привлекательными. Иногда совсем не важно, какое отношение все это имеет к пресловутому повороту. Особенно когда истории приправлены поэзией Ниссима Эзекила («Утренняя прогулка») и Редьярда Киплинга («Сухопутная почта»).

Book Review: Svetlana Sidorova (ed.). *Dvizhenie i prostranstvo: paradigma mobil'nosti i poiski smyslov za predelami statichnosti* [Mobility and Space: In Quest of Meanings Beyond Stasis] (Moscow: Vostochnaya literatura, 2015)

Konstantin Glazkov

Graduate Student, Lecturer, Department of Sociology, National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: glazkov.konst@gmail.com



XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества 10–13 апреля 2018 г., г. Москва

10–13 апреля 2018 г. в Москве состоится XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, проводимая Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка. Председателем Программного комитета конференции является научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е. Г. Ясин.

Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономического и социального развития страны. С основными направлениями можно ознакомиться на официальном сайте конференции: <http://conf.hse.ru>.

Специальными темами конференции, которым будут посвящены круглые столы и почетные доклады ведущих ученых, являются:

- Стабильность и развитие
- Неравенство и инклюзивное развитие
- Перспективы и драйверы глобализации и регионализации в новых условиях
- Технологическое будущее: на пути к «умному обществу»
- Арктика: вызовы XXI века

Заявки на выступление в качестве докладчиков на сессиях следует подавать в режиме on-line (<http://conf.hse.ru/>) **с 11 сентября до 13 ноября 2017 г.** Решение Программного комитета о включении докладов в программу конференции будет принято по результатам экспертизы с привлечением независимых специалистов **до 25 января 2018 г.**

Доклады, включенные в программу конференции, после дополнительного рецензирования и рассмотрения редакциями, могут быть приняты к публикации в ведущие российские научные журналы по экономике, социологии, менеджменту, государственному управлению, которые индексируются Scopus и/или Web of Science, входят в список ВАК и редакторы которых участвуют в работе Программного комитета конференции.

Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме on-line **до 16 марта 2018 г.**

Рабочими языками конференции являются **русский и английский**.

Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с докладами, может быть предоставлен **грант Всемирного банка** с целью компенсации расходов по участию в конференции. Заявки на получение гранта должны быть направлены **до 12 февраля 2018 г.** по адресу interconf@hse.ru.

В рамках конференции планируется организовать серию **семинаров для аспирантов** с возможностью предоставления грантов на проезд и проживание для отобранных докладчиков. Информация об условиях участия в семинарах будет доступна на сайте конференции.

С материалами предыдущих конференций можно ознакомиться на сайте: <http://conf.hse.ru/2017>.

Оргкомитет конференции



19th April International Academic Conference on Economic and Social Development April 10–13, 2018, Moscow

On April 10–13, 2018 in Moscow, National Research University Higher School of Economics (HSE), with the support of the World Bank, will be holding the 19th April International Academic Conference on Economic and Social Development. The Conference's Programme Committee is chaired by Professor Evgeny Yasin, HSE Academic Supervisor.

The Conference offers a diverse agenda concerning social and economic development in the Russian Federation. The list of topics is available on the Conference website at <http://conf.hse.ru>.

The plenary sessions and roundtable discussions will focus on the following topics:

- Economic Stability and Growth
- Inequality and Inclusive Development
- Perspectives and Drivers of Globalization and Regionalization
- Technological Future: Towards a Smart Society
- The Arctic: Challenges of the 21st Century.

Participants are invited to submit extended abstracts of their papers for presentation at the Conference's sessions. Proposals must be submitted through HSE's online system at <http://conf.hse.ru> from **September 11** until **November 13, 2017**. The Programme Committee will send notifications on the acceptance of proposals by **January 25, 2018**, after considering the results of reviews made by independent experts. Papers included in the programme following expert reviews by the Programme Committee's members have the option of being published in leading Russian journals on such subjects as economics, sociology, management, public administration, etc., which are cited in the Scopus and WoS databases.

Online registration for participation in the Conference (**without presentation**) will be open until **March 16, 2018** at <http://conf.hse.ru/>.

The Conference's working languages are **Russian** and **English**.

Participants from CIS and Eastern European countries whose papers have been included in the Conference Programme may apply for a **grant from the World Bank** to cover travel and accommodation costs. Applications should be sent to interconf@hse.ru by **February 12, 2018**.

Furthermore, a series of **workshops** will be organized **for doctoral students** (travel grants for selected speakers will be available). Information on the workshops and terms for participation will be made available on the Conference's website.

Information about previous conferences can be viewed here <http://conf.hse.ru/2017/>.

The Conference Organizing Committee